This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4350. 4.874

Harvard College Library

BOUGHT FROM THE
ANDREW PRESTON PEABODY
FUND

BEQUEATHED BY
CAROLINE EUSTIS PEABODY
OF CAMBRIDGE

16/85

Памяти Пушкина.

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ,

СОСТАВЛЕННЫЙ ПРОФЕССОРАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Университета св. Владиміра.

КІЕВЪ.

Типографія Императорскаго Университета св. Владиміра Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Меринговская ул.

1899.

Printed in [illegible]

Печ. въ тип. Петра Барскаго.

ПАМЯТИ

ПУШКИНА.

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

СБОРНИКЪ,

СОСТАВЛЕННЫЙ ПРОФЕССОРАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Университета св. Владиміра.

КІЕВЪ.
Типографія Императорскаго Университета св. Владиміра Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Меринговская ул., соб. д.
1899.

Slav 4350.4.874

May 27. 1935
Peabody Fund

Печатано по опредѣленію Совѣта Императорскаго Университета св. Владиміра.

Ректоръ Ѳ. ФОРТИНСКІЙ.

Подъ редакціей Профессора *В. С. ИКОННИКОВА.*

СОДЕРЖАНІЕ.

I. Предисловіе . . . . . I—VI
II. Памяти Пушкина. Стихотвореніе **Н. Э. Глокке** . . . . . VII—VIII

ОТДѢЛЪ I.

I. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ.—Проф. **П. В. Владимірова** . . . . . 1 - 84
II. Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени.—Проф. **Н. П. Дашкевича** . . . . . 85—257
III. Отзвуки Пушкинской поэзіи въ послѣдующей русской литературѣ.—Приватъ-доцента **А. М. Лободы** . . . . . 258—274
IV. Пушкинъ и Славянство.—Приватъ-доцента **А. І. Степовича** . 275—287
V. Пушкинъ и Челяковскій.—Проф. **Т. Д. Флоринскаго** . . . . 288—296

ОТДѢЛЪ II.

I. Отношеніе къ Пушкину русской критики съ 1820 года до столѣтняго юбилея 1899 года.—Проф. **П. В. Владимірова** . . 1— 64
II. Изъ Пушкинской юбилейной литературы. — Приватъ-доцента **А. І. Степовича** . . . . . 65— 80
III. Пушкинъ въ Каменкѣ.—Приватъ-доцента **А. М. Лободы** . . 81— 99

Перечень портретовъ и рисунковъ.

I. Заглавная виньетка.
II. Е. Н. Давыдова.
III. Генералъ Н. Н. Раевскій.
IV. А. Л. Давыдовъ.
V. Аглая А. Давыдова.
VI. Адель Давыдова.
VII. Общій современный видъ усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ.
VIII. Часть усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ въ ея нынѣшнемъ видѣ.
IX. Часть усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ, по рис. 1853 г.
X. Т. н. Пушкинскій гротъ въ Каменкѣ.
XI. Видъ съ Пушкинскаго грота въ Каменкѣ.
XII. Старая мельница въ Каменкѣ.

Приложеніе.

Снимокъ съ автографа Пушкина: „Моя родословная“, принадлежащаго библіотекѣ Университета св. Владиміра.

Предисловіе.

Починъ въ празднованіи Пушкинскаго дня въ стѣнахъ Университета св. Владиміра, 26 мая, принадлежитъ Историко-Филологическому факультету, который внесъ о томъ предложеніе въ Совѣтъ Университета и намѣтилъ главныя части программы означеннаго торжества. Подробности этой послѣдней были разработаны особой Коммиссіей, назначенной въ засѣданіи Совѣта 16 января 1899 года и состоявшей, подъ предсѣдательствомъ декана Юридическаго факультета А. В. Романовича-Славатинскаго, изъ декановъ Н. В. Бобрецкаго и М. А. Тихомирова, главнаго редактора В. С. Иконникова, проф. богословія П. Я. Свѣтлова, профессоровъ всеобщей и русской словесности: Н. П. Дашкевича и П. В. Владимірова и прив-доц. А. М. Лободы. Кромѣ заявленныхъ для произнесенія въ торжественномъ собраніи рѣчей, которыя, какъ равно и другія статьи, должны были войти въ особый Сборникъ, посвященный памяти Пушкина и вмѣстѣ съ тѣмъ составить № 5-й (май) Университетскихъ Извѣстій, Коммиссія положила: внести въ программу исполненіе музыкальныхъ и хоровыхъ произведеній изъ Пушкинской поэзіи; устроить въ одной изъ залъ Университета выставку сочиненій и рукописей, имѣющихъ отношеніе къ Пушкину и его эпохѣ, какія находятся въ библіотекѣ Университета св. Владиміра или будутъ получены для означенной цѣли; установить ежегодную премію имени Пушкина для студентовъ Университета за сочиненія на темы по новой русской сло-

весности и по западно-европейской литературѣ въ ея отношеніи къ Пушкину, въ размѣрѣ 200 рублей, изъ спеціальныхъ средствъ Университета; обратиться въ Кіевскую Городскую Думу съ просьбой о переименованіи одной изъ ближайшихъ къ Университету улицъ въ Пушкинскую [1]); наконецъ, въ интересахъ возможно полнаго собранія свѣдѣній о пребываніи Пушкина въ Кіевской губ. и Екатеринославѣ, ходатайствовать о разрѣшеніи командировки прив.-доц. Лободѣ съ тѣмъ, чтобы въ этихъ мѣстахъ были собраны извѣстія и преданія о Пушкинѣ, сняты виды мѣстъ и предметовъ, близкихъ Пушкину, и т. п. [2]). Программа эта была одобрена Совѣтомъ и утверждена въ установленномъ порядкѣ.

Благодаря любезному вниманію владѣльцевъ усадьбы въ мѣстечкѣ Каменкѣ (Чигиринскаго уѣзда Кіевской губерніи), семьи Давыдовыхъ, сдѣланы были снимки съ наиболѣе замѣчательныхъ мѣстъ и собраны нѣкоторыя свѣдѣнія, касающіяся пребыванія тамъ Пушкина; независимо отъ того отъ Д. Л. Давыдова, изъ селенія Вербовки, находящагося близъ Каменки, были получены портреты, имѣвшіе отношеніе къ жизни Пушкина въ Каменкѣ, за что съ своей стороны Коммиссія по устройству празднества Пушкина считаетъ долгомъ выразить свою глубокую признательность.

Названные виды и портреты, а равно и точный снимокъ съ подлинной рукописи Пушкина „Моя родословная“, принадлежащей библіотекѣ Университета св. Владиміра [3]), помѣщаются въ настоящемъ Сборникѣ [4]).

---

[1]) Переименована Ново-Елисаветинская.

[2]) Результаты означенной поѣздки сообщены въ статьѣ г. Лободы.

[3]) Рукопись эта пожертвована въ библіотеку Университета бывш. помощн. библіотекаря И. Г. Савенкомъ. О ней въ свое время сообщалось на стран. „Русской Старины“ (т. XXVII, 671—673; т. XXVIII, 357—361), а текстъ ея былъ напечатанъ въ „Унив. Изв.“ 1880 г., № 5-й.

[4]) Приготовленная по тому же поводу монографія проф. В. С. Иконникова „Историческія воззрѣнія Пушкина“ будетъ напечатана особо.

Такимъ образомъ, выходящее нынѣ изданіе является выполненіемъ той задачи, которая была намѣчена Коммиссіей, какъ ея главная часть.

26 мая, въ Императорскомъ Университетѣ св. Владиміра состоялось торжественное празднованіе столѣтней годовщины рожденія А. С. Пушкина. Утромъ, въ 9½ час., въ Университетской церкви были совершены заупокойная литургія и панихида, на которой проф. богословія св. П. Я. Свѣтловымъ произнесено было слово „О свѣтлыхъ и темныхъ сторонахъ поэзіи Пушкина". Въ часъ дня въ актовомъ залѣ Университета состоялось торжественное собраніе, открывшееся вступительнымъ словомъ предсѣдателя Коммиссіи по устройству Пушкинскаго празднества въ Университетѣ, заслуженнаго профессора А. В. Романовича-Славатинскаго, слѣдующаго содержанія:

„Милостивыя государыни и милостивые государи! Въ жизни народовъ, обыкновенно распадающихся на отдѣльныхъ обособленныхъ лицъ, занятыхъ своими личными дѣлами и негораздыхъ на дѣло общее, бываютъ свѣтлые моменты, когда эта разъединенная толпа сливается въ единое цѣлое, и, претворившись въ нравственную личность, проникается одной общей мыслію, однимъ общимъ чувствомъ. Такіе моменты, къ сожалѣнію, случаются рѣдко, и тѣмъ рѣже, чѣмъ народъ менѣе просвѣщенъ. Я говорю: къ сожалѣнію, такъ какъ въ нихъ, въ этихъ моментахъ, великая культурная сила: они укрѣпляютъ народное единеніе, они отрезвляютъ народную мысль; они развиваютъ сознаніе національнаго достоинства; они, наконецъ, внушительно дѣйствуютъ на другіе народы. Многомилліонный народъ, чувствующій и дѣйствующій, какъ одинъ человѣкъ—сила импозантная. Такую свѣтлую минуту народнаго одушевленія и единенія мы переживаемъ сегодня, въ столѣтнюю годовщину рожденія нашего славнаго Пушкина, когда по всему необъятному пространству русской земли, отъ края и до края, не найдется русскаго человѣка, душа котораго не

была бы полна признательныхъ воспоминаній о нашемъ славномъ народномъ поэтѣ, которому мы обязаны эстетическими наслажденіями, свѣтлыми мыслями, благородными стремленіями и, скажу, національнымъ самосознаніемъ.

Университетъ св. Владиміра, стоя всегда на стражѣ всякаго культурнаго и патріотическаго движенія русскаго общества, не могъ не откликнуться на одушевленіе сегодняшняго празднества. Назначенная Совѣтомъ Коммиссія предположила въ настоящемъ торжественномъ собраніи и музыкальными звуками, и рѣчами нашихъ ученыхъ ораторовъ напомнитъ вамъ образъ и дѣятельность чествуемаго поэта. Отдадимся всецѣло воспоминаніямъ о немъ, и, забывъ злобу и язвы текущаго дня, преисполнимся упованій въ великія историческія судьбы великаго русскаго народа. Народъ, въ средѣ котораго рождаются такіе поэты, какъ Пушкинъ; народъ, говорящій его чуднымъ языкомъ, равнаго которому по богатству и благозвучію и не найдешь; народъ, умѣющій такъ чтить и чествовать своихъ поэтовъ, поистинѣ великій историческій народъ, разрѣшенію котораго подлежатъ не только домашнія, національныя задачи, но и задачи міровыя, общечеловѣческія, одна изъ которыхъ по мысли и почину нашего Державнаго Вождя, разрѣшается теперь въ укромной Гаагѣ, и какъ бы тамъ ни разрѣшилась она, тѣнь чествуемаго поэта-гражданина порадуется, что великій культурный вопросъ поставленъ роднымъ ему народомъ, который умѣетъ биться, но жаждетъ мира и культуры".

Въ заключеніе своего слова проф. Романовичъ-Славатинскій предложилъ присутствующимъ почтить память Пушкина вставаніемъ. Послѣ этого хоромъ и опернымъ оркестромъ, подъ управленіемъ А. А. Гринченка, были исполнены увертюра и хоръ изъ оперы „Русланъ и Людмила" и сочиненная г. Прибикомъ на слова Н. Э. Глокке кантата въ честь Пушкина. Предполагавшаяся по программѣ рѣчь проф. П. В. Владимірова „Пушкинъ и его предшественники

въ русской литературѣ“ не была произнесена вслѣдствіе болѣзни автора. На каѳедру взошелъ проф. Н. П. Дашкевичъ и произнесъ рѣчь: „Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени“, въ которой прослѣдилъ, какъ въ поэзіи Пушкина отразилось вліяніе наиболѣе выдающихся поэтовъ и писателей конца прошлаго и начала истекающаго столѣтія: Вольтера, Руссо, Байрона, Гете, Шиллера и др. и какъ во второй половинѣ своего жизненнаго поприща Пушкинъ освобождался отъ этого вліянія, превращаясь постепенно во вполнѣ самостоятельнаго геніальнаго поэта и преимущественно въ пѣвца русской дѣйствительности и слѣдуя въ своемъ творчествѣ по стопамъ только такихъ міровыхъ геніевъ, какъ Гете и Шекспиръ. Послѣ рѣчи проф. Н. П. Дашкевича былъ исполненъ хоръ изъ оперы Даргомыжскаго „Русалка“, а затѣмъ приватъ-доцентъ А. М. Лобода произнесъ рѣчь: „Отзвуки Пушкинской поэзіи въ послѣдующей русской литературѣ“, въ которой выяснилъ вліяніе Пушкина на всѣхъ послѣдующихъ нашихъ писателей, вліяніе, продолжающееся донынѣ и отразившееся даже въ двухъ, повидимому, противоположныхъ теченіяхъ, каковы поэзія гражданской скорби, съ Некрасовымъ во главѣ, и поэзія чистаго искусства, съ ея представителями Фетомъ, Майковымъ, Полонскимъ, Алексѣемъ Толстымъ и друг., которыя, не взирая на свой антагонизмъ, родственны между собою, исходя изъ одного и того-же источника — поэзіи Пушкина. Наиболѣе же могущественно сказалось вліяніе Пушкина въ области, получившей послѣ него такое широкое развитіе, въ романѣ, лучшіе дѣятели котораго являются въ прямомъ смыслѣ учениками Пушкина. Торжество закончилось въ 3 часа дня исполненіемъ музыкальной „Славы Пушкину“ соч. Рубца и народнымъ гимномъ.

Обширный актовый залъ Университета былъ переполненъ публикой и имѣлъ вполнѣ праздничный видъ. Въ глубинѣ зала, за рѣшеткой, отдѣлявшей собравшуюся публику отъ эстрады для хора и оркестра, на высо-

кихъ постаментахъ красовались бюстъ и портретъ Пушкина, уставленные вокругъ зеленью тропическихъ растеній.

Въ аванзалѣ Университета была устроена выставка предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ Пушкину, состоявшая изъ рукописей, автографовъ, современныхъ Пушкину изданій его произведеній и портретовъ нѣкоторыхъ изъ современниковъ поэта, о которыхъ онъ упоминаетъ въ своихъ стихотвореніяхъ.

Памяти Пушкина.

„Въ бореньяхъ“ мысли „силы напрягая“,
Стремясь свою поэзію создать,
Росла и крѣпла духомъ Русь святая.
Но долго суждено ей было ждать,

Пока, какъ въ дни библейскаго завѣта,
Исполнились былыя времена,
И хлынула божественнаго свѣта
На Русь животворящая волна.

Сто лѣтъ тому назадъ зажглась зарею
Поэзіи блестящая звѣзда
Надъ нашей бѣдной, рабскою землею,
Погрязшей въ тьмѣ, казалось, навсегда.

Родился Пушкинъ, воли провозвѣстникъ,
Красы нетлѣнной пламенный пророкъ,
Изъ ничего, какъ сказочный кудесникъ,
Воздвигшій слову царственный чертогъ.

VIII

И съ той поры родное наше слово
Въ живую плоть свободно облеклось,
Разбило чужеземныя оковы
И съ торжествомъ повсюду разнеслось;

И геній нашъ теперь предъ всей вселенной
Могучъ, незыблемъ, славенъ и великъ,
И раздается въ пѣснѣ вдохновенной
По всей землѣ красивый нашъ языкъ.

Съ тѣхъ поръ вездѣ: въ святилищахъ науки,
Въ дворцахъ вельможъ, въ жилищахъ бѣдняковъ,
Вездѣ, гдѣ слышны русской рѣчи звуки,
Поэту вѣчный памятникъ готовъ.

Не умеръ Пушкинъ! Стихъ его прекрасный
Изъ устъ его преемниковъ звучитъ;
И въ даль вѣковъ вперяя взоръ свой ясный,
Въ грядущемъ Русь его, какъ нынѣ, чтитъ.

Н. Глокке.

Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Е. Н. Давыдова.

А. С. Пушкинъ

и его предшественники въ русской литературѣ.

Дѣятельность великихъ людей, какъ бы ни выдавалась она, пріобрѣтаетъ еще бо̀льшее значеніе, при сравненіи съ предшественниками. Все, что накапливается дѣятельностью предшественниковъ, что съ трудомъ и по частямъ, съ колебаніями совершается ими, — все это осуществляется, получаетъ окончательное всеобъемлющее выраженіе въ дѣятельности великихъ людей. И нигдѣ это сравненіе не поучительно въ такой мѣрѣ, какъ въ области литературы, преобразованія ея формы, ея важнѣйшаго выраженія—языка, возведенія его на степень высшаго совершенства, созданія прочной формы для выраженія поэтическихъ воспріятій и глубокихъ мыслей.

Постепенна̀я подготовка этой формы цѣлымъ рядомъ болѣе или менѣе талантливыхъ дѣятелей, успѣвающихъ вложить свою особенность въ общее дѣло, связь этой формы съ національными стремленіями, начатки народной литературы, народной исторіи, получившія окончательное развитіе въ дѣятельности великаго человѣка, точнѣе опредѣляютъ мѣсто такого дѣятеля въ исторіи одной какой-либо литературы.

А. С. Пушкинъ создалъ лучшую форму для русской литературы: онъ настоящій преобразователь русскаго литературнаго языка, настоящій поэтъ, какой когда-либо являлся въ русской словесности. Жизнь и дѣятельность такого великаго народнаго писателя заслуживаютъ глубокаго изученія, и столѣтній юбилей (26 мая 1799 г.—1899 г.)

вызоветъ не одно живое, новое опредѣленіе нашего славнаго русскаго поэта въ его разнообразныхъ отношеніяхъ (напримѣръ, въ отношеніи къ литературнымъ его предшественникамъ, къ народному творчеству, къ народному быту и народной исторіи) и въ самой сущности его творчества. Пожелаемъ, чтобы эта любовь къ поэту не остывала, чтобы она служила залогомъ нашего единенія въ области тѣхъ чувствъ и мыслей, выразителемъ которыхъ являлся въ 20-хъ и въ 30-хъ годахъ настоящаго истекающаго столѣтія Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ.

Онъ родился въ Москвѣ, 26 мая 1799 года, получилъ образованіе въ Петербургѣ (1811—1817) и въ теченіе своей недолгой дѣятельности († 29-го января 1837 г.) въ тряской телѣгѣ жизни посѣтилъ всѣ живописныя мѣста Россіи, всѣ края ея, порываясь заграницу, куда влекли его симпатіи воспитанія, начитанности и пониманія литературныхъ направленій. Неудовлетворенный съ этой стороны поэтъ отдался родинѣ, ея исторіи, ея современности. Исторія русской жизни, исторія русской литературы сдѣлались постоянными предметами его глубокихъ размышленій. Мы коснемся въ предлагаемомъ очеркѣ только исторіи русской литературы, которая съ Пушкина получаетъ свое настоящее глубокое значеніе.

Новый девятнадцатый вѣкъ, прославленный трудами новорожденнаго генія, полурусскаго—полувосточнаго происхожденія, напоминающаго типы Жуковскаго, Карамзина, Державина, собралъ вокругъ его колыбели (Хариты, Лель тебя вѣнчали и колыбель твою качали) такіе литературные таланты, какъ Державина, Хераскова, Богдановича, Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Крылова. Едва раскрылось сознаніе будущаго поэта, какъ его окружила уже литературная среда, въ которой вращался дядя Александра Сергѣевича, поэтъ Василій Львовичъ Пушкинъ, поклонникъ французской литературы. Русская литература, въ лицѣ родственника-писателя, его близкихъ друзей-писателей, появлявшихся въ гостепріимномъ домѣ Пушкиныхъ въ Москвѣ, несмотря на беззаботную жизнь родителей поэта, глубоко заинтересовала молодого воспитанника иностранныхъ гувернеровъ и гувернантокъ. Основы образованія Александра Сергѣевича, по вкусамъ того времени, были блестящи, такъ какъ онъ съ дѣтства познакомился съ тѣми оригинальными французскими сочиненіями, которымъ подражали его предшественники—русскіе поэты XVIII вѣка.

Мы не знаемъ, до вступленія Пушкина въ Лицей, объ опытахъ въ русской словесности будущаго поэта, о его начитанности въ рус-

ской литературѣ. Повидимому русская словесность была на заднемъ планѣ въ домашнемъ образованіи его. И молодой Пушкинъ, какъ и многіе изъ его современниковъ, учился русскому языку не изъ преподавательскихъ тетрадей, а отъ нянекъ-мамушекъ, отъ дворни да отъ старыхъ словоохотливыхъ родственниковъ и родственницъ. Такова была любимая няня поэта, его мамушка Арина Родіоновна, убаюкивавшая ребенка народными пѣснями, успокаивавшая его таинственными народными сказками. Въ лицѣ этой умной и усердной няни поэтъ пріучился любить народъ въ его привычкахъ и думахъ. Поѣздки въ деревни и свиданія съ старыми родственниками, особенно съ бабушкой Ганнибалъ, дочерью тамбовскаго воеводы Пушкина, пережившей много невзгодъ и личныхъ, и общихъ для дворянства того времени, оставили въ Александрѣ Сергѣевичѣ глубокія впечатлѣнія по разсказамъ о его предкахъ Ганнибалахъ, любимцахъ Петра Великаго и его преемниковъ, о Пушкиныхъ-боярахъ XVI — XVII вѣковъ, о времени и личности императрицы Екатерины II. Всѣ эти отношенія сблизили лицеиста Пушкина съ русской дѣйствительностью и съ русской литературой въ ея національныхъ стремленіяхъ.

Безъ сомнѣнія, Царскосельскій Лицей, въ которомъ Пушкинъ пробылъ съ 1811 по 1817 годъ, положилъ хорошія основанія для литературнаго образованія нашего поэта, не только школьными и научными занятіями, но и общими развитыми вкусами всѣхъ воспитанниковъ Лицея въ области русской литературы. Въ 1815 году одинъ изъ сотоварищей Пушкина пишетъ своему другу: „Чтеніе питаетъ душу, образуетъ, развиваетъ способности; по сей причинѣ мы стараемся имѣть всѣ журналы и впрямь получаемъ: Пантеонъ, Вѣстникъ Европы, Русской Вѣстникъ и пр. Такъ, мой другъ, и мы также хотимъ наслаждаться свѣтлымъ днемъ нашей литературы, удивляться цвѣтущимъ нашимъ геніямъ Жуковскаго, Батюшкова, Крылова, Гнѣдича. Но не худо иногда подымать завѣсу протекшихъ временъ, заглядывать въ книги отцовъ отечественной поэзіи, Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитріева: тамъ лежатъ сокровища, изъ коихъ каждому почерпать должно“ (Грота: Пушкинъ, 1887 г., 82 стр.).

Лицеисты однако мечтали о столицѣ и рядомъ съ приведеннымъ письмомъ Илличевскаго къ петербургскому товарищу можно отмѣтить такія же выдержки изъ первыхъ лицейскихъ опытовъ А. С. Пушкина: „Хорошіе стихи не такъ легко писать... Межъ тѣмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ, Пѣвцы безсмертные, и честь, и слава рос-

совъ, Питаютъ здравый умъ и вмѣстѣ учатъ насъ" (Къ другу стихотворцу 1814 г.) [1]). Пушкинъ уже дѣлаетъ характеристики русскихъ поэтовъ, называя въ посланіи „Городокъ" 1815 г.: нѣжнаго Дмитріева съ Крыловымъ, творцомъ Чернавки, Подщипы, плѣненныхъ царей, смѣлаго насмѣшника (Батюшкова) надъ твореньями Риѳматовыхъ, книги которыхъ гибнутъ, „едва на свѣтъ родясь", и выше которыхъ молодой поэтъ ставитъ „Удалого наѣздника Свистова" (Баркова), замысловатаго пѣвца Буянова (дядю В. Л. Пушкина), не говоря уже о Державинѣ съ чувствительнымъ Гораціемъ, Озеровѣ съ Расиномъ, Фонвизинѣ и Княжнинѣ съ Мольеромъ-исполиномъ, Богдановичѣ съ добрымъ Лафонтеномъ, Карамзинѣ съ Руссо и др. Эта способность отдавать себѣ отчетъ въ исторіи судебъ русской словесности, этотъ критическій даръ съ годами укрѣплялся въ Пушкинѣ и достигъ замѣчательной вѣрности сужденія — строгой и правдивой — въ оцѣнкѣ настоящихъ достоинствъ русской словесности, лучшія явленія которой онъ превзошелъ силой своего таланта, а слабыя — поднялъ на недосягаемую высоту. Ко времени выпуска изъ Лицея въ 1817 году Пушкинъ уже овладѣлъ почти всей предшествующей русской литературой и представилъ опыты богатой лирики—игривой и элегической,— бойкихъ эпиграммъ и даже поэмъ, которымъ отдался съ увлеченіемъ по выходѣ изъ Лицея. Лицейскія стихотворенія Пушкина, дошедшія до насъ, представляютъ подражанія не только поэтамъ новой школы, Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, но и прежнимъ пѣвцамъ россійскаго Парнаса, Державину, Дмитріеву, Хераскову, Богдановичу и др. Слѣдуя послѣднимъ, Пушкинъ порывается овладѣть эпическими формами полушуточныхъ, полуисторическихъ поэмъ, въ родѣ Бовы, Руслана и Людмилы, пользуясь русскими сказками и древнѣйшей русской исторіей, въ которой лицеистъ Пушкинъ наиболѣе успѣвалъ, какъ и въ словесности. Онъ уже соединилъ въ своемъ звучномъ, легкомъ стихѣ черты поэзіи Державина съ новыми направленіями,— чѣмъ и отличился на публичномъ актѣ Лицея въ 1815 году, въ присутствіи маститаго, 72-лѣтняго старца Державина, ожившаго при звукахъ Пушкинскихъ „Воспоминаній въ Царскомъ Селѣ". Старый поэтъ, пѣвецъ Фелицы, уже на краю своей могилы бросился обнимать будущаго славнаго юношу за его оду, въ которой чуялись свѣ-

[1]) Всѣ ссылки на сочиненія А. С. Пушкина сдѣланы нами по извѣстному полному изданію „Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ": „Сочиненія А. С. Пушкина", 6 томовъ, 1887 г.

жія, новыя силы. Эту трогательную сцену въ историческихъ воспоминаніяхъ русской литературы Пушкинъ изобразилъ въ посланіи „Къ Жуковскому“ 1817 г. и въ восьмой пѣснѣ „Евгенія Онѣгина“:

И блѣдной зависти предметъ неколебимый (Карамзинъ)
Привѣтливымъ меня вниманьемъ ободрилъ;
И Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой похвалилъ,
И славный старецъ нашъ, царей пѣвецъ избранный (Державинъ),
Крылатымъ геніемъ и граціей вѣнчанный,
Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой
И счастье мнѣ предрекъ, незнаемое мной (I, 163).
Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
И, въ гробъ сходя, благословилъ (III, 382).

Здѣсь умѣстно окинуть хотя бѣглымъ взглядомъ исторію русской поэзіи, не имѣвшей правильнаго развитія въ вѣка, предшествующія XVIII-му, чтобы понять связь и послѣдующихъ высокихъ произведеній „завѣтной лиры“ А. С. Пушкина съ исторіей русской поэзіи, русской литературы, о которой нашъ народный поэтъ всегда любилъ думать, равно останавливаясь на Ломоносовѣ и Словѣ о Полку Игоревѣ, на Карамзинѣ и лѣтописяхъ, на балладахъ Жуковскаго и на народныхъ пѣсняхъ, сказкахъ и преданьяхъ. Замѣчу здѣсь, что моей задачей будетъ не біографія А. С. Пушкина, которую мы найдемъ скоро во всѣхъ подробностяхъ его многочисленныхъ и живыхъ отношеній ко времени, ни его проникновенія въ западно-европейскую жизнь и литературу, которыя изложатъ и оцѣнятъ знатоки европейской поэзіи, а только внутреннее отношеніе поэзіи Пушкина къ предшествующей русской поэзіи.

I.

Русская поэзія, какъ непрерывное литературное явленіе, считаетъ за собою не болѣе двухъ-трехъ вѣковъ развитія изъ исполнившейся уже тысячелѣтней исторіи славяно-русской литературы. Старая русская письменность и книжность только въ XVI—XVII вѣкахъ дали образцы опредѣленнаго стихосложенія въ двухъ рѣзко расходившихся направленіяхъ: въ старомъ пѣсенномъ направленіи, образцомъ котораго было и Слово о Полку Игоревѣ — единственный цѣльный

памятникъ въ этомъ отношеніи и отраженіе его въ Задонщинѣ, въ складной рѣчи лѣтописныхъ повѣствованій по народной памяти, въ простонародныхъ словахъ поученій, повѣстей, въ замѣчательномъ „Горѣ-Злосчастіи"—единственномъ памятникѣ разсматриваемаго перваго направленія XVII вѣка, и рядомъ въ другомъ направленіи XVII-го,—начала XVIII-го вѣка, подражательномъ, закованномъ въ школьный силлабическій стихъ Симеона Полоцкаго и его южнорусскихъ и западнорусскихъ предшественниковъ не старѣе начала XVI-го вѣка (первый опытъ, едва ли не Скорины 1517—1519 гг.). Симеонъ Полоцкій своей риѳмотворной Псалтырью оказалъ большое вліяніе: Кантемиръ такими же силлабическими стихами пишетъ свои талантливыя сатиры, столь же уродливыя по формѣ, какъ новые стихи Тредьяковскаго, впервые уразумѣвшаго значеніе тоническаго народнаго стихосложенія. Пушкинъ не разъ бралъ подъ свою защиту несчастную фигуру „камердинера профессора Тредьяковскаго" (VII, 287), съ его неуклюжими собственнаго изобрѣтенія стихами, съ его положеніемъ въ качествѣ придворнаго свѣтскаго поэта въ эпоху временщиковъ: „вы оскорбляете человѣка, пишетъ Пушкинъ въ 1835 г., достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей" (VII, 389); „изученіе Тредьяковскаго приноситъ болѣе пользы, нежели изученіе прочихъ нашихъ старыхъ писателей. Сумароковъ и Херасковъ вѣрно не стоятъ Тредьяковскаго... Любовь его къ Фенелонову эпосу дѣлаетъ ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выборъ стиха доказываютъ необыкновенное чувство изящнаго. Въ Телемахидѣ находится много хорошихъ стиховъ и счастливыхъ оборотовъ, въ родѣ: „Корабль Одиссеевъ Бѣгомъ волны дѣля, Изъ очей ушелъ и сокрылся" (V, 225).

Пушкинъ не разъ задумывался о началѣ русской словесности, указывая, что „Тредьяковскій *одинъ* понимающій свое дѣло" (V, 252). „Вліяніе Тредьяковскаго уничтожается его бездарностью, вліяніе Кантемира уничтожается Ломоносовымъ". Онъ чувствуетъ, что если русская словесность и рождается только при Елизаветѣ, въ лицѣ „великаго человѣка" Ломоносова, безсмертнаго пѣвца (I, 165), однако не вдохновеннаго поэта, наложившаго своей теоріей о слогѣ тяжелыя узы на русскую словесность (V, 221—222), блиставшаго болѣе духовными одами, чѣмъ „должностными на высокоторжественные дни", тѣмъ не менѣе народная поэзія и старинные памятники,—„эти сказки, пѣсни, пословицы, произведенія лукавой насмѣшливости ско-

мороховъ и Лѣтописи, Посланія царскія, Пѣснь о Полку, Побоище Мамаево, затѣи нашей старой комедіи достойны любопытства и благоговѣнія". Пушкинъ не разъ даетъ доказательства въ своихъ замѣчаніяхъ о старыхъ русскихъ памятникахъ глубокаго пониманія стариннаго русскаго языка, настоящей поэзіи въ устной народной словесности. Подражательность иноземной словесности, напримѣръ, въ лицѣ Сумарокова, Пушкинъ осуждаетъ въ сильныхъ порицаніяхъ: „Ты-ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ!" (I, 164). Въ статьѣ „О драмѣ" (1830 г.) Пушкинъ ставитъ Озерова съ его попыткою дать трагедію народную выше Сумарокова: „Сумароковъ несчастнѣйшій изъ подражателей. Трагедіи его, исполненныя противосмыслія, писанныя варварскимъ изнѣженнымъ языкомъ, нравились двору Елисаветы, какъ новость, какъ подражанія парижскимъ увеселеніямъ. Сіи вялыя, холодныя произведенія не могли имѣть никакого вліянія на народное пристрастіе". Въ библіотекѣ свѣтской дамы до появленія Исторіи Карамзина „не было ни одной русской книги, говоритъ Пушкинъ въ „Рославлевѣ„ кромѣ сочиненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не раскрывала" (IV, 111). Но пѣсенки, притчи и даже трагедіи Сумарокова, въ которыхъ женщина впервые заговорила о себѣ, знали русскія дворянки конца XVIII в. и выдержки изъ нихъ вносились въ пѣсенники и въ другіе литературные сборники XVIII вѣка. Въ „Трудолюбивой Пчелѣ" Сумарокова, первомъ общественномъ журналѣ 1759 г., впервые явились и стихи русскихъ поэтессъ.

Отзывы Пушкина о Державинѣ разнообразны, но существенныя мнѣнія выражены въ письмахъ 1825 г.: „кумиръ Державина $^1/_4$ золотой, $^3/_4$ свинцовый... Этотъ чудакъ не зналъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка (вотъ почему онъ и ниже Ломоносова) — онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ, ни о гармоніи—ни даже о правилахъ стихосложенія. Вотъ почему онъ и долженъ бѣсить всякое разборчивое ухо. Онъ не только не выдерживаетъ оды, но не можетъ выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Что же въ немъ? — мысли, картины и движенія истинно поэтическія; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный переводъ съ какого-то чуднаго подлинника. Ей-Богу его геній думалъ по-татарски—а русской грамоты не зналъ за недосугомъ. Державинъ, современемъ переведенный, изумитъ Европу, а мы изъ гордости народной не скажемъ всего, что мы знаемъ о немъ (не говоря уже о его министерствѣ); у Державина дол-

жно сохранить будетъ одъ восемь да нѣсколько отрывковъ, а прочее сжечь. Геній его можно сравнить съ геніемъ Суворова" (VII, 133). Этотъ отзывъ не преувеличенъ, если вникнуть въ значеніе русской оды, которая началась Ломоносовымъ и кончилась Пушкинымъ. Исторія русской оды—это выдающаяся страница исторіи русской поэзіи и даже русской исторіи, или русскаго самосознанія. Ода являлась передовой мыслію русскаго общества, уясняла событія времени, предшествовала Исторіи Карамзина. Подъ перомъ Пушкина она уже явилась лучшимъ выраженіемъ международной политики.

На первыхъ порахъ одѣ выпала благодарная роль въ русской поэзіи XVIII в. Естественно ожидать несовершенства оды и первые робкіе шаги въ звучныхъ стихахъ Ломоносова, который создавалъ литературный языкъ и стихъ, боролся съ народной стихіей и соразмѣрялъ русскій литературный церковно-славянскій стиль. Религіозное настроеніе, научные взгляды на природу, восторгъ передъ Великимъ Преобразователемъ придаютъ искренность и какую-то теплоту искусственнымъ стихамъ Ломоносова, съ его подражательной манерой смотрѣть на все глазами классическаго міра, его миѳологіи и героевъ. Поэты школы Ломоносова явились въ обиліи; но не имѣли силъ возвыситься до научнаго восторга, не имѣли почвы полународной, полуцерковной, на которой выросъ съ дѣтства ихъ великій учитель, предписавшій удерживать тривіальность рѣчи высокой церковнославянской и искусственной періодической рѣчью. Но Державинъ вдохнулъ жизнь въ оду, соединивъ ее съ своими неподдѣльными анакреонтическими любовными пѣснями и сатирическими очерками, во вкусѣ Кантемира. Пѣсни застольныя, любовныя посланія создали простой естественный языкъ, уже воздѣланный Сумароковымъ и другими пѣснописцами и баснописцами, особенно Хемницеромъ. Державинъ довелъ эту форму естественной поэзіи до возможнаго въ XVIII вѣкѣ совершенства. Ломоносовскую форму оды онъ сблизилъ съ русской народной поэзіей, насколько понимали ее друзья Державина, — Хемницеръ, Капнистъ, Львовъ, — и издатели народныхъ пѣсенниковъ, Новиковъ, Чулковъ, Поповъ и друг. Въ этомъ же направленіи развивались и отношенія Державина къ современной жизни, которую поэтъ охватывалъ новымъ свободнымъ окомъ, сливая съ обширнымъ кругомъ русскаго образованнаго общества и давая русской литературѣ извѣстный тонъ. Кромѣ Ломоносовскихъ мотивовъ въ поэзіи Державина прибавляются глубокія размышленія о жизни и смерти,

о счастьѣ, спокоѣ и о должностяхъ гражданина съ указаніемъ противоположныхъ явленій: суеты, неправды, легкомыслія и пороковъ. Стихи Державина достигли такого совершенства, что ихъ клали на музыку и распѣвали, какъ романсы. Съ лучшихъ одъ своихъ Державинъ достигъ сжатости слога, пріятной для воспріятія читателя, подборомъ краткихъ опредѣленій. Послѣ господства ритма и періодичности рѣчи, въ пользу которой допускались и ломанныя формы и неправильное растянутое расположеніе словъ, легкіе и сильные стихи Державина были большимъ успѣхомъ въ развитіи русской поэзіи. Его вліяніе на послѣдующихъ двигателей въ этой области, Жуковскаго и Пушкина, несомнѣнно. Стоитъ для образца прочесть оду 1797 г. „Безсмертіе души", чтобы видѣть особенности слога Державина: „Умолкни, чернь непросвѣщенна (поэтическій образъ, повторяющійся у Пушкина)... Духъ тонкій, мудрый, сильный, сущій, Въ единый мигъ и тамъ, и здѣсь, Быстрѣе молніи текущій Всегда, вездѣ и вкупѣ весь. Неосязаемый, незримый, Въ желаньи, въ памяти, въ умѣ... Духъ, чувствовать внимать способный, Все знать, судить и заключать; Какъ легкій прахъ, такъ міръ огромный". Даже аллегорическія фигуры въ поэзіи Державина, въ родѣ Борея: „Съ бѣлыми Борей власами и съ сѣдою бородой, Потрясая небесами, облака сжималъ рукой", или алчной блѣдной смерти съ колоколомъ-стономъ, съ когтями Асмодея Жуковскаго, гармонируютъ съ излюбленными формами скульптуры и архитектуры Екатерининскаго времени. Стихійное начало, военные громы, гиперболическіе образы природныхъ явленій въ безграничныхъ сферахъ міроваго пространства, которыя Ломоносовъ обнималъ умомъ ученаго естествоиспытателя XVIII в. школы Лейбница и Вольфа, остались особенностями и одъ Державина—религіозныхъ, философскихъ, одъ на случаи смерти сподвижниковъ Екатерины II. Такъ точно и хвалы, расточаемыя поэтомъ Фелицы начинаніямъ императрицы, ея гуманности, облекаются въ образы фантастическіе и прекрасные, привлекательные и возвышенные. Въ этихъ одахъ устанавливалась нравственная связь подданнаго съ правительствомъ, уравнивающая всѣхъ, начиная съ вельможъ, — съ ихъ недостатками предъ лицемъ монархини. Свободный голосъ поэта пришелся по вкусу времени и навсегда остался удивительнымъ памятникомъ литературной смѣлости. Послѣ Державина и немногихъ произведеній Пушкина ода окончила свое существованіе, какъ выдающееся въ литературѣ явленіе. Безчисленные одописцы были осмѣ-

яны Дмитріевымъ въ „Чужомъ Толкѣ“, который подмѣтилъ и неестественность восторга передъ газетными реляціями, и неестественность самаго идеала придворнаго поэта-одописца, друга меценатовъ.

Такая же судьба выпала на долю басни, остановившейся послѣ успѣховъ Крылова. Пушкинъ не писалъ басенъ: мало признавалъ значенія за Дмитріевымъ и высоко ставилъ одного Крылова. Уже въ 1822 г. Пушкинъ писалъ: „англійская словесность (т. е. въ лицѣ Байрона и др.) начинаетъ имѣть вліяніе на русскую. Думаю, что оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной. Тогда нѣкоторые люди упадутъ, и посмотримъ, гдѣ очутится Ив. Ив. Дмитріевъ съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Флоріана и Легуве“ (VII, 34). Въ 1825 году Пушкинъ признавалъ только Державина и Крылова — геніями, талантами (VII, 116). Послѣдняго Пушкинъ ставилъ выше Лафонтена (V, 30). Крыловъ являлся истинно-народнымъ поэтомъ, а народность Пушкинъ ставилъ высоко и прежде всего въ области литературнаго языка, въ которой отдавалъ должное и Ломоносову. Басни и развивавшіяся съ ними сказки (contes) сослужили въ русской литературѣ важную службу въ проведеніи простонародныхъ сюжетовъ, типовъ, выраженій, начиная съ Сумарокова, Хемницера, до искусственной простоты Измайлова и естественнаго выраженія духа нашего народа у Крылова „въ веселомъ лукавствѣ ума, насмѣшливости и живописномъ способѣ выражаться“ (V, 30). Басни Крылова превзошли всѣ предыдущія не только совершенствомъ языка и стиха; но и движеніемъ разсказа, его картинностью и сжатостью. Творчество Крылова можно вполнѣ сопоставить съ творчествомъ Пушкина по отношенію къ поэтамъ не только XVIII в., но и XIX в. Басни уже въ 20-хъ годахъ сдѣлались любимыми народными книгами („Евгеніи Онѣгинъ“, V гл.).

Заслугой Пушкина по отношенію къ начинаніямъ XVIII вѣка является поднятіе поэмы. И первая поэма его „Русланъ и Людмила“ тѣсно связана съ предшествующими несовершенными опытами Хераскова, Богдановича, Майкова, Карамзина и Радищева. Херасковъ заслужилъ славу русскаго Гомера поэмами „Россіада“, „Владиміръ“, „Бахаріяна или Неизвѣстный“ (1803 г.) и друг. Поэмы Хераскова проникнуты серіознымъ нравственнымъ содержаніемъ, но никакъ—не историческимъ и не народно-бытовымъ, хотя и по содержанію, и по пособіямъ связаны съ русской исторіей, съ старинной народной поэзіей. Въ третьемъ изданіи „Владиміра“ и въ „Бахаріянѣ“ Хера-

сковъ съ восторгомъ относится къ Слову о Полку Игоревѣ, признавая и въ неизвѣстномъ авторѣ его и въ Баянѣ—пѣвца равнаго Гомеру, Оссіану и всѣмъ остальнымъ творцамъ европейскихъ поэмъ, которымъ подражалъ Херасковъ. Это подражаніе, чисто внѣшнее хаотическое смѣшеніе русскихъ подробностей съ заимствованными—иностранными, подражаніе Ломоносову въ построеніи стиха и въ употребленіи церковно-славянскихъ выраженій отнимаетъ всякое достоинство въ поэмахъ Хераскова, мѣстами указывающихъ на стремленіе къ простотѣ языка и стиха, на чувство природы. Для изучающихъ Пушкинскія поэмы не лишены значенія „Владиміръ“ и „Бахаріяна“, въ которыхъ находимъ имена рыцарей или витязей: жестокаго Рогдая, Зарему, старца, помогающаго совѣтами герою [въ „Бахаріянѣ“ (стр. 28), напримѣръ, старецъ говоритъ Неизвѣстному: „вижу, что въ цвѣтущей юности чашу горести ты пилъ,—мой сынъ!.. ахъ! я самъ несчастенъ въ жизни былъ“], отыскивающему похищенную красавицу, поле, покрытое побитою ратью, оживленіе пораженнаго, любовь старухи, и проч. Нельзя не замѣтить вообще, что наши первые романтики пользовались произведеніями своихъ предшественниковъ—ложноклассиковъ, выбирая изъ послѣднихъ, безъ всякой критики, имена и подробности для характеристики русскаго быта и исторіи. Отсюда связь поэмъ, балладъ и сказокъ Карамзина, Каменева (Громвалъ, Зломоръ взяты изъ „Бахаріяны“ Хераскова), Жуковскаго, Пушкина и другихъ съ поэмами и сказками Хераскова, Богдановича, Дмитріева и друг. Шутливая поэма Богдановича „Душенька“ (1783 г.), его пословицы, идилліи, эклоги и драмы нравились Пушкину, о чемъ онъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ въ III главѣ „Евгенія Онѣгина“: „будутъ милы, какъ прошлой юности грѣхи, какъ Богдановича стихи“. Кто не вспомнитъ чудныхъ стиховъ Пушкина въ слѣдующемъ мѣстѣ изъ „Душеньки“ Богдановича (1844 г., стр. 30):

Гонясь за нею волны тамъ,
Толкаютъ въ ревности другъ друга,
Чтобъ, вырвавшись скорѣй изъ круга,
Смиренно пасть къ ея ногамъ.

(Ср.: „Съ любовью лечь къ ея ногамъ“. Евгеній Онѣгинъ, гл. I, XXXIII, т. III, 248).

Кромѣ легкости стиховъ, вліяніе „Душеньки“ отразилось на характерѣ Людмилы въ поэмѣ Пушкина. Такъ, въ поэмѣ Финна отразилась „Пѣснь храбраго шведскаго рыцаря Гаральда“, въ чудномъ отрывкѣ „Осень“ 1830 г. нѣкоторый намекъ на „Эклогу“ Богдановича: „Уже осенніе морозы гонятъ лѣто, И поле зеленью пріятною одѣто, Теряетъ прежній видъ, теряетъ всѣ красы“, и проч. Разнообразіе поэтическихъ размѣровъ, легкость языка отличаютъ вообще произведенія Богдановича, что было имъ достигнуто изученіемъ народнаго языка и передѣлкой пословицъ. Приведемъ слѣдующее двустишіе, напоминающее стихи Жуковскаго:

Женился Данила на скорую руку,
На долгое горе, терпѣнье, да муку.
(Сочиненія, 1810 г., III, 234).

Въ драмѣ Богдановича „Славяне“ (1787 г.), отличающейся народнымъ языкомъ, находимъ Руслана, посла отъ Славянскаго двора къ Александру. Авторъ стремился, какъ самъ замѣтилъ, выставить „старое Новгородское нарѣчіе“, которымъ заставляетъ говорить слугъ, служанокъ, огородниковъ. Русланъ, герой драмы, влюбленъ въ Доброславу, съ которой и соединяется послѣ цѣлаго ряда препятствій. „Театральныя представленія на пословицы“ Богдановичъ написалъ тѣмъ простымъ, естественнымъ языкомъ, какой выработали авторы комедій и комическихъ оперъ XVIII вѣка, — эти предшественники Грибоѣдова и Гоголя. Можетъ быть, Пушкинъ и цѣнилъ Богдановича именно за эту простоту языка и назвалъ Русланомъ, по Богдановичевой драмѣ „Славяне“, своего героя.

Изъ шутливыхъ поэмъ XVIII вѣка Пушкинъ хвалилъ поэму Майкова „Елисей“ за истинно смѣшныя, уморительныя сцены—„полезныя для здоровья“ (VII, 50). Въ восьмой главѣ Евгенія Онѣгина поэтъ вспоминаетъ: „въ тѣ дни, когда въ садахъ Лицея я безмятежно расцвѣталъ, читалъ охотно Елисея, а Цицерона проклиналъ“ (III, 881), Это подражаніе Скаррону, на границѣ между непечатными стихами Баркова и игриваго изображенія Олимпа, замѣчательно по изображенію простонародной жизни въ ея весельяхъ и крайностяхъ. Майковъ хорошо былъ знакомъ съ народными пѣснями, съ лубочными изданіями, съ городскимъ бытомъ народа. Поэма его осталась единственной въ своемъ родѣ. Въ такомъ же стилѣ явились шутливыя сказки

Жуковскаго и Пушкина. Баснописецъ Дмитріевъ, соединявшій въ своемъ лицѣ и направленіи два поколѣнія русскихъ писателей стараго и новаго направленія, написалъ нѣсколько произведеній игривыхъ, которыя примыкаютъ къ шутливымъ поэмамъ XVIII вѣка. Это т. н. сказки: Волшебные замки, Причудница, Модная жена, Карикатура и др. Въ „Причудницѣ" мы находимъ слѣдующіе стихи, повторенные молодымъ Пушкинымъ:

Я жизнь мою во скукѣ трачу:
Настанетъ день, тоскую, плачу;
Покроетъ ночь, опять грущу,
И все чего-то я ищу.

Въ элегіи Пушкина 1816 г. „Разлука", передѣланной въ 1826 г., подъ названіемъ „Уныніе", находимъ повтореніе стиховъ Дмитріева:

Но я унылъ и втайнѣ я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною—
Я все тебя, прелестный другъ, ищу (I, 141).

Вставочный разсказъ Дмитріева въ „Причудницѣ" о драгунскомъ ротмистрѣ Брамербасѣ, „бывшемъ столько лѣтъ въ Малороссійскомъ краѣ игралищемъ злыхъ вѣдьмъ" (на немъ, обращенномъ въ коня, вѣдьма разгуливала до полуночи), развивается у Пушкина въ веселомъ несравненномъ разсказѣ „Гусаръ", имѣющемъ что-то общее съ „Віемъ" Гоголя. Нельзя не удивляться тому, какъ умѣлъ усовершенствовать свой стихъ и языкъ Дмитріевъ, пройдя длинный путь развитія отъ тяжелыхъ одъ до легкихъ сказокъ, басенъ, пѣсенъ. „Гласъ патріота на взятіе Варшавы" Дмитріева ниже одъ Державина, но Жуковскій въ 1831 г. вспоминаетъ Дмитріева и приводитъ отрывки изъ „Гласа патріота", въ то время, когда и Пушкинъ вдохновляется одами „Клеветникамъ Россіи" и „Бородинской годовщиной". Мы уже приводили отзывъ Пушкина о Дмитріевѣ, какъ баснописцѣ. Но молодой поэтъ цѣнилъ, какъ и его современники, старика Дмитріева за образцовый слогъ (I, 174). Особенно нравилась Пушкину сказка Дмитріева „Модная жена"—„сей прелестный образецъ легкаго и шутливаго разсказа" (V, 122), прелестная баллада Дмитріева (Карикатура, IV, 72), и вообще ему нравились „прелестныя сказки Дмитріева"

(V, 126). Наблюденія Дмитріева надъ русской жизнью, хотя и не полныя, отрывочныя, выразившіяся въ „Чужомъ Толкѣ“ и въ сатирическихъ сказкахъ, не могли пройти безъ вліянія на Пушкина. Такъ повліяли, конечно, на нашего поэта и остроумныя эпиграммы Дмитріева на стихотворцевъ—эти образцы литературной критики XVIII в. и начала XIX. Нельзя не упомянуть и о „Карманномъ пѣсенникѣ или собраніи лучшихъ свѣтскихъ и простонародныхъ пѣсенъ“, изданныхъ Дмитріевымъ, въ Москвѣ, въ 1796 г. Подобно Чулкову и Новикову Дмитріевъ соединилъ хорошія простонародныя пѣсни съ искусственными XVIII в., помѣстивъ и свои пѣсни, и Карамзина, и Державина, и другихъ. Подражаніе этимъ народнымъ пѣснямъ и сказкамъ, изданнымъ въ сильно искаженномъ видѣ Чулковымъ и Новиковымъ, подъ названіемъ „Русскія сказки“, и проч. 1780 — 83 гг., охватываетъ Львова (Добрыня, богатырская пѣсня, изд. 1804 г.), Карамзина (Илья Муромецъ, 1794 г.), Радищева (Альоша Поповичъ, богатырское пѣснопѣніе, 1801 г.) и др.

„Русскія сказки, содержащія древнѣйшія повѣствованія о славныхъ богатыряхъ, сказки народныя, и прочія оставшіяся черезъ пересказываніе въ памяти приключенія“, изданныя въ 10 частяхъ Новиковымъ въ 1783 г., имѣли для писателей, занимавшихся сюжетами изъ русской полуисторической, полусказочной старины, то же значеніе, что „Древнія Россійскія стихотворенія“ (съ 1804 года и особенно съ 1819 г.), или сборникъ богатырскихъ былинъ и старыхъ пѣсенъ Кирши-Данилова; такъ какъ „Илья Муромецъ“ Карамзина, „Альоша Поповичъ“ Радищева, баллады Жуковскаго „Громобой“ и Каменева „Громвалъ“ связаны такъ или иначе съ лицами и подробностями этихъ сказокъ. Поэма Пушкина „Русланъ и Людмила“, отражающая вліяніе сборника Кирши-Данилова многими подробностями и непосредственно, и черезъ поэмы Радищева, Карамзина и др., связана также съ Русскими сказками 1780—83 гг. Сказки, изданныя Новиковымъ, были повторены третьимъ изданіемъ въ 1820 г., съ нѣкоторыми сокращеніями, передѣлкой и дополненіями. Пушкинъ, находясь на югѣ, въ 1821 г. просилъ выслать ему нѣсколько частей Русскихъ Сказокъ. По всей вѣроятности, ему и были присланы или Сказки изд. 1783 г., или 1820 г Отличія послѣднихъ отъ перваго изданія заключаются въ трехъ живыхъ дѣйствительно народныхъ анекдотахъ: о ворѣ Тимошкѣ, о цыганѣ и о ворѣ Ѳомкѣ. Это уже первые опыты изложенія народныхъ сказокъ въ новомъ почти неукрашенномъ видѣ, исключая слога,

который сглаженъ въ литературномъ стилѣ. Не то представляютъ т. н. народныя сказки въ первомъ изданіи 1780 — 83 гг. Это въ полномъ смыслѣ волшебныя исторіи въ родѣ 1001 ночи, въ которыхъ имена русскихъ богатырей, историческія названія древней Руси, фразы изъ былинъ и народныхъ сказокъ, — преимущественно о типичной Бабѣ-Ягѣ, ея жертвахъ и Кощеѣ, утопаютъ въ смѣси заимствованныхъ и выдуманныхъ подробностей и лицъ. Тутъ находимъ и злыхъ волшебницъ, волшебниковъ, появляющихся въ облакахъ съ громомъ, въ тучахъ, какъ Пушкинскій Черноморъ и именно съ цѣлью похищенія красавицъ и добродѣтельныхъ волшебницъ — Добрадъ, Велеславъ, — помогающихъ героямъ Булатамъ, Громобоямъ, Алешамъ, Чуриламъ или Добрынямъ, связаннымъ съ кн. Владиміромъ и Кіевомъ. Но послѣдній окруженъ очарованными домами, замками. Вообще подробности быта болѣе подходятъ къ французскимъ нравамъ XVII — XVIII вв., взятымъ изъ сказокъ Гамильтона, Флоріана, Лафонтена, чѣмъ къ русскимъ, столь типичнымъ уже въ изд. 1820 г., въ трехъ названныхъ сказкахъ. Всѣмъ извѣстенъ характеръ сказокъ о царевичѣ Хлорѣ или Февеѣ, изложенныхъ съ нравоучительной цѣлью Екатериной II. Напрасно мы будемъ искать слѣдовъ такихъ подробностей этихъ сказокъ, какъ сынъ Разсудокъ, Роза безъ шиповъ, добродѣтель, въ какихъ-либо народныхъ сказкахъ. Къ этимъ аллегорическимъ, морально-сатирическимъ фигурамъ т. н. народныхъ сказокъ и особенно любимыхъ богатырскихъ сказокъ, присоединяются въ изданіяхъ-передѣлкахъ XVIII вѣка и въ началѣ XIX вѣка еще превращенія ложноклассическихъ подробностей стиля, воззрѣній въ т. н. русскія—старинныя: Фебъ уравнялся съ Свѣтовидомъ, Лада съ Венерой, Лель съ Купидономъ, Полель съ Гименомъ и т. п. Всѣ эти новыя подробности составители народныхъ сказокъ XVIII вѣка объясняли изъ рукописныхъ сборниковъ былинъ и сказокъ, изъ хронографовъ и временниковъ, изъ иностранныхъ пособій по исторіи Россіи: скандинавскихъ сагъ, византійскихъ лѣтописцевъ. Благо, что академики XVIII вѣка издали и византійскихъ историковъ, и лѣтописи и отрывки изъ хронографовъ. Русскіе повѣствователи не могли еще свыкнуться съ различіемъ между былиннымъ Тугорканомъ и Полифемомъ, между Рогнѣдой и Баяной или Миланой. Вотъ почему и наши классическіе писатели, бравшіеся за поэмы изъ русской исторіи, слѣдовали или Хераскову, или соединяли матеріалы, какъ умѣли (такъ поступилъ и Пушкинъ въ Русланѣ и Людмилѣ), или совсѣмъ

бросали планы русскихъ поэмъ изъ времени Владиміра св., или князей язычниковъ, задуманные Жуковскимъ и даже Пушкинымъ.

Мы позволимъ себѣ отмѣтить и еще нѣкоторыя черты „Русскихъ Сказокъ“ 1783 г. и ихъ вліяніе на русскихъ авторовъ сказокъ, поэмъ, балладъ. Львовъ, авторъ „Добрыни богатырской пѣсни“, напечатанной только въ 1804 г., несомнѣнно пользовался Русскими Сказками, раздѣляя съ ними объясненіе Феба или Аполлона — Свѣтовидомъ. Эта пѣсня Львова такое же недоконченное шутливое подражаніе народнымъ мотивамъ, какъ и ранѣе написанная сказка Карамзина, или „Богатырская пѣснь Илья Муромецъ“ 1794 г. Вспоминая дѣйствительно народныя сказки „своихъ покойныхъ мамушекъ“ и ставя ихъ выше греческой и римской миѳологіи, какъ доставляющихъ также удовольствіе „въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ“, Карамзинъ разсказываетъ пробужденіе красавицы, очарованной злымъ хитрымъ волшебникомъ Черноморомъ (отсюда Пушкинскій волшебникъ въ Русланѣ и Людмилѣ) посредствомъ талисмана доброй Волшебницы Велеславы. Этотъ разсказъ нѣжной встрѣчи Ильи Муромца съ витяземъ-женщиной изложенъ почти-что въ стилѣ „Русскихъ Сказокъ“ 1783 г. Кромѣ Черномора мимоходомъ Карамзинъ упоминаетъ Людмилу изъ своей болѣе ранней баллады „Раиса“ 1791 г., повторенную Жуковскимъ и Пушкинымъ въ Русланѣ и Людмилѣ. „Герой древности молодой богатырь Илья Муромецъ“ не удался Карамзину, такъ какъ у него не было подъ рукой еще даже и былинъ Кирши-Данилова 1804 г. и 1819 г. Въ послѣднемъ изданіи, въ предисловіи было указано важное значеніе для сужденія о древности богатырскихъ пѣсенъ и др. Баллада Каменева „Громвалъ“ 1804 г. вполнѣ покрывается подробностями „Русскихъ Сказокъ“ 1783 г. Здѣсь находимъ и богатыря Громвала, и коварнаго злобнаго волшебника Зломара, похитившаго Рогнеду, и добрую волшебницу, являющуюся въ видѣ лебеди, и чудесное возвращеніе похищенной. Мы уже имѣли случай ранѣе[1]) указать повтореніе подробностей „Русскихъ Сказокъ“ 1783 г. въ сочиненіяхъ Н(иколая) Р(адищева), подъ названіемъ „Альоша Поповичъ богатырское пѣснотвореніе“ 1801 г. и „Чурила Пленковичъ“, часть вторая 1801 г. и отношеніе поэмъ Радищева къ Руслану и Людмилѣ. Радищевъ воспользовался и Ильей Муромцемъ Карамзина и Русскими Сказками; но, по всей вѣроятности, Пушкинъ

[1]) Университетскія Извѣстія 1895 года, Кіевъ, № 6—іюнь.

читалъ самостоятельно и послѣднія, такъ какъ въ „Сказкахъ“ 1783 г. (часть IX) находимъ поле, покрытое мертвыми человѣческими костями, и среди нихъ богатырскую голову, подъ которой лежалъ великій мечъ (стр. 206), сильный чохъ, потрясшій облака, борьбу съ чародѣемъ, поднявшимся на воздухъ, появленіе похитителя съ громомъ въ низпадшемъ облакѣ, чудное заключеніе красавицы, шапку-невидимку, финновъ, и проч.

„Русскія Сказки“ дали начало и русскимъ повѣстямъ. Такъ, первый русскій романистъ Нарѣжный издалъ въ 1809 году повѣсти, подъ названіемъ „Славенскіе вечера“, заимствовавъ содержаніе и героевъ изъ „Сказокъ“ 1783 года. Здѣсь въ отдѣльныхъ разсказахъ появляются Громобой и Миловзора, Рогдай, Велесилъ — витязи Владиміра князя, Любославъ и къ нимъ присоединены въ томъ же стилѣ повѣсти о Кіѣ и Дулебѣ, Рогволодѣ. Историческія повѣсти Нарѣжнаго, какъ его поэмы 1798 г. (Брега Альты, Освобожденная Москва, Пѣснь Владиміру кіевскихъ баяновъ и др.), трагедія 1804 г. (Димитрій Самозванецъ) примыкаютъ вполнѣ къ ложно-классическимъ образцамъ Хераскова, Чулкова и Новикова. Достаточно указать, что въ повѣсти „Любочестъ“ герои изъ временъ Владиміра и печенѣговъ ведутъ романическую переписку, изъясняются языкомъ историческихъ трагедій Сумарокова. Карамзинъ, какъ увидимъ далѣе, самъ раздѣлялъ отчасти эти недостатки историческихъ повѣстей, что проявилось въ „Натальѣ, боярской дочери“ 1792 г. и въ меньшей степени въ „Марѳѣ Посадницѣ“ 1803 г. Первая повѣсть Карамзина имѣетъ предисловіе, въ которомъ авторъ прямо связываетъ происхожденіе своей „были или *исторіи*“ со сказками, слышанными отъ бабушекъ, одна изъ которыхъ (пра-прабабушка въ XVI—XVII вв.) „почти всякой вечеръ сказывала сказки царицѣ NN.“. Многое въ этой первой повѣсти Карамзина въ народно-историческомъ стилѣ напоминаетъ русскія сказки 1783 г. или „Приключенія“ Новикова 1785 г. съ его Фроломъ Скобѣевымъ и вообще тѣ рукописныя сказки-повѣсти, которыя обращались съ XVII вѣка въ связи съ переводными. Подражатели Карамзина въ этомъ направленіи и даже Жуковскій въ „Марьиной рощѣ“ 1809 г. стоятъ ниже Карамзина. Неизвѣстный авторъ „Ольги“ 1803 г. разсказываетъ о князѣ Игорѣ, царствовавшемъ въ Новгородѣ, о Прекрасѣ, внукѣ Гостомысла.

Карамзину же принадлежитъ безплодное вліяніе на сентиментальные романы, подъ названіями „Несчастная Лиза“ кн. Долгору-

кова, 1811 г., „Несчастный Л. россійское сочиненіе“ 1803 г., „Марьина роща“ съ героями, взятыми изъ сказокъ 1783 г. Жуковскаго и др. Только маленькій разсказъ баснописца А. Измайлова „Бѣдная Маша. Россійская, отчасти справедливая повѣсть“ 1803 г., несмотря на сплетеніе трагическихъ условій, приближается къ реализму въ силу присущаго этому баснописцу таланта въ изображеніи простонародныхъ и городскихъ чиновничьихъ типовъ. Вліяніе Фонвизина сказывается въ названіи героевъ Простаковыми, Миловымъ; но новая Софья—конца XVIII—начала XIX вѣка—является не торжествующей съ своей добродѣтелью, а „бѣдной“, страдающей. Простая русская свадьба героини—со свахой, съ народными пѣснями,—разрѣшается обманомъ со стороны жениха, и городская героиня, несмотря на свою кротость и примиреніе во имя любви гибнетъ.

Опыты реальнаго романа, представленнаго Нарѣжнымъ и, безъ всякаго сомнѣнія, впервые возведеннаго на высоту художественнаго созданія Пушкинымъ, заключались не въ историческихъ и не въ сентиментальныхъ повѣстяхъ, а въ т. н. нравоучительныхъ романахъ и въ романахъ съ приключеніями. Здѣсь, быть можетъ, первое зерно, изъ котораго развился „Евгеній Онѣгинъ“, „Графъ Нулинъ“, „Повѣсти Бѣлкина“ и др. Въ 1799—1800 гг. баснописецъ Измайловъ издалъ романъ „Евгеній, или пагубныя послѣдствія дурного воспитанія“ (2 части). Это имя, только въ женской формѣ, тотчасъ же повторилось въ повѣсти Остолопова „Евгенія, или нынѣшнее воспитаніе“ 1803 г., „Евгенія или письма къ другу“ 1818 г. Опять черта, не лишенная значенія для исторіи происхожденія „Евгенія Онѣгина“. У „Евгенія“ Измайлова, погибшаго отъ недостатковъ воспитанія, такъ же, какъ у Евгенія Онѣгина, были распущенные французскіе гувернеры; оба героя проводятъ разсѣянную жизнь въ Петербургѣ, „убиваютъ время“. Небольшія подробности общаго характера исчерпываются именами и положеніями, къ которымъ слѣдуетъ отнести и возвращеніе героя Измайлова къ больной матери, Татьянѣ, по смерти которой Евгеній получаетъ наслѣдство, проматываетъ его, лишается невѣсты и умираетъ молодымъ. Зимняя поѣздка Евгенія въ столицу и ея описаніе до нѣкоторой степени соотвѣтствуютъ описаніямъ Пушкина. Конечно, все это только намёки на художественное развитіе романа у Пушкина.

При преобладающемъ количествѣ переводныхъ романовъ и повѣстей надъ немногими русскими повѣстями во второй половинѣ

XVIII в. и въ первой четверти XIX в. любопытны всякія проявленія реализма въ русской повѣсти. Поэтому здѣсь можно упомянуть и о слѣдующихъ произведеніяхъ въ этомъ родѣ: Похожденія Ивана Гостиннаго сына (1785 г.) Новикова, въ которыхъ находятся изображенія Святочныхъ вечеровъ и исторія Фрола Скобѣева—извѣстная повѣсть XVII вѣка. Но особенно замѣчательны романы и повѣсти Нарѣжнаго. Его большой романъ „Россійскій Жилблазъ или исторія жизни князя Гаврилы Симоновича Чистякова, его сына Никандра и семейная исторія помѣщика Простакова", вышедшій въ 1814 году, только въ 3 частяхъ вмѣсто 6-ти, несмотря на подражаніе Лессажу, представляетъ множество очерковъ семейной и общественной жизни начала настоящаго столѣтія и конца прошлаго. Мы не находимъ у Пушкина какихъ либо отзывовъ о повѣстяхъ Нарѣжнаго; но это еще не свидѣтельствуетъ о его незнакомствѣ съ такими выдающимися произведеніями своего времени, какъ „Бурсакъ" или „Два Ивана" Нарѣжнаго. Гоголь, такъ же, какъ и Пушкинъ, нигдѣ не упоминаетъ о Нарѣжномъ, имѣвшемъ для Гоголя значеніе несомнѣнное. Итакъ, въ области повѣсти и романа Пушкинъ имѣлъ уже предшественниковъ.

Намъ остается сказать о ложноклассической драмѣ. Пушкинъ наслѣдовалъ отъ нея только трагедію, драматическія сцены, присоединяя комическія сцены по образцу Шекспира, но не отдаваясь комедіи исключительно. Какая противоположность съ Фонвизинымъ и плеядой малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ комическихъ и сатирическихъ писателей XVIII вѣка, которые впервые возвели разговорную народную рѣчь въ обиходъ литературы. Черты этой народной рѣчи у комическихъ писателей XVIII в. отличаются такой же пестротой и разнообразіемъ, какъ во всякихъ неустановившихся новыхъ формахъ. Тутъ мы находимъ и болѣе или менѣе удачные опыты выбора и передѣлки народныхъ пѣсенъ, сказокъ, пословицъ въ ихъ живописныхъ выраженіяхъ, и обыденную рѣчь, случайно подхваченную въ народныхъ говорахъ, съ своеобразнымъ выговоромъ звуковъ. Кромѣ этой внѣшней формѣ рѣчи, комедіи и комическія оперы внесли въ русскую литературу богатое содержаніе народной жизни, напримѣръ, святочныхъ обрядовъ, свадебныхъ съ ихъ драматическимъ развитіемъ, и друг. Все это вмѣстѣ съ баснями, сказками давало почву для русскихъ балладъ, поэмъ, повѣстей и новой драмы въ стилѣ Шекспира, съ каковой и выступилъ такъ необычно Пушкинъ.

Намъ нѣтъ необходимости распространяться о трегедіи XVIII в. и ея продолженіи въ началѣ XIX в. съ нѣкоторыми измѣненіями. Начиная отъ Сумарокова до Озерова и Крюковскаго русская трагедія сохраняла одну и ту же ложноклассическую форму съ ея напыщенными торжественными положеніями, рѣчами, съ ея кровавыми, преувеличенными дѣйствіями, или, вѣрнѣе, выраженіями страстей.

Переходя теперь къ выдающимся писателямъ начала XIX вѣка ближайшимъ предшественникамъ Пушкина,—къ Карамзину, Батюшкову, Жуковскому,—мы сдѣлаемъ заключеніе о русской поэзіи XVIII вѣка. Ей недоставало законченности, устойчивости языка, формы и содержанія. Господство Ломоносовскаго преданія съ его славянизмами, растянутостью рѣчи не подрывалось предшественниками Карамзина конца XVIII в. и начала XIX. Карамзинъ въ концѣ прошлаго вѣка впервые далъ иные образцы для новой литературной рѣчи, выработанной просто и естественно только Пушкинымъ. Ложноклассическія формы литературы вымирали уже въ концѣ прошлаго вѣка: похвальныя торжественныя слова, оды, поэмы уступали мѣсто балладамъ, путешествіямъ, повѣстямъ, романамъ. Внѣшнія формы построенія и изложенія—искусственныя и натянутыя, всего болѣе подражательныя—смѣнились естественными и болѣе простыми формами. Содержаніе литературы въ такой же мѣрѣ упростилось и сблизилось съ жизнью. Литература XVIII в. по содержанію отличалась односторонностью, которая зависѣла и отъ отношеній писателя къ публикѣ—исключительно высшихъ классовъ, и отъ его кругозора. Карамзинъ сталъ вводить русскую публику въ интересы европейской жизни, Жуковскій—въ интересы новой европейской поэзіи; но оба писателя понимали значеніе народныхъ началъ и самобытности творчества, что и соединилъ въ величайшей степени Пушкинъ. Оцѣнивая русскую литературу XVIII в., не надо забывать ея историческаго значенія,—что сознавалъ и Пушкинъ. Къ приведеннымъ уже отзывамъ нашего поэта о литературѣ XVIII вѣка присоединимъ еще его замѣтки о Фонвизинѣ, Простаковыхъ котораго—„чету сѣдую, съ дѣтьми всѣхъ возрастовъ, считая отъ тридцати до двухъ годовъ“ (III, 333) Пушкинъ вывелъ въ V гл. „Евгенія Онѣгина“ среди деревенскихъ гостей Лариныхъ: „Недоросль—единственный памятникъ народной сатиры“ (V, 124); „со временъ Фонвизина мы не смѣялись“; (V, 292). „Не забудь Фонъ-Визина писать Фонвизинъ, пишетъ брату поэтъ въ 1824 г. Что онъ за нехристь? Онъ русскій, изъ перерусскихъ русскій“—(VII, 87). Въ

„Евгеніѣ Онѣгинѣ“ Пушкинъ закрѣпилъ значеніе Фонвизина въ слѣдующихъ стихахъ I-ой главы:

Волшебный край! Тамъ въ стары годы,
Сатиры смѣлый властелинъ,
Блисталъ Фонвизинъ, другъ свободы,
И переимчивый Княжнинъ.

Послѣднее оттѣняетъ самостоятельность творчества Фонвизина, что такъ цѣнилъ Пушкинъ и что признавалъ за немногими. Не разъ высказывалъ онъ сожалѣніе въ этомъ отношеніи даже по поводу литературной дѣятельности Жуковскаго, котораго глубоко уважалъ, какъ человѣка и какъ поэта. Такое же уваженіе Пушкинъ питалъ и къ Карамзину, увлеченный его Исторіей. Здѣсь мы уже имѣемъ дѣло съ современниками Пушкина, съ его живыми отношеніями къ Карамзину и Жуковскому.

Карамзинъ началъ свою литературную дѣятельность переводами и подражаніями, при чемъ стихотворная форма привлекала его, какъ многихъ писателей XVIII в. Онъ является однимъ изъ первыхъ русскихъ поэтовъ-балладниковъ: въ 1791 г. Карамзинъ написалъ балладу „Раиса“, въ которой обращаетъ вниманіе имя соперницы героини— „Людмилы“, воспѣтой Жуковскимъ, а еще ранѣе, въ 1789 г.— „Графъ Гвариносъ, древнюю гишпанскую историческую пѣсню“— предшественницу чуднаго „Сида“ Жуковскаго. Пѣсни Карамзина и легкія стихотворенія, въ формѣ посланій, описаній природы (временъ года), пользовались въ свое время вниманіемъ публики, но отступили на задній планъ въ дальнѣйшемъ развитіи его литературной дѣятельности.

Путешествіе заграницу дало другое направленіе дѣятельности Карамзина: онъ оставилъ стихи и сталъ писать прозой,—но такой, которая по своимъ совершенствамъ не уступала стихотворной рѣчи его современниковъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что русская проза впервые заговорила поэтическимъ изящнымъ легкимъ языкомъ подъ перомъ Карамзина. Особенно необыкновеннымъ явленіемъ для своего времени были „Письма русскаго путешественника“ 1791 г. Съ нихъ, можно сказать, русская литература сдѣлалась пріятнымъ повседневнымъ живымъ удовольствіемъ, живою мыслію русскаго общества. „Письма русскаго путешественника“ и журналы Карамзина

положили начало широкому распространенію литературныхъ и общечеловѣческихъ интересовъ. Все, что было въ русской литературѣ XVIII в. выдающагося,—все это какъ то неполно отражало жизнь и вкусы читателей. Теперь въ прозѣ Карамзина началось сближеніе между публикой и писателемъ, для котораго всякій читатель являлся близкимъ довѣреннымъ человѣкомъ, наравнѣ съ „любезными друзьями". Писатель подходилъ къ самымъ деликатнымъ вопросамъ жизни, къ сердцу читателя, которому повѣрялъ свои настроенія, увлеченія, желанія. Торжественныя реляціи, патріотическій жаръ, или сатира, смотрящая на русскую жизнь свысока, какъ законъ нравственности, составляющія особенность русской поэзіи XVIII в., смѣнились привлекательной грустью, кротостью, увлеченіемъ природой, естественной жизнью, представляемой въ рамкахъ сельской-деревенской простоты. Послѣдняя, впрочемъ, далеко отступила отъ грубой естественности народныхъ сценъ въ произведеніяхъ XVIII в. Получалось что-то новое: образы изъ жизни образованнаго класса, но облеченные въ костюмы добродѣтельныхъ крестьянъ, изъ переводныхъ романовъ. Такова „Бѣдная Лиза" 1792 г., произведшая необыкновенное впечатлѣніе на русскихъ молодыхъ читателей, какъ о томъ свидѣтельствуетъ интересное частное письмо 1799 года: „нынѣ прудъ здѣсь (въ Москвѣ у Симонова монастыря, гдѣ погибла героиня Карамзина) въ великой славѣ; часто гуляетъ около него народъ станицами и читаетъ надписи, вырѣзанныя на деревьяхъ вокругъ пруда". Эти надписи, по словамъ любопытнаго письма, были или чувствительнаго характера, или даже такого грубаго, въ родѣ упрековъ автору „Бѣдной Лизы". Очевидно, читатели искали осуществленія въ дѣйствительности романической исторіи Карамзина. Они не находили въ ней зародыша того романа, который долженъ былъ развернуться блестящимъ цвѣткомъ на тощемъ полѣ русской словесности. Между тѣмъ этотъ образованный представитель дворянскаго русскаго общества, скучающій и отыскивающій идеала по литературнымъ впечатлѣніямъ отъ сентиментальныхъ романовъ, идиллій—прямой предшественникъ Онѣгина и всѣхъ послѣдующихъ героевъ русскаго идеализма. Это Эрастъ Карамзина—вполнѣ естественный, какъ въ своемъ увлеченіи, такъ и въ уступкахъ свѣту, суетѣ, невоздержанію и грубому поступку, погубившему бѣдную Лизу. Безъ сомнѣнія, Пушкинъ имѣлъ въ виду повѣсть Карамзина, когда писалъ въ 1830 г. „Барышню-крестьянку" (Повѣсти Бѣлкина)—Лизу, перерядившуюся для свиданія съ женихомъ, крестьянкой. И слѣдующее замѣчаніе Пушкина относится

къ „Бѣдной Лизѣ“: „Эти подробности (свиданія молодыхъ людей, возрастающая взаимная склонность и довѣрчивость) вообще должны казаться приторными“. Тутъ же въ повѣсти Пушкина находимъ и прямую ссылку на другую повѣсть Карамзина (IV, 88), о которой сейчасъ же и скажемъ: „круглый листъ измарала афоризмами, выбранными изъ той же повѣсти“. Другая повѣсть Карамзина „Наталья боярская дочь“ 1792 г; отразившаяся въ содержаніи извѣстной народной пьесы Пушкина „Женихъ“, 1825 года (героиня „Наташа“, герой—разбойникъ, похищающій дѣвушку), скорѣе приближается къ „Руслану и Людмилѣ“ Пушкина, чѣмъ къ историческимъ романамъ, какъ „Марѳа Посадница“ (1802 г.), погубившая, кажется, навсегда всякія стремленія правдиво и выпукло передать новгородскую старину. Талантливый Карамзинъ, идя по пути Новикова, пришелъ къ русской исторіи. Онъ не понималъ русскаго простонароднаго элемента и остался при своемъ европейскомъ развитіи и увлеченіи документальной стариной, въ претвореніи и изученіи которой заслужилъ себѣ справедливо славу. Вліяніе исторіи Карамзина на Пушкина, какъ и вообще на всѣхъ русскихъ писателей начала настоящаго столѣтія, несомнѣнно, было громаднымъ; но Карамзинъ отличался еще привлекательнымъ характеромъ и въ этомъ отношеніи игралъ видную роль въ жизни и въ идеалахъ Пушкина. Личныя отношенія ихъ начались еще во время пребыванія Пушкина въ Лицеѣ. Сдѣлавшись придворнымъ исторіографомъ, Карамзинъ для печатанія „Исторіи государства Россійскаго“ получилъ много милостей отъ двора. Послѣ безмолвнаго труда въ Москвѣ и въ подмосковной деревнѣ надъ историческими матеріалами и надъ обработкой первыхъ 8 томовъ, Карамзинъ переселился въ Петербургъ и каждое лѣто подолгу жилъ съ семьей въ Царскомъ Селѣ, упиваясь чистымъ воздухомъ, трудомъ и отдавая свободное время семьѣ и гостямъ, среди которыхъ появлялся съ благоговѣніемъ къ литератору—главѣ передовой литературы и историку—молодой Пушкинъ. Живой представитель новой школы „Карамзинистовъ“, боровшихся противъ защитниковъ Ломоносовской теоріи слога во главѣ съ Шишковымъ—и бездарными писателями поэмъ, трагедій, торжественныхъ словъ, одъ,—преданный исторіи Карамзинъ увлекался своими молодыми послѣдователями, ихъ шутливымъ кружкомъ „Арзамасомъ“ съ Жуковскимъ и съ только что выступившими въ печатной литературѣ съ 1815 года—Батюшковымъ и лицеистомъ Пушкинымъ. Естественно, что въ семьѣ Карамзина Пушкинъ находилъ не одно

только развлеченіе, но и—богатую пищу для ума и сердца. Не безъ вліянія на поэму Пушкина изъ временъ Владиміра, начатую еще въ Лицеѣ, могла быть исторія Карамзина и еще болѣе на тѣ размышленія о русской исторіи и раздумья Пушкина, которыя онъ дѣлилъ съ блестящимъ царскосельскимъ гусаромъ—мыслителемъ Чаадаевымъ. Въ такой обстановкѣ у Пушкина и созрѣла мысль вмѣсто назначенія къ высшимъ чинамъ государственной службы, по прямымъ цѣлямъ аристократическаго Лицея, выбрать служенье Музамъ, по пути литератора — публициста, или придворнаго исторіографа Карамзина. Рано познакомившись съ Исторіей Карамзина, ранѣе ея появленія въ печати 1818 г., Пушкинъ успѣлъ многое передумать и въ кругу новыхъ передовыхъ и увлекающихся людей представилъ эпиграммы на Карамзина и на его основные взгляды. Карамзинъ, покровительствовавшій Пушкину, называлъ его, по выходѣ изъ Лицея, либераломъ. И эта черта различія легла навсегда между Карамзинымъ и Пушкинымъ, несмотря на примиренія, горячую благодарность молодого поэта за ходатайство Карамзина въ 1820 г., несмотря на искреннее уваженіе къ трудамъ и значенью Карамзина со стороны Пушкина въ теченіе всей жизни поэта. Мы еще возвратимся къ вліянію Карамзина на Пушкина при созданіи „Бориса Годунова"; теперь же приведемъ замѣчательное свидѣтельство Пушкина о первомъ появленіи „Исторіи Государства Россійскаго", написанное вскорѣ послѣ смерти Карамзина 1826 г.: „это было въ февралѣ 1818 года. Первые восемь томовъ Русской Исторіи Карамзина вышли въ свѣтъ. Я прочелъ ихъ въ постелѣ (больной) съ жадностію и со вниманіемъ. Появленіе сей книги (какъ и быть надлежало) надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе; 3000 экземпляровъ разошлось въ одинъ мѣсяцъ (чего никакъ не ожидалъ и самъ Карамзинъ)—примѣръ единственный въ нашей землѣ. Всѣ (свѣтскіе люди V, 58), даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего отечества дотолѣ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія казалось найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени ни о чемъ иномъ не говорили. У насъ никто не въ состояніи изслѣдовать огромное созданіе Карамзина, за то никто не сказалъ спасибо человѣку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успѣховъ и посвятившему цѣлыхъ 12 лѣтъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ. Ноты (примѣчанія V, 59) Русской Исторіи свидѣтельствуютъ обширную ученость Ка-

рамзина, пріобрѣтенную имъ уже въ тѣхъ лѣтахъ, когда для обыкновенныхъ людей кругъ образованія и познаній давно оконченъ и хлопоты по службѣ замѣняютъ усилія къ просвѣщенію. Молодые якобинцы негодовали (припомнимъ эпиграммы самого Пушкина—„И, бабушка, затѣяла пустое: Докончи лучше намъ Илью-богатыря“ 1818 г. и др.). Повторяю, что Исторія Государства Россійскаго есть не только созданіе великаго писателя, но и подвигъ честнаго человѣка“ (V, 40—41 стр.).

Въ Лицеѣ же Пушкинъ познакомился, можетъ быть,—въ семействѣ Карамзина съ Жуковскимъ и Батюшковымъ, вліяніе которыхъ, какъ непосредственныхъ поэтовъ, отразилось всего болѣе на первыхъ произведеніяхъ „Арзамасскаго“ Сверчка (прозвище Александра Сергѣевича—по балладѣ Жуковскаго), ближайшаго къ выдающемуся пѣвцу и балладнику—Арзамасской „Свѣтланѣ“ Жуковскому.

Первыя произведенія Батюшкова, появившагося въ печати около 1810 года, должны уже были обратить на себя вниманіе лицеиста Пушкина по своему слогу, какъ прозаическому („Письма русскаго офицера изъ Финляндіи“), такъ и поэтическому. Пушкинъ послѣдовалъ за Батюшковымъ, найдя въ немъ совершенства Державинской поэзіи, освобожденной отъ недостатковъ неестественности, преувеличенія, неровности и неискренности въ чувствахъ, или, вѣрнѣе—неумѣлости дать выраженіе, подыскать подходящія дѣйствительнымъ чувствамъ мысли и слова. Каждое новое произведеніе Батюшкова Пушкинъ ловилъ съ восторгомъ и настраивалъ свою лиру въ тонъ новаго переводчика классическихъ, французскихъ и итальянскихъ поэтовъ. Изъ подражанія Батюшкову Пушкинъ избираетъ Парни и Тассо своими образцами въ области лирики и эпоса. Еще болѣе вліяли на Пушкина оригинальныя піесы Батюшкова: его сатиры (Видѣнія на берегахъ Леты, Пѣвецъ въ бесѣдѣ Славянороссовъ), легкія эпиграммы, его военныя пѣсни (Разлука, Плѣнный, Тѣнь друга и др.), посланія къ друзьямъ (Мои Пенаты), и особенно нѣжныя элегіи (Таврида, Умирающій Тассъ, Воспоминанія), въ которыхъ печаль объ утраченномъ счастіи соединяется съ воспоминаніями о радостяхъ жизни, о сладострастьи любви—въ увлекательныхъ, но не грубыхъ картинахъ, полныхъ еллинской простоты, съ чашами, цвѣтами и безпечностью. Какъ долго отражалось на Пушкинѣ вліяніе Батюшкова (указанное въ частностяхъ Гаевскимъ въ Современникѣ 1863 г. №№ 7 и 8, акад. Гротомъ о Пушкинѣ и

акад. Л. Н. Майковымъ о Батюшковѣ), можно судить изъ извѣстнаго произведенія Пушкина—„Моя родословная“ 1830 г., для которой послужили основаніемъ слѣдующіе стихи Батюшкова:

Оставь меня, я не поэтъ,
Я не ученый, не профессоръ,
Меня въ календарѣ въ числѣ счастливцевъ нѣтъ,
Я... отставной ассессоръ!

(Сочиненія К. Н. Батюшкова, III, 1886, 343).

Это стихотвореніе 1817 г. изъ письма Батюшкова къ В. Л. Пушкину, какъ „старостѣ“ Арзамаса, конечно, зналъ хорошо племянникъ — „маленькій Пушкинъ“, о которомъ Батюшковъ съ восторгомъ упоминаетъ нѣсколько разъ въ своихъ письмахъ. Приведемъ слѣдующую выдержку изъ журнальной статьи Батюшкова 1814 года „Прогулка въ Академію Художествъ“, послужившую темой для вступленія Пушкина въ повѣсть „Мѣдный Всадникъ“: „Взглянувъ на Неву, покрытую судами, взглянувъ па великолѣпную набережную, на которую, благодаря привычкѣ, жители петербургскіе смотрятъ холоднымъ окомъ,—любуясь безчисленнымъ народомъ, который волновался подъ моими окнами, симъ чудеснымъ смѣшеніемъ всѣхъ націй, въ которомъ я отличалъ Англичанъ и Азіатцевъ, Французовъ и Калмыковъ, Русскихъ и Финновъ, я сдѣлалъ себѣ слѣдующій вопросъ: что было на этомъ мѣстѣ до построенія Петербурга? Можетъ быть, сосновая роща, сырой, дремучій боръ или топкое болото, поросшее мхомъ и брусникою; ближе къ берегу—лачуга рыбака, кругомъ которой развѣшены были мрежи, невода и весь грубый снарядъ скуднаго промысла. Сюда, можетъ быть, съ трудомъ пробирался охотникъ, какой-нибудь длинновласый финнъ

За ланью быстрой и рогатой,
Прицѣлясь къ ней стрѣлой пернатой.

Здѣсь все было безмолвно. Рѣдко человѣческій голосъ пробуждалъ молчаніе пустыни дикой, мрачной; а нынѣ?.. Я взглянулъ невольно на Троицкій мостъ, потомъ на хижину великаго монарха, къ которой по справедливости можно примѣнить извѣстный стихъ:

Souvent un faible gland recéle un chêne immençe!

И воображеніе мое представило мнѣ Петра, который въ первый разъ обозрѣвалъ берега дикой Невы, нынѣ столь прекрасные!.. „Здѣсь будетъ городъ“ сказалъ онъ,—„чудо свѣта, сюда призову всѣ художества, всѣ искусства, гражданскія установленія и законы побѣдятъ самую природу“. Сказалъ, и Петербургъ возникъ изъ дикаго болота“ (Сочиненія К. Н. Батюшкова, II т., 94—95). Кажется, не зачѣмъ и подчеркивать все то, что намъ хорошо напоминаетъ вступленіе Пушкина въ поэму „Мѣдный Всадникъ“.

Многія выраженія Батюшкова повторяются у Пушкина, хотя бы, напримѣръ, излюбленныя выраженія о „сладострастьи высокихъ мыслей и стиховъ“ („душъ великихъ сладострастье“ I, 124; „На ложѣ сладострастья“, 134; „счастье, сердечно сладострастье, и нѣгу, и покой“, 138; „души прямое сладострастье“, 243 стр.), о „башняхъ древнихъ царей—свидѣтелей протекшей славы“ (I, 151—152 „Посланіе къ Дашкову“: „Предъ златоглавою Москвою воздвиглись храмы и сады“. „Москва отчизны край златой“), „пѣвцѣ любви“, или такія фразы, какъ: „и море и суша покорствуютъ намъ“ (I, 239, ср. Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ):

Но дружество найдетъ мои въ замѣну чувства,
Исторію моихъ страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежнихъ дней
И легкокрылы наслажденья (I, 275).

Нечего говорить о лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина, въ которыхъ встрѣчаемъ подражательныя произведенія, въ родѣ „Къ сестрѣ“ 1814 г., „Городокъ“, „Къ Батюшкову“ (посланія 1814 и 1815 гг.), романсъ „Подъ вечеръ осенью ненастной“ (см. ниже). Даже „Музу“ 1821 г., написанную въ Кіевѣ (14 февраля), Пушкинъ, по свидѣтельству современниковъ, „любилъ за то,—что (стихотвореніе это) отзывается стихами Батюшкова“ (I, 235 стр.). Можетъ быть, нѣсколько преувеличивая, Пушкинъ приравнивалъ Батюшкова къ Ломоносову: „Батюшковъ, счастливый сподвижникъ Ломоносова, сдѣлалъ для русскаго языка то же самое“ (V, 20). Но Батюшковъ почти ничего не сдѣлалъ для проведенія народности въ содержаніи своихъ произведеній. Онъ мечталъ объ историческихъ сюжетахъ, о поэмахъ въ народномъ стилѣ и, безъ сомнѣнія, создалъ бы что либо выдающееся въ этомъ родѣ, если бы не стеченіе обстоя-

тельствъ, нарушившихъ равновѣсіе его душевнаго строя, его страстей. Онъ встрѣтилъ только „Руслана и Людмилу“ Пушкина и исчезъ навсегда изъ области литературныхъ и общественныхъ интересовъ. Друзья, и въ томъ числѣ молодой Пушкинъ, ожидали отъ Батюшкова многаго (VII, 107). Безъ сомнѣнія, онъ, а не кто другой, разбудилъ поэзію въ Пушкинѣ.

Между тѣмъ Пушкинъ, вступая въ свѣтъ со всей страстью и упоеніемъ жизнью, преклонялся про себя передъ личностью и поэзіей Жуковскаго (1783—1852 гг.):

Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла,

писалъ онъ въ посланіи „Къ Жуковскому“ 1817 года (I, 164). Еще съ бо́льшей искренностью и увлеченіемъ отнесся Пушкинъ въ 1818 году въ двухъ прелестныхъ обращеніяхъ „Къ портрету Жуковскаго“ и къ „Жуковскому“:

Блаженъ, кто знаетъ сладострастье
Высокихъ мыслей и стиховъ,
Кто наслажденіе прекраснымъ
Въ прекрасный получилъ удѣлъ,
И твой восторгъ уразумѣлъ
Восторгомъ пламеннымъ и яснымъ!

Жизнь Жуковскаго занимаетъ видное мѣсто въ житейскихъ отношеніяхъ Пушкина, отъ перваго вступленія нашего поэта въ литературу, въ сознательное служеніе ей до послѣднихъ мгновеній Александра Сергѣевича, когда онъ скончался въ день рожденія Жуковскаго, 29 января 1837 г. Жуковскій такъ же покровительствовалъ Пушкину, какъ Карамзинъ; но, несмотря на неравенство лѣтъ (Жуковскій родился въ 1783 г., 29-го января), между поэтами завязалась тѣсная искренняя дружба: съ 1822 года Пушкинъ въ письмахъ обращается съ Жуковскимъ на „ты“, признавая его съ памятнаго момента лицейской встрѣчи въ 1815 году, когда Жуковскій подарилъ ему стихи (V, 2), своимъ учителемъ. Пушкинъ называетъ Жуковскаго въ посланіи „Къ сестрѣ“ 1814 г. пѣвцомъ Людмилы и задумчивой Свѣтланы, въ IV пѣснѣ „Руслана и Людмилы“ 1820 г.— „Пѣвцомъ таинственныхъ видѣній, любви, мечтаній и чертей, могилъ

и рая" и вспоминаетъ свои впечатлѣнія отъ „Громобоя" и „Вадима" (Двѣнадцати спящихъ дѣвъ); еще позднѣе, въ 1828 г., Пушкинъ возвращается къ первому произведенію Жуковскаго, поразившему „весь свѣтъ"—къ подражанію Грею,—т. е. „Сельскому Кладбищу" 1802 г. Въ исторіи русской словесности Пушкинъ признавалъ за Жуковскимъ важное и рѣшительное значеніе въ области слога (VII, 107 и 129). Но вліяніе Жуковскаго на Пушкина не ограничивалось однимъ слогомъ и юношескими подражаніями (напримѣръ, посланіе Пушкина къ кн. Горчакову написано въ подражаніе посланію Жуковскаго къ Филалету—Тургеневу): оно шло глубже и отражалось въ элегіяхъ Пушкина, въ образахъ и выраженіяхъ, впервые введенныхъ въ русскую литературу Жуковскимъ изъ подражанія германской поэзіи (особенно Шиллеру), а отчасти и самостоятельно,—въ отклоненіи отъ подлинника, въ образахъ, созданныхъ Жуковскимъ въ соотвѣтствіи съ его духомъ, со всѣмъ пережитымъ и перечувствованнымъ мечтательнымъ поэтомъ. Кромѣ элегіи (напр., мысли о смерти, объ умершихъ женщинахъ, близкихъ—дорогихъ сердцу поэта) вліяніе Жуковскаго на Пушкина сказалось и въ народныхъ балладахъ, какъ „Женихъ", „Утопленникъ", „Бѣсы", и въ народныхъ сказкахъ и въ патріотическихъ одахъ, написанныхъ поэтами во время совмѣстной жизни въ Царскомъ Селѣ и изданныхъ вмѣстѣ въ одной книжкѣ 1831 г. Послѣднее было своего рода состязаніемъ и сотрудничествомъ двухъ поэтовъ.

Не разсматривая всей дѣятельности Жуковскаго, пережившаго А. С. Пушкина и издававшаго его сочиненія съ собственными поправками, мы считаемъ необходимымъ остановиться на параллельномъ изложеніи жизни и дѣятельности В. А. Жуковскаго съ жизнью и дѣятельностью А. С. Пушкина. Здѣсь было много и общаго и противоположнаго,—что, какъ извѣстно, сближаетъ нерѣдко людей и образуетъ друзей.

Мы уже замѣтили выше, что оба выдающіеся поэта первой половины настоящаго столѣтія одинаково были связаны по происхожденію съ Востокомъ,—съ Турціей. Мать Жуковскаго была плѣнной турчанкой, занимавшей въ семействѣ тульскаго помѣщика Бунина—отца Жуковскаго, получившаго отчество и фамилію отъ бѣднаго кіевскаго дворянина Андрея Жуковскаго,—положеніе ветхозавѣтной Агари. Но добрыя чувства соединяли эту старую русскую семью Буниныхъ, давшую кромѣ нашего поэта такихъ литературныхъ дѣятелей, какъ

Кирѣевскіе, Зонтагъ. Жуковскій такъ же, какъ и Пушкинъ, съ дѣтства былъ привязанъ къ женскому обществу; но школа не испортила его, не вызвала тѣхъ нечистыхъ увлеченій, какія пережилъ Пушкинъ. Въ душѣ Жуковскаго и въ Московскомъ Благородномъ Пансіонѣ продолжала жить чистая нравственная привязанность къ тѣмъ „дѣвочкамъ"—родственницамъ, съ которыми юный поэтъ провелъ дѣтство въ деревнѣ „въ златыхъ играхъ". Быть можетъ, это была и та нравственная, философская атмосфера, которой недоставало въ замкнутомъ Царскомъ Селѣ, среди талантливыхъ знатныхъ юношей, явившихся изъ объятій домочадцевъ—деревенскихъ и городскихъ переднихъ съ дѣвичьими, подъ сѣнь удаленнаго отъ столицы и надзора Лицея. Въ Москвѣ же, напротивъ того, юноши окружены были преданіями Дружескаго Общества, массоновъ, такихъ философовъ-педагоговъ, какъ Прокоповичъ-Антонскій, Тургеневъ и др. Въ этой атмосферѣ выросъ и молодой Карамзинъ, возбуждавшій въ концѣ XVIII в. и въ началѣ XIX, до переѣзда въ Петербургъ (1816 г.), вниманіе московскаго общества и молодежи своими журналами, сентиментальными нѣжными повѣстями, историческими воспоминаніями и множествомъ полезныхъ литературныхъ занятій. Жуковскій выросъ и развился въ школѣ Карамзина и былъ его ближайшимъ преемникомъ, какъ въ литературѣ (баллады, изданіе Вѣстника Европы, литературныхъ сборниковъ, повѣстей, критическихъ статей и проч.), такъ и въ жизни (меланхолія и кротость, страсть къ литературному труду, самообразованію, патріотизмъ). И Карамзинъ велъ свой родъ съ Востока, какъ его современникъ пѣвецъ Фелицы—Державинъ. Оба поэта XVIII в. были потомками татаръ Казанскаго Царства. Кто ищетъ природныхъ національныхъ наклонностей, тотъ не упуститъ отмѣтить въ лицѣ четырехъ названныхъ русскихъ поэтовъ восточную мечтательность, силу слова и стиха, выражающихъ всю пылкость человѣческихъ страстей и всю глубину смиренія и упованія. Величайшіе русскіе писатели, каждый въ свое время, создали эпохи въ развитіи русскаго слова и поэзіи. Не будемъ упрекать родную дѣйствительность съ ея ограниченностью въ области духовныхъ интересовъ, съ преобладаніемъ влеченій къ матеріальной, такъ сказать, растительной дѣятельности, съ бѣдностью средствъ для внутренняго умственнаго развитія, но съ преданіями о высокихъ нравственныхъ и патріотическихъ подвигахъ—единственной почвой для самобытнаго духовнаго развитія. Отсюда такая зависимость и,

можетъ быть, неполнота литературнаго западно-европейскаго вліянія на Державина, Карамзина, Жуковскаго и даже—Пушкина. И здѣсь опять черты различія между Жуковскимъ и Пушкинымъ. Жуковскій, какъ и Карамзинъ, отъ подражанія французскимъ писателямъ—баснописцамъ и лирикамъ—перешелъ къ поэтамъ нѣмецкимъ и англійскимъ; между тѣмъ какъ Пушкинъ глубоко всосалъ въ себя начала французской литературы съ ея философскимъ раціоналистическимъ направленіемъ, съ ея легкой эротической формой. Отсюда веселость, шутка Жуковскаго являлись въ глазахъ Пушкина наивностью, и самая грусть по утраченному счастью земли—прелестной ложью. Что касается отношеній къ Востоку, то только у Карамзина надо искать ихъ въ Исторіи Государства Россійскаго, а Державинъ, Жуковскій и Пушкинъ дали великолѣпные образцы восточнаго міровоззрѣнія и поэзіи въ своихъ безсмертныхъ твореніяхъ. Вспомните мурзу въ „Фелицѣ", „Видѣніе Мурзы", „Персидскую повѣсть Рустемъ и Зорабъ", „Бахчисарайскій фонтанъ", „Подражанія Корану", „Талисманъ", „Анчаръ", „Калмычкѣ", „Изъ Гафиза", „Подражаніе арабскому",—и вамъ не покажутся преувеличеніемъ пророческія слова нашего славнаго поэта въ „Памятникѣ" 1836 года:

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій
Тунгузъ, и другъ степей калмыкъ.

Извѣстно, что Жуковскій измѣнилъ, по цензурнымъ условіямъ, по смерти Пушкина, его „Памятникъ" и отнесъ къ великому другу то, что Пушкинъ написалъ „Къ портрету Жуковскаго" за 20 лѣтъ до своей смерти:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ

Ср.: Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль, и проч.

Думаемъ, что не преувеличимъ, если отнесемъ къ вліянію Жуковскаго на Пушкина „пробужденіе лирой добрыхъ чувствъ въ наро-

дѣ", вниманье къ сельской простотѣ, къ деревнѣ. Первая элегія Жуковскаго, доставившая ему славу, „Сельское кладбище" 1802 г., уже посвящена похвалѣ почтеннымъ трудамъ простого селянина и его предполагаемой скорби надъ могильнымъ камнемъ поэта съ печатью меланхоліи. Жуковскій, какъ и въ дальнѣйшей своей переводческой дѣятельности, измѣнилъ Грееву элегію: его поэтъ не только „душой откровененъ и добръ", какъ въ англійскомъ подлинникѣ, но и:

Онъ кротокъ сердцемъ былъ, чувствителенъ душою—
Чувствительнымъ Творецъ награду положилъ [1]).

Мысли о ранней могилѣ разочарованнаго душой поэта, поглощеннаго воспоминаніями о нетлѣнности братскихъ узъ въ кругу своихъ друзей, прекрасно выражаются въ элегіи „Вечеръ" 1806 г.:

Ужель красавицъ взоры иль почестей исканье,
Иль суетная честь—пріятнымъ въ свѣтѣ слыть
Загладятъ въ сердцѣ вспоминанье
О радостяхъ души, о счастьѣ юныхъ дней,
И дружбѣ, и любви и музамъ посвященныхъ?...
Мнѣ рокъ сулилъ брести невѣдомой стезей,
Быть другомъ *мирныхъ селъ,* любить красы природы...
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать (I, 52—84).

Съ увлеченіемъ сельской простотой и тишиной у Жуковскаго соединяется влеченіе къ исторіи русскихъ и славянъ. Оставивши службу, поэтъ поселяется въ родномъ Бѣлевѣ и предается самообразованію, читаетъ лѣтописи и создаетъ „Пѣснь Барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей", „Людмилу" 1808 г.—балладу, имѣвшую важное значеніе въ русской литературѣ, и другую большую „Старинную повѣсть „въ двухъ балладахъ: „Громобой" и „Вадимъ", подъ общимъ заглавіемъ: „Двѣнадцать священныхъ дѣвъ" 1810 г. Наконецъ, въ 1811 г. Жуковскій возвысился до воспроизведенія народныхъ святочныхъ гаданій и создалъ „Свѣтлану". Тревоги войны 1812 года отвлекли поэта, написавшаго „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ", послѣ котораго слѣдуетъ непрерывная переводная дѣятельность, посвященная такимъ сюжетамъ, какъ „Орлеанская дѣва", „Жалоба Цереры"

[1]) Ср. Стихотворенія В. А. Жуковскаго, 1895 г., I т., стр. 33 и III т., 176 стр., дословный переводъ 1839 года.

Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Генералъ Раевскій.

Шиллера, „Путешественникъ и поселянка“, „Лѣсной царь“ Гёте, народныя произведенія Гебеля, съ 1816 по 1830 г., на которыхъ мы остановимся подробнѣе, сказки, и друг. Чтобы показать отраженіе настроенія Жуковскаго въ элегіяхъ Пушкина, приведу нѣсколько выдержекъ изъ раннихъ произведеній Жуковскаго. Въ посланіи „Къ Филалету“ 1807 г. заключаются уже чудныя раздумья „Стансовъ“ Пушкина 1829 года:

Повсюду вѣстники могилы предо мной.
Смотрю ли, какъ заря съ закатомъ угасаетъ—
Такъ, мнится, юноша цвѣтущій исчезаетъ;
Внимаю ли рогамъ пастушьимъ за горой,
Иль вѣтра горнаго въ дубравѣ трепетанью,
Иль тихому ручья въ кустарникѣ журчанью,
Смотрю-ль въ туманну даль вечернею порой,
Во всемъ печальныхъ дней конецъ воображаю...
Или сулилъ мнѣ рокъ въ весенни жизни годы,
Сокрывшись въ мракѣ гробовомъ,
Покинуть и поля и отческія воды,
И міръ, гдѣ жизнь моя безплодно разцвѣла?

Не приводя далѣе образцовъ изъ поэзіи Жуковскаго, такъ или иначе пересозданныхъ въ сжатыхъ, сильныхъ, но и нѣжныхъ стихахъ Пушкина, отмѣтимъ необыкновенную изобразительность въ стихахъ Жуковскаго, когда онъ описываетъ природу (Людмила, Свѣтлана и друг.), таинственность видѣній, ужасовъ, мученій любви. Элегіи, баллады, переводы Жуковскаго произвели глубочайшее впечатлѣніе на русскихъ читателей всѣхъ классовъ и, безъ сомнѣнія, подняли ихъ высоко въ образовательномъ отношеніи. Пушкинскіе герои, Татьяна и Ленскій, впервые познали міръ, жизнь сердца, свободную мечтательную даль изъ поэзіи Жуковскаго. Татьяна едва ли не прямая ученица Жуковскаго. Она не покинула мечтанья юныхъ лѣтъ, свою безнадежную любовь; но и не уступила давленію обстоятельствъ: возможности нарушить выбранный путь, стремленью посторонннихъ подглядѣть ея волненья, или паденью духа до отчаянія. Въ поэзіи Жуковскаго проходитъ повтореніе мотива насильственной разлуки любящихъ сердецъ, и это не подражаніе, а живой голосъ пережитаго поэтомъ страстнаго чувства любви къ своей племянницѣ, которую Жуковскій видѣлъ и выданной за другого и, наконецъ, умер-

шей. Но поэтъ продолжалъ свои занятія, свое нравственное усовершенствованіе. Высокое положеніе,—также болѣе нравственнаго, чѣмъ искательнаго направленія,—какое занялъ Жуковскій при дворѣ съ 1816 года, приводило поэта къ служенію народному воспитанію. Вотъ что онъ писалъ изъ Дерпта по поводу своего новаго положенія: „вниманіе Государя есть святое дѣло. Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часъ отъ часу становится для меня чѣмъ то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія!“ (Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу, 1895 г. стр. 163). „Она (поэзія) должна имѣть вліяніе на душу всего народа, и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе... Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію“. Въ этомъ же письмѣ Жуковскій впервые сообщаетъ о своемъ знакомствѣ съ народной поэзіей Гебеля, которой восторгался и Гёте: „написалъ, т. е. перевелъ съ нѣмецкаго піесу, подъ титуломъ „Овсяной кисель“... Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ неизвѣстнаго поэта, ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и *для поселянъ*. Но я ничего лучше не знаю! Поэзія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвѣстный родъ“ (тамъ же, 164 стр.).

Прослѣдимъ эти переводы Жуковскаго изъ Гебеля. Переводчикъ старался приблизить къ русской жизни не только имена нѣмецкихъ поселянъ (особенно въ простонародной швабской формѣ), но и подробности, передѣлывая и опуская нѣкоторыя частности. Въ „Овсяномъ киселѣ“ у него являются „и Иванъ, и Лука, и Дуняша“, опущено заключеніе о необходимости деревенскимъ дѣтямъ идти въ школу (Und jetzt geht in die Schul', dort hängt am Gesimse die Mappe! Fall mir Keins, gebt Achtung, und lernt hübsche was man euch aufgiebt. Kommt ihr wieder nach Haus'; dann giebt es getrocknete Pflaumen). Замѣчательны народныя выраженія: „заскородилъ овесъ, колосъ оброшенный“. Въ такомъ же родѣ и остальные переводы: гнѣдко—Esel, „гнѣдко пужливъ“ (Hüst, Laubi, Merz = Hott Schimmel, Fuchs!); въ „Утренней звѣздѣ“ Жуковскій ввелъ поэтическое изложеніе молитвы Господней вмѣсто разсказа о молитвѣ вообще [1]). Отъ содержанія

[1]) So helf' uns Gott, und geb' uns Gott
'nen gúten Tag, und b'hût' uns Gott!
Wir beten um ein christlich Herz,
Es thut uns Noth in Freud' und Schmerz;

деревенскихъ сказокъ и пѣсенъ изъ Гебеля вѣетъ непосредственной вѣрой въ загробную жизнь, въ будущій судъ, въ добрыя дѣла, въ значеніе труда и—легендой о козняхъ дьявола, о привидѣніяхъ. Вечерніе и ночные образы этихъ страстей изъ міра духовныхъ средневѣковыхъ легендъ смѣняются у Жуковскаго свѣтлыми, бодрыми картинами „Воскреснаго утра въ деревнѣ", „Утренней звѣзды". Нельзя не отмѣтить, что изъ небольшого числа всѣхъ произведеній Гебеля Жуковскій выбралъ подходившія къ его настроенію и опустилъ бойкія пѣсни торговокъ, рабочихъ и т. п.

Въ началѣ 30-хъ годовъ Жуковскій съ особеннымъ увлеченіемъ переводилъ „Ундину", въ которой выразилось настроеніе поэта: „испытали всѣ мы невѣрность здѣшняго счастья... счастливъ еще, когда при раздѣлѣ житейскаго былъ ты самъ назначенъ терпѣть, а не мучить; на свѣтѣ семъ доля жертвы блаженнѣй, чѣмъ доля губителя. Если сей лучшій жребій былъ твой, читатель, то можетъ быть, слушая нашу повѣсть, ты вспомнишь и самъ о своемъ миновавшемъ, и тихо милая грусть тебѣ черезъ душу прокрадется, снова то, что прошло, оживетъ, и ты слезу сожалѣнья бросишь". Если мы обратимся къ переводамъ Жуковскаго изъ Шиллера, то и здѣсь увидимъ, какую видную роль играютъ женскіе типы: „Кассандра" 1809 г., „Жалоба Цереры" 1831 г., „Орлеанская дѣва" 1821 г. Все это матеріалы, безъ сомнѣнія, отражавшіеся и въ жизни русской женщины 20—30-хъ годовъ, и въ литературѣ. Опять черта, не лишенная значенія для пушкинской Татьяны, которую поэтъ готовъ сравнить съ „Свѣтланой" Жуковскаго (III т., гл. V, 326). Вольный переводъ изъ Шиллера „Голосъ съ того свѣта" 1815 г., начинающійся словами почившей—„Не узнавай, куда я путь склонила, въ какой предѣлъ изъ міра перешла"... можетъ быть сближенъ съ чудными элегіями Пушкина на кончину госпожи Ризничъ, и друг.

Wer christlich lebt, hat frohen Muth;
Der lieb' Gott steht für alles gut.

Въ виду точной передачи подлинника ограничиваемся приведеннымъ переводомъ. У Жуковскаго иначе:

Вездѣ молитва началась:
„Небесный Царь, услыши насъ;
Твое владычество приди;
Насъ въ искушенье не введи;
На путь спасенія наставь,
И отъ лукаваго избавь".

Итакъ въ области поэмы (Двѣнадцать спящихъ дѣвъ, и друг.) и элегіи Жуковскій прямой предшественникъ Пушкина, въ особенности по глубокому выраженію женской души. Сюда надо присоединить и баллады Пушкина (Утопленникъ, Женихъ, и друг.), которыя отличаются отъ балладъ Жуковскаго бо́льшей вѣрностью русской народной легендѣ. Творчество Пушкина иногда такъ совпадало съ переводами и подражаніями Жуковскаго, что Пушкинъ долженъ былъ оправдываться въ независимости своихъ трудовъ отъ воздѣйствій Жуковскаго, какъ, напримѣръ, во время появленія „Шильонскаго узника“ и „Братьевъ разбойниковъ“.

Поэзія Пушкина въ этомъ новомъ направленіи, близкомъ къ возвышенному настроенію Жуковскаго, развернулась на югѣ. Герой поэмъ Пушкина столько же подражаніе Байрону, сколько и—рыцарской романтической поэзіи Жуковскаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, результатъ думъ Пушкина о пережитомъ. Рыцарь Жуковскаго, страдающій отъ несчастной любви, холоденъ къ настоящему: въ его душѣ „къ далекому стремленье, минувшаго привѣтъ“ („Невыразимое“ 1818 г.); онъ смотритъ недовѣрчиво на все земное, такъ какъ здѣсь не суждено сбыться мечтамъ. Это возвращеніе къ направленію Жуковскаго послѣдовало въ Пушкинѣ послѣ легкой сатирической дѣятельности въ Петербургѣ,—смѣлой и рѣзкой до крайности, и послѣ увлеченія театромъ, свѣтской жизнью.

Возвращеніемъ съ юга, какъ и первоначальной высылкой на югъ, вмѣсто болѣе тяжкой кары, Пушкинъ былъ обязанъ Карамзину. Въ Михайловскомъ поэтъ ревностно принялся за чтеніе Исторіи Карамзина. Если на основаніи прочтенія первыхъ томовъ Исторіи Карамзина Пушкинъ могъ создать „Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ“ 1822 г.,—вѣроятно и подъ впечатлѣніемъ отъ посѣщенія Кіева въ 1820 и 1821 гг.; то теперь въ сельскомъ уединеніи, среди псковской старины въ народномъ бытѣ, пѣсняхъ, сказкахъ, Пушкинъ обратился ко времени Бориса Годунова и Лжедимитрія. Самъ Карамзинъ давно питалъ пристрастіе къ загадочному характеру Годунова. Еще въ „Вѣстникѣ Европы“ 1802 г. (Историческія воспоминанія и замѣчанія на пути къ Троицѣ) Карамзинъ подробно разсуждалъ о событіяхъ, сопровождавшихъ возвышеніе и паденіе фамиліи Годунова. Онъ колебался признать лѣтописныя обвиненія „Годунова убійцею св. Димитрія“, удивлялся его силѣ воли (въ сторону властолюбія и разума Кромвеля), сомнѣвался въ мнимыхъ преступленіяхъ, взведенныхъ на Бориса лѣтописцами,

хвалилъ его за любовь къ семейству, къ наукамъ, къ благосостоянію народа, и наконецъ, подобно лѣтописцу Пимену, заключалъ свой разсказъ о самозванцѣ и гибели семьи Бориса: „Богъ судитъ тайныя злодѣянія; а мы должны хвалить царей за все, что они дѣлаютъ для славы и блага отечества"... „Властолюбіе, доказывалъ въ своей статьѣ Карамзинъ, дѣлаетъ людей великими благодѣтелями и великими преступниками". Въ 1821 году историкъ въ письмахъ къ Малиновскому (Погодинъ: Н. М. Карамзинъ, ч. II, 266—267) оживленно говоритъ о своей работѣ: „я теперь весь въ Годуновѣ: вотъ характеръ исторически трагическій (о временахъ Годунова), хочется отдѣлать его цѣльно, не отрывкомъ". Борисъ—несомнѣнный убійца Димитрія; неслыханнымъ злодѣяніемъ онъ достигъ престола; но кара свыше не принесла ему желаемаго счастья, несмотря на всѣ его благодѣянія. „Онъ не *былъ*, но *бывалъ* тираномъ; не безумствовалъ, но злодѣйствовалъ подобно Іоанну, устраняя совмѣстниковъ, или казня недоброжелателей. Если Годуновъ на время благоустроилъ Державу, на время возвысилъ ее во мнѣніи Европы, то не онъ ли и ввергнулъ Россію въ бездну злополучія, почти неслыханнаго—предалъ въ добычу ляхамъ и бродягамъ, вызвалъ на ѳеатръ сонмъ мстителей и самозванцевъ истребленіемъ древняго племени Царскаго?" Таковъ выводъ историка въ концѣ 2-ой главы XI-го тома. Этотъ выводъ со всѣми подробностями былъ принятъ Пушкинымъ для его „Драматической повѣсти („Начинаемъ повѣсть, говоритъ Карамзинъ о Самозванцѣ, равно истинную и неимовѣрную", изд. 1843 г. III кн., XI т., 73 стр.), комедіи, о настоящей бѣдѣ Москов. госуд. О царѣ Борисѣ и о Гришкѣ Отрепьевѣ", напечатанной, подъ простымъ заглавіемъ: „Борисъ Годуновъ" 1825 г. Окончивъ драму, Пушкинъ хотѣлъ посвятить ее Жуковскому, которому писалъ: „отче, въ руцѣ твои предаю духъ мой!.. трагедія моя идетъ, и думаю къ зимѣ (отъ 17 августа 1825 г.) ее кончить, вслѣдствіе чего читаю только Карамзина да лѣтописи. Что за чудо эти два послѣдніе тома Карамзина! Какая жизнь!" И Пушкинъ, по смерти историка, выпустилъ „Бориса Годунова" съ посвященіемъ: „Драгоцѣнной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ геніемъ его вдохновенный съ благоговѣніемъ и благодарностью посвящаетъ Александръ Пушкинъ". Мы бы могли указать отступленія отъ Исторіи Карамзина, происшедшія, по всей вѣроятности, отъ того, что Пушкинъ держалъ въ памяти столь рѣзко очерченные историкомъ ха-

рактеры лицъ, названія ихъ, которыми поэтъ распоряжался иногда произвольно (напримѣръ, лѣтописецъ Пименъ—вѣроятно то же лицо, что у Карамзина спутникъ Григорія къ Луевымъ горамъ, инокъ Днѣпрова монастыря, Пименъ, XI т, 75 стр., изд. Эйнерлинга), какъ и годами (по словамъ Пимена, у Пушкина, убіенный царевичъ былъ 7 или 12 лѣтъ, а по Карамзину 9). Но чаще повторяются у Пушкина самыя выраженія изъ Исторіи Карамзина: „ударили въ набатъ, бѣгутъ, царица мать въ безпамятствѣ, безбожную предательницу—мамку“ (см. X т., 78 стр.); или „ахъ, онъ сосудъ дьявольскій, этака ересь“ (XI т., 74), и друг.

Исторія Карамзина дѣйствительно и до сихъ поръ даетъ много подробностей, такъ какъ историкъ, пользуясь массой источниковъ и пособій, не упускалъ ни общаго хода событій, ни частностей. Поэтому Пушкинъ и могъ сказать, что „Карамзину (онъ) слѣдовалъ въ свѣтломъ развитіи происшествій“. Примѣчанія Карамзина возбуждали любопытство Пушкина для самостоятельныхъ изученій лѣтописей, записокъ иностранцевъ: „въ лѣтописяхъ старался, говоритъ Пушкинъ, угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени“. Мало того, Пушкинъ обращался и къ древнерусской литературѣ и народной словесности (въ Михайловскомъ онъ записывалъ народныя пѣсни и сказки): „Одна просьба, моя прелесть! пишетъ поэтъ Жуковскому въ августѣ 1825 г., нельзя ли мнѣ доставить или жизнь Желѣзнаго Колпака, или житіе какого нибудь юродиваго. Я напрасно искалъ Василія Блаженнаго въ Четьи-Минеяхъ. А мнѣ бы очень нужно“ (VII, 150).

И дѣйствительно, въ содержаніи и въ языкѣ трагедій Пушкина сказывается вліяніе разныхъ источниковъ. Прежде всего со стороны языка мы видимъ нѣсколько образцовъ: царь, патріархъ, игуменъ говорятъ какъ бы слогомъ грамотъ съ церковнославянскими выраженіями. Разсказъ Пимена объ Іоаннѣ Грозномъ, патріарха объ исцѣленіи слѣпого какъ будто навѣяны русскими памятниками письменности XVI вѣка. Но рѣчь бояръ, Самозванца, Марины—обыкновенная литературная рѣчь. Народный элементъ съ пословицами и комическій съ славянизмами вложенъ въ уста бродячихъ иноковъ. Какъ будто Пушкинъ читалъ старыя драматическія произведенія XVII вѣка съ ихъ интерлюдіями и фарсами. Кутейкинъ Фонвизина—слабый намёкъ на рѣчь старцевъ, полную житейской правды,—быть можетъ, подслушанной поэтомъ среди народа. Картина времени дополняется

иностранной рѣчью Маржерета, и друг. Можно сказать, что Пушкинъ впервые открылъ для трагедіи Московскую рѣчь XVI—XVII вв. Скажемъ болѣе, онъ упразднилъ сочинительство историческихъ поэмъ, повѣстей, драмъ въ стилѣ писателей XVIII в. и даже—Карамзина. Мы не видимъ у Пушкина особенностей рѣчи великаго историка, связывающихъ его съ патріотическими драматургами XVIII в. и начала XIX: „Россіяне, оные, сей", періодической рѣчи съ сказуемыми на концѣ предложеній—даже въ патетическихъ рѣчахъ дѣятелей до-Петровскаго времени. Только иностранцы Пушкина обязаны всецѣло вліянію Карамзина. Въ его Исторіи до сихъ поръ ничто такъ не поражаетъ, какъ большое вниманіе къ русской политикѣ съ Англіей, Германіей,—что объясняется живыми впечатлѣніями историка-путешественника. Прибавимъ начитанность Карамзина въ иностранныхъ историкахъ (Юмѣ и др.), и мы поймемъ искреннее и глубокое благоговѣніе Пушкина къ памяти Карамзина, выразившееся въ посвященіи „Бориса Годунова". Не забудемъ еще, что, несмотря на складъ общей рѣчи, въ изложеніи Карамзина часто попадаются самыя типичныя выраженія источниковъ. Пушкинъ нашелъ новую мѣру для воспроизведенія старой русской рѣчи, и это не было замѣчено его критиками. Однако, давно уже понравились образы лѣтописца Пимена, царя Бориса, бродягъ—чернецовъ, и проч.

Карамзинъ и Жуковскій освободили Пушкина изъ деревенскаго заточенія Поэтъ получилъ доступъ въ столицы и сталъ двигаться съ трудомъ и большими препятствіями по той же дорогѣ, какой шли его покровители: Карамзинъ и Жуковскій. Еще смущаемый прошлымъ (Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, Въ безумствѣ гибельной свободы, Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ Мои утраченные годы), еще не опредѣлившій своего главнаго влеченія и занятый страстью къ московской красавицѣ Гончаровой, поэтъ совершаетъ поѣздки по Россіи и на Кавказъ, пока наконецъ не обращается въ женатаго человѣка—придворнаго исторіографа, какъ Жуковскій, шедшій прямой дорогой придворнаго педагога и поэта. Страстный поэтъ пѣлъ теперь какъ соловей надъ розой:

Исполнились мои желанія. Творецъ
Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя Мадонна,
Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ (II, 96).

Первое лѣто своей женатой жизни Пушкинъ провелъ съ Жуковскимъ въ Царскомъ Селѣ. И далѣе поэты продолжали поддерживать самую тѣсную дружбу. Жуковскій, взирая на счастье Пушкина, ожилъ въ своей поэзіи. Вмѣсто занятій педагогіей и переводовъ для немногихъ онъ далъ „Сида“ и цѣлый рядъ переводовъ изъ Шиллера, Уланда, и др. „Сказки“, написанныя Жуковскимъ въ Царскомъ Селѣ, близъ молодыхъ—Пушкиныхъ, отличаются игривостью, естественностью разсказа и художественностью народнаго языка, прелестью описаній:

Подъѣзжаетъ онъ къ озеру; гладко
Озеро то, какъ стекло; вода наравнѣ съ берегами;
Все въ окрестности пусто; румянымъ вечернимъ сіяньемъ
Воды покрытыя гаснутъ, и въ нихъ отразился зеленый
Берегъ и частый тростникъ—и все какъ будто бы дремлетъ;
Воздухъ не вѣетъ; тростинка не тронется; шороха въ струйкахъ
Свѣтлыхъ не слышно.

(Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ Царевичѣ...).

Жуковскій, какъ никогда, болѣе приблизился въ этихъ сказкахъ къ народной поэзіи, къ народному языку. Пушкинъ превзошелъ Жуковскаго бо́льшей опытностью въ изображеніи дѣйствительныхъ явленій народной жизни. Передъ нами два поэта: одинъ—идеалистъ, почти въ стилѣ народной сказки, развивающейся изъ невѣдомой дали и старины, съ ея небывалыми утѣхами; другой поэтъ—реалистъ, видящій насквозь сословныя отношенія и полный ироніи народнаго же скомороха, пѣвца. До чего могъ доходить Пушкинъ въ изображеніи народныхъ сюжетовъ можно судить изъ піесъ, въ родѣ „Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ“, „Гусаръ“, „Русалка“, „Пѣсни западныхъ славянъ“.

Жуковскій выступилъ рядомъ съ Пушкинымъ переводами и замыслами крупныхъ произведеній. Все это отвлекаетъ мало-по-малу Жуковскаго на Западъ въ Европу; между тѣмъ, какъ Пушкинъ, окончивъ Евгенія Онѣгина, отдается занятіямъ русской исторіей и создаетъ „Исторію Пугачевскаго Бунта“ и „Капитанскую дочку“, матеріалы для времени Петра Великаго и „Полтаву“, „Мѣдный Всадникъ“. Побѣда ученика—Пушкина надъ учителемъ Жуковскимъ выражается въ цѣломъ рядѣ „Повѣстей Бѣлкина“, которыми Пушкинъ

создаетъ новый русскій романъ. Какой шагъ послѣ „Бѣдной Лизы“ Карамзина, или „Марьиной рощи“ Жуковскаго!

Жуковскій для Пушкина продолжалъ быть идеаломъ въ жизни: ихъ соединяли узы помощи молодымъ и несчастнымъ литераторамъ. Гоголь, Кольцовъ, Баратынскій были пригрѣты вниманьемъ и любовью великихъ поэтовъ. Рано Пушкинъ сталъ задумываться о преемникахъ въ области литературы:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь.

Карамзина уже не было; Батюшковъ и Гнѣдичъ не существовали; Крыловъ и Жуковскій жили прежней славой, и Пушкинъ чувствовалъ по временамъ одиночество. Такова лицейская годовщина 1836 г.

Пушкинъ искалъ работы и нашелъ ее въ изданіи „Современника, литературнаго журнала въ Петербургѣ 1836 г.“. Въ четырехъ книжкахъ, вышедшихъ при жизни поэта, появились его капитальныя произведенія, какъ „Капитанская дочка“, „Пиръ Петра Великаго“, „Скупой рыцарь“. Жуковскій, Гоголь, Кольцовъ, кн. Вяземскій, Тютчевъ явились сотрудниками Пушкина.

Посвящая слѣдующую главу разбору произведеній Пушкина, мы заключимъ обзоръ предшественниковъ его стихами, принадлежащими Жуковскому, свидѣтелю послѣднихъ мучительныхъ дней и смерти поэта:

Онъ лежалъ безъ движенья, какъ будто по тяжкой работѣ
Руки свои опустивъ; голову тихо склоня,
Долго стоялъ я надъ нимъ, одинъ, смотря со вниманьемъ
Мертвому прямо въ глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мнѣ такъ знакомо, и было замѣтно,
Что выражалось на немъ, въ жизни такого
Мы не видали на этомъ лицѣ. Не горѣлъ вдохновенья
Пламень на немъ; не сіялъ острый умъ;
Нѣтъ! но какою то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мнѣ, что ему
Въ этотъ мигъ предстояло какъ будто какое видѣнье,
Что то сбывалось надъ нимъ; и спросить мнѣ хотѣлось: что видишь?
(Стихотворенія Жуковскаго 1895 г., III, 135).

II.

Нашъ очеркъ былъ бы не полонъ, если бы мы не коснулись хотя нѣкоторыхъ выдающихся произведеній А. С. Пушкина, чтобы опредѣлить его значеніе въ исторіи русской литературы, его развитіе въ занимающей насъ области національныхъ сюжетовъ, народнаго быта и народной исторіи. Мы не будемъ возвращаться къ произведеніямъ, разсмотрѣннымъ болѣе или менѣе полно въ предшествующей главѣ, и остановимся только на нѣсколькихъ группахъ русскихъ поэмъ, повѣстей, лирическихъ произведеній Пушкина.

Пушкинъ явился въ русской литературѣ, какъ новый поэтъ,— пѣвцомъ „Руслана и Людмилы" 1820 г. Мы знаемъ тѣсную связь этой поэмы съ прошлой русской литературой: съ ея ложноклассическими образцами (поэтъ хорошо зналъ и европейскіе выдающіеся образцы), съ ея историческими и народными изученіями. Поэтъ не могъ еще внести въ это юношеское произведеніе бо̀льшаго вниманія къ лѣтописямъ, къ былинамъ, къ средневѣковымъ народнымъ поэмамъ. Но новые пріемы Жуковскаго, совѣты и труды Карамзина, свѣтлый взглядъ на прошлое древней Руси, свѣжесть и простота юношескихъ порывовъ молодого автора, вложенные въ витязей Руси Владиміра стольно-кіевскаго, положили прочныя основы для дальнѣйшаго литературнаго развитія поэта. Историческіе сюжеты „Полтавы", „Бориса Годунова", не говоря уже о времени Петра Великаго и Екатерины II, развиты Пушкинымъ основательнѣе, естественнѣе, но здѣсь подъ рукой поэта были опредѣленныя осязательныя пособія, легкая выработанная манера изложенія. Однако, „Полтавой" поэтъ не былъ доволенъ. Отсюда множество мелкихъ и крупныхъ произведеній, вращающихся около личности Петра Великаго. Пушкинъ не возвращался ко временамъ Владиміра кіевскаго и уходилъ въ современность и ближайшія эпохи. Чтобы разгадать такую отдаленную старину, необходимо было понять воззрѣнія народа съ языческой эпохи, воззрѣнія христіанъ русскихъ отдаленнѣйшаго времени. И вотъ поэтъ беретъ языческаго князя Олега, какъ представителя—болѣе очерченнаго, болѣе выступающаго изъ глубины русской древности—героемъ своихъ балладъ: „Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ", „Олеговъ щитъ". Онъ пытается вмѣстѣ съ „Олегомъ" создать поэму и драму изъ времени Владиміра кіевскаго, или Великаго Новгорода временъ Рюрика и Гостомысла.

То, что дошло до насъ, въ видѣ программъ и отрывковъ (II, 314—321), до сихъ поръ остается недостижимымъ для художественнаго воспроизведенія. Поэтъ доходилъ уже до древнѣйшихъ представленій язычниковъ варяговъ и славянъ, съ ихъ морской жизнью, употребленіемъ кремней, съ обстановкой,—какъ будто взятой изъ Калевалы. Пушкинъ начертывалъ бытовыя картины обрядовъ тризны, свадебнаго пира (прекрасно развитаго въ „Русалкѣ"). Какой неисчерпаемый талантъ и какъ неправы тѣ сужденія объ упадкѣ его таланта въ 30-хъ годахъ, какія раздавались изъ устъ современниковъ и даже послѣдующихъ біографовъ поэта! Пѣснь о Полку Игоревѣ служила предметомъ изученія Пушкина; но полемика Каченовскаго, скептиковъ отталкивала и запутывала вопросы русской древности. Русскому Вальтеръ-Скотту не было возможности опереться на симпатіи къ какому либо прошлому: въ волнующихся, безграничныхъ рамкахъ русской исторіи съ ея бьющими въ глаза несчастіями и удачами—болѣе военнаго, чѣмъ гражданскаго преуспѣянія, болѣе духовнаго, чѣмъ житейскаго культурнаго развитія,—трудно было выбрать предметъ для воспроизведенія всѣмъ одинаково дорогой, всѣмъ равно сродный. Оттого „Борисъ Годуновъ", какъ и „Полтава", отчасти не были поняты, отчасти не удались.

Мы говорили о „Борисѣ Годуновѣ" и должны хотя нѣсколько словъ посвятить „Полтавѣ" 1828 г. Поэма была написана быстро, въ двѣ октябрскія недѣли, подъ впечатлѣніемъ нѣсколькихъ строкъ „Войнаровскаго", но она была выношена поэтомъ изъ чтенія Байрона на югѣ, изъ пребыванія въ Бендерахъ, гдѣ поэтъ еще въ 1824 г. отыскивалъ могилу Мазепы, изъ воспоминаній о Кіевѣ. Быстро написанная поэма вылилась изъ подъ пера Пушкина безъ подробностей быта, нравовъ,—болѣе, какъ историческая картина и драматическая хроника, однако, вѣрная по изображенію природы и человѣческаго сердца. Въ ней нѣтъ тѣхъ матеріаловъ, которые послужили Гоголю для созданія „Тараса Бульбы". „Полтава" написана такъ же сильно, какъ небольшія піесы Пушкина, относящіяся къ личности Петра Великаго, какъ поэмы Кавказа и Крыма, съ которыми „Полтава" стоитъ въ бо̀льшей связи, чѣмъ съ „Цыганами". Мы понимаемъ теперь, почему поэтъ могъ написать Полтаву въ двѣ недѣли. Въ Мазепѣ онъ увидалъ такое же замѣчательное лицо эпохи Петра Великаго, какія онъ выносилъ, создавая „Бориса Годунова". Малороссія „смутной поры" представляла такіе же характеры, какъ

время Годунова и Самозванца. Несчастная семья Кочубея, сдѣлавшагося страдальцемъ изъ мести, коварство честолюбиваго гетмана-измѣнника, движеніе Карла XII—всѣ эти „насилія, бѣдствія, побѣды“, оставившія кровавый слѣдъ, отвѣчали исчезнувшему времени Годунова и Лжедмитрія. Не въ нихъ, а „въ гражданствѣ Сѣверной державы“ поэтъ видѣлъ свой идеалъ, и естественно съ простотой народнаго поэта воспѣлъ побѣду Петра Великаго. Эти народныя черты отражаются въ повтореніяхъ о красотѣ украинской ночи, въ сравненіяхъ битвы съ пахаремъ, войны съ грозой, отражающейся въ очахъ Петра. Мысль поэта объ отношеніи этихъ событій какъ будто сказывается въ соотвѣтствіи заключенія поэмы о Малороссіи 1828 года (Прошло сто лѣтъ—и что жъ осталось) и вступленіемъ къ „петербургской повѣсти—Мѣдный Всадникъ“ 1833 г.

(Прошло сто лѣтъ—и юный градъ,
Полнощныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ,
Вознесся пышно, горделиво).

Мѣстныя черты „Полтавы“, какъ въ „Гусарѣ“ 1833 г. (въ которомъ даже рѣчь народа вошла въ произведеніе русскаго поэта: „эге! галушки, хлопецъ, дурень, чернобривой“), выступаютъ не рѣзко, но все-таки не въ такихъ неопредѣленныхъ чертахъ, какъ въ „Русланѣ и Людмилѣ“ [1]), чудесный „Прологъ“ къ которому Пушкинъ написалъ въ 1828 г., и въ которомъ только и отмѣчены: „туманы надъ Днѣпромъ глубокимъ“ и „предъ нимъ уже днѣпровски волны въ знакомыхъ пажитяхъ шумятъ; ужъ видитъ златоверхій градъ“. Въ „Полтавѣ“ почти все проникнуто мѣстными красками: кіевскія высоты, сады съ тополями, замки, хутора; синій Днѣпръ, панъ гетманъ, сердюки, долгогривые кони, погони, грабежи и кровавыя сцены и рядомъ „моленье ликовъ громогласныхъ за упокой души несчастныхъ“. Въ 1835 г. Пушкинъ развилъ „Пиръ Петра Великаго“, начертанный въ „Полтавѣ“, въ другую картину:

---

[1]) Вотъ общія черты первой поэмы Пушкина съ „Полтавой“: „На встрѣчу утреннимъ лучамъ“ (II, 233); „То былъ Русланъ. Какъ Божій громъ“ (272); ср. описаніе битвы кіевлянъ съ печенѣгами (271). Связь „Руслана и Людмилы“ съ лѣтописями отмѣчена авторомъ: „Монахъ, который сохранилъ потомству вѣрное преданье о славномъ витязѣ моемъ“ (II, 256).

Побѣжденъ ли шведъ суровый?
Мира ль проситъ грозный врагъ?
Годовщину ли Полтавы
Торжествуетъ государь—
День, какъ жизнь своей державы
Спасъ отъ Карла русскій царь?
Нѣтъ, онъ съ подданнымъ мирится;
...И раздался въ честь науки
Пѣсенъ хоръ и пушекъ громъ...
И прощенье торжествуетъ,
Какъ побѣду надъ врагомъ (II, 178—179).

Итакъ, Петръ Великій и Полтавскій бой заслонили отъ Пушкина подробности внутренней жизни старой Малороссіи XVII—XVIII вѣковъ. Поэтому въ ней нѣтъ той глубины бытового содержанія, какъ въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“ и въ „Цыганахъ“: отсутствуютъ народныя пѣсни (ср. татарскую пѣсню, молдавскую, сколько въ нихъ правды, и какъ безцвѣтны слова о слѣпомъ украинскомъ пѣвцѣ съ пѣснями о грѣшной дѣвѣ, или имена стараго Дорошенки, молодого Самойловича), школьные типы, хотя въ обрисовкѣ козачества много жизни и движенья.

Отъ историческихъ поэмъ обратимся къ поэмѣ-роману Пушкина, занимавшему его въ теченіе двадцатыхъ годовъ, произведенію,—выдающемуся и изъ твореній Пушкина, и изъ произведеній русской литературы. Въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“ Пушкинъ нашелъ прочную почву для своего творчества. Для современниковъ это было цѣлое открытіе: недоступный кругъ великосвѣтской жизни и типовъ открывался для читателей другихъ классовъ общества; разочарованнымъ передовымъ людямъ или самодовольнымъ представителямъ высшаго общества указывались ихъ больныя мѣста. Поэтъ открывалъ множество бытовыхъ и историческихъ картинъ и образовъ въ русской жизни: деревня и Москва, Петербургскій свѣтъ и русскіе геттингенцы, москвичи въ гарольдовомъ плащѣ, безпечная жизнь съ удовольствіями изо дня въ день и кровавыя драмы съ дуэлями, тяжелыя драмы въ жизни безупречной русской женщины большого свѣта, отсутствіе примиряющей среды въ общихъ радостяхъ или въ общемъ горѣ. Здѣсь нѣтъ мѣста задушевнымъ лицейскимъ годовщинамъ, которыя бы соединяли питомцевъ стараго Московскаго Университета, не говоря о только что

возникшихъ высшихъ заведеніяхъ при Александрѣ I; здѣсь нѣтъ рѣчи объ интересахъ дворянства, надъ которыми задумывался поэтъ въ „Мѣдномъ Всадникѣ“, въ „Родословной“. Поэтъ успокаивается на общихъ красивыхъ картинахъ города, веселья крестьянскихъ простыхъ дѣтей на зимнихъ каткахъ—дорогахъ, веселья деревенскихъ святокъ, на отношеніяхъ деревенской барышни и няни. Здѣсь самая обыкновенная жизнь русскаго дворянскаго семейства въ разныхъ его типахъ, доступнаго, не гордаго,—можетъ быть, оттого, что мы не видимъ въ романѣ отношеній къ другимъ классамъ. Это дѣйствительно преданія русскаго семейства: всѣ дѣйствующія лица связаны только личными отношеніями. И эти личныя отношенія какъ будто стоятъ въ разрѣзъ съ мечтаніями молодыхъ героевъ: о легкомъ оброкѣ, о музахъ, о свободной любви. Поэтъ стоитъ выше и старой и новой Россіи въ ея представителяхъ. Это первыя серіозныя думы Пушкина о русскомъ обществѣ. Онъ вводитъ въ романъ и свои личныя впечатлѣнія, раздумья, увлеченія. Его герои—живыя лица современности: для нихъ время Наполеона уже прошлое. Онѣгинъ вступаетъ въ жизнь, когда уже умолкли военныя бури. Альбомъ Онѣгина, сохранившійся въ черновыхъ бумагахъ поэта, отразившійся въ его жизни, современенъ созданію самого романа, 1822—1831 гг. И въ немъ, дѣйствительно, отразились черты того времени, хотя бы въ слѣдующихъ замѣткахъ поэта:

I глава: А Петербургъ неугомонный
Ужъ барабаномъ пробужденъ.

II глава: Отецъ ея былъ добрый малый,
Въ прошедшемъ вѣкѣ запоздалый...
Какъ часто въ дѣтствѣ я игралъ
Его очаковской медалью.

III глава: Я знаю: дамъ хотятъ заставить
Читать по-русски. Право, страхъ!
Могу ли ихъ себѣ представить
Съ „Благонамѣреннымъ“ въ рукахъ.

IV глава: Въ избушкѣ распѣвая дѣва
Прядетъ и, зимнихъ другъ ночей,
Трещитъ лучина передъ ней.

V глава: Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны...
. . . . . .
По старинѣ торжествовали
Въ ихъ домѣ эти вечера.
. . . . . .
И вынулось колечко ей
Подъ пѣсенку старинныхъ дней...
. . . . . .
Татьяна, по совѣту няни,
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала въ банѣ
На два прибора столъ накрыть;
Но стало страшно вдругъ Татьянѣ...
И я—при мысли о Свѣтланѣ
Мнѣ стало страшно.

VI глава: Быть можетъ, онъ для блага міра,
Иль хоть для славы былъ рожденъ;
Его умолкнувшая лира
Гремучій, непрерывный звонъ
Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,
Быть можетъ, на ступеняхъ свѣта
Ждала высокая ступень.

VII глава: „Вотъ это барскій кабинетъ:
„Здѣсь почивалъ онъ, кофей кушалъ
„Прикащика доклады слушалъ,
„И книжку поутру читалъ...
. . . . . .
И лорда Байрона портретъ,
И столбикъ съ куклою чугунной
Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками сжатыми крестомъ...
. . . . . .
„И старый баринъ здѣсь живалъ.
„Со мной, бывало, въ воскресенье,

„Здѣсь подъ окномъ, надѣвъ очки,
„Играть изволилъ въ дураки.
„Дай Богъ душѣ его спасенье,
„А косточкамъ его покой
„Въ могилѣ, въ мать-землѣ сырой!“

. . . . . .

У Харитонья въ переулкѣ
Возокъ предъ домомъ у воротъ
Остановился. Къ старой теткѣ,
Четвертый годъ больной въ чахоткѣ,
Они пріѣхали теперь.
Имъ настежъ отворяетъ дверь
Въ очкахъ, въ изорванномъ кафтанѣ,
Съ чулкомъ въ рукѣ, сѣдой калмыкъ.

. . . . . .

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядятъ...
Къ ней какъ то Вяземскій подсѣлъ
И душу ей занять успѣлъ.

VIII глава. Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ,
Космополитомъ, патріотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,
Иль маской щегольнетъ иной?
Иль просто будетъ добрый малый...

. . . . . .

Сталъ вновь читать онъ безъ разбора:
Прочелъ онъ Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Stael, Биша, Тиссо,
Прочелъ скептическаго Беля,
Прочелъ творенья Фонтенеля,
Прочелъ изъ нашихъ кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Гдѣ поученья намъ твердятъ.

Въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“ отразился и путь развитія самого поэта, выраженный имъ въ извѣстномъ поэтическомъ противоположеніи

„тревогъ прошлыхъ лѣтъ“ съ безыменными страданіями, съ высокопарными мечтами—инымъ роднымъ картинамъ (III, 408—409). Какъ хороши эти отрывки „изъ путешествія Онѣгина“, не вошедшія въ великолѣпное художественное цѣлое романа. Если не сжимать содержанія его въ голую фабулу, въ оцѣнку дѣйствій героевъ,—если читать его, вникая въ каждую картину, въ каждое выраженіе, то невольно поражаешься вновь открываемыми красотами „Евгенія Онѣгина“: сжатой живописью природы, движеній чувства въ молодыхъ герояхъ (особенно Татьяны), деревенской тишины и оживленнаго шума гостей—разнообразныхъ, типичныхъ. Уже по „Евгенію Онѣгину“ можно судить о силѣ таланта Пушкина: ему были равно доступны въ высшей степени и описанія, и выраженія чувствъ, и драматическія изображенія: трагическія и комическія (до насъ дошли случайные наброски комедіи). Мы приведемъ нѣсколько картинъ природы безподобныхъ и въ отдѣльности и еще болѣе—въ гармоніи съ настроеніями героевъ романа:

Но вотъ ужъ луннаго луча
Сіянье гаснетъ. Тамъ долина
Сквозь паръ яснѣетъ. Тамъ потокъ
Засеребрился; тамъ рожокъ
Пастушій будитъ селянина.
Вотъ утро; встали всѣ давно...
. . . . . .
Предъ ними лѣсъ; недвижны сосны
Въ своей нахмуренной красѣ;
Отягчены ихъ вѣтви всѣ
Клоками снѣга; сквозь вершины
Осинъ, березъ и липъ нагихъ
Сіяетъ лучъ свѣтилъ ночныхъ;
Дороги нѣтъ; кусты, стремнины
Метелью всѣ занесены,
Глубоко въ снѣгъ погружены...
. . . . . .
Былъ вечеръ. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.
Ужъ расходились хороводы.
Ужъ за рѣкой, дымясь, пылалъ

Огонь рыбачій. Въ полѣ чистомъ,
Луны при свѣтѣ серебристомъ,
Въ свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна;
Шла, шла... И вдругъ передъ собою
Съ холма господскій видитъ домъ,
Селенье, рощу подъ холмомъ
И садъ надъ свѣтлою рѣкою.

Эти частности, ихъ поразительная вѣрность (напримѣръ, безподобная пѣсня дѣвушекъ, или изображенія адскихъ привидѣній во снѣ Татьяны), ихъ разнообразіе, отъ столичнаго свѣта до трактира на проселочной дорогѣ, задушевность въ ихъ описаніи, сообщаютъ „роману въ стихахъ“ Пушкина значеніе единственнаго въ исторіи русской литературы произведенія, не превзойденнаго никѣмъ изъ русскихъ писателей. „Графъ Нулинъ“ 1825 г. и „Домикъ въ Коломнѣ“ 1830 г. писаны одновременно и совершенно въ стилѣ „Евгенія Онѣгина“. Поэтъ скромно называетъ „Нулина“ сказкой, какъ Дмитріевъ „вѣрную жену“ въ „Причудницѣ“; а „Домикъ въ Коломнѣ“ и начинаетъ сказочнымъ пріемомъ:

Жила-была вдова,
Тому лѣтъ восемь, бѣдная старушка,
Съ одною дочерью. У Покрова
Стояла ихъ смиренная лачужка
За самой будкой.

Извѣстна чудная отдѣлка стиха, языка этого игриваго разсказа съ моралью, въ которомъ однако разсыпано столько глубокихъ опредѣленій, выраженій, сдѣлавшихся обыденными украшеніями нашей родной рѣчи, какъ изъ стиховъ „Евгенія Онѣгина“ и другихъ произведеній величайшаго русскаго поэта, столько же сильнаго въ мелодіи русскаго слова, сколько глубокаго въ размышленіи, въ чувствахъ.

Къ повѣстямъ и романамъ въ стихахъ относится „Петербургская повѣсть—Мѣдный Всадникъ“ 1833 г. Мы говорили уже объ ея историческихъ отношеніяхъ. Добавимъ, что Пушкинъ хотѣлъ не только прославить Петра, выразить свою любовь къ Петрограду; но и затронуть вопросъ о столичномъ гражданинѣ—„героѣ смиренной

повѣсти", несмотря на свою родословную, которой посвященъ „отрывокъ изъ сатирической поэмы" 1833 г. Здѣсь мы имѣемъ дѣло опять таки съ художественной работой поэта надъ вопросами, которые не поддавались открытому рѣшенію и составляли предметъ размышленій, набросанныхъ Пушкинымъ въ черновыхъ замѣткахъ, въ журнальныхъ статьяхъ. Поэтъ не могъ ихъ популяризировать, давать имъ воплощенія, такъ какъ эти вопросы не составляли общихъ убѣжденій, не касались тѣхъ слоевъ, которые были далеки отъ обездоленныхъ, несчастныхъ по личной судьбѣ, какъ герой „Мѣднаго Всадника", лишившійся всего дорогого въ жизни, выброшенный на улицу, обезумѣвшій отъ перенесенныхъ впечатлѣній ужаса, отчаянія и утратъ. Только такой „родовъ униженныхъ обломокъ" могъ почувствовать ужасъ „предъ горделивымъ истуканомъ" и „злобно угрожать державцу полуміра". Несчастный послѣ своихъ дерзкихъ словъ уже со страхомъ и сердечнымъ смятеніемъ пробирался сторонкой:

Картузъ изношенный снималъ.

Самъ поэтъ, восхищенный памятникомъ, или, какъ будто самъ герой его, раздумывающій въ минуту страшнаго проясненія мысли, заключаетъ о роковой волѣ Петра В.; и эти мысли все болѣе овладѣвали самимъ Пушкинымъ, при изученіи эпохи и личности Петра I по архивнымъ матеріаламъ:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?
О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы?

Вотъ образчикъ глубокихъ раздумій поэта надъ судьбами родины, и сколько такихъ историческихъ и современныхъ поэту наблюденій заключается въ его безсмертныхъ твореніяхъ! Ихъ можно судить за неполноту выраженія, за неоконченность отдѣлки, за блѣдность типовъ и событій; но едва ли можно голословно отрицать блестящія замѣчанія, отдѣланныя, какъ драгоцѣнные камни, въ оправу родного слова. А эта оправа давно уже признана критиками Пушкина всѣхъ оттѣнковъ—безподобной.

Переходимъ къ прозаическимъ повѣстямъ и романамъ Пушкина. Съ 1830 г. онъ написалъ цѣлый рядъ повѣстей, подъ названіемъ „Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, изданныя А. П.“, „Капитанскую Дочку“ 1833 г. Но еще въ 1827 году Пушкинъ задумалъ написать историческій романъ изъ семейныхъ преданій и временъ Петра В., отъ котораго до насъ дошелъ неоконченный отрывокъ, подъ названіемъ „Арапъ Петра Великаго“. Уже здѣсь видна манера поэта входить въ духъ, нравы и даже самыя выраженія времени. Какъ будто авторъ напитался складомъ мысли и выраженій Кантемира, или записокъ времени Петра I. Нѣкоторыя подробности, во вкусѣ безцеремонныхъ выраженій литературы XVII—XVIII вѣковъ, не портятъ впечатлѣнія отъ правдиваго во всѣхъ отношеніяхъ разсказа Пушкина о необыкновенной любви арапа, опять-таки во вкусѣ романовъ съ приключеніями XVII—XVIII вв. Общій колоритъ однако сглаженъ симпатіями поэта: къ занятіямъ науками, къ исторіи Петербурга и къ сердцу человѣческому, которому поэтъ довѣрялъ на всѣхъ ступеняхъ человѣческой культуры, не отказывая въ добрыхъ движеніяхъ ни людямъ прошлыхъ вѣковъ, ни дикимъ инородцамъ.

Кто-то выразился, что въ произведеніяхъ Пушкина заключается какъ бы энциклопедія русской жизни. „Повѣсти Бѣлкина“ служатъ именно подтвержденіемъ этого необыкновенно широкаго утвержденія расположеннаго къ Пушкину критика. И это вѣрно даже въ отношеніи къ современной Пушкину эпохѣ. „Евгеній Онѣгинъ“, „Графъ Нулинъ“, „Пиковая Дама“ изображаютъ высшее свѣтское общество. Сказки о рыбакѣ и рыбкѣ, о Балдѣ, баллады—Утопленникъ, Зимняя дорога, Гусаръ, Женихъ, Сватъ Иванъ, не говоря о частныхъ упоминаніяхъ въ большихъ произведеніяхъ (няня, дѣвушки въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“, мельникъ и дочь въ „Русалкѣ“ и др.) касаются простого народа, его вѣрованій, быта и отношенія къ другимъ классамъ. „Домикъ въ Коломнѣ“, „Мѣдный Всадникъ“ и особенно „Повѣсти Бѣлкина“ набрасываютъ цѣлый рядъ тѣхъ картинъ изъ жизни средняго класса людей—мелкихъ купцовъ, дворянъ, чиновниковъ, горожанъ, которыхъ съ отрицательной стороны вывелъ Гоголь. Пушкинъ, ограничивавшій сатиру трезвымъ взглядомъ на положительныя стороны дѣйствительности, соединенныя чаще всего съ безпокойствомъ совѣсти, съ тревогами сердца, даже съ трагизмомъ, сдержанно, какъ будто сухо, въ небольшихъ разсказахъ умѣлъ дать много опытовъ новой русской повѣсти изъ жизни этихъ людей. Это какъ будто исповѣди

чиновниковъ, военныхъ, прикащиковъ, дѣвицъ, собранныя и изложенныя добродушнымъ „покойнымъ И. П. Бѣлкинымъ“, молодымъ дворяниномъ способнымъ, по незначительности образованія, при добромъ сердцѣ и неопытности въ хозяйственныхъ дѣлахъ, излагать „исторіи“. Какая противоположность съ авторомъ почти во всѣхъ типахъ, выведенныхъ имъ! Передъ нами проходятъ: дуэлистъ Сильвіо, кончающій жизнь въ рядахъ этеристовъ, богатый гусаръ Минскій, утащившій красивую простушку—дочь станціоннаго смотрителя, барышня, пострадавшая отъ романической свадьбы убѣгомъ въ метель, эксцентричная барышня Лиза Муромская. Все это соединено съ тяжелымъ горемъ, съ страданіями, пережитыми героями, затянутыми въ жизнь привязанностей и страстей. Впрочемъ, для большинства героевъ Пушкина все кончается счастливо: минутныя горести, вспышки превращаются въ удачу, въ счастливый исходъ. Передъ нами развивается какъ будто болѣзнь любовной страсти. Однако, отецъ счастливой Дуняши—простой станціонный смотритель — дѣлается жертвой своей единственной горячей привязанности къ дочери, покинувшей случайно отца. И въ повѣстяхъ Бѣлкина, какъ мы уже мелькомъ замѣтили, Пушкинъ не забылъ своихъ предшественниковъ, отмѣчая свое отношеніе къ нимъ выборомъ эпиграфовъ, ссылками на ихъ сочиненія (напр. на „Наталью боярскую дочь“ Карамзина): „Метель“ связана и содержаніемъ съ „Свѣтланой“ Жуковскаго, „Гробовщикъ“— съ одами Державина на смерть знакомыхъ и знатныхъ. Въ послѣднемъ разсказѣ Пушкинъ имѣетъ въ виду уже „нынѣшнихъ романистовъ“, между прочимъ Погорѣльскаго, который въ своей повѣсти „Почтальонъ“ ввелъ элементъ фантастичности. У Пушкина въ „Гробовщикѣ“ фантастика является во снѣ, какъ и въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“ (сонъ Татьяны). Если въ Нарѣжномъ и въ Погорѣльскомъ признаютъ предшественниковъ Гоголя, то Пушкинъ едва ли не учитель великаго романиста, имя котораго едва ли можно раздѣлять отъ нашего поэта. Скажемъ болѣе, изученіе повѣстей Пушкина должно лежать въ основѣ изученія цѣлой школы великихъ романистовъ недавняго времени,—что было и заявлено отошедшими уже романистами, Тургеневымъ и Гончаровымъ. Но мы не останавливаемся здѣсь на значеніи Пушкина, какъ „учителя“.

Въ чемъ же талантъ Пушкина повѣствователя, романиста? Передъ нами небольшія піесы, такъ же отдѣланныя, какъ стихотворныя баллады, поэмы. Но стиль ихъ, стиль „смиренной прозы“—ровный,

точный, дѣловой. Предметы и природа описываются съ бо́льшей точностью, чѣмъ въ стихахъ: эпитеты естественны, наблюдательности предоставлено свободное поле. Разговоры дѣйствующихъ лицъ и письма вполнѣ передаютъ, какъ особенности рѣчи горожанъ, такъ и сельчанъ,—„крестьянское нарѣчіе“ (IV, 79 и 82). Разсказъ ведется то отъ лица проѣзжаго, то съ личными замѣтками (о деревенской скукѣ IV, 41; о поѣздкѣ изъ Москвы въ Петербургъ въ 1810 г. и въ Псковскую губернію 1816 г. IV, 65), то съ упоминаніями о крупныхъ политическихъ событіяхъ въ жизни государства (45, 52, 55). Послѣднія всѣ относятся къ военнымъ событіямъ наполеоновскихъ войнъ и освобожденія Греціи.

„Исторія села Горохина“ относится также къ „Повѣстямъ Бѣлкина“. Въ предисловіи выступаетъ снова старомодный литераторъ, выучившійся писать по Письмовнику Курганова, побывавшій въ нѣмецкомъ пансіонѣ, переписывавшій тетради стиховъ, ходившія между полковыми товарищами, читавшій журналы и благоговѣвшій передъ литераторами. Бѣлкинъ пытался изобразить Рюрика героемъ поэмы, трагедіи, баллады и сладилъ только съ надписью къ портрету Рюрика. Перейдя къ прозѣ онъ силился переложить анекдоты въ повѣсти и послѣ неудачи остановился на исторіи села Горохина. Такова исторія „Домика въ Коломнѣ“ въ прозѣ—въ приложеніи къ обществу. Къ сожалѣнію до насъ дошелъ отрывокъ, можетъ быть,—нѣчто, въ родѣ программы; если только это не пародія на Русскую Исторію Карамзина, какъ думаютъ нѣкоторые. Однако, позволено указать одну еще черту, нелишенную интереса для объясненія „Исторіи села Горохина“. Кто знаетъ провинцію и ея интересы стараго времени въ кругу грамотнаго и средняго достаточнаго сословія, тотъ знаетъ, конечно, любителей записокъ, замѣтокъ, начиная отъ лѣтописныхъ до „лавочничьихъ“, или записей изустныхъ преданій. Если бы этотъ сатирическій опытъ „Исторіи“ былъ продолженъ Пушкинымъ, то онъ представилъ бы живые типы крестьянъ и другихъ обитателей села.

Вопросъ о распространенности русской литературы, о вкусахъ разныхъ классовъ русскихъ читателей занималъ Пушкина. Мы видѣли, что онъ былъ не высокаго мнѣнія объ этой начитанности и объ умственныхъ интересахъ русскихъ читателей и читательницъ въ особенности. Въ „Рославлевѣ“ 1831 г., написанномъ отъ лица одной знатной дамы, встрѣчаемся съ цѣлымъ очеркомъ русской литературы,

которую знатныя дамы 1811 г.,—т. е. года особеннаго патріотизма съ „Бесѣдой любителей россійскаго слова“ Шишкова, совершенно не знали, предпочитая французскую, англійскую и изрѣдка—нѣмецкую. Пушкинъ указываетъ бѣдность русской литературы (нѣсколько отличныхъ поэтовъ и въ прозѣ одна Исторія Карамзина) и зависимость ея отъ иностранной. Но войны Наполеона и особенно отечественная война произвели внутреннее измѣненіе вкусовъ высшаго русскаго общества: успѣхъ Исторіи Карамзина былъ подготовленъ. И это измѣненіе, въ лицѣ княжны Полины—съ характеромъ, рисуетъ Пушкинъ: изъ космополитки явилась патріотка. Опять маленькая картинка—предшественница „Войны и Мира“ Л. Н. Толстого.

По всей вѣроятности, работы надъ Исторіей Пугачевскаго бунта, Капитанской Дочкой и надъ „Дубровскимъ“ 1832 г. совершались Пушкинымъ въ одно время. „Дубровскій“ является вполнѣ законченнымъ произведеніемъ, хотя великій художникъ не успѣлъ отдѣлать его для печати,—что видно изъ письма Пушкина 1832 г.: „честь имѣю объявить, что первый томъ Островскаго конченъ, и на дняхъ присланъ будетъ въ Москву на твое разсмотрѣніе;.. я написалъ его въ двѣ недѣли, но остановился по причинѣ жестокаго ревматизма, отъ котораго прострадалъ другія двѣ недѣли, такъ что не брался за перо и не могъ связать двѣ мысли въ головѣ“ (VII, 311). Связь съ „Капитанской Дочкой“ проявляется въ „Дубровскомъ“, какъ во времени (XVIII вѣкъ), такъ и въ мѣстѣ дѣйствія (Волга и прилегающія губерніи) и въ приключеніяхъ героя (разбойничьи шайки). Герой, въ самомъ дѣлѣ, необычный-романическій герой изображенъ въ старыхъ условіяхъ дворянскаго и народнаго быта XVIII вѣка. Характеры, обстановка, мѣстности изображены живо. Старый Дубровскій и старикъ Троекуровъ истые представители дворянской спѣси,—умѣвшей отстаивать свою честь даже въ бѣдности. Страстные характеры, воспитанные войной и военной службой, суровые и смѣлые, съ привычками къ стариннымъ потѣхамъ (медвѣжьи травли), къ охотѣ, къ обѣдамъ; и рядомъ—новые люди, въ родѣ селадона жениха князя съ его англоманскими затѣями, оживлявшими заморскими потѣхами уединенныя глухія помѣстья,—что то въ родѣ египетскихъ пирамидъ для крѣпостныхъ, работавшихъ въ этихъ подражаніяхъ европейскимъ замкамъ. Ненормальныя явленія этой жизни создавали и такую молодежь, какъ „славный разбойникъ“ Дубровскій изъ гвардейскихъ офицеровъ и цѣлое село воровскихъ людей. Героиня—опять русская

образованная барышня съ характеромъ Татьяны. Живопись мѣстностей отличается общими свойствами Пушкинской манеры: „князь подвелъ гостей къ окну и имъ открылся прелестный видъ. Волга протекала передъ окнами; по ней шли нагруженныя барки подъ натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванныя душегубками. За рѣкою тянулись холмы и поля; нѣсколько деревень оживляли окрестность“ (IV, 165). Мы не знаемъ повтореній у русскихъ романистовъ такихъ, напримѣръ, картинъ, какъ слѣдующія: „луна сіяла; сельская ночь была тиха; изрѣдка подымался вѣтерокъ, и легкій шорохъ пробѣгалъ по всему саду“ (167). Это пріемъ поэта „Полтавы“, „Евгенія Онѣгина“, поэта, который обладалъ могучимъ, всестороннимъ, поразительнымъ талантомъ.

Еще скажемъ о „Русалкѣ“ 1832 г., но только, какъ о произведеніи, завершающемъ опыты Пушкина въ воспроизведеніи народнаго быта, народной исторіи. Мелкія черты связываютъ это глубокопродуманное произведеніе Пушкина съ повѣстью Карамзина „Наталья боярская дочь“, напримѣръ, въ первой сценѣ дочь мельника собирается идти за княземъ на войну, „переодѣвшись мальчикомъ“ (III, 461). Сцены „Русалки“ не носятъ опредѣленныхъ чертъ мѣстности и времени, хотя и связаны съ берегами Днѣпра (можетъ быть, сѣвернаго, ближе къ великорусскому населенію) и съ русской княжеской стариной средняго періода (московскаго, литовскаго) Но сколько въ нихъ бытовой и исторической правды, начиная съ языка,— съ примѣтами книжной рѣчи (актовой, лѣтописной) и еще болѣе— народной пѣсенной. Вообще пріемы изложенія напоминаютъ перо автора „Бориса Годунова“, „Жениха“, и извѣстнаго ряда бытовыхъ картинъ изъ русскаго народнаго быта и исторіи. Характеры лицъ очерчены необыкновенно выразительно: энергичныя выраженія простонародной красавицы, особенно въ минуты страсти и ревности, исполнены такой же силы, какъ и нѣжныя выраженія ея о самопожертвованіи и любви; мельникъ и князь одинаково прозаичны, практичны и гибнутъ отъ нарушенія ихъ безсердечныхъ обыденныхъ разсчетовъ. Сцены свадьбы и видѣній русалокъ не воспроизведены еще никѣмъ въ нашей словесности въ такой мѣрѣ глубокаго проникновенія въ народную душу, если не считать извѣстныхъ описательныхъ сценъ народныхъ обрядовъ и повѣрій въ драмахъ и повѣстяхъ художниковъ-этнографовъ. Вообще говоря, „Русалка“ Пушкина—это безподобный образецъ художественнаго изложенія народной исторіи

и быта. Только другой славянскій поэтъ умѣлъ такъ же рисовать народныя повѣрья, народную жизнь, какъ Пушкинъ,—и это, не называя его имени, былъ современникъ и другъ (одно время) Пушкина. Оставляя въ сторонѣ разницу въ ихъ настроеніяхъ, нельзя не видѣть одинаковыхъ стремленій найти правду, красоту и миръ въ отношеніяхъ прошлаго и настоящаго, высокаго по положенію и низкаго въ жизни родственныхъ племенъ. Въ концѣ концовъ, отбрасывая тяжелыя матеріальныя давленія (насущныхъ ежедневныхъ потребностей, роскоши, боязни за средства, и проч.), поэты сливались въ возвышенныхъ мечтахъ о временахъ грядущихъ, когда народы, распри позабывъ, въ единую семью соединятся. Мечтательныя видѣнья, хотя бы въ рамкахъ народныхъ суевѣрій, какъ будто роднятъ народности. Это романтика, соединенная съ пріемами Шекспировскаго творчества. Вотъ достоинства этого неоконченнаго произведенія Пушкина, глубокаго значенія котораго въ послѣдующей русской литературѣ мы не будемъ здѣсь касаться. Не останавливаясь на всѣхъ народныхъ особенностяхъ „Русалки", мы не можемъ не привести нѣсколькихъ примѣровъ изъ рѣчей дочери мельника, которыя очерчиваютъ красавицу старой Руси XVI—XVII вѣковъ: „или онъ звѣрь ... иль его отравой отравили; пускай же бъ онъ съ досады отрубилъ мнѣ руки по локоть; пускай бы тутъ же онъ растопталъ меня своимъ конемъ! отстань отъ насъ! ты видишь: двѣ волчихи не водятся въ одномъ оврагѣ ... выкупить себя онъ думалъ! онъ мнѣ хотѣлъ языкъ засеребрить, чтобъ не прошла о немъ худая слава и не дошла до молодой жены!.. змѣею онъ меня—не жемчугомъ опуталъ... (рветъ съ себя жемчугъ). Такъ бы я разорвала тебя, змѣю-злодѣйку, проклятую разлучницу мою"! Тутъ нѣтъ ничего неестественнаго, преувеличеннаго для того, кто знаетъ народныя русскія пѣсни, характеръ русской простонародной женщины, старыя дѣла. Поэтъ лирикъ также силенъ и въ изображеніи нѣжныхъ любовныхъ рѣчей между княземъ и его возлюбленной—мельничихой. Но мы не приводимъ этихъ рѣчей. Опускаемъ и обзоръ еще другихъ произведеній Пушкина, которыя заслуживали бы вниманія въ ряду разсматриваемыхъ нами сюжетовъ, относящихся къ русской жизни и исторіи.

Въ 1833 г. Пушкинъ, послѣ поѣздки въ Оренбургъ, черезъ Казань и Пензу, докончилъ „Капитанскую дочку". Это такое же крупное произведеніе поэта, какъ „Евгеній Онѣгинъ". Въ области историческаго русскаго романа „Капитанской дочкѣ" принадлежитъ одно

изъ выдающихся мѣстъ. Уже эпиграфы къ отдѣльнымъ главамъ (12) романа указываютъ на нѣкоторые источники Пушкина: народныя пѣсни и пѣсни, басни, комедіи, поэмы XVIII вѣка. Прибавимъ нѣкоторое отношеніе героевъ и частностей романа къ роману А. Измайлова „Евгеній или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества“ 1799—1801 гг. Стиль русской литературы XVIII в. проглядываетъ въ „запискахъ“ Гринева, отъ лица котораго ведется разсказъ (его воспитаніе, его приключенія до службы). Этимъ же стилемъ объясняются размышленія автора объ ужасахъ прошлой жизни и ссылки на „старинныхъ романистовъ“. Главное дѣйствіе романа совершается въ 1772—73 гг., и въ главѣ VI-ой Пушкинъ говоритъ о состояніи Оренбургской губерніи, о нравахъ времени: „когда вспомню, что это (судопроизводство съ пыткой) случилось на моемъ вѣку, и что нынѣ дожилъ я до кроткаго царствованія императора Александра, не могу не дивиться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія и распространенію правилъ человѣколюбія. Молодой человѣкъ! если записки мои (пишетъ Гриневъ; „семейственныя записки“ IV, 242) попадутся въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній“ (221). Герой романа сочиняетъ пѣсенку въ подражаніе А. П. Сумарокову. Письма дѣйствующихъ лицъ, ихъ размышленія и разговоры живо переносятъ въ изображаемое время. Типы помѣщиковъ такъ же живы, какъ и типы военныхъ, козаковъ, инородцевъ, крестьянъ. Авторская опытность, изученіе источниковъ Пугачевщины, поѣздка въ Оренбургъ и изученіе мѣстной жизни придаютъ высокое образцовое значеніе „Капитанской дочкѣ“ въ исторіи русской литературы. Такой поэтъ могъ создавать только точныя историческія картины. Изображеніе семействъ Гриневыхъ, Мироновыхъ напоминаетъ пріемы автора „Евгенія Онѣгина“; но не повторяются черты; и разница во времени, въ сословныхъ и мѣстныхъ особенностяхъ, въ рѣчи дѣйствующихъ лицъ выступаетъ съ наглядной очевидностью для всякаго читателя. Самая романическая исторія любви Петра Андреевича Гринева и Марьи Ивановны Мироновой отличается задушевностью, патріархальной русской скромностью и трогательной искренностью простого, однообразнаго, но дѣятельнаго и героическаго по необходимости и условіямъ времени быта русскихъ людей средней руки. Въ длинной и разнообразной галлереѣ женскихъ типовъ Пушкина Марья Ивановна занимаетъ видное мѣсто. Это ге-

роиня несчастной эпохи кровавыхъ ужасовъ, любящее сердце которой изображали и древнерусскіе памятники литературы (такъ стремится помочь своему плѣнному мужу Ярославна XII в., Евпраксія не переживаетъ убитаго героя въ XIII в.) и народныя былины, въ лицѣ жены заточеннаго Ставра, освобождающей мужа. Миронову можно поставить рядомъ съ образованной, свѣтской Татьяной, съ героической Наташей („Женихъ"), съ Натальей Павловной („Графъ Нулинъ"), и друг.

Изображеніе Пугачевщины, сосредоточенное около слабой Бѣлогорской крѣпости, передаетъ съ достаточной полнотой черты времени: приступъ инородцевъ и козаковъ „съ страшнымъ визгомъ и криками" (знакомая черта воинственныхъ пріемовъ степняковъ по лѣтописямъ) и вылазка солдатъ съ барабаннымъ боемъ, предавшихъ коменданта, встрѣча священникомъ (защитникомъ и укрывателемъ несчастныхъ) побѣдителей съ колокольнымъ звономъ, прощеніе плѣнныхъ и грабежи съ пожарами, убійствами и висѣлицами. Пугачевъ, его окружающіе, привычки русской вольницы и дикіе нравы степняковъ, внутренній мятежъ и воспоминанія о нравахъ украинныхъ людей, разсчитывающихъ на успѣхъ—все это изображено Пушкинымъ съ чувствомъ мѣры и безъ преувеличенія. Въ Пугачевѣ представлено даже много сдержанности въ отношеніи къ плѣннымъ офицерамъ,—къ Савельичу, забывающему изъ-за мелкихъ интересовъ о собственности (барскаго добра), о подозрительности и вспыльчивости мятежниковъ. Какъ поразительно правдива калмыцкая сказка, вложенная въ разсказъ мятежнаго Пугачева съ его дикимъ вдохновеніемъ преступника и руководителя народнаго возбужденія, разгула и удачи поднятаго возстанія. Это сказочная эпопея Разина, предводителей мелкихъ шаекъ, самозванцевъ. Это народная исторія, въ которой многое оправдывается своеобразными легендами, какими-то дикими преданіями и рядомъ поражающими, пассивными, страдальческими періодами текущей жизни. Что касается языка и изложенія романа, то достаточно привести нѣсколько образчиковъ рѣчи дѣйствующихъ лицъ, чтобы видѣть ихъ соотвѣтствіе съ характерами: „почему, думаешь ты, что жило недалече?—А потому, что вѣтеръ оттолѣ потянулъ; и я слышу, дымомъ пахнуло; знать, деревня близко" (разговариваютъ Гриневъ—офицеръ и козакъ Пугачевъ); „а, смѣю спросить, зачѣмъ изволили вы перейти изъ гвардіи въ гарнизонъ? чаятельно, за неприличные гвардіи офицеру поступки?—Полно врать пустяки,

сказала ему капитанша, ты видишь молодой человѣкъ съ дороги усталъ; ему не до тебя... держи-ка руки (съ моткомъ нитокъ; держалъ старичокъ офицеръ, подчиненный коменданта) прямѣе; а ты, мой батюшка, не печалься, что тебя упекли въ наше захолустье". „А, слышь ты, Василиса Егоровна, я былъ занятъ службой: солдатушекъ училъ (говорилъ капитанъ).—И, полно! возразила капитанша, только слава, что солдатъ учишь: ни имъ служба не дается, ни ты въ ней толку не вѣдаешь". „А слышь ты, Василиса Егоровна правду говоритъ. Поединки формально запрещены въ воинскомъ артикулѣ... Ахъ, мой батюшка! да развѣ мужъ и жена не единъ духъ (говорила комендантша, принимавшая непосредственное участіе въ наказаніи офицеровъ-дуэлистовъ). Иванъ Кузьмичъ! что ты зѣваешь? Сейчасъ разсади ихъ по разнымъ угламъ на хлѣбъ да на воду, чтобъ у нихъ дурь-то прошла; да пусть отецъ Герасимъ наложитъ на нихъ эпитимію, чтобъ молили у Бога прощенія, да каялись передъ людьми". Иванъ Кузьмичъ расходился однако съ энергичной соправительницей въ вопросѣ о пыткѣ: „постой, Иванъ Кузьмичъ, дай, уведу Машу куда-нибудь изъ дому... да и я, правду сказать, не охотница до розыска". Если въ этихъ рѣчахъ кое-что напоминаетъ Фонвизина, то зато отличается бо́льшей цѣльностью, типичностью, добродушіемъ и въ одномъ лицѣ показываетъ разнообразіе человѣческихъ движеній: чувства, мысли, сердца. И „Капитанская Дочка" доказываетъ, что Пушкинъ не способенъ былъ къ расплывчатости, скупъ на картины природы, на подмѣчиваніе всѣхъ переливовъ свѣта и тѣней, на искусственность въ задержкахъ и развитіи дѣйствій своихъ героевъ. Онъ быстро писалъ, долго обдумывалъ и долго отдѣлывалъ свои сжатыя произведенія. Въ прозѣ онъ любилъ даже искусственныя упражненія, въ родѣ историческихъ замѣтокъ въ стилѣ Тацита. Въ этомъ Пушкинъ расходился съ Карамзинымъ, для котораго разнообразныя размышленія и искусственныя колебанія чувства дѣйствующихъ лицъ составляли предметъ любимаго изложенія. У Пушкина все выливалось въ однообразную непосредственную форму. И нигдѣ это такъ не очевидно какъ въ лирикѣ поэта, къ которой мы теперь и обращаемся.

III.

Лирика А. С. Пушкина, этотъ рядъ блестящихъ стихотвореній, за 23 года его литературной дѣятельности (съ 1814 г. до 1837 г.), представляетъ не только высокія художественныя произведенія, но и лѣтопись времени и—личной жизни поэта. Къ сожалѣнію, лирика Пушкина не дошла до насъ въ своей полной, непосредственной формѣ. За ней скрываются событія времени и чуткая душа поэта, откликавшаяся, какъ стройный органъ, какъ эхо, на всѣ явленія внѣшней и внутренней жизни. Многое, написанное подъ живымъ впечатлѣніемъ минуты, поэтъ берегъ отъ печати, уничтожалъ, сокращалъ, опускалъ намеки. Тѣмъ не менѣе, ни у кого изъ русскихъ поэтовъ нѣтъ столько искренности въ душевной исповѣди, столько глубины въ оцѣнкѣ русской дѣйствительности, какъ у Пушкина. Поэтъ работалъ неустанно, запасаясь матеріалами для крупныхъ произведеній, доставлявшихъ доходъ ему, всматриваясь въ окружающую жизнь, успокаивая себя сладкозвучными стихами, подбирая риѳмы, куплеты, стихи, выраженія. Нашего величайшаго поэта нельзя представить себѣ иначе, какъ съ записной книжкой, съ тетрадями. Эти черновые матеріалы дошли до насъ: наброски, варіанты, исправленія вносятся во всѣ научныя и полныя изданія сочиненій Пушкина. Какъ важны даже мелкія приписки къ стихотвореніямъ поэта, напр., хронологическія помѣты, можно судить по тому, что одно и то же произведеніе, повидимому, то личнаго, то общаго характера; то говоритъ о любви поэта къ какой-то опредѣленной красавицѣ, то говоритъ о людяхъ, вызвавшихъ въ Пушкинѣ сердечное сожалѣніе своей печальной судьбой. При всей воздержности поэта, въ рукописныхъ стихотвореніяхъ его сохранились горячія строки, обращенныя къ жестокому вѣку, къ свободѣ. Передъ нами проходятъ: побѣды Наполеона I, торжество Россіи, годы, послѣдовавшіе за возвращеніемъ русскихъ и императора Александра I изъ европейскаго похода, годы реакціи и ссылка Пушкина, милость власти, переѣзды поэта, милость къ Пушкину императора Николая I, военныя движенія, холерные годы, тревожныя событія 1831 года и сатирическій голосъ поэта о времени и обществѣ 30-хъ годовъ. И личная жизнь поэта, начиная съ родственныхъ и товарищескихъ отношеній, съ годовъ Лицея, съ вступленія въ жизнь свѣта, литературы, службы—

до интимныхъ отношеній къ красавицамъ, къ мучительному чувству любви, къ упоенію ею, къ раздумьямъ, къ страданьямъ и смерти, къ надеждамъ и отчаянію—все это отразилось въ поэзіи Пушкина. Не вымученными, не односторонними, не цѣльными отдѣланными стихами выливались и чувства и мысли Пушкина, а разнообразными, бойкими переливами мелодій грустныхъ и торжественныхъ, веселыхъ и жолчныхъ, горячихъ до самозабвенія и нѣжныхъ до дѣтской незлобивости. Уже эти свойства лирики Пушкина указываютъ на ея привлекательность, увеличиваемую внѣшними художественными достоинствами. Конечно, не всѣ пьесы Пушкина одинаковаго достоинства въ этомъ отношеніи, не говоря уже о постепенномъ развитіи, постепенномъ усовершенствованіи лирики со стороны формы, начиная съ пьесъ 20-хъ годовъ. Прежде чѣмъ обобщить характеристическія особенности Пушкинской лирики, нельзя не коснуться ея развитія въ хронологической послѣдовательности, привлекая къ ней и другія сродныя произведенія Пушкинской Музы. Конечно, уже въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина (1814—1817 гг.) встрѣчаемся съ нѣкоторыми настроеніями, чувствами и мыслями, которыя повторяются и въ послѣдующихъ произведеніяхъ поэта. Примѣры такихъ повтореній (хотя бы въ „Русланѣ и Людмилѣ“ и въ „Полтавѣ“) мы приводили выше.

Прибавимъ еще къ сказанному въ первой главѣ рѣзкій примѣръ подражанія Пушкина въ извѣстномъ раннемъ „Романсѣ“ 1814 г. (Подъ вечеръ осенью ненастной) Жуковскому. Въ 1813 г. въ „Вѣстникѣ Европы“ Жуковскій напечаталъ „Пѣсню матери надъ колыбелью сына“. Зависимость популярнаго полународнаго романса Пушкина отъ стихотворенія Жуковскаго (также переводнаго „изъ Беркеня“) заслуживаетъ особеннаго вниманія, и мы приведемъ здѣсь нѣсколько выдержекъ изъ „Пѣсни матери надъ колыбелью сына“ (Стихотворенія, 1895 г. I т., 308—311 стр.):

Засни дитя! спи, Ангелъ мой!
Мнѣ душу рветъ твое стенанье!
Ужель страдать и намъ съ тобой?
Ахъ, тяжко и одно страданье!
Когда отецъ твой обольстилъ
Меня любви своей мечтою...
Навѣкъ для насъ пустыня свѣтъ,

Къ надеждѣ намъ пути закрыты;
Когда единственнымъ забыты,
Намъ сердца здѣсь родного нѣтъ;
Не намъ веселіе земное;
Во всей природѣ мы лишь двое.
Пойдемъ, мой сынъ, путемъ однимъ,
Двѣ жертвы рока злополучны;
О, будемъ въ мірѣ неразлучны,
Сноснѣй страданіе двоимъ!

Молодой Пушкинъ превзошелъ своего учителя и въ реализмѣ: онъ заставилъ свою дѣву-мать грубымъ образомъ разстаться съ тайнымъ плодомъ любви несчастной. Какъ извѣстно, ни одинъ „народный пѣсенникъ“ не обходится безъ этого романса 15-ти лѣтняго Пушкина. Можетъ быть, хотя отрицательно и въ этомъ романсѣ поэтъ призываетъ „чувства добрыя въ народѣ“:

Мнѣ вѣчный стыдъ—вина моя!
Законъ неправедный, ужасный,
Къ страданью осуждаетъ насъ...
Блѣдна, трепещуща, уныла,
Къ дверямъ приблизилась она,
Склонилась, тихо положила
Младенца на порогъ чужой.

Еще одинъ также рѣзкій примѣръ повторенія въ „Стансахъ“ 1829 года лицейскаго стихотворенія „Моему Аристарху“ 1815 года:

Сижу ли съ добрыми друзьями,
Лежу ль въ постелѣ пуховой,
Брожу ль надъ тихими водами
Въ дубравѣ темной и глухой,
Задумаюсь, взмахну руками,
На риѳмахъ вдругъ заговорю (I, 107—108).

Такъ и свойство элегій Пушкина—переходить отъ мысли о смерти, о горѣ къ примиренію—находимъ въ Посланіи 1816 года:

Моя стезя печальна и темна...
Мнѣ кажется, на жизненномъ пиру
Одинъ, съ тоской, явлюсь я—гость угрюмый,

Явлюсь на часъ и одинокъ умру...
Нѣтъ, и въ слезахъ сокрыто наслажденье—
И въ жизни сей мнѣ будетъ въ утѣшенье
Мой скромный даръ и счастіе друзей (I, 130—131).

Эти элегіи начинаются у молодого поэта съ 1816 года. Любовныя мечты посѣщаютъ его „нѣмой ночью", и „Вновь упоенный, Пускай умру Непробужденный", взываетъ пылкій поэтъ-лицеистъ, соединявшій представленія о нѣкоторой вольности съ мечтаньями любви идеальной (I, 152—153). Лицейскія стихотворенія Пушкина не богаты содержаніемъ; игривое веселье среди друзей, воспѣваніе пировъ, любви, эпиграммы, мечты о предназначеньи къ литературной дѣятельности, посланія къ поэтамъ, сатира въ римской формѣ на вельможъ, наконецъ, любовь къ природѣ, уединенію и покою—вотъ общее содержаніе этихъ пробныхъ опытовъ молодого поэта.

Продолжая, по выходѣ изъ Лицея, свои посланія къ друзьямъ и поэтамъ, Пушкинъ стремится выразить „вольнолюбивыя надежды". Это сатирическое и еще болѣе лирическое, вдохновенное отношеніе къ будущему „отчизны" не покидаетъ поэта, съ различными сдержками, уступками, раскаяніями до самаго конца жизни. Конечно, въ поэзіи Пушкина заключаются только намеки на явленія дѣйствительности, помимо литературныхъ вліяній, и намъ необходимо хотя назвать нѣсколько теченій въ русскомъ обществѣ около 20-хъ годовъ, чтобы понять посланіе Пушкина „Къ Чаадаеву" 1818 г. (Пока свободою горимъ... Россія вспрянетъ ото сна), „Орлову" 1819 г. (Но не безславишь сгоряча Свою воинственную руку Презрѣнной палкой палача), „Деревня" 1819 г. (Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный И рабство падшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной Взойдетъ ли наконецъ прекрасная заря?), „Ода вольность", „на Аракчеева" 1820 г., и проч. Еще въ Лицеѣ Пушкинъ пережилъ „бранныя" чувства, жажду „звука мечей". Эта жажда была естественнымъ выраженіемъ времени Наполеоновскихъ войнъ; но и среди военныхъ въ Царскомъ Селѣ поэтъ встрѣчалъ людей, задумывавшихся надъ жизнью и исторіей. Таковъ былъ Чаадаевъ, блестящій лейбъ-гусаръ, съ которымъ Пушкинъ раздѣлялъ дружбу и бесѣды по выходѣ изъ Лицея, въ Петербургѣ. Чаадаеву поэтъ обязанъ былъ смягченіемъ своей участи въ 1820 г., когда, вмѣсто тяжелой ссылки за „вольнолюбивыя" стихотворенія и рѣзкія сатиры на вельможъ, при-

Печ. въ тип. Петра Барскаго.

А. Л. Давыдовъ.

сужденъ былъ къ высылкѣ. Въ Посланіи къ Чаадаеву 1821 г. Пушкинъ такъ опредѣляетъ свои отношенія къ лучшему другу: „Ты былъ цѣлителемъ моихъ душевныхъ силъ; О, неизмѣнный другъ, тебѣ я посвятилъ И краткій вѣкъ, уже испытанный судьбою, И чувства, можетъ быть, спасенныя тобою! Ты сердце зналъ мое во цвѣтѣ юныхъ лѣтъ... Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, Ты оживлялъ ее совѣтомъ иль укоромъ. Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь; Терпѣнье смѣлое во мнѣ рождалось вновь... Съ тобою вспоминать бесѣды прежнихъ лѣтъ, Младые вечера, пророческіе споры, Знакомыхъ мертвецовъ живые разговоры; Посмотримъ, перечтемъ, посудимъ, побранимъ, Вольнолюбивыя надежды оживимъ“ (I, 242—243). Чаадаевъ принадлежалъ къ тому кругу людей, который подвергся гоненію въ 20-хъ годахъ, въ министерство кн. Голицына. Уже въ Лицеѣ Пушкинъ слушалъ проф. Куницына, послѣдователя Адама Смита и естественнаго права. Конечно, „рабство, невѣжество“ (Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ... Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ Для прихоти развратнаго злодѣя... Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ), за яркія картины котораго въ концѣ XVIII в. пострадалъ Радищевъ, составляли злобу дня. Любовью къ деревнѣ, къ нянѣ, къ народной поэзіи, къ народному языку поэтъ выражалъ свои гуманныя чувства. Рѣзкая сатира начиналась обличеніемъ „барства дикаго, безъ чувства, безъ закона съ насильственной лозой“ (206, I) и развивалась на другія явленія времени, какъ Аракчеевъ, Фотій, олицетворявшіе два могучихъ теченія времени: поклоненіе военной силѣ, суровой дисциплинѣ и—мистицизму, или, скорѣе, духовной борьбѣ. Пѣвца „Руслана и Людмилы“ въ эти годы, по его собственному выраженію, плѣняли „любовь и тайная свобода“ (I, 208). „Либералъ Пушкинъ“ далъ слово Карамзину не писать сатиръ, эпиграммъ и восхваленій вольности.

Съ такимъ обѣтомъ поэтъ перенесся на нѣсколько лѣтъ на югъ Россіи въ 1820 г. Южная природа, новые люди, начиная отъ кавказцевъ, крымскихъ татаръ, цыганъ, молдаванъ, евреевъ, до образованныхъ военныхъ, среди которыхъ поэтъ встрѣтилъ искренній привѣтъ, разбудили лирику Пушкина въ новомъ направленіи. Уже въ Кіевѣ и въ деревнѣ Каменкѣ Пушкинъ написалъ нѣсколько первыхъ чудныхъ элегій, какъ „Увы, зачѣмъ она блистаетъ минутной нѣжной красотой!“, „Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда“, и друг. Февраль 1821 года Пушкинъ проводилъ въ Кіевѣ послѣ объѣзда Кавказа и Крыма.

Здѣсь онъ отдался антологическимъ сюжетамъ классической поэзіи и Байроновской разочарованности. Таврида, море и любовь воспѣты имъ въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ, и одно изъ нихъ уже знаменуетъ новый расцвѣтъ лирики Пушкина. Въ Каменкѣ, Чигиринскаго уѣзда, Кіевской губерніи, поэтъ вспомнилъ „задумчивую лѣпь“ въ Таврическихъ горахъ:

Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда.
Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда!
Твой лучъ осеребрилъ увядшія равнины,
И дремлющій заливъ, и черныхъ скалъ вершины.
Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной вышинѣ:
Онъ думы разбудилъ уснувшія во мнѣ (I, 225).

Повидимому, Пушкинъ переродился. Теперь онъ „поклонникъ музъ и мира, забывъ молву и жизни суеты“ (I, 236), готовъ каяться въ своихъ желаньяхъ, мечтахъ. Послѣ восторговъ отъ природы, любви наступаетъ періодъ недовольства и жизнью, и собой (I, 259). Но, про себя, поэтъ сочиняетъ подражаніе Шенье „Кинжалъ“, привѣтствуетъ возстаніе за свободу грековъ и порывается на войну, подражая Байрону. Вѣсти о смерти товарищей, знакомыхъ вызываютъ въ Пушкинѣ глубокія элегическія сѣтованія. Это третья, выдающаяся черта лирики Пушкина послѣ паѳоса отъ вольнолюбивыхъ надеждъ и любви. „Гробъ юноши“ 1821 г., „Элегія“—„Умолкну скоро я“, „Къ Овидію“ содержатъ уже горячія выраженія о посмертныхъ воспоминаніяхъ поэта:

Но если обо мнѣ потомокъ поздній мой
Узнавъ, придетъ искать...
мой слѣдъ уединенный...
Къ нему слетитъ моя признательная тѣнь
И будетъ мило мнѣ его воспоминаньс (I, 260).

Прямолинейный герой „Русланъ“ смѣнился „Кавказскимъ плѣнникомъ“ и въ посвященіи новой поэмы 1821 г. Раевскому Пушкинъ, сливаясь съ героемъ своей повѣсти, говорилъ:

Я рано скорбь узналъ, постигнутъ былъ гоненьемъ,
Я жертва клеветы и мстительныхъ невѣждъ;
Но сердце укрѣпивъ свободой и терпѣньемъ,

Я ждалъ безпечно лучшихъ дней,
И счастіе моихъ друзей
Мнѣ было сладкимъ утѣшеньемъ (II, 277).

Поэзія Пушкина пріобрѣла теперь, по его собственнымъ словамъ, „страстный языкъ сердца“ (I, 255), раскаяніе въ „безумствахъ и страстяхъ“ прошлаго. Приступая къ „Евгенію Онѣгину“, поэтъ многое передумалъ. Веселость его смѣнилась скукой, а „либеральный бредъ“—благоразуміемъ (Письма VI, 62). 1823 годъ открывается многознаменательнымъ стихотвореніемъ Пушкина „Телѣга жизни“:

Съ утра садимся мы въ телѣгу;
Мы погоняемъ съ ямщикомъ
И, презирая лѣнь и нѣгу,
Кричимъ: валяй по всѣмъ по тремъ!

Поэтъ представлялъ себѣ уже и полдень, и вечеръ жизни. Онъ испыталъ искушенія злобнаго генія, разувѣрился въ возвышенныхъ чувствахъ, свободѣ, славѣ и любви. Онъ вложилъ въ Онѣгина съ первой главы „рѣзкій охлажденный умъ“ и провелъ параллели между собой и героемъ своего романа:

Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба...

Во второй главѣ „Евгенія Онѣгина“ поэтъ, презирая людей, жизнь, преклоняясь передъ смертью, ставитъ своей цѣлью „звуки“, которыми бы желалъ „печальный жребій свой прославить“ (III, 279).

Теперь онъ достигъ „сладкихъ звуковъ“, но еще не—молитвъ, хотя и писалъ брату въ 1823 году: „я обратился къ евангельскому источнику“. Но страсти, жизнь среди южнаго общества Кишинева и Одессы составляютъ преобладающій жгучій элементъ лирики Пушкина:

Мой милый другъ, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, какъ тяжко я страдаю (I, 295).

Ночью темной „стихи, сливаясь и журча, текутъ, ручьи любви“; „боготворить не перестану тебя, мой другъ, одну тебя“ (I, 302).

Въ половинѣ 1824 года Пушкинъ оставлялъ Одессу и югъ для деревенскаго уединенія въ Псковской губерніи, въ селѣ Михайлов-

скомъ, куда переносилъ „и блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ“. Въ великолѣпномъ стихотвореніи „Къ морю“ поэтъ прощался съ порывами туда, гдѣ видѣлъ „просвѣщенье“, хотя бы туда, гдѣ угасалъ Наполеонъ, гдѣ исчезъ властитель думъ—Байронъ. Какое примиренье и равнодушное сознаніе выражаетъ поэтъ въ этомъ стихотвореніи:

Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду таже:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль просвѣщенье, иль тиранъ.

Уже въ Михайловскомъ, въ сентябрѣ 1824 года Пушкинъ жалуется:

Но злобно мной играетъ счастье:
Давно безъ крова я ношусь,
Куда подуетъ самовластье (I, 308).

Деревенское уединеніе вызвало новый приливъ въ лирикѣ Пушкина. Отъ 1824 года до насъ дошло несравненно болѣе стихотвореній, чѣмъ отъ предшествующихъ лѣтъ: „Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“, два „Посланія къ цензору“, „Подражанія Корану“ превосходятъ все предыдущее по глубинѣ мысли, по совершенству формы, по опредѣленію особенностей творчества—что такъ глубоко развито поэтомъ и въ дальнѣйшихъ произведеніяхъ. „Разговоръ поэта съ книгопродавцемъ“ напечатанъ при первомъ изданіи „Евгенія Онѣгина“ 1825 г. Несмотря на замѣчаніе поэта въ предисловіи къ этому изданію объ „утомительности новѣйшихъ элегій, въ коихъ чувство унынія поглотило всѣ прочія“ и о той „веселости, ознаменовавшей первыя произведенія автора Руслана и Людмилы“, которая вложена въ первыя главы „Евгенія Онѣгина“, „Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“, какъ предисловіе къ новому роману, не что иное, какъ элегія. Поэтъ называетъ „безумствомъ“ поклоненіе женщинѣ:

Что мнѣ до нихъ? Теперь въ глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стонъ лиры вѣрной не коснется
Ихъ легкой, вѣтреной души;

Нечисто въ нихъ воображенье,
Не понимаетъ насъ оно,
И признакъ Бога, вдохновенье
Для нихъ и чуждо и смѣшно.

Поэтъ, однако, вѣритъ одной; но она отвергла заклинанья, и память о ней мучитъ его безплодно. Поэтъ не вѣритъ и въ славу литератора:

Что слава? Шопотъ ли чтеца?
Гоненье ль низкаго невѣжды?
Иль восхищеніе глупца?

Поэтъ любитъ свободу, оставляя юношамъ воспѣвать любовь, а книгопродавцамъ—извлекать деньги и злато изъ рукописей поэта. Онъ чувствуетъ только, что „стишки не одна забава", что поэзія—это недугъ, это шопотъ демона, отъ которыхъ рождаются чудныя грезы, гармонія, пиръ воображенья. Пушкинъ называетъ свой романъ „сатирическимъ", и первая глава его должна была показать „свѣтскую жизнь Петербургскаго молодого человѣка, въ концѣ 1819 года". Эта сатира, какъ мы уже замѣтили, не оставляла мысли поэта и далѣе. Великой заслугой Пушкина слѣдуетъ признать соединеніе нападокъ на „Коварность" (1824 г. злобное гоненіе, клевета, какъ невидимое эхо, тайное предательство), на подозрительность цензуры въ „Первомъ" и во „Второмъ посланіи цензору" (Когда не видишь въ немъ безумнаго разврата, Престоловъ, алтарей и нравовъ супостата), и проч.—съ добрыми и возвышенными чувствами. Въ самомъ дѣлѣ, если поэтъ ищетъ возвышенной чистой любви, если онъ мечтаетъ о безмолвіи трудовъ, о томъ, чтобы не „казнить злодѣевъ громомъ вѣчныхъ стрѣлъ", а создать въ тиши положительный идеалъ жизни, то для него доступны и вѣра, и молитва, и милость, и смиреніе, и надежды въ будущемъ. Таковы положительные мотивы лирики Пушкина съ 1824 г.—съ „Подражанія Корану". Религіозные мотивы все чаще и искреннѣе раздаются въ этой лирикѣ, послѣ того какъ въ Михайловскомъ поэтъ предался чтенію Житій святыхъ, Библіи и другихъ церковно-славянскихъ книгъ, вдохновившихъ его для образа лѣтописца. Въ черновыхъ набросках, современныхъ „Подражанію Корана", находимъ объясненія поэта изъ Михайловскаго уединенія:

Въ пещерѣ тайной, въ день гоненья,
Читалъ я сладостный коранъ;
Внезапно ангелъ утѣшенья,
Влетѣвъ, принесъ мнѣ талисманъ.

Въ 1823 г. Пушкинъ написалъ

„Свободы сѣятель пустынный,
„Я вышелъ рано, до звѣзды;
„Рукою чистой и безвинной
„Въ порабощенныя бразды
„Бросалъ живительное семя...“

а въ 1825 году „Подражаніе пѣсни пѣсней“.

Однако, пока Пушкинъ поддавался не столько этому новому настроенію, сколько общему духу радости отъ дружбы, вѣры въ друзей (19 октября 1825 г.), вѣры въ народъ (Зимній Вечеръ), въ отраду чистой поэзіи (Козлову), въ безсмертное святое солнце разума (Вакхическая пѣсня), въ защиту пѣвца отъ судьбы Андрея Шенье:

Зачѣмъ отъ жизни сей, лѣнивой и простой,
Я кинулся туда, гдѣ ужасъ роковой,
Гдѣ страсти дикія, гдѣ буйные невѣжды,
И злоба, и корысть? (I, 340).

Серіозный взглядъ на поэзію, на служеніе музамъ безъ суеты, въ тиши, выражается въ обширной элегіи „19 октября 1825 года“. Звуки жалобы—на изгнанье, на невольное затворничество, на измѣны любви, на злобу враговъ—соединяются въ этомъ, обильномъ лирическими произведеніями, 1825 году съ восторгами вдохновенной любви:

Душѣ настало пробужденье:
И вотъ опять явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты.

1826 годъ—годъ освобожденія Пушкина изъ Михайловскаго заточенія, его переѣздъ въ столицы и свиданія съ друзьями послѣ шестилѣтняго отсутствія—отразился бѣдностью лирики. Но эти немногія

произведенія, какъ знаменитая „Элегія на смерть г-жи Ризничъ“, „Пророкъ“, „Зимняя дорога“, „Стансы—Въ надеждѣ славы и добра гляжу впередъ я безъ боязни“, дышатъ искренностью и отличаются совершенствомъ формы:

Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

И съ этого времени Пушкинъ отдается генію Петра Великаго, его любви къ странѣ родной, его незлобію, его умѣнью привлечь сердца.

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной
Она томилась, увядала...

Это „душа“ младой тѣни, „легковѣрной тѣни“; это „милая дѣва“, которой не слышно ни слова, ни легкаго шума шаговъ, это заточенье, куда поэтъ шлетъ утѣшенье. Безъ слезъ (и слезы—преступленье I, 339), равнодушно изъ равнодушныхъ устъ поэтъ узналъ о смерти легковѣрной тѣни. Онъ выразилъ то, что могъ, въ образахъ привычнаго „страстнаго языка сердца, мучительной любви“. Тотчасъ же поэтъ обратился къ образу ветхозавѣтнаго пророка:

Возстань пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!

Это первые пламенные стихи Пушкина въ библейскомъ стилѣ. Мы не будемъ разбирать этого произведенія, которымъ поэтъ, по преданію, хотѣлъ вызвать „милость къ падшимъ“.

Религіозная поэзія нашла доступъ къ сердцу Пушкина и въ слѣдующемъ 1827 году онъ написалъ „Ангела“, набросалъ молитву пловца, спасеннаго Провидѣніемъ (II, 26):

Лишь я, таинственный пѣвецъ,
На берегъ выброшенъ грозою,
Я гимны прежніе пою,
И ризу влажную мою
Сушу на солнцѣ, подъ скалою (II, 15).

Прежніе гимны выразились въ „Посланіи въ Сибирь“, „19 октября 1827 года“: „Богъ помочь вамъ, друзья мои,... и въ мрачныхъ пропастяхъ земли!...“ „Любовь и дружество до васъ дойдутъ сквозь мрачные затворы, какъ... доходитъ мой свободный гласъ“. Конечно, все это были произведенія, о которыхъ поэтъ говорилъ въ „Первомъ посланіи цензору“:

И Пушкина стихи въ печати не бывали—
Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали.

Поэтъ долженъ былъ написать записку о народномъ воспитаніи для объясненія „молодой души—молодыхъ людей“, погибшихъ въ происшествіяхъ, сопровождавшихъ вступленіе императора Николая I на престолъ. Пушкинъ вспомнилъ въ этой запискѣ тотъ кругъ, въ которомъ и самъ вращался до отъѣзда на югъ: политическія либеральныя идеи, пасквили на правительство, возмутительныя пѣсни, шумную праздность казармъ, стѣсненія въ образованіи—и отсюда недостатокъ просвѣщенія и нравственности, наконецъ, вліяніе походовъ заграницу. Новыя отношенія къ императору Николаю вызвали въ 1828 году обращеніе Пушкина къ „Друзьямъ“: онъ хвалитъ царя за милость, за освобожденіе мысли. Свою свободу дѣйствій, которую могли смѣшивать съ лестью, Пушкинъ оправдывалъ свободой творчества, противоположностью „забавъ міра молвы, заботъ суетнаго свѣта“—священной лирѣ поэта.

На своей родинѣ, въ Москвѣ, Пушкинъ встрѣтилъ красавицу, которой отдалъ свое сердце. Любовь ожила въ сердцѣ поэта еще въ 1828 году. И вотъ въ теченіе трехъ лѣтъ до свадьбы на Н. Н. Гончаровой въ 1831 г., несмотря на скитаніе по деревнямъ, Кавказу, столицамъ, поэтъ написалъ множество лирическихъ пьесъ. До насъ дошло болѣе 40 стихотвореній за каждый отдѣльный годъ: 1828, 1829 и 1830. Только первыя впечатлѣнія отъ юга и отъ уединенія въ Михайловскомъ могли вызвать такое обиліе поэтическаго творчества. Поэтъ пѣлъ, какъ соловей надъ розою (1827 года):

Но роза милая не чувствуетъ, не внемлетъ.

Какое разнообразіе въ содержаніи произведеній 1828 года. О легкости изложенія мы уже имѣемъ свидѣтельство въ „Полтавѣ“, написанной въ двѣ осеннія недѣли. Жгучія воспоминанія со стонами,

съ слезами объ утраченныхъ годахъ, о погибшихъ милыхъ тѣняхъ чередуются съ надеждами на будущее, на мирныя пѣсни, на сладкіе звуки и молитвы. Разнообразію содержанія отвѣчаетъ и разнообразіе формы. Рядомъ съ рѣдкой формой басни (Любопытный, II, 56—57), сатиры въ томъ же стилѣ (Собраніе насѣкомыхъ), народныхъ формъ баллады „Утопленникъ", „Шотландской Пѣсни", „Пѣсенъ Грузіи" мы находимъ стройные стихи чудной элегіи „Воспоминаніе", неподражаемаго перевода отрывка изъ „Конрада Валленрода", бойкихъ куплетовъ, въ восемь стиховъ (Городъ пышный, Счастливъ кто избранъ своенравно, Твоихъ признаній, Я думалъ сердце позабыло, и друг.), сжатаго стиля „Анчара", или простого посланія къ П. А. Плетневу:

Прими собранье пестрыхъ главъ,
Полусмѣшныхъ, полупечальныхъ,
Простонародныхъ, идеальныхъ
Небрежный плодъ моихъ забавъ,
Безсонницъ, легкихъ вдохновеній,
Ума холодныхъ наблюденій
И сердца горестныхъ замѣтъ.

Элегіи составляютъ преобладающій родъ лирики Пушкина и слѣдующихъ годовъ 1829 и 1830. Есть какая-то особенная нѣжность къ женщинѣ въ элегіяхъ Пушкина:

Что въ имени тебѣ моемъ?...
Но въ день печали, въ тишинѣ
Произнеси его, тоскуя (II, 63).

Это любвеобильное сердце поэта содержитъ неизсякаемую жажду утѣшенія, ободренія, раздѣленія горести женщины, даже предупрежденія ея совѣтомъ, словомъ возвышенной души:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись...
День веселья, вѣрь, настанетъ (I, 346).

Онъ остается другомъ женщины, опозоренной шумной молвой, утратившей права на честь по приговору свѣта (II, 64). Поэтъ призываетъ эту женщину оставить душный кругъ, безумныя забавы. Эта

дѣтская довѣрчивость рисуется въ письмахъ поэта къ женѣ, которой и въ стихахъ и въ откровенныхъ бесѣдахъ Пушкинъ раскрывалъ всѣ свои заблужденія, ошибки, любовныя увлеченія прежнихъ лѣтъ, надѣясь на искреннее прощеніе и вѣрность. „Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно (обращается поэтъ въ 1829 г.), То робостью, то ревностью томимъ; Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно, Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ“ (II, 63). Поэтъ жилъ любовью, пѣлъ о ней, мечталъ, страдалъ, увлекался и создавалъ идеалы женщинъ. Онъ былъ уже „огончарованъ“, и въ дорогѣ, по Грузіи, мечталъ только о будущей невѣстѣ (Мнѣ грустно и легко; печаль моя свѣтла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой!); но находилъ еще столько увлеченія, что останавливалъ свой художественный взоръ на „Калмычкѣ“, какъ ранѣе, на югѣ, идеализировалъ гаремныхъ татарокъ, цыганокъ. Поэтъ находилъ въ дикой красѣ столько же занимательнаго, сколько представляли свѣтскія женщины, а въ кочевой кибиткѣ столько же тихаго спокоя-забвенья, сколько въ блестящей залѣ, или въ модной ложѣ.

Мы уже не разъ отмѣчали народные мотивы въ поэзіи Пушкина. Въ годы разъѣздовъ по Россіи поэтъ еще болѣе свыкся съ живописью, съ пріемами русской народной поэзіи. Что такое, въ самомъ дѣлѣ, стихотворенія 1829 г. „Донъ“ (Какъ прославленнаго брата Рѣки знаютъ тихій Донъ.. Пьютъ уже донскіе кони Арапчайскую струю), „Делибашъ“ (Делибашъ, не суйся къ *лавѣ* — техническое козачье слово—Срѣжетъ саблею кривою Съ плечъ удалую башку), „Дорожныя жалобы“, „Примѣты“, какъ не такіе же народные мотивы? Это старыя русскія пѣсни, пѣсни военныя, грустныя бытовыя жалобы. Мысль о смерти какъ будто уже все совершившаго въ мірѣ поэта съ необыкновенной силой выражается въ „Стансахъ“ 1829 г. Мы видѣли уже, что утраты друзей, недавнія потрясающія событія вызывали эти представленія у Пушкина и соединялись то съ мыслями о военныхъ тревогахъ, то съ случайностями переживаемой жизни (года холеры, неудобства русскихъ дорогъ). „Зимнее утро“ и кавказскія стихотворенія даютъ чудныя рамки для чувствъ поэта.

Задумывая жениться, Пушкинъ мечталъ объ опредѣленномъ положеніи въ русской журналистикѣ. Онъ былъ участникомъ „Литературной Газеты“ Дельвига и полемизировалъ за нее съ „Сѣверной Пчелой“. Таково происхожденіе стихотворенія 1830 г. „Моя родословная, или русскій мѣщанинъ“. Мысли объ аристократизмѣ, о зна-

ченіи сословій въ государствѣ занимаютъ съ этихъ поръ поэта. Идеалы Екатерининскаго времени, соединенныя съ Лицейскими воспоминаніями, съ посланіями „Къ вельможѣ“, съ высокимъ представленіемъ о поэтѣ, съ похвалой героямъ исторіи (Наполеону I за его безстрашіе не на полѣ брани, а среди зачумленныхъ. „Герой“, II, 122), приближаютъ Пушкина къ русской дѣйствительности и, выработавъ этотъ путь воздѣйствія на жизнь и возможности создать прочное положеніе въ ней, не поступаясь своими литературными занятіями, влеченіями, Пушкинъ рѣшается отдаться семейной жизни. Судьба Пушкина—вопросъ, поднятый недавно однимъ изъ русскихъ дѣятельныхъ мыслителей,—кажется, разсматривая ее post eventu, вращалась около этого рокового вопроса: какъ создать свое счастье?

Въ простомъ углу моемъ, средь медленныхъ трудовъ,
Одной картины я желалъ быть вѣчно зритель...
Исполнились мои желанія. Творецъ
Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя Мадонна
Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ (II, 96).

Поэтъ не нашелъ этого простого угла и угасъ въ страданіяхъ съ вѣрой въ другую картину:

Она съ величіемъ, Онъ съ разумомъ въ очахъ—
Взирали, кроткіе, во славѣ и въ лучахъ,
Одни, безъ ангеловъ, подъ пальмою Сіона.

Патріотизмъ, эта народная вѣра, чувства дружбы и порывы „въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ“ охватываютъ поэта въ 1831 г., тотчасъ же послѣ женитьбы. Въ 1830 году Пушкинъ еще прощался въ нѣсколькихъ элегіяхъ съ увлеченіями прежнихъ лѣтъ. Вѣря въ любовь, въ гармонію стиховъ, поэтъ готовъ страдать. Страданья эти вызывались смертью любимой женщины—иностранки. Уроженка Греціи, или Италіи, она звала поэта на югѣ (вѣроятно, въ Одессѣ) на свою родину, и вѣсть о ея смерти возбудила чувствительную душу поэта къ воспоминаніямъ о „Разставаньѣ“ (II, 105), къ „Заклинанію“ явиться и принять поцѣлуй, услышать клятву въ любви. Трудно представить себѣ эту силу поэтическаго воображенія Пушкина, съ какой онъ вызывалъ образы прошлаго счастья, минуты страданія и порывы примирить раннюю разлуку, раннюю смерть съ

любовью. Въ этихъ элегіяхъ разгадка одной стороны душевныхъ свойствъ поэта. Онъ воспринялъ съ дѣтства много простонароднаго, начиная съ суевѣрій (живыя отраженія въ „Бѣсахъ", въ „Утопленникѣ", въ „Примѣтахъ", въ „Талисманѣ"), онъ выросъ подъ живыми впечатлѣніями романтики и поэзіи Жуковскаго, онъ много страдалъ отъ событій времени и личныхъ неудачъ и, наконецъ, онъ привыкъ отдаваться мыслямъ наединѣ, повѣрять свою совѣсть, взвѣшивать свои привязанности, искать прочнаго и вѣчнаго въ мірѣ. Поэтому все, противорѣчившее этимъ стремленіямъ, возбуждало его, сотрясало его чуткую природу, искавшую поэтическаго покоя, гармоніи, красоты, радости. Онъ умѣлъ цѣнить и упиваться такими проявленіями въ природѣ, [illegible] жизни, въ свободѣ мысли и чувства. Но природа, окружающіе люди—только рамки для настроеній поэта. Мы знаемъ, что поэтъ идеализировалъ простыя, однообразныя картины простонародной жизни и сѣренькой русской природы: кабакъ и раздолье утокъ молодыхъ среди деревенской улицы, подъ молодымъ деревцомъ, успокаивали его чѣмъ-то роднымъ, единственнымъ во всемъ мірѣ. Но этотъ же видъ, среди элегій 1830 года, принимаетъ у Пушкина совсѣмъ другой оттѣнокъ:

избушекъ рядъ убогій...
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса..
На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичекъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ;
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ...
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?
Гдѣ рѣчка?

Это называется „Шалость" въ отвѣтъ на подтруниванія румянаго критика—насмѣшника. Или вотъ обычная физіогномія столицы того времени: „Здѣсь городъ чопорный, унылый, Здѣсь рѣчи—ледъ, сердца—гранитъ" (II, 87); „Городъ пышный, городъ бѣдный, Духъ неволи, стройный видъ, Сводъ небесъ зелено-блѣдный, Скука, холодъ и гранитъ" (31). Прибавьте къ этому „печальныя поляны, глушь и снѣгъ въ невѣдомыхъ равнинахъ",—и вы поймете хандру Пушкина, его порывы къ сюжетамъ изъ жизни Европы:

Я здѣсь, Инезилья,
Стою подъ окномъ!

Объята Севилья
И мракомъ и сномъ!

Отсюда отдыхи поэта на такихъ мотивахъ, какъ „Каменный гость", „Пиръ во время чумы", „Анджело", „Скупой рыцарь" и друг.

Богатая, незаурядная, чуднонастроенная натура—этотъ великій русскій поэтъ:

Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,
Трепещетъ, и звучитъ, и ищетъ, какъ во снѣ,
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ—
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.
И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И риѳмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,
Минута—и стихи свободно потекутъ.

Насколько разнообразны поэтическіе пріемы Пушкина въ 1830 г., когда онъ принялся и за „Повѣсти Бѣлкина" „въ смиренной прозѣ", можно судить по извѣстному неподражаемому „Началу сказки" о медвѣдихѣ съ медвѣжатами.

Въ 1831 году Пушкинъ женился, и самыя интимныя отношенія вылились на бумагу изъ пылкаго сердца поэта: „Красавица", „Отрывокъ", и „Нѣтъ, я не дорожу мятежнымъ наслажденьемъ" (1832 г.). Народныя сказки—остроумныя, игривыя, три оды—вотъ все, что мы находимъ у счастливаго поэта. Теперь надъ нимъ сбылись его же шутки надъ Жуковскимъ. Отселѣ до конца жизни поэта не столько развивается его лирика, сколько новая серіозная дѣятельность въ области романа, повѣсти, исторіи и журналистики. Здѣсь замѣчается вынужденность принять званіе исторіографа, вести счеты съ книгопродавцами, издавать альманахи и журналы. Пушкинъ неутомимъ и на новомъ поприщѣ; но лирика его бѣдна мотивами, и, къ удивленію, повторяются элегіи—и даже въ усиленныхъ стонахъ: „Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума" (1833 г.), „Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли" (1835 г.), „Изъ Пиндемонте", „Когда за городомъ задумчивъ я брожу" (1836 г.). Все это полно силы и въ содержаніи, и въ формѣ. Но странно видѣть у поэта, бросившаго якорь въ жизненной пристани, эти звуки отчаянія, предчувствій, и равнодушія къ

жизни. Посмотримъ, однако, что находимъ въ поэзіи Пушкина рядомъ съ этими трогательными элегіями. Преобладаютъ подражанія иностраннымъ поэтамъ: Данту, древнимъ, Буньяну, Мицкевичу. Однако, поэтъ не забывалъ и народныхъ мотивовъ („Гусаръ" и „Сватъ Иванъ" 1833 г.), и религіозныхъ сюжетовъ („Когда великое свершалось торжество", „Молитва" 1836 г.), воспоминаній о Лицеѣ 1836 г. Все это производитъ впечатлѣніе чего-то чуднаго, но не оконченнаго, какихъ-то замысловъ подражательнаго и самобытнаго характера. И въ заключеніе опять итоги дѣятельности въ „Памятникѣ" 1836 г. и обращеніе къ женѣ съ мыслію о смерти, о покоѣ, о трудахъ и чистыхъ нѣгахъ.

Пусть не толкуютъ нашихъ словъ объ этомъ періодѣ развитія поэтическаго творчества Пушкина въ томъ смыслѣ, что женатая жизнь поэта сдавила его вдохновеніе, охладила его пылкую душу, помрачила страстью его умъ. Напротивъ, этотъ періодъ характеризуется въ лирикѣ Пушкина созданіемъ, проясненіемъ возвышеннаго идеала жизни, трудовъ и совѣсти. Это прежде всего „покой и воля", свобода „совѣсти и помысловъ", упоеніе высшими искусствами, въ томъ числѣ и поэзіей. Но поэзія—высшій даръ, ея значеніе выше простого наслажденія искусствомъ. Отсюда высокое значеніе и поэзіи, и литературы вообще. Для развитія этого дара,—близкаго къ небесному, божественному,—требуется удаленіе отъ мірской суеты (Служенье Музъ не терпитъ суеты: Прекрасное должно быть величаво), усердный трудъ, глубокое раздумье, внимательное изученіе всего, что выработано вѣкомъ въ области просвѣщенья. Погружаясь внимательнымъ окомъ въ свою душу, поэтъ, какъ жрецъ, какъ пророкъ, извлекаетъ поученіе человѣчеству—и не только обличеніе, кару; но и—призывъ къ любви (Когда народы, распри позабывъ, въ великую семью соединятся), къ милосердію, къ внутреннему духу религіи, къ успокоенію въ вѣчности, передъ которой блѣднѣетъ мысль о смерти. Поэтъ долженъ терпѣливо сносить обиду, хулу и клевету, не ждать награды и не искать ея. Только внутреннее довольство взыскательнаго къ себѣ художника есть высшій судъ, передъ которымъ меркнетъ временная хвала. Поэтъ не творитъ для „черни", для окружающихъ людей: онъ вѣритъ въ вѣчность своего дѣла, онъ вѣритъ въ пользу его даже для простого селянина. Селянинъ этотъ и съ нимъ, какъ передъ памятникомъ Царя-Освободителя, и финнъ, и тунгузъ, одинаково воодушевляются славнымъ русскимъ поэтомъ (Близъ камней вѣковыхъ, про-

ходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ), его нерукотворнымъ памятникомъ. Поэтъ не вѣрилъ въ сладкую участь громкихъ правъ (зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа—Богъ съ ними!) и мечталъ о дальней обители трудовъ и чистыхъ нѣгъ. Въ такой идеальной обители, по представленіямъ поэта, нѣтъ мѣста ни разнузданнымъ пирамъ, ни пустой тратѣ времени, ни страху передъ хранительной стражей. Поэтъ ищетъ вывести изъ забвенія все высокое, простое, горестное и вмѣстѣ, рядомъ съ умиленіемъ передъ страданіемъ, предается радости. Вообще поэзія Пушкина отражаетъ необыкновенное разнообразіе впечатлѣній поэта, доступность его духовному міру самыхъ простыхъ человѣческихъ чувствъ („Начало повѣсти": Въ еврейской хижинѣ лампада въ одномъ углу горитъ; передъ лампадою старикъ читаетъ библію), примиренія съ страданіями (я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать), ожиданіе скромныхъ наслажденій, надеждъ. Вотъ одна изъ разнообразныхъ сторонъ возвышеннаго, чистаго содержанія въ Пушкинской поэзіи. Пушкинъ не успѣлъ развить и выразить вполнѣ представленія о значеніи человѣческой личности, ея свободѣ въ предѣлахъ, поставляемыхъ внутреннимъ голосомъ.

Мы не касались лирическихъ отступленій въ поэмахъ Пушкина, которыя дополняютъ выраженіе его душевной исповѣди. Припомнимъ хоть два мѣста изъ VI и VII главъ Евгенія Онѣгина: „Увялъ! Гдѣ жаркое волненье, гдѣ благородное стремленье и чувствъ, и мыслей молодыхъ, высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ? гдѣ бурныя любви желанья, и жажда знаній и труда, и страхъ порока и стыда, и вы, завѣтныя мечтанья, вы, призракъ жизни неземной, вы, сны поэзіи святой!"— „Нѣтъ, поминутно видѣть васъ, повсюду слѣдовать за вами, улыбку устъ, движенье глазъ ловить влюбленными глазами, внимать вамъ долго, понимать душой все ваше совершенство, предъ вами въ мукахъ замирать, блѣднѣть и гаснуть ... вотъ блаженство!" Эти два мѣста то же, что элегіи Пушкина, или его пылкія обращенія къ великосвѣтскимъ красавицамъ. Въ силу своего лирическаго настроенія (паѳоса) Пушкинъ не могъ расплываться въ описаніяхъ. Картины природы, человѣческихъ движеній у него сжаты и сливаются съ чувствами.

Какіе бы выводы ни дѣлали изъ этихъ случайно прерванныхъ аккордовъ, они свидѣтельствуютъ объ иной порѣ дѣятельности поэта, о томъ, что душа его не нашла „покоя и воли", что вокругъ него

немногіе интересовались дѣятельностью писателя. А поэтъ, между тѣмъ, шелъ навстрѣчу не только власти, но и—обществу, въ лицѣ свѣтскихъ красавицъ, свѣтскихъ дамъ, и—молодому племени въ извѣстной элегіи 1835 года:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда переростешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ
Услышитъ вашъ привѣтный шумъ.

Мы прослѣдили развитіе литературной дѣятельности А. С. Пушкина въ области повѣсти, поэмы и лирики и можемъ еще сдѣлать нѣсколько обобщеній. Важнѣйшей заслугой Пушкина является возведеніе русскаго литературнаго языка на высшую степень совершенства. Не входя въ подробности, не оцѣнивая всего громаднаго значенія Пушкинской дѣятельности въ области языка, мы скажемъ объ отношеніи къ русскому языку поэта, который былъ скромнѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ. Онъ нигдѣ не останавливался на теоріи литературнаго языка, допуская свободу въ его развитіи. Онъ нигдѣ не обращался къ русскому языку, какъ къ объекту исключительнаго поклоненія. Но нѣсколько фразъ, оброненныхъ въ различныхъ произведеніяхъ, говорятъ о горячей любви поэта къ русскому слову:

Подъ миртами Италіи прекрасной
Онъ тихо спитъ, и дружескій рѣзецъ
Не начерталъ надъ русскою могилой
Словъ нѣсколько на языкѣ родномъ,
Чтобъ нѣкогда нашелъ привѣтъ унылый
Сынъ сѣвера, бродя въ краю чужомъ (III, 356).

Пушкинъ игриво отмѣтилъ въ нѣсколькихъ романахъ и повѣстяхъ дамское равнодушіе, дамскую невинность въ родной русской словесности, въ родномъ литературномъ языкѣ. Можетъ быть, въ пылу своей любовной мечты поэтъ иногда съ болью задумывался надъ тѣми „идолами“, равнодушными къ возвышенной роли русскаго поэта, слу-

жителя русскаго слова,—идолами—свѣтскими дамами, которымъ въ жертву поэтъ приносилъ свой гордый умъ. Мы видимъ, что даже о своей любимой простосердечной Танѣ Пушкинъ долженъ былъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе:

Еще предвижу затрудненье:
Родной земли спасая честь,
Я долженъ буду, безъ сомнѣнья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналовъ нашихъ не читала
И выражалася съ трудомъ
На языкѣ своемъ родномъ,
Итакъ писала по-французски...
Что дѣлать! повторяю вновь:
Донынѣ дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Донынѣ гордый нашъ языкъ
Къ почтовой прозѣ не привыкъ.

Свою любовь къ родному слову поэтъ влагаетъ въ другую женщину, разсказы которой онъ затвердилъ съ юныхъ лѣтъ (Вновь я посѣтилъ 1835 г.); ей поэтъ читалъ „плоды своихъ мечтаній"; ея пѣснями услаждался въ уединеніи Михайловскаго 1825 г. Это—старая няня поэта, „единственная моя подруга" (по письмамъ Пушкина отъ 1824 года), которую онъ много разъ упоминаетъ и въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ" и въ другихъ поэтическихъ обращеніяхъ съ ласковыми народными эпитетами „дряхлой голубки, доброй подружки". Изъ устъ этой хранительницы русской народной словесности Пушкинъ записалъ много народныхъ пѣсенъ, сказокъ, запомнилъ мѣткія выраженія и пословицы, хоть въ шуточной формѣ поэтъ поминаетъ такую народную сказательницу: „сказки сказывать мы станемъ; мастерица вѣдь была! и откуда что брала? а куда разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины Православной Старины!... Слушать такъ душѣ отрадно; кто придумалъ ихъ такъ складно? и не пилъ бы и не ѣлъ, все бы слушалъ, да глядѣлъ" (II, 149—150). Эти пѣсни и сказки, несмотря на разницу въ складѣ, въ содержаніи тѣсно связаны съ именемъ Пушкина, какъ русскаго поэта. Отъ

появленія „Руслана и Людмилы“ 1820 г. до „Русалки“ 1832 г. (можетъ быть, обработанной, но не оконченной позднѣе, за смертью поэта) Пушкинъ оставался вѣренъ „духу русскаго языка“, оставался защитникомъ его народности отъ нападеній критики. Вотъ нѣсколько откровенныхъ признаній поэта въ письмахъ и критическихъ замѣткахъ: „я не люблю видѣть въ первобытномъ нашемъ языкѣ слѣды европейскаго жеманства и французской утонченности. Грубость и простота болѣе ему пристали“ (1823 г.); „о стихахъ Грибоѣдова я не говорю—половина должна войти въ пословицу“ (1825 г.); „преданія русскія ничуть не уступаютъ въ фантастической поэзіи преданіямъ ирландскимъ и германскимъ“ (1831 г.); „изученіе старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п. необходимо для совершеннаго знанія свойствъ русскаго языка; критики наши напрасно ими презираютъ“ (V, 128); „низкими словами я почитаю тѣ, которыя выражаютъ низкія понятія; но никогда не пожертвую искренностію и точностью выраженія *провинціальной чопорности*, изъ боязни казаться простонароднымъ, славянофиломъ, или тому под.“ (V, 133); „не худо намъ иногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: онѣ говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ“ (136). Языку Пушкина не препятствуетъ оставаться до сихъ поръ образцовымъ славянскій элементъ, въ видѣ нѣкоторыхъ реченій (се, днесь, сей, кои, гласъ, піитъ, сущій, младое, объемлетъ, могущій, вотще), которыя употребляются Пушкинымъ съ чувствомъ мѣры и не во всѣхъ произведеніяхъ. Историческое значеніе этого славянскаго элемента не отнимаетъ у языка нашего славнаго поэта непоколебимости, такъ сказать, вѣчной красоты, не отнимаетъ и внутренняго содержанія выраженій, понятнаго по преданіямъ вѣры и быта или, по широкому древнерусскому выраженію,—„земли“, исключающему узкость племенныхъ или кровныхъ отношеній.

Надо читать нападенія русской критики двадцатыхъ—тридцатыхъ годовъ на неправильность выраженій и словъ въ сочиненіяхъ Пушкина, чтобы понять его мелкія замѣчанія, разсѣянныя въ разныхъ сочиненіяхъ о „свободѣ нашего богатаго и прекраснаго языка“, о „коренныхъ русскихъ словахъ“ изъ просторѣчія, употребленію которыхъ не должно мѣшать (примѣчаніе къ V главѣ „Евгенія Онѣгина“). Нападенія эти напоминаютъ борьбу, начатую противниками Карамзина и свидѣтельствуютъ о равномъ значеніи Пушкина въ преобразованіи русскаго слога съ Карамзинымъ. Не будемъ повторять

сказаннаго въ первой главѣ объ отношеніи Пушкина ко взглядамъ и дѣятельности его предшественниковъ въ области русскаго языка. Скажемъ только въ дополненіе къ предыдущему вообще о складѣ поэтической рѣчи Пушкина. Даже филологъ-лингвистъ остановится съ изумленіемъ на гармоніи согласныхъ и гласныхъ звуковъ въ стихахъ Пушкина: часто мы видимъ полную симметрію въ количествѣ согласныхъ и гласныхъ (широкихъ и узкихъ) въ соотвѣтствующихъ стихахъ, не говоря о риѳмахъ, о точности языка, о естественномъ, непринужденномъ теченіи поэтической рѣчи, о гармоническомъ сочетаніи повтореній, куплетовъ, и проч. Вотъ примѣры:

Съ утра садимся мы въ телѣгу;
Мы погоняемъ съ ямщикомъ...
. . . . . .
И вѣтеръ, лаская листочки древесъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ.
. . . . . .
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья бѣготня.

Но изящество рѣчи не составляло бы еще той заслуги Пушкина въ русской литературѣ, какую мы признаемъ за нимъ, спустя сто лѣтъ съ его рожденія, если бы съ нимъ не соединялось изящество образа мыслей. Не даромъ множество стиховъ, выраженій Пушкина сдѣлались пословицами, афоризмами, мыслями философа, литератора, историка. Поэтъ не преувеличивалъ, когда приравнивалъ себя къ „эхо русскаго народа“ (1819 г.).

Закончимъ наши бѣглыя замѣтки о поэзіи А. С. Пушкина слѣдующими словами его перваго строгаго критика—Надеждина: „Было время, когда каждый стихъ Пушкина считался драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ, новымъ перломъ нашей литературы. Какой общій, почти единодушный восторгъ привѣтствовалъ первые свѣжіе плоды его счастливаго таланта! Какія громозвучныя рукоплесканія встрѣтили Евгенія Онѣгина въ колыбели“ [1])!

---

[1]) Лѣтописи отечественной литературы. Телескопъ 1832 г.

Нельзя не привести и мелькомъ оброненнаго въ 1842 г. (Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго, VI, 1882 г., 233 стр.) отзыва знаменитаго критика, со дня кончины котораго истекло тоже полстолѣтія: „Стихъ Пушкина — это вѣковѣчный образецъ, неумирающій типъ русскаго стиха: не было и не будетъ лучшаго. Искусство какъ искусство, поэзія какъ поэзія на Руси—это дѣло Пушкина. Безъ него не было бы у насъ поэзіи; и это потому, что онъ былъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ художникъ, можетъ быть, въ ущербъ своей великости въ другихъ значеніяхъ. И вотъ почему—повторяемъ—отъ него ведемъ мы русскую поэзію и называемъ его первымъ, даже по времени, русскимъ поэтомъ“.

Наконецъ, и опредѣленіе перваго восторженнаго критика Пушкинской эпохи, Н. А. Полевого, достойно воспоминанія по отношенію къ избранной нами темѣ: „какую заслугу оказалъ Пушкинъ выраженію нашей поэзіи, нашему стиху. Стихъ русскій гнулся въ рукахъ его, какъ мягкій воскъ въ рукахъ искуснаго ваятеля; онъ пѣлъ у него на всѣ лады, какъ струна на скрипкѣ Паганини. Нигдѣ не является стихъ Пушкина такимъ мелодическимъ, какъ стихъ Жуковскаго, нигдѣ не достигаетъ онъ высокости стиховъ Державина; но зато въ немъ слышна гармонія, составленная изъ силы Державина, нѣжности Озерова, простоты Крылова и музыкальности Жуковскаго“.

Печ. въ тип Петра Барскаго.

Аглая А. Давыдова.

А. С. Пушкинъ

въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени [1]).

Настоящими торжественными чествованіями величайшаго изъ русскихъ поэтовъ блистательно оправдываются вѣщія слова его о томъ, что „слухъ“ о немъ „пройдетъ по всей Руси великой, и назоветъ“ его „всякъ сущій въ ней языкъ“. Въ этотъ всенародный праздникъ нашей родной поэзіи, какого у насъ никогда еще не бывало, всюду на Руси, даже среди цыганъ Бессарабіи, „дѣтей степей и лѣсовъ дремучихъ“, горячо и въ полномъ умиленіи сердца, провозгласятъ славу Пушкину, и тѣнь великаго поэта, претерпѣвшаго столько невзгодъ и горестей при жизни и не разъ подвергавшагося незаслуженному пренебреженію по смерти, возможетъ утѣшиться. Еслибы ей было даровано незримое присутствіе среди насъ, то исполнилось бы обѣщанное поэтомъ потомку во время скитальчества по нашему югу:

Бреговъ забвенія оставя хладну сѣнь,
Къ нему слетитъ моя признательная тѣнь,
И будетъ мило мнѣ его воспоминанье! [2])

---

[1]) Рѣчь, произнесенная 26-го мая въ сокращеніи.

[2]) Сочиненія А. С. Пушкина, Изданіе Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, подъ редакціею и съ объяснительными примѣчаніями П. О. Морозова, Спб. 1887, т. I, 260. Въ послѣдующихъ ссылкахъ, гдѣ будутъ указываемы томы и страницы безъ другихъ поясненій, выдержки будутъ приводимы по этому изданію.

Никогда еще на Руси не видѣли такого общаго чествованія національнаго поэта. Предъ памятью Пушкина преклонятся всѣ безъ различія русскіе люди, и чувства ихъ раздѣлятъ родственныя славянскія племена и многіе другіе просвѣщенные иноземцы. Всѣ признáютъ великое *историческое* значеніе поэзіи Пушкина.

Всѣ согласятся въ такой оцѣнкѣ значенія этой поэзіи потому, что оно безспорно и яснѣе самаго свѣтлаго дня. Подвигъ Пушкина превосходитъ услугу всякаго другого писателя русской земли въ новое время.

Со времени Баратынскаго не разъ справедливо замѣчали, что Пушкинъ совершилъ въ нашей литературѣ приблизительно то же, что̀ Петръ В. сдѣлалъ для русскаго государства. Пушкинъ поставилъ нашу поэзію на одинъ уровень съ западно-европейскою и вмѣстѣ явился истиннымъ творцомъ нашей просвѣщенной литературной самобытности. Въ новомъ періодѣ нашей словесности онъ—первый дѣйствительно національный поэтъ въ высшемъ смыслѣ этого слова: онъ владѣлъ и иноземными сокровищами поэтическаго наслѣдія и черпалъ въ то же время изъ богатыхъ родниковъ русской жизни, русской души и родной поэзіи.

Въ содержаніи и формѣ поэтическихъ произведеній должно различать свое, какъ индивидуальное и національное, и чужое, какъ инородное, либо вообще международное. Богатствомъ идей и содержанія и степенью самостоятельности въ претвореніи заимствованнаго матеріала и одновременно художественностію формы измѣряется значеніе отдѣльныхъ поэтовъ и цѣлыхъ литературъ. Проблема сочетанія своего съ чужимъ возникла, вѣроятно, уже съ древнѣйшихъ временъ въ болѣе или менѣе безсознательномъ усвоеніи общечеловѣческаго культурнаго достоянія. Вполнѣ отчетливо она представилась сознанію уже въ вѣка античной образованности и опредѣленнаго вліянія греческой литературы на римскую. Постепенно, по мѣрѣ усложненія и усовершенія культуры, возрастаетъ для литературы трудность соблюденія своей самостоятельности при сохраненіи въ то же время полной связи съ общимъ культурнымъ движеніемъ. Въ ряду европейскихъ литературъ въ такомъ особо затруднительномъ положеніи оказалась, кромѣ нѣкоторыхъ другихъ славянскихъ литературъ, наша поэзія съ XVIII в. въ силу того, что Русь поздно примкнула вполнѣ къ общеевропейскимъ литературнымъ теченіямъ, и ей нелегко было выбиться изъ рутинной узкой колеи древне-русской церковности. Но, наконецъ, послѣ цѣлаго вѣка

все бо́льшаго и бо́льшаго приближенія къ общеевропейскому литературному уровню, послѣ цѣлаго ряда близкихъ подражаній заграднымъ образцамъ, либо неполныхъ и неглубокихъ воспроизведеній русской дѣйствительности, наша поэзія и вообще литература быстро подвинулась впередъ благодаря дѣятельности А. С. Пушкина. Авторъ „Евгенія Онѣгина", „Бориса Годунова" и многихъ другихъ образцовыхъ поэтическихъ созданій явился первымъ крупнымъ представителемъ мощи русскаго дарованія на поприщѣ литературы. Онъ—нашъ первый великій поэтъ въ полномъ значеніи этого слова, достигшій мірового значенія, выразитель нашей духовной сущности. Онъ первый у насъ удовлетворилъ идеалу поэта, сложившемуся въ новѣйшее время. Въ поэзіи Пушкина находимъ гармоническое сочетаніе воображенія, ума и чувства и мощный подъемъ вдохновенія на почвѣ широкаго литературнаго образованія [1]) и выработаннаго имъ здраваго литературнаго вкуса и критицизма. Это одинъ изъ образованнѣйшихъ и вмѣстѣ умнѣйшихъ нашихъ поэтовъ. Въ немъ нѣтъ шаблонности. Пушкинъ самобытенъ. На большинствѣ его литературныхъ произведеній виденъ отпечатокъ могучаго таланта и удивительной разносторонности. И самыя эти произведенія весьма разнообразны, принадлежа почти ко всѣмъ главнымъ родамъ и видамъ творчества. Впервые въ созданіяхъ Пушкина русская поэзія стала вполнѣ правдивымъ и широкимъ воспроизведеніемъ дѣйствительности при свѣтѣ высшихъ и плодотворныхъ идей. Конечно, это воспроизведеніе сдѣлалось потомъ еще многостороннѣе, да и стихъ Пушкина былъ превзойденъ въ мягкости и мелодичности нѣкоторыми послѣдующими поэтами. Но Пушкину принадлежала заслуга первенства въ раскрытіи болѣе широкихъ горизонтовъ для русской поэзіи и въ новой выработкѣ языка. Оттуда восторгъ, съ какимъ принимали его произведенія широкіе круги общества [2]). Со времени Пушкина литература стала необходимою частью нашей общественной жизни.

---

[1]) См. А. И. Кирпичникова „Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ", Од. 1887, и въ книгѣ: „Очерки по исторіи новой литературы", Спб. 1896, и нашу рѣчь: „Пушкинъ—поэтъ общеевропейскій", К. 1887 (оттискъ изъ газ. „Кіевлянинъ" 1887). См. еще Ю. Веселовскаго, „Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ", газ. „Новости" 1899, № 143.

[2]) Справедливо выразился о себѣ Пушкинъ, говоря о себѣ и о Дельвигѣ (исключенное обращеніе къ Дельвигу въ стихотвореніи „19 октября" (1830; II, 126):

Явилися мы рано оба
На ипподромъ, а не на торгъ,

Но излишне повторять въ настоящій моментъ, что Пушкинъ составилъ эпоху въ нашей словесности, что онъ—исходный пунктъ совсѣмъ новаго періода развитія ея, что онъ сталъ въ литературѣ провозвѣстникомъ новыхъ путей свободнаго развитія нашей общественности и воспитателемъ послѣдней и тѣмъ поднялъ литературу до небывалаго и подобающаго ей значенія, что для многихъ изъ насъ онъ былъ глашатаемъ высокихъ идеаловъ истины, добра и красоты, и потому его поэзія дѣйствовала облагораживающимъ образомъ на цѣлый рядъ личностей и поколѣній до 60-хъ годовъ и послѣ того являлась завѣтомъ для многихъ послѣдующихъ поэтовъ. Излишне также распространяться о томъ, что послѣ Пушкина иные не видѣли ни у кого другого такого полнаго соотвѣтствія содержанія и формы, такого удивительнаго сочетанія поэзіи и дѣйствительности. Не эта историческая заслуга и не тотъ общепризнанный фактъ, что Пушкинъ былъ великій поэтъ въ свое время, могутъ болѣе всего останавливать наше вниманіе въ настоящій моментъ; намъ интереснѣе теперь болѣе важные вопросы общаго свойства, связывающіеся съ поэзіею Пушкина, о которомъ иные говорятъ, что онъ доселѣ остается величайшимъ поэтомъ нашей земли. Исторія литературы можетъ и должна уяснять также факты бо̀льшей цѣнности, чѣмъ указанія преемства литературныхъ явленій и ихъ исторической роли.

Смыслъ юбилейныхъ воспоминаній въ томъ именно и состоитъ, что они содѣйствуютъ установленію болѣе или менѣе зрѣлыхъ сужденій, невозможныхъ въ большинствѣ случаевъ для современниковъ и вообще людей, близкихъ по времени къ тому или иному дѣятелю или явленію, и самымъ отдаленіемъ перспективы уясняютъ общее, вѣковое значеніе поминаемыхъ личностей и событій, способствуютъ подведенію общихъ итоговъ и тѣмъ безконечно расширяютъ горизонты нашей мысли.

Относительно Пушкина это—дѣло, во многомъ еще не исполненное, несмотря на двукратное уже торжественное чествованіе его памяти, сопровождавшееся множествомъ рѣчей и статей. О Пушкинѣ было говорено и писано весьма много, но внутренняя послѣдовательность его развитія, основныя идеи, чувствованія и поэтическія по-

---

Вблизи Державинскаго гроба,
И шумный встрѣтилъ насъ восторгъ...

Воронцовъ писалъ въ 1824 г. (см. „Вѣд. Од. Градонач." 1899) объ „экзальтированныхъ поклонникахъ поэзіи Пушкина", „экзальтированныхъ молодыхъ людяхъ".

строенія, составляющія существенное содержаніе его поэзіи, и общій смыслъ послѣдней все еще остаются не вполнѣ порѣшеннымъ вопросомъ нашей критики. И ей еще предлежитъ выяснить, дѣйствительно ли Пушкинъ великъ и теперь, какъ былъ великъ для своего времени, и если онъ великъ для насъ и въ настоящемъ, то почему? Истинно великія созданія человѣческаго творчества имѣютъ значеніе не только для своего времени, но и для послѣдующихъ [1]). Спрашивается, принадлежатъ ли и произведенія Пушкина къ такимъ твореніямъ?

Этотъ вопросъ тѣмъ умѣстнѣе, что слава Пушкина подвергалась неоднократнымъ колебаніямъ. Уже при его жизни она была не одинаково громка въ тѣ два главные періода, которые можно различать въ его дѣятельности, начавшей принимать новое направленіе не подъ вліяніемъ только Николаевскаго царствованія, но и въ силу естественной эволюціи въ духѣ самого поэта, замѣчающейся уже во время пребыванія его въ с. Михайловскомъ по возвращеніи изъ пребыванія на югѣ.

Въ годы юности Пушкина

..... возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь
Такъ сильно волновали кровь [2]).

Одновременно съ этимъ поэтъ мечталъ

Свой духъ воспламенивъ жестокимъ Ювеналомъ,
Въ сатирѣ праведной порокъ изобразить
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажить.

Пушкинъ призывалъ музу пламенной сатиры; онъ не желалъ „гремящей лиры“, а хотѣлъ Ювеналова бича отъ Музы и „готовилъ язву эпиграммъ“ на „лица безстыдно блѣдныя“ и „лбы широкомѣдные“ [3]).

Соотвѣтственно тому, его чернильница,

---

[1]) Ср. V, 130: „Произведенія великихъ поэтовъ остаются свѣжи и вѣчно юны—и между тѣмъ какъ великіе представители старинной астрономіи, физики, медицины и философіи одинъ за другимъ старѣютъ и одинъ другому уступаютъ мѣсто, одна поэзія остается на своемъ неподвижно и никогда не теряетъ своей молодости“.

[2]) I, 292.

[3]) I, 72; ср. 35—36 и II, 161—162.

Любовница свободы,...
Прославила вино
И прелести природы;
... смѣху обрекла
Пустыхъ любимцевъ моды
И рѣчи и дѣла.
Съ глупцовъ сорвавъ одежду,

поэтъ

... весело клеймилъ
Зоила и невѣжду
Пятномъ своихъ чернилъ [1]).

Пушкинъ подвергъ суровому приговору близкія къ нему по времени царствованія Екатерины II, Павла I и въ особенности свое собственное время,—Александра I (собственно вторую половину его),—которое собирался и позже изобразить „перомъ Курбскаго“:

Вездѣ бичи, вездѣ желѣза,
Законовъ гибельный позоръ,
Неволи немощныя слезы *и проч.* [2]).

Пушкинъ писалъ болѣе, чѣмъ либеральныя стихотворенія. Его оппозиціонная пѣсенка Noël, язвительно осмѣивавшая слухи о предстоявшемъ дарованіи имперіи новыхъ (конституціонныхъ) установленій императоромъ Александромъ I, была весьма распространена въ оппозиціонныхъ кругахъ [3]).

Эти вольности пера Пушкина были причиной, что его

Средь оргій жизни шумной
Постигнулъ остракизмъ [4]).

Но онъ

...не унизилъ ввѣкъ измѣной беззаконной
Ни гордой совѣсти, ни лиры непреклонной [5]).

---

[1]) I, 244—245.

[2]) I, 219, также Ода „Вольность“ въ Берлинскомъ изданіи не разрѣшенныхъ цензурою стихотвореній Пушкина.

[3]) VII, LXI.

[4]) I, 295.

[5]) I, 260.

Въ его стихахъ постоянно прославлялась „свобода“, и Пушкинъ продолжалъ подвизаться на поприщѣ не только личной, но и той общественной сатиры, которая была такъ спасительна для насъ, начиная со времени Кантемира и въ особенности со времени Екатерины II-й. Изъ-подъ пера Пушкина выходили ѣдкія эпиграммы:

...Пушкина стихи въ печати не бывали.
Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали [1]).

Пушкинъ возставалъ противъ различныхъ печальныхъ явленій утѣсненія, начиная съ крѣпостного права и оканчивая крайностями цензурныхъ придирокъ:

.....не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебѣ, не видимъ книгъ доселѣ?..
На поприщѣ ума нельзя намъ отступать..
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели къ тѣмъ годамъ мы снова обратимся,
Когда никто не смѣлъ отечества назвать,
И въ рабствѣ ползали и люди, и печать [2])?

Въ тотъ періодъ своей дѣятельности Пушкинъ былъ писателемъ въ направленіи, которое такъ цѣнитъ наша либеральная партія. Онъ былъ членомъ кружка П. Я. Чаадаева, кн. П. А. Вяземскаго, А. И. Тургенева, кн. В. Ѳ. Одоевскаго и былъ пріятелемъ не только Карамзина и Жуковскаго, но и декабристовъ. По собственному заявленію Пушкина [3]), онъ очутился бы въ числѣ декабристовъ въ роковой для нихъ день, если бы не находился въ то время въ с. Михайловскомъ. Пушкинъ былъ тогда кумиромъ оппозиціонной и либеральной партіи, и пьедесталъ его въ то время былъ, по словамъ кн. П. А. Вяземскаго [4]), „выше другаго“.

Но уже до катастрофы 14-го декабря 1825 г., во время пребыванія Пушкина въ с. Михайловскомъ, замѣчаются симптомы поворота въ нѣкоторыхъ изъ мнѣній молодого поэта, а то грозное собы-

---

[1]) I, 317.
[2]) I, 318.
[3]) II, 2, и Отвѣтъ на вопросъ имп. Николая.
[4]) Письмо въ с. Михайловское.

тіе и судьба заговорщиковъ должны были усилить работу мысли Пушкина въ новомъ направленіи. Пушкинъ не измѣнялъ до конца своихъ дней въ сочувствіи своимъ друзьямъ-декабристамъ, имѣлъ столкновенія съ полиціею и цензурою и въ началѣ новаго царствованія [1]), подвергался утѣсненіямъ со стороны гр. Бенкендорфа и т. п., но уже не былъ душою оппозиціонной партіи, и съ сентября 1826 г., со времени коронаціи новаго императора въ Москвѣ, началось сближеніе поэта съ послѣднимъ [2]). Отправляясь тогда во дворецъ, Пушкинъ мнилъ себя „пророкомъ Россіи", представившимъ „съ вервьемъ вокругъ смиренной выи" [3]). Императоръ, однако, „царственную руку подалъ" поэту, „почтилъ вдохновенье, освободилъ мысль" его, и Пушкинъ, котораго „текла въ изгнаньѣ жизнь", который „влачилъ съ милыми разлуку", очутился снова съ ними [4]).

Постепенно, достигая умственной зрѣлости, Пушкинъ сталъ иначе, чѣмъ прежде, относиться къ русскому самодержавію, или „самовластью", какъ выражались русскіе либералы въ концѣ Александровской эпохи и онъ самъ [5]); пересталъ быть космополитомъ послѣ 1830 г. и вообще измѣнилъ многія изъ своихъ прежнихъ мнѣній.

Соотвѣтственно всему этому произошло охлажденіе къ Пушкину въ русскомъ высшемъ обществѣ и въ нашей критикѣ. Уже въ 1828 году Пушкину пришлось оправдываться передъ друзьями въ лести и писать:

Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смѣло чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю [6]).

Въ другомъ стихотвореніи того же года читаемъ:

И сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ
Неотразимыя обиды [7]).

---

[1]) И. А. Шляпкина. Къ біографіи А. С. Пушкина, Спб. 1899, стр. 26—28.

[2]) Объ отношеніяхъ ихъ см. ст. Е. Пѣтухова: „Пушкинъ и императоръ Николай" (Историч. Вѣстн.).

[3]) II, 3.

[4]) II, 29.

[5]) См., напр., V, 14 и „Ост. арх.".

[6]) II, 29—30: „Друзьямъ"

[7]) II, 37.

Пушкину иные не могли простить примиренія съ правительствомъ, камеръ-юнкерства и т. п [1]., и онъ очутился въ обычномъ положеніи человѣка, нѣсколько отдалившагося отъ одной партіи и не приставшаго вполнѣ къ другой, потому что не вполнѣ раздѣлялъ ея взгляды. Съ другой стороны, въ литературѣ отъ Пушкина отшатнулись не только литературные старовѣры и противники новаго, романтическаго вѣянія, но и вообще русская критика конца 20-хъ и первой половины 30-хъ годовъ оказалась ниже пониманія простой красоты его поэзіи, свободной отъ прикрасъ и вычурности, въ томъ числѣ и романтической. На первыхъ порахъ критика какъ бы не доросла до того новаго направленія поэзіи, какому полагалъ у насъ начало Пушкинъ. Надеждинъ зачислилъ однажды Пушкина въ „сонмище нигилистовъ". Иные изъ критиковъ порѣшили, что отъ поэта нельзя было уже ждать ничего цѣннаго. Бѣлинскій въ „Литературныхъ мечтаніяхъ" 1834 г. писалъ: „Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или, можетъ быть, только обмеръ на время..." И Пушкину, который въ годы послѣ созданія „Бориса Годунова" и „Евгенія Онѣгина" поднимался на болѣе высокую ступень творчества, оставалось съ грустью отмѣчать неуспѣхъ своихъ произведеній [2]), ничтожество русской литературной критики [3]) и отстаивать свободу своего вдохновенія и творчества въ своихъ извѣстныхъ лирическихъ произведеніяхъ, о которыхъ скажемъ ниже.

Обаяніе Пушкина среди читателей было, однако, столь велико [4]), что критикѣ, не одобрявшей его произведеній по двумъ указаннымъ

---

[1]) Письмо В. Г. Бѣлинскаго къ Н. В. Гоголю съ предисловіемъ М. Драгоманова, Geneve 1880, стр. 7: „Разительный примѣръ Пушкинъ, которому стоило написать только два-три вѣрноподданническихъ стихотворенія и надѣть камеръ-юнкерскую ливрею, чтобы вдругъ лишиться народной любви!" Ср. въ цит. замѣткѣ Мицкевича.

[2]) V, 132: „Habent sua fata libelli. Полтава не имѣла успѣха. Можетъ быть, она его и не стоила, но я былъ избалованъ пріемомъ, оказаннымъ моимъ прежнимъ, гораздо слабѣйшимъ произведеніямъ" и т. д. Тамъ же, 126: „Наши критики долго оставляли меня въ покоѣ... Первыя непріязненныя статьи, помнится, стали появляться по напечатаніи четвертой и пятой пѣсни Евгенія Онѣгина", т. е. въ 1828 г.

[3]) См. V, 72—73: „О литературной критикѣ"; „Критическія замѣтки", V, стр. 111 и слѣд. Отмѣтимъ: „обвиненія нелитературныя... нынче въ большой модѣ"; „оскорбленія личныя и клеветы нынѣ, къ несчастію, слишкомъ обыкновенныя"; „*Самъ* съѣшь есть нынѣ главная пружина нашей журнальной политики" и т. п. Къ Бѣлинскому Пушкинъ отнесся мягче.

[4]) Объ отношеніи молодежи къ Пушкину въ моментъ его смерти см. хотя бы въ воспоминаніяхъ Гончарова и въ извѣстномъ стихотвореніи Лермонтова на смерть Пушкина.

основаніямъ, въ особенности же по причинѣ мнимой отсталости поэта [1]), нелегко было покончить съ нимъ и оставалось выискивать подходящій компромиссъ.

Отъ этого изворота не остался свободенъ и лучшій изъ нашихъ критиковъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, В. Г. Бѣлинскій, въ статьяхъ, относящихся къ послѣднему періоду его дѣятельности, когда онъ оцѣнивалъ литературныя произведенія премущественно съ соціальной точки зрѣнія, со стороны споспѣшествованія ихъ общественному прогрессу. Бѣлинскій какъ будто восхищался нѣкоторыми произведеніями Пушкина въ частности, какъ образцовыми художественными созданіями [2]), но ставилъ низко другія [3]). Не находя въ важнѣйшихъ произведеніяхъ періода зрѣлаго творчества Пушкина прямого отклика на ближайшіе, по мнѣнію критика, запросы дѣйствительности, хотя и позднѣйшая поэзія Пушкина постоянно была полна немаловажныхъ соотношеній съ современностью и хотя въ поэзіи важно не только вниманіе къ злобѣ дня и выраженіе тѣхъ или иныхъ общественныхъ симпатій, но и служеніе общимъ интересамъ человѣчности и воспроизведеніе общихъ идеаловъ народности, знаменитый критикъ заявилъ въ концѣ своихъ статей о Пушкинѣ: „Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ-художникъ, и *больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ*. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому, онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ

---

[1]) V, 130: „Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ было сказано, что VII глава (Онѣгина) не могла имѣть никакого успѣха, ибо нашъ вѣкъ и Россія идутъ впередъ, а стихотворецъ остается на прежнемъ мѣстѣ". Ср. Сочиненія Бѣлинскаго, ч. VIII, изд. 4-е, М. 1880, стр. 341: „Даже собственно-романтическая критика, та самая, которая нѣсколько лѣтъ сряду провозглашала Пушкина „сѣвернымъ Байрономъ" и „представителемъ современнаго человѣчества", даже и она отложилась отъ Пушкина и объявила его чуждымъ „высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ вѣка"... Несмотря на смѣшную сторону этого факта, въ немъ нельзя не признать большого шага впередъ, и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности".

[2]) Напр., „Каменнымъ Гостемъ", который, по его мнѣнію (VIII, 692), „въ художественномъ отношеніи есть лучшее созданіе Пушкина".

[3]) VIII, 693—694: „Въ 1831 году вышли повѣсти Бѣлкина", холодно принятыя публикою, и еще холоднѣе журналами. Дѣйствительно, хотя нельзя сказать, чтобы въ нихъ уже вовсе не было ничего хорошаго, все таки эти повѣсти были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то въ родѣ повѣстей Карамзина, съ тою только разницею, что повѣсти Карамзина имѣли для своего времени великое значеніе, а повѣсти Бѣлкина были ниже своего времени". Знаменитый критикъ упустилъ изъ виду хотя бы столь излюбленный имъ реализмъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ повѣстей.

мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство *гуманности*, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка... Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореньямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство..." [1]). Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ Бѣлинскій призналъ за поэзіею Пушкина лишь благотворное эстетическое и моральное воздѣйствіе и усматривалъ въ ней по преимуществу художественныя достоинства, а въ ея авторѣ поэта-эстетика. Для полнаго пониманія смысла такихъ сужденій необходимо принять во вниманіе, что красоту формы вообще Бѣлинскій не ставилъ на первомъ мѣстѣ. „Главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ", писалъ онъ Боткину. Великаго народнаго и общественнаго значенія поэзіи Пушкина и по содержанію ея помимо отмѣченныхъ ея художественныхъ достоинствъ, гражданскихъ мотивовъ ея, Бѣлинскій не призналъ и не могъ признать, потому что въ силу односторонности своего взгляда не всегда могъ оцѣнить иныя изъ премуществъ Пушкинскихъ произведеній [2]), да и не вполнѣ вѣрно понималъ самого поэта [3]). Потому же не разгадалъ онъ идейной стороны въ поэзіи Пушкина и

[1]) VIII, 696—697.

[2]) II, 631: „Вообще, надобно замѣтить, что чѣмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тѣмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ, и потому не всегда вѣрно судитъ обо всемъ русскомъ"... Что до утвержденія Бѣлинскаго, что Пушкинъ „увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему", то напомнимъ хотя бы слова Пушкина: „Карамзинъ подъ конецъ былъ мнѣ чуждъ" (VII, 258) и укажемъ на лекцію И. Н. Жданова „О драмѣ А. С. Пушкина: „Борисъ Годуновъ", Спб. 1892, стр. 12 и слѣд. О Бѣлинскомъ въ оцѣнкѣ произведеній Пушкина можно сказать прямо противоположное его отзыву о Пушкинѣ: такъ какъ „все русское" не „слишкомъ срослось съ нимъ", онъ не понялъ нѣкоторыхъ существенныхъ достоинствъ „Капитанской дочки", хотя и призналъ ее „однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы" (VIII, 694). См. объ этомъ произведеніи Н. И. Черняева: „Капитанская дочка" Пушкина, историко-критическій этюдъ, Оттискъ изъ журнала Русское Обозрѣніе 1897 г. М. 1897.

[3]) См., напр., VIII, 632: Пушкинъ „въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта". Замѣтимъ по этому поводу, что и самъ Бѣлинскій долго добивался утвержденія въ дворянскомъ званіи, и его ходатайство о томъ увѣнчалось успѣхомъ лишь незадолго до его смерти. См. ст. А. С. Архангельскаго. Приведемъ далѣе столь же неосмотрительныя и поверхностныя сужденія Бѣлинскаго: „Первыми своими произведеніями Пушкинъ прослылъ на Руси за русскаго Байрона, за человѣка отрицанія. Но

первенствующаго значенія послѣдней въ русской литературѣ XIX в. [1]). Бѣлинскій не могъ открыть у Пушкина глубокихъ и оригинальныхъ идей и художественныхъ концепцій непреходящаго значенія. Безспорно, весьма крупная заслуга Бѣлинскаго въ оцѣнкѣ поэзіи Пушкина заключалась въ раскрытіи художественности послѣдней. Дѣйствительно, красота поэзіи Пушкина столь велика, что послѣ того никто уже не отрицалъ ея,— даже самые строгіе критики этой поэзіи. Но въ этомъ ли ея существенная черта? Бѣлинскій, настаивая преимущественно на такомъ ея значеніи, допустилъ одинъ изъ тѣхъ немалочисленныхъ промаховъ, которые заставляютъ умѣрить чрезмѣрное, впадавшее въ излишній панегиризмъ, юбилейное восхваленіе его критической проницательности. Для надлежащей оцѣнки такихъ одностороннихъ сужденій, какъ высказанныя Бѣлинскимъ, достаточно принять во вниманіе отзывы лицъ, хорошо знавшихъ Пушкина и компетентныхъ не менѣе знаменитаго нашего критика, напр., Мицкевича. Этотъ поэтъ и вмѣстѣ критикъ, котораго нельзя же заподозрить въ особомъ пристрастіи къ Пушкину, призналъ за послѣднимъ не только „un jugement sûr, un gout délicat et exquis“, но и „la vivacité, la finesse et la lucidité de son ésprit“ [2]).

ничего этого не бывало: невозможно предположить болѣе анти-байронической, болѣе консервативной (sic) натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тѣхъ его „стишкахъ“, которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи,— нельзя не улыбнуться ихъ дѣтской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!

Пушкинъ былъ человѣкъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думаютъ. Пора его „стишковъ“ скоро кончилась, потому что скоро понялъ онъ (sic; а стремленіе Пушкина къ публицистической дѣятельности въ послѣдніе годы его жизни?), что ему надо быть только художникомъ, и больше ничѣмъ, ибо такова его натура, а, слѣдовательно, таково и призваніе его“. Можно бы и еще указать подобныя невѣрныя разсужденія у Бѣлинскаго, срывавшіяся съ пера не послѣ глубокаго и спокойнаго изученія предмета, а въ пылу страстнаго увлеченія излюбленной идеей, какъ, напр., разобранныя г. Кирпичниковымъ (Очерки, стр. 145 и слѣд.). См. еще у Трубачева: Пушкинъ въ русской критикѣ, Спб. 1889, стр. 310—311 и въ статьѣ Краснова, Книжки Недѣли, май 1899.

[1]) Въ оригиналѣ статьи Бѣлинскаго о второмъ изданіи „Мертвыхъ душъ“, (юбилейное изданіе „Семь статей Бѣлинскаго“, М. 1898, стр. 153), писанной незадолго до его кончины, величайшимъ произведеніемъ русской литературы были признаны „Мертвыя души“. Точно также и Чернышевскій, Очерки Гоголевскаго періода русской литературы, Изд. М. Н. Чернышевскаго, Спб. 1892, стр. 10—11, писалъ: „Мы называемъ Гоголя безъ всякаго сравненія величайшимъ изъ русскихъ писателей, по значенію“.

[2]) Статья Мицкевича въ „Globe“ 1837 г. Теперь русскій переводъ съ польскаго ея текста данъ въ „Мірѣ Божіемъ“ 1899, № 5.

Оставляю въ сторонѣ отзывы другихъ великихъ современниковъ о Пушкинѣ, какъ о замѣчательномъ мыслителѣ [1]).

Такъ, Пушкинъ, какъ-то часто бываетъ, не былъ правильно понятъ и оцѣненъ критикой своего и ближайшаго времени.

Бѣлинскій явился начинателемъ того отношенія къ поэзіи Пушкина, которое держалось въ русской критикѣ на первомъ мѣстѣ до 70-хъ годовъ нашего вѣка, которое повторилъ безъ рѣзкихъ крайностей талантливый Чернышевскій [2]), а съ преувеличеніями—даровитый, но не глубокій отрицатель значенія поэзіи Пушкина, основываемаго на ея художественности, Писаревъ, примѣнившій къ поэзіи съ горячностью и запальчивостью слишкомъ увлекающейся молодости страстныя требованія момента [3]), и которое довелъ, наконецъ, до Геркулесовыхъ столбовъ Зайцевъ [4]). Молодежь увлеклась этими крайними сужденіями въ силу присущихъ ей свойствъ и значенія, которое уже съ временъ Пушкина придавали у насъ тенденціозности [5]). На-

---

[1]) См. въ началѣ этюда Мережковскаго.

[2]) См., напр., Очерки Гоголевскаго періода, стр. 18: „Что касается сатирическаго направленія въ произведеніяхъ Пушкина, то оно заключало въ себѣ слишкомъ мало глубины и постоянства, чтобы производить замѣтное дѣйствіе на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало въ общемъ впечатлѣніи чистой художественности, чуждой опредѣленнаго направленія (sic),—такое впечатлѣніе производятъ не только всѣ другія лучшія произведенія Пушкина—„Каменный гость", „Борисъ Годуновъ", „Русалка" и проч., но и самый „Онѣгинъ".

[3]) Справедливую оцѣнку аргументаціи Писарева касательно Пушкина представилъ В. С. Соловьевъ, Судьба Пушкина, Спб. 1898, стр. 22—23.

[4]) См., напр., въ его статьѣ: „Гейне и Берне", Русское Слово 1863 г., № 9, стр. 27: „Мы не современники Пушкина, однако не можемъ серьезно относиться къ его шалостямъ, въ родѣ „Оды къ свободѣ"; иностранецъ, для котораго личность Пушкина сама по себѣ совершенно неизвѣстна, удивится такому взгляду на произведеніе, которое можетъ на него произвести сильное впечатлѣніе. Мы бы тоже, можетъ быть, испытали это впечатлѣніе, но намъ мѣшаетъ чувствовать его другое впечатлѣніе, впечатлѣніе всего того, что мы знаемъ о личности поэта. Оно приходитъ намъ на память при чтеніи „Оды къ свободѣ", и мы можемъ только презрительно улыбаться, читая ее" и т. п.

[5]) Справедливо замѣтилъ A. Daudet, Notes sur la vie, La Revue de Paris, 15 Mars 1899, p. 337: „La jeunesse moins prise par les poètes, les romanciers, que par les critiques, les historiens, doctrinaires, dogmatiques, qui continuent l'école". Ср. въ ст. по поводу „Отцовъ и дѣтей", въ журналѣ „Время" 1862, № 4, стр. 50 и слѣд. замѣчанія объ исканіи „поученія, наставленія, проповѣдей", составлявшемъ „признакъ тревожнаго, болѣзненнаго, напряженнаго состоянія нашего общества".— И. С. Тургеневъ объяснялъ охлажденіе къ Пушкину въ 60-хъ годахъ тѣмъ, что „настало новое время, появились неожиданныя, небывалыя потребности, стало не

прасно Анненковъ [1]), Григорьевъ [2]) и другіе, иногда не совсѣмъ удачно, указывали на несправедливость отношенія къ Пушкину, утвердившагося въ русской критикѣ и вслѣдъ за нею въ нѣкоторыхъ слояхъ русскаго общества второй половины 50-хъ и въ 60-хъ годахъ

до художественности, восхищаться которой могли наравнѣ съ народными нуждами только записные словесники. Чувства Пушкина стали анахронизмомъ". Ѳ. Б., Вѣнокъ на Памятникъ Пушкину, Спб. 1880, стр. 50. Въ этихъ словахъ не мало неудачныхъ замѣчаній, начиная съ указанія въ духѣ критики Бѣлинскаго и его послѣдователей на художественность, какъ на существенную черту Пушкинской поэзіи, и оставлено безъ вниманія общественное значеніе ея и ея болѣе глубокій смыслъ, а также и то, что охлажденіе либеральной партіи къ Пушкину вело начало издавна.

[1]) Анненковъ, Воспоминанія и критическіе очерки, отдѣлъ второй, Спб. 1879, статья 1856 г.: „Старая и новая критика" (изъ „Русскаго Вѣстника"), стр. 12: „Въ послѣднее время мы видѣли попытки заслонить, если не отодвинуть на второй планъ нашего художника по преимуществу, Пушкина, именно за его исключительное служеніе искусству. Критики, съ выраженіемъ глубокаго уваженія и горячихъ симпатій къ его дѣятельности, принуждены были однакожъ, ради послѣдовательности въ убѣжденіяхъ и во имя существеннаго содержанія и направленія, пожертвовать этимъ именемъ, столь *любезнымъ* еще нашей публикѣ. Явленіе печальное, особенно потому, что слѣдствіемъ его, если бы мнѣніе укоренилось, было бы непремѣнно *загрубѣнье* литературы". Стр. 13—14: „кто же не отнесетъ къ числу *практически* полезныхъ предметовъ науку *благородно* мыслить и *благородно* чувствовать, въ которой Пушкинъ былъ учителемъ, не превзойденнымъ доселѣ". Какъ видно изъ этихъ строкъ, Анненковъ стоялъ на той же точкѣ зрѣнія, что̀ и Бѣлинскій, во взглядѣ на Пушкина и отстаивалъ лишь право чистой художественности, не придавая значенія ни сатирической, ни публицистической струѣ въ дѣятельности Пушкина, ни другимъ ея сторонамъ, на которыя стали обращать вниманіе съ 1880 г., присмотрѣвшись къ ней повнимательнѣе.

[2]) Сочиненія Аполлона Григорьева, т. I, Спб. 1876, стр 237 и слѣд. „Да, вопросъ о Пушкинѣ мало подвинулся къ своему разрѣшенію со времени „литературныхъ мечтаній", а безъ разрѣшенія этого вопроса мы не можемъ уразумѣть настоящаго положенія нашей литературы. Одни хотятъ видѣть въ Пушкинѣ отрѣшеннаго художника, вѣря въ какое то отрѣшенное, не связанное съ жизнію и не жизнію рожденное искусство, — другіе заставили бы „жреца взять метлу" и служить ихъ условнымъ теоріямъ..." Григорьевъ уже пролагалъ путь взгляду, развитому полнѣе въ рѣчи Достоевскаго 1880 г. Онъ писалъ въ 1859 г.: „Пушкинъ—наше все: Пушкинъ—представитель всего нашего *душевнаго*, *особеннаго*, такого, что̀ остается нашимъ *душевнымъ*, *особеннымъ* послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ—пока единственный полный очеркъ нашей народной личности... не только въ мірѣ художественныхъ, но и въ мірѣ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій — Пушкинъ есть первый и полный представитель нашей физіономіи. Гоголь явился только мѣркою нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ законности, поэтомъ чисто отрицательнымъ" и т. п. (стр. 238—240).

А. Н. Пыпинъ въ „Характеристикахъ литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“ [1]) подкрѣпилъ сужденія Бѣлинскаго и критики 50-хъ годовъ, разъяснивъ ихъ смыслъ оговорками, напр., указаніемъ вслѣдъ за Бѣлинскимъ на реализмъ Пушкинской поэзіи.

Поворотъ и углубленіе въ мнѣніяхъ о Пушкинѣ, начавшіеся въ концѣ 70-хъ годовъ, объединившіе людей различныхъ лагерей и приведшіе къ сооруженію Московскаго памятника великому поэту въ 1880 г., сказались въ особенности во время торжества по поводу открытія того монумента. Но и „Пушкинскіе дни“ 1880 г. несмотря на „святой восторгъ, вдохновенный трепетъ, охватившій русскую интеллигенцію передъ чистымъ образомъ своего генія“ [2]), несмотря на единодушіе, съ какимъ всѣ признали заслуги чествовавшагося поэта [3]), не разсѣяли вполнѣ укоренившихся предразсудковъ. Достигшія громкаго успѣха рѣчи ораторовъ, говорившихъ во время тѣхъ торжествъ, въ особенности вдохновенный диѳирамбъ всечеловѣчности Ѳ. М. Достоевскаго [4]), и отчасти статья Анненкова: „Общественные

---

[1]) Бѣлинскій отмѣтилъ, что Пушкинъ „въ высшей степени обладалъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника“. Первоначально монографія г. Пыпина въ видѣ отдѣльныхъ статей явилась въ „Вѣстникѣ Европы“ 1872—1873 г. и затѣмъ отдѣльной книгой, второе изданіе которой, съ исправленіями и дополненіями, вышло въ Спб. 1890 г. На 91-й—92-й стр. послѣдняго читаемъ: „Художественная высота Пушкинской поэзіи, кромѣ изумительныхъ по красотѣ произведеній личной лирики, выразилась первымъ установленіемъ того глубокаго реализма въ изображеніяхъ русской дѣйствительности, который сталъ съ тѣхъ поръ господствующей чертой нашей литературы и источникомъ ея дальнѣйшаго успѣха и современнаго европейскаго значенія... Трезвое чутье дѣйствительности, кроткое, гуманное чувство, запечатлѣнныя въ его произведеніяхъ, классическая форма,—остались его художественнымъ завѣтомъ, который остался памятенъ для его преемниковъ, ощущавшихъ на себѣ его вліяніе... Въ этомъ, а не въ какой либо общественно-политической доктринѣ заключается историческое значеніе Пушкина и великое наслѣдіе, оставленное имъ дальнѣйшему развитію литературы“.

[2]) Вѣнокъ на памятникъ Пушкину, 13. См. еще воспоминанія Буквы въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ 1899.

[3]) Ср. Русскую Мысль 1887, № 2, Внутреннее Обозрѣніе, стр. 197; отмѣчая „проявившійся въ 1887 г. въ самой печати недостатокъ единодушія“, обозрѣватель замѣчаетъ: „Правда, и семь лѣтъ тому назадъ произошли такіе эпизоды, какъ возвращеніе билета одною московскою редакціей и отказъ отъ рукопожатія. Но, все-таки, вся журналистика въ то время имѣла своихъ представителей на московскомъ празднествѣ и на одновременномъ съ нимъ петербургскомъ“.

[4]) Рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго явилась тогда въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и „Дневникѣ писателя“, затѣмъ въ „Вѣнкѣ“; въ настоящемъ году она перепечатана въ отдѣльномъ изданіи: Пушкинъ (очеркъ), Спб. 1899.

идеалы Пушкина" [1]) намѣтили новые пути для надлежащаго и всесторонняго изученія Пушкина [2]), но не изъяснили научно и съ надлежащею полнотою значеніе его поэзіи и потому не могли вполнѣ убѣдить критиковъ, продолжавшихъ держаться иного образа мыслей.

Только послѣ 1880 г. критическое изученіе личности и произведеній Пушкина начало направляться по надлежащему пути въ такихъ этюдахъ, какъ рѣчь В. В. Никольскаго [3]) и очеркъ Д. С. Мережковскаго [4]), написанныхъ также не безъ промаховъ, но выясняющихъ смыслъ и основныя идеи Пушкинской поэзіи въ тѣхъ

---

[1]) Вѣстникъ Европы 1880, № 6; изложеніе содержанія есть также въ „Вѣнкѣ".

[2]) Было ярко подчеркнуто значеніе Пушкина, какъ народнаго поэта, и то, что „все общечеловѣческое слилъ онъ въ своихъ созданіяхъ съ тѣмъ прекраснымъ, святымъ, что заложено въ основаніе природы нашего русскаго духа" („Вѣнокъ", стр. 41—слова Юрьева). Ауэрбахъ заявилъ тогда, что Пушкинъ, „при сохраненіи національной своей самобытности и своеобразности, принадлежитъ къ міровой литературѣ, имѣвшей Гёте своимъ провозвѣстникомъ" (Ib., 45). Теперь въ томъ же направленіи взглянулъ на поэзію Пушкина П. И. Вейнбергъ въ своемъ словѣ.

[3]) Идеалы Пушкина, Спб. 1887. Первоначально рѣчь эта была произнесена въ 1881 г. на актѣ въ С.-Петербургской Дух. Академіи и напечатана въ № 3—4 „Христіанскаго Чтенія" 1882 г. Промахи этюда Никольскаго указаны въ статьѣ А. Н. Пыпина: „Первыя объясненія Пушкина", Вѣстн. Европы 1887, № 10. стр. 642—647. Новое (третье) изданіе рѣчи Никольскаго, съ приложеніемъ двухъ другихъ статей того же автора, вышло Спб. 1899.

[4]) А. С. Пушкинъ. Характеристика. Первоначально эта статья явилась въ книгѣ П. Перцова: Философскія теченія русской поэзіи, Спб. 1896 (2-е изданіе вышло въ 1899 г.) и затѣмъ перепечатана въ книгѣ Мережковскаго: „Вѣчные спутники", вышедшей вторымъ изданіемъ въ настоящемъ году. Авторъ справедливо указалъ на важное значеніе Записокъ Смирновой и попытался освѣтить міровое значеніе поэзіи Пушкина. У Пушкина, какъ и у Гёте, Мережковскій видитъ „веселую мудрость, олимпійскую ясность и простоту". Ранѣе эти черты подмѣтилъ въ Пушкинѣ De Vogüé, Le roman russe, Par. 1886. „Пушкина Россія сдѣлала величайшимъ изъ русскихъ людей, но не вынесла на міровую высоту, не отвоевала ему мѣста рядомъ съ Гёте, Шекспиромъ, Данте, Гомеромъ,—мѣста, на которое онъ имѣетъ право по внутреннему значенію своей поэзіи... Въ XIX вѣкѣ... Пушкинъ въ своей простотѣ—явленіе единственное, почти невѣроятное. Въ наступающихъ сумеркахъ, когда лучшими людьми вѣка овладѣваетъ ужасъ передъ будущимъ и смертельная скорбь,—Пушкинъ, кажется, одинъ изъ учениковъ Гёте, преодолѣваетъ дисгармонію Байрона, достигаетъ самообладанія, вдохновенія безъ восторга и веселія въ мудрости,—этого послѣдняго дара боговъ... „Если предвѣстники будущаго возрожденія насъ не обманываютъ, то человѣческій духъ отъ старой, плачущей,—перейдетъ къ этой новой, олимпійской ясности и простотѣ, завѣщанной искусству Гёте и Пушкинымъ". Повидимому, этюдъ г. Мережковскаго имѣлъ въ виду В. С. Соловьевъ на 23 и слѣд. стр. брошюры „Судьба Пушкина".

двухъ направленіяхъ, которыя въ особенности должны останавливать на себѣ вниманіе, именно въ яркомъ и типическомъ выраженіи ею русскаго народнаго духа и въ постановкѣ ею проблемъ міровой поэзіи.

Но воззрѣнія Бѣлинскаго, Писарева и подобныя такъ укоренились въ сужденіяхъ о поэзіи Пушкина, что не вполнѣ подорваны ни знаменательнымъ чествованіемъ памяти Пушкина въ 1880 г., ни юбилейными поминками въ 1887 г. [1]). Эти взгляды раздѣляются и исповѣдываемы не только юношами, зачитывающимися на школьной скамьѣ Писаревымъ, но даже людьми, не вполнѣ придерживающимися общаго міровоззрѣнія критиковъ 60-хъ годовъ. Для недостаточно критической и вдумывающейся молодежи рѣзкіе приговоры Писарева—достойное воздаяніе поэту красивыхъ фразъ и картинокъ, для другихъ сужденія Бѣлинскаго—почти альфа и омега того, что̀ можно и должно говорить о поэзіи Пушкина.

Однако, что̀ бы ни говорили, торжественныя чествованія памяти Пушкина въ годахъ 1880, 1887 и въ особенности въ настоящемъ показываютъ, что въ поэзіи Пушкина таится еще какая-то особая сила, неизмѣримо болѣе широкая, чѣмъ та, какую усвояютъ ей усматривающіе со времени Бѣлинскаго въ произведеніяхъ Пушкина въ качествѣ главнаго преимущества ихъ „необычайную художественность". И вдумывающійся въ глубокій смыслъ этихъ торжествъ не можетъ не задать себѣ вопроса о томъ, чѣмъ же чаруетъ память Пушкина насъ, его отдаленныхъ потомковъ, и какая таинственная сила присуща его поэзіи, кромѣ ея красоты?

---

[1]). См. ст. А. Н. Пыпина: „Новыя объясненія Пушкина" — Вѣстн. Евр. 1887, № 10. Во 2-мъ изд. „Характеристикъ литературныхъ мнѣній", стр. 56, читаемъ: „Сравнивъ тѣ нравственно-общественные выводы, какіе дѣлались въ эти послѣдніе годы изъ дѣятельности Пушкина, съ тѣми, какіе дѣлались въ сороковыхъ годахъ, мы едва ли не должны отдать предпочтеніе рѣшеніямъ Бѣлинскаго... мы должны будемъ признать въ Пушкинѣ извѣстную двойственность, другими словами, извѣстное разнорѣчье, и чтобы опредѣлить его, должно будетъ признать именно то различіе между Пушкинымъ-художникомъ и общественнымъ человѣкомъ, которое было видно Бѣлинскому и которое новѣйшіе критики хотятъ слить въ представленіи Пушкина какъ поэта-гражданина... Если мы спросимъ себя: какъ могли, однако, эти разнородные элементы новѣйшаго общества соединиться въ единодушномъ чествованіи Пушкина, объясненіе найдется именно въ этой высшей чертѣ личности Пушкина, въ этой необычайной художественности, которая нѣкогда увлекала его первыхъ полусознательныхъ читателей, которая сдѣлала его могущественнымъ двигателемъ послѣдующей литературы, и которая продолжала теперь неодолимо властвовать надо всѣми, кто только поддается поэтическому очарованію, безъ различія „направленій".

Дни торжественныхъ воспоминаній о великихъ людяхъ, много совершившихъ для духовнаго развитія, просвѣщенія и преуспѣянія своего народа, вѣковыя юбилейныя чествованія ихъ не требуютъ панегиризма, а налагаютъ на участниковъ всего этого священную обязанность не только выраженія чувствованій признательности, живущей въ сердцахъ потомства, но и по возможности полнаго и всесторонняго уясненія духовнаго облика славныхъ дѣятелей, всего процесса ихъ душевной дѣятельности и основныхъ ея мотивовъ, призываютъ къ восполненію и исправленію тѣхъ недосмотровъ и ошибочныхъ построеній, которые искажали истинный образъ личности, заслужившей себѣ „нерукотворный памятникъ" у своего народа, къ высшей критикѣ ея самой и ея дѣяній.

Въ примѣненіи къ Пушкину первымъ и важнѣйшимъ дѣломъ высшей критики является уясненіе развитія мысли этого поэта въ ея цѣлостности, провѣрка указываемыхъ въ ней противорѣчій и двойственности жизни и творчества, возстановленіе міросозерцанія,—того, что̀ можно бы назвать философіею поэта. Всего этого наука еще не раскрыла съ достодолжною обстоятельностью и тщательностью. А между тѣмъ только послѣ такой работы будетъ вполнѣ ясно, дѣйствительно ли былъ правъ и исчерпалъ ли всю сущность вопроса столь превознесенный во время недавняго юбилейнаго чествованія нашъ знаменитый критикъ, сводившій значеніе поэзіи Пушкина преимущественно къ ея художественности и возбужденію гуманнаго чувства, „разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка". Въ этой ли художественности тайна обаянія, какое такъ долго производила и производитъ на многихъ и теперь поэзія Пушкина? Дѣйствительно ли Пушкинъ по преимуществу поэтъ изящной формы?

Если бы такъ было, то Пушкина нельзя было бы признать великимъ поэтомъ. Поэтовъ весьма изящной формы и даже необычайной художественности не такъ мало, но имъ, напр., Петраркѣ, иные отказываютъ въ правѣ на наименованіе великими несмотря на изящество ихъ поэтическихъ созданій.

Мы же цѣнимъ выше всего въ поэзіи то, чего въ сущности требовалъ отъ нея и Пушкинъ [1]),— сочетаніе изящной формы съ мощ-

---

[1]) Приблизительно таково было и воззрѣніе Пушкина на поэзію. „Стихи, которые производятъ впечатлѣніе на душу, на сердце, на умъ, сказалъ онъ

нымъ содержаніемъ, съ глубиною и величіемъ хорошо продуманныхъ идей и съ силою чувства, способною увлекать своимъ могучимъ порывомъ, истинно художественное выраженіе извѣстнаго возвышеннаго міросозерцанія. Въ наши дни явилась даже теорія (Л. Н. Толстого), отрицающая первостепенное значеніе красивой формы и потому не придающая значенія и красивому стиху.

Если бы Пушкинъ былъ не больше, какъ поэтомъ изящной, хотя бы и въ необычайной степени, формы, то значеніе его было бы кратковременно и ограничено, подобно значенію какого-нибудь Боало и Попе. Онъ отошелъ бы теперь уже въ рядъ второстепенныхъ, чисто историческихъ, знаменитостей, и чествованіе столѣтія дня появленія его въ свѣтъ было бы однимъ изъ тѣхъ юбилейныхъ празднествъ, которыя бываютъ иногда послѣднимъ, заключительнымъ моментомъ

однажды, запечатлѣваются въ памяти, дѣйствуя сразу на всѣ наши способности". Записки А. О. Смирновой, изд. редакціи журнала „Сѣверный Вѣстникъ", ч. I, Спб. 1895, стр. 207. Ср. въ „Черновыхъ набросках" 1826 г. (II, 8):

О ты, который сочеталъ
Съ глубокимъ чувствомъ разумъ вѣрный,
И точный умъ, и слогъ примѣрный,
О ты, который избѣжалъ
Сентиментальности манерной...

и I, 359:

Служенье музъ не терпитъ суеты,
Прекрасное должно быть величаво.

Въ 1834 г. Пушкинъ назвалъ стихи „важной отраслью *умственной* дѣятельности человѣка" („Мысли на дорогѣ", V, 248). Пушкинъ какъ бы требовалъ гармоническаго и равномѣрнаго сочетанія силъ, создающихъ поэзію, и въ этомъ отношеніи его взглядъ вѣрнѣе взгляда Бѣлинскаго, утверждавшаго, что „въ искусствѣ фантазія играетъ самую дѣятельную и первенствующую роль". Пушкинъ отличалъ восторгъ отъ вдохновенія и понимаетъ вдохновеніе, какъ „расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію ихъ. Восторгъ исключаетъ *спокойствіе необходимое условіе прекраснаго*. Восторгъ не предполагаетъ *силы, ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому*. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвесть *истинное, великое совершенство*... Ода исключаетъ *постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго*" (V, 21). Ср. изреченіе Бюффона о томъ, что „геній есть трудъ". Извѣстно, какъ медленно работалъ Пушкинъ надъ иными изъ своихъ произведеній и какъ долго вынашивалъ ихъ въ своей душѣ. Онъ самъ призналъ однимъ изъ своихъ отличительныхъ качествъ медленность въ литературномъ трудѣ, а эта медленность обусловливалась процессомъ упорной и тщательной умственной работы, предшествовавшей и сопутствовавшей созданію его произведеній.

широкаго воздѣйствія писателя, какъ это можно сказать, напр., о столѣтнемъ юбилеѣ Вальтеръ-Скотта. Пушкинъ былъ бы для насъ однимъ изъ полубоговъ литературнаго пантеона въ родѣ Ломоносова, Карамзина, Жуковскаго, столѣтнія годовщины которыхъ также были отпразднованы въ свое время довольно шумными, преимущественно академическими, торжествами и которыхъ мы читаемъ въ годы ученія, но которые кажутся намъ потомъ уже весьма далекими отъ живыхъ интересовъ нашей души, совсѣмъ не такими, какъ также чествовавшіеся недавно Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ, Байронъ, Шелли, остающіеся истинными классиками и продолжающіе увлекать насъ если не съ прежнею силою свѣжести и новизны, то съ болѣе серьезнымъ проникновеніемъ въ глубь нашей души.

Нѣтъ, Пушкинъ принадлежитъ къ этому второму, высшему разряду литературныхъ знаменитостей и корифеевъ. Недаромъ онъ самъ представлялъ свое служеніе пророческимъ: многимъ изъ насъ дорога почти каждая его строка. Видимо, еще „живъ“ во всей Россіи

. . . . . духъ поэта
И пѣсня дивная жива,

хотя Мережковскій и заявилъ, что послѣ Пушкина „вся исторія русской литературы есть исторія довольно робкой и малодушной борьбы за Пушкинскую культуру съ нахлынувшею волною демократическаго варварства, исторія могущественнаго, но односторонняго воплощенія его идеаловъ, медленнаго угасанія, паденія, смерти Пушкина въ русской литературѣ“. Послѣ того, какъ Пушкинъ умеръ въ сознаніи нѣкоторыхъ круговъ общества, что̀ постигаетъ иногда и такихъ титановъ, какъ Шекспиръ, Гёте, онъ вновь воскресаетъ съ 80-хъ годовъ, потому что онъ истинно великъ, какъ велики выдающіеся поэты человѣчества, являющіеся его учителями въ высшемъ смыслѣ этого слова. Это былъ многообъемлющій геній. И мы находимъ у него не только красоту выраженія, но и соотвѣтственную ей глубину идей и чувствованій, богатый кладъ нестарѣющихъ мыслей и чувствъ, которые сохранятъ значеніе, можно думать, не только для насъ, но и для временъ грядущихъ.

Въ великихъ поэтахъ особый, возвышенный интересъ представляетъ для насъ развитіе ихъ личности, такъ сказать, творчество ихъ жизни, и гармонія ихъ міросозерцанія, то, что̀ называютъ иногда

философіею великихъ художниковъ, напр., философіею Шекспира, нѣмецкихъ классическихъ поэтовъ, Вагнера. Къ жизни и дѣятельности великихъ поэтовъ въ особенности можетъ быть примѣнена формула Клода Бернара: „Жизнь есть твореніе". Міросозерцаніе, проникающее творенія великихъ поэтовъ, не есть теоретическое познаваніе и представленіе міра, а вполнѣ отчетливое, стройное, творческое упорядоченіе воспріятій конкретно открывающагося поэту космоса согласно со своеобразною духовною мощью созерцателя [1]).

Такой же двоякій высокій интересъ внушаетъ намъ и Пушкинъ— своею жизнью и своимъ воспріятіемъ дѣйствительности и отношеніемъ къ міру.

Пушкинъ великъ не только какъ поэтъ, но почтененъ и какъ личность, если окидывать однимъ взоромъ не только нерѣдкіе въ молодости его моменты жизни, когда былъ

Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ...
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ,

но и всю его жизнь труда, борьбы со свѣтомъ и съ собой, чистыхъ восторговъ и упоеній и неоднократной побѣды надъ собой, не взирая на силу долго бушевавшихъ въ немъ страстей. Не говорю уже о томъ, что Пушкинъ можетъ быть признанъ заслуживающимъ уваженія какъ личность, отдавшая всю свою жизнь беззавѣтному служенію великому дѣлу, не ради славы (онъ не гонялся за нею въ годы зрѣлости), выгодъ и положенія, а по чистому влеченію генія и моральнаго чувства, и совершившая это дѣло.

Есть вѣскія возраженія противъ идеализаціи Пушкина, какъ личности. Въ 50-ю годовщину его кончины бывшій Одесскій и Херсонскій архіепископъ Никаноръ, поминая поэта въ недѣлю блуднаго сына, подвергъ его суровому осужденію, именно какъ таковаго сына, принесшаго покаяніе лишь въ послѣдній моментъ [2]). Равно и извѣст-

---

[1]) См. ст. Chamberlaine'a: Richard Wagners Philosophie—въ „Beilage zur Allgemeinen Zeitung" 1899, № 47.

[2]) Замѣчанія по поводу этого слова см. въ ст. Пыпина: Вѣстн. Евр. 1887, № 10, стр. 635—641. Далѣе покойнаго архіепископа пошли теперь тѣ люди, которые приглашали христіанъ не слѣдовать за „крикунами, хотя бы и избранными руководителями народа" и не „чтить убійцъ-самоубійцъ".

ный нашъ философъ В. С. Соловьевъ нанесъ немалый ударъ идеализаціи личности Пушкина указаніемъ на то, что постигшая поэта роковая катастрофа, положившая конецъ его жизни, была обусловлена прежде всего его собственными поступками, не согласными съ высотою и обязанностями его генія и христіанскаго сознанія, къ которому онъ пришелъ подъ конецъ своей жизни:

„Жизнь его не врагъ отъялъ,
Онъ *своею* силой палъ.
Жертва гибельнаго гнѣва,

своею силой, или лучше сказать, своимъ *отказомъ* отъ той нравственной силы, которая была ему доступна и пользованіе которою было ему всячески облегчено".

Дѣйствительно, Пушкинъ не всегда превозмогалъ въ себѣ побужденія гнѣва, но, въ виду интригъ его враговъ и его высокаго настроенія передъ своей кончиной, съ точки зрѣнія чисто христіанскаго прощенія кающемуся, онъ подлежитъ изъятію отъ совсѣмъ строгаго осужденія за свое предсмертное дѣяніе [1]). Даже, если бы мы не нашли никакого оправданія послѣдняго, и тогда, принимая во вниманіе всю совокупность дурного и хорошаго въ его характерѣ, и условія воспитанія и среды, мы должны бы призадуматься предъ произнесеніемъ рѣшительныхъ приговоровъ въ родѣ изложенныхъ.

По словамъ Мицкевича, у Пушкина былъ характеръ „trop impressionable et parfois léger, mais toujours franc, noble et capable d'épanchement"; своими недостатками Пушкинъ былъ обязанъ воспитанію [2]), своими достоинствами самому себѣ. И это вполнѣ вѣрно. Въ натурѣ Пушкина на ряду съ его самомнѣніемъ и буйнымъ пыломъ страстей нельзя не отмѣтить и цѣлаго ряда весьма благородныхъ и симпатичныхъ моральныхъ свойствъ, каковы: чисто русскія прямота и искренность, отсутствіе завистливости, полное участливое

---

[1]) См. статьи Павлищева въ „Новомъ Времени" 1899 г. и свѣдѣнія о предсмертныхъ моментахъ Пушкина, сообщенныя В. А. Жуковскимъ и другими.

[2]) Ср. наблюденіе А. И. Тургенева въ письмахъ кн. П. А. Вяземскому: „...вообрази себѣ двѣнадцатилѣтняго юношу, который шесть лѣтъ живетъ въ виду дворца и въ сосѣдствѣ съ гусарами, и послѣ обвиняй Пушкина за его „Оду на свободу" и за двѣ болѣзни нерусскаго имени!" Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ, I, Спб. 1899, стр. 280.

отношеніе къ талантамъ другихъ и готовность помогать ихъ развитію, мужественность и стойкость въ слѣдованіи эволюціи своей мысли и убѣжденія, не взирая на то, что̀ скажутъ хотя бы друзья, отсутствіе стремленія пріобрѣтать выгоды и дешевую популярность угодничаньемъ толпѣ и вообще стойкость натуры [1]).

Но главное обстоятельство, говорящее въ пользу личнаго характера Пушкина, это то, что, послѣ первыхъ лѣтъ бушеванія пылкой крови, въ его жизни постепенно все болѣе и болѣе крѣпла сила тѣхъ „духовныхъ основъ жизни", о которыхъ любитъ говорить В. С. Соловьевъ.

Жизнь Пушкина представляетъ не обычный только процессъ, нерѣдко замѣчаемый въ лучшихъ изъ даровитыхъ и надѣленныхъ кипучими силами людей, у которыхъ постепенно остываетъ кровь; и измѣненія происходили въ Пушкинѣ не только по принципу: tempora mutantur et nos mutamur in illis.

Дѣло не въ томъ только, что годы юности поэта были въ значительной степени истрачены

. . . . . въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,
Въ безумствѣ гибельной свободы,
На играхъ Вакха и Киприды [2]);

—не въ томъ, что отъ шалостей и проказъ юности и пылкаго темперамента [3]), отъ состоянія, когда не разъ поэтъ „любилъ"

. . . . . пламенной душой
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,

---

[1]) „Меня не такъ-то легко съ ногъ свалить", писалъ однажды Пушкинъ (VII, 258).

[2]) II, 37.

[3]) Въ юности Пушкинъ былъ весьма взбалмошенъ, и, по выраженію Карамзина, у него не было „въ головѣ ни малѣйшаго благоразумія". По словамъ А. И. Тургенева, относящимся къ 1818 году, Пушкинъ „исшалился", велъ „безпутный образъ жизни", и только болѣзни, связанныя съ любовными похожденіями, могли заставить его сидѣть дома и работать. Остафьевскій Архивъ, I, 74, 117, 119. Недавно изданное Пушкинской Коммиссіею Одесскаго Литературно-Артистическаго Общества дѣло о взысканіи съ Пушкина 2000 р. ассигнаціями съ процентами долга, сдѣланнаго 20 ноября 1819 г. въ С.-Петербургѣ у барона Шиллинга, показываетъ, что Пушкинъ сдѣлалъ карточный долгъ, отъ уплаты котораго потомъ отказался, ссылаясь на то, что онъ „проигралъ заемное письмо, будучи еще въ несовершенныхъ лѣтахъ, и не имѣя никакого состоянія движимаго и недвижимаго".

Съ такою нѣжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ [1]),

„страдалецъ чувственной любви“ [2]) перешелъ къ прочнымъ и сосредоточеннымъ чувствамъ добраго семьянина и гражданина и проклиналъ

Измѣнъ печальныя преданья...
. . . . . коварныя старанья
Преступной юности своей,
И встрѣчъ условныхъ ожиданья
Въ садахъ, въ безмолвіи ночей;
. . . . . рѣчей любовный шопотъ,
И струнъ таинственный напѣвъ,
И ласки легковѣрныхъ дѣвъ,
И слезы ихъ, и поздній ропотъ... [3]).

И не въ томъ дѣло, что съ годами онъ совсѣмъ отсталъ отъ воспѣванія подъ часъ прекрасныхъ женскихъ ножекъ [4]) и восходилъ все къ высшимъ и высшимъ сюжетамъ и замысламъ, къ серьезнымъ работамъ мысли и вдохновенья.

Нѣтъ ничего еще необычнаго и въ томъ, что Пушкинъ пережилъ и „юность живую“, и „юность унылую“, и „чистыя помышленія“ [5]).

Въ творчествѣ жизни Пушкина важно было то, что онъ не физическимъ и душевнымъ остываніемъ, а сознательною и упорною работою надъ собою восходилъ къ нравственному самоусовершенію и цѣною значительныхъ нравственныхъ усилій и мукъ извнѣ пріобрѣталъ подобно Данте какъ нравственную зрѣлость, такъ и зрѣлость

---

[1]) II, 1: Ср. ib 4, 7, 11, 12. 12—14 и др., въ особенности 33:

Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынѣ я.
Безпечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать безъ умиленья,
Безъ робкой нѣжности и тайнаго волненья.

[2]) I, 189.

[3]) II, 135.

[4]) См. замѣтку Н. Ѳ. Сумцова: „Женская ножка въ стихотвореніяхъ Пушкина“—Р. Старина 1899, № 5, стр. 335—336.

[5]) II, 134.

идей и широту созерцанія. На самомъ Пушкинѣ исполнилось то, что уже въ пятнадцать лѣтъ онъ считалъ удѣломъ поэтовъ:

Ихъ жизнь—рядъ горестей, гремяща слава—сонъ [1]).

Пушкину пришлось вынести съ довольно ранняго времени своей жизни рядъ тяжелыхъ невзгодъ. Онъ пережилъ много горькихъ минутъ уже со времени перевода на югъ [2]), и сталъ еще серьезнѣе со времени возвращенія на сѣверъ, въ с. Михайловское. И не звучныя только фразы то, что онъ писалъ въ 1828 г., когда приближался къ годамъ зрѣлости:

Благословенъ же будь отнынѣ,
Судьбою ввѣренный мнѣ даръ!
Доселѣ въ жизненной пустынѣ [3]),
Во мнѣ питая сердца жаръ,
Мнѣ навлекалъ одно гоненье,
. . . . . .
Иль клевету, иль заточенье,
И рѣдко—хладную хвалу [4]).

Конечно, во многомъ изъ этого былъ повиненъ и самъ поэтъ, о чемъ свидѣтельствуютъ его собственные признанія, относящіяся къ тому же году, въ стихотвореніи „Воспоминаніе“:

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день,
И на нѣмыя стогны града
Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,
Въ то время для меня влачатся въ тишинѣ
Часы томительнаго бдѣнья:

---

[1]) I, 10.
[2]) См. ниже во II-й главѣ.
[3]) Дантовское выраженіе. Ср. въ стихотв. „Три ключа“ (1827 г.):

Въ *степи мірской, печальной и безбрежной*,
Таинственно пробились три ключа...
Кастальскій ключъ волною вдохновенья,
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ..

[4]) II, 36.

Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ
Змѣи сердечной *угрызенья;*
Мечты кишатъ; въ умѣ, подавленномъ *тоской,*
Тѣснится *тяжкихъ думъ* избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ:
И *съ отвращеніемъ читая жизнь мою,*
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.
Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ
Мои утраченные годы...
И *нѣтъ отрады мнѣ*—и тихо предо мной
Встаютъ два призрака младые...
. . . . . и мстятъ мнѣ оба,
И оба говорятъ мнѣ мертвымъ языкомъ
О тайнахъ вѣчности и гроба [1]).

Такъ поэтъ выходилъ изъ заблужденій, бурь и испытаній жизни нравственно очищеннымъ помыслами „о тайнахъ вѣчности и гроба". То не былъ старческій страхъ смерти: Пушкину было тогда 29 лѣтъ. Въ немъ просто сталъ говорить сильнѣе прежняго никогда не глохшій въ немъ голосъ нравственнаго сознанія,—употребляя выраженіе Л. Н. Толстого—„то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вѣчно" [2]). Правда, и въ послѣдніе свои годы Пушкинъ не вполнѣ отрѣшился отъ суеты жизни, напр., отъ условныхъ понятій о чести, какъ то показываетъ его дуэль,

---

[1]) II, 37. Можно бы привести и рядъ другихъ выраженій раскаянія поэта, изложенныхъ въ стихахъ (см., напр., „Стихи, сочиненные ночью во время безсонницы", 1830 г., 113: „Мнѣ не спится, нѣтъ огня...") и въ прозѣ, напр.: „Началъ я писать съ 13-ти лѣтняго возраста и печатать почти съ того времени. Многое желалъ бы я уничтожить, какъ недостойное даже и моего дарованія, каково бы оно ни было. Многое тяготѣетъ, какъ упрекъ на совѣсти моей" (V, 113; написано въ 1830 г.). См. еще въ письмахъ отреченія отъ „грѣховъ отрочества" и юности: „Молодость моя прошла шумно, но безплодно. До сихъ поръ я жилъ иначе, какъ обыкновенно живутъ. Счастья мнѣ не было" (VII, 260).

[2]) Воскресенье, гл. XXVIII.

и полнаго обѣленія ему быть не можетъ [1]). Но все-таки какое огромное разстояніе отдѣляетъ Пушкина послѣднихъ лѣтъ (приблизительно съ начала 30-хъ годовъ) отъ Пушкина въ годы по выходѣ изъ лицея до 1824 г. Поэтъ, любившій свѣтское общество и шумныя утѣхи [2]), жившій „иначе, какъ обыкновенно живутъ“ [3]), какъ бы не признававшій семейныхъ устоевъ [4]), другъ декабристовъ и вольнодумецъ, пародировавшій церковные пѣсни и обряды [5]), сколь далекъ отъ Пушкина, признавшаго, что „il n'est bonheur que dans les voies communes“ [6]), полюбившаго семейную жизнь, мечтавшаго поселиться въ деревнѣ [7]), разставшагося съ отрицаніемъ прежнихъ лѣтъ и примирившагося искренно съ русскимъ самодержавіемъ и императоромъ Николаемъ безъ одобренія, впрочемъ, многихъ тогдашнихъ порядковъ! [8]).

Столь значительно измѣнился Пушкинъ и измѣнилъ нѣкоторые изъ своихъ первоначальныхъ взглядовъ! И это произошло не только въ силу того, что вообще человѣческія мысль и чувство, живя, постоянно пребываютъ въ движеніи. Въ душѣ поэта совершились болѣе глубокіе и мучительные, чѣмъ обыкновенно, переломы. Сколько надобно было перерабатывать себя, чтобы отречься отъ пылкихъ порывовъ юныхъ лѣтъ и дорогихъ стремленій молодости. Разставаясь съ ними, поэтъ испытывалъ не только „тяжелое, смутное похмѣлье“ послѣ „безумныхъ лѣтъ угасшаго веселья“; рядомъ съ тѣмъ и „печаль минувшихъ дней“, всегдашняя спутница веселья у Пушкина, была въ душѣ его „чѣмъ

---

[1]) А. Н. Вульфъ записалъ въ своемъ дневникѣ, что Пушкинъ „погибъ жертвою неприличнаго положенія, въ которое себя поставилъ ошибочнымъ разсчетомъ“ (Л. Н. Майкова Пушкинъ, Спб. 1899, стр. 217).

[2]) VII, 1: „Увѣряю васъ, что уединеніе въ самомъ дѣлѣ вещь очень глупая, на зло всѣмъ философамъ и поэтамъ, которые притворяются, будто бы живали въ деревняхъ и влюблены въ безмолвіе и тишину“. Ср. французское стихотв. 1814 г.:

J'aime et le monde et son fracas,
Je hais la solitude...

[3]) VII, 260.

[4]) Вспомнимъ, напр., его отношеніе къ г-жѣ Ризничъ и др.; см. еще I, 261: „Десятая Заповѣдь“ и I. 353.

[5]) VII, 21 письмо 1821 года; ср. тамъ же, 15, пародированіе молитвы „Господи, владыко живота моего“ и пр., и стихотв. 1836 г. „Отцы-пустынники“.

[6]) VII, 260.

[7]) См. ниже во II-й главѣ.

[8]) См. ниже въ III-й главѣ.

старѣ, тѣмъ сильнѣй" [1]). То была печаль неустаннаго стремленія къ идеалу, который все отодвигался въ даль по мѣрѣ того, какъ поэту казалось, что онъ былъ ближе и ближе къ цѣли томленій. Въ Пушкинѣ во всю его жизнь происходила работа въ цѣляхъ этого приближенія. И уже 20-лѣтнимъ юношей онъ писалъ, что „унылой думой" „среди забавъ" онъ „часто омраченъ", и на все подъемлетъ взоръ угрюмый", и ему „не милъ сладкій жизни сонъ":

На краткій мигъ блаженство намъ дано:
Отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья
Останется уныніе одно" [2]).

И уже тогда онъ усматривалъ въ себѣ „возрожденіе":

. . . . . исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней [3]).

Въ годы зрѣлости Пушкинъ возвратился съ рѣшительностью къ чистымъ днямъ невинной души, достигши истинной свободы духа. Эта свобода и полная истина не совмѣстимы съ партійностію, и Пушкинъ поднялся въ эти позднѣйшіе годы и надъ партійностію своей юности.

Всѣмъ этимъ процессомъ своего духовнаго развитія Пушкинъ напоминаетъ такихъ великихъ поэтовъ, какъ „суровый" Данте, который также въ молодости былъ не чуждъ недостойныхъ его увлеченій, не оставался до конца вѣренъ всѣмъ идеямъ своей юности, въ томъ числѣ и политическимъ, и отъ сомнѣній взошелъ къ ясной и глубокой вѣрѣ. Вспомнимъ также, что и Шекспиръ былъ кипучъ и страстенъ въ годы молодости и, какъ гражданинъ свободной Англіи и другъ Эссекса, сложившаго голову на плахѣ, также былъ не чуждъ политической скорби, и пережилъ въ своей жизни періодъ, когда въ головѣ его гнѣздились самыя мрачныя мысли, но затѣмъ взошелъ къ такой ясности духа и къ такому примиренію съ дѣйствительностію, какія находимъ въ его послѣднихъ произведеніяхъ и которыя сообщаютъ „Бурѣ" прелесть роскошной вечерней зари послѣ чуднаго лѣтняго дня.

---

[1]) II, 101.
[2]) „Уныніе" 1819: I, 201. См. также ниже въ гл. II.
[3]) „Возрожденіе" 1819: I, 208.

Конечно, къ подобнымъ поворотамъ въ міросозерцаніи Пушкина относятся съ недовѣріемъ и пренебреженіемъ тѣ люди, которые желали бы отъ другихъ нравственной высоты сразу, либо тѣ, для которыхъ не представляютъ особаго интереса и цѣны такія послѣдовательны стадіи развитія много вдумчивой личности и которые слагаютъ довольно скоро свое міросозерцаніе безъ мучительной борьбы, такъ какъ для нихъ все рѣшается моднымъ вѣяніемъ, увлекающимъ ихъ за собою въ годы ихъ молодости.

Не таковы великіе мыслители и поэты, которые сами намѣчаютъ пути, кажущіеся новыми. Пушкинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ великихъ поэтовъ-мыслителей, которыхъ нѣмцы называютъ führende Geister—путеводными умами. Такіе корифеи не слагаются сразу, а вырабатываютъ постепенными усиліями своего духа мощное идейное содержаніе, которымъ высоко поднимаются надъ уровнемъ толпы въ ея разныхъ партіяхъ и подраздѣленіяхъ.

Въ подобномъ же богатомъ идейномъ содержаніи при соотвѣтственной художественности формы и заключается преимущественное значеніе поэзіи Пушкина, въ силу котораго онъ сохранитъ надолго привлекательность и прелесть многосторонняго, истинно высокаго и здороваго творчества.

Лишь недостаточное и не вполнѣ внимательное изученіе хода идейнаго и нравственнаго развитія Пушкина можетъ поддерживать мысль о томъ, что онъ впадалъ въ непослѣдовательность и странныя противорѣчія съ самимъ собою въ области мысли. То, что кажется противорѣчіемъ, было естественною эволюціею идей, которыя во всѣ періоды жизни Пушкина объединялись присущимъ ему, какъ поэту-гражданину, стремленіемъ въ отысканію и художественному выраженію высшихъ идеаловъ русской жизни. Во всѣ моменты своей жизни Пушкинъ оставался неизмѣненъ въ любви къ родинѣ наряду съ любовью къ человѣку вообще и въ стремленіи къ возвышеннымъ идеаламъ жизни. Измѣнялись нѣсколько лишь очертанія послѣднихъ сообразно съ тѣмъ, гдѣ поэтъ искалъ отвѣта на мучительные вопросы о нихъ, но при этомъ даже въ его годы молодости рѣшенія нерѣдко подсказывались его чисто русскою душой, а въ позднѣйшіе годы были постоянно почерпаемы изъ глубинъ русскаго народнаго міросозерцанія [1]).

[1]) Незеленовъ, Рѣчь о Пушкинѣ, Спб. 1887 (вошли въ книгу его же „Шесть статей о Пушкинѣ", Сбп. 1892) удачно различаетъ два главныхъ періода въ творчествѣ Пушкина, первый—до 1824 г. включительно, „когда великій художникъ усваи-

Посмотримъ же, что даетъ Пушкинъ, какъ поэтъ слагавшагося постепенно цѣльнаго міровоззрѣнія и мощныхъ концепцій и чувствъ.

Для уразумѣнія и оцѣнки этихъ построеній самый правильный путь—ввести Пушкина въ общее теченіе вѣка и сопоставить нашего поэта съ великими міровыми поэтами, съ вождями литературныхъ движеній и направленій новаго времени. И это тѣмъ умѣстнѣе и необходимѣе, что Пушкинъ откликался на всѣ важнѣйшіе вопросы, волновавшіе его современниковъ, уже съ юности проникся почти всѣми интересами міровой поэзіи новаго времени и рано стремился стать на ея высотѣ. Исходный пунктъ поэзіи Пушкина—литературныя и другія идеи Запада выработанныя XVIII-мъ вѣкомъ и началомъ XIX-го къ моменту низверженія Наполеона I, и пронесшееся тогда вѣяніе обновленія. Вліяніе родной поэзіи на творчество Пушкина, помимо воспроизведенія его Западныхъ идей и формъ, было слабѣе [1]), потому что было формальное и болѣе частное.

валъ себѣ блестящіе и могучіе западно-европейскіе идеалы", и „высшій періодъ его творчества" съ 1828 г., „время органическаго, живого сліянія въ его душѣ и въ его поэзіи тревожныхъ и страстныхъ западно-европейскихъ началъ съ простыми и добрыми началами русской народной жизни".

[1]) Объ этомъ вліяніи см. рѣчь П. В. Владимірова: „А. С. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ" и данныя о занятіяхъ литературы въ Лицеѣ (въ статьяхъ Гаевскаго и др.—см. ниже).

I.

Основные вопросы мысли и творчества XIX вѣка.

Пушкина нельзя назвать, какъ именовали нѣкоторые Шекспира,— „душою въ тысячу душъ". Есть преувеличеніе и въ знаменитыхъ словахъ Ѳ. М. Достоевскаго, что „Пушкинъ лишь одинъ изъ всѣхъ міровыхъ поэтовъ обладаетъ свойствомъ перевоплощаться вполнѣ въ чужую національность", что геній его обладалъ „всемірностью и всечеловѣчностью".—Не найдемъ мы у Пушкина въ широкихъ размѣрахъ и нѣкоторыхъ могучихъ орудій поэтическаго воздѣйствія, напр., юмора и веселаго смѣха [1]). Нашъ вѣкъ вообще мало склоненъ къ тому и другому, и веселый смѣхъ появился въ русской литературѣ лишь съ Гоголя [2]).

Тѣмъ не менѣе, безспорно, поэзія Пушкина весьма широка и разнообразна. Въ ней находимъ множество художественно нарисованныхъ образовъ, и получили мѣсто и болѣе или менѣе оригинальную постановку большинство основныхъ идей и вопросовъ, волновавшихъ нашъ вѣкъ отъ его начала и до нашихъ дней.

Если Пушкинъ, несмотря на глухую либо явную непріязнь цѣлаго рода критиковъ, все-таки пріобрѣлъ всенародное значеніе,

---

[1]) Кое-гдѣ есть и у Пушкина проблески юмора, напр., въ „Капитанской дочкѣ" и „Исторіи села Горохина", но ихъ не такъ много.

[2]) Это призналъ и Пушкинъ. Записки Смирновой, I, 43. См. еще V, 292 о „Вечерахъ на хуторѣ": „Всѣ обрадовались этому живому описанію племени поющаго и пляшущаго, этимъ свѣжимъ картинамъ малороссійской природы, этой веселости простодушной и вмѣстѣ лукавой. Какъ изумились мы русской книгѣ, которая заставляла насъ смѣяться, мы, не смѣявшіеся со временъ Фонъ-Визина!" Ср. VII, 287.

освящаемое и нынѣшнимъ чествованіемъ, то, очевидно, въ его поэзіи таится какая-то особая жизненность, поддерживающая свѣжесть его произведеній помимо нѣкоторой устарѣлости частностей или, лучше сказать, колорита времени, въ которое были написаны нѣкоторыя изъ нихъ.

Источникъ жизненности поэзіи Пушкина заключается не только въ ея глубокой человѣчности, правдивости и связи съ народнымъ духомъ, но и въ томъ, что ею широко затрогиваются и отчетливо ставятся многіе основные вопросы жизни, въ частности русской, какъ ихъ поставило новое время и въ особенности XIX-й вѣкъ.

Предъ поколѣніемъ, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, уже выникали многія изъ тѣхъ проблемъ, которыя въ сущности тяготѣютъ и надъ нами. И тогда намѣчался антагонизмъ лицъ, стоявшихъ за большую или меньшую самобытность русской жизни, съ одной стороны, и съ другой—кружка, считавшаго себя передовымъ и усматривавшаго лучшіе образцы всего на Западѣ [1]); и тогда рѣзко проявлялся разладъ нѣкоторыхъ отцовъ и дѣтей [2]), характеризующій не разъ по преимуществу русскую жизнь со времени Петра В., обострившійся въ нашемъ столѣтіи и проявляющійся даже въ наши дни.

Конечно, наше время не вполнѣ походитъ на Александровскую эпоху, когда, по выраженію кн. П. А. Вяземскаго въ письмѣ къ Пушкину въ с. Михайловское, народъ нашъ былъ „ребяческій, немного или много дикій и воспитанный въ однихъ гостиныхъ и прихожихъ“, когда, по словамъ того-же Вяземскаго, „мы еще не дожили до поры личнаго уваженія.. Оппозиція у насъ безплодна и пустое ремесло во всѣхъ отношеніяхъ: она можетъ быть домашнимъ рукодѣльемъ про себя, но промысломъ ей быть нельзя... Она не въ цѣнѣ у народа... Всѣ поклоняемся мы одному счастью, а благородное несчастье не имѣетъ еще кружка своего“... Люди того времени, по словамъ Пушкина, конечно, не свободнымъ отъ преувеличенія,

---

[1]) Остафьевскій архивъ I, 175, слова А. И. Тургенева 1818 г.: „Мнѣніе отечестволюбцевъ о неподражаніи иностранцамъ безбожно. Гдѣ же Провидѣніе, если мы не должны пользоваться его уроками? На что же оно? На что же жертвы народовъ, если не для другихъ народовъ? Не безбожно ли не видѣть цѣли Провидѣнія въ спасительныхъ урокахъ, которые даетъ оно міру, и не безчеловѣчно ли ими не пользоваться?“.

[2]) „Горе отъ ума“.

Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей [1]).

Личности разумной съ не погрязшей душой приходилось томиться

Въ мертвящемъ упоеньѣ свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ,
Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
Шальныхъ, балованныхъ дѣтей,
Злодѣевъ и смѣшныхъ, и скучныхъ,
Тупыхъ, привязчивыхъ судей,
Среди кокетокъ богомольныхъ,
Среди вседневныхъ модныхъ сценъ,
Учтивыхъ, ласковыхъ измѣнъ,
Среди холодныхъ приговоровъ
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Разсчетовъ, думъ и разговоровъ [2]).

Теперь не совсѣмъ такъ, но и теперь можно бы сказать съ Пушкинымъ:

Другъ человѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.

И конецъ нашего вѣка остался съ большинствомъ тѣхъ же непорѣшенныхъ вопросовъ, что и начало его. Нашъ вѣкъ накопилъ много научныхъ данныхъ, пріобрѣлъ немало новаго опыта, но все-таки испытываетъ прежнюю неудовлетворенность, и печаль, тоска и меланхолія столь же сильны теперь, какъ и во времена Пушкина [3]). Сколько разнообразныхъ формъ принимали рѣшенія основныхъ вопросовъ и утопіи лучшаго по-

---

[1]) II, 351.

[2]) III, 357—358.

[3]) См., между проч., Fiérens-Gevaert, La Tristesse contemporaine, Par. 1899 и этюдъ Faguet подъ тѣмъ же заголовкомъ въ Revue bleue 28 Janvier 1899.

рядка и строя и какъ часто они мѣнялись въ нашемъ столѣтіи! И однакожъ, не взирая на эту кипучую дѣятельность ума и на его, казалось бы, успѣхи, приходится оглядываться назадъ. Это и дѣлаетъ Страсбургскій профессоръ Циглеръ въ книгѣ, подводящей итоги XIX-го в. для Германіи: онъ указываетъ на чистую человѣчность Гёте, какъ на цѣль, къ которой мы стремимся въ грядущемъ[1]). Такое же обращеніе взоровъ вспять наряду съ движеніемъ впередъ замѣчается и въ другихъ странахъ, напр., во Франціи. И у насъ, кажется мнѣ, въ поэзіи Пушкина можетъ быть находимъ путь для „примиренія прошлаго съ настоящимъ". Напрасно утверждалъ Анненковъ въ 1880 г., что Пушкинъ былъ передовымъ человѣкомъ лишь въ свое время. Для великихъ провозвѣстниковъ великихъ соціальныхъ и нравственныхъ ученій нѣтъ старости! Кое-что въ частностяхъ поэзіи Пушкина, безпорно, устарѣло [2]), но въ общемъ она сохраняетъ жизненность, а иное въ ней имѣетъ и общечеловѣческое значеніе. Душу Пушкина томили тѣ самые вопросы, которые гнетутъ насъ и теперь, и онъ оставилъ намъ въ своей поэзіи не узкое доктринерское рѣшеніе ихъ (то—не дѣло поэзіи), а живую, идейную и вмѣстѣ художественную, весьма рельефную постановку ихъ, открывающую, какъ то бываетъ у всякаго великаго поэта, безконечную перспективу[3]). Потому-то поэзія Пушкина остается свѣжимъ благоухающимъ цвѣткомъ въ поэтическомъ букетѣ XIX в., хотя прошло уже болѣе 60 лѣтъ съ той поры, какъ смерть поэта оторвала ее отъ корня жизни.

Основное направленіе поэзіи въ началѣ нашего вѣка повсюду слагалось изъ болѣе или менѣе смутнаго чувства неудовлетворенности настоящимъ, изъ стремленія къ чему-то необычайному и изъ не вполнѣ ясныхъ порываній въ даль и въ высь, потому что твердыхъ и опре-

---

[1]) Th. Ziegler, Die geistigen und socialen Strömungen des Neunzehnten Jahrhunderts, Berl. 1899, S. 687: „Noch immer gilt das Wort Hegels, dass die Geschichte ein Fortschreiten sei im Bewusstsein der Freiheit. Frei sind aber nur die, die tapfer sind und milde zugleich—tapfer um sich nicht in Fesseln schlagen zu lassen und es aufzunehmen mit dem Leben, milde um andere zu verstehen und über dem Trennenden nicht das menschlich Einigende zu vergessen; und darum ist Goethes reine Menschlichkeit schliesslich doch das Ziel, dem wir zustreben".

[2]) См. лекцію Алексѣя Н. Веселовскаго: „Наканунѣ Пушкина".

[3]) Справедливо замѣтилъ въ 1880 г. Юрьевъ, что Пушкинъ „далъ намъ въ своихъ твореніяхъ великій поэтическій синтезъ тѣмъ направленіямъ мысли, которыя до сихъ поръ борются между собою въ сознаніи нашего общества". Вѣнокъ, стр. 41.

дѣленныхъ началъ, надеждъ и программъ, какими одушевлялся XVIII-й вѣкъ, не было.

Нападки Вольтера и авторовъ Энциклопедіи на христіанство, 1789 и въ особенности 1792 годы подорвали-было, казалось, все прошлое: церковь, государство и прежнее общество. Но исключительное сомнѣніе—не въ натурѣ человѣка. Начинавшемуся XIX-му вѣку оставалось рѣшить вопросъ, возможно ли для мысли возстановить прочныя начала мысли и жизни, разрушенныя сомнѣніемъ и критикой предшествовавшаго столѣтія. Одни продолжали вѣрить въ новыя начала, возвѣщенныя евангеліемъ идейнаго и революціоннаго освобожденія. Другіе, разочаровавшись въ благахъ, какія сулила революція, пытались-было порѣшить томительные вопросы возвратомъ къ старымъ преданіямъ во всѣхъ сферахъ жизни. Отсюда отсутствіе примиренія и постоянная борьба въ области мысли религіозной и философской, въ общественной морали, въ сферѣ искусства, въ идеяхъ политическихъ, столкновеніе и самая пестрая смѣсь и хаосъ идей и чувствованій, какія рѣдко бываютъ въ исторіи.

Началось возрожденіе вѣры въ области религіозной: боролись съ унаслѣдованнымъ отъ XVIII вѣка полнымъ отрицаніемъ и скептицизмомъ Энциклопедіи и Вольтерьянства сентиментальные или эстетическіе аргументы защиты религіи въ духѣ деиста Руссо, полная и наивная вѣра, переходящая въ мистику, въ міръ таинственнаго и сверхъестественнаго, и, наконецъ, христіанско-практическій спиритуализмъ. Цѣлая группа людей усиливалась возвратитъ себѣ утраченную вѣру путемъ разума, ища душевнаго мира. Инымъ это совсѣмъ не удавалось, и они безнадежно останавливались передъ порогомъ непознаваемаго. Иные боролись между потребностію вѣрить въ доброе и попечительное міроправленіе и невозможностію представить его себѣ. Нѣкоторые усиливались обосновать необходимость религіозной вѣры политическими доводами въ родѣ того, что политическія общества не могли бы ни установиться, ни держаться, ни существовать средствами чисто человѣческими [1]), либо опирали свою вѣру на основанія соціальныя [2]), или же эстетическія [3]). Другіе предпринимали по-

[1]) Графъ Жозефъ де-Maistre.

[2]) Lamennais училъ, что основаніе всякаго общества заключается во „взаимномъ дарѣ человѣка человѣку", а эта соціальная основа дается лишь религіею.

[3]) Руссо сомнѣвался въ божественномъ откровеніи и отбрасывалъ въ сторону пророчества и чудеса, какъ засвидѣтельствованныя людьми, могущими оши-

строеніе новаго спиритуализма на основѣ тѣхъ таинственныхъ душевныхъ явленій, которыя находятся на рубежѣ нашихъ интеллектуальныхъ завоеваній. Были и такіе, которые, отрѣшая религію отъ догматовъ, превращали ее въ чисто моральное и свѣтское ученіе.

Всѣ эти люди, искавшіе сознательной вѣры, представляли лишь меньшинство въ обществѣ XIX в., большинство же пребывало въ вѣрѣ, не вдумываясь въ нее. На ряду съ нимъ видимъ меньшую группу люда, не вѣрующаго и не вдумывающагося въ основаніе своего невѣрія. Есть толпа, глядящая на религію, какъ на неизбѣжную условность. И, наконецъ, особо стоятъ люди, вѣрящіе въ неизвѣстное, зовущееся природой, или же превращающіе Провидѣніе въ антипровидѣніе.

Вообще религіозная мысль образованныхъ людей XIX в. нерѣдко сливалась съ философіею какъ бы согласно съ идеями Руссо[1]) и въ силу того характера, который пріобрѣтала послѣдняя, становясь въ первой половинѣ XIX в. ученіемъ объ абсолютной идеѣ.

Въ области философіи не видимъ возвращенія къ болѣе или менѣе отдаленному прошлому и обращенія къ авторитету прежнихъ мыслителей[2]). Исключеніе составляло вниманіе къ Канту. При этомъ философія первой половины XIX в. выступила противъ грубаго эмпиризма XVIII в. и пріобрѣла трансцендентальный характеръ. Взамѣнъ англійскаго механическаго деизма и механическаго атеизма XVIII в. нѣмецкая философія XIX в. выдвинула ученіе объ имманентности, всеприсутствіи Бога въ природѣ и человѣкѣ. Французская философія первой половины

баться, и какъ недопустимыя разумомъ, но признавалъ красоту христіанства и его благотворное воздѣйствіе въ теченіе многихъ вѣковъ. Шатобріанъ хотѣлъ изобразить все величіе и прелесть христіанства, всѣ неоцѣненныя блага, которыми ему обязано человѣчество во всѣхъ сферахъ, и говорилъ, что „изъ всѣхъ религій, когда-либо существовавшихъ, христіанская религія—самая поэтичная, самая человѣчная, наиболѣе благопріятствовавшая истинной свободѣ, наукамъ и искусствамъ“.

[1]) По словамъ Руссо, „философія“ (въ томъ широкомъ смыслѣ, въ какомъ понимали это слово въ XVIII в.) „не можетъ сдѣлать никакого добра, котораго религія не сдѣлала бы еще лучше, и религія не приноситъ такого блага, котораго философія не смогла бы сдѣлать“.

[2]) Только христіанско-практическій спиритуализмъ XIX в., составляющій особенность вѣрующихъ людей XIX в., развивалъ начинанія предшествовавшихъ (IV—XIII, XVII) вѣковъ въ созданіи въ синтетическомъ единствѣ науки о трехъ сферахъ существованія (о Богѣ, человѣкѣ и природѣ) и о законахъ, возвышающихся надъ указанными уже общими законами.

нашего вѣка была, подобно нѣмецкой, реакціею крайнему матеріализму конца XVIII в., отождествившему духъ и тѣло и объявившему человѣка машиной. Крайности прежняго матеріализма вызвали крайности реакціи со стороны спиритуализма, какъ потомъ вновь [1]) послѣдній сталъ падать въ мнѣніи людей, не желавшихъ становиться „жертвами неукротимой потребности въ абсолютномъ", ищущей удовлетворенія въ спекулятивныхъ (умозрительныхъ) системахъ [2]).

Какъ нерѣдко отношеніе къ религіи въ нашемъ вѣкѣ тѣсно вязалось съ рѣшеніемъ философскихъ проблемъ спиритуализма и матеріализма, такъ пребывали въ зависимости отъ того же рѣшенія и этическія ученія XIX-го столѣтія, состоя въ то же время въ связи съ религіозными, а иногда и эстетическими, воззрѣніями и научными построеніями. Независимо отъ оптимизма и пессимизма и отъ вѣры въ „добрую натуру" человѣка, или же отъ утвержденій о склонности ея ко злу, держались лишь получавшія дальнѣйшее развитіе филантропическія идеи XVIII в. Но при этомъ постоянно боролись христіанское ученіе объ эмоціяхъ спиритуалистически чистаго происхожденія и о смиреніи въ силу грѣховности и ничтожества человѣка, съ одной стороны, а съ другой—возвеличеніе правъ и достоинствъ геніальнаго „я", ведшее начало со времени гуманизма и воскресшее съ новою силою въ индивидуализмѣ XVIII в. (Руссо и его послѣдователей) и въ „культѣ героевъ" XIX в. Устанавливаемую этимъ культомъ великую „роль личностей въ исторіи" подрывали все болѣе и болѣе пріобрѣтаемыя наукой данныя, въ силу которыхъ человѣкъ, привыкшій въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ усвоять себѣ привилегированное мѣсто въ системѣ мірозданія, долженъ былъ, при томъ новомъ положеніи, какое назначаетъ ему въ этомъ мірозданіи новая наука, смотрѣть на себя, какъ на безсильную жертву окружающихъ его жестокихъ силъ и условій, какъ на ужасную маріонетку ихъ. Людямъ, вѣрящимъ въ медленное, но вѣрное дѣйствіе научнаго духа, оставалось ожидать, что послѣдній приведетъ къ установленію моральнаго равновѣсія и внутренней дисциплины человѣка. Въ числѣ тѣхъ научныхъ данныхъ, которыя сводятъ до минимума историческую роль личностей, видное значеніе имѣли наблюденія надъ

---

[1]) Со второй половины XIX в.

[2]) Какъ прежде съ рѣшительностью ставили матафизику, такъ Контъ категорически отвергъ ее.

историческою жизнію народовъ и понятія о народныхъ особяхъ, слагавшіяся съ послѣдней четверти прошлаго вѣка и получившія новый толчокъ къ своему развитію со времени великихъ потрясеній европейской государственности въ началѣ настоящаго столѣтія. Соотвѣтственно тому на мѣсто индивидуума XVIII-го и XIX-го вв. иные стали возводить на пьедесталъ народъ. Отсюда двоякое теченіе въ общественной морали, преобладаніе въ ней либо индивидуализма, либо ученія о долгѣ въ отношеніи къ обществу.

Подобную же борьбу можно наблюдать и въ эстетическихъ ученіяхъ XIX вѣка и при томъ въ двухъ параллеляхъ. Въ европейскихъ литературахъ уже съ конца прошлаго столѣтія боролись космополитизмъ и народность, классицизмъ съ одной стороны и сентиментальный и романтическій культъ народности съ другой, включая въ послѣдній и увлеченіе созданіями народнаго генія массъ. Какъ народному духу усвояли все творчество въ области права и государства, такъ стали говорить и о великомъ значеніи массъ въ созданіи языка и искусствъ. Идея о такомъ значеніи массъ въ народномъ творчествѣ, намѣченная уже во второй половинѣ XVIII в., стала для многихъ великимъ открытіемъ и лозунгомъ XIX в. Новымъ проявленіемъ того же народолюбія явилась тенденція навязыванія поэзіи непремѣнно и преимущественно соціальныхъ задачъ. Противоставшій ей, также романтическій индивидуализмъ въ эстетикѣ привелъ къ такъ наз. теоріи искусства для искусства, опредѣленно выступающей у Гёте [1]) и затѣмъ у романтиковъ, въ особенности французскихъ [2]).

---

[1]) См., напр., изображеніе Тассо. который выставленъ существомъ особаго высшаго разряда:

Sein Auge weilt auf dieser Erde kaum,
Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur.

Ср. у Hettner, Die romantische Schule.

[2]) См., напр., у Альфреда де-Виньи, который въ 1832 г., въ великіе дни политическаго дѣйствованія французскаго романтизма, одинъ изъ романтиковъ осмѣлился выставить формулу, что не дѣло литераторовъ играть политическую роль. Въ 7-й главѣ Stello, носящей заглавіе „Un credo“ — Исповѣданіе вѣры, пополняется теорія автора касательно того, что „поэтъ даетъ для себя мѣрку своими произведеніями“. Идеалистъ Стелло спрашиваетъ реалиста Чернаго доктора: „Гдѣ вы были?“ Черный докторъ отвѣчаетъ съ ужасающимъ равнодушіемъ: „У постели умирающаго поэта. Но, прежде, чѣмъ продолжать, я долженъ поставить вамъ одинъ вопросъ: не поэтъ ли вы? Изслѣдуйте себя хорошенько и скажите мнѣ, не чувствуете ли вы себя поэтомъ въ глубинѣ души?“. Стелло глубоко

Но ближайшая дѣйствительность шумно заявляла свои права, и въ поэзію самихъ этихъ романтиковъ вторгался неодолимо реализмъ.

Наконецъ, и въ сферѣ политической мысли XIX вѣка постоянно предстоялъ выборъ между космополитизмомъ и народностью, между грезами революціи и соціальнаго переворота и вѣковыми началами и формами національной самобытности, между общими принципами свободы и равенства, наиболѣе, казалось, осуществляемыми демократіей, и сословнымъ строемъ. Все это болѣе или менѣе выражалось въ борьбѣ общественности со старою государственностію.— Въ политическихъ организаціяхъ существуютъ двоякіе интересы: 1) преимущественно обусловливаемые физическими потребностями общества, или совокупности единичныхъ личностей, и 2) порождаемые преимущественно духовною природою человѣка, другими словами: 1) общественные и 2) государственные. Полнаго равновѣсія обоихъ родовъ интересовъ, т. е. общественныхъ и государственныхъ, не бываетъ,

вздохнулъ и послѣ мгновенія самососредоточенія отвѣчалъ въ однообразномъ тонѣ вечерней молитвы: „Я вѣрю въ себя, потому что чувствую въ глубинѣ своего сердца тайную, невидимую и неизъяснимую силу, вполнѣ уподобляющуюся предчувствію будущаго и откровенію таинственныхъ причинъ настоящаго. Я вѣрю въ себя, потому что въ природѣ нѣтъ такой красоты, такого величія, такой гармоніи, которыя не производили бы во мнѣ пророческаго содроганія, которыя не вносили бы глубокаго волненія въ мою утробу, и не наполняли бы моихъ вѣкъ слезами вполнѣ божественными и неизъяснимыми. Я твердо вѣрю въ возложенное на меня несказанное призваніе, и вѣрю въ него по причинѣ безграничнаго состраданія, которое внушаютъ мнѣ люди, мои товарищи въ несчастіи, и также по причинѣ чувствуемаго мною желанія протягивать имъ руку и безпрестанно возвышать ихъ словами состраданія и любви... Я чувствую, какъ угасаютъ молніи вдохновенія и ясность мысли, когда неопредѣлимая сила, поддерживающая мою жизнь, любовь перестаетъ наполнять меня своею горячею мощью; а когда эта сила переливается во мнѣ, ею озаряется вся моя душа; мнѣ кажется, что я сразу понимаю вѣчность, пространство, твореніе, созданія и рокъ; лишь тогда иллюзія, златоперый фениксъ, располагается на моихъ устахъ и поетъ... Я вѣрую въ вѣчную борьбу нашей внутренней жизни, плодотворной и призывающей, противъ жизни внѣшней, изсушающей и отталкивающей, и я призываю свыше мысль, наиболѣе способную сосредоточить и воспламенить силы моей жизни, самопожертвованіе и жалость". Устами Стелло въ этомъ credo, исповѣданіи вѣры, говорилъ самъ поэтъ, А. де-Виньи: поэтъ представленъ здѣсь высшимъ существомъ, одареннымъ Богомъ. Несмотря на различіе, отдѣлявшее младшее поколѣніе французскихъ романтиковъ, выступившее послѣ 1830 г. и проникшееся реализмомъ, отъ де-Виньи, теорія послѣдняго объ отрѣшеніи поэта отъ прямого вмѣшательства въ жизнь распространилась среди художниковъ младшихъ поколѣній и достигла у нихъ особаго успѣха. Теофиль Готье основалъ „L'école de l'art pour l'art", послѣдователи которой называли себя художниками фантазіи (artistes fantaisistes).

и берутъ перевѣсъ обыкновенно либо тѣ, либо другіе. Французская революція опиралась своей теоретической основой на Contrat social Руссо, развившаго ученіе Гоббса и Локка о происхожденіи государства путемъ договора, на ученіе Руссо о правахъ человѣка и о свободѣ, и уже пролагала дорогу столь развившемуся въ XIX в. соціализму [1]), стремящемуся къ разрушенію государства и арміи. Противъ французской революціи за государство вступился англичанинъ Боркъ. Въ его „Разсужденіяхъ о французской революціи" послѣдняя подверглась сильнѣйшимъ нападкамъ. Провозгласивъ: „Men, not measures" (Дайте намъ людей, а не мѣропріятія!), Боркъ явился предшественникомъ нѣмецкой исторической школы нашего вѣка. По взгляду ея, государство имѣетъ нравственныя цѣли; оно—нравственная личность, нравственное общеніе, призванное къ положительнымъ дѣяніямъ для воспитанія рода человѣческаго, чтобы каждый народъ чрезъ государство и въ государствѣ вырабатывалъ изъ себя дѣйствительный характеръ.

Таковы проблемы, наполнявшія жизнь XIX в. и вызывавшія безконечное видоизмѣненіе его творчества въ главныхъ областяхъ мысли и ея дѣятельности.

Русская жизнь нашего вѣка раздѣляла въ большей или меньшей степени усилія къ рѣшенію этихъ задачъ вмѣстѣ съ остальнымъ европейскимъ міромъ, съ которымъ все болѣе и болѣе сливалась. Основные вопросы, волновавшіе Западъ, были все время такими же жгучими и настоятельными злобами вѣка и для насъ.

И для нашей религіозной вѣры не прошло безслѣдно вольнодумство прошлаго вѣка, столь популярное въ нашемъ дворянствѣ Вольтерьянство и рѣзкія выходки энциклопедистовъ. И у насъ были пламенные послѣдователи Руссо, и во главѣ ихъ поставленный Пушкинымъ рядомъ съ Руссо—Карамзинъ [2]). И у насъ немало противниковъ безвѣрія обратилось къ мистицизму, а реакція философскому движенію прошлаго вѣка приняла форму увлеченія системами Шеллинга, Гегеля, Менъ де Бирана, и затѣмъ на смѣну философскаго идеализма выступили позитивизмъ, увлеченіе естествознаніемъ и т. п.

---

[1]) См. Revue critique 1899, № 13, Lettre de M. Lichtenberger (по поводу замѣтки Espinas въ Revue critique о книгѣ Lichtenberger: Socialisme et la Révolution française).

[2]) I, 44.

Въ области морали частной и общественной происходила та же, что и на западѣ, борьба протеста личности противъ стѣсненія ея правъ и вообще противъ вѣкового склада жизни, увлеченіе народолюбіемъ и проблемами соціальной жизни. Въ области искусства имѣла мѣсто та же, что и тамъ, борьба классиковъ съ романтиками, романтиковъ съ натуралистами и т. п. Но особое значеніе пріобрѣло у насъ и въ прямой своей области и въ литературѣ движеніе, обусловленное политическими и соціальными ученіями XIX в. Государственность, столь подавлявшая личность и общество въ Московскій періодъ нашей исторіи (въ отличіе отъ до-татарскаго времени) и долго въ императорскій, и стремившаяся къ подавленію всего населенія, кромѣ привилегированныхъ классовъ, въ шляхетской Польшѣ, казалась инымъ тягостною въ началѣ нашего вѣка. Уже со времени Екатерины II у насъ отдѣльныя единичныя личности стали сознавать, что внѣшнее могущество, достигнутое русскимъ государствомъ, не соотвѣтствовало внутреннему нестроенію послѣдняго, являвшемуся отрицаніемъ справедливости. Когда русскій государь въ лицѣ Александра I окружилъ себя ореоломъ славы освободителя народовъ, и русскіе люди гордились его подвигомъ [1]), въ средѣ лицъ, бывшихъ современниками и болѣе или менѣе близкими свидѣтелями этихъ событій и дарованія русскимъ императоромъ конституціонныхъ правъ Польшѣ, стала возникать мечта о томъ, что подобными благами надлежало бы пользоваться и нашему отечеству [2]). Съ запада хлынули широкой волной

---

[1]) Остафьевскій архивъ, I, 20 (письмо кн. П. А. Вяземскаго А. И. Тургеневу весной 1814 г.): „...дѣла великія и единственныя. Наполеоны бывали, Александра другого нѣтъ въ вѣкахъ. Роль его прекрасная и безпримѣрная. Цѣль его побѣдъ: завоеваніе свободы и счастья царей и царствъ: исторія намъ ничего прекраснѣе, славнѣе и безкорыстнѣе не представляетъ“ и т. д., стр. 21—приписка В. Л. Пушкина: „Какая радость!.. какая слава для Россіи!.. Великъ государь нашъ, избавитель и возстановитель царствъ!“

[2]) Тамъ же, письмо Вяземскаго изъ Варшавы, 3 апрѣля 1818 г., стр. 97—98: „Воля Николая Михайловича, а нельзя не пожелать, чтобы и на нашей улицѣ былъ праздникъ. Что за дѣло, что теперь мало еще людей! Что за дѣло, что сначала будутъ врать! Люди родятся и выучатся говорить. А теперь развѣ не врутъ въ Совѣтѣ? И зачѣмъ имъ не врать съ одобренія начальства... „Умъ хорошо, а два лучше“, говоритъ пословица: пусть будетъ она девизомъ конституціи“. Письмо Н. И. Тургенева князю Вяземскому 23 мая 1818, стр. 103: „Нельзя... русскому не пожалѣть, что, между тѣмъ какъ поляки посылаютъ представителей, судятъ и отвергаютъ проекты законовъ, мы не имѣемъ права говорить о ненавистномъ рабствѣ крестьянъ, не смѣемъ показывать всю его мерзость и беззаконность. При

освободительныя идеи, и достигли значительнаго распространенія въ образованномъ обществѣ. По словамъ Пушкина о времени около 1821 г., „мы увидѣли либеральныя идеи необходимою вывѣской хорошаго воспитанія, разговоръ исключительно политическій, литературу (подавленную самою своенравною цензурою) превратившуюся въ рукописные пасквили на правительство и въ возмутительныя пѣсни; наконецъ, и тайныя общества, заговоры, замыслы болѣе или менѣе кровавые и безумные. Ясно, что походамъ 1813 и 1814 года, пребыванію нашихъ войскъ во Франціи и Германіи, должно приписать сіе вліяніе на духъ и нравы того поколѣнія, коего несчастные представители погибли“ [1]). Въ послѣдніе годы правленія Александра I „строгость правилъ и политическая экономія были въ модѣ. Мы являлись на балы, не снимая шпагъ; намъ неприлично было танцовать, и некогда заниматься дамами“, читаемъ въ отрывкахъ „Изъ романа въ письмахъ“ [2]). Все болѣе и болѣе распространялись воззрѣнія въ родѣ выраженныхъ А. Н. Радищевымъ въ концѣ Екатерининскаго царствованія, въ эпоху громовыхъ раскатовъ французской революціи, и были также люди, которые, какъ Пушкинскій Владиміръ, думали: „Небреженіе, въ которомъ мы оставляемъ нашихъ крестьянъ, непростительно. Чѣмъ болѣе имѣемъ мы надъ ними правъ, тѣмъ болѣе имѣемъ и обязанностей въ ихъ отношеніи. Мы оставляемъ ихъ на произволъ плута прикащика, который ихъ притѣсняетъ, а насъ обкрадываетъ“ [3]). Съ той поры и у насъ явилось противоположеніе свѣ-

---

этомъ нельзя не подивиться, что если запрещаютъ рабство бранить, то вмѣстѣ запрещаютъ и хвалить его. Примѣры же на наше дворянство не дѣйствуютъ. Курляндцы и эстляндцы искореняютъ рабство, даже виленское дворянство произвольно отказывается отъ печальнаго права владѣть себѣ подобными. Мы же продолжаемъ пребывать во грѣхѣ“. См. еще стр. 105, въ особенности 142.

[1]) „Записка о народномъ воспитаніи“, поданная въ 1826 г., V, 43.

[2]) Рѣчь идетъ о 1818 годѣ: „Отрывки изъ романа въ письмахъ“, IV, 358. Онѣгинъ (Евг. Он. I, VII):

. . . . . читалъ Адама Смита
И былъ глубокій экономъ.

[3]) IV, 356. Конечно, мелкопомѣстные дворяне, не служившіе и сами занимавшіеся „управленіемъ своихъ деревушекъ“, отличались еще „дикостью“: „для нихъ еще не прошли времена Фонъ-Визина, между ними процвѣтали Простаковы и Скотинины“: IV. 357. Но Н. И. Тургеневъ въ своей деревнѣ „привелъ въ дѣйствіе либерализмъ свой: уничтожилъ барщину и посадилъ на оброкѣ мужиковъ, уменьшилъ чрезъ то доходы“ свои: Остафьевскій архивъ, I, 121.

жихъ требованій общественной мысли государственной рутинѣ, установившееся во Франціи за вѣкъ передъ тѣмъ, и то единеніе государства и общества, которое существовало въ Московскій періодъ и въ первую половину царствованія Екатерины II, было порвано кругами общества, считавшими себя за передовые. Вошла въ употребленіе кличка „либералъ“ [1]), и стала зарождаться наша новѣйшая оппозиція [2]). Возникало разобщеніе личности со средой и оттуда грусть и тоска.

Словомъ, въ годы юности Пушкина начали окончательно слагаться новыя идеи о народномъ благѣ и мечты о подведеніи и нашего государства подъ тѣ западныя формы, образецъ которыхъ представляли Франція и Англія [3]), и вообще уже тогда выникъ цѣлый рядъ жгучихъ вопросовъ, которые ставилъ постоянно и потомъ весь XIX вѣкъ до нашихъ дней включительно. Они предстаютъ намъ съ неотразимою настоятельностію и теперь, когда анархія идей опять охватила многіе умы и достигла чрезвычайной силы, и въ высшей степени интересно взглянуть, какъ отнесся къ нимъ умнѣйшій человѣкъ въ Россіи

---

[1]) Между проч., либераломъ называлъ Карамзинъ и Пушкина (въ письмѣ къ Дмитріеву). Остафьевскій архивъ, I, 102, письмо Н. И. Тургенева въ Варшаву: „Нѣкоторыя либеральныя идеи, которыя у васъ переводятъ законосвободными, а здѣсь можно покуда назвать арзамасскими...“ См. еще 106, 134: „либеральные стихи“ и т. п.

[2]) А. Н. Вульфъ записалъ о ней въ своемъ дневникѣ подъ 1834 годомъ (Майковъ, Пушкинъ, стр. 208): „ея у насъ нѣтъ, развѣ только въ молодежи“. Такъ же было и при Александрѣ I. Она ютилась въ средѣ служилой молодежи и проявлялась иногда лишь въ интимныхъ дружескихъ бесѣдахъ и перепискахъ. См., напр., въ письмахъ кн. Вяземскаго: „У насъ и самое самовластіе умѣетъ еще подгадить; эту ядовитую траву употребляютъ только, чтобы отравливать людей, а никогда не воспользуются ею, гдѣ придется случай выжать изъ нея сокъ, для иныхъ болѣзней цѣлебный“; 142: „Языкъ мой—врагъ мой“. У него ничего того ни на умѣ, ни на сердцѣ нѣтъ, а все это такъ говорится для виду, для близиру. А дураки-то и разинули ротъ! Впрочемъ, государствованіе — выученная роль... Повѣрь, въ этомъ режимѣ, отъ престола до лубочнаго поля, всегда есть примѣсь діавольскаго“ и т. п. Ср. замѣчанія Мицкевича о русской оппозиціи въ его некрологѣ Пушкина: Міръ Божій, 1899, № 5.

[3]) Тургеневъ кн. Вяземскому: „Недавно у меня вымарали англійскую свободу въ библейской рѣчи. Скоро ее, вѣроятно, и въ лексиконѣ не останется.

„Благословенный брегъ великаго народа!“ (Остаф. арх. 1, 137, ср. 142); кн. Вяземскій Тургеневу: „Теперь метафизическая философія уступила мѣсто метаполитической философіи, и родимый край ея—все тотъ же Парижъ. Въ Англіи учиться труднѣе, чѣмъ во Франціи; тамъ задачи уже разрѣшены, а здѣсь ихъ еще рѣшаютъ“ (Ост. арх., 161). Отвѣтъ Тургенева—на стр. 175: „Во Франціи исторія *дѣлается* еще, въ Англіи она уже давно сдѣлана и даже написана“ и т. д.

того времени, по мнѣнію импер. Николая I[1]), человѣкъ, утрата которого была незамѣнима, по выраженію Мицкевича.

Соблюсти разумную мѣру въ постановкѣ основныхъ вопросовъ и избѣжать близорукости въ опытахъ ихъ рѣшенія—удѣлъ немногихъ свѣтлыхъ умовъ. Пушкинъ достигъ того, между прочимъ, не только благодаря своему великому уму и сердцу, но и въ силу той чрезвычайной широты взгляда, которую пріобрѣлъ внимательнымъ изученіемъ выдающихся произведеній новыхъ литературъ и жизни, въ томъ числѣ и русской. Литература же русская, едва ставшая съ лѣтъ Екатерины II обращаться къ кореннымъ вопросамъ новаго времени, мало могла помочь Пушкину въ принципіальномъ рѣшеніи этихъ вопросовъ, и онъ съ лѣтъ отрочества и юности зачитывался иностранною. Прежде всего въ западныхъ литературахъ, а не въ родной, искалъ Пушкинъ и находилъ наиболѣе удовлетворявшіе его отвѣты на томившіе его основные вопросы до той поры, пока, созрѣвъ до вполнѣ самостоятельнаго мышленія, не сталъ обращаться за откровеніями и къ русской душѣ и къ русской дѣйствительности, ея прошлому и настоящему.

Что же почерпнулъ Пушкинъ изъ литературъ Запада и какъ отнесся къ воспринятому оттуда? И что дала ему русская среда и его русская душа?

---

[1]) Отзывъ этотъ былъ сдѣланъ послѣ первой бесѣды Императора съ Пушкинымъ (въ 1826 г.).

II.

Отношеніе поэзіи Пушкина къ западноевропейской.

Пушкину довелось подвизаться на литературномъ поприщѣ въ годы появленія цѣлаго ряда крупныхъ талантовъ и чрезвычайно мощнаго подъема поэзіи на Западѣ, расцвѣта ея даже въ той странѣ, въ которой академизмъ и раціонализмъ убили ее на цѣлый вѣкъ передъ тѣмъ, такъ что въ теченіе всего XVIII-го столѣтія Франція имѣла одного истиннаго поэта, а не резонера въ стихахъ, именно—Андре Шенье.

Въ поэзіи 20-хъ и 30-хъ годовъ нашего вѣка одновременно слышались еще отзвуки до-революціоннаго энтузіазма XVIII в. и звучали аккорды новаго настроенія, характеризующаго по преимуществу XIX столѣтіе. Пользовались громкою словою рядомъ и представители литературнаго движенія прошлаго вѣка, и поэты, выступившіе впервые въ нашемъ столѣтіи, выразившіе его скорби и чаянія.

Къ старшему поколѣнію принадлежали: великій поэтъ новѣйшей гармоніи духа, Гёте, патріархи англійской романтики, Вальтеръ-Скоттъ и Уордсвортъ, и старшій корифей французскаго романтизма Шатобріанъ. Приблизительно на десять лѣтъ были старше Пушкина великіе англійскіе поэты начала XIX вѣка Байронъ и Шелли и французскій романтикъ Ламартинъ; сверстниками то немного старше, то немного моложе нашего поэта были молодые вожди французскаго романтизма 20-хъ и 30-хъ годовъ, В. Гюго, Альфредъ де-Виньи, и самая яркая поэтическая звѣзда вечерней зари нѣмецкой романтики и смѣнившей ее поэзіи молодой Германіи—Гейне. Вполнѣ сверстникомъ Пушкина былъ обновитель Польской поэзіи—Мицкевичъ, увидѣвшій впервые свѣтъ всего за шесть мѣсяцевъ до Пушкина.

Время дѣятельности Пушкина совпало, такимъ образомъ, съ періодомъ необычайнаго оживленія поэзіи. Отличалось оно и быстрымъ движеніемъ литературныхъ идей, въ особенности—благодаря тому интересному явленію, которое называютъ литературнымъ космополитизмомъ.

Стремленіе къ изученію великихъ созданій мысли и творчества, раскрытіе души для ихъ воспріятія и литературное взаимодѣйствіе почти всегда существовали, но никогда не принимали они такихъ размѣровъ, какъ въ новое время, преимущественно съ XVIII столѣтія и съ эпохи новой романтики. Съ той поры принятіе и усвоеніе лучшихъ результатовъ умственной дѣятельности и литературныхъ направленій и формъ, выработанныхъ другими народами, стало постояннымъ и рѣзко замѣтнымъ фактомъ исторіи и неизбѣжнымъ условіемъ болѣе широкаго и многосторонняго народнаго развитія: подобнымъ усвоеніемъ народъ, какъ и отдѣльная личность, спасается отъ узкости и односторонности ума, но важно при этомъ, чтобы заимствованіе не подавляло самобытности.

На западѣ періодъ широкаго космополитизма и новой романтики открылъ Руссо, котораго можно назвать литературнымъ отцомъ Бернардена де Сенъ-Пьера и Шатобріана, а также вдохновителемъ цѣлаго ряда романтическихъ произведеній, начиная съ Гётевскаго Вертера.

На Руси литературный космополитизмъ, который былъ такъ по душѣ западной романтикѣ, оказался болѣе въ силѣ, чѣмъ въ какой либо иной странѣ, вслѣдствіе бѣдности нашей литературы до того времени и въ силу общаго склада русской жизни и направленія большинства русскаго образованнаго общества предъ нашествіемъ Наполеона: космополитизмъ сталкивался въ этомъ обществѣ съ любовію къ своей народности, но торжествовалъ надъ нею.

Тогда происходило приблизительно то же, что́ повторилось потомъ въ эпоху Крымской войны и во время нашихъ неудачъ въ турецкую кампанію 1877 года, и отъ чего не вполнѣ отрѣшились мы и теперь.

Въ годы дѣтства Пушкина, по его словамъ, „подражаніе французскому тону временъ Людовика XV было въ модѣ. Любовь къ отечеству казалась педантствомъ. Тогдашніе умники превозносили Наполеона съ фанатическимъ подобострастіемъ и шутили надъ нашими неудачами. Къ несчастію, защитники отечества были немного простоваты,—они были осмѣяны довольно забавно, и не имѣли никакого

вліянія... Молодые люди говорили обо всемъ русскомъ съ презрѣніемъ или равнодушіемъ, и шутя предсказывали Россіи участь Рейнской конфедераціи. Словомъ, общество было довольно гадко" [1]).

Потому-то и пришлось первымъ крупнымъ представителямъ нашей поэзіи XIX в., Жуковскому и Батюшкову, черпать такъ много изъ иностранныхъ литературъ. Еще въ большей степени явился представителемъ литературнаго космополитизма въ нашей литературѣ Пушкинъ, и въ силу своего воспитанія, и вслѣдствіе бѣдности тогдашней нашей родной литературы.

На эту бѣдность не разъ жаловался Пушкинъ впослѣдствіи, напр., въ „Первомъ посланіи цензору" (1824) и въ „Рославлевѣ": „Вотъ уже, слава Богу, лѣтъ тридцать, какъ бранятъ насъ бѣдныхъ за то, что мы по-русски не читаемъ и не умѣемъ (будто бы) изъясняться на отечественномъ языкѣ. Дѣло въ томъ, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, не старѣе Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя же отъ всѣхъ читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ. Въ прозѣ имѣемъ мы только Исторію Карамзина; первые два или три романа появились два или три года тому назадъ, между тѣмъ какъ во Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой замѣчательнѣе, поминутно слѣдуютъ одна за другой. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены все, извѣстія и понятія, черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ образомъ, и мыслимъ мы на языкѣ иностранномъ (по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которые мыслятъ и слѣдуютъ за мыслями человѣческаго рода). Въ этомъ признавались мнѣ самые извѣстные наши литераторы" [2]).

Не удивительно потому, что и Пушкинъ почерпнулъ свое идейное и отчасти также и формальное литературное образованіе преимущественно изъ иностранной поэзіи и ей былъ обязанъ огромною долею своего вдохновенія. Но только, въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ, Пушкинъ съ довольно ранняго времени выказывалъ силу оригинальной мысли, и значительную самостоятельность, а затѣмъ достигъ и полной самобытности. Въ творчествѣ его западноевропейскія вѣя-

---

[1]) „I, 316; Рославлевъ" (1831 г.): IV, 114.

[2]) IV, 111—112; ср. III, 420 (1825 г.): „Говорятъ, что наши дамы начинаютъ читать по-русски".

нія сливались съ соотвѣтственными порывами русской души. Справедливо замѣтилъ И. С. Тургеневъ, что „самое присвоеніе чужихъ формъ совершалось имъ съ самобытностью, хотя, къ сожалѣнію, иностранцы не хотятъ это въ насъ признать, называя эти наши свойства ассимиляціей“ [1]).

Наиболѣе сильное вліяніе оказывали на Пушкина сначала французская литература, главнымъ образомъ—XVIII в. и начала XIX-го и затѣмъ англійская, преимущественно въ произведеніяхъ Байрона и Шекспира; слабѣе было воздѣйствіе нѣмецкой поэзіи и соприкосновеніе Пушкина съ великими итальянскими поэтами, а также съ поэзіей родственныхъ намъ славянскихъ племенъ [2]).

Исходнымъ пунктомъ литературнаго и моральнаго образованія Пушкина, какъ и большинства нашей знати, была французская литература, преимущественно XVII—XVIII вв. Недаромъ Пушкина называли другіе, да иногда и онъ самъ себя французомъ. Если заглянемъ въ поэтическій каталогъ излюбленной его библіотеки въ юности, то увидимъ, что первое мѣсто въ ней занимали французскіе писатели XVII—XVIII вв., а русскіе стояли лишь обокъ съ первыми [3]).

Даже однимъ изъ первыхъ литературныхъ опытовъ Пушкина была французская комедія, въ которой онъ, по его собственному выраженію, обобралъ Мольера (escamota de Moliere). Съ произведеніями послѣдняго Пушкинъ тайкомъ ознакомился въ библіотекѣ отца и увлекался ими такъ, что назвалъ автора ихъ „исполиномъ“ въ одномъ изъ своихъ юношескихъ стихотвореній [4]).

Впослѣдствіи (въ 1833 г). Пушкинъ замѣтилъ основную слабость этого исполина, сопоставивъ его съ Шекспиромъ [5]). Потому-то Пушкинъ избѣжалъ односторонности Мольера въ обрисовкѣ Донъ-Жуана, которою задался въ своемъ „Каменномъ гостѣ“ (1830 г.).

---

[1]) Вѣнокъ, стр. 50.

[2]) Весьма здравую и правильную оцѣнку важнѣйшихъ литературъ Запада и ихъ взаимоотношеній, сдѣланную Пушкинымъ въ одной изъ литературныхъ бесѣдъ, см. въ Запискахъ Смирновой, I, 147 и слѣд. Опроверженіе сомнѣній относительно Записокъ Смирновой см. въ Замѣткѣ ея дочери, Русскій Арх. 1899, № 5.

[3]) I, 42-44: „Городокъ“ (1814).

[4]) I, 44.

[5]) V, 195-186: „Лица, созданныя Шекспиромъ, не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненныя многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные многосторонніе характеры“. Немногосложность характеровъ ставилъ Пушкинъ въ вину и Байрону.

Донъ-Жуанъ Пушкина—не антипатичный Мольеровскій безсовѣстный и безбожный дворянинъ времени Людовика XIV, усматривающій во лжи и въ клятвопреступленіи лишь игру; онъ—и не Донъ-Жуанъ Байрона, представляющій типъ милаго обольстителя XIX в. Пушкинскій Донъ-Жуанъ—болѣе симпатичная личность, напоминающая сентиментальнаго ухаживателя и почитателя женской красоты, какимъ явился Севильскій обольститель въ звукахъ смычка Зальцбургскаго композитора Моцарта благодаря серенадамъ и любовнымъ романсамъ, которые распѣваетъ въ теченіе всего дѣйствія. По толкованію Гофманна, этотъ Донъ-Жуанъ не есть вульгарный развратникъ, перебѣгающій отъ юпки къ юпкѣ; онъ—существо исключительное, надѣленное могучимъ умомъ, необычайною увлекательностію и красотою, безграничными помыслами, но плохо употребляющее свои дарованія. Это—искатель идеала, одна изъ душъ, жаждущихъ божественнаго и прочнаго счастья, но никогда его не находящихъ на этой жалкой землѣ.

Пушкинъ стоялъ какъ бы на почвѣ приблизительно такого весьма заманчиваго пониманія типа Донъ-Жуана [1]). Въ героѣ своего „Каменнаго Гостя“ онъ изобразилъ не „развратнаго, безсовѣстнаго, безбожнаго Донъ-Жуана“, какъ понимаютъ послѣдняго монахъ, Донъ-Карлосъ и другіе [2]), а облагороженнаго чтителя любви, искателя въ ней высшей радости и утѣхи. Пушкинъ, долженствовавшій питать снисхожденіе къ преступленіямъ, внушаемымъ этой нѣжной, столь обуревавшею его, страстью [3]), не могъ не отнестись съ симпатіею къ обольстительному испанскому герою любовныхъ похожденій. И отмѣна

[1]) Зналъ ли Пушкинъ это толкованіе Гофманна, вообще пользовавшагося извѣстностью въ русской литературѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ, нельзя опредѣлить. Знакомство же нашего поэта съ либретто Моцартова Don-Giovanni не подлежитъ сомнѣнію и обнаруживается уже изъ эпиграфа „Каменнаго Гостя“. О Моцартѣ на нашей сценѣ см. статью *Р.*: „Моцартъ на Петербургской сценѣ“—Вѣстникъ Европы 1868, № 3.

[2]) III, 198, 202 и др.

[3]) Въ дневникѣ Пушкина читаемъ (V, 9): „Plus ou moins jai été amoureux de toutes les jolies femmes que j'ai connues; toutes se sont passablement morguées de moi; toutes, à l'exception d'une seule, ont fait avec moi les coquettes“. Въ „Гавриліадѣ“ (Берлинское изданіе):

...Я былъ еретикомъ любви,
Младыхъ богинь безумный обожатель,
Другъ демона, повѣса и предатель...

въ Пушкинской обрисовкѣ по сравненію съ предшествовавшими заключается въ наиболѣе человѣчномъ и глубокомъ пониманіи этого типа[1]) безъ тѣхъ преувеличеній и крайностей въ идеализаціи его, въ которыя впали иные послѣдующіе изобразители его, напр., Альфредъ де Мюссе (1832 г.). У Пушкина Донъ-Жуанъ является дѣйствительно эстетическою натурою. Это не грубый искатель чувственныхъ наслажденій и одной внѣшней красоты, а мотылекъ, порхающій отъ одного цвѣтка нѣжной женской любви къ другому, вдыхающій ароматъ и оцѣнивающій своеобразную прелесть каждаго изъ нихъ, ищущій въ нихъ жизни и души[2]). Это эклектикъ любви. Въ одной (Донѣ-Аннѣ) Донъ-Жуану нравилась добродѣтель; ранѣе въ другой (Инезѣ) привлекала, „странная пріятность въ ея печальномъ взорѣ и помертвѣлыхъ губкахъ. Это странно. Ты, кажется, ее не находилъ красавицей“, говоритъ Донъ-Жуанъ своему слугѣ Лепорелло:

. . . . . И точно—мало было
Въ ней истинно-прекраснаго.—Глаза,
Одни глаза, да взглядъ ... такого взгляда
Ужъ никогда я не встрѣчалъ! А голосъ
У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у больной..
А мужъ ея былъ негодяй суровый—
Узналъ я поздно ... бѣдная Инеза!...

Изъ этихъ словъ ясно, что̀ въ Инезѣ привлекало ея трехмѣсячнаго обожателя, и вмѣстѣ очерченъ мечтательный характеръ его любви, о которой онъ вспоминалъ и потомъ не безъ глубокаго чувства. А

[1]) Ср. Аверкіева, О драмѣ. Три письма о Пушкинѣ, Спб. 1893, стр. 40; Полтавскаго, Перевоплощенный Донъ-Жуанъ—Вѣстн. Иностр. Литерат. 1899, № 6.

[2]) Донъ-Жуанъ говоритъ Лепорелло о женщинахъ страны, въ которой пребывалъ въ изгнаніи (III, 196):

. . . . . Да, я не промѣняю,
Вотъ видишь ли, мой глупый Лепорелло,
Послѣдней въ Андалузіи крестьянки
На первыхъ тамошнихъ красавицъ - право.
Онѣ сначала нравилися мнѣ
Глазами синими, да бѣлизною,
Да скромностью, а пуще новизною;
Да, слава Богу, скоро догадался:
Увидѣлъ я, что съ ними грѣхъ и знаться;
Въ нихъ жизни нѣтъ—все куклы восковыя...
А наши!..

„сколько души“ въ звукахъ пѣсни, сочиненной Донъ-Жуаномъ для Лауры [1])! Потому и любитъ его вѣтренная Лаура болѣе другихъ своихъ любовниковъ, хотя и „сколько разъ измѣняла“ ему „въ“ его „отсутствіи“ [2]). Потому же очаровываетъ онъ и Дону-Анну, столь строгую, такъ свято чтившую память своего, убитаго Донъ-Жуаномъ, покойнаго мужа—командора, и никого не видѣвшую „съ той поры, какъ овдовѣла“. Она боится сначала „слушать“ этого „опаснаго человѣка“, но все-таки вполнѣ отдаетъ ему свое сердце, хотя и знаетъ его хорошо по слухамъ:

О, Донъ-Жуанъ краснорѣчивъ—я знаю!
Слыхала я: онъ хитрый человѣкъ...
Вы, говорятъ, безбожный развратитель,
Вы сущій демонъ. Сколько бѣдныхъ женщинъ
Вы погубили [3])?

Очевидно, въ этомъ обольстителѣ было такъ много искренняго пыла, глубоко чарующаго женское сердце и, слѣдовательно, истинно человѣчнаго, что женщины были безсильны въ борьбѣ съ непреодолимою мощью его бурно увлекавшаго чувства. Пушкинъ превосходно понялъ это и изобразилъ съ необычайнымъ талантомъ, проницательностію и вмѣстѣ разумностію и чувствомъ мѣры. Въ такомъ пониманіи истинной человѣчности, вложенномъ въ изображеніе Донъ-Жуана и его предметовъ страсти, и состоитъ преимущество Пушкина въ ряду поэтовъ, воспроизводившихъ этотъ типъ.

Потому правъ былъ Бѣлинскій, восхищавшійся „Каменнымъ Гостемъ“, но врядъ ли не переступилъ онъ мѣры, когда призналъ это произведеніе „перломъ созданій Пушкина, богатѣйшимъ, роскошнѣйшимъ алмазомъ въ его поэтическомъ вѣнкѣ“. При всѣхъ высокихъ достоинствахъ „Каменнаго Гостя“, это не главный перлъ въ вѣнцѣ поэта, потому что Пушкинъ не былъ лишь поэтомъ „искусства, какъ искусства, въ его идеалѣ, въ его отвлеченной сущности“.

Изъ западныхъ критиковъ Дешанель не сумѣлъ вполнѣ оцѣнить достоинства Пушкинскаго произведенія [4]), но для насъ болѣе имѣютъ

[1]) III, 197; 202.
[2]) Ib., 208.
[3]) Ib., 212 и 221.
[4]) E. Deschanel, Le romantisme des classiques, quatr. éd., Par. 1885, p. 350—354; „l'oeuvre de Pouchkine, saisissante dans sa briévetè, mais qui ressemble plutôt à une belle ébauche qu'à une oeuvre achevée“—замѣчаніе, ничѣмъ не оправ-

значенія, сужденія такихъ цѣнителей, какъ Мериме, котораго, по словамъ И. С. Тургенева, „поражала способность Пушкина подходить близко къ явленіямъ, брать ихъ, такъ сказать, за рога, и образъ Пушкинскаго Донъ-Жуана увлекалъ французскаго ученаго“ [1]).

Донъ-Жуанъ у Пушкина человѣкъ не нравственный, но не вполнѣ антипатичный и низкій развратникъ; онъ натура страстно поэтическая; недаромъ онъ слагаетъ и пѣсни. Понявъ такъ Донъ-Жуана, Пушкинъ явился истиннымъ начинателемъ здравой и вполнѣ умѣренной идеализаціи этого типа, характеризующей вообще отношеніе XIX вѣка къ этому старому сюжету, началомъ своимъ уходящему еще въ глубь среднихъ вѣковъ.

Указанная обрисовка Донъ-Жуана у Пушкина находилась въ связи съ общимъ отношеніемъ этого поэта къ любви и съ его личною душевною жизнью.

Любовь имѣла важное значеніе въ его жизни и поэзіи, начиная съ самыхъ раннихъ его лѣтъ и до кончины. Постепенно все болѣе и болѣе облагораживалось его житейское отношеніе къ ней, какъ и поэтическое. Въ поэзіи Пушкина любовь, какъ и другія явленія жизни, предстаетъ въ чрезвычайномъ разнообразіи согласно способности этого поэта переживать глубокія чувства во всемъ богатствѣ ихъ многообразія. Въ этихъ разнообразныхъ видахъ любви въ поэзіи Пушкина для насъ въ высшей степени интересно его глубоко человѣчное пониманіе и воспроизведеніе силы, облагораживающаго и возвышающаго душу дѣйствія этого чувства и условій достиженія въ немъ счастья [2]). И во время [3]) и послѣ легкихъ юношескихъ похожденій и фри-

дываемое. Сближеніе доны-Анны съ матроной Ефесской не выдерживаетъ критики, потому что, по всему видно, бракъ ея съ командоромъ не былъ бракомъ по любви („мать моя велѣла дать мнѣ руку Донъ-Альвару“: III, 217); равно и Инезилья была несчастна въ супружествѣ. Не видно глубокаго пониманія и въ замѣчаніяхъ A. Farinelli, Don Giovanni—Giornae storico della letteratura italiana, vol. XXVII (1896). p. 312: „L'Eugenio Onjegin del Puschkin è fratello del Childe Harold e del Don Juan di Lord Byron e chiude mostrando in crudi colori la vanità del gran nulla umano. Il suo Don Giovanni si scosta, è vero, dalla maniera di Lord Byron e segue piuttosto, a distanza, s'intende, quella di Shakespeare e di Goethe; ma vuole significare puresso, in sostanza, che nulla dure quaggiù. ed ogni umana cosa è vana commedia“.

[1]) Вѣнокъ, 50.

[2]) См. Южакова Любовь и счастье въ произведеніяхъ А. С. Пушкина, Од. 1896 („Русская библіотека“, № 6).

[3]) III, 302: И сердцу женщина являлась
Какимъ-то чистымъ божествомъ.

вольныхъ воспѣваній чувственной любви поэтъ поднимался не разъ до глубокаго чувства, являясь какъ бы Донъ-Жуаномъ, портретъ котораго изобразилъ въ разсмотрѣнномъ драматическомъ наброскѣ. При этомъ воображеніе Пушкина постоянно лелѣяло образъ высшихъ радостей любви, и онъ, долго бывъ въ любви сыномъ XVIII вѣка и анакреонтикомъ во вкусѣ того вѣка „роскоши, прохладъ и нѣгъ", какъ будто неспособнымъ къ пониманію этого чувства въ духѣ Данте и Петрарки [1]), не разъ возвышался до идеализаціи любви въ духѣ Петрарки и Шиллера. Оставимъ въ сторонѣ извѣстное стихотвореніе къ А. П. Кернъ:

„Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты [2]) и т. д.

Чистоту отношеній поэта къ этому „генію чистой красоты" заподазриваютъ. Можно бы сказать на это, что характерно уже самое преображеніе поэтомъ своего дѣйствительнаго отношенія въ направленіи, которое сообщаетъ особую прелесть этому роману, приблизительно та же идеализація реальныхъ отношеній, или, лучше сказать, подыскиваніе той же основы любви, какое мы видѣли въ „Каменномъ Гостѣ", въ любви Донъ-Жуана къ Донѣ-Аннѣ. Но и помимо этого стихотворенія у Пушкина не разъ находимъ благоговѣйное воспѣваніе женской, и внѣшней, и духовной, красоты, преклоненіе предъ нею и любовь вполнѣ безукоризненную и идеальную, истинную любовь поэта, какъ выразителя высшихъ влеченій человѣческой души, начиная съ средневѣковаго рыцарскаго обожанія Пресв. Дѣвы и полнаго отреченія отъ всякой земной любви [3]). Поэту не разъ было знакомо и романтическое самоотреченіе въ любви къ личностямъ, далекимъ по

---

[1]) Въ письмѣ отъ 25 августа 1823 г. читаемъ: „я прочелъ (Туманскому) отрывки изъ „Бахчисарайскаго Фонтана", сказавъ, что я не желалъ бы ее напечатать, потому что многія мѣста относятся къ одной женщинѣ, въ которую я былъ очень долго и очень глупо влюбленъ, и что *роль Петрарки мнѣ не по нутру*" (VII, 52). О презрѣніи къ платонизму см. Соч. П., I, 189; ср. I, 217—218.

[2]) I, 351 (1825 г.)

[3]) См., напр. романсъ: „Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный" (IV, 328—329 и 333-334). Ср. въ моей книгѣ: „Романтика Круглаго Стола въ литературахъ и жизни Запада", I, К. 1890, стр. 40 и слѣд.

чему-нибудь [1]), и романтическая любовь, переживающая смерть любимой личности [2]), любовь во вкусѣ Ламартина [3]), либо преклоняющаяся предъ любимой личностью, какъ передъ существомъ божественнымъ.

Такая возвышенная любовь примиряла усталаго поэта, подавляемаго отрицаніемъ и сомнѣніемъ, съ жизнью, во имя тѣхъ свѣтлыхъ существъ, которыя онъ встрѣчалъ въ ней. Какъ потомъ Лермонтовъ, несомнѣнно подражавшій въ томъ Пушкину, и послѣдній въ иные моменты готовъ былъ воображать себя „другомъ демона" [4]), „демономъ мрачнымъ и мятежнымъ", „духомъ отрицанья и сомнѣнья" [5]), который облагораживался при мысли о „духѣ чистомъ" любимой женщины,

---

[1]) См., напр., стихотвореніе, относящееся къ А. А. Олениной (1829; II, 63):

Я васъ любилъ *безмолвно*, *безнадежно*,
То робостью, то ревностью томимъ;
Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно,
Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

[2]) II, 112 („Заклинаніе", написанное въ 1830 г.—чрезъ четыре съ лишнимъ года послѣ смерти г-жи Ризничъ"):

Я тѣнь зову, я жду Леилы:
Ко мнѣ, мой другъ, сюда, сюда!
. . . . . тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой. Сюда, сюда!

[3]) Разумѣю лирику Ламартина, посвященную воспоминаніямъ о любви и печали объ утратѣ. Ср., напр., стихотв. Ламартина о Граціэллѣ со стихотв. Пушкина: „Для береговъ отчизны дальной.." (II, 119), въ которомъ поэтъ опять вспоминалъ г-жу Ризничъ.

[4]) „Гавриліада" 1823 г. Уже въ письмѣ 1816 г. читаемъ, что поэта „дергаетъ бѣшеный демонъ бумагомаранья" (VII, 1). Ср. I, 310:

Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава.

[5]) Ср. въ письмѣ 1830 г. (VII, 425): „Vous êtes le démon, c'est-à-dire *celui qui doute et nie*, comme dit l'Écriture". Ср. еще въ стих. 1830 г.: „Въ началѣ жизни школу помню я..." (II, 116—118):

...два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двухъ бѣсовъ изображенья.
Одинъ (Дельфійскій идолъ) ликъ младой—
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.

И жаръ невольный умиленья
Впервые смутно познавалъ.
Прости, онъ рекъ, тебя я видѣлъ,
И ты не даромъ мнѣ сіялъ:
Не все я въ мірѣ ненавидѣлъ,
Не все я въ мірѣ презиралъ [1]).

Такъ обрѣталъ поэтъ новую прелесть въ жизни, проникаясь высокимъ чувствомъ любви [2]), подъ вліяніемъ котораго та или иная личность казалась ему какъ бы сверхземнымъ существомъ. Таковымъ представлялъ себѣ Пушкинъ и свою невѣсту, Н. Н. Гончарову въ стихотвореніяхъ, напоминающихъ манеру Петрарки. Въ одномъ изъ нихъ любимая личность изображена „торжественно" пребывающею какъ бы на особомъ пьедесталѣ:

Все въ ней гармонія, все диво,
Все выше міра и страстей....

Встрѣчаясь съ ней, смущенный поэтъ останавливается,

Благоговѣя богомольно
Передъ святыней красоты [3]).

И послѣ своей женитьбы Пушкинъ проникался подобнымъ, вполнѣ идеальнымъ, чувствомъ къ личностямъ, которыя плѣняли его своей

Другой—женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ—лживый, но прекрасный.

Ср. у Лермонтова. См. еще въ „Онѣгинѣ" (III, 296):

Кто ты: мой ангелъ ли хранитель,
Или коварный искуситель (ср. III, 367),

и въ „Каменномъ Гостѣ" (III, 221):

Вы сущій демонъ.

[1]) II, 9: „Ангелъ" (1827). Ср. названіе возлюбленной „ангеломъ" въ стихотвореніи, приписываемомъ Пушкину (II, 323), и въ цѣломъ рядѣ другихъ стихотвореній.

[2]) Соч. П., I, 295.

[3]) II, 127: „Красавица" (1832). См. еще стихотвореніе „Мадонна" (1830), заканчивающееся стихами:

Исполнились мои желанія. Творецъ
Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя мадонна,
Чистѣйшей прелести чистѣйшій идеалъ.

душевной красотой[1]). То была чисто поэтическая любовь, низшей формой которой являлась любовь Пушкинскаго Донъ-Жуана. Замѣтимъ при этомъ, что и Донъ-Жуанъ, подобно самому поэту, былъ способенъ къ полному духовному возрожденію и какъ будто выказываетъ въ концѣ наклонность къ нему, быть можетъ—терзаемый укорами совѣсти; это видно изъ его словъ Донѣ-Аннѣ:

Молва, быть можетъ, не совсѣмъ неправа;
На совѣсти усталой много зла,
Быть можетъ, тяготѣетъ; но съ тѣхъ поръ,
Какъ васъ увидѣлъ я, все измѣнилось:
Мнѣ кажется, я весь переродился!
Васъ полюбя, люблю я добродѣтель—
И въ первый разъ смиренно передъ ней
Дрожащія колѣна преклоняю[2]).

Будемъ ли мы считать это простой уверткой Донъ-Жуана и хитростью, чтобы лучше обмануть новую жертву, или же искреннею рѣчью, въ правдивость которой вѣрилъ въ тотъ моментъ ее говорившій[3]), во всякомъ случаѣ приведенныя слова характерны, свидѣтельствуя что Донъ-Жуану не чуждъ былъ голосъ совѣсти, и на то же какъ будто указываетъ и задумчивость, въ которую погружается Донъ-Жуанъ при воспоминаніи объ Инезильѣ.

Вотъ въ какой тѣсной связи съ жизнью и душевнымъ складомъ поэта оказывается герой „Каменнаго Гостя". Не чуждъ былъ Донъ-

---

[1]) См., напр., стих. „Княжнѣ А. Д. Абамелекъ" (1832; III, 112):

Вы разцвѣли: *съ благоговѣньемъ*
Вамъ нынѣ *поклоняюсь я*,

или же стих. (Ib., 1832):

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться!..
Нѣтъ, полно мнѣ любить! Но почему жъ порой
Не погружуся я въ минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдетъ передо мной
Младое, чистое, небесное созданье? и т. д.

[2]) III, 221.

[3]) Въ искренности этого увѣренія не сомнѣвается Южаковъ. Дешанель замѣчаетъ по поводу заключительнаго восклицанія Донъ-Жуана, проваливающагося въ пропасть: „o, dona-Anna!": „ce qui semble l'indication, très peu marquée il est vrai, d'une idée.: l'amante invoquée comme future libératrice et rédemptrice de celui qui l'a perdue".

Жуанъ и вообще русской жизни, и, слѣдовательно, не правъ былъ Бѣлинскій, усматривая въ „Каменномъ Гостѣ“ созданіе „искусства какъ искусства“. У насъ также были люди, которыхъ умъ почерпнутъ изъ „Liaisons dangereuses“ [1]) и т. п. произведеній, какихъ было немало во французской литературѣ романовъ XVIII вѣка, увлекавшихъ русскую знать и дворянство еще во времена Пушкина.

Подобно типу Донъ-Жуана, не чуждъ былъ русской жизни и другой Мольеровскій типъ—Тартюфа, въ созданіи котораго Пушкина поразила смѣлость Мольера [2]). У насъ были свои Тартюфы по мнѣнію Пушкина. Такъ въ 1822 г. онъ назвалъ „Тартюфомъ въ юбкѣ и въ коронѣ“ Екатерину II-ю [3]). „Напоминаютъ стыдливость Тартюфа, накидывающаго платокъ на открытую грудь Дорины“, также „всѣ господа, столь щекотливые насчетъ благопристойности“, признавшіе „Графа Нулина“ безнравственнымъ произведеніемъ [4]). Пушкинъ думалъ-было изобразить русскаго Тартюфа въ романѣ „Русскій Пеламъ“, планъ котораго, относящійся къ 1835 г., не былъ осуществленъ [5]).

Наряду съ Мольеромъ, которому Пушкинъ „остался вѣрнымъ потому, что онъ создалъ настоящую французскую сцену, существующая и до сихъ поръ“ [6]), Пушкину были извѣстны и другіе писатели „великаго вѣка (какъ называли французы вѣкъ Людовика XIV)“, которымъ принадлежало нѣкогда „владычество надъ умами просвѣщеннаго міра“ [7]): Корнель, Расинъ, Лафонтенъ и Буало, въ особенности два послѣдніе, казавшіеся ему болѣе достойными вниманія.

„Корнеля геній величавый“, воскрешенный Катенинымъ [8]), не казался образцовымъ нашему поэту, имѣвшему передъ собою вы-

---

[1]) IV, 370. Ср. „Изъ романа въ письмахъ“, IX (IV, 358): „Охота тебѣ корчить г. Фобласа и вѣчно возиться съ женщинами“ и въ Онѣгинѣ I, XII:

Его ласкалъ супругъ лукавый,
Фобласа давній ученикъ.

См. еще III, 303.

[2]) V, 61. Въ письмѣ 1825 г. (VII, 117) Пушкинъ назвалъ „безсмертнаго“ Тартюфа „плодомъ самаго сильнаго напряженія комическаго генія“.

[3]) Ib., 14.

[4]) V, 123.

[5]) IV, 409–410.

[6]) Записки Смирновой, I, 153.

[7]) V, 249 и 246.

[8]) III, 241.

сокія созданія Шекспира [1]) и находившему, что „классическая трагедія умерла, она уже не въ нашихъ нравахъ“ [2]), и что „гуманизмъ сдѣлалъ французовъ язычниками, и они взяли отъ древнихъ ихъ худшіе недостатки—особенно отъ латинянъ, временъ ихъ упадка, и отъ грековъ [3]).

Потому же не былъ Пушкинъ и особо ревностнымъ почитателемъ Расина, „по примѣру трагедіи котораго образована и наша трагедія“ [4]). Этотъ

. . . . . безсмертный подражатель,
Пѣвецъ влюбленныхъ женщинъ и царей [5]),

также имѣвшій мѣсто въ юношеской библіотекѣ Пушкина подобно Мольеру и Лафонтену [6]) и также казавшійся тогда „исполиномъ“ [7]), былъ ставимъ Пушкинымъ высоко и потомъ (въ 1830 г.): „Цѣль трагедіи—человѣкъ и народъ,—судьба человѣческая, судьба народная. Вотъ почему Расинъ великъ, не смотря на узкую форму своей трагедіи“, условленную тѣмъ, что онъ перенесъ трагедію „во дворъ“. „Кальдеронъ, Шекспиръ, Корнель и Расинъ стоятъ на высотѣ недосягаемой, а ихъ произведенія составляютъ вѣчный предметъ нашихъ изученій и восторговъ“ [8]). Но Расинъ—дворскій трагикъ, а „при дворѣ поэтъ чувствовалъ себя ниже своей публики: зрители были образованнѣе его—по крайней мѣрѣ, такъ думалъ онъ и они; онъ

[1]) Зап. Смирновой, I, 154.—Письмо къ Катенину 1822 г.: „Ты перевелъ Сида; поздравляю тебя и стараго моего Корнеля. Сидъ кажется мнѣ лучшею его траге, діею. Скажи: имѣлъ ли ты похвальную смѣлость оставить пощечину рыцарскихъ вѣковъ на жеманной сценѣ 19-го столѣтія? Я слыхалъ, что она неприлична-смѣшна, ridicule“ и т. д. (VII, 36). „Les vrais génies de la tragédie ne se sont jamais soucié de la vraisemblance. Voyez comme Corneille a bravement mené le Cid“ (VII, 157).

[2]) Зап. Смирновой, I, 153.

[3]) Ib., 149: „Герои французскихъ трагедій не христіане (кромѣ Поліевкта)“. Стр. 150: „Вообще Корнель блестящъ въ тѣхъ сценахъ, гдѣ каждый отстаиваетъ себя; именно въ Гораціяхъ есть подобная любопытная сцена, но она нисколько не трогаетъ,... потому что страсть, которая трогаетъ, не разсуждаетъ, она краснорѣчива отсутствіемъ разсужденій и тѣмъ, что Паскаль назвалъ „доводами сердца“

[4]) V, 145 Ср. Ост. арх. I, 285.

[5]) III, 155.

[6]) Сочиненія Пушкина. Изд. И. Ак. Наукъ. Приготовилъ и примѣчаніями снабдилъ Л. Майковъ. Т. I, Спб. 1899, стр. 70. Это изданіе въ цитатахъ будемъ означать. Соч. П., I.

[7]) Ib, 253.

[8]) V, 141 и 142.

не предавался вольно и смѣло своимъ вымысламъ; онъ старался угадывать требованіе утонченнаго вкуса людей, чуждыхъ ему по состоянію; онъ боялся унизить такое-то высокое званіе, оскорбить такихъ-то спѣсивыхъ своихъ патроновъ: отъ сего и робкая чопорность и отселѣ смѣшная надутость, вошедшая въ пословицу (un héros, un roi de comédie), и привычка влагать въ уста людямъ высшаго состоянія съ какимъ-то подобострастіемъ, странный не человѣческій образъ изъясненія... Мы къ этому привыкли, намъ кажется, что такъ и быть должно; но надобно признаться, что у Шекспира этого не замѣтно". Пушкинъ усматривалъ „существенныя разницы системъ Расина и Шекспира" [1]) и, конечно, отдавалъ предпочтеніе не французамъ, у которыхъ „ни одинъ изъ поэтовъ не дерзнулъ быть самобытнымъ, ни одинъ, подобно Мильтону, не отрекся отъ современной славы. Расинъ пересталъ писать, увидя неуспѣхъ своей Гоѳоліи. Публика (о которой Шамфоръ спрашивалъ такъ забавно: сколько нужно глупцовъ, чтобы составить публику?), невѣжественная публика была единственною руководительницею и образовательницею писателей" [2]). Мало того: у Расина, какъ и у Корнеля, Пушкинъ открывалъ существенные также промахи въ построеніи трагедіи [3]).

Не находилъ Пушкинъ такихъ погрѣшностей противъ естественности у „добраго" Лафонтена, о которомъ такъ упоминалъ въ описаніи своей юношеской библіотеки:

И ты, пѣвецъ любезный,—
Поэзіей прелестной
Сердца привлекшій въ плѣнъ,
Ты здѣсь, лѣнтяй безпечный,
Мудрецъ простосердечный,
Ванюша Лафонтенъ,
Ты здѣсь [4])!..

Съ Лафонтеномъ Пушкинъ сближалъ Дмитріева, Крылова и автора „Душеньки" Богдановича, который „смѣлъ сразиться" съ французскимъ

[1]) V, 143—144.

[2]) Ib., 247.

[3]) VII, 69: „Чѣмъ и держится Иванъ Ивановичъ Расинъ, какъ не стихами, полными смысла, точности и гармоніи! Планъ и характеръ „Федры"—верхъ глупости и ничтожества въ изобрѣтеніи" и т. д.

[4]) Соч. П., I, 69—70; о чтеніи Горація и Лафонтена—ib. I, 130

поэтомъ и „побѣдилъ“ послѣдняго [1]). Пушкинъ, высоко ставя Лафонтена, признавая и его „сказки“ [2]), не примыкалъ къ нему вовсе въ своемъ творчествѣ, какъ мало оказали на него вліянія и другіе, цѣнимые имъ, великіе французскіе писатели XVII-го вѣка, Паскаль, Боссюэтъ и, въ особенности, Фенелонъ [3]).

Изъ знаменитыхъ французскихъ писателей XVII в. былъ рано изучаемъ и постоянно пользовался уваженіемъ Пушкина еще „классикъ Депрео [4]),

Французскихъ риѳмачей суровый судія:—
Хотя, постигнутый неумолимымъ рокомъ,
Въ своемъ отечествѣ престалъ ты быть пророкомъ,
Хоть дерзкихъ умниковъ простерлася рука
На лавры твоего густого парика,
Хотя растрепанный новѣйшей вольной школой,
Къ ней въ гнѣвѣ обратилъ ты свой затылокъ голый;
Но я молю тебя, поклонникъ вѣрный твой,
Будь мнѣ вожатаемъ! Дерзаю за тобой
Занять каѳедру ту, съ которой въ прежни лѣта
Ты слишкомъ превознесъ достоинство сонета,
Но гдѣ торжествовалъ твой здравый приговоръ
Минувшихъ лѣтъ глупцамъ, вранью тогдашнихъ поръ!
Новѣйшіе врали вралей старинныхъ стоятъ,
И слишкомъ ужъ меня ихъ бредни безпокоятъ! [5]).

Чтя въ Депрео „человѣка, одареннаго умомъ рѣзкимъ и здравымъ и мощнымъ талантомъ“, „великаго критика“, оцѣнивавшаго

---

[1]) Соч. П., I, 70. См. еще другія сопоставленія Лафонтена съ Крыловымъ (V, 19—20: „Крыловъ превзошелъ всѣхъ намъ извѣстныхъ баснописцевъ, исключая, можетъ быть, Лафонтена“; ср. 30: „мы, кажется, можемъ предпочитать ему Крылова“) и съ Богдановичемъ (V, 19: „въ „Душенькѣ“ встрѣчаются стихи и цѣлыя страницы, достойныя Лафонтена“).

[2]) VII, 107 и V, 123 и 125; V, 122: „шутливыя повѣсти“.

[3]) V, 301. О Фенелонѣ см. интересное упоминаніе въ V, 341 (1836): „Въ позднѣйшія времена неизвѣстный творецъ книги „О подражаніи Іисусу Христу“, Фенелонъ и Сильвіо Пеллико въ высшей степени принадлежатъ къ симъ избраннымъ, которыхъ ангелъ господній привѣтствовалъ именемъ *человѣковъ благоволенія*“.

[4]) Соч. П., I, 137 (1815 г.), VII, 1 (1816) и Соч. П., I, 253 (1817 г.). См. еще III, 250 и VII, 63.

[5]) II, 160—161 (1833). Ранѣе (III, 155; 1830 г.) „степенный Буало“ былъ охарактеризованъ Пушкинымъ также, какъ „поэтъ-законодатель, Гроза несчастныхъ риѳмачей“.

произведенія „съ такой строгой справедливостью“ Пушкинъ не „избралъ въ путеводители себѣ Буало“, какъ кн. Кантемиръ [1]), но все-таки рано послѣдовалъ его примѣру [2]) и не разъ сообразовался съ уроками писателя, который „обнародовалъ свой коранъ, и французская словесность ему покорилась“ [3]). Въ общемъ взглядѣ на поэзію Пушкинъ много сходился съ Боало и, подобно послѣднему, являлся одновременно и строгимъ критикомъ и поэтомъ, подававшимъ прекрасный примѣръ творчества, но только неизмѣримо превзошелъ свой французскій образецъ.

Такъ изученіе даже старыхъ литературныхъ произведеній Запада пробуждало въ Пушкинѣ вдумчивое и критическое отношеніе къ русской дѣйствительности и литературѣ.

Въ особенности обязанъ былъ этимъ Пушкинъ корифеямъ французской литературы просвѣщенія—сначала Вольтеру, а затѣмъ и Руссо, которыхъ называютъ головой и сердцемъ XVIII в. Явившись въ міръ на рубежѣ вѣка просвѣщенія, Пушкинъ остался во многомъ, подобно всему нашему вѣку, сыномъ XVIII-го столѣтія, и, подобно послѣднему, цѣнилъ въ жизни „прекрасныя чувства, свѣтлый, чистый разумъ и надежды“ [4]). Западный XVIII-й вѣкъ очень много повліялъ на Пушкина и надѣлилъ его главными изъ идей его поэзіи, но нашъ поэтъ безконечно углубилъ ихъ.

Юноша былъ рано охваченъ и тлетворнымъ вліяніемъ XVIII-го вѣка, вѣка, между проч., эпикуреизма и утонченной безнравственности [5]), вѣка любви будуарной и альковной, анакреонтизма и легкаго, забавнаго и галантнаго жанра, „petits vers“ въ лирикѣ, не чуждавшейся вольныхъ остротъ, и развращенности въ романахъ Кребильона и т. п.

Оттуда юношеская эротика Пушкина [6]), которая никоимъ образомъ не можетъ быть поставлена ему въ заслугу.

Но уже и въ тѣ молодые годы Пушкинъ умѣлъ возвышаться до энтузіазма къ самымъ свѣтлымъ идеямъ литературы просвѣщенія, и потому рано, очень рано стряхнулъ съ себя излишества эпикуреизма.

---

[1]) V, 245-246 и 252.

[2]) Соч. П., I, 174—175 и 251—255. См. еще Ост. арх. I, 304.

[3]) V, 245.

[4]) VII, 259.

[5]) Ее отмѣтилъ и самъ Пушкинъ: Записки Смирновой, I, 160.

[6]) О вліяніи легкой французской лирики на юношескую поэзію Пушкина до двадцатыхъ годовъ включительно см. въ ст. Гаевскаго: „Пушкинъ въ лицеѣ и лицейскія его стихотворенія“, Современникъ, т. XCVII (1863), стр. 157, 165 и слѣд.

Въ литературѣ просвѣщенія Вольтеръ и Руссо являлись наиболѣе извѣстными выразителями торжества разума, достигшаго такого почета въ XVIII в., и затѣмъ культа чувства, восполнявшаго промахи чрезмѣрнаго раціонализма того времени и обращавшаго къ природѣ и непосредственности во избавленіе отъ язвъ извращенной цивилизаціи. При всѣхъ своихъ крайностяхъ, французская философія просвѣщенія XVIII в. имѣла за собою громадную заслугу—горячаго отстаиванія правъ человѣка, какъ гражданина и какъ отдѣльной личности, и протеста противъ общественной порчи, и этой стороною она въ особенности повліяла на Пушкина. Она надѣлила его освободительными стремленіями.

Величайшимъ выразителемъ ихъ, согласно преданіямъ Екатерининскаго времени, Пушкину казался на первыхъ порахъ Вольтеръ. Въ ряду великихъ писателей Вольтеръ былъ первымъ кумиромъ юности Пушкина, о чемъ прямо говорятъ и самъ Пушкинъ [1]) и другіе [2]). Въ то время этотъ „Сынъ Мома и Минервы, воспитанный Фебомъ, отецъ Кандида, Фернейскій злой крикунъ“ [3]), казался Пушкину „поэтомъ въ поэтахъ первымъ, соперникомъ Эврипида, Аріоста, Тасса внукомъ“:

Онъ все: вездѣ великъ
Единственный старикъ!

Потому-то былъ онъ

Всѣхъ больше перечитанъ,
Всѣхъ менѣе томитъ.

Во время пребыванія въ лицеѣ, Пушкинъ читалъ произведенія и біографію его [4]). Нашего поэта интересовали тогда по преимуществу поэтическія произведенія Вольтера, которыя онъ переводилъ [5]) и которымъ

Теперь есть возможность обстоятельно ознакомиться съ занятіями Пушкина литературою въ лицеѣ благодаря I-му тому академическаго изданія сочиненій Пушкина, приготовленному къ печати Л. Н. Майковымъ. Усматривается по мѣстамъ въ юношескихъ стихотвореніяхъ Пушкина вліяніе и болѣе старой французской лирики, напр., въ „Stances“(1814 г.)—вліяніе Ронсара, въ „Завѣщаніи“—Вильона и т.п.

[1]) Въ стих. „Городокъ“ (1814; Соч. П., I, 69).

[2]) По словамъ В. Л. Пушкина, нашему поэту „Вольтеръ лишь нравится одинъ“.

[3]) То же выраженіе въ текстѣ „Руслана и Людмилы“ 1820: II, 242.

[4]) Соч. П, V, 2.

[5]) Соч. П., I, 131; о „Кандисѣ“—ib., 209; I, 37 (ср. прим., 74), 261—263. Шуточная поэма въ стихахъ „*La Tolyade*“, написанная въ подражаніе Генріадѣ, когда ему было одиннадцать лѣтъ, была уничтожена имъ. Оцѣнку перевод. см. у Гаевскаго, стр 168 и слѣд.

подражалъ[1]) и въ дѣтствѣ, въ годы ученія, и вскорѣ потомъ (1814—1819). Въ особенности ему нравилась „Орлеанская Дѣвственница", какъ „книжка славная, золотая, незабвенная, катехизисъ остроумія". Еще въ 1818 г. Пушкинъ называлъ „Pucelle d'Orléans" „библіею Харитъ" и подарилъ ее „на разлуку" своему другу Н. И. Кривцову[2]). Послѣднее подражаніе Вольтеру относится къ 1827 г.[3]). Но уже съ начала двадцатыхъ годовъ Вольтеръ былъ сдвинутъ съ пьедестала во вниманіи Пушкина другими писателями[4]). И хотя въ 1825 г. нашъ поэтъ все еще считалъ Вольтера, повидимому, первостепеннымъ поэтомъ[5]), но уже обнаруживалъ и критическое отношеніе къ его авторитету. Переводя начало I-й пѣсни „Дѣвственницы", Пушкинъ прибавилъ отъ себя такое обращеніе къ ея автору:

О ты, пѣвецъ сей чудотворной дѣвы,
Сѣдой пѣвецъ, чьи хриплые напѣвы,
Нестройный умъ и чудотворный вкусъ
Въ былые дни бѣсили нѣжныхъ музъ,
Хотѣлъ бы ты, о стихотворецъ хилый,
Почтить меня скрипицею своей,
Да *не хочу*. Отдай ее, мой милый,
Кому-нибудь изъ *модныхъ* риѳмачей[6]).

Такимъ образомъ, лишь въ первый, наименѣе значительный, періодъ своей дѣятельности, Пушкинъ былъ изъ западныхъ поэтовъ, между проч., подъ сильнымъ обаяніемъ „Фернейскаго злого крикуна". Потомъ онъ отвернулся отъ тенденціозности и скептицизма Вольтера.

Тѣмъ не менѣе, воздѣйствіе послѣдняго не прошло безслѣдно для мыслей Пушкина и въ остальное время его творчества. При этомъ Вольтеръ вліялъ на Пушкина уже болѣе какъ мыслитель, чѣмъ какъ поэтъ.

---

[1]) Г. Кирпичниковъ, Мелкія замѣтки объ А. С. Пушкинѣ и его произведеніяхъ, Р. Старина 1899, № 2, стр. 439—440, указалъ на нѣкоторое подражаніе Вольтеровой Дѣвственницѣ въ „Русланѣ и Людмилѣ".

[2]) I, 189.

[3]) II. 14: „Княжнѣ С. А. Урусовой".

[4]) См. ниже о вліяніи Руссо, Гёте, Байрона.

[5]) VII, 129.

[6]) I, 371.

Вольтеръ былъ однимъ изъ начинателей и столповъ страстной и остроумной критики прошлаго и провѣрки всякихъ авторитетовъ разумомъ, а также того космополитическаго ученія о „человѣкѣ вообще", которыя наполнили міръ грезами о лучшемъ будущемъ человѣчества. Вольтеръ посвятилъ весь свой геній и всю свою 60-лѣтнюю дѣятельность водворенію толерантности, человѣчности и справедливости („faire du bien aux hommes"), борьбѣ противъ того, что утѣсняетъ людей и дѣлаетъ ихъ несчастными, и ненависти къ фанатизму и ханжеству.

Эти черты дѣятельности Вольтера много плѣняли въ вѣкъ Екатерины и въ началѣ царствованія Александра I; должны были увлечь онѣ и юнаго Пушкина, и еще позднѣе, въ 1834 г., нашъ поэтъ называлъ Вольтера „великаномъ сей эпохи", „вліяніе" котораго было неимовѣрно. Около великаго копошились пигмеи, стараясь привлечь его вниманіе. Умы возвышенные слѣдуютъ за нимъ... Руссо .. Дидротъ" [1]).

Изученіе произведеній Вольтера въ гораздо большей степени, чѣмъ чтеніе его предшественника, „скептическаго Бейля" [2]), развило въ нашемъ поэтѣ не только легкое отрицаніе (Вольтерьянство), но и критическій умъ, въ такой высокой степени характеризующій также Пушкина, отзывчивость на основные вопросы и нужды времени и гнѣвъ противъ несправедливостей общественнаго строя. Пушкинъ, какъ и Вольтеръ, во всю свою жизнь, „ближняго любя, давалъ намъ смѣлые уроки". Подъ вліяніемъ, между проч., Вольтера нашъ поэтъ рано проникся намѣреніемъ

. . . . . порокъ изобразить
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажить.

Наконецъ, въ школѣ Вольтера Пушкинъ выработалъ свое, богатое уже отъ природы, остроуміе, проявляющееся съ весьма ранняго времени, между проч., въ мѣткихъ отвѣтахъ [3]) и эпиграммахъ, въ силу котораго онъ принадлежалъ къ выдающимся beaux esprits нашего общества.

---

[1]) V, 248: „Мысли на дорогѣ".

[2]) III, 398; ср. V, 227.

[3]) См. С. Радкевича Сборникъ эпизодовъ изъ жизни А. С. Пушкина— въ газ. „Жизнь и Искусство" 1899, № 120, 121 и др.; Шутки и остроты А. С. Пушкина, Спб., 1899.

Но и въ юные годы Пушкинъ, по свойству натуры своей, не могъ останавливаться на Вольтерьянствѣ. Смѣхъ, иронія и скептицизмъ не могли наполнить его широкую душу. Ее увлекали и другіе писатели. Путь къ исправленію нравовъ и рѣшенію проблемъ жизни указывалъ не Вольтеръ.

Болѣе положительными и замѣтными проявленіями и болѣе плодотворными послѣдствіями отозвалось въ творчествѣ Пушкина воздѣйствіе, правда—косвенное, второго величайшаго изъ французскихъ писателей XVIII в., которыми онъ увлекался уже съ лѣтъ отрочества, сначала пріятеля, а потомъ врага Вольтера и рѣзко разошедшагося затѣмъ и съ другими „философами", — Женевца Руссо. Вліяніе Руссо было продолжительнѣе и чувствовалось во всю жизнь Пушкина, какъ и вообще во всемъ ходѣ новѣйшей исторіи сказалась удивительная мощь этого плебея, бѣдняка, провинціала, произведшаго великую моральную революцію не только во Франціи, но и въ Германіи, доставившаго основы ученій метафизическаго, религіознаго и политическаго людямъ 1793 г. и ставшаго однимъ изъ видныхъ выразителей и начинателей новѣйшей меланхоліи. Въ Руссо рѣзко сказался разладъ прекрасной мечты и безотрадной дѣйствительности, тотъ разладъ, который все больнѣе и больнѣе гнететъ душу новаго человѣка, а также проявилось исканіе выхода изъ этого разлада.

Со времени Руссо въ литературѣ послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка и начала настоящаго начинаетъ отчетливо выступать та скорбь существованія, которая была въ мірѣ искони, но ранѣе еще не достигала такого отчетливаго и сосредоточеннаго выраженія.

Какъ извѣстно, послѣдовавъ намеку Дидро, Руссо ошеломилъ весь образованный міръ своею пламенной филиппикой противъ культуры, наукъ и искусствъ, противъ всего того, чѣмъ гордилась тогдашняя цивилизація. Въ своихъ, достигшихъ громкой славы, произведеніяхъ онъ развивалъ тезисъ, что природа создала человѣка счастливымъ и добрымъ, но его испортило и сдѣлало несчастнымъ общество. Слѣдовательно, мрачное воззрѣніе Руссо имѣло своимъ предметомъ современное ему общество, которое постоянно казалось ему худшимъ, чѣмъ каково оно было на самомъ дѣлѣ. Ставъ въ оппозицію обществу, Руссо отстаивалъ права личности въ противовѣсъ общественному гнету, проповѣдывалъ вражду къ извращенной цивилизаціи, любовь къ простымъ нравамъ, чувство природы и такое воспитаніе, которое

научило бы каждаго исполнять долгъ человѣка. Онъ освобождалъ личность, „я“, отъ узъ, связывавшихъ ее съ XVI по XVIII вѣкъ, и способствовалъ распространенію мечтаній о природѣ, выраженія движеній духа, лишь смутно ощущаемыхъ, и сентиментальности, явившихся однимъ изъ элементовъ такъ наз. „міровой скорби“, наполняющей новѣйшее время.

Подъ вліяніемъ въ значительной степени Руссо возникла эпидемическая болѣзнь воображенія и сердца, скорбные вопли котораго выразилъ цѣлый рядъ поэтовъ Запада, начиная съ Руссо, принадлежавшихъ различнымъ національностямъ. Гёте, Шиллеръ, Платенъ, Шатобріанъ, Сенанкуръ, Коуперъ, Бёрнсъ, Байронъ, Фосколо, Леопарди, Альфредъ де-Мюссе, Ленау, Гейне и нѣкоторые другіе одинъ за другимъ будутъ повторять скорбные возгласы, привнося собственные тоны.

Эти поэты міровой скорби отличались широтой и вмѣстѣ неполною опредѣленностію помысловъ, чувствомъ безконечнаго; на ихъ устахъ виднѣлась иногда насмѣшливая улыбка, они страдали, но иногда находили удовольствіе въ своихъ страданіяхъ; изъ груди ихъ исходилъ лирическій вопль страсти и въ то же время имъ были свойственны пламенные порывы энтузіазма.

Они создали рядъ фигуръ, весьма интересныхъ, хотя и не совсѣмъ новыхъ въ западныхъ литературахъ, потому что Шекспировскіе Гамлетъ, меланхоликъ Жакъ, Тимонъ, Мольеровскій Альсестъ уже могутъ назваться предшественниками разочарованныхъ и вышедшихъ изъ житейской колеи (déclassés) героевъ XVIII и XIX вѣковъ. Послѣдніе удаляются отъ общества, считаютъ себя великими душами, не могущими снизойти до общаго уровня, живутъ великой идеей, проникнуты ею и готовы умереть изъ-за нея.

Рядъ этихъ фигуръ скорби и отчаянія либо гнѣва открываетъ Гётевскій Вертеръ, а нѣкоторымъ слабымъ прототипомъ ихъ въ литературѣ былъ герой романа Руссо „Новая Элоиза“ (1769) Saint-Preux, какъ прототипомъ ихъ въ жизни явился Руссо. Saint-Preux выказываетъ внутреннюю разорванность, чувствительность, нерѣшительность, безхарактерность и вмѣстѣ онъ идеалъ учителя, какъ рисовался послѣдній воображенію Руссо, протестантъ противъ предразсудковъ, скептикъ и скорбникъ въ родѣ послѣдняго. Saint-Preux — отображеніе сокровеннѣйшей жизни и чувствованій своего автора.

Своими колебаніями, силою и экзальтаціею своей страсти, могучей и непреодолимой, поэзіею этой страсти и ея утонченностями Saint-Preux

становится предшественникомъ романическихъ героевъ, каковы Вертеръ, Леонсъ, Освальдъ, Рене, Оберманнъ, Адольфъ.

Извѣстнѣйшія изъ этихъ поэтическихъ личностей до времени Пушкина включительно—Вертеръ Гёте, Рене Шатобріана, Адольфъ Бенжамена Констана, Чайльдъ Гарольдъ и другіе герои Байрона.

Вертеръ, появившійся въ свѣтъ четырнадцать лѣтъ спустя послѣ выхода романа Руссо,—значительно уже выработанный, сконцентрированный и сложившійся типъ declassé, какого въ цѣломъ еще не было въ литературѣ XVIII вѣка и какой существовалъ въ жизни въ такомъ сосредоточенномъ видѣ лишь пока въ лицѣ Руссо, занимавшаго подъ конецъ совсѣмъ уединенное положеніе въ свой вѣкъ въ качествѣ мятежной личности и гордеца. Романъ представилъ чрезвычайно яркое освѣщеніе „внутренней жизни души молодой и больной". Идеи и вкусы Вертера Жанъ-Жаковскіе и вмѣстѣ то были отчетливо и синтетично выраженныя иллюзіи времени, вѣрившаго въ первоначальную доброту людей, проникшагося презрѣніемъ къ обществу, источенному червями, и бросившагося въ культъ безыскусственной природы, опять въ новѣйшее время ставшей предметомъ эстетическаго чувства.

Въ силу полнаго соотвѣтствія духу времени и состоянію общества, которое должна была обновить революція, благодаря также жизненности и чрезвычайной выразительности, романъ о Вертерѣ достигъ необычайнаго успѣха не только въ Германіи, но и въ остальной Европѣ, вызвавъ множество подражаній и навѣявъ немало подобныхъ же литературныхъ произведеній [1]).

Они были тѣмъ естественнѣе, что XVIII-й вѣкъ заканчивался сильными душевными потрясеніями, утомленіемъ и моральнымъ истощеніемъ; вѣра въ убѣжденія, прежде вдохновлявшія, и энтузіазмъ были подорваны неудачнымъ опытомъ революціи. Разрушеніе ея иллюзій порождало меланхолію.

Соотвѣтственно всему тому всюду развилась литература, выражавшая чувство пустоты и безплодной горести жизни. Вертеризмъ перерождался: печальное сѣтованіе мало по малу переходило въ тоску, какъ у Рене, либо въ пессимизмъ, какъ у Оберманна. Меланхолія овладѣвала все болѣе и болѣе и сдѣлалась постепенно настоящею „болѣзнью вѣка", какъ наименовали французы душевное состояніе истомы, безграничныхъ порываній и сознанія безсилія овладѣть новыми раскрывавшимися горизонтами.

[1]) См., напр., Gross, Goethe's Werther in Frankreich, Leipz.

Своимъ романомъ о Вертерѣ Гёте создалъ весьма яркій типъ юноши, оказывающагося въ разладѣ съ окружающею дѣйствительностью, между проч.—и благодаря несчастной любви. Въ этомъ Гёте сталъ образцомъ для всѣхъ позднѣйшихъ подражателей Руссо. Герои этихъ подражателей относятся одинаково къ цивилизованному обществу: они не согласны подчиняться его требованіямъ, касаются ли эти требованія практической дѣятельности или морали. Потому всѣ они вынуждены искать выхода изъ своего протеста и унынія и бѣгутъ изъ общества. Одни покончиваютъ съ собою, какъ Вертеръ [1]); другіе не умерщвляютъ себя, а пытаются найти утѣшеніе и облегченіе въ близости къ природѣ, въ экстатическую любовь къ которой бросаются съ чрезвычайною страстностію, уединяясь въ безграничныхъ преріяхъ Америки [2]), или же среди мощныхъ впечатлѣній возводящаго въ высь міра Альпъ [3]).

Въ 1799 г. появились „Rêveries“ Sénancour-a, предшествовавшія его „Obermann“-у, въ 1801 г.—„Atala“ Шатобріана, въ 1803—„Peintre de Salzbourg“ Нодье, въ 1804 г. „René“ Шатобріана и „Оберманнъ“ Сенанкура, а въ 1806 г. былъ написанъ изданный десятью годами позднѣе „Адольфъ“.

Въ особенности крупнымъ литературнымъ событіемъ было появленіе поэмъ въ прозѣ: „Atala“ и „René“ Шатобріана, выказавшихъ значительный талантъ автора, а также немалую долю оригинальности въ выраженіи скорбнаго чувства, меланхоліи и мечтательности (rêverie), выступавшихъ уже у Руссо и снискавшихъ послѣднему неизмѣримое количество откликовъ въ сердцахъ его читателей и въ творчествѣ его послѣдователей.

Герой поэмъ Шатобріана, Рене, какъ бы младшій братъ Вертера, человѣкъ уже конца XVIII в., хотя представленъ жившимъ въ началѣ его,—въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ личность болѣе широкая, чѣмъ Вертеръ. Этотъ уроженецъ кельтскаго уголка Европы, одержимый страстью къ невѣдомому, „la passion du vague“, находитъ лишь нѣкоторое утѣшеніе въ природѣ со свойственною Кельту пламенною любовью къ пейзажу, не отрѣшаясь вполнѣ отъ связи съ обществомъ, но только избранное имъ общество болѣе или менѣе близко къ перво-

---

[1]) Также Ортисъ и художникъ Мюнстеръ въ „Peintre de Salzbourg“.

[2]) Рене.

[3]) Оберманнъ.

бытному: это—общество сѣверо-американскихъ индійцевъ. Особую прелесть поэмъ Шатобріана составляло меланхолическое созерцаніе непрочности земныхъ благъ и преклоненіе предъ вѣчными чудесами природы, міръ порывовъ и мечты, раскрываемый со страстнымъ краснорѣчіемъ и горячностію. Несчастія Рене давали разительный урокъ унынія, тѣмъ болѣе, что онъ исходилъ отъ христіанина-меланхолика, напрасно ищущаго цѣли въ земномъ существованіи. Его печаль непреодолима, и онъ не чувствуетъ постояннаго влеченія ни къ чему: „Я ищу неизвѣстнаго блага", говоритъ онъ и всюду носитъ съ собою тоску.

Atala и René затмили всѣ другія произведенія сроднаго Вертеровскому настроенія, и со времени выхода ихъ въ свѣтъ Рене сталъ носителемъ Вертеризма. Очевидно, къ направленію того времени наиболѣе подходила мягкая и примирительная скорбь, не порывающая вполнѣ связей съ міромъ и съ прошлымъ, представителемъ которой въ литературѣ явился пламенный меланхоликъ и болѣзненный мечтатель Рене. Въ этой личности можно наблюдать весьма характерный и типическій для первыхъ десятилѣтій нашего вѣка процессъ соглашенія духа XVIII в. съ поворотомъ къ старинѣ до XVIII в. и чувству безконечнаго, заглохшему въ литературѣ прошлаго столѣтія.

Шатобріану принадлежала весьма видная роль въ образованіи того, что̀ когда-то называли „le mal du siècle"—болѣзнью вѣка—и что̀ можно бы назвать проще романтическою меланхоліею. Къ сожалѣнію, еще не выяснено съ полною точностью, что̀ именно приходится въ ней на долю Шатобріана, но, повидимому, надо признать, что Шатобріанъ повліялъ болѣе Байрона и Гёте на развитіе „болѣзни вѣка"[1]). Онъ первый если не создалъ, то сообщилъ обширную популярность излюбленному романтическому типу мятежнаго декламатора (Вертеръ еще не декламаторъ). И не только литературными дѣтьми Руссо, но и послѣдователями Шатобріанова Рене были разочарованные люди и фаталисты, столь долго модные въ западныхъ литературахъ Лара, Чайльдъ—Гарольдъ и др. до позднѣйшихъ романтическихъ героевъ включительно.

Они доходили до крайняго индивидуализма. Авторы ихъ забывали, что вдохновитель ихъ, Руссо, не остановился на точкѣ зрѣнія

[1]) Revue d'Histoire littéraire de la France, 15 Octobre 1896, p. 623.

обѣихъ своихъ диссертацій, написанныхъ въ отвѣтъ на Дижонскіе вопросы, указывавшихъ золотой вѣкъ въ естественномъ состояніи человѣка и выражавшихъ глубокое сѣтованіе объ утратѣ этого вѣка. Науки и искусства, пріобрѣтенія культуры, по взгляду, выраженному въ этихъ диссертаціяхъ,—печальное вознагражденіе за утрату счастія, какимъ пользовался человѣкъ въ первобытномъ состояніи. А въ „Contrat social" и „Эмилѣ" Руссо долженъ былъ признать, что идеалъ свободы и нравственности не *за* нами, а *впереди* насъ. И Руссо пришелъ къ такой поправкѣ, отрекаясь отъ точки зрѣнія индивидуальнаго счастія, которое одно лишь было первоначально принимаемо имъ во вниманіе. Руссо ввелъ въ рѣшеніе вопроса болѣе широкія соображенія: какъ одинокій обитатель лѣсовъ, человѣкъ жилъ бы счастливѣе и свободнѣе, но онъ былъ бы добръ безъ заслуги съ его стороны, не былъ бы добродѣтеленъ, между тѣмъ какъ теперь обуздываніемъ страстей онъ достигаетъ преимущества; этимъ обуздываніемъ и высшимъ благомъ—нравственностью своихъ поступковъ и любовью къ добродѣтели—всякій обязанъ своему отечеству.

Какъ на Западѣ послѣ крушенія радужныхъ надеждъ конца XVIII вѣка далеко не всѣ изъ дѣятелей того времени переходили въ XIX-й съ вѣрою въ прогрессъ общества, завѣщанною оканчивавшимся столѣтіемъ просвѣщенія, такъ одолѣвала иныхъ и у насъ романтическая меланхолія или тоска.

Ея источникъ былъ тотъ же: непримиримость съ жизнью, неприспособленность къ окружающей обстановкѣ, невозможность найти опорный пунктъ ни въ вѣрѣ живой и наивной за утратою ея, ни въ политически безнадежной дѣйствительности, ни въ обществѣ, разладъ со всѣмъ окружающимъ и въ то же время не въ мѣру возросшая безграничность требованій отъ жизни.

Общее вѣяніе меланхоліи возникло и у насъ эволюціею нашей души и передавалось намъ также съ Запада то неуловимыми путями духовнаго общенія, то литературой. Что до послѣдней, то въ ней отголоски чрезмѣрной „чувствительности" XVIII в. [1]) и запоздавшее у насъ воздѣйствіе Вертеризма сливались съ увлеченіемъ Шатобріаномъ, собственно—его „Рене" [2]). Вліяніе Шатобріановскаго разочарованія ото-

[1]) А. Ѳ. (внутри книги А. О.), Утѣхи меланхоліи, россійское сочиненіе, М. 1802.

[2]) Неблагопріятный отзывъ о публицистической дѣятельности его въ „Conservateur" см. въ письмѣ кн. Вяземскаго отъ 24 іюля 1819 г. Ост. арх., I, 273.

звалось довольно печально въ настроеніи Батюшкова, который „еще въ 1811 г. сознавался, что любитъ этого сумасшедшаго Шатобріана, а особливо по ночамъ, когда можно дать волю воображенію“ [1]).

Надо прибавить къ тому воздѣйствіе грустной поэзіи Оссіана, которая нравилась одно время и Пушкину [2]), и такихъ произведеній, какъ романъ Бенжаменъ Констана, „Адольфъ“, которымъ увлекались и образованные русскіе читатели съ момента его выхода въ свѣтъ (1816) [3]), или „Jean Sbogar“ Шарля Нодье.

Но сильнѣе всего другого, конечно, и удручающимъ образомъ на душу дѣйствовали обстоятельства русской жизни и разложеніе вѣрованій въ старые устои. И у насъ нѣкоторые изъ отчаявавшихся повторяли разсужденіе Гамлета: To be or no to be, that is the question, и иные покончивали съ собою, какъ молодой адъютантъ вел. кн. Константина Павловича, Меллеръ-Закомельскій, оставившій письма, въ которыхъ заявлялъ, „что застрѣлился потому, что надоѣло ему жить и что чувствуетъ свою близкую кончину“ [4]). Другіе продолжали жить, но безъ радованія о жизни, и сибаритства XVIII в. не было и слѣда [5]).

Кн. П. А. Вяземскій, напр., „тоскуетъ и страдаетъ душою“ [6]), и, кажется, объясненіе этого душевнаго состоянія можно найти въ

[1]) Л. Н. Майкова Батюшковъ, его жизнь и сочиненія, Спб.. 1837.

[2]) См. его „Кольну“, переложеніе въ стихи изъ перевода Кострова. Соч. П., I, 22—26, и упоминаніе (II, 168; 1834 г.) о томъ, что поэта

То Римъ зоветъ, то гордый Альбіонъ,
То скалы старца Оссіана.

О вниманіи у насъ къ Оссіану см. въ ст. Гаевскаго, Совр. 1863, стр. 144. 165.

[3]) Ост. арх.. I, 60. Впослѣдствіи Вяземскій перевелъ этотъ романъ и издалъ въ 1831 г. съ посвященіемъ Пушкину.— О Сбогарѣ см. Ост. арх., I, 133 („Тутъ есть характеръ разительный, а послѣднія двѣ или три главы—ужаснѣйшей и величайшей красоты. Я, который не охотникъ до романовъ, проглотилъ его разомъ“), 137, 142, 244 („что ни говорите, очаровательный романъ“). У Пушкина (III, 286), въ числѣ модныхъ романтическихъ героевъ, названъ и „таинственный Сбогаръ“.

[4]) Ост. арх., I, 95, 240 („здѣсь (въ Варшавѣ) удивительно какъ самоубійства часты“). 263.

[5]) Ibid., 300-301: „Мы утратили слабости отцовъ нашихъ, но съ ними и многія наслажденія... Ихъ счастіе увивалось розами, наше—терніями. И въ заблужденіяхъ своихъ слѣдуемъ мы всегда правиламъ; они жили для себя, мы—для другихъ. Они говорили: „День мой—вѣкъ мой“; мы говоримъ: „Вѣкъ—день мой“... Таково направленіе умовъ. Прежній крикъ былъ: наслажденій! нынѣшній: польза!.. Конечно, не всѣ дѣйствуютъ для общей пользы, но, по крайней мѣрѣ, все прикрывается вывѣскою пользы... Мы—поколѣніе Катоновъ, какъ ни говори; а отцы наши были сибариты“.

[6]) Ibid., 43; ср. 155: „Я самъ нѣкогда прозѣвалъ самого себя, понадѣясь, что пока со страхомъ и омерзѣніемъ смотрю на душевное свое запустѣніе, надежда еще

его безотрадномъ созерцаніи русской дѣйствительности: „Я ничего не знаю скучнѣе русской жизни, читаемъ въ одномъ изъ его писемъ [1]): въ ней есть что-то такое черствое, которое никакъ въ горло не лѣзетъ; давишься да и полно, а сердце (желудокъ нравственнаго бытія) бурчитъ отъ пустоты". Равнымъ образомъ и другъ Вяземскаго, А. И. Тургеневъ, восхищавшійся Байроновымъ „Манфредомъ" [2]), не зналъ душевнаго мира: „Мнѣ умъ и сердце велятъ странствовать. Здѣсь ни съ тѣмъ, ни съ другимъ не уживешься, или, лучше сказать, здѣсь уму тѣсно, а сердцу душно, потому что послѣднее трудно угомонить, когда умъ въ бездѣйствіи. Одинъ онъ можетъ усмирить порывы вѣчнаго своего антагониста. Мнѣ кажется, что одному Карамзину дано жить жизнью души, ума и сердца. Мы всѣ поемъ вполголоса и живемъ не полною жизнью, оттого и не можемъ быть довольны собою, à moins de l'être à la manière de Simon le Franc" [3]).

Понятно послѣ всего этого, что и у насъ должны были явиться литературные образы своихъ выбитыхъ изъ колеи, déclassés, или „лишнихъ людей", какъ ихъ называли въ нашей литературѣ 40-хъ и послѣдующихъ годовъ.

Въ поэзіи Пушкинъ сталъ первымъ яркимъ выразителемъ нашей „болѣзни вѣка", страданія обособившейся человѣческой души: Батюшковъ передавалъ эти страданія не столь полно и напряженно, хотя и изумлялъ иногда своихъ друзей взрывами грусти [4]). О Жуковскомъ же кн. П. А. Вяземскій отозвался такъ въ 1819 г.: „главный его недостатокъ есть однообразіе выкроекъ, формъ, оборотовъ, а главное достоинство—выказывать сокровеннѣйшія пружины сердца и двигать

не совсѣмъ потеряна. Mais je désespére à force d'avoir espéré toujours. Съ поэтомъ это еще легче случиться можетъ. Я поддерживалъ душу дѣятельностью, которую иногда называлъ разсѣяніемъ, но не поддержалъ, и теперь смотрю на самого себя въ прошедшемъ... безъ сожалѣнія и безъ надежды, съ деревяннымъ равнодушіемъ"; 107: „Какой-то червякъ тоски безъ цѣли и причины таится у меня глубоко и отзывается посреди занятій и разсѣянія и даже посреди домашнихъ радостей"; 211: „Первые дни лѣта дѣлаютъ на меня странное впечатлѣніе: возрождаютъ какое-то чувство жизни, которое ничто иное, какъ тоска, волненіе безбрежное, влеченіе безъ цѣли"; 244: „Сирокко физическій и моральный все еще палитъ меня".

[1]) Ост. арх., I, 193,

[2]) Ib., 288.

[3]) Ib., 294: ср. 316: „Это письмо съ начала до конца мрачно и похоже на жизнь нашу, потому что исполнено смерти".

[4]) Ib., 28.

ихъ. C'est le poète de la passion, то-есть, страданія. Онъ бренчитъ на распутьи: лавровый вѣнецъ его—вѣнецъ терновый, и читателя своего не привязываетъ онъ къ себѣ, а точно прибиваетъ гвоздями, вколачивающимися въ душу" [1]). Пушкинъ годомъ раньше выразилъ нѣсколько иначе и не столь рѣзко впечатлѣніе, какое производила на него „плѣнительная сладость стиховъ" поэта, „стремившагося возвышенной душой къ мечтательному міру, творившаго *для немногихъ*": внемля стихамъ Жуковскаго, по словамъ Пушкина,

Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость [2]).

Такое воздѣйствіе поэзіи Жуковскаго превзойдено произведеніями Пушкина. Пушкинъ первый въ нашей литературѣ сталъ передавать душевную скорбь, характеризующую XIX-й вѣкъ, съ удивительною силою многосторонней человѣчности. Пушкинъ первый отчетливо проанализовалъ грусть и тоску, которыя стали испытывать наравнѣ съ западно-европейцами и русскіе люди съ начала настоящаго столѣтія, и воспроизвелъ эти душевныя состоянія не только въ своей лирикѣ, но и въ объективномъ изображеніи—въ нѣсколькихъ поэмахъ.

Начальныя проявленія грусти въ поэзіи Пушкина были навѣяны, повидимому, вліяніемъ другихъ поэтовъ, между проч., Батюшкова и Жуковскаго, и относятся къ довольно ранней порѣ—къ семнадцатому году жизни поэта (1815) [3]). Мечтательность его усилилась, когда онъ „встрѣтился съ осьмнадцатой весной, задумчиво внимая шумъ дубравный". Онъ восклицалъ (1816) [4]) (пользуясь отчасти выраженіями Карамзина, сейчасъ названныхъ поэтовъ и Жильбера):

Гдѣ вы, лѣта безпечности недавной?..
Моя стезя печальна и темна...

---

[1]) Ib., 227.

[2]) I, 193.

[3]) Соч. П., I, 110. Анненковъ, А. С. Пушкинъ, Матеріалы для его біографіи и оцѣнки его произведеній, изданіе 2-е, Спб., 32, говоритъ: „Въ стихотвореніи 1816 года: *Друзьямъ*, есть уже первыя черты той тихой и свѣтлой грусти, которая составляла впослѣдствіи отличительную черту его элегій"; стр. 34: „въ основаніи его элегической задумчивости нѣтъ никакого дѣйствительнаго событія, еще менѣе настоящей страсти; но эти неясныя и неопредѣленныя жалобы, опережающія жизнь, истинны сами по себѣ".

[4]) Соч. П., I, 201—202: „Посланіе къ князю А. М. Горчакову".

Увы, нельзя мнѣ вѣчнымъ жить обманомъ
И счастья тѣнь, забывшись, обнимать!
Вся жизнь моя—печальный мракъ ненастья...
Душа полна невольной, грустной думой;
Мнѣ кажется, на жизненномъ пиру
Одинъ, съ тоской, явлюсь я—гость угрюмый,
Явлюсь на часъ, и одинокъ умру [1]).

Такъ уже тогда поэтъ

...радость свѣтлую забылъ,

и его

.....печали мрачный геній
Крылами черными покрылъ. [2])

Подобныя „мученья" еще не были выраженіемъ горя, вполнѣ выношеннаго душой молодого поэта, да и горе это не было глубоко, если и „въ" вызванныхъ имъ „слезахъ сокрыто наслажденье" [3]), и поэтъ еще ждалъ „въ жизни сей утѣшенья" отъ своего „скромнаго дара и счастія друзей" [4]). „Надежды ранній цвѣтъ" и сердце поэта

---

[1]) Ср. подобныя же выраженія - Соч. П., I, 213:

Гдѣ міръ, одной мечтѣ послушный?
Мнѣ настоящій опустѣлъ!
На все взираю равнодушно;
Дышать уныньемъ - мой удѣлъ.

и Соч. П., I, 233—234:

Ужъ я не тотъ... Невидимой стезей
Ушла пора веселости безпечной...
Отверженный судьбой несправедливой,
И ласки музъ, и рѣзвость, и покой,
Я все забылъ: печали молчаливой
Рука лежитъ надъ юною главой...
Передъ собой одну печаль я вижу:
Мнѣ скученъ міръ, мнѣ страшенъ дневный свѣтъ;
Иду въ лѣса...
Умчались вы, дни радости моей!

а также 212:

Не тотъ удѣлъ судьбою мнѣ назначенъ.

[2]) Соч. П., I, прим.. стр. 316.

[3]) Ср. Соч. П., I, 220:

Я слезы лью—мнѣ слезы утѣшенье.
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находитъ наслажденье.

[4]) Соч. П., I, 203.

тогда увядали лишь отъ „горестей несчастливой любви“ [1]), и желаніе его, чтобы улетѣлъ „сонъ жизни“ [2]), и видѣніе смерти [3]) были только временны, какъ временно бывало и рѣшеніе разстаться съ поэзіею [4]). Въ другіе моменты поэтъ готовъ былъ думать,

. . . . . что любовь погасла навсегда,
Что въ сердцѣ злыхъ страстей умолкнулъ гласъ мятежный,
Что дружбы наконецъ отрадная звѣзда
Страдальца довела до пристани надежной,

и „желанья“ усыплялись „гордымъ разумомъ“ [5]).

„Сожалѣнія“ объ утратѣ
Обмановъ сладостной мечты [6]),

въ значительной степени наполнявшія поэзію Пушкина въ послѣдній годъ пребыванія его въ лицеѣ, заглохли-было на время по выходѣ изъ этого заведенія,

Когда погасли дни мечтанья,

поэта позвалъ „шумный свѣтъ“ [7]), и онъ „велъ дни“

Съ Амуромъ, шалостью, виномъ [8]).

Тогда „все снова разцвѣло“ [9]), и „философу раннему“, который

. . . милыя забавы свѣта
На грусть и скуку промѣнялъ,

---

[1]) Соч. П., I, 227 и 220, ср. 287: И сердце медленно хладѣло, закрывалось. Душу поэта жегъ „пламень страстный и огонь мучительныхъ желаній“ (Соч. П., I, 239 240).

[2]) Ср. Соч П., I, 221: „тяжелый жизни сонъ“; I, 201: „сладкій жизни сонъ“.

[3]) Соч. П., I, 226: Я видѣлъ смерть...

[4]) Соч. П., I, 237: Душѣ наскучили парнасскія забавы,
и 271: Какъ дымъ, исчезъ мой легкій даръ
Ср. I, 212.

[5]) Соч. П., I, 239 и 222.

[6]) Соч. П., I, 262, ср. I, 190:

Любви, надежды, гордой славы
Не долго тѣшилъ насъ обманъ.

[7]) Соч. П, I, прим., 380 (ср. 273).

[8]) I, 188.

[9]) Соч. П, I, 287.

И на лампаду Эпиктета
Златой Гораціевъ фіалъ,

поэтъ преподавалъ совѣты въ духѣ эпикуреизма:

До капли наслажденье пей,
Живи безпеченъ, равнодушенъ!
Мгновенью жизни будь послушенъ
Будь молодъ въ юности твоей! [1]),

А другого пріятеля просилъ не пугать

Гроба близкимъ новосельемъ:
Право, намъ такимъ бездѣльемъ
Заниматься недосугъ).

Мечтателю Кюхельбехеру Пушкинъ говорилъ:

О, если бы тебя, унылыхъ чувствъ искатель,
Постигло страшное безуміе любви....
Повѣрь, тогда бъ ты не питалъ
Неблагодарнаго мечтанія... [3]).

Но, какъ будто не желая еще отдаваться „грусти и скукѣ", поэтъ съ 1819 г. все-таки вновь впадалъ по временамъ въ „уныніе", „унылой думой"

Среди забавъ *былъ* часто омраченъ

и „душой усталой разлюбилъ веселую любовь" [4]). Взамѣнъ ея начали овладѣвать мыслью болѣе серьезные предметы вдохновенія. Въ стихотв. „Къ Чаадаеву" (1818 г.) Пушкинъ писалъ:

Исчезли юныя забавы,
Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!
Но въ насъ кипитъ еще желанье:
Подъ гнетомъ власти роковой
Нетерпѣливою душой
Отчизны внемлемъ призыванья!
Мы ждемъ съ томленьемъ упованья
Минуты вольности святой [5]).

---

[1]) I, 200—201; ср. Соч. II., I, 258: Усердствуй Вакху, и любви и проч. См. еще 265 („Добрый совѣтъ").

[2]) I, 200.

[3]) I, 192.

[4]) I, 201: „Уныніе".

[5]) I, 190.

Поэтъ писалъ „Про себя“:

Великимъ быть желаю,
Люблю Россіи честь,
Я много обѣщаю,
Исполню ли—Богъ вѣсть [1]).

Проговариваясь уже ранѣе, что Богъ создалъ для поэтовъ „уединенье и свободу“ [2]), „угорѣвшій въ чаду большого свѣта“ [3]), „отъ суетныхъ оковъ освобожденный“, поэтъ теперь радостно привѣтствовалъ

. . . . . пустынный уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья,

гдѣ онъ учился „въ истинѣ блаженство находить“, „вопрошалъ оракуловъ вѣковъ“ и такъ обращался къ нимъ:

Въ уединеньѣ величавомъ
Слышнѣе вашъ отрадный гласъ:
Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
И ваши творческія думы
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ [4]).

Теперь онъ любилъ „малый кругъ друзей“, „лихихъ рыцарей любви, свободы и вина“,

Гдѣ умъ кипитъ, гдѣ въ мысляхъ воленъ *онъ*,
Гдѣ спорятъ вслухъ, гдѣ чувствуетъ сильнѣе [5]).

Попрежнему любилъ онъ также

. . . . . вечерній пиръ,
Гдѣ веселье предсѣдатель,
А свобода, мой кумиръ,
За столомъ законодатель [6]),

---

[1]) I, 196.
[2]) Соч. П., I, 283.
[3]) I, 211.
[4]) I, 205—206.
[5]) I, 212, 198, 211.
[6]) I, 212.

любилъ острыя выходки во вкусѣ Клемана Маро [1]). Попрежнему Пушкинъ находилъ иногда, что

Все призракъ, суета,
Все дрянь и гадость;
Стаканъ и красота—
Вотъ жизни сладость.
Любовь и вино
Намъ нужны равно.
Безъ нихъ человѣкъ
Зѣвалъ бы во вѣкъ.
Къ нимъ лѣнь еще прибавлю... [2])

Но рядомъ со всѣмъ этимъ, „скучая жизнію, томимый суетою", поэтъ уже задавался вопросомъ:

Къ чему мнѣ жить? Я не рожденъ для счастья,
Я не рожденъ для дружбы, для заботъ [3]),

и признавалъ, что отъ всѣхъ утѣхъ юности

Останется уныніе одно [4]).

И прежде онъ говорилъ: „Ужъ я не тотъ"! Теперь перемѣна въ немъ была сильнѣе прежней и многостороннѣе. Не одиночество въ любви, а и другія причины [5]) обусловливали то, что и ранѣе иногда „за чашей ликованья" поэта можно, было найти

. . . . . объятаго тоской,
Задумчивымъ, съ поникшей головой,

---

[1]) Ср. I, 199 („В. В. Энгельгардту") со стихотв. Маро: „Adieu aux dames de la court". Пушкинъ былъ знакомъ со стихотвореніями Маро, поэта XVI в. (см. Соч. П., I, 111 и прим., 113, и V, 245 и 247), какъ и Вяземскій (Ост. арх., I, 285).

[2]) I, 214-215.

[3]) I, 197; ср. Соч. П., I, 203 (1816):

Ужель умру, не вѣдая, что̀ радость?
Зачѣмъ же жизнь дана мнѣ отъ боговъ?

[4]) I, 201.

[5]) Быть можетъ, въ числѣ ихъ и тѣ, о которыхъ говорится въ стих. „Безвѣріе" (Соч. П., I, прим., 392; 1817 г.):

Взгляните: бродитъ онъ съ увядшею душой,
Своей ужасною томимый пустотой;
То грусти слезы льетъ, то слезы сожалѣнья,
Напрасно ищетъ онъ унынью развлеченья, и т. д.

и онъ испытывалъ душевныя страданья [1]). То было

Тоскующей души холодное волненье [2]).

Поэтъ ошибался, когда говорилъ, что для него

Исчезли навсегда часы очарованья...
Надежда въ сердцѣ умерла [3]).

Но все же со времени перевода Пушкина на югъ, съ 1820 г., печаль свила надолго прочное гнѣздо въ душѣ поэта, стала осмысленнѣе и шире по своимъ мотивамъ и начала еще болѣе переходить изъ личной въ міровую скорбь и тоску, вполнѣ однако не ставъ ею и въ самый бурный періодъ жизни Пушкина.

Первое изъ стихотвореній, написанныхъ Пушкинымъ на югѣ, элегія „Погасло дневное свѣтило" [4]), относящаяся къ сентябрю 1820 г. и вылившаяся изъ-подъ пера поэта уже при несомнѣнномъ знакомствѣ съ Байроновымъ Чайльдъ-Гарольдомъ, выказываетъ нѣкоторое внѣшнее родство настроенія поэта, плывущаго у береговъ родины, съ прощальною пѣснью—„Good Night"—Байронова героя міровой скорби [5]), но далека отъ угрюмой холодности той пѣсни: къ „тоскѣ" нашего поэта примѣшивается „волненье"; у „воспоминаньемъ упоеннаго" „въ очахъ родились слезы вновь", которыхъ не вѣдаетъ Чайльдъ-Гарольдъ;

Душа *кипитъ* и замираетъ;
Мечта знакомая.... летаетъ.

Душу нашего поэта наполняютъ воспоминанія о прошломъ: о „безумной любви", о „наперсницахъ порочныхъ заблужденій,

Которымъ безъ любви онъ жертвовалъ собой,
Покоемъ, славою, свободой и душой,

объ „измѣнницахъ младыхъ, подругахъ тайныхъ весны златыя", о „питомцахъ наслажденій, минутной младости минутныхъ друзьяхъ". Все это зналъ и Чайльдъ-Гарольдъ=Байронъ; „потерянная младость"

---

[1]) I, 212.
[2]) I, 213.
[3]) Ibid.
[4]) I, 222—223.
[5]) Childe-Harold's pilgrimage, Canto I, XIII.

и его, какъ нашего поэта, „рано въ буряхъ отцвѣла“; но напрасно по прежнему Пушкинъ приписываетъ себѣ „сердце хладное“: онъ не порвалъ, какъ Чайльдъ-Гарольдъ, съ прошлымъ: предъ нимъ живо, говоритъ онъ,

. . все, чѣмъ я страдалъ, и *все, что сердцу мило*,
Желаній и надеждъ томительный обманъ...
Искатель новыхъ впечатлѣній,
Я васъ бѣжалъ, отечески края...
. . . . . Но прежнихъ сердца ранъ,
Глубокихъ ранъ любви ничто не излѣчило...

Носитель этихъ неизлѣчимыхъ ранъ, проливающій слезы—прежній Пушкинъ, подобный Чайльдъ-Гарольду лишь тѣмъ, что оставилъ „печальные брега туманной родины“ своей, плылъ на кораблѣ „по грозной прихоти обманчивыхъ морей“ и будто бы не желалъ возвращаться домой, стремясь въ

Земли полуденной волшебные края [1]).

Нашъ „страдалецъ“, полный „думъ тяжелыхъ“ и „унынія“ [2]), не любитъ одиночества, не прочь

Наслушаться рѣчей веселыхъ,

„нѣжной красоты“ и „юности живой“, „дѣвы розы“, „оковъ“ [3]) которой „не стыдится“, и говоритъ:

Смотрю на всѣ ея движенья,
Внимаю каждый звукъ рѣчей,
И мигъ единый разлученья
Ужасенъ для души моей [4]).

---

[1]) Ср. слова Чайльдъ-Гарольда:

With thee, my bark, I'll swiftly go
Athwart the foaming brine.
Nor care what land thou bear'st me to.
So not again to mine.

Но изъ устъ Пушкина не слышимъ:

My greatest grief is that I have
No thing that claims a tear.

[2]) I, 223—224; ср. 225: „сердечной думы полный... я влачилъ задумчивую лѣнь“.

[3]) Ср. II, 336:

Опомнись! долго-ль, узникъ томный,
Тебѣ *оковы* лобызать, и проч.

[4]) I, 224. Интересенъ варіантъ къ послѣднимъ двумъ стихамъ:

И краткій мигъ уединенья
Несносенъ для души моей.

Свою скорбь и тоску, никогда не доходившія до полнаго бѣгства отъ людей, ненависти, пессимизма и безнадежности, Пушкинъ передалъ не только въ лирикѣ, но и въ болѣе или менѣе объективномъ изображеніи,—въ рядѣ поэмъ. Въ нихъ нашъ поэтъ воспроизводилъ романтическую меланхолію съ каждымъ разомъ все отчетливѣе, художественнѣе и ближе къ дѣйствительности.

Герои разочарованія, изображенные въ поэмахъ Пушкина,—лишь отчасти литературные потомки Руссо и Гётевскаго Вертера, Шатобріанова Рене и другихъ романическихъ личностей Запада. Въ большей степени они—носители душевныхъ страданій и думъ нашего поэта и его сверстниковъ.

Таковъ прежде всего „Кавказскій плѣнникъ", герой первой изъ Пушкинскихъ поэмъ разочарованія и скорби. Въ нашей поэзіи это первый крупный представитель бѣгства на западный ладъ изъ цивилизованнаго общества, но вмѣстѣ и въ значительной степени самостоятельный образъ. Въ немъ отзывается прежде всего то же настроеніе, съ какимъ насъ ознакомили сейчасъ разсмотрѣнныя стихотворенія Пушкина; въ немъ можно узнать, по признанію самого поэта,

Противорѣчіе страстей,
Мечты знакомыя, знакомыя страданья
И тайный гласъ души

поэта, который

.....погибалъ безвинный, безотрадный,
И шопотъ клеветы внималъ со всѣхъ сторонъ...
...рано скорбь узналъ, постигнутъ былъ гоненьемъ,
...жертва клеветы и мстительныхъ невѣждъ;
Но, сердце укрѣпивъ свободой и терпѣньемъ,
...ждалъ безпечно лучшихъ дней,
И счастіе его друзей
...было сладкимъ утѣшеньемъ [1]).

Можно бы подыскать ко многимъ, важнѣйшимъ по выраженію основной мысли, стихамъ „Кавказскаго Плѣнника" соотвѣтственныя мѣста въ предшествовавшей лирикѣ Пушкина, между проч.—уже

[1]) П. 276–277: Кавказскій Плѣнникъ, посвященіе; VII, 30: „въ немъ есть стихи моего сердца".

лицейскаго періода [1]), и изъ этого ясно, насколько скорбь, характеризующая Плѣнника, была выношена въ душѣ его поэта. Послѣ того внѣшнія сходства съ произведеніями иностранныхъ литературъ [2]), какія можно открыть въ нѣкоторыхъ подробностяхъ повѣствованія и обрисовки героя поэмы, не имѣютъ первостепеннаго значенія для уясненія ея генезиса. Внутренній генезисъ данъ уже только что изложенною исторіею кризиса въ душѣ Пушкина, начиная съ послѣдняго года пребыванія его въ лицеѣ. Кавказскій плѣнникъ— лишь образное выраженіе и закрѣпленіе, сведеніе во-едино извѣстныхъ уже намъ и ранѣе душевныхъ переживаній самого поэта: его беззаботной и радостной молодости, затѣмъ бурной жизни, гоненій, страданій и увяданія сердца, измученнаго страстями, охлажденія души и сохраненія ею, послѣ всѣхъ этихъ крушеній, еще стремленія къ свободѣ вдали отъ суетнаго свѣта, на лонѣ природы и простой жизни. Многое изъ этого отличало и Байроновыхъ героевъ, но Пушкинъ, какъ мы видѣли, пережилъ все это самъ, и его Плѣнникъ

---

[1]) Сопоставьте характеристику жизни Плѣнника до прибытія его на Кавказъ (II, 279):

. . . . . пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ,
.... первую позналъ онъ радость,
.... много милаго любилъ,
.... обнялъ грозное страданье,
.... бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ,

съ данными о душевной жизни Пушкина, заключающимися въ его лирикѣ 1816—20 гг., и вы найдете въ послѣдней то же: и раннія ожиданія счастія отъ жизни, и безнадежную любовь, и презрѣніе къ свѣтской суетѣ, и охлажденіе будто бы сердца, ослабленіе интереса даже къ поэзіи (плѣнникъ также „охолодѣлъ къ мечтамъ и лирѣ"), и сохраненіе будто лишь любви къ свободѣ и въ то же время тоску по оставленной вдали любимой личности. Поэтъ еще въ 1822 г. писалъ въ заключеніи „Бахчисарайскаго фонтана" (II, 336):

Я помню столь же милый взглядъ
И красоту еще земную;
Всѣ думы сердца къ ней летятъ;
Объ ней въ изгнаніи тоскую... и проч.

[2]) См. у Сиповскаго, Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ, Спб., 1899, стр. 24—25 и 30. Должно замѣтить, однако, что фабула поэмы заимствована изъ разсказа одного изъ Московскихъ знакомцевъ Пушкина.

носитъ отпечатокъ индивидуальныхъ душевныхъ состояній самого поэта. И вмѣстѣ съ тѣмъ Плѣнникъ—уже носитель міровой скорби, какъ она сложилась со времени Руссо, правда—еще слишкомъ юный и незрѣлый, какъ и самъ поэтъ въ то время. Уже

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ
И зналъ невѣрной жизни цѣну...
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной *суеты*...
Отступникъ свѣта, другъ природы,

онъ лелѣялъ еще „призракъ священной свободы“:

Свобода! онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ...
Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ
Одушевленныя тобою;
И съ вѣрой, пламенной мольбою
Твой гордый идолъ обнималъ [1]).

Какъ Пушкинъ, думавшій-было, что

Беллона, музы и Венера—
Вотъ, кажется, святая вѣра
Дней нашихъ всякаго пѣвца [2]),

желалъ поступить въ военную службу, такъ и его плѣнникъ отправился на Кавказъ въ надеждѣ достигнуть тамъ истинной свободы, избѣжавъ

Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы [3]).

Очутившись въ плѣну у горцевъ, „отступникъ свѣта, другъ природы“

Любилъ ихъ *жизни простоту*,
Гостепріимство, жажду брани,

---

[1]) II, 280.
[2]) Соч. П., I, 281.
[3]) Гусары, по словамъ поэта (I, 175),

...живутъ въ своихъ шатрахъ,
Вдали забавъ и нѣгъ, и грацій,
Какъ жилъ безсмертный трусъ Горацій
Въ тибурскихъ сумрачныхъ лѣсахъ;
Не знаютъ свѣта принужденья,
Не вѣдаютъ, что̀ скука, страхъ...

Движеній *вольныхъ* быстроту...
.....все тотъ же видъ
Непобѣдимый, непреклонный [1]).

Во всемъ этомъ настроеніи было много юношеской неопытности, и эксцентричное исканіе истинной свободы не увѣнчалось успѣхомъ. Самый герой не облеченъ чарами особой привлекательности и вообще, по справедливому замѣчанію самого поэта [2]), это—„первый неудачный опытъ характера, съ которымъ Пушкинъ насилу сладилъ". Поэтъ „въ немъ хотѣлъ изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи 19-го вѣка" [3]), представить „молодого человѣка, потерявшаго чувствительность сердца въ несчастіяхъ". Плѣнникъ выказываетъ „бездѣйствіе, равнодушіе къ дикой жестокости горцевъ и къ прелестямъ кавказской дѣвы" [4]), но нельзя не признать, что міровой скорбникъ очерченъ въ немъ еще блѣдно и неполно.

Причудливую форму, подобно какъ въ Шиллеровыхъ „Разбойникахъ" получило исканіе свободы также и въ „Братьяхъ Разбойникахъ" Пушкина. Поэтъ заканчиваетъ эту поэму словами:

. . . . . Въ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть:
Она проснется въ черный день [5]).

Оказывается неудовлетвореннымъ своею жизнью, чуя высшія начала, и герой „Бахчисарайскаго фонтана" (1822), „грозный ханъ" Гирей, „повелитель горделивый", къ „строгому челу" котораго присматривались со вниманіемъ всѣ подчиненные:

---

[1]) II, 280. Что до любви къ природѣ, то она у Плѣнника отличается уже характеромъ, напоминающимъ Лермонтовскую: такъ (II, 284),

...плѣнникъ съ горной вышины,
Одинъ, за тучей громовою
Возврата солнечнаго ждалъ,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
Съ какой то радостью внималъ.

[2]) V, 121. „Характеръ Плѣнника неудаченъ", писалъ Пушкинъ (V, 25) уже въ 1821 г. См. еще VII, 30 и 166, и IV, 420. Ср. А. И. Соболевскаго Значеніе Пушкина, К. 1887, стр. 9.

[3]) VII, 25.

[4]) VII, 30.

[5]) II, 308. „Какъ сюжетъ, c'est un tour de force" (VII, 54), отозвался самъ Пушкинъ.

Благоговѣя всѣ читали
Примѣты гнѣва и печали
На сумрачномъ его челѣ.

Эта „гордая душа“ „скучаетъ бранной славой“; „полонъ грусти умъ Гирея“; послѣдній не заглядываетъ и въ роскошную „завѣтную обитель еще недавно милыхъ женъ“. Гирей презрѣлъ чудныя красы „звѣзды любви, красы гарема“, грузинки Заремы,

И ночи хладные часы
Проводитъ мрачный, одинокій,
Съ тѣхъ поръ, какъ польская княжна
Въ его гаремъ заключена [1]).

Причина тоски Гирея—особая любовь къ плѣнной княжнѣ Маріи. Онъ чтитъ плѣнницу не какъ другихъ невольницъ, потому что смутно чувствуетъ въ ней то же, что привлекало къ ея образу и самого поэта,—„души неясный идеалъ“ [2]), ангельскую, „чистую душу“:

Съ какою бъ радостью Марія
Оставила печальный свѣтъ!
Мгновенья жизни дорогія
Давно прошли, давно ихъ нѣтъ!
Что дѣлать ей *въ пустынѣ міра?*
Ужъ ей пора, Марію ждутъ,
И въ небеса, на лоно мира
Родной улыбкою зовутъ [3]).

Этотъ-то „нѣжный образъ“ и раскрылъ „мрачному, кровожадному“ хану обаяніе глубокой внутренней жизни, которой онъ дотолѣ не подозрѣвалъ, и заронилъ въ него зерно новой жизни. Оно не проросло въ немъ, и поэтъ не совсѣмъ удачно передалъ, какъ

...въ сердцѣ хана чувствъ иныхъ
Таится пламень безотрадный [4]),

---

[1]) II, 322—323, 325, 326.

[2]) I, 226—227: „Фонтану Бахчисарайскаго дворца“. Ср. заключеніе „Бахчисарайскаго фонтана“ (II, 336):

Невольно предавался умъ
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тѣнью
Мелькала дѣва предо мной...

[3]) II, 333—334.

[4]) Слѣдующее затѣмъ описаніе:

Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ

но все-таки „Бахчисарайскій фонтанъ“ совершеннѣе изображаетъ неудовлетворенность обычною жизнью, чѣмъ „Кавказскій Плѣнникъ“, передаетъ ее болѣе правдиво и естественно и въ болѣе реальной обстановкѣ. Самая критика „гордой“ и черствой души, надлежащая ея оцѣнка дана еще лучше образомъ Маріи, чѣмъ оцѣнка плѣнника—сопоставленіемъ съ любящею его черкешенкой [1]). Поэма о фонтанѣ оправдываетъ слова поэта, что

....сердце, жертва заблужденій,
Среди порочныхъ упоеній,
Хранитъ одинъ святой залогъ,
Одно божественное чувство [2]).

Въ такомъ воззрѣніи уже какъ бы проскальзывала легкая поправка къ представленію гордыхъ душъ въ ореолѣ особой привлекательности. Пушкинъ уже привносилъ въ изображеніе героевъ разочарованія данныя русской дѣйствительности и личнаго опыта и наблюденія и начиналъ освѣщать при помощи своего нравственнаго чутья лучше всѣхъ своихъ западноевропейскихъ предшественниковъ въ изображеніи этого типа всѣ слабыя стороны послѣдняго, эгоизмъ (въ Плѣнникѣ, Гиреѣ и Алеко), любовь къ праздности и лѣнь (въ Алеко), отсутствіе твердыхъ положительныхъ началъ (въ Онѣгинѣ) и т. п.

И въ этой критикѣ Пушкину могъ нѣсколько помочь своими болѣе зрѣлыми произведеніями тотъ самый Руссо, отъ котораго вышло все это литературное движеніе міровой скорби. Пушкинъ, какъ и Руссо, сталъ на точку зрѣнія необходимости обуздыванія страстей и эгоизма. Этимъ онъ отличается болѣе всѣхъ другихъ поэтовъ въ изображеніи и оцѣнкѣ героевъ разочарованія. Уразумѣть несостоятельность ихъ Пушкину много пособило его русско-тонкое, нравственное чутье, но не прошло для него безслѣдно при этомъ и вліяніе Руссо. Въ „Цыганахъ“ мы услышимъ и повтореніе тезисовъ первыхъ диссертацій этого писателя, и опроверженіе ихъ примѣни-

---

Подъемлетъ саблю, и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ, и проч.,

вызывало насмѣшки (см. V, 121).

[1]) Мы расходимся въ этомъ случаѣ съ сужденіемъ самого поэта, находившаго, что „Бахчисарайскій фонтанъ слабѣе Плѣнника“ (V, 121). Ранѣе Пушкинъ писалъ (VII, 54): „Бахчисарайскій Фонтанъ“ между нами, дрянь, но эпиграфъ его—прелесть“ (ср V, 133).

[2]) II, 329.

тельно къ нравственному чутью нашего поэта и къ позднѣйшимъ поправкамъ парадоксовъ французскаго писателя.

„Задумчивый“ [1]) Руссо былъ извѣстенъ Пушкину уже на двѣнадцатому году жизни поэта [2]). Жанъ-Жакомъ, повидимому, тогда увлекалась сестра Пушкина Ольга (впослѣдствіи Павлищева) [3]); и это увлеченіе могло передаться и нашему поэту. Потомъ Пушкинъ отзывался о Руссо весьма строго и пренебрежительно [4]), но все-таки впечатлѣнія и увлеченія дѣтства не могли пройти безслѣдно, и Пушкинъ въ годъ написанія „Цыганъ“ ставилъ Руссо въ общемъ, кажется, выше Вольтера [5]), потому что характерной чертой послѣдняго призналъ „скептицизмъ“, а особенностью Руссо—„филантропію“ [6]). И уже въ юные годы Пушкина образъ Руссо внушалъ ему обаяніе великаго страдальца: Пушкинъ называлъ его въ ряду тѣхъ поэтовъ, *мимо* которыхъ „катится фортуны колесо“:

Родился нагъ—и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо [7]).

---

[1]) V, 248.

[2]) Записки Смирновой, I, 305: „его романъ, когда мнѣ было 12 лѣтъ, казался мнѣ чудомъ“.

[3]) Соч. П., I, 14 („Къ сестрѣ“, 1814):

Чѣмъ сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жанъ-Жака ли читаешь?

[4]) III, 244 (Евг. Онѣг., I, XXIV, 1822):

Руссо (замѣчу мимоходомъ)
Не могъ понять, какъ важный Гриммъ
Смѣлъ чистить ногти передъ нимъ,
Краснорѣчивымъ сумасбродомъ.

Но вслѣдъ затѣмъ Руссо названъ „защитникомъ вольности и правъ“. См. еще Записки Смирновой, I, 305—306: „Быть можетъ, Руссо нисколько не менѣе Ловласа, и Кребильона унизилъ любовь, сказалъ Пушкинъ,—у него все фальшиво, даже природа. Даже Рене въ сто разъ выше его Новой Элоизы, такъ какъ чувствуется, что Шатобріанъ излилъ свою душу въ своихъ книгахъ, но Руссо, у котораго были такія жалкія и любовныя похожденія... кончилъ служанкой... при чтеніи нѣкоторыхъ страницъ я хохоталъ, какъ сумасшедшій, особенно когда они всѣ плачутъ: Санъ-Прё, Жюли, ея скучный и добродѣтельный супругъ. *Эмиль* несравненно менѣе скученъ, что же касается *Савойскаго Священника*, то я въ этой книгѣ не нашелъ трехъ строкъ, которыя бы дышали истиннымъ религіознымъ чувствомъ“ и т. д.

[5]) Въ „Первомъ посланіи цензору“ (1824) Руссо дважды поставленъ впереди Вольтера (I, 316 и 318), хотя въ первомъ случаѣ того не требовали ни размѣръ стиха, ни риѳма.

[6]) V, 355.

[7]) Соч. П., I, 20.

Не ко всему, конечно, въ произведеніяхъ Руссо могъ относиться сочувственно Пушкинъ. Онъ не могъ, напр., раздѣлять воззрѣніе отчаявшагося Руссо, что „Le pays de chimères est, en ce monde, le seul digne d'être habité", не могъ не усматривать искусственности и преувеличеній реторизма въ обвиненіи цивилизаціи и въ другихъ тирадахъ Руссо.

Но многое въ ученіи Руссо должно было съ юношескихъ лѣтъ привлекать пылкаго и не любившаго удержа поэта: призывъ слѣдовать голосу внутренней природы, превознесеніе добрыхъ чувствованій и страсти, возведеніе ея въ идеалъ не могли не найти отклика въ горячемъ сердцѣ Пушкина [1]). Не могъ пройти безслѣдно для нашего поэта и тотъ призывъ къ природѣ и свободѣ, который такъ отличалъ Руссо въ ряду французскихъ писателей XVIII в. и который находилъ у насъ поддержку и въ чтеніи Лафонтэна, въ особенности же Грея и Томсона [2]). Свое влеченіе къ природѣ русскій человѣкъ выразилъ

---

[1]) III, 382 („Евг. Он.", VIII, ш):

И я въ законъ себѣ вмѣняя
Страстей единый произволъ...

[2]) О Лафонтенѣ см. въ стихотвореніи „Городокъ" (Соч, П. I, 69—70), гдѣ, впрочемъ онъ охарактеризованъ, какъ

. . . . . пѣвецъ любезной,
Поэзіей прелестной
Сердца привлекшій въ плѣнъ,
. . . . . лѣнтяй безпечный,
Мудрецъ простосердечный.

Въ цит. уже „Посланіи къ сестрѣ" (Соч. П., I, 14) читаемъ:

Иль съ Греемъ и Томсономъ
Ты пренеслась мечтой
Въ поля, гдѣ отъ дубравы
Вдоль вѣетъ вѣтерокъ,
И шепчетъ лѣсъ кудрявый
И мчится величавый
Съ вершины горъ потокъ?

Замѣтимъ, что оба названные здѣсь поэта явились въ началѣ нашего вѣка въ русскихъ переводахъ, первый—въ стихахъ, второй — въ прозѣ. Любовь Пушкина къ природѣ ярко выразилась въ стихотв. „Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума" П. 154—155, 1833 г.):

Когда бъ оставили меня
На волѣ, какъ бы рѣзво я
Пустился въ темный лѣсъ! и т. д.

уже издавна въ пѣсняхъ о матери-пустынѣ, о раздольѣ безбрежныхъ степей и т. п.

Отчетливое уразумѣніе прелести и спасительности общенія съ природой возрасло въ Пушкинѣ съ той поры, какъ переводъ на югъ и другія обстоятельства обострили его отношеніе къ властямъ и обществу и, въ связи съ знакомствомъ съ поэзіею Шатобріана и Байрона, сдѣлали болѣе близкимъ ученіе Руссо объ извращеніяхъ цивилизаціи и о преимуществахъ, какими пользуется неиспорченный „l'homme de la nature", живущій согласно съ голосомъ своего сердца и подчиняющійся лишь велѣніямъ природы.

Это ученіе Руссо и излюбленные тезисы послѣдняго замѣтно выступаютъ въ поэмѣ Пушкина „Цыганы" (1824) [1]), сливаясь съ тѣмъ, что дѣйствительно было пережито самимъ поэтомъ: Пушкинъ сознавался, что за цыганъ

. . . . . лѣнивыми толпами
Въ пустыняхъ, праздный, *онъ* бродилъ,
Простую пищу ихъ дѣлилъ
И засыпалъ предъ ихъ огнями;
Въ походахъ медленныхъ любилъ
Ихъ пѣсней радостные гулы,
И долго милой Маріулы
. . имя нѣжное твердилъ [2]).

Еще и позднѣе (въ 1830 г.) любилъ онъ бывать у нихъ [3]) и признавалъ ихъ „счастливымъ племенемъ" [4]). Въ Пушкинѣ отзывалась въ данномъ случаѣ свойственная нашему народу любовь къ приволью, увлекавшая въ предшествовавшіе вѣка къ блужданію въ степяхъ, къ основанію козацкихъ вольницъ на пограничьи русскихъ земель и далѣе. Оттуда же увлеченіе нѣкоторыхъ цыганскими пѣснями. Эта какъ бы прирожденная народу любовь къ приволью слилась въ Пушкинѣ съ тѣми идеями о простомъ, но счастливомъ житьѣ-бытьѣ вдали отъ городской и искусственной цивилизаціи, которыя были пущены въ обращеніе со второй половины XVIII-го вѣка Руссо и его послѣдователями, въ особенности Бернарденомъ де-Сенъ-Пьеръ и Шато-

---

[1]) Это замѣтилъ уже Достоевскій въ рѣчи о Пушкинѣ. Ср. у Мережковскаго.
[2]) II, 364. См. еще III, 383 („Евг. Он.", VIII, IV).
[3]) VII, 254.
[4]) II, 97—98: стих. „Цыганы" (1830).

бріаномъ. Герой „Цыганъ“ Алеко, подобно своему автору Пушкину, былъ преслѣдуемъ „закономъ“, подобно поэту былъ „изгнанникомъ перелетнымъ“ и рѣшился на „добровольное изгнаніе“,—искать покоя среди цыганъ, плѣнившись ихъ житьемъ:

Какъ вольность, веселъ ихъ ночлегъ
И мирный сонъ подъ небесами.

Въ обстановкѣ ихъ жизни

Все скудно, дико, все нестройно,
Но все такъ живо-непокойно,
Такъ чуждо мертыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной [1]).

Рѣшившись стать цыганомъ, другомъ черноокой Земфиры,

Теперь онъ вольный житель міра...
И жилъ, не признавая власти
Судьбы коварной и слѣпой [2]).

Вслѣдъ за Руссо, и Алеко отзывался съ презрѣніемъ о жизни оставленныхъ имъ „людей отчизны, городовъ“. Въ его рѣчахъ слышимъ уже то противоположеніе безграничной свободы и красоты жизни въ природѣ печальному и подневольному житью въ удаленіи отъ нея, среди уродствъ цивилизаціи, на которое есть намеки и у Лермонтова и которое развито обстоятельно Л. Н. Толстымъ. Какъ теперь Л. Н. Толстой, Алеко не любилъ

Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонятъ [3]) *и проч.*

---

[1]) II, 347 и 349.
[2]) II, 349—350.
[3]) II, 351. Ср. начало „Воскресенья“.

Слѣдовало порицаніе жизни въ цивилизованномъ обществѣ, въ частности въ великосвѣтскомъ кругѣ, неоднократно прорывающееся въ поэзіи Пушкина съ довольно ранняго времени и до конца [1]).

Значеніе „Цыганъ" въ нашей поэзіи нѣсколько напоминаетъ значеніе Шиллеровыхъ „Разбойниковъ". Пушкинъ также искалъ выхода изъ душной и затхлой атмосферы современнаго ему общества. Признавая свѣтъ безнравственнымъ, „презрѣвшій", подобно Руссо, „*оковы просвѣщенія*", ставшій вольнымъ, какъ цыгане, Алеко не нашелъ однако счастія, потому что не покончилъ со своими страстями:

. . . Боже, какъ играли страсти
Его послушною душой!
Съ какимъ волненіемъ кипѣли
Въ его измученной груди [2])!

Алеко, разставшись съ цивилизаціей, не хотѣлъ отказаться также отъ ея привычекъ, отъ того, что̀ онъ считалъ своими „правами", и что̀ было эгоизмомъ [3]), и ему въ его гордости были непонятны нравы цыганъ, не имѣющихъ заботъ и не терзающихъ и не казнящихъ, „*смиренной вольности* дѣтей", у которыхъ женщина „привыкла къ рѣзвой волѣ" и безнаказанно пользуется ею.

И въ моментъ окончанія „Цыганъ" Пушкинъ какъ бы порѣшилъ, что счастіе среди сыновъ природы, о которомъ говорили Руссо и его послѣдователи, невозможно уже для одержимаго страстями образованнаго человѣка, привыкшаго къ „неволѣ душныхъ городовъ" и настолько сжившагося съ нею, что, ища свободы для себя, онъ отказываетъ въ ней другимъ, ограничивающимъ чѣмъ-нибудь его эгоизмъ:

. . . счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ издранными шатрами

---

[1]) Ср. I, 305:

Судьба людей повсюду та же:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль *просвѣщенье*, иль тиранъ.

[2]) II, 351.

[3]) Поживъ съ нимъ, Земфира говоритъ: „Мнѣ скучно, *сердце воли проситъ*..." (II, 356). Старикъ, на вопросъ Алеко о причинѣ оставленія безнаказанною измѣны матери Земфиры, отвѣчаетъ (II, 359): „Къ чему? Вольнѣе птицы младость" и т. д., а послѣ убійства Земфиры говоритъ Алеко: „Оставь насъ, *гордый человѣкъ*" (II, 363)

Живутъ мучительные сны....
И *всюду страсти роковыя*,
И отъ судебъ защиты нѣтъ [1]).

Очевидно, такой выводъ заключалъ мѣткую отповѣдь проповѣдникамъ бѣгства въ приволье простой жизни сыновъ природы, и въ значительной степени подрывалъ иллюзіи о счастіи среди этихъ сыновъ. Но все-таки Пушкинъ не отказался вполнѣ отъ одной изъ излюбленнѣйшихъ и симпатичнѣйшихъ грезъ и прежнихъ временъ и XVIII вѣка, впервые отчетливо въ новой литературѣ выраженной Руссо и продолженной и продолжаемой другими вплоть до нашихъ дней.

И постепенно эта мечта о счастіи въ возможной близости къ природѣ и въ жизни, отличной отъ жизни испорченнаго общества, созрѣвала все болѣе и болѣе въ умѣ Пушкина и принимала формы, уже не столь эксцентричныя, какъ въ „Цыганахъ", а болѣе согласныя съ обычными путями цивилизованной жизни, какъ бы въ соотвѣтствіе тому, что за цыганами

Не пойдетъ ужъ *ихъ* [2]) поэтъ.
Онъ бродящіе ночлеги
И проказы старины
Позабылъ для сельской нѣги
И домашней тишины [3]).

Такая уже болѣе зрѣлая форма доброй мечты, мысль о томъ, что лучшее и истинное счастіе возможно и въ цивилизованномъ обществѣ, но лишь въ жизни, близкой къ природѣ *и народу*, отчетливо уже выступаетъ въ произведеніи, первыя главы котораго были написаны одновременно съ „Цыганами", именно въ „Евгеніи Онѣгинѣ".

Въ этомъ романѣ на ряду съ героемъ скуки Онѣгинымъ рельефно выдвигается другая, положительная, фигура Татьяны, которую Достоевскій справедливо назвалъ истинною героинею произведенія. Татьяна менѣе оторвана отъ родной почвы, чѣмъ Онѣгинъ, и болѣе близка къ русской жизни въ силу своего воспитанія и любви къ народу.

---

[1]) П, 364.
[2]) Въ подлинникѣ стоитъ: вашъ.
[3]) П, 97—98.

Правда, пытаются теперь доказать, что „полурусскою была въ значительной степени и Татьяна, воспитанная на западной литературѣ, живущая ея идеалами“ [1]). Но, по словамъ поэта, Татьяна была совсѣмъ „русская душой“. Тѣмъ не менѣе, не лишено, конечно, значенія, что

Она по-русски плохо знала,
Журналовъ нашихъ не читала
И выражалася съ трудомъ
На языкѣ своемъ родномъ,
Итакъ, писала по-французски [2]).

Несомнѣнно также, что Татьяна—героиня отчасти во вкусѣ западно-европейскаго романа второй половины XVIII и начала XIX в. Къ природнымъ, не составляющимъ однако національной особенности и развитымъ отчасти благодаря чтенію западныхъ романовъ, чертамъ ея характера относилось то, что она

. . . . . въ милой простотѣ
. . . . не вѣдаетъ обмана
И вѣритъ избранной мечтѣ.
. . . . . любитъ безъ искусства,
Послушная влеченью чувства,
. . . . такъ довѣрчива она,
. . . . *отъ небесъ одарена*
Воображеніемъ мятежнымъ,
Умомъ и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцемъ пламеннымъ и нѣжнымъ [3]).

Въ ея письмѣ къ Онѣгину „сердце говоритъ, все наружу, все на волѣ“ [4]). Эта мечтательная и нѣжная натура могла любить грустный дискъ луны, помимо моды романтическихъ героинь. Но это дитя природы было полно и мечтаній, навѣянныхъ чужими литературами. Такъ, когда Татьяна полюбила Онѣгина,

---

[1]) Сиповскій, Татьяна, Онѣгинъ и Ленскій—Русская Старина 1899, № 5, стр. 329.

[2]) III, 292 (Е. О., III, xxvi).

[3]) III, 292 (Е. О., III, xxiv); см. еще III, 274 (Е. О., II, xxvi):
Задумчивость, ея подруга
Отъ самыхъ колыбельныхъ дней. .

[4]) III. 390 (Е. О., VIII, xx).

Счастливой силою мечтанья
Одушевленныя созданья,
Любовникъ Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Линаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежный,
И безподобный Грандисонъ,
Который намъ наводитъ сонъ;
Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись,
Въ одномъ Онѣгинѣ слились [1]).

Татьяна воображала и самое себя

. . . . . героиней
Своихъ возлюбленныхъ творцовъ,
Клариссой, Юліей, Дельфиной [2]).

Недаромъ

Она влюблялася въ обманы
И Ричардсона и Руссо [3]).

Ясно отсюда, что воображеніе Татьяны было наполненно западными романами,—Ричардсона, Руссо, Гёте, M-me de Staël, M-me Cottin, баронессы Крюднеръ.

Татьяна въ этомъ уподоблялась образованнымъ русскимъ дѣвушкамъ того времени [4]), но вмѣстѣ съ тѣмъ уже въ дѣтствѣ

. . . . . страшные разсказы
Зимою, въ темнотѣ ночей,
Плѣняли ... сердце ей [5]),

а потомъ также

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины [6]),

---

[1]) III, 284 (Евг. Он., III, IX).
[2]) III, Ib., строфа X.
[3]) III, 275 (Евг. Он., II, XXIX).
[4]) См. выше о сестрѣ Пушкина. „Полина въ „Рославлевѣ“ (около 1811 г.) „Руссо знала наизусть“ (IV, 111). Ср. о княжнѣ Полинѣ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ II, XXX (III, 275).
[5]) III, 274 (Е. О., II, XXVII).
[6]) III, 324 (Е. О., V, V).

и изъ выбора ея чтенія еще не слѣдуетъ, чтобы она не была вполнѣ „русская“ своей „душой“, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ мечтахъ, которыя рѣшили судьбу ея души.

Если приглядимся къ основнымъ воззрѣніямъ Татьяны, то увидимъ, что они находились въ связи не только съ сейчасъ указанными мечтами и нѣкоторыми основными идеями романовъ Ричардсона, Руссо, Гете и др., но преимущественно—съ средой, въ которой выросла Татьяна. Она

Волненье свѣта ненавидитъ;
Ей душно здѣсь ... она мечтой
Стремится къ жизни полевой,
Въ деревню, къ бѣднымъ поселянамъ,
Въ уединенный уголокъ,
Гдѣ льется свѣтлый ручеекъ,
Къ своимъ цвѣтамъ, къ своимъ романамъ,
И въ сумракъ липовыхъ аллей,
Туда, гдѣ *онъ* являлся ей [1]).

Татьяна въ годы зрѣлости была не только „мечтательницей милой“ [2]) и разсуждала не только въ духѣ идеальныхъ и сентиментальныхъ героинь западно-европейскихъ романовъ, любительницъ идилліи, когда говорила, уѣзжая изъ родной деревни:

Прости, веселая природа!
Мѣняю милый, тихій свѣтъ
На шумъ блистательныхъ суетъ [3]);

или въ Петербургѣ:

. . . . . Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ,
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище...

---

[1]) III, 379 (Е. О., VII, LIII).
[2]) III, 360 (Е. О., VII, I).
[3]) III, 369 (Е. О., VII, XXVIII).

Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моей [1]).

Чертою воспитанія и вмѣстѣ народности Татьяны слѣдуетъ признать, что

Все тихо, просто было въ ней [2]).

Вліяніе русскихъ нравовъ сказалось и въ знаменитомъ отвѣтѣ ея Онѣгину:

Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду вѣкъ ему вѣрна [3]).

Въ этихъ словахъ выступаетъ съ рѣшительностію нравственное чувство, рѣзко отличающее Татьяну отъ Руссовской Юліи. Julie d'Etange была приведена къ религіи своими несчастіями и искала убѣжища въ Богѣ, чтобы найти у Него то милосердіе, въ которомъ отказывали ей люди. Даже въ томъ самомъ письмѣ Татьяны къ Онѣгину, въ которомъ указываютъ, не совсѣмъ, впрочемъ, убѣдительно [4]), совпаденія съ выраженіями Юліи Вольмаръ, находимъ такія коренныя черты русскаго склада, какъ вѣру въ суженаго:

Я знаю, ты мнѣ посланъ Богомъ,
До гроба ты хранитель мой...,

или русскую религіозность:

Ты говорилъ со мной въ тиши,
Когда я бѣднымъ помогала,
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души [5]).

Вотъ эти-то природныя и чисто народныя черты характера Татьяны, въ соединеніи съ ея милою наивностію и свѣжестію ея нравственной натуры, и сообщили ея образу особую прелесть въ фантазіи

---

[1]) III, 403 (Е. О., VIII, XLVI). Любовь къ сельскому кладбищу (ср. II, 188—189: „Когда за городомъ задумчивъ я брожу..." 1836 г.) получила отчетливую форму въ душѣ нашего поэта впервые не подъ вліяніемъ ли извѣстной элегіи Грея, переведенной Жуковскимъ?

[2]) III, 387 (Е. О., VIII, XIV).

[3]) III, 403 (Е. О., VIII. XLVII).

[4]) Г. Сиповскій подбираетъ аналогіи къ выраженіямъ въ письмѣ Татьяны изъ различныхъ мѣстъ „Новой Элоизы".

[5]) III, 295 (Е. О., III, XXXI).

поэта. На основаніи словъ самого Пушкина [1]), въ Татьянѣ надо признать его идеалъ, правильнѣе—одно изъ выраженій его идеала. Самъ поэтъ выразился въ одномъ изъ разговоровъ, что Онѣгинъ не стоитъ Татьяны.

Какъ понимать это, и почему Татьяна выше Онѣгина? Татьяна какъ будто уступаетъ послѣднему въ широтѣ образованія и въ знаніи свѣта и людей, но она—въ большей степени русская душой, т. е. сердцемъ, умомъ и волею. Своею тонкою женской душой она лучше

---

[1]) III, 404 (VIII, L):

Прости жъ...
И ты, мой вѣрный идеалъ,

и 405 (VIII, LI):

А ты, съ которой образованъ
Татьяны *милый идеалъ*.

Ср. III, 258 (Е. О., I, LVII):

Такъ я, безпеченъ, воспѣвалъ
И дѣву горъ, мой идеалъ...

и III, 383 (Е. О., VIII, V):

И вотъ она (муза) въ саду моемъ
Явилась барышней уѣздной
Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою въ рукахъ.

Терминъ „уѣздная барышня" см. еще III, 312 (Е. О., IV, XXVIII). Объ „*уѣздныхъ* барышняхъ", типъ которыхъ такъ нравился Пушкину, имѣются интересныя указанія въ его произведеніяхъ. См. въ особенности IV, 76—77 („...что за прелесть эти уѣздныя барышни!... главное изъ ихъ существенныхъ достоинствъ: особенность характера, самобытность (individualité), безъ чего, по мнѣнію Жанъ-Поля, не существуетъ и человѣческаго величія") и „Отрывки изъ романа въ письмахъ" (1831 г.). Въ „Письмѣ Лизы" читаемъ: „Вообще здѣсь болѣе занимаются словесностью, чѣмъ въ Петербургѣ... Теперь я понимаю, почему Вяземскій и Пушкинъ такъ любятъ уѣздныхъ барышень; онѣ—ихъ истинная публика" (IV, 353). Ср тамъ же въ концѣ X-го письма (о Лизѣ): „...часъ отъ часу болѣе въ нее влюбляюсь. Въ ней много увлекательнаго. Эта тихая, благородная стройность въ обращеніи—главная прелесть высшаго петербургскаго общества—а между тѣмъ, что-то женское, снисходительное, доброродное. Въ ея сужденіяхъ нѣтъ ничего рѣзкаго, жестокаго. Она не морщится передъ впечатлѣніями... Она слушаетъ и понимаетъ васъ. Рѣдкое достоинство въ нашихъ женщинахъ..." Тамъ же далѣе о другой „милой дѣвушкѣ": „Эта дѣвушка, выросшая подъ яблонями, воспитанная между скирдами, природой и нянюшками, гораздо милѣе нашихъ однообразныхъ красавицъ, которыя до свадьбы придерживаются мнѣнія маменекъ, а послѣ свадьбы мнѣнія мужьевъ" (IV, 359). См. еще въ IV-мъ планѣ „Русскаго Пелама" (1835 г.): „балы, скука большого свѣта, происходящая отъ бранчивости женщинъ". Конечно, далеко не всѣ и изъ „уѣздныхъ" барышень были одобряемы Пушкинымъ. См., напр, характеристику Псковскихъ барышень—III, 308.

Онѣгина прочуствовала и поняла высшую правду жизни и нашла лучше Онѣгина выходъ изъ удушья испорченнаго свѣта. Она пока не бѣжитъ изъ послѣдняго и остается на мѣстѣ, но вся ея душа—не въ „омутѣ" пустой великосвѣтской жизни и въ скитальчествахъ, между проч.—и среди прекрасной, чарующей красотами, природы, а въ памятованіи о лучшемъ, что̀ есть въ жизни: ея воображеніе наполняетъ мысль о житьѣ не остывшимъ сердцемъ и дѣятельнымъ умомъ въ деревнѣ, хотя бы и неприглядной, [1]) среди природы и „бѣдныхъ поселянъ", которыхъ, какъ видно изъ этого выраженія, Татьяна очень любитъ. Одинъ изъ самыхъ дорогихъ образовъ, согрѣвающихъ ея память о прошломъ, принадлежитъ тому же деревенскому міру: это образъ ея „*бѣдной* няни". Упоминая о послѣдней, не думалъ ли Пушкинъ" о своей Аринѣ Родіоновнѣ, которая такъ сблизила его съ народомъ и о которой онъ тепло говорилъ уже въ послѣдній годъ своего пребыванія въ лицеѣ [2])? Сколь далекимъ отъ Татьяны во всемъ этомъ оказался Онѣгинъ: пребываніе въ родной деревнѣ не дало ничего ни его уму, ни сердцу, а въ противномъ случаѣ, сколько могъ бы онъ сдѣлать тамъ! Въ Татьянѣ Пушкина можно, кажется, на основаніи сказаннаго усматривать уже вполѣ русское видоизмѣненіе и воплощеніе грезъ Руссо и его послѣдователей о жизни вблизи природы; эти грезы нашли высшее и разумное осмысленіе и вполнѣ дѣйствительное примѣненіе благодаря тому, что слились со старорусскимъ идеаломъ жизни въ простотѣ, но богатствѣ духовнаго содержанія и со старо-русскимъ общеніемъ высшаго класса съ народомъ, которое держалось до печальнаго разлада, являющагося

---

[1]) Ср. признаніе самого Пушкина въ „Путешествіи Евгенія Онѣгина": Бычковъ, Вновь открытыя строфы романа „Евгеній Онѣгинъ", Р. Старина 1888, № 1, стр. 250: „Иныя нужны мнѣ картины" и проч. (III, 408—409).

[2]) Соч. П., I, 209—210 („Сонъ", 1816):

Ахъ, умолчу ль о мамушкѣ моей.

По разсказамъ современника, Пушкинъ „какъ же еще любилъ-то Арину Родіоновну... И онъ все съ ней, коли дома, чуть встанетъ утромъ, ужъ и бѣжитъ ее глядѣть: „здорова ли, мама?"—онъ ее все *мама* называлъ". На ея возраженіе: „какая я тебѣ мать", отвѣчалъ: „Разумѣется, ты мнѣ мать: не то мать, что родила, а то, что своимъ молокомъ вскормила". К. Тимоѳеева „Могила Пушкина и село Михайловское" —Русская Старина 1899, № 5, стр. 271. Ср. III, 315 (Е. О., IV, xxxv):

Но я плоды моихъ мечтаній
И гармоническихъ затѣй
Читаю только старой нянѣ,
Подругѣ юности моей.

и въ жизни Онѣгина. Татьяна жила все еще мечтою, но то была прекраснѣйшая мечта, между проч.,—и по близости къ осуществленію.

Въ образѣ Татьяны дана была, такимъ образомъ, наилучшая поправка указаннымъ грезамъ, а въ ея любви къ народу и ея самоотверженномъ подчиненіи себя долгу—лучшая критика героевъ скуки и тоски, послѣднею формаціею которыхъ подъ перомъ Пушкина явился Онѣгинъ,—новое, болѣе совершенное видоизмѣненіе Кавказскаго плѣника и Алеко.

Повторяя и постепенно углубляя изображеніе „современнаго человѣка", Пушкинъ достигъ отчетливаго уясненія его душевнаго склада и причинъ его тоски, какъ десятью годами позднѣе—Лермонтовъ, также много разъ принимавшійся за воспроизведеніе этого типа. Въ Онѣгинѣ уже ясны причины, вызывавшія такое замѣчательное и важное явленіе нашей внутренней исторіи въ XIX в

Онѣгинъ—какъ бы двусоставная личность: онъ гораздо болѣе Татьяны примыкаетъ къ западной культурѣ и въ то же время—живой типъ не глубоко образованнаго русскаго человѣка XIX вѣка, воспитавшагося исключительно въ односторонне воспринятыхъ завѣтахъ той культуры, столь много расходящейся со складомъ нашей общественной и нравственной жизни [1]). Русскій по происхожденію, Онѣгинъ оказывается въ слабой степени таковымъ по своему нравственному складу, воззрѣнію и настроенію. Онъ—лишь одна изъ крупныхъ русскихъ разновидностей типа, впервые ярко обрисованнаго Гёте въ періодъ нѣмецкаго Sturm und Drang, повторившагося въ соотвѣтственный періодъ нашей жизни въ силу аналогіи съ Западомъ въ развитіи нашего общества и благодаря вліянію западныхъ литературъ. Однимъ изъ представителей этого типа въ нашей жизни первыхъ десятилѣтій XIX вѣка былъ князь П. А. Вяземскій, на ряду съ другими послужившій, быть можетъ, отчасти прототипомъ Пушкинскаго Онѣгина [2]).

---

[1]) Шевыревъ не безъ основанія усматривалъ въ Онѣгинѣ „ходячій типъ западнаго вліянія на всѣхъ нашихъ свѣтскихъ людяхъ".

[2]) VII, 81 (письмо къ кн. П. А. Вяземскому 1824 г.): „Съ другой стороны деньги, Онѣгинъ, святая заповѣдь Корана—вообще мой эгоизмъ". Въ „Е. О.", I xxv (III, 244) читаемъ:

Второй Каверинъ, мой Евгеній...

О Каверинѣ см. данныя у Л. Н. Майкова, Соч. П., I, прим., стр. 358 и слѣд. Объ А. Н. Раевскомъ см. Я. Грота—Первенцы Лицея и его преданія въ „Складчинѣ", Спб. 1874, стр. 373, и въ ст. Сиповскаго, Р. Стар. 1899, № 6, стр. 566—568. См. еще Зап. Смирновой, I, 307: „Ты слишкомъ нравишься женщинамъ! восклик-

Воспитаніе Пушкинскаго Онѣгина было чуждо, повидимому, нравственныхъ устоевъ. Образованіе его не шло далѣе чтенія знатной русской молодежи въ началѣ нашего вѣка, когда

...всѣ учились понемногу,
Чему нибудь и какъ нибудь [1]).

Онѣгинъ не изучалъ тщательно исторіи и старыхъ писателей;

За то читалъ Адама Смита,
И былъ глубокій экономъ [2]),

и выглядѣлъ „философомъ въ осьмнадцать лѣтъ“ [3]). Его любимые авторы:

Юмъ, Робертсонъ, Руссо, Мабли,
Баронъ д' Ольбахъ, Вольтеръ, Гельвецій,
Локкъ, Фонтенель, Дидротъ, Парни,
Горацій, Кикеронъ, Лукрецій [4])...
Когда жестокая хандра
За нимъ гналася въ шумномъ свѣтѣ,
Поймала, за воротъ взяла
И въ темный уголъ заперла,
Сталъ вновь читать онъ безъ разбора.
Прочелъ онъ Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Stael, Биша, Тиссо,
Прочелъ скептическаго Беля,
Прочелъ творенья Фонтенеля,
Прочелъ изъ нашихъ кой-кого,
Не отвергая ничего [5]).

Изъ подбора писателей въ библіотекѣ Онѣгина уже видно, куда направлалась его мысль, работавшая во время чтенія, потому что

Хранили многія страницы

нулъ Пушкинъ,—ты смотришь прекраснымъ и печальнымъ юношей, ты можешь быть и есть мой Онѣгинъ, хотя задумалъ я его, когда ты еще тайкомъ читалъ Селику“.

[1]) III, 236 („Е. О.“, I, v).
[2]) III, 237 („Е. О.“, I, vii).
[3]) III, 243 („Е. О.“, I, xxiii).
[4]) III, 367 („Е. О.“, VII, къ xxii).
[5]) III, 398 („Е. О.“, VIII, xxxiv—xxxv).

Отмѣтку рѣзкую ногтей...
На ихъ поляхъ.....
Черты его карандаша:
Вездѣ Онѣгина душа
Себя невольно выражаетъ
То краткимъ словомъ, то крестомъ,
То вопросительнымъ крючкомъ [1]).

Но въ особенности настроеніе Онѣгина сказалось въ обстановкѣ его кабинета, „кельи модной[2])“, и въ предпочтительномъ вниманіи, какое онъ удѣлялъ нѣкоторымъ современнымъ поэтамъ:

Хотя . . . . . Евгеній
Издавна чтенье разлюбилъ;
Однакожъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ;
Пѣвца Гяура и Жуана,
Да съ нимъ еще два-три романа,
Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ [3]).

---

[1]) III, 367 („Е. О.“, VII, xxm).

[2]) III, 365 („Е. О.“, VII, xix):

...столъ съ померкшею лампадой,
И груда книгъ, и подъ окномъ
Кровать, покрытая ковромъ,
И видъ въ окно сквозь сумракъ лунный,
И..... блѣдный полусвѣтъ,
И лорда Байрона портретъ,
И столбикъ съ куклою чугунной
Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками сжатыми крестомъ.

Байронъ и Наполеонъ I—вотъ чьи изображенія нашли мѣсто въ кабинетѣ Онѣгина согласно съ романтическими идеалами.

[3]) III, 366—367 (VII, xxii). См. еще III, 282:

Въ постелѣ лежа, нашъ Евгеній
Глазами Байрона читалъ...

Другъ Пушкина, князь П. А. Вяземскій, назвалъ [1]) намъ одинъ изъ этихъ, не поименованныхъ поэтомъ, любимыхъ романовъ Онѣгина: именно—романъ „Адольфъ" того самого Бенжаменъ Констана, о которомъ любилъ разсуждать Евгеній. Судя по словамъ Вяземскаго, „Адольфъ" нравился также Пушкину, и пріятели часто говорили межъ собой „о превосходствѣ творенія сего".

Приглядѣвшись повнимательнѣе къ роману Бенжаменъ Констана, нельзя не замѣтить, что преимущественно къ его герою подходитъ характеристика „современнаго человѣка", представленная въ только что приведенной выдержкѣ изъ романа Пушкина, а равно и герой послѣдняго, Онѣгинъ, довольно близокъ къ тому современному человѣку [3]), какого изобразилъ названный французскій романистъ, т. е. къ Адольфу. Онѣгинъ не сколокъ съ Донъ-Жуана или какого-нибудь другого Байроновскаго героя, напр., Чайльдъ-Гарольда, съ которыми ему общи лишь нѣкоторыя отдѣльныя, лишь вскользь отмѣченныя нашимъ поэтомъ, черты, напр., бурная юность, отданная страстямъ [4]). Онъ напоминаетъ не менѣе существенными чертами и другихъ западныхъ героевъ тоски и скорби, а въ особенности Адольфа, съ которымъ у него наиболѣе

---

[1]) Въ предисловіи къ изданному имъ въ 1831 г. русскому переводу романа „Адольфъ". Новое изданіе русскаго перевода, принадлежащаго Львовичу—Кострицѣ выпущено Ледерле (Моя библіотека, №№ 123 и 124, Спб. 1894). Объ этомъ романѣ см. ст. Ch. Glauser—a: Benjamin Constant's „Adolph"—въ Zeitschrift für französische" Sprache und Litteratur, XVI, Heft 5 (1894).

[2]) Онѣгинъ могъ

Вести и мужественный споръ
О Байронѣ и Бенжаменѣ. III, 236.

[3]) По словамъ кн. Вяземскаго, „характеръ „Адольфа" вѣрный отпечатокъ времени своего. Онъ прототипъ Чайльдъ-Гарольда и многочисленныхъ его потомковъ. Въ этомъ отношеніи твореніе сіе не только романъ сегоднешній (roman du jour), подобно новѣйшимъ свѣтскимъ, или гостиннымъ романамъ, оно еще болѣе романъ вѣка сего. Всѣ свойства Адольфа, хорошія и худыя отливки совершенно современныя". Пушкинъ также признавалъ Адольфа идеаломъ женщинъ своего времени (см. IV, 351). Вторымъ изъ романовъ, „въ которыхъ отразился вѣкъ и современный человѣкъ", могъ быть Мельмотъ Maturin—a, упомянутый въ „Онѣгинѣ" (III, XII-III, 286). Пушкинъ называлъ Мельмотомъ Теплякова; см. П. Бартенева: „Пушкинъ въ южной Россіи"—Русскій Архивъ 1866, 1148—1149.

[4]) III, 304 (IV, IX):

Онъ въ первой юности своей
Былъ жертвой бурныхъ заблужденій
И необузданныхъ страстей.

О Ловеласничествѣ Онѣгина см. въ I-й и IV-й главахъ романа.

сродства. Разумѣемъ сходство не столько во внѣшней судьбѣ и, слѣд. во внѣшней исторіи, сколько въ душевномъ складѣ, характерѣ и идеяхъ.

Онѣгинъ—не мѣщанинъ, какъ Saint-Preux и Вертеръ, а аристократъ, какъ Рене и Адольфъ. По своему душевному складу однако Онѣгинъ ýже Вертера, котораго Пушкинъ мѣтко назвалъ „мученикомъ мятежнымъ“ [1]) и который можетъ быть признанъ личностью поэтическою, душою широкою, человѣкомъ геніальнымъ, не могущимъ примѣниться ни къ одному изъ требованій общества. Хотя Онѣгинъ и скептикъ, какъ Вертеръ, и именуется „философомъ“, но онъ не философъ на нѣмецкій ладъ, какъ Вертеръ, чуждъ лихорадочнаго пыла послѣдняго и его экзальтаціи и не такъ отчетливо выражаетъ любовь къ природѣ, какъ Saint-Preux и Вертеръ. Онѣгинъ не проповѣдуетъ такъ пламенно вражду къ цивилизаціи, какъ Вертеръ и Алеко, и чуждъ реторизма Рене, не противополагая себя міру въ антитезахъ. Въ то время, какъ Вертеръ мечтаетъ о природѣ и любви, а Рене также полонъ глубокаго христіанскаго чувства, порывовъ и мечты, Онѣгинъ какъ будто равнодушнѣе своихъ предшественниковъ. Онъ не знаетъ той глубокой печали, какая снѣдаетъ душу Рене, не вѣдаетъ и грандіозныхъ помысловъ о безсиліи личностей и націй Рене, который безучастно окидываетъ взоромъ всѣ реальности жизни, какъ познавшій безконечное. Онѣгинъ не мечтатель-христіанинъ и не мистикъ, какъ герой Шатобріана. Онъ напоминаетъ послѣдняго лишь широтою образованія, изяществомъ, непостоянствомъ стремленій, или, лучше сказать, отсутствіемъ глубокихъ и постоянныхъ влеченій, и тѣмъ, что не бѣжитъ надолго отъ людей, а остается среди нихъ. Онъ ищетъ развлеченія въ уединеніи деревни, какъ Вертеръ, и въ путешествіяхъ, какъ Рене и Чайльдъ-Гарольдъ, но къ путешествіемъ прибѣгаетъ и Адольфъ. Вообще же, Адольфъ и Онѣгинъ тоскуютъ болѣе или менѣе безучастно и сохраняютъ наиболѣе связи съ образованнымъ обществомъ, и Онѣгинъ въ этомъ отношеніи отличается отъ Кавказскаго плѣнника и Алеко.

Повторяю, Адольфъ и Онѣгинъ—личности, наиболѣе приближающіяся къ общему уровню, и авторы ихъ обнаружили наименѣе склонности къ идеализаціи ихъ, хотя также выдѣляютъ ихъ изъ окружающаго ихъ общества.

---

[1]) III, 284 (Е. О., III, IX).

Значительное внутреннее родство Адольфа и Онѣгина проявляется въ цѣломъ рядѣ общихъ имъ обоимъ воззрѣній, настроеній и положеній, которыя мы и выдѣлимъ изъ исторіи Адольфа, отмѣтивъ подъ чертою параллели въ романѣ объ Онѣгинѣ. Адольфъ—человѣкъ развитого ума, какъ и Онѣгинъ; онъ также „читалъ много, но всегда непослѣдовательно“ [1]). Онъ рано (съ 17 лѣтъ) [2]) исполнился грусти и меланхоліи [3]), поддавшись смутнымъ мечтаніямъ [4]). Онъ послѣдовательно проникался „индифферентизмомъ“ ко всѣмъ предметамъ, поочередно привлекавшимъ его любопытство. Онъ „чувствовалъ себя легко только одинокимъ“ [5]), прогуливался въ одиночку. Адольфъ возымѣлъ „непреодолимое отвращеніе ко всѣмъ ходячимъ положеніямъ и ко всѣмъ догматическимъ формуламъ“ [6]). Его „выводила изъ терпѣнія крѣпкая, неповорстливо—тяжелая убѣжденность“; онъ „остерегался этихъ общихъ аксіомъ, не допускающихъ никакого ограниченія, не дающихъ никакой уступки“ [7]), и питалъ интересъ къ немногимъ

---

[1]) О чтеніи Онѣгина см. выше. См. еще III, 251 (Е. О., I, XLIV: „Читалъ, читалъ, а все безъ толку“. Адольфъ много читалъ, испытывая душевныя страданія въ горѣ любви, какъ и Онѣгинъ.

[2]) Онѣгинъ—названъ „философомъ въ осьмнадцать лѣтъ“.

[3]) Первоначально Онѣгинъ испытывалъ „тоскующую лѣнь“ (III, 237—Е. О., I, VIII). Затѣмъ (ib., 249—250, XXXVII—XXXVIII):

....рано чувства въ немъ остыли;
Ему наскучилъ свѣта шумъ...
. . . . . русская хандра
Имъ овладѣла понемногу...
...къ жизни вовсе охладѣлъ...

[4]) III, 351 (Е. О., I, XLV):

Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность...

III, 252:

Открылъ я жизни бѣдной кладъ.

[5]) III, 360 (Е. О., VII, V):

Отшельникъ праздный и унылый.

[6]) III, 252 (къ Е. О., I, XLV):

Я сталъ взирать его очами...
Въ замѣну прежнихъ заблужденій,
Въ замѣну вѣры и надеждъ
Для легкомысленныхъ невѣждъ.

[7]) III, 268 (Е. О., II, къ XVI):

Въ прогулкѣ ихъ уединенной
О чемъ ни заводили споръ...
. . . . . Евгеній
Немилосердно поражалъ.

людямъ, скучая съ большинствомъ[1]). Но своимъ равнодушіемъ и въ другихъ случаяхъ шутками, въ которыхъ „умъ, приведенный въ движеніе, увлекалъ за всякія границы", Адольфъ „пріобрѣлъ широкую репутацію легкомысленнаго, насмѣшливаго и злого человѣка", при чемъ его „горькія слова принимались, какъ доказательства души, пропитанной ненавистью, шутки—какъ посягательство на все наиболѣе священное"[2]); тогда онъ оказался въ числѣ тѣхъ, которые „замыкаютъ въ самихъ себѣ свое тайное разномысліе, замѣчаютъ въ большей части смѣшныхъ сторонъ зачатокъ пороковъ, перестаютъ смѣяться, потому что презрѣніе смѣняетъ насмѣшку, а презрѣніе—молчаливо". Адольфъ „былъ очень молчаливъ и казался печальнымъ"[3]). Въ искуственномъ, отшлифованномъ обществѣ, окружавшемъ его, „возникло неопредѣленное безпокойство по поводу его характера. Не могли сослаться ни на одинъ предосудительный поступокъ; не могли

---

[1]) III, 267 (Е. О., II, XIV):

Хоть онъ людей, конечно, зналъ
И вообще ихъ презиралъ;
Но (правилъ нѣтъ безъ исключеній)
Иныхъ онъ очень отличалъ.

Ср. VII, 95: „Онѣгинъ нелюдимъ для деревенскихъ сосѣдей. Какъ полагаемъ, причиной тому то, что *въ глуши, въ деревнѣ все ему скучно*, и что *блескъ* одинъ можетъ привлечь его".

[2]) III, 251 (Е. О., I, XLV):

...рѣзкій, охлажденный умъ.

— 252 (Е. О., I, XLVI):

. . . . . Онѣгина языкъ
Меня смущалъ, но я привыкъ
Къ его язвительному спору,
И къ шуткѣ, съ желчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.

III 416:

...легкомысленное мнѣнье
О всемъ,... полное презрѣнье
Ко всѣмъ.

[3]) III, 250 (Е. О., I, XXXVIII): угрюмый, томный.

— 252 (Е. О., I, XLV): угрюмъ...

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей.

Ср. III, 307 (IV, XV):

Всегда нахмуренъ, молчаливъ,

и 367 (VII, XXIV):

Чудакъ печальный и опасный.

даже оспаривать нѣкоторыхъ изъ нихъ, которыя, казалось, свидѣтельствовали о великодушіи и самоотверженіи; но тѣмъ не менѣе объявили, что Адольфъ безнравственный и вѣроломный человѣкъ" [1]). Его характеръ называли „страннымъ и дикимъ" [2]), и его „сердце, чужое всѣмъ интересамъ общества" [3]), было „одиноко посреди людей и однакожъ страдало отъ одиночества, на которое оно обречено". „Общество надоѣдало" Адольфу, „одиночество удручало" [4]). „Въ домѣ своего отца Адольфъ воспринялъ по отношенію къ женщинамъ довольно безнравственную систему", усвоилъ „теорію фатовства" [5]) и уже въ самомъ началѣ романа является пресыщеннымъ Полюбивъ Элленору, Адольфъ пребывалъ въ бездѣятельности [6]). Онъ казался „страннымъ и несчастнымъ". „Онъ предвидитъ зло, прежде чѣмъ сдѣлаетъ его", и „отступаетъ съ отчаяніемъ, совершивъ его"; „онъ всегда кончалъ жестокостью, начавъ съ самопожертвованія, и, такимъ образомъ, не оставилъ послѣ себя другихъ слѣдовъ, кромѣ своихъ проступковъ". Сердечная, „прелестная Элленора была достойна лучшей доли и болѣе вѣрнаго сердца". Она— „особа, подчиняющаяся своимъ чувствамъ, и душа ея, всегда дѣятельная, находитъ почти отдохновеніе въ самопожертвованіи" [7]). Она также

---

[1]) III, 309 (Е. О., IV, XVIII):

....людей недоброхотство
Въ немъ не щадило ничего;

— 252 (I, XLV):

. . . . . ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей.

[2]) III, 251 (Е. О., I, XLV): неподражательная странность;
— 384 (VIII, VIII): корчитъ чудака;
— 404 (VIII, L): Мой спутникъ странный.

[3]) III, 384 (Е. О., VIII, VII):

Стоитъ безмолвный и туманный,
Для всѣхъ онъ кажется чужимъ.

[4]) III, 251 (Е. О. I, XLIII): Томясь душевной пустотой...

[5]) См. III, 237—240 (Е. О., I, IX—XIII, XV) и 304—305 (IV, X).

[6]) III, 251 (Е. О., I, XLIII, XLIV):

...Трудъ упорный
Ему былъ тошенъ:
. . . . преданный бездѣлью.

[7]) III, 291 (Е. О., III, XXV):

Татьяна любитъ не шутя,

весьма благочестива. Адольфъ однако желалъ свободы [1]). „Оттолкнувъ отъ себя существо, которое его любило, онъ не сталъ менѣе безпокойнымъ, менѣе тревожнымъ и недовольнымъ; онъ не сдѣлалъ никакого употребленія изъ свободы, завоеванной имъ цѣною столькихъ горестей и столькихъ слезъ; и, ставши вполнѣ достойнымъ порицанія, онъ сталъ достойнымъ также и жалости". „Адольфъ былъ наказанъ за свой характеръ своимъ-же характеромъ, не пошелъ ни по какой опредѣленной дорогѣ, не исполнилъ никакого полезнаго назначенія, расточилъ свои способности, слѣдуя только за своимъ капризомъ, безъ всякаго другаго побужденія, кромѣ раздраженія [2]). Обстоятельства весьма ничтожныя вещи, характеръ все... Измѣняютъ положенія,— но переносятъ въ каждое мученіе, отъ котораго надѣялись освободиться [3]); и такъ какъ не исправляются, занявъ другое мѣсто, то чувствуютъ

И предается безусловно
Любви, какъ милое дитя.

— 342 (VI, III):

„Погибну, Таня говоритъ:
Но гибель отъ него любезна.
Я не ропщу: зачѣмъ роптать?" *и проч.*

[1]) „Ma douleur était morne et solitaire, je n'espérais point mourir avec Ellénore; j'allais vivre sans elle, dans ce *désert de monde* que *j'avais souhaité* tant de fois *de traverser indépendant*. J'avais brisé ce coeur, compagnon du mien, qui avait persisté à se dévouer à moi dans sa tendresse infatigable".

[2]) III, 386–387 (Е. О., VIII, XII):

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ,
До двадцати шести годовъ,
Томясь въ бездѣйствіи досуга,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не успѣлъ.

[3]) III, 257 (Е. О., I, LIX):

Хандра ждала его на стражѣ,
И бѣгала за нимъ она,
Какъ тѣнь, иль вѣрная жена.

— 387 (VIII, XIII):

Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ
(Весьма мучительное свойство,
Немногихъ добровольный крестъ)...
И путешествія ему,
Какъ все на свѣтѣ, надоѣли...

только, что угрызенія совѣсти прибавились къ сожалѣніямъ и ошибки къ страданіямъ" [1]). Повѣсть объ Адольфѣ предана гласности авторомъ, „какъ довольно правдивая исторія ничтожества человѣческаго сердца. Если въ ней заключается поучительный урокъ, то онъ направляется по адресу къ мужчинамъ: онъ доказываетъ, что этотъ умъ, которымъ столь гордятся, не служитъ ни къ тому, чтобы найти счастье, ни къ тому, чтобы дать его; онъ доказываетъ, что характеръ, твердость, вѣрность, доброта суть дары, о ниспосланіи которыхъ надо молить небо".

Соотвѣтствія всѣмъ этимъ подробностямъ и выводамъ изъ романа объ Адольфѣ, какъ видно отчасти изъ составленныхъ нами примѣчаній, могутъ быть указаны и въ исторіи Онѣгина. Но сверхъ того открываются еще нѣкоторыя интересныя совпаденія во внѣшней исторіи обоихъ романическихъ героевъ. Такъ, и у Адольфа былъ своего рода Ленскій, молодой человѣкъ, съ которымъ онъ былъ довольно близокъ. „Послѣ долгихъ усилій, разсказываетъ Адольфъ, ему удалось заставить себя полюбить; и, какъ онъ не скрывалъ ни своихъ неудачъ, ни своихъ мукъ, онъ счелъ себя обязаннымъ сообщить мнѣ о своихъ успѣхахъ: ничто не можетъ сравниться съ его восторгами и избыткомъ его радости" [2]). Была у Адольфа и дуэль. Письмо Онѣгина къ Татьянѣ напоминаетъ нѣкоторыми мыслями объясненіе Адольфа съ Элленорой [3]) и т. п.

Конечно, указывая всѣ эти сходства, мы не думаемъ утверждать рѣшительныя и сознательныя заимствованія Пушкинымъ изъ любимаго имъ романа. Нашъ поэтъ, какъ истинно творческій геній, обработалъ вполнѣ самостоятельно общій сюжетъ, встрѣченный имъ у Гете, Шато-

---

[1]) III, 255 (Е. О., I, XLVIII):

Съ душою, полной сожалѣній,
И опершися на гранитъ,
Стоялъ задумчиво Евгеній...

[2]) Ср. III, 270 (Е. О., II, XIX):

. . . . . пламенная младость
Не можетъ ничего скрывать...

— 322 (IV, L):

И тайна брачная постели,
И сладостной любви вѣнокъ
Его восторговъ ожидали.

[3]) См. III-ю главу „Адольфа".

бріана, Бенжаменъ Констана, Байрона и другихъ западныхъ писателей и открывавшійся ему и въ русской жизни. Оттуда отличіе въ характерѣ и воззрѣніяхъ Онѣгина по сравненію съ западными родичами его и въ частности съ Адольфомъ[1]) и самостоятельная попытка Пушкина выяснить причину тоски „современнаго человѣка“[2]), атакже критическое отношеніе къ послѣднему, болѣе глубокое, чѣмъ у западныхъ поэтовъ романтической меланхоліи и тоски[3]).

Не слѣдуетъ преувеличивать пустоту Онѣгина и считать ее лишь чѣмъ-то навѣяннымъ и наноснымъ. Уже Татьяна задавалась вопросомъ:

Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Чтожъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?...
Ужъ не пародія ли онъ?
Ужель загадку разрѣшила?
Ужели слово найдено[4])?

Но, по всей вѣроятности, этотъ вопросъ былъ рѣшенъ Татьяной отрицательно, потому что она продолжала любить Онѣгина до конца,

---

[1]) Такъ, напр., Онѣгинъ не былъ застѣнчивъ, какъ Адольфъ, не былъ столь слабохарактеренъ, столь чувствителенъ и, съ другой стороны, столь жестокъ; въ отличіе отъ Адольфа этотъ „повѣса“ (III, 235) былъ свободенъ отъ такихъ крайностей; выдѣляясь „холодною душой“, Онѣгинъ все-таки, по словамъ поэта, не лишенъ иногда благородства см. III, 309—Е. О., IV, XVIII); нѣтъ въ немъ и нерѣшительности; наоборотъ, въ немъ чувствуются уже особенности русскаго характера, выступившія еще ярче въ „Героѣ нашего времени“.

[2]) III, 250 (Е. О., I, XXXVIII):

Недугъ, котораго *причину*
Давно бы отыскать пора,
Подобный англійскому сплину,
Короче—русская хандра.

[3]) Такъ, у Шатобріана престарѣлый père Souël преподаетъ Рене, выслушавъ исторію послѣдняго, наставленіе, въ которомъ называетъ этого героя тоски юнымъ мечтателемъ, жертвующимъ общественными обязанностями своимъ безполезнымъ мечтаніямъ; въ непріязненномъ созерцаніи свѣта еще нѣтъ геніальности. Но, тѣмъ не менѣе, Рене не отрѣшенъ въ повѣствованіи отъ своего ореола.

[4]) III, 367—368 (Е. О., VII, XXIV—XXV).

значитъ, находила въ немъ „неподражательную странность", какъ и поэтъ, который взялъ на себя даже нѣкоторую защиту своего героя, весьма знаменательную:

Зачѣмъ же такъ неблагосклонно
Вы отзываетесь о немъ?
За то ль, что *мы неугомонно*
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,
Что *пылкихъ душъ неосторожность*
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ;
Что *умъ, любя просторъ, тѣснитъ*;
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла;
Что глупость вѣтрена и зла;
Что важнымъ людямъ—важны вздоры,
И что посредственность одна
Намъ по плечу и не страшна [1])?

Онѣгинъ заслуживалъ такой защиты, потому что отличался недюжиннымъ умомъ, и его хандра, подобная англійскому сплину [2]), носила уже не личный по преимуществу характеръ, какъ тоска Кавказскаго плѣнника, а черты міровой скорби [3]), и была обусловлена также печальною русскою дѣйствительностію. Невозможность приспособиться къ средѣ, характеризующая и Вертера [4]), и Гётевскаго Тассо,

[1]) III, 385 (Е. О, VIII, IX).

[2]) Сближеніе хандры Онѣгина со сплиномъ встрѣчается нѣсколько разъ въ въ поэмѣ.

[3]) Разочарованіе Онѣгина относилось не только къ обществу людей (III, 225 —Е. О., I, XLV—XLVI), но и вообще къ „міра совершенству" (III, 267—Е. О., II, XV) Въ бесѣдахъ Онѣгина съ Ленскимъ

. . . . . все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племенъ минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предразсудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою чреду,
Все подвергалось ихъ суду.

[4]) Онѣгинъ страстно влюбляется лишь подъ конецъ повѣствованія, какъ Вертеръ, и притомъ въ замужнюю даму, но на отличіе его отъ Вертера намекаетъ Пушкинъ въ словахъ (III, 250—Е. О., I, XXXVIII):

Онъ застрѣлиться, слава Богу,
Попробовать не захотѣлъ.

и Фауста, и Оберманна, и Адольфа, и юнаго Пушкина, который въ личности Онѣгина передалъ нѣкоторыя воззрѣнія и привычки своей юности [1]), отличаетъ Онѣгина въ сильной степени и являлась наслѣдіемъ еще Екатерининскаго и непосредственно слѣдовавшаго времени [2]). Тоска Онѣгина происходила не отъ бездѣлья его; наоборотъ, послѣднее было обусловлено его мрачнымъ міровоззрѣніемъ, а не только пресыщеніемъ. По мнѣнію Фагэ, истинное основаніе тоски, характеризующей наше время,—ненависть къ жизни. Во времена Онѣгина еще не было научнаго обоснованія этой ненависти, хотя Оберманъ уже извлекалъ съ холоднымъ разсчетомъ выводы изъ своей пессимистической философіи. Систематическаго пессимизма Шопенгауэра Онѣгинъ еще не зналъ. Но все-таки причина его тоски заключалась не въ бездѣльѣ „большихъ баръ", а въ разбродѣ ихъ мысли и утратѣ

---

[1]) Поэтъ прибѣгалъ, между проч., къ формѣ представленія Онѣгина своимъ знакомымъ и другомъ, вліянію котораго подпалъ отчасти въ силу сходства положенія (III, 252—Е. О., I, XLV):

Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоихъ насъ:
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ;
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней *и т. п.*

Многое сближало Пушкина по выходѣ изъ лицея, да и потомъ, съ Онѣгинымъ напр., хандра (см., напр., VII, 123), образъ деревенскаго житья (VII, 182), но поэтъ протестовалъ противъ полнаго отожествленія автора съ его героемъ (см. III 258—Е. О., I, LVI):

Всегда я радъ замѣтить разность
Между Онѣгинымъ и мной,
Чтобы насмѣшливый читатель,
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здѣсь мои черты,
Не повторялъ потомъ безбожно,
Что намаралъ я свой портретъ *и проч.*

[2]) Разумѣю не столько пресыщенныхъ жизнью баръ Екатерининскаго времени, о скукѣ которыхъ упоминала уже поэзія прошлаго вѣка (Державина), сколько истинно образованныхъ русскихъ, побывавшихъ заграницей и выносившихъ оттуда много благородной тоски, какъ Радищевъ; объ А. А. Петровѣ, другѣ Карамзина, см. въ ст. г. Сиповскаго, Р. Старина 1899 г., № 6, стр. 565. У него же см. и о Ліодорѣ, разочарованномъ героѣ одной изъ повѣстей Карамзина.

жизнерадостности. Указывали различные и весьма разнородные источники этой утраты XIX в.: крушеніе прежней наивной религіозной вѣры, разрушеніе надеждъ на науку, исчезновеніе политическихъ надеждъ въ силу того, что никакое правленіе не представляетъ желательнаго совершенства. Исходный пунктъ тоски Онѣгина не исключительно философскій и не исключительно въ бездѣльѣ, обусловленномъ складомъ русской общественной жизни, а заключался одновременно въ причинахъ обоего рода, кромѣ личныхъ особенностей характера Онѣгина (=Пушкина), пережившаго уже въ ранней молодости пылъ человѣческихъ страстей безъ должнаго удержа и самообладанія.

Что касается въ частности русской жизни, то мы поймемъ, что она не могла разсѣять скуку Онѣгина, если обратимъ вниманіе на другія проявленія такого же настроенія, изображенныя въ поэзіи Пушкина. Мы увидимъ тогда, что у насъ то была тоска, навѣянная не общимъ лишь пессимистическимъ взглядомъ на жизнь, который началъ слагаться съ 70-хъ годовъ прошлаго вѣка, но и нашими, болѣе частными, условіями, оказывавшими весьма сильное вліяніе на нѣкоторыя впечатлительныя натуры.

Такъ, въ „Рославлевѣ“ (1831 г.) Полина, въ которой „было много страннаго и еще болѣе привлекательнаго“, „являлась вездѣ“, была „окружена поклонниками. Съ нею любезничали; но она скучала, и скука придавала ей видъ гордости и холодности“. Если вникнемъ въ причину ея скуки, то замѣтимъ, что княжну томило ничтожество окружавшаго ее общества. „Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора“, но только не произведенія русской литературы, которая казалась ей весьма бѣдной [1]). Тѣмъ труднѣе было Полинѣ, вполнѣ образованной на западно-европейскій ладъ, примириться съ ничтожествомъ личностей, въ кругу которыхъ она вращалась. Во время обѣда,

---

[1]) Ср. рѣзкія сужденія Онѣгина и самого поэта о русской литературѣ: III. 268 (Е. О., II, къ строфѣ xvi), 251 (Е. О., I, xlіii), 398 (VIII, xxxv). Въ III гл., стр. xxvii (стр. 292) читаемъ:

Я знаю: дамъ хотятъ заставить
Читать по-русски. Право, страхъ!
Могу ли ихъ себѣ представить
Съ „Благонамѣреннымъ“ въ рукахъ!

Ср. въ предисловіи къ первой части Онѣгина (1825 г.; III, 420); см. выше въ началѣ II-й главы.

на которомъ угощали въ Москвѣ M-me de Staël, лицо Полины „пылало, и слезы показались на ея глазахъ". „Я въ отчаяніи!" сказала Полина своей подругѣ послѣ обѣда. „Какъ ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщинѣ! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящія замѣчанія, сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. А здѣсь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замѣчательнаго слова въ теченіе цѣлыхъ трехъ часовъ! Тупыя лица, тупая важность... и только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидѣла, чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились.... Я сгорѣла со стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ отъ нашей свѣтской черни [1]) мнѣніе, котораго они достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый, простой народъ и понимаетъ его. Ты слышала, что сказала она дядюшкѣ, этому старому несносному шуту, который, изъ угожденія къ иностранкѣ, вздумалъ было смѣяться надъ русскими бородами? „Народъ, который, тому сто лѣтъ, отстоялъ свою бороду, отстоитъ въ наше время и свою голову" [2]).

Конечно, неправильно было называть такихъ тосковавшихъ „лишними" людьми: это были передовые люди своего времени. Они были лишними только въ смыслѣ малой доли пользы, какую принесли вслѣдствіе своего бездѣйствія при возгласахъ о томъ, что имъ нечего дѣлать въ Россіи [3]), въ сравненіи съ тѣмъ, что могли бы совершить.

Какъ бы то ни было, русская жизнь была особо богата условіями, которыя должны были порождать тоску въ русскомъ человѣкѣ, образованномъ на западно-европейскій ладъ и расходившемся съ обществомъ, какъ разошелся Чацкій.

Онѣгинъ—живой типъ такого русскаго интеллигентнаго „современнаго человѣка" [4]), недовольнаго жизнью, дѣйствительностію и изнывающа-

[1]) Обращаемъ вниманіе читателей на это выраженіе, важное для пониманія такихъ произведеній, какъ „Поэтъ и Чернь".

[2]) IV, 111—113. Ср. любовь Татьяны къ народу.

[3]) „Вернуться въ Россію зачѣмъ? Что̀ дѣлать въ Россіи"? писала изъ Венеціи еще Елена, героиня повѣсти Тургенева „Наканунѣ".

[4]) О томъ свидѣтельствуютъ отзывы критики, современной „Онѣгину"; см. у В. В. Сиповскаго, Р. Стар. 1899, № 6, стр. 560 и въ отдѣльномъ оттискѣ: „Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій" (Къ литературной исторіи Пушкинскихъ „типовъ") Спб. 1899, стр. 23.

го въ тоскѣ, типъ, который жилъ въ цѣломъ рядѣ лицъ и въ душѣ самого поэта въ качествѣ его „страннаго спутника“ въ теченіе немалаго количества лѣтъ его молодости, являясь въ нѣсколькихъ образахъ вплоть до Алексѣя повѣсти „Барышня-крестьянка“, который первый передъ уѣздными барышнями „явился мрачнымъ и разочарованнымъ; первый говорилъ имъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ увядшей юности“ [1]). Тоска Онѣгина долго владѣла душою Пушкина и другихъ лицъ поколѣнія, къ которому онъ принадлежалъ, да почти и и весь нашъ XIX вѣкъ наполненъ этимъ типомъ [2]). Слѣдовательно, это вполнѣ реальный типъ, вдобавокъ вполнѣ освѣщенный средою, въ которую поставленъ поэтомъ и которая изображена необыкновенно широко и художественно: романъ объ Онѣгинѣ—первая грандіозная картина почти всей русской жизни, предварявшая „Мертвыя души“ Гоголя въ „шуточномъ описаніи нравовъ“ [3]).

Въ этой, часто въ высшей степени безотрадной, картинѣ постоянно сквозитъ духъ поэта, искавшаго и находившаго выходъ изъ тоски Онѣгина. Къ этому выходу инстинктивно направлялся однажды какъ бы и самъ Онѣгинъ:

Наскуча или слыть Мельмотомъ [4]),
Иль маской щеголять иной,
Проснулся разъ онъ патріотомъ
Дождливой, скучною порой.
Россія, господа, мгновенно
Ему понравилась отмѣнно,

---

[1]) IV, 77; „сверхъ того носилъ онъ черное кольцо съ изображеніемъ мертвой головы“.

[2]) Сколь ни далекъ Базаровъ отъ Онѣгина, но все-таки онъ потомокъ послѣдняго въ полномъ слѣдованіи модному теченію западной культуры и отрицательномъ отношеніи къ русской дѣйствительности.

[3]) См. предисловіе Пушкина къ первой части Онѣгина 1825 (III, 419—420). Ср. еще VII, 59: „забалтываюсь до-нельзя“ и 62: „захлебываюсь желчью“. Н. Раевскій нашелъ сатиру и цинизмъ „въ Онѣгинѣ“ (VII, 70), но самъ поэтъ говоритъ, что о сатирѣ и помина нѣтъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ (VII, 117). Тѣмъ не менѣе, онъ опасался, что цензура не пропуститъ этой поэмы (VII, 72, 79, 82, 84). „Горе отъ ума“ гораздо уже по замыслу. Сужденія Пушкина о немъ разобраны въ ст. А. Залдкина: „Литературно-критическія воззрѣнія А. С. Пушкина—Р. Старина 1859, № 6, стр. 553. Изображеніе общества времени Пушкина по произведеніямъ послѣдняго см. въ рѣчи І. А. Малиновскаго: Русская общественная жизнь въ поэтическомъ изображеніи А. С. Пушкина, Томскъ 1899.

[4]) Ср. выше (стр. 102) о Мельмотѣ.

И рѣшено—ужъ онъ влюбленъ,
Ужъ Русью только бредитъ онъ!
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея политикой сухой,
Съ ея развратной суетой.
Онѣгинъ ѣдетъ; онъ увидитъ
Святую Русь: ея поля,
Пустыни, грады и моря [1]).

Повсюду однако Онѣгина преслѣдовала „тоска, тоска"! Лишь любовь его къ Татьянѣ могла стать залогомъ истиннаго обновленія его души.

Созданіе образа Татьяны было и для Пушкина однимъ изъ первыхъ симптомовъ поворота на новый путь, при чемъ Пушкинъ первый воспроизвелъ въ нашей поэзіи превосходство русской женщины, замѣченное уже въ началѣ нашего вѣка [2]).

Онѣгинъ не былъ и не могъ быть идеаломъ, какъ и Адольфъ [3]). Татьяна же—воплощеніе нѣкоторыхъ изъ излюбленныхъ грезъ самого поэта, который въ привязанности къ родной землѣ и народу обрѣлъ истинный выходъ изъ „безъименныхъ страданій" [4]) и „модной" болѣзни.

Пушкинъ, какъ и его Татьяна, угадалъ высшую потребность русской жизни, которой не понялъ

Онѣгинъ, очень охлажденный
И тѣмъ, что видѣлъ, насыщенный [5]).

Развязка романа уже указывала, куда направлялся духъ поэта, который невольно

Уѣхалъ въ тѣнь лѣсовъ Тригорскихъ,
Въ далекій сѣверный уѣздъ,

и дождался „другихъ дней, другихъ сновъ" [6]). Но при этомъ не современная Пушкину поэзія Запада указала нашему поэту выходъ, какъ не дали выхода и Онѣгину ни западная культура, ни вѣчно неудовлетворенная мечта, ни путешествія по образцу Байрона и его Чайльдъ-Гарольда.

---

[1]) Русская Старина 1888, № 1, стр. 240.

[2]) Ост. арх., I, 183, письмо кн. Вяземскаго изъ Москвы 1818 г.: „Въ однѣхъ женщинахъ нахожу я здѣсь удовольствіе, ибо точно имѣю въ нихъ много друзей. Большая часть нашихъ женщинъ двумя столѣтіями перегнала нашихъ мужчинъ. У здѣшнихъ бригадировъ умъ еще ходитъ въ штанахъ съ гульфиками".

[3]) Справедливо выразился кн. Вяземскій, что „Адольфъ не идеалъ".

[4]) Р. Стар, 1888, № 1, стр. 250.

[5]) Ib., 258.

[6]) Ib., 258 и 250.

Въ то время, когда Пушкинъ заканчивалъ своего Онѣгина, еще не возникали и въ замыслахъ произведенія въ родѣ деревенскихъ разсказовъ Ауэрбаха и Жоржъ-Зандъ, нашихъ „Записокъ охотника" Тургенева и повѣстей Григоровича. Пушкинъ, повторяю, самостоятельно, въ силу личныхъ симпатій, направлялся своею мыслью и сердцемъ въ міръ деревни, исходя еще изъ нѣкоторыхъ идей XVIII вѣка, но въ отрѣшеніи ихъ отъ фальши, которою отличался тотъ вѣкъ, по мнѣнію нашего поэта [1]. Пушкинъ сумѣлъ находить истинное подъ лживой оболочкой. Такъ, и признавая Руссо „фальшивымъ во всемъ" [2] и не читая его болѣе [3], Пушкинъ удержалъ въ памяти многое плодотворное изъ его идей и настроеній [4] и явился его послѣдователемъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ припоминаній и собратомъ нѣкоторыхъ изъ почитателей Руссо, напр., англійскаго поэта Уордсуорта, который сонетъ

. . . . . грудіемъ избралъ,
Когда, вдали отъ суетнаго свѣта,
Природы онъ рисуетъ идеалъ [5].

„Природы восторженный свидѣтель" [6], Пушкинъ, любившій въ юности „шумъ и толпу" [7], и тогда уже по временамъ, слѣдуя развившемуся въ XVIII в. культу уединенія и мечтательности и собственному влеченію, находилъ удовольствіе въ деревенской жизни [8] и

[1]) Записки Смирновой, I, 159: „У французовъ прежде былъ Lignon, затѣмъ пасторали великаго вѣка и пастушескія идилліи XVIII столѣтія. Все это только салонная литература. Подобные сюжеты можно рисовать на ширмахъ, на экранахъ, на вѣерахъ, на пано надъ дверями и наконецъ на потолкахъ вмѣстѣ съ олимпійскими богами и апофеозомъ короля-солнца".

[2]) Ib., 150—151.

[3]) Ib., 151: (читалъ) „Жанъ-Жака—очень молодымъ, а позже никогда, потому что онъ для меня очень скученъ". Ср. выше. Разочаровалась потомъ въ Руссо и сестра нашего поэта, Ольга: Л. Павлищевъ, Изъ семейной хроники. Воспоминанія объ А. С. Пушкинѣ, М. 1890, стр. 20

[4]) Вліяніе Руссо отзывается еще въ „Повѣстяхъ Бѣлкина" (IV, 54): „Я васъ люблю, говоритъ герой „Метели" своей неузнанной пока женѣ. Я поступилъ неосторожно, предаваясь милой привычкѣ, привычкѣ видѣть и слышать васъ ежедневно..." (*Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St. Preux*).

[5]) II, 98. Пушкинъ, повидимому, не раздѣлялъ мнѣнія Байрона объ этомъ поэтѣ. Слѣды знакомства съ нимъ открываются хотя бы въ словахъ: „We are seven": Зап Смирн., I, 144.

[6]) Соч. П., I, 287.

[7]) V, 22.

[8]) „Деревня" 1818 (I, 205—206). Поэтъ привѣтствуетъ „пустынный уголокъ, пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья". См. выборку мѣстъ, свидѣтельству-

уединеніи [1]). И тогда уже онъ любилъ свой „дикій садикъ“ съ „прохладой липъ и кленовъ шумнымъ кровомъ“, „зеленый скатъ холмовъ“, „луга“: „они знакомы вдохновенью“ [2]). Это вдохновеніе бывало иногда весьма серьезно.

Простой воспитанникъ природы,

Пушкинъ, какъ Руссо, считая свободу однимъ изъ „правъ природы“ [3]), о которомъ взываетъ „природы голосъ нѣжный“ [4]), воспѣвалъ

Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышалъ [5]).

Потому-то „другъ человѣчества“ уже на двадцатомъ году жизни не пробавлялся въ деревнѣ идилліей на манеръ XVIII в., а „мысль ужасная“ тамъ его „душу омрачаетъ“, и онъ въ „Деревнѣ“

. . . . . печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца. И т. п.

Такимъ образомъ, изъ наблюденія надъ деревенскою жизнью Пушкинъ, какъ и Уордсуортъ, но независимо отъ него, вынесъ стремленіе къ ниспроверженію зла, удручавшаго деревенскій людъ, и, первый изъ нашихъ поэтовъ [6]), за двадцать съ лишнимъ лѣтъ до Шевченка [7]), нарисовалъ смѣлою и энергичною кистью печальныя кар-

---

ющихъ объ „идиллическихъ стремленіяхъ“ Пушкина, въ брошюрѣ Б. Никольскаго Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина, Спб. 1899, стр. 15 и слѣд.

[1]) Соч. П., I, 283; I, 206, 241; „Уединеніе“ 1822 г. (I, 278).

[2]) I, 207.

[3]) I, 297.

[4]) II, 30.

[5]) II, 13. Ср. у Б. Никольскаго стр. 46, прим. 2.

[6]) Оставляемъ А. Н. Радищева въ сторонѣ, потому что рѣчь идетъ о поэтахъ.

[7]) Картины, изображавшія крѣпостного пахаря (см. „Кіевскую Старину“ 1899 г. № 4, стр. 152—153),—какъ бы иллюстрація стиховъ Пушкина:

Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца.

типы крѣпостнаго права, вызывавшія „des bons sentiments“, по выраженію импер. Александра I [1]). Пушкинъ желалъ бы „свободы просвѣщенной“ народу, при которой послѣдній могъ бы понимать и произведенія самого поэта [2]). Въ трудѣ для осуществленія этихъ и подобныхъ стремленій Пушкинъ усматривалъ свою высшую радость и оканчивалъ свою жизнь, направляясь своей мечтою, подобно Татьянѣ, въ деревню. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ стихотвореній онъ писалъ [3]):

На свѣтѣ счастья нѣтъ [4]), а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мнѣ доля,
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ
Въ обитель дальнюю *трудовъ* и чистыхъ нѣгъ [5]).

Вспомнимъ, что о подобномъ же покоѣ гдѣ-нибудь вдали въ Америкѣ мечталъ и Байронъ. Замѣтимъ также, что лучшія произведенія нашего поэта созданы въ деревенскомъ уединеніи Михайловскаго [6]), Малип-

[1]) I, 206. Это стихотвореніе—одно изъ цѣлаго ряда тѣхъ, которыми поэтъ „чувства добрыя пробуждалъ“, по выраженію Пушкина, быть можетъ, повторявшаго слова Александра I.

[2]) Зап. Смирновой. I, 157: „Полетика разсказывалъ мнѣ, что нѣкоторыя изъ пьесъ Шекспира играютъ въ праздникъ Рождества на фермахъ. Вотъ это слава! Е ли когда-нибудь крестьяне поймутъ моего „Бориса Годунова“ - это тоже будетъ слава. Я буду знать, что сдѣлалъ нѣчто хорошее, настоящее, понятное для всѣхъ“.

[3]) II, 193 (къ женѣ): „Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце проситъ...“

[4]) Ср. слова Руссо о томъ, что „Il n'y a de beau que ce qui n'est pas“, и Шиллера въ стих.: „Начало нашего вѣка“:

...На всей землѣ неизмѣримой
Десяти счастливцамъ мѣста нѣтъ.
Заключись въ святомъ уединеньи,
Въ мірѣ сердца, чуждомъ суеты.

[5]) Ср. Зап. Смирновой, I, 340: „Я смотрю на Неву и мнѣ безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароходъ... Еслибъ я это сдѣлалъ, что бы сказали? Сказали бы: онъ корчитъ изъ себя Байрона. Мнѣ кажется, что мнѣ сильнѣе хочется уѣхать *очень, очень далеко*, чѣмъ въ ранней молодости, когда я просидѣлъ два года въ Михайловскомъ...“ „Мнѣ именно теперь бы слѣдовало уѣхать съ женой въ деревню, по крайней мѣрѣ на годъ“.

[6]) Тамъ написано одно изъ самыхъ замѣчательныхъ юношескихъ стихотвореній Пушкина—„Деревня“. Тамъ же для поэта позднѣе

. . . . . безмолвно пролетали
Часы трудовъ, свободно вдохновенныхъ;

тамъ совершился въ немъ и нравственный переворотъ, ознаменовавшій наступленіе зрѣлости въ его мысли. См. II, 173-181 и ниже - въ III-й главѣ.—Оставляемъ въ сторонѣ Каменку, гдѣ были написаны элегіи „Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда...“, „Я пережилъ свои желанья“, окончаніе „Кавказскаго плѣнника“ и др.

никъ [1]), Болдина [2]). Тамъ онъ наиболѣе вдохновлялся [3]). Та постоянно шумная свѣтская жизнь, которую Пушкинъ долженъ былъ вести со времени женитьбы, была ему не по сердцу и тяготила его [4]).

Пушкинъ желалъ бы окончить свой вѣкъ согласно съ идеями Руссо и, подобно послѣднему, оставался во всю свою жизнь поэтомъ индивидуальной свободы,—даже тогда, когда отрекался отъ свободы политической на западно-европейскій ладъ [5]).

Вотъ сколькими нитями связаны воззрѣнія и наклонности Пушкина съ ученіемъ Руссо. Пушкинъ продолжалъ своими произведеніями вліяніе знаменитаго Женевца на русскую литературу, столь сильное съ Екатерининскаго времени, и какъ бы подалъ руку въ этомъ направленіи Л. Н. Толстому [6]).

Пушкинъ ввелъ при этомъ въ должныя рамки преувеличенія и неестественности, допущенныя Руссо, какъ и вообще не впадалъ въ односторонность, не увлекаясь чрезъ мѣру тѣми или иными писателями и всему удѣляя надлежащія границы.

Потому онъ избѣжалъ приторной сентиментальности и водянистости такъ или иначе примыкавшихъ къ направленію Руссо излюбленныхъ романовъ XVIII в. и начала XIX-го, въ которые вчитывался либо по искреннему увлеченію, либо изъ историческаго интереса, желая знать, чѣмъ восхищались его предки и современники.

Романъ объ Онѣгинѣ знакомитъ насъ съ кругомъ этихъ романовъ, плѣнявшихъ нашихъ предковъ во времена Пушкина и предъ тѣмъ.

---

[1]) См. ст. Н. Овсянникова: „Малинники и воспоминаніе объ А. С Пушкинѣ"—Моск. Вѣд. 1899, № 68.

[2]) См. Н. Овсянникова: „Болдино и воспоминаніе о А. С. Пушкинѣ"—Моск. Вѣд. 1899, № 96.

[3]) Въ письмѣ, напр., къ Плетневу въ мартѣ 1831 г. (VII, 264), Пушкинъ выражалъ желаніе „не доѣхать" въ Петербургъ и „остановиться въ Царскомъ Селѣ. Мысль благословенная! Лѣто и осень, такимъ образомъ, провелъ бы я въ уединеніи вдохновительномъ...".

[4]) Прямой поэтъ, по словамъ Пушкина (Къ Н**, 1834—прибавочные стихи: II, 168),

. . . . . сѣтуетъ душой
На пышныхъ играхъ Мельпомены.

[5]) См. ниже о стихотвореніи „Изъ Пиндемонте".

[6]) Ср. статью Н. Котляревскаго въ декабрьской кн. „Cosmopolis'"а 1898 г.

Иностранному роману тогда принадлежало значеніе бо́льшее, чѣмъ нынѣ:

Любви насъ не природа учитъ,
А Сталь или Шатобріанъ.
Мы алчемъ жизнь узнать заранѣ,
И узнаемъ ее въ романѣ [1]).

Въ особенности въ провинціи для многихъ романы „замѣняли все". Дѣвицы того времени, какъ мы знаемъ уже изъ исторіи Татьяны, влюблялись „въ обманы и Ричардсона и Руссо" [2]); воображеніе ихъ занимали

Любовникъ Юліи Вольмаръ,
Малекъ-Адель и де-Липаръ,
И Вертеръ, мученикъ мятежный,
И безподобный Грандисонъ,
Который намъ наводитъ сонъ,

и героини „возлюбленныхъ творцовъ, Кларисса, Юлія, Дельфина" [3]). Нашъ поэтъ такъ отмѣтилъ отличіе романовъ XVIII-го в. отъ романовъ начала XIX-го:

Свой слогъ на важный ладъ настроя,
Бывало, пламенный творецъ
Являлъ намъ своего героя
Какъ совершенства образецъ... *и т. д.*
А нынче всѣ умы въ туманѣ,
Мораль на насъ наводитъ сонъ,
Порокъ любезенъ и въ романѣ,
И тамъ ужъ торжествуетъ онъ.
Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы,
И сталъ теперь ея кумиръ
Или задумчивый Вампиръ,
Или Мельмотъ, бродяга мрачный,

---

[1]) III, 238 (Е. О., I, IX).

[2]) III, 273 (Е. О., II, XXIX—XXX).

[3]) Ib., 284 (III, IX—X). Объ увлеченіи русскаго общества XVIII в. романами см. въ книгѣ В. В. Сиповскаго: Н. М. Карамзинъ, авторъ „Писемъ русскаго путешественника", Спб. 1899; тамъ же на стр. 456 указаны другія статьи и монографіи, содержащія данныя о томъ.

Иль Вѣчный жидъ, или Корсаръ,
Или таинственный Сбогаръ [1]).

Нравились романы,

Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человѣкъ [2]).

Но читался по временамъ

Нравоучительный романъ,
Въ которомъ авторъ знаетъ болѣ
Природу, чѣмъ Шатобріанъ [3]),

или же

Рядъ утомительныхъ картинъ,
Романъ во вкусѣ Лафонтена [4]).

Въ зимнюю пору въ глуши

Читай: вотъ Прадтъ, вотъ Walter Scott [5]).

Въ ряду этихъ романовъ первое мѣсто по времени занимали романы Ричардсона. Ими увлекалось нѣкогда поколѣніе, уже доживавшее свой вѣкъ во времена Пушкина. Самому же поэту даже „хваленая" Кларисса, показалась скучной [6]). „Читаю томъ, другой, третій—скучно, мочи нѣтъ", пишетъ Лиза въ „Романѣ въ письмахъ". Скука, наводимая этимъ романомъ, обусловлена рѣзкимъ измѣненіемъ

---

[1]) III, 285—286 (Е. О., III, xi—xiii).

[2]) III, 366 (Е О., VII, xxii).

[3]) III, 312 (Е. О., IV, xxvi). Ср. 332 (Е. О., xxiii): („для Татьяны наконецъ" „кочующій купецъ" Задеку

...уступилъ за три съ полтиной,
Въ придачу взявъ еще...
...Мармонтеля третій томъ.

[4]) III, 322 (Е. О., IV, l): разумѣется романъ семейственный.

[5]) III, 319 (Е О., IV, xliii). Ср. ib., 89 (Графъ Нулинъ):

Въ Петрополь ѣдетъ онъ теперь...
Съ романомъ новымъ Вальтеръ-Скотта...

[6]) Пушкинъ читалъ Клариссу въ Михайловскомъ въ 1824 г. и писалъ о ней брату (VII, 92): „читаю Клариссу: мочи нѣтъ, какая скучная дура!" Такой рѣзкій отзывъ значительно смягченъ позднѣе: „Многіе читатели согласятся со мною, что Кларисса очень утомительна и скучна, но со всѣмъ тѣмъ романъ Ричардсоновъ имѣетъ необыкновенное достоинство" (V, 216—1834 г.; ср. ib., 249).

идеаловъ. „Какая ужасная разница между идеалами бабушекъ и внучекъ. Что есть общаго между Ловеласомъ и Адольфомъ? Между тѣмъ, роль женщинъ не измѣняется; Кларисса, за исключеніемъ церемонныхъ присѣданій, все жъ походитъ на героиню новѣйшихъ романовъ, потому ли, что способы нравиться въ мужчинѣ зависятъ отъ моды, отъ минутнаго вліянія, а въ женщинахъ они основаны на чувствѣ и природѣ, которыя вѣчны“ [1]). И дѣйствительно, Лиза этого отрывка сама даже находитъ сходство между собою и Клариссой,— правда, чисто внѣшнее, состоящее въ томъ, что она „живетъ въ глухой деревнѣ и разливаетъ чай, какъ Кларисса Гарловъ“ [2]). Въ тѣхъ же отрывкахъ вскользь изображена „Маша, стройная меланхолическая дѣвушка лѣтъ семнадцати, воспитанная на романахъ и на чистомъ воздухѣ“ [3]), какъ Татьяна. Не изъ стрыхъ ли романовъ отчасти и общая схема „Онѣгина“? Повидимому, такое построеніе романа нравилось нашему поэту. Повтореніе до извѣстной степени Онѣгинской схемы находимъ въ той, которая предназначалась для „романа въ письмахъ“ [4]). По плану автора, герой послѣдняго романа былъ своего рода Онѣгинымъ. Онъ писалъ о деревенской жизни: „отдыхаю отъ петербургской жизни, которая мнѣ ужасно надоѣла“. Читая романы, онъ также дѣлалъ замѣчанія на поляхъ, „блѣдно писанныя карандашомъ“. Лиза сообщала о немъ: „Онъ уже успѣлъ обворожить бабушку. Онъ будетъ ѣздить къ намъ. Опять пойдутъ признанія, жалобы, клятвы,—*и къ чему?* Онъ добьется моей любви, моего признанія, потомъ размыслитъ о невыгодахъ женитьбы, уѣдетъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ оставить меня—а я? Какая ужасная будущность“? [5])

Хваля построеніе романовъ прошлаго вѣка и предполагая со временемъ возвратиться къ „роману на старый ладъ“ [6]), Пушкинъ

---

[1]) IV, 350–351.

[2]) Ib, 350.

[3]) Ibid.

[4]) Ср. подобное же наблюденіе Поливанова: Сочиненія А. С. Пушкина съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики, т. IV. М. 1887, стр 161.

[5]) IV, 356, 353, 355. Въ концѣ отрывковъ Владиміръ Z. пишетъ другу: „Кромѣ Лизы есть у меня *для развлеченія* одна милая дѣвушка, моя родственница“ и т. д. Весьма благосклонный отзывъ о послѣдней не есть ли предвѣстіе, что Лизу должна была постигнуть участь Татьяны?

[6]) III, 286 (Е. О., III, хш):

Быть можетъ . . . . . .
Унижусь до смиренной прозы:

не одобрялъ лишь длинноты послѣдняго и содержанія рѣчей въ немъ: „большею частью романы“ XVIII-го столѣтія „не имѣютъ другаго достоинства: происшествіе занимательно, положеніе хорошо запутано, но Белькуръ говоритъ косо, но Шарлотта отвѣчаетъ криво. Умный человѣкъ могъ бы *взять* здѣсь *готовые характеры*, *исправить слогъ* и *безсмыслицы*, *дополнить недомолвки—и вышелъ бы прекрасный*, *оригинальный романъ*. Скажи это отъ меня моему неблагодарному Алексѣю П.... Пусть онъ *по старой канвѣ вышьетъ новые узоры* и представитъ намъ въ маленькой рамкѣ картину свѣта и людей, которыхъ онъ такъ хорошо знаетъ“ [1]).

Самъ Пушкинъ отчасти слѣдовалъ этому плану, и, если у него замѣчаются по временамъ пользованія частностями тѣхъ или иныхъ готовыхъ схемъ, эпизодовъ или характеровъ [2]), въ общемъ онъ давалъ превосходныя самостоятельныя картины жизни и изображенія характеровъ. Готовые образцы не подавляли его собственнаго творчества, и даже столь любимая въ XVIII в. форма романа въ письмахъ нашла мѣсто у Пушкина лишь въ немногихъ отрывкахъ. Равнымъ образомъ и увлеченіе Байроновымъ Донъ-Жуаномъ [3]) отрази-

---

Тогда романъ на старый ладъ
Займетъ веселый мой закатъ.
Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно въ немъ изображу,
Но *просто* вамъ *перескажу*
Преданья русскаго семейства;
Любви плѣнительные сны,
Да нравы нашей старины *и т. д.*

Ср. въ текстѣ сужденія Пушкина о Вальтеръ-Скоттѣ. Романъ въ письмахъ и задуманный Пушкинымъ „Русскій Пельгамъ“ (ср. Зап. Смирн., I, 307) не были ли попыткой осуществленія этого плана?

[1]) IV, 353.

[2]) См., напр., въ ст. Галахова: „О подражательности нашихъ первоклассныхъ поэтовъ“, Р. Старина 1888, № 1, стр. 27 и слѣд.: „У Пушкина, въ концѣ „Капитанской дочки“, именно въ сценѣ свиданія Марьи Ивановны съ императрицей Екатериной II, есть тоже подражаніе. Здѣсь образцомъ служитъ Вальтеръ-Скоттъ, романы котораго очень цѣнились нашимъ поэтомъ, назвавшимъ ихъ, въ одномъ письмѣ, „пищей для души“. Дочь капитана Миронова поставлена въ одинаковое положеніе съ героиней „Эдинбургской темницы“, Дженни, дочерью шотландскаго фермера“ и т. д. Ср. замѣчаніе Пушкина: „паѳоса много въ „Эдинбургской темницѣ“, въ характерѣ Дженни Динзъ; сцена ея свиданія съ королемъ Іаковомъ очаровательна“ (Зап. Смирновой, I, 159), и у Черняева стр. 80—82 и 206—207.

[3]) VII, 159 („Что за чудо Донъ-Жуанъ!“ и т. д.) и 56 („пишу... романъ въ стихахъ...—въ родѣ Донъ-Жуана“), но въ другомъ письмѣ (VII, 117—118) Пушкинъ однако просилъ не сравнивать Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ Байрона.

лось слабо въ существенномъ содержаніи „Онѣгина". Тѣмъ менѣе можно было ожидать повторенія у Пушкина недостатковъ второстепенныхъ романистовъ XVIII и XIX в. Пушкинъ со свойственнымъ ему мѣткимъ и тонкимъ критицизмомъ хорошо различалъ истинныя достоинства и промахи романовъи выдѣлялъ изъ ряда послѣднихъ выдающіеся. Такъ, онъ съ одобреніемъ отнесся къ тому, что французскіе писатели въ концѣ реставраціи „почувствовали, что цѣль художества есть *идеалъ*, а не *нравоученіе*. Но писатели французскіе поняли одну только половину истины неоспоримой, и положили, что и нравственное безобразіе можетъ стать цѣлью поэзіи, т. е идеаломъ! Прежніе романисты представляли человѣческую природу въ какой-то жеманной напыщенности; награда добродѣтели и наказаніе порока были непремѣннымъ условіемъ всякаго ихъ вымысла; нынѣшніе, напротивъ, любятъ выставлять порокъ всегда и вездѣ торжествующимъ, а въ сердцѣ человѣческомъ обрѣтаютъ только двѣ струны: эгоизмъ и тщеславіе" [1]). Такъ мѣтко открывалъ Пушкинъ основные недостатки господствовавшихъ литературныхъ теченій. Онъ вѣрно оцѣнивалъ также образцовыя созданія. Онъ „обожалъ" Донъ-Кихота, „образецъ правдивости, а между тѣмъ мысль Сервантеса почти скрыта, она проявляется только въ дѣйствіяхъ обоихъ героевъ" [2]). Пушкинъ находилъ, что „разница между Вальтеръ-Скоттомъ и Дюма прежде всего—та же самая, которая существуетъ между ихъ двумя націями. Но кромѣ того, Вальтеръ-Скоттъ историкъ, онъ описалъ нравы и характеръ своей страны... Это настоящая, почвенная и историческая поэзія. „Lairds" Вальтеръ-Скотта оригинальны такъ-же, какъ и его герои изъ народа; чувствуется, что это почерпнуто прямо изъ народнаго характера: въ нихъ есть свой особенный, сухой юморъ". Пушкину, повидимому, эти достоинства преимущественно и нравились въ романѣ, и онъ сожалѣлъ, что „въ Россіи мало переводятъ Вальтеръ-Скотта) и ему плохо подражаютъ; у насъ слишкомъ много переводятъ д'Арленкура и m-me Коттэнъ и даже уже подражаютъ имъ; это скоро создастъ намъ сентиментальные романы" [4]), „чопорности" которыхъ

---

[1]) V, 302

[2]) Зап. Смирновой, I, 158.

[3]) Другія сужденія Пушкина о Вальтеръ-Скоттѣ приведены у Черняева, стр. 64—65.

[4]) Зап. Смирновой, I, 159; см. еще тамъ же стр. 165—168, въ особенности: „Вальтеръ-Скоттъ сдѣлалъ одно характерное замѣчаніе: „Нѣтъ ничего болѣе дра-

Пушкинъ не одобрялъ [1]). Конечно, Пушкинъ находилъ недостатки и у Вальтеръ-Скотта, у котораго есть „лишнія страницы“ [2]). „Вальтеръ-Скоттъ описываетъ любовь съ точки зрѣнія своего времени: въ этомъ отношеніи онъ принадлежитъ еще прошлому вѣку, это не то, что Бульверъ; его герои и героини, главнымъ образомъ, влюбленные: но въ другихъ отношеніяхъ у него много *паѳоса*—я не понимаю, почему французы дали комичное значеніе этому англійскому слову, происходящему отъ слова патетическій“ [3]). Пушкинъ цѣнилъ, такимъ образомъ, истинную трогательность въ противоположность сентиментальности поколѣнія, изображавшагося въ романахъ второй половины XVIII в., поколѣнія, въ которомъ прекрасныя чувствованія разростались насчетъ разсудка.

Но самыя эти чувствованія въ ихъ естественномъ и вмѣстѣ благородномъ проявленіи были высоко ставимы нашимъ поэтомъ.

Лучшее поэтическое выраженіе дорогихъ для него чувствъ, наклонностей и преданій XVIII-го в., какое представила французская литература того столѣтія, Пушкинъ съ 1819—1820 г. признавалъ у Андре Шенье,

Того возвышеннаго галла,
Кому сама средь славныхъ бѣдъ
. . . гимны смѣлые внушала

„вольность“ [4]).

Пѣсни А. Шенье, погибшаго жертвою террора во время французской революціи, остались неизвѣстны большинству его современниковъ и пребывали въ рукописи въ рукахъ надежныхъ друзей поэта почти въ теченіе тридцати лѣтъ. Будучи изданы въ 1819 г., онѣ сразу вызвали удивленіе и всеобщія сожалѣнія о печальной судьбѣ поэта, столь рано унесеннаго гильотиной.

матичнаго, чѣмъ дѣйствительность“. Я того же мнѣнія. И еще есть разница между дѣйствующими лицами Дюма и Скотта. Всѣ герои Скотта одушевлены политической идеей; они дѣйствительно играли политическую роль“ (стр. 167; ср. 208).

[1]) V, 32: „О романахъ Вальтеръ-Скотта“ (1825 г.). См. еще V, 303: „чопорность и торжественность романовъ Арно и г-жи Котенъ“.

[2]) IV, 352.

[3]) Зап. Смирновой. I, 159. Въ письмѣ изъ Михайловскаго 1824 г. (VII, 87), читаемъ: „les conversations de Byron! Walter-Scott! Это пища души“.

[4]) I, 219.

Пушкинъ былъ однимъ изъ первыхъ [1]) поэтовъ и вмѣстѣ критиковъ, оцѣнившихъ

. . . . . тѣнь,
Давно, безъ пѣсенъ, безъ рыданій,
Съ кровавой плахи, въ дни страданій
Сошедшую въ могильну сѣнь,
Пѣвца любви, дубравъ и мира,
Пѣвца возвышенной мечты,

„задумчиваго“ и „восторженнаго“ поэта [2]). Признавая, что „священный лѣсъ грековъ сталъ священнымъ лѣсомъ для всѣхъ народовъ, для насъ также“ [3]), авторъ антологическихъ стихотвореній [4]), Пушкинъ позднѣе „восхищался“ Шенье, между проч. „потому что онъ единственный настоящій грекъ у французовъ. Единственный, который чувствовалъ, какъ грекъ. Еслибы онъ жилъ подольше, то произвелъ-бы революцію въ поэзіи“ [5]). Пушкинъ нѣсколько ошибался въ этомъ сужденіи [6]), какъ и въ томъ, что въ А. Шенье „романтизма нѣтъ

---

[1]) См. Анненкова Матеріалы², 96—96, Л. Н. Майкова Пушкинъ, 10, и Зап. Смирновой, I, 165. Подражанія и переводы Пушкина изъ Шенье начинаются съ 1820 г. (I, 216).

[2]) I, 337, 340, 342.

[3]) Зап. Смирновой, I, 147.

[4]) См. Черняева А. С. Пушкинъ, какъ любитель античнаго міра и переводчикъ древне-классическихъ поэтовъ, Каз. 1899. Анненковъ, Пушкинъ, Матеріалы, 69, признаетъ, что „большая часть антологическихъ стихотвореній Пушкина навѣяна чтеніемъ Андре Шенье, но есть между обоими поэтами и существенная разница“ (мѣра и изящество, „тонкій психологическій анализъ“). Ср. Б. Никольскаго, Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина, стр. 39.

[5]) Зап. Смирновой, I, 152. Ср. V, 43: „поэтъ, напитанный древностью, коего даже недостатки проистекаютъ изъ желанія дать французскому языку формы греческаго стихосложенія“.

[6]) Нѣсколько точнѣе оно въ черновикѣ письма 1823 г.: „онъ истинный грекъ. *C'est un imitateur savant*“, но рядомъ и съ этими словами читаемъ: „Отъ него такъ и пахнетъ Ѳеокритомъ и Анѳологіей“. Пушкинъ забылъ, что А. Шенье своимъ пристрастіемъ къ античной древности и ея созданіямъ примыкалъ къ роднымъ ему поэтамъ XVIII-го и даже XVI-го вѣка и въ этомъ отношеніи внесъ мало новизны: онъ только имѣлъ болѣе вкуса, таланта и лучше писалъ въ античномъ стилѣ. Но А. Шенье подобно Ронсару смѣшивалъ безразлично всѣ произведенія древности, подражалъ подражателямъ, не былъ поэтомъ свободныхъ порывовъ вдохновенія, а былъ по преимуществу поэтомъ ученаго мозаическаго мастерства, и о чистомъ эллинизмѣ у него не можетъ быть и рѣчи: этотъ хорошій ученикъ древнихъ былъ также истиннымъ сыномъ XVIII в.

еще ни капли" [1]), но превосходно воспроизвелъ въ своемъ стихотвореніи „Андрей Шенье" (1825 г.) образъ этого поэта, какъ ранѣе прекрасно воспѣлъ Овидія [2]). Многое помимо античнаго содержанія должно было привлекать Пушкина къ памяти и поэзіи того, о которомъ онъ выразился въ 1823 г.: „Никто болѣе меня не уважаетъ, не любитъ болѣе этого поэта" [3]). Шенье былъ милъ Пушкину прежде всего, какъ

. . . . . великій гражданинъ
Среди великаго народа,

какъ „восторженный поэтъ", лира котораго и наканунѣ казни

. . . . . поетъ свободу,
Не измѣнилась до конца [4])!

Вспомнимъ, что идеи французской революціи, которымъ заграждался путь къ намъ при Екатеринѣ II и Павлѣ, хлынули широкою волною при Александрѣ I [5]), въ особенности съ 1813—1814 гг. [6]), и кн. П. А. Вяземскій писалъ въ 1819 г. А. И. Тургеневу [7]):

Русскимъ быть и быть въ свободѣ?
Богъ такихъ чудесъ въ природѣ
Богъ не въ силахъ сотворить.

Пушкинъ (въ 1821 г.) прославилъ французскую революцію, какъ моментъ,

Когда, надеждой озаренный,
Отъ рабства пробудился міръ,

---

[1]) См. то же письмо: VII, 56. Въ поэзіи Шенье были уже нѣкоторыя ноты, предвѣщавшія поэзію Ламартина, Гюго и Альфреда де-Мюссэ.

[2]) I, 258—260: „Къ Овидію".

[3]) VII, 56.

[4]) I, 342 и 338.

[5]) Когда Васильчиковъ доложилъ въ 1821 г. Александру I объ обширномъ политическомъ заговорѣ, императоръ долго былъ безмолвенъ и затѣмъ, послѣ глубокаго раздумья, сказалъ: „Дорогой Васильчиковъ, вы, который находитесь на моей службѣ съ начала моего царствованія, вы знаете, что я раздѣлялъ и поощрялъ эти иллюзіи и заблужденія... Не мнѣ карать!.."

[6]) См. выше въ концѣ I-й главы.

[7]) Ост. арх., I, 240.

И галлъ десницей разъяренной
Низвергнулъ ветхій свой кумиръ....
И день великій, неизбѣжный,
Свободы яркій день вставалъ [1]).

И не лишено было значенія, что за нѣсколько мѣсяцевъ до катастрофы 14-го декабря нашъ поэтъ „не думалъ дѣлать тайны", а, напротивъ, сдѣлалъ „всѣмъ извѣстнымъ вполнѣ гораздо прежде напечатанія" стихотвореніе, въ которомъ А. Шенье говоритъ, по словамъ самого Пушкина,

„О взятіи Бастиліи.
О клятвѣ du jeu de paume.
О перенесеніи тѣлъ славныхъ изгнанниковъ въ Пантеонъ.
О побѣдѣ революціонныхъ идей.
О торжественномъ провозглашеніи Равенства.
Объ уничтоженіи Царей".

Понятно, что Пушкинъ долженъ былъ писать потомъ въ оффиціальномъ объясненіи: „Чтожъ тутъ общаго съ несчастнымъ бунтомъ 14 декабря, уничтоженнымъ тремя выстрѣлами картечи и взятіемъ подъ стражу всѣхъ заговорщиковъ" [2]), но это оправданіе теряетъ значеніе при чтеніи диѳирамба революціи, слышащагося изъ устъ Шенье [3]), при сопоставленіи съ упоминаніемъ о Шенье въ „Одѣ Вольность" и съ политическими идеями Пушкина въ годы 1819—1825 [4]).

---

[1]) I, 252.

[2]) Шляпкинъ, Къ біографіи Пушкина, 27—28. См. еще статью А. Слезскинскаго. „Преступный отрывокъ элегіи „Андре Шенье" (Изъ судебнаго процесса А. С. Пушкина, А. Леопольдова, Коноплева и др)"—Р. Стар. 1899, № 8. Сенатъ въ окончательномъ приговорѣ обратилъ вниманіе на неумѣстность выраженія „несчастнымъ".

[3]) Напр., въ словахъ (I, 338):

Я зрѣлъ твоихъ сыновъ гражданскую отвагу,
Я слышалъ братскій ихъ обѣтъ,
Великодушную присягу
И *самовластію* безтрепетный отвѣтъ.

Выше было уже сказано что либералы 20-хъ годовъ „самовластіемъ" называли самодержавіе.

[4]) См. въ запискахъ барона М. А. Корфа (Р. Стар. 1899, № 8, стр. 310) слова импер. Николая о свиданіи съ Пушкинымъ послѣ коронаціи въ Москвѣ: „Что̀ вы бы сдѣлали, если бы 14-го декабря были въ Петербургѣ, спросилъ я его между прочимъ. Былъ бы въ рядахъ мятежниковъ, отвѣчалъ онъ, не запинаясь". Должно,

Конечно, было весьма много незрѣлости и юношескаго задора въ формулировкѣ и провозглашеніи этихъ идей вслѣдъ за Шенье, привѣтствовавшимъ „свѣтило“ и „небесный ликъ“ свободы, „священный громъ“ которой

...разметалъ позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Разсѣялъ пепломъ и стыдомъ,

и моментъ, когда

...пламенный трибунъ предрекъ, восторга полный,
Перерожденіе земли...

впрочемъ, сказать, что нѣкоторыя подробности въ разсказѣ Корфа возбуждаютъ сомнѣнія: такъ, судя по словамъ самого Пушкина (см. выше—во вступленіи), „царственную руку подалъ“ поэту самъ императоръ, а не наоборотъ. Б. Никольскій, Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина, стр. 45, приписываетъ элегіи „Андре Шенье“ весьма важное значеніе въ творчествѣ Пушкина: она „въ области его гражданскихъ воззрѣній знаменуетъ такой же поворотъ, какъ „Пророкъ“ во всемъ его міровоззрѣніи... Съ нея начинается совершенная ясность и опредѣленность въ мысляхъ Пушкина о свободѣ. Мятежъ, революція осуждены имъ окончательно, и какъ поэтомъ и какъ гражданиномъ; въ трибуны онъ болѣе не мѣтитъ,—онъ сознаетъ, что его гражданскій подвигъ не выходитъ за предѣлы поэзіи. Но онъ не отрекся ни отъ народной, ни отъ личной свободы“... Это утвержденіе не совсѣмъ вѣрно, какъ явствуетъ изъ письма Пушкина къ кн. П. А. Вяземскому (VII, 137: „Читалъ ты моего А. Шенье въ темницѣ? Суди о немъ какъ езуитъ—по намѣренію“) и изъ стиховъ (о свободѣ, I, 338):

...ты придешь опять со *мщеніемъ* и славой
И *вновь враги* твои *падутъ*,

и изъ обращенія Шенье къ самому себѣ (I, 341):

Гордись и радуйся, поэтъ:
Ты не поникъ главой послушной
Передъ позоромъ нашихъ лѣтъ;
Ты *презрѣлъ мощнаго злодѣя;*
Твой свѣточъ, грозно пламенѣя,
Жестокимъ блескомъ озарилъ
Совѣтъ правителей безславныхъ:
Твой бичъ настигнулъ ихъ, казнилъ
Сихъ *палачей самодержавныхъ*...
Ты пѣлъ Маратовымъ жрецамъ
Кинжалъ и дѣву-эвмениду...
Падешь, тиранъ! *Негодованье*
Воспрянетъ наконецъ...

Отъ пелены предубѣжденій
Разоблачался ветхій тронъ;
Оковы падали. Законъ,
На вольность опершись, провозгласилъ равенство...[1])

Кромѣ того Пушкинъ былъ весьма подвиженъ и близокъ и къ нѣкоторымъ людямъ противоположнаго лагеря. Потому, быть можетъ, поэта и не приняли въ „Союзъ благоденствія"[2]) и другія тайныя общества, и „конституціонные друзья" Пушкина не посвятили его въ Каменкѣ въ сокровенную глубь своихъ замысловъ. Но все же мы не можемъ слѣдовать за Бѣлинскимъ и Зайцевымъ въ пренебрежительномъ отношеніи къ политическимъ идеямъ и стихотвореніямъ Пушкина-юноши, какъ къ ребяческимъ стишкамъ, хотя бы уже потому, что на даровитаго и мыслящаго юношу взирали съ интересомъ и надеждами даже такіе почтенные вожди старшихъ поколѣній, какъ Державинъ и Карамзинъ, и болѣе молодой Жуковскій, и вообще произведенія юнаго поэта производили много шума.

Кромѣ своего эллинизма и выраженія симпатичныхъ для Пушкина политическихъ идей, А. Шенье привлекалъ нашего поэта также и соотвѣтствіемъ настроенію и эстетическимъ вкусамъ послѣдняго, какъ пѣвецъ любви, природы и грусти во вкусѣ перелома, происшедшаго въ концѣ XVIII в. Уже въ своихъ произведеніяхъ съ античнымъ колоритомъ Шенье выражалъ нерѣдко чувствованія, которыя могутъ переживать и новые люди, напр., томленіе молодой души, охваченной непреодолимою любовью, и впадалъ при этомъ въ недостатокъ, общій ему съ нѣкоторыми изъ его современниковъ: онъ слишкомъ любилъ въ классической древности нездоровый эротизмъ, нравившійся Парни, Bertin-у, Lebrun-у и т. п. Шенье оказался, далѣе, сыномъ Руссо, перенявъ у послѣдняго культъ чувствительности. Подъ вліяніемъ Руссо, Шенье сталъ болѣе оригинальнымъ поэтомъ въ воспѣваніи друзей, своихъ возлюбленныхъ, природы и смерти: у него есть уже стихотворенія, предваряющія мягкую и жалобную гармонію Ламартинова *Озера* и выражающія сладостную горесть, наполняющую иногда наше сердце. Меланхолія („douce mélancolie, aimable mensongère"), страданіе души, обусловленное созерцаніемъ величія природы и нашей незначительно-

[1]) Запрещенный цензурою 1825 г. отрывокъ элегіи: „Андре Шенье": I, 338.

[2]) Ср. И. Житецкаго: „Изъ первыхъ лѣтъ жизни Пушкина на югѣ Россіи"—К. Стар. 1899, № 5, стр. 302. Якушкинъ, О Пушкинѣ. М. 1898, стр. 46—47.

сти и неосуществимости нашихъ мечтаній, достигшее наиболѣе совершеннаго выраженія въ новой поэзіи и прорывающееся съ большою искренностью уже у Шенье, должно было прійтись по душѣ нашему поэту, также подпавшему мечтательности конца прошлаго и начала нашего вѣка [1]. Юность Пушкина нѣсколько походила на „печальную и задумчивую" молодость А. Шенье [2]), и вполнѣ могли находить откликъ въ сердцѣ нашего поэта сѣтованія Шенье о столь быстро умчавшейся молодости, объ исчезнувшихъ ея прекрасныхъ мечтахъ, о любви, поблекшей отъ забвенія, и скорбныя предчувствія близкой смерти [3]). Шенье былъ творцомъ, между проч., элегій, т. е. лириче-

---

[1]) I, 230: Задумчивый, забавъ чуждаюсь я...

I, 259: Съ душой задумчивой...

Соч. П., I, 287:

И гулъ дубравъ горамъ передавалъ
Мои задумчивые звуки.

I, 236: Приду ли вновь . . . . . .
Воспоминать души моей мечты?

I, 383: Простите, сумрачныя сѣни,
Гдѣ дни мои прошли въ тиши,
Исполнены страстей и лѣни
И сновъ задумчивыхъ души.

То же почти буквально въ „Е. О." (IV, XLVI)—III, 37: ...Дни мои текли, исполнены... сновъ задумчивой души". И т. п.

[2]) Triste et pensive jeunesse, по выраженію Шенье.

[3]) Ср. съ цитованными выше элегическими стихами Пушкина слова, влагаемыя въ уста Шенье (I, 393—340):

„ . . . . . Надежды и мечты,
И слезы и любовь, друзья, сіи листы
Всю жизнь мою хранятъ . . . . . ."
Пора весны его съ любовію, тоской
Промчалась передъ нимъ... Красавицъ томны очи,
И пѣсни, и пиры, и пламенныя ночи,
Все вмѣстѣ ожило...
„Куда, куда завлекъ меня враждебный геній?
Рожденный для любви, для мирныхъ искушеній,
Зачѣмъ я покидалъ безвѣстной жизни сѣнь,
Свободу и друзей, и сладостную лѣнь?
Судьба лелѣяла мою златую младость,
Безпечною рукой меня вѣнчала радость,

скаго рода, который такъ любилъ и Пушкинъ, защищавшій элегіи „вѣнокъ убогій“ противъ строгаго критика, отстаивавшаго оды и кричавшаго:

. . . . . „да перестаньте плакать,
И все одно и то же квакать,
Жалѣть *о прежнемъ, о быломъ*:
Довольно, пойте о другомъ.

Въ элегіи Пушкинъ усматривалъ созданіе по преимуществу нашего вѣка, между тѣмъ какъ оды писались

. . . . . въ мощны годы,
Какъ было встарь заведено [1]).

Пушкинъ стоялъ за индивидуализмъ въ поэзіи, за права поэта создавать свои собственныя темы, выражать свои чувства. Это былъ частный вопросъ, ходившій въ болѣе общій—о призваніи и назначеніи поэта и объ отношеніи его къ обществу. А Шенье подавалъ поводъ къ постановкѣ и этого болѣе общаго вопроса, между прочимъ—своими „Ямбами“, или обличительными стихотвореніями, и своей судьбой. А. Шенье явилъ собою для Пушкина достойнѣйшій примѣръ независимости мысли и слова поэта-гражданина, мужественно отстаивающаго свои идеи въ виду „буйной слѣпоты“ „равнодушной толпы“, а не только противъ „мощнаго злодѣя“ и „тирана“. Печальная участь А. Шенье разительно также показывала, какъ иногда „люди платятъ черной неблагодарностью поэтамъ, открывающимъ имъ идеалы“ [2]), къ каковымъ Пушкинъ причислялъ, конечно, и себя [3]). Отъ А. Шенье нѣкоторые выводятъ ученіе о „независимости поэтическаго вдохновенія отъ какихъ-либо постороннихъ ему цѣлей“ и о „вознагражденіи имъ поэта за ту безотзывность, которую встрѣчаетъ онъ у людей“. Подобно Туманскому и Козлову, Пушкинъ

И муза чистая дѣлила мой досугъ:
На шумныхъ вечерахъ друзей любимый другъ,
Я сладко оглашалъ и смѣхомъ, и стихами
Сѣнь, охраненную домашними богами“.

Читая это, какъ бы слышите повѣствованіе Пушкина о его собственной юности.

[1]) III, 314 (Е. О, IV, xxxii—xxxiii).

[2]) Зап. Смирновой, I, 196. Пушкинъ сближалъ себя съ Шенье (VII, 159 и 168).

[3]) Мы видѣли, что, по мнѣнію Пушкина, „цѣль художества есть идеалъ“.

перевелъ стихотвореніе Шенье: „близь мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая“, изображающее пѣвца, который

. . . . любитъ пѣснь свою; поетъ онъ для забавы,
Безъ дальнихъ умысловъ; не вѣдаетъ ни славы,
Ни страха, ни надеждъ, и тихой музы полнъ
Умѣетъ услаждать свой путь надъ бездной волнъ.
На морѣ жизненномъ, гдѣ бури такъ жестоко
Преслѣдуютъ во мглѣ мой парусъ одинокій,
Какъ онъ, безъ отзыва утѣшно я пою,
И тайные стихи обдумывать люблю [1]).

Это стихотвореніе сближаютъ со стихотвореніями Пушкина, относящимся къ тому же 1827 году, „Соловей“ и „Поэтъ“ (Пока не требуетъ поэта и т. д.). Тогда же пришла Пушкину первая мысль знаменитаго стихотворенія „Чернь“ (1828), [2]) въ которомъ поэтъ гордо и презрительно отвѣчаетъ на требованіе „тупой черни“, „безсмысленнаго, непросвѣщеннаго народа“, чтобы пѣсня поэта приносила пользу, „исправляла сердца собратьевъ“, и которое заключено, повидимому— въ духѣ теоріи искусства для искусства [3]), словами:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ [4]).

Такимъ образомъ, какъ будто оказывается что, у А. Шенье была почерпнута Пушкинымъ мысль, ставшая исходнымъ пунктомъ ряда

---

[1]) II, 22. У Шенье (Oeuvres poétiques de André de Chénier. Avec une notice et des notes par M. Gabriel de Chénier, T. I. Par. MDCCCLXXIV, p. 129) послѣднимъ четыремъ стихамъ Пушкина соотвѣтствуютъ:

. . . . . Comme lui je me plais à chanter
Les rustiques chansons que j'aime à répéter.
Adoucissent pour moi la route de la vie.
Route amère et souvent de naufrages suivie.

Ср. однако тамъ же p. 251.

[2]) Поливановъ, Соч. Пушкина, I, 245 и 260. Народъ, имѣющій, по словамъ поэта, для своей глупости и злобы „бичи, темницы, топоры“—не французы ли, возведшіе А. Шенье на плаху?

[3]) См. выше—въ I-й главѣ.

[4]) II. 50.

другихъ, закончившихся какъ бы провозглашеніемъ теоріи искусства для искусствъ [1]).

Даютъ и другое объясненіе стихотворенію „Чернь". „По словамъ Шевырева, Пушкинъ написалъ эту піесу подъ вліяніемъ художественной теоріи Шеллинга, проповѣдовавшей освобожденіе искусства, и съ которою Пушкинъ познакомился въ кружкѣ Веневитинова. Мнѣніе Шевырева было принято Анненковымъ и положено въ основу его сужденій о позднѣйшей поэтической дѣятельности Пушкина" [2]).

Въ связь съ этимъ стихотвореніемъ, заканчивающимся словами о томъ, что поэты *рождены* „не для житейскаго волненья", а для „*вдохновенья* и *молитвъ*", интересно, кажется намъ, ставить написанное двумя годами раньше стихотвореніе „Пророкъ", въ которомъ поэтъ представленъ внявшимъ

. . . . . неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,

получившимъ свыше „жало мудрыя змѣи", вмѣсто сердца — „угль, пылающій огнемъ", и долженствующимъ, *по велѣнію Божію*, „глаголомъ жечь сердца людей" [3]). Только принимая во вниманіе совокупность всѣхъ названныхъ стихотвореній Пушкина, можно составить правильное понятіе о взглядѣ его на призваніе поэта, взглядѣ, оставшемся съ 1826 г. неизмѣннымъ [4]) и отличающемся значительнымъ своеобразіемъ при всемъ кажущемся сходствѣ его съ подобными же идеями англійскаго поэта Кольриджа, который также былъ знакомъ съ воззрѣніями Шеллинга, и польскаго Мицкевича [5]). Только обративъ вни-

---

[1]) Ср. у А. Н. Пыпина Истор. р. лит., т. IV, Спб. 1899, стр. 382 и слѣд.

[2]) Л. Н. Майкова Пушкинъ, стр. 343—344.

[3]) II, 2—3. См. объ этомъ стихотвореніи Н. Ѳ. Сумцова Этюды объ А. С. Пушкинѣ, вып. I, Варш. 1893, стр. 1—15.

[4]) II, 190 (1836):

Велѣнью Божію, о муза, будь *послушна*,
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

[5]) Вкратцѣ см. о нихъ въ замѣткѣ E. Porębowicza: „Gdzie jest zródło wiary Mickiewicza w godność proroczą poety?" — Pamiętnik Towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewicza rocznik VI, We Lwowie 1898, str. 310—315.

маніе вдобавокъ на юношескія стихотворенія Пушкина съ ихъ толками о „черни и толпѣ непросвѣщенной“ [1]), возможно понять степень самостоятельности, созрѣваніе Пушкинской теоріи, въ самомъ сердцѣ ея поэта происхожденіе и постепенное видоизмѣненіе. Что до Мицкевича, то вѣроятнѣе всего, что мысль о пророческомъ служеніи поэта онъ могъ почерпнуть въ живомъ общеніи съ Пушкинымъ, у котораго она была уже во вполнѣ готовомъ видѣ въ декабрѣ 1825 г. Пушкинъ могъ знать Кольриджа уже въ началѣ двадцатыхъ годовъ благодаря Н. Н. Раевскому [2]), но и помимо этого англійскаго воздѣйствія онъ могъ проникнуться величавымъ представленіемъ поэта въ образѣ пророка благодаря чтенію библіи, которою онъ сталъ интересоваться съ 1824 г. [3]), и сближенію своего положенія въ изгнаніи съ судьбою библейскихъ пророковъ, обличителей царскаго нечестія [4]). Противо-

[1]) Уже въ посланіи „Къ П. П. Каверину“ (1817 г.—Соч. П., I, 258) читаемъ

И черни презирай ревнивое роптанье.

Ср. тамъ же I, 265: Пусть чернь слѣпая суетится...

Затѣмъ въ „Деревнѣ“ 1819 г. (I, 205):

Я здѣсь *отъ суетныхъ оковъ освобожденный,*
Учуся въ истинѣ блаженство находить...
Роптанью не внимать *толпы непросвѣщенной*...

Въ стих. „Никитѣ Всеволод. Всеволожскому“ (1810—I, 209):

Итакъ, отъ нашихъ береговъ,
Отъ *мертвой области рабовъ*,
Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь въ мрачную Москву...;

„Кн. А. М. Горчакову“ (также 1819 г.—I, 211):

Опасною прельщенный суетой,
Терялъ я жизнь, и чувства и покой;
Но *угорѣлъ въ чаду большого свѣта*
И отдохнуть убрался я домой. И т. п.

[2]) См. у Л. Н. Майкова, Пушкинъ, стр. 144, 149—151. Пушкинъ „перечитывалъ Кольриджа“ въ 1830 г.: V, 187.

[3]) Въ мартѣ 1824 г. Пушкинъ писалъ изъ Одессы (VII, 74): „Читая Библію, святой духъ иногда мнѣ не по сердцу“, а осенью того же года изъ Михайловскаго (VII, 92): „Библію, библію! и непремѣнно французскую“; ср. еще ib., 98; Зап. Смирновой, I, 266—267—о заимствованіи идеи „Пророка“ изъ Іезекіиля (?) и тамъ же 140. Незеленовъ, А. С. Пушкинъ въ его поэзіи, Спб. 1882, стр. 246-247, указалъ для „Пророка“ на 6-ю главу пророка Исаіи.

[4]) См. VII, 168 („Я пророкъ“ и проч.) и выше, во вступленіи, ссылку на II, 3, гдѣ приведено свѣдѣніе о томъ, что стихотв. „Пророкъ“ оканчивалось стихами:

Возстань, возстань, пророкъ Россіи!
Позорной ризой облекись
И съ вервьемъ вкругъ смиренной выи
Къ царю . . . . . явись!

положеніе же поэта неразумной толпѣ также естественно развилось изъ тяжелаго личнаго опыта нашего поэта и всего, что съ раннихъ лѣтъ довелось ему испытать

Въ мертвящемъ упоеньѣ свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ,...
Въ семъ омутѣ, гдѣ съ вами я
Купаюсь, милые друзья [1]),

а потомъ и въ литературной критикѣ. Уже въ юные годы Пушкинъ пришелъ къ идеѣ своей обособленности, какъ поэта. Она могла вызрѣвать подъ вліяніемъ изученія жизни и произведеній А. Шенье [2]) и ученія Шеллинга и Жанъ-Поля Рихтера, но первое наглядное уясненіе ея Пушкинъ, по всей вѣроятности, почерпнулъ изъ жизни того же уединеннаго въ свой вѣкъ и неподатливаго Ж.-Ж.-Руссо, которому онъ былъ обязанъ столь многимъ въ своихъ основныхъ идеяхъ.

Въ индивидуализмѣ Руссо и его послѣдователей, въ томъ числѣ Андре Шенье, который привлекалъ вниманіе Пушкина наравнѣ съ Байрономъ [3]), и А. де-Виньи [4]), заключался теоретическій исходный пунктъ того ученія о правахъ самобытнаго творчества [5]) и о полной охранѣ поэтомъ своей духовной индивидуальности, которое постепенно все полнѣе и полнѣе развивалъ Пушкинъ и которое онъ завершилъ своимъ „Пророкомъ“ [6]).

---

[1]) IV, 357–358 (Е. О., VI, XLVI—XLVII); выдержку полностью см. выше.

[2]) Выше приведены уже изъ Зап. Смирновой, I, 196, слова Пушкина: „Альфредъ де-Виньи говорилъ кому-то, что люди платятъ черною неблагодарностью поэтамъ, открывающимъ имъ идеалы. Говорилъ онъ это по поводу Андрея Шенье и его смерти“.

[3]) I, 337 („Андрей Шенье“):

Межъ тѣмъ, какъ изумленный міръ
На урну Байрона взираетъ...
Зоветъ меня другая тѣнь.

[4]) „Il lit dans les astres la route que nous montre le doigt du Seigneur“, восклицаетъ Чаттертонъ о поэтѣ.

[5]) Въ „Египетскихъ ночахъ“ Чарскій назначаетъ темой импровизаціи: „Поэтъ самъ избираетъ предметы для своихъ пѣсенъ, толпа не имѣетъ права управлять его вдохновеніемъ“ (IV, 392). Чарскій - самъ Пушкинъ: Майковъ, Пушкинъ, 11.

[6]) Въ „Пророкѣ“ ученіе Пушкина о призваніи поэта достигаетъ своей вершины; другія стихотворенія объ отношеніи поэта къ толпѣ—лишь частное раскрытіе общаго возвышеннаго понятія о поэтѣ, выразившагося въ стихотв. „Пророкъ“.

Презрѣніе къ толпѣ, неразумной, но требовавшей покорности поэта ея притязаніямъ, постоянно повторявшееся въ поэтическихъ и прозаическихъ произведеніяхъ Пушкина [1]), было лишь однимъ изъ проявленій этого индивидуализма, отчетливо выразившагося во второй половинѣ XVIII в. въ ученіи о геніяхъ и въ его Sturm und Drang, а въ нашемъ столѣтіи въ ученіи о герояхъ въ исторіи, которое раздѣлялъ и Пушкинъ [2]). Подъ вліяніемъ его Пушкинъ выработалъ ученіе о поэтѣ, съ виду рѣзко отличное отъ Толстовскаго: у Л. Н. Толстого произведеніе искусства должно дѣйствовать заразительно на лицъ, для которыхъ предназначается, а у Пушкина поэту, „шлющему отвѣтъ" всему, чему внемлетъ, „нѣтъ отзыва", какъ эху [3]), съ которымъ ранѣе сближалъ себя Пушкинъ, называя себя эхомъ своего народа [4]): поэтъ „утѣшно" поетъ, но „безъ отзыва" [5]); онъ одинокъ [6]).

Само собою разумѣется, что, отстаивая права поэта на самостоятельность творчества и свободу этого творчества отъ навязыванія ему темъ толпою, Пушкинъ былъ далекъ отъ узкаго пониманія ученія объ искусствѣ для искусства, и его собственная дѣятельность ни въ одинъ изъ періодовъ ея не могла бы подойти подъ такое узкое опредѣленіе. Во-вторыхъ, основной принципъ теоріи Пушкина, защита независимости творчества отъ давленія толпы, вѣренъ и нисколько не исключаетъ служенія обществу, которое бываетъ нерѣдко, какъ то было и во время Пушкина, гораздо ниже уровня идей передовыхъ мыслителей и поэтовъ. Въ основѣ воззрѣнія Пушкина на поэта скрывается глубокая мысль, что нѣтъ надобности замыкать поэзію въ узкія

---

[1]) См., напр., V, 247: „Публика, о которой Шамфоръ спрашивалъ такъ забавно: сколько нужно глупцовъ, чтобы составить публику..." Ранѣе тѣ же слова читаемъ въ перепискѣ кн. П. А. Вяземскаго: Остафьевскій архивъ, I, 291.

[2]) Зап. Смирновой, I, 252, слова Пушкина: „Существуетъ одно основное положеніе: это, что міромъ управляла мысль; разумная воля единицъ или меньшинства управляла человѣчествомъ".

[3]) II, 128: „Эхо" (1831).

[4]) I, 208: И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо русскаго народа.

[5]) См. выше стихотв. „Близь мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая..."

[6]) Оттуда одобреніе Пушкинымъ „Моисея" Альфреда де-Виньи: „Поэтъ „прекрасно понялъ то чувство одиночества, которое долженъ былъ испытывать Моисей среди людей, такъ мало понимавшихъ его" (Зап. Смирн., I, 195). Иначе, повидимому, относился Пушкинъ къ „Чаттертону", гдѣ также, какъ и въ „Стелло", провозглашается возвышенная роль поэта; см. „Зап. Смирн.", 239 и слѣд.

рамки поучительности, требованіе которой составляетъ характерную черту части русскаго общества XIX в.[1]), что истинная поэзія, какъ изображеніе жизни, всегда поучительна, и что истина заключается не столько въ прямыхъ и ощутительныхъ отвѣтахъ на запросъ „поденщика, раба нужды, заботъ", ищущаго „пользы все"[2]), сколько въ глубинѣ возвышеннаго человѣческаго духа, въ созерцаніяхъ и чаяніяхъ его внутренняго я, не удаляющагося отъ „житейскаго волненья", но лишь становящагося выше его въ своемъ вдохновенномъ отношеніи къ нему. Независимая личность, рожденная „для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ", дѣйствующая по своему разумѣнію, совершитъ неизмѣримо больше, чѣмъ вполнѣ соотвѣтствующая уровню „хладнаго и надменнаго народа". Негодованіе поэта относится именно къ „толпѣ хладной, ничтожной и глухой"[3]), а не къ народу вообще. Отъ послѣдняго Пушкинъ не думалъ замыкаться: какъ въ юности онъ хотѣлъ, его

. . . . . чтобъ поняли
Всѣ, отъ мала до великаго[4]),

такъ и потомъ онъ ставилъ задачею поэта быть пророкомъ, а слѣдов. и обличителемъ, „глаголомъ жечь сердца людей" и въ „Памятникѣ" утѣшался тѣмъ, что его будутъ знать

И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій
Тунгузъ, и другъ степей Калмыкъ[5]).

---

[1]) См. выше. Это отмѣтилъ и г. Венгеровъ въ своей характеристикѣ русской литературы XIX в.

[2]) II, 50: „Чернь". См. выше выдержку изъ V, 302 о томъ, что „цѣль художества есть идеалъ, а не нравоученіе".

[3]) I, 287 (1822 г.):

Я говорилъ предъ хладною толпой.
Но для толпы ничтожной и глухой
Смѣшонъ гласъ сердца благородный,—
Я замолчалъ...

Ср. замѣчаніе объ „обезьянахъ просвѣщенія", о *„свѣтской черни"* въ „Рославлевѣ" (1831 г.—IV, 113) и не разъ выступающій въ его поэзіи протестъ противъ нелѣпостей „общественнаго мнѣнія" (напр., III, 345—Е. О., VI, xi). См. еще Сумцова Этюды III, 10 и Зап. Смирн. I, 293.

[4]) Соч. II, I, 95.

[5]) II, 190. Ср. выше о желаніи Пушкина, чтобы крестьяне поняли когда-нибудь его „Бориса Годунова".

Этимъ вполнѣ устраняется довольно распространенное неправильное толкованіе стиха:

Поэтъ, не дорожи любовію народной.

Поэтъ не нуждался въ любви лишь „строптивыхъ", но не иныхъ: еще въ 1824 г. онъ писалъ:

Съ небесной книги списокъ данъ
Тебѣ, пророкъ, не для строптивыхъ:
Спокойно возвѣщай коранъ,
Не понуждая нечестивыхъ [1])!

Итакъ, не кому иному, какъ французскимъ корифеямъ XVIII в. и другимъ писателямъ того времени, Пушкинъ былъ обязанъ нѣкоторыми изъ важнѣйшихъ своихъ мыслей и стремленій въ своей поэзіи: идеею протеста противъ печальныхъ условій общественнаго нестроенія и заботою о пробужденіи освободительныхъ началъ въ русскомъ обществѣ съ одной стороны, а съ другой—сомнѣніями въ силахъ и способности общества воспріять эти начала, и потому—разладомъ со своей средой и стремленіемъ найти выходъ изъ такого томительнаго состоянія, между проч.—въ самомъ себѣ. Всѣ эти могучія внушенія, исходившія изъ произведеній Вольтера, Руссо, А. Шенье и другихъ, охватывавшія Пушкина въ самомъ раннемъ и затѣмъ юношескомъ возрастѣ, удивительно совпадали съ условіями русской жизни при имп. Александрѣ I, съ направленіемъ кружковъ, въ которыхъ вращался юный Пушкинъ по выходѣ изъ лицея, и съ обстоятельствами личной жизни поэта, и потому получили особую силу въ его поэзіи. Нашъ поэтъ, рано . .

. . . . . изгнанникъ самовольный,
И свѣтомъ, и собой, и жизнью недовольный [2]),

жаждалъ выхода изъ душной атмосферы окружавшей его жизни, помышлялъ-было въ одно время о бѣгствѣ изъ Россіи, но нашелъ, наконецъ, исходъ, болѣе достойный его генія: онъ обрѣлъ указаніе на путь къ спасительному выходу въ той же литературѣ, которая впервые натолкнула его мысль на всѣ тяжкія проблемы жизни, т. е. во французской литературѣ XVIII в., но, какъ увидимъ, собственными

[1]) I, 324. Это та же „свѣтская чернь" (III, 385—Е. О., VIII, x).
[2]) I, 259.

силами и подъ вліяніемъ истинно народнаго чутья развилъ и углубилъ эти указанія въ полныя глубокаго смысла и реальности обращенія къ родной деревнѣ и къ пророческому призванію поэта.

Послѣ всего, что дали Пушкину великіе французскіе писатели XVII—XVIII вв. и примыкавшіе къ нимъ другіе писатели XVIII-го и начала XIX-го стол., и что прибавилъ онъ своего къ ихъ идеямъ, нашъ поэтъ не могъ найти много существенно новыхъ мотивовъ вдохновенія у своихъ западныхъ современниковъ, въ томъ числѣ и у Шатобріана и Байрона. Величайшій же и старшій изъ этихъ современниковъ Пушкина, Гёте, по замѣчанію самого Пушкина, принадлежалъ болѣе XVIII-му вѣку, чѣмъ XIX-му, тѣми сторонами своего творчества и мысли, которыя наиболѣе повліяли на нашего поэта.

Во главѣ старшихъ современниковъ Пушкина, кромѣ Гёте, о которомъ будетъ сказано ниже, потому что вліяніе его на Пушкина относится къ сравнительно позднѣйшему времени, слѣдуетъ поставить продолжившихъ завѣты Руссо начинательницу и начинателя французскаго романтизма, M-me de Staël и Шатобріана [2]).

Дочь Неккера, M-me de Staël, другъ Шатобріана и Байрона, бывшая одно время возлюбленною Бенжамена Констана и изображенная послѣднимъ въ „Адольфѣ“ подъ именемъ Элленоры [3]), пріобрѣла въ свое время громкую извѣстность и своею политическою дѣятельностію какъ глава вліятельнаго салона, стоявшаго въ оппозиціи цѣ-

---

[1]) Уже въ 1824 г. Пушкинъ назвалъ Гёте „полупокойникомъ“ (VII, 82).

[2]) Пушкинъ поставилъ ихъ рядомъ въ словахъ (III, 238—Е. О., I, IX):

Любви насъ не природа учитъ,
А Сталь или Шатобріанъ.

[3]) См. о томъ въ „Запискахъ Смирновой“, I, 308–309. Ср. подробности разговора о m-me de Staël („у Коринны только и видны, что руки да сверкающіе глаза. Въ Коринне сказывалось волненіе женщины, которая хочетъ нравиться безъ красоты, но... она была несравненно лучше своей подруги, искреннѣе и простодушнѣе...“ „Г-жа де-Сталь пустилась въ описаніе ландшафтовъ...“ „...геній въ тюрбанѣ“) съ характеристикой ея въ „Рославлевѣ“ (напр.: „...были по большей части недовольны ею. Они видѣли въ ней толстую бабу, одѣтую не по лѣтамъ. Тонъ ея не понравился, рѣчи показались слишкомъ длинны и рукава слишкомъ коротки... проницательные черные глаза m-me de-Staël“ и т. п.; IV, 112—113). Эти и подобныя совпаденія, не разъ отмѣчаемыя нами, интересны между проч. и какъ одно изъ доказательствъ подлинности и вѣрности записокъ Смирновой при нѣкоторой неточности ихъ по мѣстамъ въ передачѣ отдѣльныхъ выраженій.

лому ряду правительствъ, и своими литературными произведеніями, преимущественно двумя романами (о „Дельфинѣ“ и „Кориннѣ“), въ которыхъ выдвигала права и новый типъ женщины, и своею критическою дѣятельностію, которою обращала родную французскую литературу къ меланхоліи, мистицизму и глубинѣ содержанія литературъ германскихъ, указывая вообще на коренные вопросы литературной критики и много содѣйствуя обновленію послѣдней.

Для насъ, русскихъ, M-me de Staël представляла особый интересъ. Если не считать пріятелей Екатерины II, Вольтера и энциклопедистовъ, M-me de Staël была начинательницею любовнаго отношенія французовъ къ намъ. Во время своихъ странствованій по Европѣ она посѣтила Россію, уловила многія особенности русской жизни, оцѣнила значеніе русскаго мужика[1]) и тепло отзывалась о многомъ русскомъ[2]). Она являлась одною изъ первыхъ провозвѣстниковъ того сближенія съ Россіей, которое неоднократно было проповѣдуемо и потомъ въ одиночку иными французами.

Всѣ эти черты дѣятельности M-me de Staël не прошли безслѣдно для Пушкина. Онъ вѣдь принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые ее понимали, для которыхъ блестящее замѣчаніе, „сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны“[3]). Онъ оцѣнилъ по достоинству эту „необыкновенную, славную женщину, столь же добродушную, какъ и геніальную“, ея „умъ и чувства“[4]), политическую дѣятельность,[5]), ея отстаиваніе полноты правъ женщи-

---

[1]) Пушкинъ вспоминаетъ объ этомъ посѣщеніи въ „Рославлевѣ“(IV, 113): „...она видѣла нашъ добрый, простой народъ, и понимаетъ его“ и проч.—см. выше.

[2]) V, 23: „Читая ея книгу Dix ans d'éxil, можно видѣть ясно, что тронутая ласковымъ пріемомъ русскихъ бояръ, она не высказала всего, что бросилось ей въ глаза. Не смѣю въ томъ укорять краснорѣчивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому народу, вѣчному предмету невѣжественной клеветы писателей иностранныхъ. Эта снисходительность, которую не смѣетъ порицать авторъ рукописи, именно и составляетъ главную прелесть той части книги, которая посвящена описанію нашего отечества. Г-жа Сталь оставила Россію, какъ священное убѣжище, какъ семейство, въ которое она была принята съ довѣренностью и радушіемъ. Исполняя долгъ благороднаго сердца, она говоритъ объ насъ съ уваженіемъ и скромностью, съ полнотою душевною хвалитъ порицаетъ осторожно, *не выноситъ сора изъ избы*“.

[3]) IV, 113.

[4]) Ibid.

[5]) V, 24: „...удаленная отъ всего милаго ея сердцу, семь лѣтъ гонимая дѣятельнымъ деспотизмомъ Наполеона, принимая мучительное участіе въ политическомъ состояніи Европы“... IV, 113: „...десять лѣтъ гонимая Наполеономъ, благородная

ны [1]) и идеальный образъ Коринны, въ которой она воспроизвела самое себя, мечтательную, благородную искательницу невозможнаго [2]).

Подъ вліяніемъ критическихъ сужденій де-Сталь Пушкинъ могъ вполнѣ отрѣшиться отъ узкости литературныхъ мнѣній Лагарпа,

---

добрая M-me de Staël, насилу убѣжавшая подъ покровительство русскаго императора..." V, 25: „Эту *барыню* удостоилъ Наполеонъ гоненія, монархи довѣренности, Европа уваженія".

[1]) IV, 115: въ отвѣтъ на замѣчаніе: „Пусть мужчины себѣ дерутся и кричатъ о политикѣ; женщины на войну не ходятъ, и имъ дѣла нѣтъ до Бонапарта", Полина сказала: „Стыдись, развѣ женщины не имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей? развѣ кровь русская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы на балѣ насъ вертѣли въ экосезахъ, а дома заставляли вышивать по канвѣ собачекъ? Нѣтъ! Я знаю, какое вліяніе женщина можетъ имѣть на мнѣніе общественное. *Я не признаю уничиженія, къ которому присуждаютъ насъ.* Посмотри на M-me de Staël. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ непріятельскою силой.... А Шарлота Кордэ? а наша Марѳа Посадница? а княгиня Дашкова? Чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостію души и рѣшительностію". Должно, впрочемъ, замѣтить, что послѣ этихъ словъ читаемъ такое замѣчаніе ея подруги: „Увы, къ чему привели ее необыкновенныя качества души и мужественная возвышенность ума?" Затѣмъ приведены слова: „Il n'est de bonheur que dans les voies communes", о которыхъ см. ниже.

[2]) Пушкинъ называетъ разъ де-Сталь „сочинительницею Коринны" (IV, 112); см. еще V, 24: „Какое сношеніе имѣютъ двѣ страницы „Записокъ" съ Дельфиною, Коринною, Взглядомъ на французскую революцію и проч." Г. Сиповскій (Р. Стар. 1899, № 5, стр. 324 и сл., отд. отт., 16) находитъ, что „поразительно близка къ Татьянѣ Дельфина г-жи Сталь—и по характеру и по судьбѣ... Этотъ образъ положительно необходимъ для критики Пушкинской Татьяны, такъ какъ онъ уясняетъ многія стороны ея души, остающіяся безъ этого сближенія въ тѣни"... Какъ и „Дельфина", романъ Пушкина—чисто „психологическій", въ которомъ сквозитъ очень ясная тенденція автора провести ту же идею, что вложена въ романъ г-жи Сталь. Въ лицѣ нашей Татьяны тоже изображена борьба личности со средой, борьба, извѣстная намъ изъ жизни Дельфины". Мнѣніе г. Сиповскаго страждетъ преувеличеніемъ. Общая идея Пушкинскаго романа, не исключая борьбы самого поэта съ „общественнымъ мнѣніемъ", гораздо шире опредѣленія г. Сиповскаго: это—„шуточное описаніе нравовъ" (III, 420) со включеніемъ, конечно, психологическаго анализа характеровъ героя и героини, принадлежавшаго къ техникѣ повѣствовательныхъ произведеній, какъ ее понималъ Пушкинъ. Татьяна не можетъ назваться представительницею сознательной „борьбы личности со средой"—борьбы, какую велъ самъ поэтъ и которую въ эпической формѣ выразилъ впервые въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ", а не въ „Онѣгинѣ". Сходство между Татьяной и Дельфиной не простирается на всѣ подробности, которыя указываетъ г. Сиповскій. Такъ, не ясно, почему бы и у Татьяны признать mauvaise tête. Но, конечно, можетъ быть, не безъ знакомства съ типами романтическихъ героинь въ романахъ и въ жизни Запада конца прошлаго и настоящаго вѣка (Valérie г-жи Криднеръ и Corinne M-me de-Staël) Пушкинъ вознесъ высоко образъ женщины съ идеальными стремленіями, при

бывшихъ въ Царскосельскомъ лицеѣ учебникомъ словесности[1]) и законодательнымъ кодексомъ литературной критики, и вообще могъ замѣтить всю рутину, все ничтожество французскихъ критиковъ времени имперіи, продолжавшихъ поддерживать преданія ложнаго изящества и исключительнаго вкуса, и педантизмъ академиковъ. Благодаря отчасти M-me de Staël онъ могъ лучше усмотрѣть незначительность французской литературы начала настоящаго вѣка, вращавшейся въ узкомъ кругу отжившихъ литературныхъ формъ и идей[2]), и усвоить мнѣніе о выдающемся значеніи литературъ германскихъ, неоднократно повторяемое имъ съ 20-хъ годовъ[3]).

чемъ однако его Татьяна реальнѣе и въ то же время выше романтическихъ героинь Запада (см. о послѣднихъ статью R. Deberdt: „Femmes sensibles et exubérances romantiques" въ Revue des Revues, 15 Septembre 1899): въ ней нѣтъ излишка восторженности, и не признаетъ она и теоріи свободной любви. Что до развязки „Онѣгина", то она не есть сколокъ съ заключенія романа де-Сталь, и см. объ этой развязкѣ объясненіе Пушкина въ Зап. Смирновой, I, 311: „я какъ-то не вижу развязки, конца, который былъ бы логичнымъ, возможнымъ, естественнымъ". Пушкинъ указывалъ затѣмъ на то, что „впрочемъ, Горе отъ ума не имѣетъ развязки, Мизантропъ также, Байроновскій Донъ-Жуанъ тоже ея лишенъ"...

[1]) Соч. Пушкина, I. 70: въ библіотекѣ его за цѣлымъ рядомъ поэтовъ,

. . . . . хмурясь важно,
Ихъ грозный аристархъ
Является отважно
Въ шестнадцати томахъ:
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видѣть вкусъ,
Но часто, признаюсь,
Надъ нимъ я время трачу.

О переводѣ Пушкинымъ статьи „Объ эпиграммѣ" изъ „Cours de Littérature" Лагарпа см. Майкова, Пушкинъ, стр. 47, 87. Пушкинъ выказываетъ знакомство и съ другими произведеніями Лагарпа (VII, 157).

[2]) V, 252: „французская обмельчавшая словесность envahit tout. Знаменитые писатели не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи, но бездарные писаки, грибы, выросшіе у корней дубовъ: Доратъ, Флоріанъ, Мармонтель, Гимаръ, M-me Жанлисъ овладѣваютъ русской словесностію..." Пушкинъ принялъ однако подъ свою защиту новѣйшую французскую литературу противъ нападокъ Лобанова въ 1836 г. (V, 300 и слѣд.). Объ отношеніи Пушкина къ младшимъ французскимъ современникамъ его будетъ сказано далѣе.

[3]) Съ сочиненіями де-Сталь Пушкинъ былъ несомнѣнно знакомъ уже съ 1822 г. (V, 14). Въ письмѣ 1822 г. (VII, 31 читаемъ:) „Англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на русскую. Думаю, что оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной". V, 303, 1836 г.: „нынѣ вліяніе французской словесности было слабо" и т. д. Ср. сходныя сужденія кн. Вяземскаго.

Не остались незамѣченными и наблюденія де-Сталь надъ русскою жизнью, и Пушкинъ не разъ упоминаетъ о нихъ [1]). Его тронула сердечность отзывовъ этой писательницы о Россіи, и потому въ отвѣтъ на „журнальную статейку А. Муханова" о г-жѣ де-Сталь, „не весьма острую и весьма неприличную", Пушкинъ отвѣтилъ рѣзкой замѣткой, которую заключилъ стихомъ:

Уваженъ хочешь быть, умѣй другихъ уважить [2]),

и объяснялъ эту рѣзкость въ письмѣ къ кн. П. А. Вяземскому такъ: „M-me Сталь наша, не тронь ея" [3]).

Вообще Пушкинъ, прощая, повидимому, подобно Парижскому обществу, слабости M-me de Staël, проистекавшія изъ ея мягкаго сердца, искавшаго и не находившаго покоя и счастія въ любви, относился съ искреннимъ уваженіемъ къ этой женщинѣ, какъ къ немногимъ.

Въ годы созрѣванія таланта Пушкина и западноевропейская поэзія и наша пребывали не столько подъ вліяніемъ M-me de Staël, сколько подъ обаяніемъ неопредѣленной и вѣчно неудовлетворенной меланхоліи Шатобріана [4]) и гордаго титаническаго демонизма Байрона.

Пушкинъ не избѣжалъ воздѣйствія ни того, ни другого, но нельзя не признать, что оно оказалось сравнительно слабымъ и доставило не такъ много содержанія и мысли вдохновенію нашего поэта.

Потомокъ стариннаго дворянскаго рода, явившійся на рубежѣ двухъ эпохъ и послѣдній, по его собственному выраженію, свидѣтель феодальныхъ нравовъ („le dernier témoin des moeurs féodales"),

---

[1]) См., напр., III, 200 (прим. къ Е. О., I, XLII); V, 227.

[2]) V, 23—25: „О Г-жѣ Сталь и Г-нѣ Мухановѣ".

[3]) VII, 154.

[4]) Пушкинъ признавалъ Шатобріана первымъ французскимъ писателемъ своего времени и не совсѣмъ благоволилъ, какъ то вскорѣ увидимъ, къ романтикамъ, выступившимъ въ двадцатыхъ годахъ, считая и Гюго не первостепеннымъ талантомъ. „Пушкинъ находитъ, что проза Шатобріана стоитъ всѣхъ стиховъ молодыхъ поэтовъ съ 1815 г. У него есть проблески генія, которыхъ Пушкинъ не находитъ у поэтовъ" (Зап. Смирн., I, 140). По словамъ Пушкина, относящимся къ 1836 году (V, 301), французскій народъ „и нынѣ гордится Шатобріаномъ и Балланшемъ". Въ слѣдующемъ году Пушкинъ опять назвалъ Шатобріана „первымъ изъ французскихъ писателей", „первымъ мастеромъ своего дѣла" (V, 361), „первымъ изъ современныхъ французскихъ писателей, *учителемъ всего пишущаго поколѣнія*„ (V, 366). Послѣднее выраженіе весьма достопримѣчательно. Оно вѣрно въ отношеніи французскихъ романтиковъ, лиризмъ которыхъ ведетъ начало съ Шатобріана, и въ то же время, быть можетъ, не лишено значенія для уразумѣнія западноевропейскихъ отношеній поэзіи Пушкина.

постоянно носившій скорбь въ своей гордой душѣ, а также индивидуалистъ, Шатобріанъ отчасти возобновилъ во Франціи начинанія Руссо и Бернардена де Сенъ Пьеръ, прибавивъ отъ себя порывы лойяльности и христіанскаго чувства. Онъ направлялъ къ христіанству съ эстетической его стороны, къ готикѣ, къ среднимъ вѣкамъ, былъ однимъ изъ начинателей неокатолицизма, вдохновителемъ такихъ поэтовъ, какъ Гюго и Флоберъ, и историковъ, какъ Огюстэнъ Тьерри, но его мечта была мало успокоительна, и мало приносили отрады душѣ возгласы въ роды слѣдующаго: „Поднимитесь, желанныя бури, долженствующія унести Ренэ въ пространства другой жизни“.. Не охватила души Шатобріана вполнѣ ни религіозная вѣра, ни легитимная идея. Онъ испытывалъ въ своей жизни короткіе моменты счастія, но продолжительнѣе были въ ней приступы меланхоліи. Послѣдняя внѣдрилась со времени Ренэ во французскую литературу, ставъ какъ бы микробомъ ея пессимистическаго настроенія: сѣтованія Шатобріана на судьбу были много разъ повторяемы французскими поэтами нашего вѣка, и его разочарованіе (désenchantement) отзывается до нашихъ дней. Это—потому, что печаль Шатобріана, воплощенная въ поэтической личности его Ренэ, была въ высшей степени характернымъ и живымъ явленіемъ европейской жизни въ эпоху крупнаго перелома, ознаменовавшаго конецъ XVIII-го и начало XIX-го стол. и не утратила своей жгучести даже и теперь.

Грусть составляетъ издавна одну изъ принадлежностей русскаго народнаго характера, о чемъ свидѣтельствуютъ хотя бы элегическія ноты нашихъ пѣсенъ, меланхолическіе тоны нашей музыки. Но, подъ вліяніемъ Шатобріана и затѣмъ поэтовъ сроднаго ему направленія, вѣяніе грусти пронеслось, какъ мы видѣли, съ чрезвычайною силой и въ нашей литературѣ и въ частности въ поэзіи второго десятилѣтія XIX в., какъ и во Франціи оно вытѣснило вольтерьянство, господствовавшее еще въ годы Имперіи.

Судя по выраженію Пушкина о Шатобріанѣ, какъ объ „учителѣ всего пишущаго поколѣнія“, надо думать, что и нашъ поэтъ весьма рано подпалъ вліянію автора Ренэ. Послѣдняго должны были хорошо знать въ семьѣ Пушкиныхъ, потому что появленіе знаменитѣйшихъ произведеній Шатобріана было весьма крупнымъ событіемъ во французской литературѣ начала нашего вѣка, и ими не могли не интересоваться въ сильнѣйшей степени французскіе эмигранты, пребывавшіе въ Россіи, а вслѣдъ за этими эмигрантами и образованное

русское общество[1]). Пушкинъ назвалъ Шатобріана „любимымъ писателемъ“ Полины, героини повѣсти „Рославлевъ“ [2]), дѣйствіе которой относится къ 1811-му году. Но, кажется, съ полнымъ правомъ можно признать Шатобріана любимцемъ и самого Пушкина[3]).

На ряду съ русскими поэтами, настраивавшими на грустные тоны лиру юнаго Пушкина уже въ лицейскій періодъ и вскорѣ потомъ, вѣроятно, рано оказывалъ на него вліяніе и Шатобріанъ, какъ вліялъ онъ и на лирику Батюшкова и французскихъ романтиковъ.

Не настроеніе ли Шатобріана слышится въ такихъ раннихъ стихотвореніяхъ Пушкина, какъ „Элегія“ 1816 г.:

. . . . . Невидимой стезей
Ушла пора веселости безпечной,
На вѣкъ ушла, и жизни скоротечной
Лучъ утренній блѣднѣетъ надо мной.
Отверженный судьбой несправедливой,
И ласки музъ, и радость, и покой
Я все забылъ: печали молчаливой
Рука лежитъ надъ юною главой....
Мнѣ скученъ міръ, мнѣ страшенъ дневный свѣтъ;
Иду въ лѣса, въ которыхъ жизни нѣтъ,
Гдѣ мертвый мракъ: я радость ненавижу,
Во мнѣ застылъ ея минутный слѣдъ....
Умчались вы, дни радости моей,
Умчались вы! Невольно льются слезы,
И вяну я на темномъ утрѣ дней.
О дружество, предай меня забвенью!...
Оставь меня *пустынямъ и слезамъ!*[4])

---

[1]) Покровитель и другъ Пушкина, А. И. Тургеневъ былъ, по словамъ Пушкина, „апостоломъ Бонштетена и Шатобріана въ Россіи“. Зап. Смирн., I, 139.

[2]) IV, 115.

[3]) Приводимыя (въ 1831 г.) Полиною слова Шатобріана: „Il n'est de bonheur que dans les voies communes“ повторилъ въ томъ же году и самъ Пушкинъ въ одномъ изъ своихъ писемъ (VII, 260). Прямые слѣды чтенія Шатобріана встрѣчаются нѣсколько разъ въ произведеніяхъ Пушкина, именно: I, 259; III, 276; V, 119.

[4]) Соч. П., I, 233—234. Отмѣчаемъ въ особенности такія, напоминающія приключенія Ренэ, интересныя выраженія, какъ: „Иду въ *лѣса*“, „Оставь меня *пусты-*

Нѣсколько лѣтъ спустя, на югѣ, Пушкинъ опять писалъ (въ посланіи Чаадаеву, 1821 г.) приближаясь уже къ Чайльдъ-Гаральду:

Въ странѣ, гдѣ я забылъ тревоги прежнихъ лѣтъ,
. . . . . *душѣ* . . . *усталой*,
Врагу стѣснительныхъ условій и оковъ,
Нетрудно было мнѣ отвыкнуть отъ пировъ....
Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ;
Вздохнувъ, оставилъ я другія заблужденья,
Враговъ моихъ предалъ проклятію забвенья,
И сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину...
Благодарю боговъ; прошелъ я мрачный путь;
Печали раннія мою тѣснили грудь.
Къ печалямъ я привыкъ, разсчелся я съ судьбою,
И жизнь перенесу стоической душою [1]).

нямъ и слезамъ". Ср. „пустыню" въ стихотв. „Сонъ" 1816 г. См. еще въ первоначальной редакціи стихотв. „Друзьямъ" того же 1816 г. (Соч. П., I, примѣч., 316):

Среди бесѣды вашей шумной
Одинъ унылъ и мраченъ я....
...пролетѣлъ мигъ упоеній,
Я радость свѣтлую забылъ...;

въ „Посланіи Дельвигу" (ib., примѣч., 377):

... для меня прошли, увяли наслажденья!...
.... все прошло на вѣкъ—и скрылись въ темну даль
Свобода, радость, восхищенье!

См. также зачеркнутые первоначальные стихи „Безвѣрія" (1817; Соч. П., I, примѣч., 492):

Найдите тамъ его, гдѣ илистый ручей
Проходитъ медленно среди нагихъ полей,
Гдѣ сосенъ вѣковыхъ таинственныя сѣни
Шумя на влажный мохъ склонили вѣчны тѣни.
Взгляните: бродитъ онъ съ увядшею душой,
Своей ужасною томимый пустотой,
То грусти слезы льетъ, то слезы сожалѣнья;
Напрасно ищетъ онъ унынью развлеченья...

[1]) I, 241. 213. Ср. въ стихотв.: „Ты, сердцу непонятный мракъ" (1822; VII, LVIII):

Мечтанье жизни разлюбя,
Счастливыхъ дней не знавъ отъ вѣка...

Это не былъ полный подражатель Ренэ: скорбь не овладѣвала Пушкинымъ всецѣло; любовь къ жизни проявлялась у него на каждомъ шагу, хотя онъ и не боялся смерти. Нашъ поэтъ, воспѣвавшій свои

. . . . . мечты, природу и любовь,
И дружбу вѣрную, и милые предметы,
Плѣнявшіе *его* въ младенческія лѣты [1]),

очевидно, не покончилъ съ усладами жизни, какъ не покончилъ вполнѣ съ ними и тогдашній его alter ego въ поэзіи, „Кавказскій Плѣнникъ"; но въ рѣчахъ обоихъ слышатся все-таки отзвуки печальнаго настроенія знаменитаго Шатобріанова героя. И отчасти не при воздѣйствіи ли воспоминанія о послѣднемъ Пушкинъ нарисовалъ *эпически* образъ Плѣнника, въ которомъ изобразилъ одновременно и себя и вообще, какъ онъ выразился, „то равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи XIX в." [2])? По крайней мѣрѣ, приключенія и „бездѣйствіе" Плѣнника напоминаютъ Ренэ, и это бездѣйствіе не было свойственно личности самого Пушкина, хотя послѣдній не разъ изображалъ себя пѣвцомъ и другомъ „лѣни" [3]). Какъ довольно близокъ къ Ренэ Кавказскій Плѣнникъ, такъ не совсѣмъ далекъ отъ него и Алеко, повторяющій сверхъ того, какъ мы видѣли, тезисы Руссо. Подобно Ренэ оба Пушкинскіе героя бѣгутъ изъ цивилизованнаго общества, и плѣнникъ не отвѣчаетъ взаимностію на любовь дѣвы простой среды, въ которую попадаетъ. Ихъ такъ же, какъ и Ренэ, отличаетъ „бездѣйствіе и равнодушіе", „старость души"; при этомъ однако они не одержимы страстію къ погонѣ за туманными „химерами" Ренэ, какъ выразился père Souël.

---

[1]) I, 242; вмѣсто „его," поставленнаго мною ради лучшаго согласованія со всѣмъ изложеніемъ, въ подлинникѣ стоитъ „меня".

[2]) Въ письмѣ Ренэ къ Селютѣ (въ „Les Natchez") читаемъ: „...une plaie incurable était au fond de mon âme... Je m'ennuie de la vie, l'ennui m'a toujours dévoré, ce qui intéresse les autres hommes ne me touche point. Pasteur ou roi, qu'aurais-je fait de ma houlette ou de ma couronne? Je serais également fatigué de la gloire et du génie, du travail et du loisir, de la prospérité et de l'infortune". Конечно, подъ приведенныя слова Пушкина нѣсколько подходитъ и характеристика Чайльдъ-Гарольда, данная Байрономъ уже въ самомъ началѣ, но подойдутъ къ нимъ и характеры другихъ романтическихъ героевъ этого типа, напр., молодого лорда Sydenham-а въ „Adèle de Sénange" (1793) M-me de Flahaut, постигнутаго „d'une mélancolie qui le poursuit et lui rend importuns les plaisirs de la société".

[3]) См. указаніе этихъ упоминаній Пушкина о „лѣни"—у А. Н. Пыпина, Ист. р. лит., IV, 381.

А между тѣмъ Пушкинъ, повидимому, цѣнилъ не столько „блестящія“ [1]), „вдохновенныя страницы“ [2]) и „красоты“ [3]) образнаго, живописнаго, звучнаго стиля Шатобріана, не столько чтилъ его заслуги въ историческихъ характеристикахъ и въ сопоставленіи великихъ эпохъ [4]), сколько искренность этого писателя, его простодушіе [5]), а въ особенности глубокую поэтичность его души. Шатобріанъ за свою нѣжную меланхолію, особливо воплощенную въ личности Ренэ [6]), остался любимцемъ Пушкина на всю жизнь, между проч. и тогда, когда послѣдній разоблачилъ тайный недугъ, снѣдавшій модныхъ героевъ [7]), въ томъ числѣ и тѣхъ, типическимъ образомъ которыхъ явился Онѣгинъ,—недугъ, столь тѣсно связанный съ романтическою меланхоліею, а слѣдовательно и съ Шатобріановскою [8]). Подобно Ренэ-Шатобріану и

---

[1]) V, 366: „два тома столь же блестящіе, какъ и всѣ прежнія его произведенія“.

[2]) Ibid.: „поминутно изъ-подъ пера его вылетаютъ вдохновенныя страницы“.

[3]) Ibid.: „несомнѣнныя красоты“.

[4]) Ibid.: „онъ поминутно забываетъ критическія изысканія и на свободѣ развиваетъ свои мысли о великихъ историческихъ эпохахъ, которыя сближаетъ съ тѣми, коихъ самъ онъ былъ свидѣтель“.

[5]) Ib.: „Много искренности, много сердечнаго краснорѣчія, много простодушія (иногда дѣтскаго, но всегда привлекательнаго) въ сихъ отрывкахъ, чуждыхъ исторіи англійской литературы, но составляющихъ главное блистательное достоинство „Опыта“.—Отмѣтимъ, въ связи съ этимъ, еще рельефное указаніе у Пушкина на „неподкупную совѣсть“ Шатобріана, „который, поторговавшись немного съ самимъ собою, могъ бы спокойно пользоваться щедротами новаго правительства, властію, почестями и богатствомъ, предпочелъ имъ честную бѣдность“... Видимо Пушкинъ уважалъ Шатобріана, какъ личность, а не только, какъ писателя.

[6]) Зап. Смирновой, I, 153 (Пушкинъ о „Геніи христіанства“): „Шатобріанъ за исключеніемъ „Ренэ“ ни въ чемъ меня не трогаетъ; десять строкъ Данте стоютъ всей его книги...“ Ib., 305: „Ренэ“ въ сто разъ выше новой Элоизы, такъ какъ чувствуется, что Шатобріанъ излилъ свою душу въ своихъ книгахъ“. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ представлялъ противоположность Грибоѣдову, который не любилъ мечтательности: Кадлубовскій, Нѣсколько словъ о значеніи А. С. Грибоѣдова въ развитіи русской поэзіи, К. 1896, стр. 9.

[7]) Пушкинъ еще незадолго до своей кончины назвалъ Шатобріана „первымъ изъ современныхъ писателей“.

[8]) Мы видѣли, что „недугомъ,

. . . котораго *причину*
Давно бы отыскать пора,

былъ одержимъ „современный человѣкъ

Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и *сухой*,
Мечтанью преданной безмѣрно,

почти всему поколѣнію того времени, Пушкинъ испытывалъ съ юныхъ и до позднѣйшихъ лѣтъ

. . . . . смутное влеченье
Чего-то жаждущей души [1]),

и оно служило поэту могучимъ путеводнымъ зовомъ, выводившимъ изъ тины и омута заблужденій и паденій. При этомъ Пушкинъ шелъ рѣшительно и напрямикъ къ мерцавшему передъ нимъ свѣту, и потому у него не находимъ своеобразнаго сочетанія тоски съ христіанскимъ настроеніемъ, характеризующаго Шатобріана и его героя Ренэ.

Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ".

Ср. анализъ этого недуга въ приведенной выше выдержкѣ изъ „Les Natchez" и въ „Génie du christianisme" (II partie, livre III, ch. IX, Du vague des passions"): „Il nous reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, *n'a pas encore été bien observé:* c'est celui qui précède le développement des grandes passions, lorsque toutes les facultés jeunes, *actives,* entières, *mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet* Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du vague des passions augmente, car il arrive alors une chose fort triste: le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude des livres qui traitent de l'homme et des sentiments rendent habile sans expérience. *On est détrompé sans avoir joui;* il reste encore des désirs et l'on n'a plus d'illusions. *L'imagination est riche, abondante et merveilleuse, l'existence* pauvre, *sèche* et *désenchantée.* On habite avec un coeur plein un *monde vide* et, sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout". Что неопредѣленность страстныхъ порывовъ (le vague des passions), о которой идетъ рѣчь въ этой выдержкѣ, характеризовала именно Ренэ и послѣдователей его, видно изъ Mémoires Шатобріана, въ которыхъ читаемъ: „Il n'y a pas de grimaud sortant du collège. qui n'ait rêvé être le plus malheureux des hommes; de bambin qui, à seize ans, n'ait épuisé la vie, qui dans l'abîme de ses pensées ne se soit livré au *vague de ses passions* qui n'ait frappé son front pâle et échevelé et n'ait étonné les hommes stupéfaits d'un malheur dont il ne savait pas le nom, ni eux non plus". Болѣе близкія сходства въ характеристикахъ недуга „современнаго" образованнаго человѣка, данныхъ Пушкинымъ и Шатобріаномъ, отмѣчены курсивомъ. Думаю, что эти сходства даютъ почти полное право на подведеніе недуга „современнаго человѣка", какого разумѣлъ Пушкинъ, подъ Шатобріаново „état du vague des passions"; у Шатобріана не находимъ только „души себялюбивой" и „озлобленнаго ума", которые привзошли въ Пушкинскую характеристику „современнаго человѣка" изъ другого источника, какъ то видно изъ сопоставленія Онѣгина съ Адольфомъ и будетъ также показано ниже при сопоставленіи Пушкина съ Байрономъ.

[1]) II, 145 (1833 г.). Ср. сейчасъ цитов. „le vague des passions" Шатобріана и выше выдержки о „задумчивости" поэзіи Пушкина. Напрасно поэтъ говорилъ въ 1822 г. (см. выше), что онъ „разлюбилъ мечтаніе жизни".

Авторъ „Ренэ“ испыталъ религіозный кризисъ уже во время пребыванія въ Англіи, въ послѣдніе годы XVIII-го столѣтія. Уже сидя въ своей убогой Лондонской каморкѣ, Шатобріанъ проливалъ горькія слезы о своемъ невѣріи и отрекался отъ Вольтера и язычества. Затѣмъ въ предисловіи 1802 г. къ „Генію христіанства“ онъ писалъ: „въ жизни нѣтъ ничего столь прекраснаго, сладостнаго, великаго, какъ предметы таинственные; самыя чудныя чувствованія—тѣ, которыя волнуютъ насъ наиболѣе смутно“. Этимъ Шатобріанъ вводилъ въ литературу чувство таинственнаго и вмѣстѣ религіозное, получавшее у него поэтическій характеръ: „необходимо призвать на помощь религіи всѣ чары воображенія и интересы сердца“, писалъ онъ. Очевидно, то было религія, въ значительной степени искусственная, не могшая принести полнаго успокоенія. Такъ, въ нерѣшительной душѣ Ренэ, какъ и въ душѣ Фауста, благочестивыя впечатлѣнія дѣтства не исчезали; они нѣсколько поддерживали и согрѣвали ее во дни глубокой безотрадности, но не спасали отъ послѣдней.

Пушкинъ не уподоблялся во всемъ этомъ Шатобріану. Въ отличіе отъ послѣдняго Пушкинъ избѣжалъ сочетанія разочарованія съ христіанскимъ настроеніемъ. Нашъ поэтъ, впадая въ моменты мрачнаго раздумья, еще не былъ пламеннымъ христіаниномъ, и отрѣшился отъ міровой скорби, когда прильнулъ къ христіанству. Полный поворотъ къ религіозному чувству произошелъ въ немъ не такъ скоро, отразился въ его литературной дѣятельности не столь рѣзко, и вообще Пушкинъ не былъ такимъ возстановителемъ авторитета христіанства въ литературѣ, какимъ оказался авторъ трактата о „Геніи христіанства“ и „Мучениковъ“. У насъ этотъ авторитетъ не былъ такъ потрясенъ, какъ на Западѣ; и потому Пушкинъ, обратившись всѣмъ сердцемъ къ христіанству, не представилъ такой апологіи послѣдняго, какъ Шатобріанъ, и не освѣтилъ такъ его поэтической красы [1]) и вдохновляющей силы. Въ этомъ отношеніи написанныя въ послѣдніе годы

---

[1]) Ср. замѣчаніе Пушкина объ этой сторонѣ дѣятельности Шатобріана: „Во Франціи, послѣ XVII вѣка, религіозный элементъ совершенно исчезаетъ изъ произведеній изящной словесности Онъ появляется снова только съ Шатобріаномъ, который ставитъ въ заголовкѣ книги слово „христіанство“—хотя онъ главнымъ образомъ пораженъ эстетическими красотами католицизма, и Ламартиномъ, который въ заглавіи поэтическаго произведенія употребляетъ слово „религіозныя“ (Зап. Смирн., I, 149).

жизни Пушкина немногія строки о Евангеліи (въ замѣткѣ о сочиненіи Сильвіо Пеллико „Объ обязанностяхъ человѣка") и религіозныя стихотворенія, конечно, не имѣли такого значенія, какъ разсужденія Шатобріана, но за то сердечнѣе и искреннѣе, потому что вылились изъ глубины сердца вполнѣ убѣжденнаго человѣка: возвратившись вполнѣ къ религіозной вѣрѣ, Пушкинъ и въ этомъ слился со своимъ народомъ, никогда не утрачивавшимъ ея. Потому же нельзя назвать Пушкина подобно Шатобріану возстановителемъ религіознаго чувства въ нашей поэзіи: оно не замирало въ послѣдней такъ, какъ угасало по мѣстамъ на Западѣ въ XVIII в. Но, конечно, Пушкинъ нѣкоторыми изъ своихъ произведеній, относящихся къ послѣднимъ годамъ его жизни, содѣйствовалъ, какъ и Лермонтовъ, подъему религіознаго чувства въ нашей поэзіи, несмотря на то, что многіе долго, очень долго не могли забыть „духа отрицанія и сомнѣнія" въ нашемъ поэтѣ.

Нельзя не признать, наконецъ, что и въ самомъ выраженіи какъ скорби вѣка, такъ и поворота къ утѣшенію, найденному въ поэтической красѣ и вдохновляющей силѣ христіанства, Шатобріанъ былъ не чуждъ искусственности [1]) и прикрашиванія [2]). Какъ Ренэ не избѣжалъ кокетства, такъ и свѣтская жизнь Шатобріана и увлеченія его не соотвѣствовали его меланхоліи.

Пушкинъ же былъ свободенъ отъ этихъ противорѣчій слова и жизни. Онъ выказалъ себя великимъ поэтомъ въ своей полной искренности. Онъ чуждъ реторики и декламаторства, драпировки и рисовки своего знаменитаго французскаго современника.

Въ этомъ отношеніи не столь погрѣшалъ болѣе могучій въ своей личности и поэзіи, кромѣ Шелли величайшій послѣ Гёте изъ современ-

---

[1]) V, 188—189 („О книгѣ А. Н. Муравьева: Путешествіе къ св. мѣстамъ, Спб. 1832"): „Молодого нашего соотечественника привлекло туда не суетное желаніе обрѣсти краски для поэтическаго романа, не безпокойное любопытство, не надежда найти насильственныя впечатлѣнія для сердца усталаго и притупленнаго.. Онъ traverse Грецію.—préoccupé одною великой мыслію; онъ не старается, какъ Шатобріанъ, воспользоваться противоположностью миѳологій Библіи и Одиссеи; онъ не останавливается, онъ спѣшитъ..."

[2]) V, 313: „Шатобріанъ и Куперъ представили намъ индійцевъ съ ихъ поэтической стороны, и закрасили истину красками своего воображенія,.. и недовѣрчивость къ словамъ заманчивыхъ повѣствователей уменьшала удовольствіе, доставляемое ихъ блестящими произведеніями".

ныхъ Пушкину поэтовъ Запада, Байронъ, затмившій славу Шатобріана, пронесшійся необычайно яркимъ, всѣхъ ослѣпившимъ метеоромъ на горизонтѣ европейской поэзіи и доселѣ еще для многихъ остающійся въ ореолѣ гордой и вмѣстѣ мощной и великой души.

Дѣйствительно, Байронъ рѣзко выдѣлялся изъ ряда поэтовъ того времени мощью своей индивидуальности и неуступчивостью условностямъ, огненностью и кипучестью своей натуры, крайнею отзывчивостію къ явленіямъ современности, а равно и страстнымъ и вмѣстѣ мужественнымъ отношеніемъ къ основымъ вопросамъ человѣческаго существованія и изображеніемъ блестящихъ идеаловъ могучей личности.

Славу Байрона сразу создала его поэма о странствованіяхъ Чайльдъ—Гарольда, въ которомъ не разъ нельзя не узнавать самого поэта. Это могучій и яркій представитель болѣзни вѣка [3]). Въ Чайльдъ-Гарольдѣ, какъ и въ его авторѣ, начали выражаться съ чрезвычайною силою и уже достигать апогея безграничныя стремленія человѣка XIX столѣтія. Но Гарольдъ умѣлъ переносить свою скорбь стоически, съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ, и находить утѣшеніе во время своихъ странствованій, напримѣръ въ бесѣдахъ съ природой; онъ выказываетъ такіе интересы, какъ энтузіазмъ ко всему великому, героичному, прекрасному въ европейской исторіи, которыхъ не обнаруживаютъ его литературные предшественники. Не совсѣмъ справедливо поэтому Шатобріанъ въ припадкѣ характеризующаго его тщеславія высказалъ однажды жалобу на то, что англійскій поэтъ нигдѣ не помянулъ должнымъ образомъ, чѣмъ былъ обязанъ своему французскому предшественнику. Слѣдуетъ признать, что поэма о странствованіи Чайльдъ-Гарольда—порожденіе болѣе мужественнаго воображенія, чѣмъ то, которое создало „Рене“, и болѣе высокаго полета духа. Герой ея не отрекается отъ жизни, не бѣжитъ навсегда подальше отъ людей, не расточаетъ своихъ силъ въ пустынѣ воображенія. То же можно сказать и о творцѣ Чайльдъ-Гарольда, Байронѣ. Этотъ поэтъ закончилъ свою жизнь сомнѣніями касательно познанія міра въ цѣломъ, скорбными и безутѣшнымъ думами, но не

---

[1]) Childe Harold's Pilgrimage, I, IV:

....long ere scarce a third of his pass'd by,
Worse than adversity the Childe befell;
He felt the fulness of satiety:
Then loathed he in his native land to dwell,
Which seem'd to him more lone than Eremite's sad cell.

обрекалъ себя на бездомное скитальчестью въ юдоли скорбей и не впадалъ въ безразличіе по отношенію къ тому, что творится здѣсь на землѣ. Байронъ лелѣялъ свободолюбивыя мечты и стремленіе къ мужественной борьбѣ. Соотвѣтственно тому онъ выдвигалъ романтическій культъ страстнаго и настойчиваго героизма, изобразилъ рядъ мятежныхъ героевъ демоническаго пошиба, какъ бы обновляя древній титаническій образъ Прометея, воспроизведенный также другомъ Байрона—Шелли, образы Мильтонова Сатаны, Шиллерова сатанинскаго Карла Мора. Байроновскій Донъ-Жуанъ также не лишенъ демонизма котораго не находимъ въ Пушкинскомъ.

Эта мощная поэзія не могла не увлечь собою цѣлаго ряда поэтовъ почти во всѣхъ странахъ Европы.

Было бы странно, если бы среди всеобщаго поклоненія, которымъ были окружены личность и поэзія Байрона всюду на континентѣ Европы къ 20-мъ и въ послѣдующіе годы нашего вѣка, между проч. и у насъ [1]), Пушкинъ остался чуждъ обаянія этого могучаго пѣвца гнѣва, протеста и свободы, составлявшихъ содержаніе немалой доли юношескихъ стихотвореній и нашего поэта, который также былъ „свободы другъ миролюбивый“ [2]):

Свободы сѣятель пустынный,
Онъ вышелъ рано до звѣзды;
Рукою чистой и безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя [3]).

---

[1]) Въ 1819 г., по словамъ А. И. Тургенева, Байронъ былъ „геніемъ-воскресителемъ“ Жуковскаго (Ост. арх., I, 286): „Жуковскій имъ бредилъ и имъ питался; въ планахъ его было много переводовъ изъ Байрона, котораго мы все лѣто читали. Я нагрѣваюсь имъ и недавно купилъ полное изданіе въ семи томахъ“ (ib., 334). Тургеневъ, какъ и Вяземскій, восхищался Чайльдъ-Гарольдомъ и „уродливымъ произведеніемъ Байрона: „Манфредъ“, трагедія. Жуковскій хотѣлъ выкрасть изъ нея лучшее“ (ib., 286). Вяземскій „читалъ и перечитывалъ лорда Байрона, разумѣется, въ блѣдныхъ выписскахъ французскихъ“ и замѣчалъ: „Что за скала, изъ коей бьетъ море поэзіи!“ (ib., 326) И. И. Козловъ, „бывшій танцмейстеръ (лихой танцовщикъ), лишившійся ногъ, и пріобрѣвшій вкусъ къ литературѣ“, выучился въ три мѣсяца по-англійски, и перевелъ Байронову „Bride of Abydos“ (ib., 336 и 551) и Португальскую пѣсню.

[2]) I, 248.

[3]) I, 299.

Пушкина не безъ основанія сопоставляли съ Байрономъ уже съ начала двадцатыхъ годовъ, называя его то „слабымъ подражателемъ не особенно похвальнаго оригинала“ [1]), то поэтомъ, близкимъ къ тому великому генію Запада, то болѣе или менѣе самостоятельнымъ его послѣдователемъ, то, наконецъ, поэтомъ, имѣющимъ совсѣмъ мало общаго съ Байрономъ [2]).

Но Пушкинъ не былъ ни Байронистомъ, ни писателемъ, вполнѣ независимымъ отъ великаго англійскаго поэта: въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ по временамъ лишь байронствовалъ въ своей поэзіи, если можно такъ выразиться [3]).

Прежде всего необходимо отмѣтить, что многое какъ будто сближало обоихъ поэтовъ начиная со сходства въ ихъ внѣшней судьбѣ. Оба были потомки старинныхъ знатныхъ, но захудалыхъ родовъ своей земли [4]); оба рано увлеклись французскими корифеями великой рево-

[1]) Выраженіе гр. М. С. Воронцова (1824 г.). Уже Смирнова замѣтила (I, 46): „Пушкина сравниваютъ съ Байрономъ только для того, чтобы уронить Пушкина и сказать, что онъ подражаетъ Байрону. Чаще всего это говорятъ люди, никогда не читавшіе Байрона, какъ, напр., Катонъ“ (гр. Бенкендорфъ).

[2]) См. названную брошюру г. Сиповскаго: „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ“, стр. 3—14, и рецензію на нее въ № 8 „Русскаго Богатства“ 1899. Къ сожалѣнію, сводъ г. Сиповскаго не полонъ, и даже изъ русскихъ трудовъ не названа, напр., рѣчь Н. И. Стороженка: „Вліяніе Байрона на европейскія литературы („Р. Вѣд.“ и „Пантеонъ Литературы“ 1888, мартъ, современная лѣтопись, 11—25). Въ дополненіе къ перечню сужденій о Байронизмѣ Пушкина, приведенному у г. Сиповскаго, можно бы прибавить еще рядъ заслуживающихъ вниманія разысканій, каковы: Harnack, Puschkin und Byron (Zeitschrift für Vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance—Litteratur, N. F., I Bd. (1888), 5-tes и 6-tes Heft, 396—410), M. Zdziechowski, Byron i jego wiek, t. II, Krak. 1897, 156—212, Tretiak, рецензія на книгу Здзѣховскаго (въ Kwartalnik Historiczny 1898, zesz. IV, 800—817: „Bajronizm w literaturach słowiańskich“) и статья: „Mickiewicz i Puszkin jako bajronisci“ (Ateneum 1899, Maj, 267—278, Czerwiec, 460—478); Weddigen, Lord Byron's Einfluss auf die europäischen Litteraturen der Neuzeit“, Hannover 1883, 111—114, и т. д. Въ послѣднее время явилась брошюра Н. Тихомирова· Пушкинъ въ его отношеніи къ Байрону, Витебскъ 1899.

[3]) Ср. отзывъ Мицкевича въ некрологѣ Пушкина, помѣщенномъ въ „Globe“ 1837 г. Обвиняя Пушкина въ томъ, что онъ слишкомъ подражалъ Байрону, даже Мицкевичъ замѣтилъ: „Il n'était pas un fanatique Byroniste, nous l'appelerions plutôt Byroniaque“.

[4]) Пушкина укоряли уже довольно рано въ томъ, что онъ подражалъ Байрону въ аристократизмѣ. См. еще стих. „Моя родословная, или русской мѣщанинъ. Вольное подражаніе лорду Байрону“ (II, 107)

Родовъ униженныхъ обломокъ,
И, слава Богу, не одинъ,
Бояръ старинныхъ я потомокъ.

люціи XVIII в., пламенно любили свободу, выражали въ своей поэзіи рѣзкій протестъ противъ не удовлетворявшей ихъ дѣйствительности, и обоимъ суждено было жить въ годы сильнѣйшей реакціи освободительнымъ идеямъ XVIII в.; оба противопоставляли себя толпѣ, были глашатаями свободы народовъ (въ частности грековъ) и личности, и обоимъ довелось испытать клевету и преслѣдованія. Пушкинъ не оставилъ своей родины, какъ Байронъ, но были моменты, когда онъ также помышлялъ покинуть отечество и никогда не возвращаться „въ проклятую Русь" [1]), какъ онъ однажды выразился. Оба поэта рано пресытились разгуломъ, въ значительной мѣрѣ утратили жизнерадостность въ поэзіи, но продолжали лелѣять высшіе интересы въ своей душѣ, искать утѣшенія между проч. въ любви и были въ ней близки къ Донъ-Жуану, котораго избрали и въ герои своихъ произведеній, считающихся одними изъ лучшихъ въ ихъ творчествѣ. Оба нарисовали образы нѣсколько сходныхъ героевъ (въ томъ числѣ Мазепы) и въ иныхъ изъ нихъ отразили самихъ себя. Даже съ житейскаго поприща сошли они приблизительно въ одномъ возрастѣ—37 лѣтъ.

Было не мало сродства между обоими поэтами и въ ихъ характерахъ и мысли.

Байронъ былъ, по выраженію Пушкина, „гордости поэтъ" [2]). Впрочемъ, его „геній блѣднѣлъ съ его молодостью. Въ своихъ трагедіяхъ, не выключая и Каина, онъ уже не тотъ *пламенный демонъ*, который создалъ Гяура и Чайльдъ-Гарольда" [3]). Характеръ Байрона слагался изъ „гордости, ненависти, меланхоліи" и проч. [4]). „Онъ исповѣдался въ своихъ стихахъ, невольно увлеченный восторгомъ поэзіи. Въ хладнокровной прозѣ онъ бы лгалъ и хитрилъ" [5]). Однако этотъ „поэтъ мучительный" былъ долго „милъ" Пушкину, какъ „стра-

---

[1]) VII, 182: „Я, конечно, презираю отечество мое съ головы до ногъ... Ты, который не на привязи, какъ можешь ты оставаться въ Россіи? Если царь дастъ мнѣ *слободу*, то я мѣсяца не останусь... Услышишь, милая, въ отвѣтъ: онъ удралъ въ Парижъ и никогда въ проклятую Русь не воротится. Ай да умница!"

[2]) III, 258. Привожу здѣсь и ниже болѣе раннія сужденія Пушкина о Байронѣ, относящіяся ко времени увлеченія нашего поэта Байрономъ и непосредственно слѣдовавшему; отзывы, сдѣланные послѣ перелома въ воззрѣніяхъ Пушкина, будутъ изложены впослѣдствіи.

[3]) VII, 80.

[4]) VII, 158.

[5]) VII, 159.

далецъ вдохновенный“ [1]), какъ „геній“ и „властитель нашихъ думъ“, и предъ выѣздомъ изъ Одессы въ 1824 г., обращаясь съ прощальнымъ привѣтомъ „Къ морю“, Пушкинъ такъ вспоминалъ о Байронѣ, имѣя въ виду, очевидно, заключительныя строфы Чайльдъ-Гарольда:

Исчезъ, оплаканный свободой,
Оставя міру свой вѣнецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о море, твой пѣвецъ.
Твой образъ былъ на немъ означенъ;
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могучъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ [2]).

Пушкинъ былъ самъ не чуждъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ качествъ, которыя усвоялъ Байрону: онъ также былъ гордъ, могъ питать и питалъ горячую ненависть, былъ склоненъ къ задумчивости, полюбилъ меланхолію, ознакомившись съ Руссо и Шатобріаномъ, могъ впадать и впадалъ въ демонизмъ [3]). Потому-то поэзія Байрона могла встрѣтить столько откликовъ въ душѣ нашего поэта, и потому находилъ доступъ въ послѣднюю и демонизмъ Байрона. Послѣдній *отчасти* могъ имѣть въ виду нашъ поэтъ, рисуя въ 1823 г. портретъ „злобнаго генія“, „Демона“, который, „въ тѣ дни, когда“ Пушкину

. . . . . , ... были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія,

въ

Часы надеждъ и наслажденій,
Тоской внезапной осѣня,
Сталъ тайно навѣщать меня.
Печальны были наши встрѣчи:
Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неистощимой клеветою

[1]) I, 280.
[2]) I, 304—305.
[3]) См. выше—въ началѣ II-й главы (стр. 54—55).

Онъ провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ [1]).

[1]) I, 292. Уже со времени появленія этого стихотворенія въ печати (въ 1824 г.) многіе въ лицѣ Демона, изображеннаго поэтомъ, усматривали А. Н. Раевскаго, и тоже повторяютъ иные и теперь (Сиповскій—Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій, стр. 29—31 отдѣльнаго оттиска). Но Поливановъ въ статьѣ: „Демонъ Пушкина. На основаніи новаго пересмотра рукописей поэта" (Русск Вѣстникъ 1886, № 8) справедливо замѣтилъ, что это—„не портретъ дѣйствительнаго лица, какъ толковала любопытствующая публика" (стр. 849; ср. стр. 843). Нельзя только согласиться съ выводомъ Поливанова, что „Демонъ Пушкина есть прекрасный эскизъ великаго художника, набросанный имъ при созданіи одной изъ знаменательныхъ картинъ своего романа, а именно въ тотъ моментъ его созданія, когда онъ окончательно опредѣлялъ фигуру его героя" (Онѣгина). Обратимъ вниманіе на указаніе поэта, съ какого момента сталъ являться ему демонъ: для насъ не важно упоминаніе о томъ, что поэта привлекали тогда еще новизной

И взоры дѣвъ, и шумъ дубравы,
И ночью пѣнье соловья;

гораздо опредѣленнѣе указаніе, что тогда

. . . . . возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь
Такъ сильно волновали кровь.

Изъ этого упоминанія, кажется, можно вывести съ полнымъ основаніемъ, что первыя явленія демона восходили еще къ порѣ Петербургскаго житья поэта (въ послѣднее время пребыванія въ лицеѣ и по выходѣ изъ послѣдняго) до перехода на югъ, когда Пушкина еще не постигло разочарованіе въ грезахъ о свободѣ и доброй славѣ. Это подтверждается также и приведеннымъ уже выше, относящимся къ 1816 году, упоминаніемъ:

...пролетѣлъ мигъ упоеній,
Я радость свѣтлую забылъ;
Меня печали мрачный геній
Крылами черными покрылъ.

Ср. въ стих. „В. Л. Давыдову" (1821; VII, 21):

Клянусь, не внемля сатанѣ,

и въ „Разговорѣ книгопродавца съ поэтомъ":

. . . . . яркія видѣнья,
Съ неизъяснимою красой,

Байронъ былъ однимъ изъ поэтовъ, будившихъ по временамъ въ Пушкинѣ мрачные вопросы и думы. Быть можетъ, не безъ воз-

---

Вились, летали надо мной
Въ часы ночного вдохновенья.
Все волновало нѣжный умъ:
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава...

Ясно, что въ образѣ демона мы имѣемъ олицетвореніе мрачнаго раздумья, начавшаго посѣщать поэта уже съ послѣднихъ лѣтъ пребыванія въ лицеѣ. Такое толкованіе согласно съ объясненіемъ, даннымъ самимъ поэтомъ (Анненковъ, Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ Александровскую эпоху, Спб. 1874, стр 153): „Не хотѣлъ ли поэтъ *олицетворить сомнѣніе?* Въ *лучшее время жизни* сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго... противорѣчія существенности рождаютъ сомнѣніе. . Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души... Недаромъ великій Гёте называетъ вѣчнаго врага человѣчества — духомъ *отрицающимъ*... И Пушкинъ не хотѣлъ ли въ своемъ „Демонѣ" *олицетворить сей духъ отрицанія или сомнѣнія* и начертать въ пріятной картинѣ печальное вліяніе его на нравственность нашего вѣка?" Нѣтъ никакого основанія не довѣрять вслѣдъ за г. Сиповскимъ этому свидѣтельству поэта, вполнѣ согласному съ приведенными выше и собранными также въ статьѣ Поливанова данными о продолжительной неоднократной работѣ Пушкина надъ образомъ Демона. Къ А. Н. Раевскому, какъ его описываютъ знавшія его лица, врядъ ли подходятъ такія выраженія, сохранившіяся въ черновыхъ рукописяхъ поэта, какъ слѣдующее:

Непостижимое волненье
Меня къ *лукавому* влекло
И я мое существованье
Съ его навѣкъ соединилъ...
Съ его *неясными* словами
Моя душа звучала въ ладъ...

или (I, 286):

Ужели онъ казался прежде мнѣ
Столь величавымъ и *прекраснымъ*?
Ужели . . . . . глубинѣ
Я наслаждался сердцемъ яснымъ?
Кого жъ.... возвышенной мечтой
Боготворить не постыдился!..

Быть можетъ, въ этихъ стихахъ рѣчь идетъ объ образѣ, сродномъ тому, о которомъ говорилось еще въ стихотв. 1830 г. (см. выше), какъ о „волшебномъ демонѣ—

дѣйствія его Чайльдъ-Гарольда Пушкинъ уже въ 1819 г. писалъ, что

От юности, отъ нѣгъ и сладострастья

лживомъ, но прекрасномъ". Пушкину, повидимому, съ ранняго времени, былъ извѣстенъ величавый образъ Мильтонова сатаны. Въ стихотв. „Бова" (1815 г.; Соч. П., I, 95) читаемъ:

За Мильтономъ и Камоэнсомъ
Опасался я безъ крилъ парить,
Не дерзалъ въ стихахъ безсмысленныхъ
Въ серафимовъ жарить пушками,
Съ сатаною обитать въ раю...

Но вѣрнѣе, что Пушкинъ подъ своимъ демономъ разумѣлъ кого-то другого. Врядъ ли то былъ Вольтеръ, хотя въ сейчасъ названномъ отрывкѣ „Бова" (ib., 96) Пушкинъ выразился объ авторѣ „Жанны Орлеанской":

О Вольтеръ, о мужъ единственный,
Ты, котораго во Франціи
Почитали богомъ нѣкіимъ,
Въ Римѣ *дьяволомъ*, антихристомъ,
Обезьяною въ Саксоніи...

и хотя не безъ воспоминанія о сатирѣ Вольтера „Le diable" Пушкинъ могъ затѣять въ 1821 г. сатиру, въ которой выступалъ сатана (I, 267). Согласно съ указаніемъ самого Пушкина, слѣдуетъ имѣть въ виду Гётевскаго Мефистофеля, съ которымъ нашъ поэтъ могъ быть рано знакомъ благодаря Кюхельбекеру. Къ Мефистофелю хорошо подходитъ Пушкинская характеристика „Демона". Но вспомнимъ, что и Байронъ казался Пушкину демономъ въ „Гяурѣ" и „Чайльдъ-Гарольдѣ". По словамъ Анненкова (Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 151), согласнымъ со свидѣтельствомъ П. Я. Чаадаева, переданнымъ г. Бартеневымъ (Р. Архивъ 1866, стр. 1140: „съ Байрономъ онъ началъ знакомство въ Петербургѣ, гдѣ учился по-англійски и бралъ для этого у Чаадаева книжку Газлита: „Разсказы за столомъ"), „Пушкинъ принялся на Кавказѣ за изученіе англійскаго языка, *основанія котораго зналъ и прежде*". Не поэзія ли Байрона толкнула Пушкина къ этому изученію уже въ Петербургѣ? При томъ увлеченіи англійскимъ поэтомъ, о которомъ свидѣтельствуютъ приведенныя выше выдержки изъ переписки въ 1819 г. друзей Пушкина, кн. П. А. Вяземскаго и А. И. Тургенева, странно было бы, если бы Пушкинъ не интересовался уже тогда великимъ британскимъ поэтомъ. Съ послѣднимъ онъ могъ знакомиться во французскомъ переводѣ, подобно Вяземскому, читавшему Чайльдъ-Гарольда также во французскомъ переложеніи. Что до усвоенія Пушкинымъ англійскаго языка, о томъ см. примѣч. на стр. 648 „Ост. Архива". Къ собраннымъ тамъ даннымъ слѣдуетъ прибавить, что составленную Пушкинымъ фразу на англійскомъ языкѣ находимъ уже въ его письмѣ отъ 12 марта 1825 г. (VII, 113). Конечно, „Демонъ" Пушкина не вполнѣ подходилъ къ самому Байрону, но обрисовка перваго не далека отъ демоническаго типа, какъ послѣдній представалъ въ цѣломъ рядѣ произведеній Байрона, сдѣлавшихся извѣстными Пушкину къ 1823 году. Усматриваетъ отношеніе Пушкинскаго „Демона" къ Байрону и г-нъ Третякъ: Ateneum 1899, Maj, str. 284—286.

Останется уныніе одно [1]).

Не Байронъ ли, далѣе, уяснилъ ему пошлость общества, которую нашъ поэтъ могъ замѣчать и безъ того [2]), и не онъ ли помогъ Пушкину окончательно сознать силу мощной личности и свою, подобную Байроновой, роль въ моментъ провозглашенія нашимъ поэтомъ:

. . . . . пламеннымъ волненьемъ
И бурями души моей,
И жаждой воли, и гоненьемъ
Я сталъ извѣстенъ межъ людей? [3])

Байронъ могъ укрѣпить въ Пушкинѣ также ироническое отношеніе къ дѣйствительности, проглядывающее въ „Онѣгинѣ". Вмѣстѣ съ тѣмъ поэтъ Чайльдъ-Гарольда усиленно будилъ въ Пушкинѣ скептицизмъ [4]), почва для котораго также была подготовлена ранѣе чтеніемъ Бэйля, Вольтера и др. Подъ вліяніемъ Байрона могъ только сильнѣе заговорить въ душѣ Пушкина голосъ демона Байроновой мысли, обѣщавшаго

Истолковать мнѣ все творенье,
И разгадать добро и зло [5]).

---

[1]) I, 201.

[2]) I, 281:

Увидѣлъ я толпы безумной
Презрѣнный, робкій эгоизмъ...
. . . . . мнѣ дружба измѣнила,
Какъ измѣнила мнѣ любовь...

Въ стихотвореніи „Къ ***", написанномъ до 12 апрѣля 1822 г., читаемъ (I, 286):

И свѣтъ,—и дружбу,—и любовь
Въ ихъ наготѣ отнынѣ вижу.
Но все прошло! остыла въ сердцѣ кровь,
И *мрачный* (вар.: ужасный) *опытъ ненавижу.*
Разоблачивъ плѣнительный кумиръ,
Я вижу...

[3]) I, 265.

[4]) V, 50: „Каинъ... относится къ роду *скептической поэзіи* Чайльдъ-Гарольда".

[5]) Въ Чайльдъ-Гарольдѣ мысль названа „демономъ". Свободная мысль является единымъ уцѣлѣвающимъ нашимъ благомъ. См. Ch. Har. Pilgr., IV, cxxxvii

И вотъ въ годы увлеченія Байрономъ Пушкина, который ранѣе писалъ, что „такимъ бездѣльемъ", какъ „гроба близкое новоселье", „право, намъ заниматься недосугъ" [1]), повидимому, весьма заинтересовали „гроба тайныя вѣковыя" [2]), и много волновалъ вопросъ о смерти и безсмертіи человѣческой души. Кажется, бывали моменты отрицательнаго рѣшенія его нашимъ поэтомъ. Къ такому рѣшенію склонялся идеалистъ Ленскій во II-й главѣ Онѣгина, въ своемъ стихотвореніи, написанномъ между 22 октября и 3 ноября 1823 г.:

Когда бы вѣрилъ я, что нѣкогда душа,
Отъ тлѣнья убѣжавъ, уноситъ мысли вѣчны,
И память, и любовь въ пучины безконечны,—
Клянусь! давно бы я оставилъ этотъ міръ...
Но тщетно предаюсь обманчивой мечтѣ!
Мой умъ упорствуетъ, надежду презираетъ.—
Меня *ничтожествомъ* могила ужасаетъ...
Какъ! ничего! ни мысль, ни первая любовь!
Мнѣ страшно .... и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтобъ долго образъ милый
Таился и пылалъ въ душѣ моей унылой [3]).

Но самъ поэтъ послѣ нѣкотораго колебанія постепенно возвысился надъ этимъ представленіемъ нашего ничтожества, проявляющагося въ смерти, и надъ Вольтеровскимъ сомнѣніемъ въ безсмертіи нашей души, и эта побѣда надъ сомнѣніемъ выступаетъ въ стихотвореніи, напечатанномъ впервые въ 1826 г. и начинающемся словами: „Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный" [4])... Интересно, что поэтъ почерпаетъ

---

[1]) I, 200.
[2]) III, 268.
[3]) III, 268–269.
[4]) I, 271. Первоначальная редакція (VII, LVIII–LIX) нѣсколько предшествовала I-й пѣснѣ „Онѣгина" и написана до 28 мая 1823 г. Въ этомъ первичномъ наброскѣ также рѣчь идетъ о „сердцу непонятномъ мракѣ, пріютѣ отчаянья слѣпаго, *ничтожествѣ*, пустомъ призракѣ", но поэтъ превозмогаетъ ужасную мысль о томъ, обращаясь къ ничтожеству со словами:

Ты чуждо мысли человѣка,
Тебя страшится гордый умъ...

и затѣмъ задаваясь вопросомъ:

Ужели съ ризой гробовой

увѣренность въ безсмертіи души и въ первичной редакціи стихотворенія, и въ окончательной прежде всего изъ „благословенныхъ мечтаній поэзіи прелестной“, переносящихъ въ „сумракъ неизвѣстный“ и утѣшающихъ тѣмъ,

Что тѣни легкою толпой,
Отъ береговъ холодной Леты
Слетаются на брегъ земной...
И въ сновидѣньяхъ утѣшаютъ
Сердца покинутыхъ друзей;
Онѣ, безсмертіе вкушая,
Ихъ поджидаютъ въ Элизей.

Поэтъ примкнулъ, такимъ образомъ, къ широко распространенной издревле вѣрѣ въ то, что сила любви преодолѣваетъ самую смерть, къ той вѣрѣ, которая создала цѣлый рядъ сказаній о женихѣ, являющемся съ того свѣта, и т. п. При этомъ въ моментъ созданія приведенныхъ стиховъ Пушкинъ руководился, повидимому, аналогическимъ оборотомъ мысли Байрона [1]) и былъ также подъ вліяніемъ

Всѣ чувства брошу я земныя
И чуждъ мнѣ станетъ міръ земной?..
Не буду вѣдать сожалѣній,
Тоску любви забуду я?

Всего этого не находимъ въ окончательной редакціи.

[1]) Childe Harold's pilgrimage, II, VII—IX:

Pursue what Chance or Fate proclaimeth best;
Peace waits us on the shores of Acheron...
Yet if, as holiest men have deem'd, there be
A land of souls beyond that sable shore,
To shame the doctrine of the Sadducee
And sophists, madly vain of dubious lore;
How sweet it were in concert to adore
With those who made our mortal labours light!
To hear each voice we fear'd to hear no more!..
There, thou! - whose love and life together fled,
Have left me here to love and live in vain—
Twined with my heart, and can I deem thee dead
When busy Memory flashes on my brain?
Well—I will dream that we may meet again,
And woo the vision to my vacant breast:
If aught of young Remembrance then remain,
Be as it may Futurity's behest,
For me 't were bliss enough to know thy spirit blest!

традиціонныхъ представленій о загробной жизни, унаслѣдованныхъ отъ окружавшей среды [1]). Послѣднія подавляли скептицизмъ, какой могли навѣвать чтимые Пушкинымъ писатели Запада.

Эти же поэты, и въ ряду ихъ болѣе другихъ Байронъ, какъ бы освящали и окружали особымъ ореоломъ охлажденіе, которое испытывалъ нашъ поэтъ, писавшій: „Ко всему былъ охлажденъ, ко всему охладѣлъ... Хочу возобновить дружбу, какъ мертвецъ ... любовь; труды, не могу“ [2]).

Но напрасно Пушкинъ увѣрялъ себя иногда:

Свою печать утратилъ рѣзвый нравъ,
Душа часъ отъ часу нѣмѣетъ.
Въ ней чувства нѣтъ уже. Такъ легкій листъ дубравъ
Въ ключахъ кавказскихъ каменѣетъ [3]).

Не разъ онъ долженъ былъ задавать себѣ вопросъ:

Но что жъ теперь тревожитъ хладный миръ
Души безчувственной и праздной [4])?

И въ отличіе отъ Байрона Пушкинъ не испытывалъ полной душевной усталости на дѣлѣ.

---

[1]) Оттуда выраженіе о загробномъ мірѣ:

. . . . . тамъ, гдѣ все блистаетъ
Нетлѣнной славой и красой,
Гдѣ чистый пламень пожираетъ
Несовершенство бытія...

Вообще Пушкинъ не порывалъ рѣзко съ воззрѣніями и обычаями своей среды и въ годы увлеченія Байрономъ, напр. (I, 277), „въ чужбинѣ“ свято наблюдалъ

Родной обычай старины

и, „выпустивъ на волю птичку“

При свѣтломъ праздникѣ весны,
...сталъ доступенъ утѣшенью;
За что на Бога мнѣ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать?

Это были стихи на „трогательный обычай русскаго мужика въ свѣтлое воскресенье выпускать на волю птичку“ (VII, 32).

[2]) I, 286. Ср. I., 238: „Я разлюбилъ свои мечты...“

[3]) Тамъ же.

[4]) I, 287.

Такъ, при всѣхъ совпаденіяхъ въ жизни и дѣятельности обоихъ поэтовъ, оставались въ силѣ и коренныя различія между ними, обусловленныя немалыми различіями ихъ характеровъ и дарованій, а также среды, въ которой они вращались въ годы удаленія изъ общества, взлелѣявшаго ихъ юность.

Складъ нравственной натуры Пушкина, характеризовавшейся, по словамъ лицъ, хорошо знавшихъ его, „столь развитымъ въ немъ нравственнымъ чувствомъ", „великою прямотою совѣсти", добротою сердца несмотря на вспыльчивость и горячность, далѣе неспособностью къ сильной и продолжительной ненависти и къ непримиримой гордости, рѣзко отличалъ Пушкина отъ Британскаго поэта. Въ нашемъ поэтѣ сказывалось также невольное вліяніе русской среды и ея вѣковыхъ преданій. И мы видѣли, что уже первое стихотвореніе Пушкина, несомнѣнно и прямо навѣянное поэзіею Байрона (элегія „Погасло дневное свѣтило"), не можетъ назваться вполнѣ Байроническимъ. Рефренъ того стихотворенія:

Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!

передающій его основное настроеніе, наиболѣе приближаетъ его къ прощанію съ родимымъ краемъ Чайльдъ-Гарольда [1]), но еслибы даже было еще болѣе близости между обоими стихотвореніями, то и это не имѣло бы особаго значенія, потому что прощальный привѣтъ Чайльдъ-Гарольда родинѣ вообще плѣнялъ многихъ [2]), и переводъ его обратился въ романсъ, жившій въ музыкальномъ исполненіи у насъ, если не ошибаемся, вплоть до 60-хъ годовъ нашего вѣка. Важно то, что о „сомнѣніи", которое преимущественно могла навѣвать поэзія Байрона, Пушкинъ выразился, что оно—„чувство мучительное, но *не продолжительное*" [3]).

---

[1]) Въ прощаніи Чайльдъ-Гарольда этому рефрену нѣсколько соотвѣтствуетъ стихъ:

Welcome, welcome ye dark blue waves!

къ которому слѣдуетъ прибавить еще изъ Ch. Har. Pilgr., IV, CLXXIX:

Roll on, thou deep and dark blue Ocean—roll!

[2]) Остаф. арх., I, 338 и 353.

[3]) См. выше выдержку изъ замѣтки Пушкина по поводу „Демона", приведенной Анненковымъ. Ср. V, 55: „скептицизмъ, во всякомъ случаѣ, есть только первый шагъ умствованія".

Потому-то увлеченіе Пушкина Байрономъ не было глубокое и рѣшающее на всю жизнь, каковымъ можно признать въ значительной степени воздѣйствіе Байрона на Лермонтова. Оно длилось не болѣе пяти лѣтъ, совмѣщалось и чередовалось съ увлеченіемъ поэтами иного пошиба, чѣмъ Байронъ, слѣдовательно, вытекало въ значительной степени изъ разносторонней воспріимчивости нашего поэта, и хотя отдѣльные отзвуки его слышались и потомъ [1]), но въ существѣ оно окончилось еще ранѣе панихиды по Байронѣ, отслуженной въ с. Михайловскомъ въ апрѣлѣ 1825 г. [2]), да и въ тѣ годы, когда нашъ поэтъ, по его собственному выраженію, „съ ума сходилъ" при чтеніи Байрона, давало *поэзіи* Пушкина мало содержанія, которое могло бы быть усвоено мыслью нашего поэта, могучею на свой ладъ. Оно сообщало лишь болѣе силы и прибавляло нѣкоторыя отдѣльныя черты къ сродному направленію мыслей и творчества Пушкина, вынесенному изъ усвоенія произведеній Вольтера, Руссо, г-жи де-Сталь, Шатобріана и другихъ, а также изъ собственнаго опыта и обстоятельствъ русской жизни. Разочарованіе, пресыщеніе и охлажденіе къ жизни, отличающія Чайльдъ-Гарольда, были извѣстны Пушкину съ довольно ранняго времени, а демоническія сомнѣнія могли быть знакомы также изъ Вольтера и „Фауста" Гёте.

Въ герояхъ поэмъ Пушкина, признававшихся Байроническими, можно открыть лишь нерѣдкое и у великихъ писателей усвоеніе и затѣмъ воспроизведеніе по невольному припоминанію и сліяніе въ своеобразномъ цѣломъ отдѣльныхъ чертъ, вынесенныхъ изъ чтенія цѣлаго ряда поэтовъ, а не только Байрона. Наиболѣе близкимъ къ Байроновымъ отмѣнамъ героическаго типа слѣдуетъ, кажется, признать Евгенія Онѣгина, который какъ будто имѣетъ въ себѣ и по внѣшнему виду, и по внутреннему складу что-то родственное Чайльдъ-Гарольду и Донъ-Жуану [3]). Онъ

---

[1]) Самъ Пушкинъ сравнивалъ „Графа Нулина" съ „Беппо" (VII, 179).

[2]) Періодъ, когда Пушкинъ сравнительно чаще подпадалъ по временамъ настроенію, навѣваемому поэзіею Байрона, закончился собственно съ написаніемъ стихотворенія „Къ морю". Но, какъ увидимъ, отдѣльныя вспышки Байроническаго настроенія повторялись до 30-хъ годовъ, и манеру Байрона готовы усматривать еще въ „Домикѣ въ Коломнѣ".

[3]) См. выше, гдѣ указаны мѣста писемъ Пушкина, выясняющія отношеніе „Евгенія Онѣгина" къ „Донъ-Жуану". Поэтъ писалъ въ концѣ (VII, 157—118), что въ Донъ-Жуанѣ „нѣтъ ничего общаго съ Онѣгинымъ"... „если уже и сравнивать

Какъ dandy Лондонскій одѣтъ [1]).
Прямымъ Онѣгинъ Чайльдъ-Гарольдомъ
Вдался въ задумчивую лѣнь [2]).

Страдая недугомъ, „подобнымъ англійскому сплину", онъ

. . . . къ жизни вовсе охладѣлъ.
Какъ Childe Harold, угрюмый, томный,
Въ гостиныхъ появлялся онъ [3]).

Онъ былъ истиннымъ героемъ того времени, когда

Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы [4]).

Онѣгинъ въ годы юности заключалъ въ себѣ также немало Донъ-Жуановскаго демонизма, подобно тому какъ и Донъ-Жуанъ Байрона былъ выразителемъ одной изъ сторонъ Байроновскаго демонизма. „Рѣзкій, охлажденный умъ", „язвительный споръ", „печальныя рѣчи", „шутка съ злостью пополамъ", „злость мрачныхъ эпиграммъ" [5]), презрѣніе къ людямъ [6]) и т. п.—все это черты демонизма, который подтверждается и изученіемъ отношенія набросковъ стихотворенія „Демонъ" къ обрисовкѣ Онѣгина [7]). „Жизни бѣдной кладъ", напр., разоблачили поэту и Онѣгинъ [8]), и „Демонъ" [9]). Въ одномъ мѣстѣ поэтъ

Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ, то развѣ въ одномъ отношеніи, кто милѣе и прелестнѣе (gracieuse), Татьяна или Юлія"? Интересно, что Пушкинъ хотѣлъ-было свести Онѣгина и Байрона: Зап. Смирн., I, 311.

[1]) III, 236 (Е. О., I, IV).
[2]) III, 319 (Е. О., IV, XLIV)
[3]) III, 250 (Е. О., I, XXXVIII).
[4]) III, 285 (Е. О., III, XII).
[5]) III, 251—213 (Е. О., I, XLV, XLVI).
[6]) III, 252, 267 (Е. О., I, XLVI; II, XIV).
[7]) См. въ указанной выше статьѣ Поливанова.
[8]) III, 252:

Открылъ я жизни бѣдной кладъ
Въ замѣну прежнихъ заблужденій,
Въ замѣну вѣры и надеждъ
Для легкомысленныхъ невѣждъ.

[9]) I, 293:

Меня къ лукавому влекло...
Я сталъ взирать его глазами,
Мнѣ жизни дался бѣдный кладъ

прямо намекаетъ на то, что Онѣгинъ прослылъ

Иль сатаническимъ уродомъ,
Иль даже „Демономъ“ [1])...

Но, при всемъ томъ, Онѣгинъ—Байроническій герой только по наружности, а по своему демонизму онъ былъ таковымъ лишь временно, и, хотя послѣ внимательнаго изученія его литературныхъ вкусовъ и мнѣній въ умѣ Татьяны и мелькнула мысль, не пародія ли онъ, однако Онѣгина „съ сердцемъ и умомъ“ его [2]) нельзя назвать таковою. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, какъ постепенно видоизмѣнялся образъ Онѣгина по мѣрѣ приближенія къ концу романа, какъ серьезнѣе становился этотъ герой. Уже въ IV-й главѣ, прежній Ловеласъ,

. . . получивъ посланье Тани,
Онѣгинъ живо тронутъ былъ:
Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмутилъ...
И *въ сладостный, безгрѣшный сонъ*
Душою погрузился онъ [3]).

А разстаемся мы съ Онѣгинымъ въ тотъ моментъ, когда онъ оказался

Въ Татьяну какъ дитя влюбленъ [4])

и очутился, быть можетъ, вполнѣ на пути къ перерожденію, какъ былъ тогда на томъ пути и поэтъ, котораго Онѣгинъ былъ столь долго „спутникомъ страннымъ“ [5]), поэтъ, достигшій полнаго возрожденія, между прочимъ, съ момента чистой супружеской любви. Полюбивъ Татьяну, Онѣгинъ преобразился, его скука и холодная тоска исчезли: очевидно, эта любовь не походила на прежнія увлеченія, какъ, вѣроятно, и Татьяна не походила на прежнихъ „красавицъ“ Евгенія.

Поэтъ справедливо назвалъ однажды Онѣгина „полу-русскимъ героемъ“ [6]). Такимъ надо признать и вообще типъ, изображенный Пушкинымъ въ поэмахъ тоски. Какъ сказано выше, этотъ типъ принадлежалъ

---

[1]) III, 386 (Е. О., VIII, XII).
[2]) III, 402 (Е. О., VIII, XLV).
[3]) III, 305 (Е. О., IV, XI).
[4]) III, 394 (Е. О., VIII, XXX).
[5]) III, 404 (Е. О., VIII, L).
[6]) III, 380. Татьяна же, какъ мы видѣли, была, по словамъ поэта, „русская душой“.

намъ одновременно со всѣмъ Западомъ и у насъ обрисовался лишь нѣсколько позднѣе, чѣмъ тамъ. Въ поколѣніи, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, такіе тоскующіе люди были нерѣдки, и нашъ поэтъ извѣдалъ всѣ муки ихъ души. Этихъ людей у насъ называли лишними, а Достоевскій наименовалъ ихъ скитальцами въ русской землѣ. Правильнѣе, быть можетъ, было-бы назвать ихъ міровыми скитальцами, не могущими найти покоя нигдѣ въ мірѣ. Ихъ типъ сталъ такимъ же міровымъ типомъ, какъ типъ честолюбца, скупого и т. п. Слѣдовательно, оцѣнивая воспроизведеніе этого типа въ поэзіи Пушкина, необходимо принимать во вниманіе лишь характеръ этого воспроизведенія, а не вопросъ о полной оригинальности самаго типа. Становясь на такую точку зрѣнія, нельзя не признать, что Пушкинъ сдѣлалъ весьма много въ воспроизведеніи этого образа. Нашъ поэтъ углубилъ пониманіе типа тоскующаго человѣка, сообщивъ ему въ высшей степени рельефную обрисовку, подмѣтивъ въ немъ черты „современнаго человѣка", ускользавшія отъ вниманія другихъ, и отрѣшивъ его отъ излишняго ореола. Въ изображеніи этого человѣка на русской почвѣ стало понятнѣе возникновеніе его типа въ связи съ безотрадными условіями общественности, съ одной стороны, и въ зависимости отъ тѣхъ общеевропейскихъ интеллектуальныхъ и моральныхъ вѣяній, которыя питали такихъ людей,—съ другой. Такого отчетливаго критическаго отношенія къ излюбленному типу носителя міровой скорби не находимъ въ тѣ годы ни у какого другого поэта, а между тѣмъ оно было въ высшей степени важно, потому что не могла же жизнь остановиться на отрицательномъ, сѣтующемъ, либо негодующемъ созерцаніи. Развѣнчать такъ, мастерски проанализировавъ, типъ разочарованнаго протестующаго человѣка, нерѣдко благородной и возвышенной, но въ то же время безплодной личности и указать ей выходъ могъ только первостепенный талантъ; равно разоблачить демонизмъ, какъ то сдѣлано Пушкинымъ въ „Демонѣ" и др. произведеніяхъ, могъ лишь сильный умъ.

Такъ же мѣтко и притомъ довольно рано разгадалъ Пушкинъ и односторонность передоваго въ жизни того времени носителя этого типа—Байрона и его демонизма. Пушкинъ съ замѣчательною проницательностью рано понялъ Байрона, какъ поэта, который постоянно въ своихъ герояхъ „погружается, въ описаніе самого себя, въ коемъ онъ поэтически созналъ и описалъ единый характеръ (именно—свой); все, кромѣ ... etc. отнесъ онъ къ сему мрачному, могущественному

лицу, столь таинственно плѣнительному" [1]). Самъ же Пушкинъ и въ годы увлеченія Байрономъ далеко не всегда

. . . . . маралъ свой портретъ,
Какъ Байронъ, гордости поэтъ [2]),

который

. . . . . прихотью удачной
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ [3]).

Пушкинъ не былъ гордымъ эгоистомъ на Байроновскій ладъ и такимъ рѣзкимъ индивидуалистомъ.

Потому-то сравнительно мало и слабо отозвался Байронизмъ въ лирикѣ Пушкина, хотя послѣдняго плѣнила довольно рано „поэзія мрачная, богатырская, сильная, байроническая" [4]). Самымъ яркимъ выраженіемъ Байронизма былъ демонизмъ, открытый Пушкинымъ у Байрона и отчасти переданный Лермонтову, и тотъ безотрадный лирическій аккордъ, какой слышимъ въ стихотвореніи „26 мая 1828 г.":

Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана,
Иль зачѣмъ судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня *враждебной* властью
Изъ ничтожества воззвалъ, *и т. д.* [5]).

Въ этомъ стихотвореніи Пушкинъ явился на мгновенье настоящимъ Байронистомъ [6]). Но то не были могучіе взрывы глубокаго отрицанія

---

[1]) VII, 50; ср. VII, 158. Взглядъ Тэна на эту особенность поэзіи Байрона въ сущности тотъ же.

[2]) III, 258 (Е. О., I, LVI).

[3]) III, 386 (Е. О., III, XII).

[4]) VII, 15.

[5]) II, 38. Павлищевъ, Воспоминанія, 21, называетъ это стихотвореніе „любимыми стихами" Пушкина.

[6]) Ср. въ „Каинѣ", актъ II, сц. II, слова Каина:

. . . . . Why do I exist?
Why art thou wretched? wy are all things so?
Ev'n he who made us must be, as the maker
Of things unhappy! To produce destruction
Can surely never be the task of joy etc.

Ср. выше слова Пушкина (V, 50) о принадлежности „Каина" „къ роду скептической поэзіи Чайльдъ-Гарольда". О слѣдахъ воздѣйствія Байрона на тѣ или иные

и отчаянія Байронова Каина, которыя разжигаетъ Люциферъ, а лишь выраженіе отдѣльныхъ моментовъ колебанія души, не могшей склониться къ полному и мрачному отрицанію, постоянно пытавшейся превозмочь голосъ демона сомнѣній и преодолѣвшей его.

Уже приступивъ къ „Онѣгину" и въ моментъ созданія „Цыганъ" Пушкинъ могъ прозрѣвать то, что выразилъ позднѣе въ словахъ: „словесность отчаянія" (какъ назвалъ ее Гёте), „словесность сатаническая" (какъ говоритъ Соутей), „словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр." „осуждена высшею критикою", и изображеніе „только двухъ струнъ въ сердцѣ человѣческомъ: эгоизма и тщеславія", вытекающее изъ „поверхностнаго взгляда на человѣческую природу", „обличаетъ, конечно, мелкомысліе" [1]).

Пушкинъ сохранялъ при этомъ уваженіе къ образу Чайльдъ-Гарольда [2]), но восторжествовалъ надъ мрачнымъ отношеніемъ къ жизни[3]), надъ духомъ сомнѣнія и отрицанія, какъ Гёте, поднялся до яснаго и небесно-чистаго созерцанія Шиллера, оставшись въ то же время свободнымъ и отъ холоднаго въ концѣ Олимпійскаго величія Гёте и отъ крайняго идеализма Шиллера. Равнымъ образомъ, и въ другихъ отношеніяхъ Пушкинъ отошелъ далеко отъ Байрона и вообще отъ романтики, которая увлекала его во дни юности. Онъ такъ вспоминалъ о тѣхъ дняхъ:

Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ,
И безыменныя страданья...[4])

образы и мысли въ лирикѣ Пушкина см. у Н. Ѳ. Сумцова, Этюды, II, 15; III 72; IV, 2, 9, 62.

[1]) V, 302—303.

[2]) Въ 1830 г. Пушкинъ писалъ (V, 131) о послѣдней главѣ „Онѣгина": „Осьмую главу я хотѣлъ было вовсе уничтожить и замѣнить одною римскою цифрою, но побоялся критики... Мысль, что шутливую пародію можно принять за неуваженіе къ великой и священной памяти, также удерживала меня. Но Child Harold стоитъ на такой высотѣ, что, какимъ бы тономъ о немъ ни говорили, мысль оскорбить его не могла во мнѣ родиться".

[3]) Уже Фарнгагенъ (въ „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik", откуда статья его была переведена въ „Сынѣ Отечества" 1839 г.) отмѣтилъ, что Пушкина отличала отъ Байрона „свѣжая веселость". Въ этой чертѣ сказался де истинный поэтъ, потому что настоящая поэзія есть радость и утѣшеніе и „только для того снисходитъ ко всѣмъ скорбямъ и страданіямъ".

[4]) Изъ путешествія Онѣгина.

ОТЗВУКИ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗІИ

ВЪ ПОСЛѢДУЮЩЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ [1]).

Поэтической дружины
Смѣлый вождь и исполинъ!
Кн. П. А. Вяземскій.

„Пушкинъ былъ первымъ русскимъ художникомъ-поэтомъ“ [2]),

Его стихи читая, точно я
Переживаю нѣкій мигъ чудесный —
Какъ будто надо мной гармонія небесной
Вдругъ пронеслась нежданная струя....
Нездѣшними мнѣ кажутся ихъ звуки:
Какъ бы, вліясь въ его безсмертный стихъ,
Земное все—восторги, страсти, муки,—
Въ небесное преобразилось въ нихъ [3])!

Эта художественная сторона Пушкинскихъ произведеній общепризнана и оцѣнена по достоинству даже въ рядахъ той партіи, от-

---

[1]) Вопросъ, затронутый мною, слишкомъ серьезенъ и обширенъ, чтобъ я могъ претендовать на полное и независимое рѣшеніе его, особенно въ узкихъ предѣлахъ моей рѣчи. Мнѣ хотѣлось только набросать общую схему рѣшенія этого вопроса, какъ она можетъ представляться на основаніи сдѣланныхъ уже наблюденій и сопоставленій.

[2]) Тургеневъ. Сочиненія, изд. Маркса, XII, стр. 334.

[3]) Сочиненія А. Н. Майкова, изд. Маркса, 1893 г., т. I, стр. 498.

куда раздавались наибольшія нападки на Пушкина, и напримѣръ, по отзыву Чернышевскаго, „художническій геній Пушкина такъ великъ и прекрасенъ, что хотя эпоха безусловнаго удовлетворенія чистою формою для насъ миновалась, мы доселѣ не можемъ не увлекаться дивною, художественною красотой его созданій. Онъ истинный отецъ нашей поэзіи, онъ воспитатель эстетическаго чувства и любви къ благороднымъ эстетическимъ наслажденіямъ въ русской публикѣ, масса которой чрезвычайно значительно увеличилась, благодаря ему,—вотъ его права́ на вѣчную славу въ русской литературѣ“ [1]).

Плоды такого эстетическаго воспитанія показались еще при жизни А. С. Пушкина, и вокругъ великаго учителя стала группироваться извѣстная Пушкинская плеяда. Вѣяніе Пушкинскаго генія коснулось не только ближайшихъ друзей Пушкина—Дельвига и Языкова, сказалось не только у мелкихъ поэтовъ того времени, но и у такихъ, какъ своеобразный поэтъ-гражданинъ Рылѣевъ, [2]) сильный и самобытный Баратынскій, или князь Вяземскій, писатель старой школы, классикъ по натурѣ.

Поэты, выступившіе на свое поприще послѣ Пушкина, въ значительной степени вызванные имъ, тяготѣли къ Пушкину и были отмѣчены печатью его еще въ большей степени, чѣмъ современники его. Для всѣхъ послѣдующихъ истинныхъ поэтовъ, какого бы направленія они не придерживались, Пушкинъ сталъ величавымъ „геніемъ пѣсенъ сладкозвучныхъ“, законодателемъ формы и вообще внѣшнихъ пріемовъ творчества, живымъ примѣромъ того, какъ должно въ художественныхъ образахъ воспроизводить явленія окружающей насъ жизни и нашего внутренняго міра. Какія явленія жизни заслуживаютъ поэтическаго воспроизведенія и какая цѣль послѣдняго—это уже другой вопросъ, при рѣшеніи котораго не всегда дорожили завѣтами Пушкина, или же толковали эти завѣты и примѣняли ихъ къ дѣлу довольно произвольно. Лишь Лермонтовъ остался на высотѣ поэзіи своего предшественника, на произведеніяхъ котораго онъ въ буквальномъ смыслѣ вырабатывалъ свою собственную поэзію; остальнымъ бремя Пушкина оказалось не подъ силу.

---

[1]) Современникъ 1855 г., т. 52, стр. 52.

[2]) Пушкинъ считалъ Рылѣева своимъ ученикомъ въ стихѣ, это подтверждалъ и самъ Рылѣевъ.—А. Н. Пыпинъ въ В. Европы 1895 г., кн. XI, стр. 261.

Художественная красота, искренность и задушевность Пушкинской музы стали идеаломъ т. н. школы поэтовъ чистаго искусства, съ знаменитымъ тріумвиратомъ А. Н. Майкова, Я. П. Полонскаго и А. А. Фета во главѣ. Вслѣдъ за Пушкинымъ, они

въ своихъ мечтахъ
За высшій жребій человѣка
Считая чудный даръ стиховъ,
Имъ предались невозвратимо.... [1])

Идеалисты, сохранившіе лучшій пылъ свой юности, они перенесли къ намъ искусство черезъ тяжелую годину сомнѣній и отрицаній, когда заявлялось, что

Поэтомъ можешь ты не быть,
Но гражданинамъ быть обязанъ!

„Отдавая полную справедливость непосредственнымъ двигателямъ отечественнаго преобразованія, ставя гражданскую дѣятельность весьма высоко", они, однако, вѣрили, „что броженіе вопросовъ, которые такъ сильно и такъ справедливо занимаютъ враговъ чистаго искусства, есть не что иное, какъ примѣненіе къ жизни общихъ теоретическихъ истинъ, не принадлежащихъ исключительно той или другой странѣ, тому или другому вѣку, но составляющихъ достояніе всего человѣчества, въ какія-бы то ни было времена. Уясненіе этихъ истинъ и приведеніе ихъ къ общему закону есть задача философіи, а облеченіе въ художественную форму—задача искусства. Отвергать искусство или философію во имя непосредственной пользы—все равно, что не хотѣть заниматься механикой, чтобы имѣть болѣе времени строить мельницы" [2]).

Столь высокое по своему значенію, искусство въ неменьшей степени свободно, и въ духѣ извѣстнаго Пушкинскаго сонета *Поэту* и др. подобныхъ произведеній жрецы чистаго искусства восклицали:

О мысль поэта! Ты вольна,
Какъ пѣсня вольной гальціоны!
Въ тебѣ самой твои законы,

[1]) А. Н. Майковъ, II, 458.
[2]) Письма гр. А. Толстого, В. Евр. 1895 г., кн. XI, 189—190 стр.

Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Адель Давыдова.

Сама собою ты стройна!
Кто скажетъ молніи: браздами
Не раздирай ночную мглу?
Кто скажетъ горному орлу:
Ты не ширяй подъ небесами,
На солнце гордо не смотри,
И не плещи морей водами
Своими черными крылами
При блескѣ розовой зари [1])?

Съ горделивымъ сокрушеніемъ толкуютъ эти продолжатели Пушкина о міровой душѣ поэта, не находящей отклика среди людей [2]), и сѣтуютъ, что послѣдніе „звона не терпятъ гуслярнаго,—подавай имъ товара базарнаго“ [3]).

Словомъ, въ области общихъ воззрѣній на искусство поэты чистаго искусства развивали всѣмъ извѣстные Пушкинскіе мотивы, весьма часто понимая ихъ слишкомъ узко и односторонне. Это особенно относится къ Фету, къ произведеніямъ котораго болѣе, чѣмъ къ чьимъ-либо другимъ, примѣнимо названіе „звуковъ чистыхъ и молитвъ“; въ стихотвореніяхъ Фета чистое искусство нашло себѣ высшее выраженіе, какъ въ смыслѣ необычайной художественной прелести стиховъ, аткъ и въ смыслѣ полнѣйшей отрѣшенности поэзіи отъ дѣйствительности, отъ всего земного, тѣлеснаго. Пушкинскіе-же чистые звуки и молитвы—земные звуки, хотя и звучали они небесной гармоніей. Въ этомъ отношеніи къ Пушкину гораздо ближе стоитъ Полонскій, поскольку онъ является поэтомъ ежедневной, почти будничной жизни. Обоихъ ихъ роднитъ, по словамъ одного новѣйшаго критика, безсознательная вѣрность рисунка, какъ бы невольное проникновеніе въ правду явленія, простодушіе, искренность и наивность. Подобно Пушкину, Полонскій любитъ и не боится обращаться къ самой обыденной, самой пошлой дѣйствительности, чтобы и тамъ найти искры поэзіи, чтобы раскрыть запечатлѣнную въ ней красоту; какъ изобразитель природы, Полонскій не только достойный преемникъ Пушкина, но, пожалуй, даже соперникъ его [4]).

---

[1]) Майковъ, I, 29.

[2]) Майковъ, I, 482—4.

[3]) А. Толстой, I, стр. 221.

[4]) Л. П. Полонскій. П. Перцова—Филос. теченія р. поэзіи, 1896 г., стр. 284, 287, 297 и др.

Пушкинъ, какъ поэтъ-пластикъ и классикъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ этого слова, наиболѣе замѣтный отзвукъ нашелъ себѣ въ поэзіи Майкова, котораго антологическія стихотворенія при первомъ же выходѣ въ свѣтъ были сразу приведены въ связь съ соотвѣтсвующими произведеніями Пушкина. И не только антологіи Пушкина были, вмѣстѣ съ антологіями Батюшкова, первообразами антологій Майкова. Въ *Египетскихъ ночахъ* Пушкина было заключено зерно и такихъ замѣчательныхъ произведеній Майкова, какъ *Три смерти* и *Два міра*.

Не безъинтересно также посмотрѣть, какъ у Майкова античная форма и античное міросозерцаніе иногда сливались съ впечатлѣніями русской природы, совершенно въ духѣ Пушкина:

О други! прежде чѣмъ покинемъ мирный кровъ,
Гдѣ тихо протекли дни нашего бездѣлья
Вдали отъ шумнаго движенья городовъ,
Ихъ скуки злой, ихъ ложнаго веселья,
Послѣдній кинемъ взглядъ съ прощальною слезой
На бывшій нашъ эдемъ!... Вотъ домикъ нашъ укромной:
Пусть вѣкъ благой пенатъ хранитъ его покой,
И грустная сосна объемлетъ вѣтвью темной!
Вотъ лѣсъ, гдѣ часто мы внимали шумъ листовъ,
Когда сквозитъ межъ нихъ лучъ солнца раскаленной...
Склонитесь надо мной съ любовью вожделѣнной,
О вѣтви мирныя таинственныхъ дубровъ!
Шуми, мой свѣтлый ключъ, изъ урны подземельной
Шуми, напомни мнѣ игривою струей
Мечты настроены подъ сладкій говоръ твой,
Унывно-сладкія, какъ пѣсни колыбельны!... [1])

Отдѣльные перепѣвы и отраженія Пушкинскихъ стихотвореній у Майкова, особенно въ болѣе раннихъ стихотвореніяхъ, встрѣчаются весьма часто; и по близости къ Пушкину именно этой стороной своей поэзіи Майковъ уступаетъ мѣсто лишь гр. А. Толстому. Критика не разъ указывала, что вдохновеніе Толстого въ процессѣ работы подогрѣвалось „воспоминаніями“, т. е. обломками и лоскутками чужихъ мыслей, эффектовъ, пружинъ, поразившихъ его воображеніе и сохранившихся въ его памяти, причемъ эти воспоминанія иной разъ почти

[1]) I, стр. 37

не претворялись, и въ конечномъ выводѣ у Толстого было возможно чужое, которое такъ и оставалось чужимъ [1]). Было-бы слишкомъ утомительно перечислять всѣ воспоминанія, навѣянныя А. Толстому Пушкинымъ, начиная съ „товара базарнаго" — амплификаціи извѣстнаго Пушкинскаго „печного горшка" и кончая испанскими романсами да русскими балладами—варіаціями на Пушкинскую мелодію пѣсни о вѣщемъ Олегѣ [2]). Въ параллель Пушкинскому *Каменному гостю* вы найдете у Толстого—*Донъ-Жуана*, а *Борисъ-Годуновъ* перваго былъ ядромъ, изъ котораго выросла извѣстная трилогія второго. Грѣшница Толстого заставляетъ невольно вспоминать и такіе образы, какъ Клеопатра *Египетскихъ ночей* Пушкина или Тамара въ балладѣ Лермонтова.

Такимъ образомъ, въ выборѣ сюжетовъ, типовъ, отдѣльныхъ мотивовъ поэты чистаго искусства также замѣтно тяготѣютъ къ Пушкину, какъ то бросается въ глаза и при сличеніи ихъ общихъ взглядовъ на искусство. Но приходится отмѣтить, что даже въ области чистаго искусства поэты, какъ Фетъ, Полонскій, Майковъ и др. под., отстали отъ своего великаго учителя. По замѣчанію критика, который самъ стоитъ на почвѣ чистаго искусства, муза Пушкина и Лермонтова была не только музой красоты и природы,—она была музой человѣческихъ страстей, борьбы, страданія, всего безграничнаго и бурнаго океана жизни. Муза Майкова, Фета и Полонскаго значительно съузила поэтическую программу Пушкина и Лермонтова. Она боится бурь историческихъ и душевныхъ, слишкомъ рѣзкаго современнаго отрицанія, слишкомъ горькихъ и болѣзненныхъ сомнѣній, слишкомъ разрушительныхъ страстей и порывовъ. Повидимому, она возобновила въ поэзіи мудрое правило Горація о мѣрѣ во всемъ, объ „aurea mediocritas", и поклонилась античному идеалу. Это муза тихихъ книгохранилищъ, уединенныхъ садовъ, музеевъ, семейнаго очага, спокойныхъ и созерцательныхъ путешествій, мирныхъ радостей и невозмутимой вѣры въ идеалъ. Положительно, люди эти внушаютъ зависть своимъ здоровьемъ: тишина патріархальнаго дѣтства и вкусные хлѣба помѣщичьихъ обломовскихъ гнѣздъ пошли имъ впрокъ. Нестарѣющіе пѣвцы,

---

[1]) Иллюзіи поэтическаго творчества. Эпосъ и лирика гр. А. К. Толстого. Н. М. Соколова. Спб. 1890 г., стр. 223 и д.

[2]) Ср. Соколова passim, Страхова, Замѣтки о Пушкинѣ и др. поэтахъ, Кіевъ 1897 г. стр. 239.

вдохновенные въ 70 лѣтъ, они моложе молодыхъ поэтовъ болѣе нервнаго и мятежнаго поколѣнія. Если собрать всѣ печали и сомнѣнія, которыя отразились за полъ-вѣка въ произведеніяхъ Фета, Полонскаго и Майкова, если сдѣлать изъ этихъ страданій экстрактъ, то все таки не получится даже и капли той неизсякаемой горечи, которая заключена въ 12-ти строкахъ Лермонтовскаго *И скучно, и грустно, и некому руку подать*, или въ Пушкинскомъ *Анчарѣ*. Вотъ въ чемъ ограниченность этого поэтическаго поколѣнія. Увлеченное служеніемъ одной сторонѣ искусства, оно произвольно отсѣкло отъ поэзіи, какъ „злобу дня", не только преходящіе гражданскіе мотивы, но и все, что составляетъ, помимо красоты, важнѣйшую часть наслѣдія Пушкина и Лермонтова, т. е. *вѣчныя страданія человѣческаго духа, мятежный, неугасающій огонь Прометея, возставшаго на боговъ*. Форма осталась совершенной, содержаніе обѣднѣло и съузилось. Пушкинъ и Лермонтовъ не менѣе жрецы вѣчнаго искусства, не менѣе артисты, чѣмъ Майковъ, Фетъ и Полонскій, однако это не мѣшаетъ Пушкину и Лермонтову быть современными и близкими къ дѣйствительности, понимать и раздѣлять все, чѣмъ страдало ихъ поколѣніе [1]).

Съ другой стороны, самъ Пушкинъ, хотя и клеймилъ „чернь" въ тяжелыя минуты, однако безсмертіе свое основалъ на извѣстности именно въ народѣ, а не въ кружкѣ избранныхъ; народу служилъ Пушкинъ, какъ ни возмущался подчасъ его непониманіемъ, и подводя итоги своей дѣятельности, въ характеристику своей поэзіи внесъ незабвенныя слова:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ.

Нельзя сказать, чтобы поэты чистаго искусства забыли этотъ завѣтъ; они даже нерѣдко, какъ особенно Майковъ и Полонскій, служили ему,—но служили вскользь, надѣясь вполнѣ осуществить его только въ служеніи чистой красотѣ. Тотъ народъ, въ которомъ чувство красоты составляетъ потребность жизни, по убѣжденію графа А. Толстого, не можетъ не имѣть вмѣстѣ съ нимъ и чувства законности и чувства свободы. Онъ уже готовъ къ жизни гражданской, и зако-

[1]) А. Н. Майковъ Мережковскаго. Филос. теченія р. поэзіи, стр. 319 и д.

нодательству остается только освятить и облечь въ форму уже существующіе элементы гражданства [1]).—Осуществимъ ли такой идеалъ и не слишкомъ ли долго придется ждать, покамѣстъ онъ осуществится? А потому, не лучше ли сразу же взяться за исправленіе того, что слишкомъ ужъ наболѣло и требуетъ быстраго лѣченія? Наступила пора, когда, наконецъ, весь строй и условія русской жизни не только рѣзко поставили на очередь этотъ вопросъ, но и подсказывали иной отвѣтъ на него, чѣмъ тотъ, какого держались поэты чистаго искусства; въ противовѣсъ этимъ послѣднимъ выдвинулся кружокъ поэтовъ съ Некрасовымъ во главѣ, которые старались пробуждать чувства добрыя, славить свободу, призывать къ падшимъ милость—болѣе дѣйствительнымъ, доступнымъ массѣ способомъ, хотя бы то было даже въ ущербъ искусству. Обѣ партіи, въ сущности, лишь подѣлили между собой наслѣдье Пушкина; гармонически сливавшіяся у Пушкина и взаимно умѣрявшіяся требованія искусства и жизни, обособившись, обозначились сильнѣе и стали во враждебныя другъ другу отношенія, но и здѣсь—конечная цѣль служенія музамъ у той и другой партіи осталась одинаковой; разница была только въ средствахъ, и при извѣстномъ дарованіи она становилась почти незамѣтной, такъ что подчасъ поэтъ чистаго искусства создаетъ произведенія, подъ которыми охотно подписался бы поэтъ-гражданинъ, и наоборотъ, чему не мало примѣровъ можно найти у Майкова, Полонскаго, Некрасова или Плещеева, благороднаго энтузіаста-гражданина [2]), и вмѣстѣ возвышеннаго поэта, достойнаго стоять въ ближайшемъ къ Пушкину ряду. Въ основаніе, если не всей вообще литературной дѣятельности Плещеева, то во всякомъ случаѣ—первой половины ея легли „слова страстнаго, благороднаго призыва въ стихотвореніи *Впередъ*“; они, по замѣчанію біографа Плещеева, нашли отголосокъ въ лучшей части образованнаго русскаго общества и сдѣлались какъ бы лозунгомъ молодого поколѣнія [3]); но эти же слова представляютъ не болѣе, какъ развитіе заключительныхъ аккордовъ Пушкинскаго *Пророка*, *Вакхической пѣсни* 1825 г. и слѣдующихъ строкъ изъ юношескаго посланія къ Чаадаеву:

[1]) Стр. 190, В. Евр. 1895, XI.

[2]) Разумѣемъ первую половину его дѣятельности.

[3]) Стихотворенія А. Н. Плещеева 1898 г., XIII стр. Во вторую половину дѣятельности Плещеева, поэзія его, сохраняя благородство настроенія, лишена уже „страстности“, жизнерадостности и вѣры въ свои силы.

Пока свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души высокіе порывы!... I, 190.

Даже въ частностяхъ, при выборѣ и развитіи гражданскихъ мотивовъ, поэты въ родѣ Некрасова шли зачастую по стопамъ Пушкина: касаясь этого, я впрочемъ не намѣренъ злоупотреблять всѣмъ извѣстными стихами Пушкина въ защиту свободы и въ обличеніе произвола, разныхъ отдѣльныхъ злоупотребленій и крѣпостного права: я хочу только напомнить про ту сторону Пушкинской поэзіи, которая нашла себѣ выраженіе, между прочимъ, въ слѣдующихъ строкахъ стихотворенія 1830 г. *Шалость:*

Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогій,
За ними черноземъ, равнины скатъ отлогій,
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?
Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора,
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора.
Два только деревца, и то изъ нихъ одно
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено.
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея.
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичекъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ.
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
И кличетъ издали лѣниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ да церковь отворилъ:
Скорѣй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ!

Большинство ноющихъ осеннихъ мелодій Некрасова не является ли только варіаціями на ту же тему? Заключительная картина приведеннаго отрывка почти полностью повторилась у Некрасова,—правда, съ нѣсколько иною окраской:

Вотъ идетъ солдатъ. Подъ мышкою
Дѣтскій гробъ несетъ дѣтинушка.
На глаза его суровые

Слезы выжала кручинушка.
А какъ было живо дитятко,
То и дѣло говорилося:
„Чтобъ ты лопнуло, проклятое!
Да зачѣмъ ты и родилося?“

Сравните эту сценку съ Пушкинской, провѣрьте ту и другую данными самой жизни и литературными изображеніями народнической школы, напр. очерками Глѣба Успенскаго, и быть можетъ, за нѣкоторою наружною холодностью Пушкинскаго наброска вы почувствуете тотъ обнаженный, глубоко драматичный народническій реализмъ, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашихъ беллистристовъ-народниковъ и какой у Некрасова весьма часто подкрашивался сентиментальничаньемъ.

Отмѣченнымъ не исчерпывается потомство Пушкина. Едва ли не самое глубокое Пушкинской поэзіи отразилось въ излюбленной формѣ современнаго творчества—въ романѣ и повѣсти, къ которымъ и самъ Пушкинъ началъ весьма замѣтно тяготѣть во вторую половину своей дѣятельности. Какъ и въ стихахъ, здѣсь прежде всего отразилась художественность формы Пушкина, и напримѣръ, мастеръ русскаго слова, Тургеневъ скромно называлъ себя ученикомъ Пушкина. Пушкинъ, говорилъ Тургеневъ, создалъ нашъ поэтическій, нашъ литературный языкъ; намъ и нашимъ потомкамъ остается только итти по пути, проложенному его геніемъ [1]). Языкъ Пушкина, какъ это замѣтилъ Анненковъ по поводу *Арапа Петра В.*, простъ, безыскусственъ, но точенъ и живописенъ, а разсказъ невозмутимо спокоенъ; въ немъ безъ всякаго усилія являются лица и происшествія, вполнѣ живыя и законченныя; твердыми стопами ведетъ онъ происшествіе, не замазывая пустыхъ мѣстъ и не пестря подробностей [2]). По собственному выраженію Пушкина, „точность, опрятность—вотъ первыя достоинства прозы. Она требуетъ мыслей и мыслей; блестящія выраженія ни къ чему не служатъ“ [3]).— „Пишите съ простотой; пишите просто,

[1]) Сочиненія, изд. Маркса, XII, стр. 336, 341.

[2]) Матеріалы 1855 г., стр. 127.

[3]) Сочиненія, подъ ред. Морозова, V, 15 — 16. Ср. Жданова, Памяти В. Г. Бѣлинскаго, 1899 г, 3.

искренно то, что васъ занимаетъ", повторяетъ позднѣе Тургеневъ, и тѣ же мысли развиваетъ Л. Н. Толстой въ своемъ недавнемъ трудѣ объ искусствѣ. Ср. интересное сообщеніе г. Сергѣенка о томъ, при какихъ обстоятельствахъ начата была *Анна Каренина*:

Вечеромъ въ 1873 г. Левъ Николаевичъ вошелъ въ гостиную, когда его старшій сынъ читалъ вслухъ своей теткѣ *Повѣсти Бѣлкина*. При появленіи Л. Н-ча чтеніе прекратилось. Онъ спросилъ, что читаютъ, раскрылъ книгу и, прочитавши: „гости съѣзжались на дачу" [1]), пришелъ въ восхищеніе.—Вотъ какъ всегда слѣдуетъ начинать писать! сказалъ онъ: это сразу вводитъ читателя въ интересъ. Родственница Толстыхъ заявила, что какъ бы хорошо было, если бы Л. Н. написалъ великосвѣтскій романъ. Прійдя въ свой кабинетъ, Л. Н. въ тотъ же вечеръ написалъ: „Все смѣшалось въ домѣ Облонскихъ", и потомъ уже, когда началъ писать романъ, помѣстилъ въ началѣ: „Всѣ счастливыя семьи"... и т. д. [2]).

Евгеніемъ Онѣгинымъ Пушкинъ положилъ начало художественному быговому роману русскому, какъ для повѣсти онъ то же сдѣлалъ *Домикомъ въ Коломнѣ* и *Повѣстями И. П. Бѣлкина*. Бѣлинскій, далѣе, отмѣтилъ, что одна изъ главъ *Арапа Петра В.* своимъ появленіемъ упредила всѣ историческіе романы Загоскина и Лажечникова; семь главъ неоконченнаго *Арапа Петра В.* представлялись Бѣлинскому „неизмѣримо выше и лучше всякаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, и всѣхъ ихъ, вмѣстѣ взятыхъ"! Это замѣчаніе, при оцѣнкѣ художественныхъ воспроизведеній до-Пушкинской Руси, не потеряло своего значенія и по настоящее время, такъ какъ даже *Князь Серебряный* А. Толстого не чуждъ нѣ-

[1]) II отр. Египетскихъ ночей.

[2]) Какъ живетъ и работаетъ гр. Л. Н. Толстой. стр. 72. „У Пушкина", говорилъ Мериме: „поэзія чуднымъ образомъ расцвѣтаетъ какъ бы сама собою изъ самой трезвой прозы". Тотъ же Мериме постоянно примѣнялъ къ Пушкину извѣстное изреченіе: „Proprie communia dicere", признавая это умѣнье самобытно говорить общеизвѣстное—за самую сущность поэзіи, той поэзіи, въ которой примиряются идеальное и реальность. Онъ также сравнивалъ Пушкина съ древними греками, по равномѣрности формы и содержанія, образа и предмета, по отсутствію всякихъ толкованій и моральныхъ выводовъ... Прочтя однажды *Анчаръ*, онъ послѣ конечнаго четверостишія замѣтилъ: „всякій новѣйшій поэтъ не удержался бы тутъ отъ комментаріевъ". Мериме также восхищался способностью Пушкина вступать немедленно in medias res, брать „быка за рога", какъ говорятъ французы... Тургеневъ, XII, 336.

которой манерности и декоративной историчности. Только Л. Н. Толстой, въ своемъ извѣстномъ историческомъ романѣ изъ болѣе близкой намъ эпохи, обнаружилъ ту же глубину взгляда, широту размаха и спокойную прелесть разсказа, какими проникнуты *Арапъ Петра В.* и *Капитанская дочка*, которую Страховъ совершено справедливо поставилъ въ непосредственную связь съ *Войною и Миромъ*. Самая характеристика русскаго общества Наполеоновскихъ войнъ, какъ она сдѣлана Л. Н. Толстымъ, была до извѣстной степени намѣчена Пушкинымъ въ отрывкѣ *Рославлевъ* [1]).

Обращаясь къ тому, что Пушкинъ далъ въ рамкахъ этихъ произведеній, заставимъ опять говорить такого компетентнаго судью. какъ Тургеневъ: „Пушкинъ (говоритъ онъ) въ своихъ созданіяхъ оставилъ намъ множество образцовъ, типовъ того, что совершилось потомъ въ нашей словесности“ [2]).

Еще сильнѣе высказывалъ то же другой великій писатель, ученикъ Пушкина, Гончаровъ: „Отъ Пушкина и Гоголя въ русской литературѣ теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа Пушкино-Гоголевская продолжается доселѣ, и всѣ мы, беллетристы, только разрабатываемъ завѣщанный ими матеріалъ... Пушкинъ—отецъ, родоначальникъ русскаго искусства, какъ Ломоносовъ—отецъ науки въ Россіи. Въ Пушкинѣ кроются всѣ сѣмена и зачатки, изъ которыхъ развились потомъ всѣ роды и виды искусства во всѣхъ нашихъ художникахъ, какъ въ Аристотелѣ крылись сѣмена, зародыши и намеки почти на всѣ послѣдовавшія вѣтви знанія и науки“ [3]).

Такой взглядъ на Пушкина все болѣе и болѣе оправдывается, и кажется, недалеко то время, когда онъ окончательно утвердится въ нашей ученой литературѣ. Еще Бѣлинскій подмѣтилъ значеніе *Капитанской дочки* и *Дубровскаго*, какъ эпопей стараго помѣщичьяго быта; съ этими именно произведеніями находятся въ ближайшей родственной связи такія картины былого, какъ всѣмъ извѣстная *Семейная Хроника* Аксакова [4]) или *Пошехонская Старина* Салтыкова,

---

[1]) Н. Страховъ. Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ, изд. 3, стр. 278 и далѣе. Замѣтки о Пушкинѣ, стр. 73.

[2]) Ibid, стр. 337.

[3]) Сочиненія, изд. Маркса, I стр. 44—45.

[4]) Ср. Сочиненія А. Григорьева. I, стр. 237. Ср. Страхова: *Война и Миръ*— „тоже нѣкоторая семейная хроника. Именно это хроника двухъ семействъ: се-

и другія, менѣе извѣстныя. Троекуровъ—первое яркое изображеніе въ литературѣ тѣхъ самодуровъ, съ которыми такъ часто приходится встрѣчаться въ нашихъ позднѣйшихъ историко-бытовыхъ романахъ изъ далекаго и недавняго прошлаго. Бояринъ Ржевскій, старикъ Гриневъ и Дубровскій—прототипы Багрова-дѣда и ему подобныхъ, а также, до извѣстной степени, и тѣхъ старинныхъ русскихъ баръ, опорныхъ столповъ отечества, которыми и понынѣ любятъ украшать свои произведенія наши мелкіе историческіе романисты. Молодое поколѣніе того же закала, сильное не внѣшнимъ блескомъ и образованностью, а цѣльностью и правдивостью своей натуры, нашло у Пушкина выраженіе въ лицѣ Гринева-сына. Если послѣдняго и можно назвать „недорослемъ изъ дворянъ", то лишь въ томъ смыслѣ, что онъ ничему систематично но учился, а до всего доходилъ собственнымъ умомъ и смѣткой. Какъ военный, Гриневъ-сынъ, подобно капитану Миронову съ Иваномъ Игнатьевичемъ, одинъ изъ тѣхъ пѣхотныхъ армейскихъ офицеровъ, которые сдѣлали нашу военную исторію XVIII в., протоптали славный путь отъ Кунерсдорфа до Рымника и Нови, выражаясь словами Ключевскаго [1]). Пушкинскіе „незамѣтные герои" Бѣлогорской крѣпости—это первое выраженіе того типа, который сталъ позднѣе излюбленнымъ въ русской литературѣ; ср. Максима Максимыча у Лермонтова, капитана Хлопова и Тушина у Льва Толстого [2]). Гриневъ-

мейства Ростовыхъ и семейства Болконскихъ. Это—воспоминанія и разсказы о всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ въ жизни этихъ двухъ семействъ и о томъ, какъ дѣйствовали на ихъ жизнь современныя имъ историческія событія. Разница отъ простой хроники заключается только въ томъ, что разсказу дана болѣе яркая, болѣе живописная форма"... Въ самой обрисовкѣ историч. лицъ и событій Пушкинъ предтеча Толстого: „Пугачевъ, напримѣръ, выведенъ на сцену (въ *Капит. дочкѣ*) съ такою удивительною осторожностью, какую можно найти только у гр. Л. Н. Толстого, когда онъ выводитъ предъ нами Александра I, Сперанскаго и пр... Но мы не можемъ показать всего глубокаго сходства между *Войною и Миромъ* и *Капитанской дочкой*, если не вникнемъ во внутренній духъ этихъ произведеній"... Крит. статьи стр. 279-281 и д.

[1]) Вѣнокъ на памятникъ Пушкину, стр. 277.

[2]) „Пушкинъ показалъ въ „Капитанской дочкѣ", какъ простые русскіе люди могутъ возвышаться въ исполненіи своего долга до истиннаго героизма; задолго до повѣстей Толстого онъ рѣшилъ, въ чемъ состоитъ истинная храбрость: капитанъ Мироновъ — предшественникъ капитана Хлопова (въ разсказѣ Л. Н. Толстого „Набѣгъ") и даже Кутузова (какъ онъ изображенъ въ „Войнѣ и Мирѣ"). Къ старику Миронову въ полной мѣрѣ приложимо то, что у Л. Н. Толстого сказано о Хлоповѣ: „въ фигурѣ капитана было очень мало воинственнаго, но зато въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно пора-

сынъ—простъ, но не глупъ, способенъ увлекаться литературой и даже пишетъ стихи, по тому времени довольно порядочные; какъ по долгу присяги онъ готовъ итти на смерть, такъ ради любимой дѣвушки онъ способенъ на самопожертвованіе, оставаясь и здѣсь человѣкомъ не слова и позы, а дѣла; къ сожалѣнію, мы можемъ только догадываться, какимъ былъ Гриневъ-сынъ въ деревнѣ за хозяйствомъ, но повидимому и въ той сферѣ онъ остался вѣренъ себѣ, явившись достойнымъ, умѣлымъ преемникомъ своего отца. Эта дѣловитость, чуждая увлеченій, но не лишенная высокихъ порывовъ и благородства, представляется у нашего героя проблесками того, что позднѣе въ *Обрывѣ* Гончаровъ пытался изобразить въ образѣ Тушина, представителя нашей настоящей партіи дѣйствія, въ которой наше прочное будущее: „когда настанетъ настоящее дѣло, явятся вмѣсто утопистовъ работники Тушины, на всей лѣстницѣ русскаго общества“ [1]).

Утописты и у Пушкина оказываются несостоятельными передъ людьми дѣла, простой жизненной правды. Въ заключительномъ аккордѣ надъ памятью Ленскаго звучитъ то разочарованіе въ пылкой напускной восторженности и безпочвенныхъ стремленіяхъ куда-то въ даль, какимъ полна *Обыкновенная исторія* Гончарова. Великіе „скитальцы“ Пушкина, Алеко и Онѣгинъ, тоже утописты своего рода. Алеко и Онѣгинъ надолго привлекли къ себѣ вниманіе нашей литературы; литературное потомство Онѣгина и теперь ужъ представляется не малымъ, а съ лучшимъ выясненіемъ непорѣшеннаго пока вопроса, что собственно долженъ изображать этотъ типъ, оно увеличится еще болѣе. Въ сложной и не вполнѣ выдержанной обрисовкѣ Онѣгина находили и находятъ черты, которыя роднятъ его съ самыми разнообразными героями нашихъ романовъ. Понимаемый, какъ русскій пережитокъ байронизма или „москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ“, Онѣгинъ сталъ родоначальномъ русскихъ разочарованныхъ очарователей, начиная съ Печорина и кончая зауряднымъ „гордымъ красавцемъ“ плохенькаго романа. Но Онѣгину не вовсе чужды и типы, въ родѣ князя

зяла меня. Вотъ кто истинно храбръ,—сказалось мнѣ невольно“... Если черезъ весь романъ Толстого проходитъ красною нитью та мысль, что „нѣтъ величья тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды“, то вѣдь та же мысль проникаетъ собою и произведеніе Пушкина. А. С. Пушкинъ П. П. Кудрявцева въ Сборникѣ Пушкину, Кіевъ, 1899 г., стр. 152.

[1]) Цит. соч., стр. 74.

Андрея Болконскаго, съ его отвращеніемъ къ людской пошлости, недовольствомъ окружающей жизнью, брезгливой апатіей, смѣнившей былые порывы, и самой любовью къ Наташѣ Ростовой, напоминающей во многомъ отношеніе Онѣгина къ Татьянѣ. Даже Базарова считаютъ возможнымъ приравнивать кое въ чемъ къ Онѣгину [1]). Съ другой стороны, въ Онѣгинѣ чувствуется и то духовное безсиліе, та неспособность найти себѣ мѣсто въ жизни, та, наконецъ, чисто трагическая судьба не только нарушать покой другихъ, но даже губить свое собственное счастье, какія въ такой наготѣ изобразилъ Тургеневъ въ своемъ *Дневникѣ лишняго человѣка*.

Рядомъ съ Онѣгинымъ, однимъ изъ самыхъ глубокихъ и характерныхъ для русской жизни и литературы мужскихъ типовъ, стоитъ у Пушкина Татьяна,—идеальный по своей красотѣ и правдивости типъ русской женщины, непревзойденная провозвѣстница Лизы Тургенева, Наташи Л. Н. Толстого, Вѣры Гончарова. Пушкинъ же намѣтилъ и тѣ двѣ общія формы, въ которыя обыкновенно отливаются русскія женщины, насколько ихъ понимала и понимаетъ русская литература. У насъ въ литературѣ, писалъ Гончаровъ, особенно два главные образа женщинъ являются въ произведеніяхъ слова параллельно, какъ двѣ противоположности; характеръ положительный—Пушкинская Ольга, и идеальный—его же Татьяна. Одинъ—безусловное пассивное выраженіе эпохи, типъ, отливающійся, какъ воскъ, въ готовую, господствующую форму. Другой—съ инстинктами сознанія, самобытности, самодѣятельности. Оттого первый ясенъ, открытъ, понятенъ сразу (ср. Ольгу въ *Онѣгинѣ*, Варвару въ *Грозѣ*). Другой, напротивъ, ищетъ самъ своего выраженія и формы, и оттого кажется капризнымъ, таинственнымъ, мало уловимымъ (Ср. Татьяну въ *Онѣгинѣ*, Лизу Тургенева, Наташу Толстого, Вѣру Гончарова, Катерину въ *Грозѣ*) [2]).

Замѣчу кстати, что у Пушкина уже обозначилась та своеобразная особенность нашей литературы, что женскіе типы обыкновенно выходятъ выше и опредѣленнѣе мужскихъ. Говорятъ иногда, что причина этого кроется въ самой жизни нашей, въ которой мало сильныхъ духомъ и выдержкой героевъ, много „среднихъ“ людей, незамѣтныхъ тружениковъ и еще больше того „униженныхъ и оскор-

[1]) См. статью Н. П. Дашкевича: „Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени“.

[2]) Ibid, стр. 45—46.

бленныхъ": типы отрицательные, конечно, здѣсь въ разсчетъ не принимаются. Такъ или иначе, но во всякомъ случаѣ мы должны отмѣтить, что и у Пушкина „высокопарныя мечтанья" былыхъ годовъ мало-по-малу разсѣивались при столкновеніи съ дѣйствительностью; жизнь, какъ она есть, жизнь во всей своей „прозаичности" повседневныхъ отношеній, съ ея маленькими героями, та жизнь, которой посвятила свои силы натуральная школа нашей литературы, уже въ произведеніяхъ Пушкина нашла себѣ выраженіе, которымъ въ сущности и опредѣлилось все главнѣйшее нашихъ писателей—натуралистовъ, съ Гоголемъ во главѣ.

Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи
Да прудъ подъ тѣнью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ;
Теперь мила мнѣ балалайка
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака.
Мой идеалъ теперь — хозяйка,
Мои желанія — покой,
Да щей горшокъ, да самъ большой.
Порой дождливою намедни
Я, завернувъ на скотный дворъ...
Тьфу! прозаическія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ! III, 408—9.

Весь литературный путь Пушкина усѣянъ этими соринками фламандской школы; особенно же много ихъ въ *Повѣстяхъ И. П. Бѣлкина* и въ *Исторіи села Горохина,* гдѣ онѣ подчасъ, какъ напримѣръ, въ обрисовкѣ личности самого Бѣлкина, принимаютъ нѣсколько юмористическое освѣщеніе, въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Не признавать юмора у Пушкина—невозможно; только юморъ его—иного рода, чѣмъ юморъ Гоголя. Юморъ Гоголя—нервически болезненъ и производитъ гнетущее впечатлѣніе; неподражаемой, тонкій юморъ Пушкина—спо-

койнѣе, добродушнѣе, бодрѣе, и Пушкина, какъ юмориста, невольно хочется сравнить съ Диккенсомъ. Легкая усмѣшка играетъ у поэта, когда онъ представляетъ намъ своего Ивана Петровича Бѣлкина, но сколько теплоты и участія скрывается за этой усмѣшкой, участія къ самому Бѣлкину и ко всѣмъ вообще „малымъ симъ!“ Чредой проходятъ они предъ нами, сѣренькіе, какъ сѣра наша жизнь, простые умомъ и сердцемъ, съ невеликими радостями и тяжелыми страданіями; ихъ мірокъ ограниченъ и тѣсенъ, но полонъ жизни, и въ послѣдней, какъ ни мелочна она бываетъ, есть свой смыслъ и своя поэзія; даже пошлая сторона такой жизни заслуживаетъ вниманія: она представляетъ явленіе, въ такой же мѣрѣ естественное и законное, какъ и все то, чѣмъ живемъ мы сами. Пирушка нѣмцевъ-ремесленниковъ и пьяный бредъ гробовщика—тоже жизнь, безъ которой картина нашего общества была бы неполна; а горе отца, покинутаго обольщенною дочерью, ничуть не меньше оттого, что этотъ отецъ—бѣдный станціонный смотритель! Правъ былъ поэтому А. Григорьевъ, когда въ *Гробовщикѣ* видѣлъ зерно всѣхъ нашихъ позднѣйшихъ отношеній къ т. н. низшимъ слоямъ жизни, а въ *Станціонномъ смотрителѣ*—зерно всей натуральной школы [1]). И Тихонравовъ много позднѣе повторилъ, что изъ школы автора *Повѣстей Бѣлкина* и *Лѣтописи села Горохина* вышелъ Гоголь [2]).

Такимъ образомъ, не за одно только общее облагораживающее вліяніе своей поэзіи, не за отдѣльные эпиграммы и оды Пушкинъ могъ написать въ *Памятникѣ* извѣстныя слова, а за цѣлое направленіе, глубокое, близкое намъ и понынѣ. Вотъ почему и память Пушкина должна быть равно дорога всѣмъ, будутъ ли то поклонники чистаго искусства, или печальники горя народнаго, ибо *Пушкинъ—это наше все!*

---

[1]) Сочиненія, т. I, стр 253.

[2]) Сочиненія, т. III. ч. 1, стр 520.

Пушкинъ и славянство [1]).

I.

Пушкинъ, какъ извѣстно, отличался необычайною поэтическою чуткостью и прозорливостью, а также въ наибольшей мѣрѣ проявлялъ то своеобразное свойство русскаго человѣка, которое Тургеневъ называетъ „самобытнымъ присвоеніемъ чужихъ формъ“ (и чужаго содержанія, прибавимъ мы), т. е. способность проникаться чужимъ міросозерцаніемъ, какъ бы своимъ собственнымъ, и вообще приспособляться къ чужому содержанію и формѣ, какъ къ своему. Въ этомъ именно смыслѣ нужно понимать тотъ отзывъ вполнѣ свѣдущаго цѣнителя— Тургенева, въ силу котораго, „подъ знаменитымъ монологомъ Скупаго рыцаря съ гордостью подписался бы Шекспиръ“, а равно отзывы разныхъ другихъ лицъ о произведеніяхъ Пушкина съ древнегреческимъ, западно-европейскимъ либо восточнымъ содержаніемъ. Достоевскій, напримѣръ, очень высоко цѣнилъ такія творенія, какъ „Подражанія корану“ или „Египетскія ночи“: „Развѣ тутъ не мусульманинъ, развѣ это не самый духъ корана и мечъ его“, говоритъ онъ: „простодушная величавость вѣры и грозная кровавая сила ея? А вотъ и древній міръ, вотъ „Египетскія ночи“, вотъ эти земные боги, сѣвшіе надъ народомъ своимъ богами, уже презирающіе геній народный

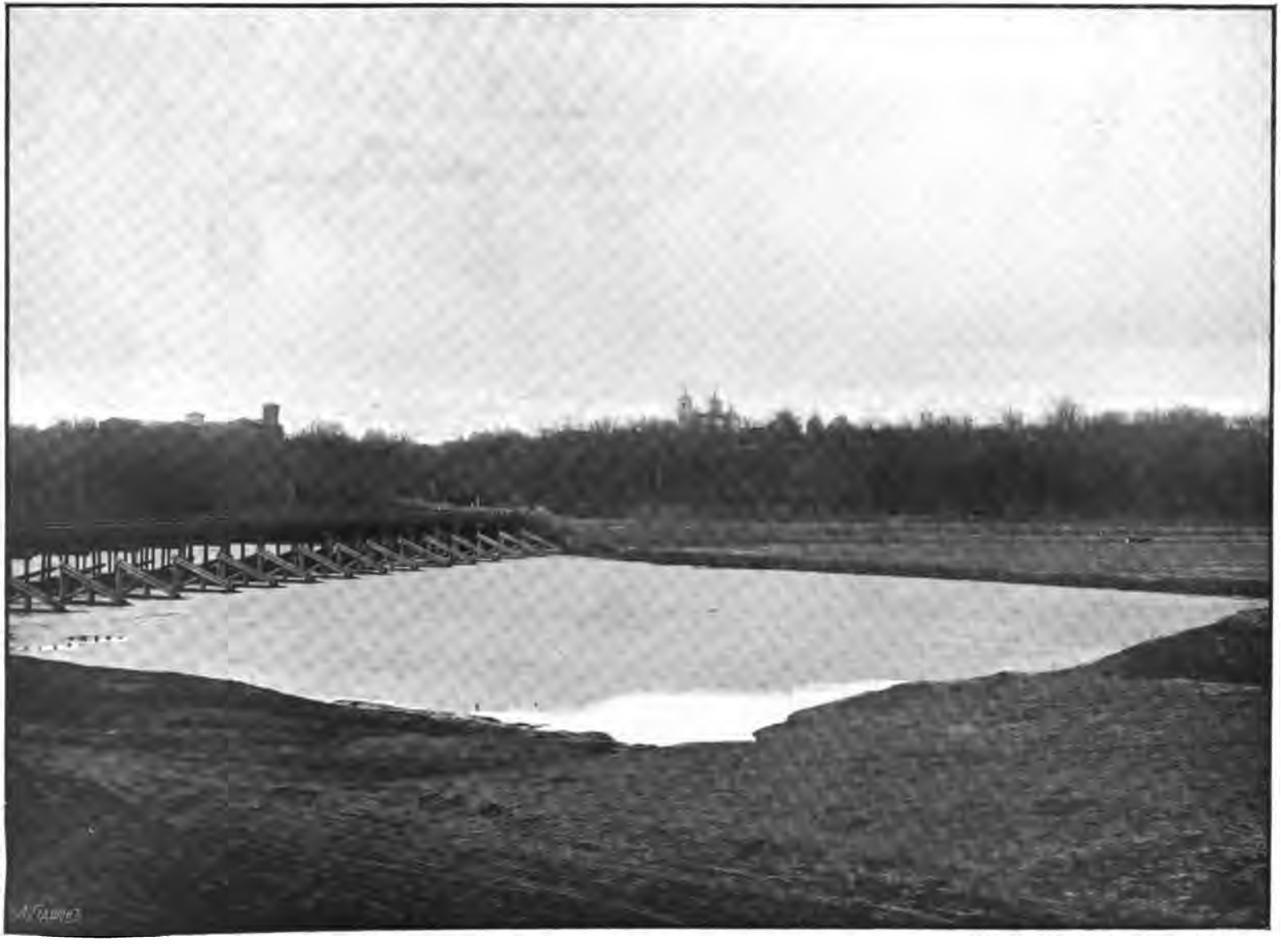
---

[1]) Рѣчь, читанная въ торжественномъ собраніи Кіевскаго Педагогическаго Общества 28 мая 1899 г. въ актовомъ залѣ Университета Св. Владиміра.

и стремленія его, уже не вѣрующіе въ него болѣе, ставшіе впрямъ уединенными богами и обезумѣвшіе въ отъединеніи своемъ, въ предсмертной скукѣ своей и тоскѣ тѣшащіе себя фантастическими звѣрствами, сладострастіемъ насѣкомыхъ... Нѣтъ, положительно скажу, не было поэта съ такою всемірною отзывчивостью, какъ Пушкинъ, и не въ одной только отзывчивости тутъ дѣло, а въ изумляющей глубинѣ ея, въ перевоплощеніи своего духа въ духъ чужихъ народовъ". (Дневникъ Писателя за 1880 г. Пушкинъ).

II.

Вотъ такую-то именно отзывчивость и чуткость обнаружилъ нашъ поэтъ и въ отношеніи къ славянамъ, ихъ поэзіи, даже къ политическому ихъ положенію, т. е. къ такъ называемому славянскому вопросу, который тогда, правда, и не существовалъ еще въ его современной болѣе или менѣе точной формулировкѣ, но былъ, такъ сказать, провидѣнъ геніальнымъ поэтомъ. Въ самомъ дѣлѣ, не удивительнымъ ли своего рода явленіемъ можетъ представляться для насъ хотя бы слѣдующее обстоятельство, особенности и подробности котораго я постараюсь сейчасъ изложить. Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія славяне слишкомъ мало занимали еще собою наше общество, представляя изъ себя очень ужъ ничтожный, невліятельный и почти незамѣтный элементъ въ составѣ западно-европейскихъ обществъ и тѣхъ или иныхъ тогдашнихъ политическихъ организмовъ. Положеніе ихъ вездѣ было черезчуръ ужъ приниженное; это такъ общеизвѣстно, что я не стану даже приводить какихъ нибудь историческихъ справокъ о томъ, какъ они себя чувствовали, напримѣръ, въ Австріи, Турціи, Германіи, каковы были устои этихъ странъ, совершенно почти игнорировавшіе славянъ, какъ извѣстную правовую народную личность, которая должна была бы имѣть защиту въ законахъ и самомъ устройствѣ государствъ отъ поглощенія господствующими народностями и такимъ образомъ могла бы, благодаря этому, развиваться, совершенствоваться въ самобытномъ духѣ и направленіи и такимъ путемъ вносить свою народно-культурную лепту въ общую сокровищницу народовъ. Все это, повторяю, общеизвѣстно, и мнѣ достаточно только упомянуть о томъ, что, напримѣръ, чехи, образованность и культурная мощь которыхъ развилась теперь такимъ пышнымъ, поразительно яркимъ цвѣтомъ, тогда, въ эпоху Пушкина, признавались нѣкоторыми



Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Общій современный видъ усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ.

очень крупными даже учеными силами (Добровскій) за народъ изчезающій, предназначенный къ поглощенію его окружающею, болѣе сильною, нѣмецкою средою, поддерживаемою притомъ и всею мощью государственнаго устройства страны... О болгарахъ, сербахъ и пр. и говорить нечего... Словомъ, для русскаго общества начала настоящаго столѣтія славяне не могли представлять собою почти никакого политическаго или культурнаго интереса. Только небольшая кучка людей съ болѣе или менѣе развитымъ филологическимъ чутьемъ могла еще такъ или иначе заниматься славянскими, напримѣръ, нарѣчіями и ихъ словесными памятниками, какъ болѣе или менѣе любопытными разновидностями своей же родной дѣйствительности; широкаго же общественнаго интереса къ славянамъ тогда не было и въ поминѣ: вѣдь даже и теперь еще онъ сравнительно очень невеликъ... Правда, мы все таки ушли уже далеко впередъ въ этомъ отношеніи: и положеніе славянъ стало въ Европѣ уже не то, чѣмъ прежде, и они являютъ собою уже, даже тамъ, гдѣ еще не достигли самостоятельнаго государственнаго существованія, значительную политическую силу, съ которою приходится считаться правительствамъ и народамъ; и свѣдѣнія о нихъ болѣе теперь распространены въ нашемъ обществѣ, чѣмъ прежде, и въ настоящее время, напримѣръ, никого не удивилъ бы тотъ спеціальный, исключительный интересъ къ славянамъ и ихъ словесности, какой, скажемъ, обнаружился бы вдругъ почему либо въ нашей литературѣ... Далеко не то было въ двадцатыхъ годахъ, и вниманіе, проявленное Пушкинымъ къ славянамъ, ихъ литературѣ, даже ихъ политическому положенію, представляется явленіемъ прямо таки удивительнымъ, дѣлающимъ большую честь необыкновенной поэтической проницательности поэта. О польской литературѣ я говорить въ данномъ случаѣ не буду: заинтересованность ею со стороны не только Пушкина, но и другихъ тогдашнихъ русскихъ писателей, объясняется особенными условіями тѣсно связанной политической и общественной жизни обоихъ славянскихъ народовъ, часто скрѣпляемыми притомъ еще и личной дружбою отдѣльныхъ представителей той и другой литературы, какъ въ данномъ случаѣ дружбою Пушкина и Мицкевича. Оба они, какъ извѣстно, не только интересовались каждый произведеніями другаго, но и переводили другъ друга и были исполнены чувствами взаимнаго уваженія и удивленія (см. 1) Историческій Вѣстникъ за 1880 г., статью Неслуховскаго, 2) Полное собраніе сочиненій кн. Вяземскаго, т. 7, ст. Мицкевичъ и Пушкинъ, изъ ко-

торой видна чрезвычайно высокая оцѣнка нашего поэта его польскимъ другомъ; 3) Вѣстникъ Европы 1887 г., кн. 4, ст. Спасовича; 4) Историческій Вѣстникъ 1893 г., ст. Пушкинъ въ польской критикѣ). Гораздо болѣе любопытнымъ для насъ представляется то обстоятельство, что Пушкинъ обратилъ вниманіе на сербскія и чешскія произведенія народнаго творчества, изъ которыхъ нѣкоторыя непосредственно были заимствованы имъ изъ сборника народныхъ сербскихъ пѣсенъ извѣстнаго Вука Стефановича Караджича, а другія обработаны болѣе или менѣе самостоятельно по тѣмъ или другимъ извѣстнымъ тогда даннымъ, наприм., по книгѣ Мериме „La Guzla", по народнымъ чешскимъ преданіямъ, по историческимъ сообщеніямъ (подробностей не приводимъ, такъ какъ онѣ общеизвѣстны, указаны самимъ Пушкинымъ и ихъ можно узнать изъ любыхъ обстоятельныхъ изданій соч. Пушкина, напримѣръ, Поливанова, Морозова). Здѣсь прямо сказалось и сильное художественное чутье поэта, сумѣвшаго оцѣнить перлы славянской народной поэзіи еще тогда, когда очень мало умѣли ее цѣнить и понимать—вспомнимъ, напримѣръ, хотя бы то почти отрицательное отношеніе къ народной поэзіи, которое встрѣчаемъ еще и позднѣе, даже у Бѣлинскаго,—и непосредственное славянское чувство, подсказывавшее поэту, быть можетъ, безсознательно, всю ту важность, какую могла имѣть его работа для будущаго, приведшее его, наконецъ, къ созданію произведеній, которымъ суждено было потомъ стать основаніемъ и послужить толчкомъ для постепеннаго развитія въ русскомъ обществѣ истинно славянскихъ чувствъ и славянскаго же направленія, въ противовѣсъ господствовавшему въ немъ одно время безпочвенному космополитизму, граничащему съ полнымъ національнымъ безразличіемъ и столь гибельному для цѣльнаго и всесторонняго развитія нашей народно-общественной своеобразной личности.

Я не буду распространяться о томъ, какъ искусно, высокохудожественно и вмѣстѣ самостоятельно распорядился нашъ поэтъ съ матеріаломъ, доставленнымъ ему книгою Мериме, какъ онъ придалъ ему въ своей обработкѣ не только болѣе художественности и изящества, но и болѣе настоящихъ чертъ, такъ сказать, безхитростной народности; не буду говорить вообще о литературныхъ достоинствахъ его славянскихъ переводовъ, передѣлокъ, обработокъ и самостоятельныхъ произведеній на славянскіе сюжеты, столь обогатившихъ нашу литературу и оплодотворившихъ ее еще однимъ важнымъ и крупнымъ

началомъ—славянскимъ; для меня важна уже одна установка того несомнѣннаго обстоятельства, что Пушкинъ явился у насъ, въ литературной сторонѣ славянскаго вопроса, родоначальникомъ и первымъ крупнымъ поэтическимъ начинателемъ, и что такое чудное поэтическое начало въ дѣлѣ изученія и воспроизведенія произведеній словесности инославянскихъ племенъ было необыкновенно удачно и какъ нельзя болѣе кстати: оно вызвало собою славянскую струю и славянскіе мотивы въ поэзіи его литературныхъ преемниковъ, и въ ней именно коренится все, что есть славянскаго въ произведеніяхъ и переводахъ А. Майкова (Радойца, Любуша и Премыслъ и друг.), Берга, Гербеля (см. книгу „Поэзія Славянъ"), Петровскаго, Коринѳскаго, Вѣры Глумовой, Уманова-Каплуновскаго (Славянская Муза) и мн. друг. Славянскіе завѣты Пушкина такимъ образомъ не остались забытыми въ нашей словесности, они нашли, находятъ и, конечно, еще будутъ находить въ ней свои отклики, освѣжающіе русскую литературу, вносящіе въ нее новыя, жизненныя и плодотворныя струи и теченія.

III.

Славянство въ свою очередь успѣло уже, хотя въ лицѣ еще немногихъ своихъ представителей, узнать и оцѣнить нашего поэта, въ личности котораго эти писатели не могли не видѣть не только высокой, первостепенной творческой силы, но и той чуткости и поэтической прозорливости, которая дѣлала изъ него своего рода пророка въ русской литературѣ. Инославянскіе писатели, правда, немного дѣлали при жизни Пушкина для ознакомленія своихъ единомышленниковъ съ его поэзіею, но для тогдашняго времени съ его затруднительными международными вообще, а книжно-литературными въ частности, сношеніями, довольно и того, что сдѣлано ими. Сербы и поляки обратили на него вниманіе раньше всѣхъ, именно еще въ 1826 г. Это и понятно: поляки, значительною частью своего прежняго государства и населенія входившіе уже тогда въ составъ русской державы, были настроены по отношенію къ русскому обществу и литературѣ далеко не такъ враждебно, какъ послѣ двухъ послѣдующихъ возстаній, и очень охотно усвоивали своей словесности лучшіе плоды русской музы. Въ частности можно отмѣтить, что при переводѣ „Бахчисарайскаго Фонтана", сдѣланномъ въ 1826 году А. В. Рогальскимъ, какъ въ обширномъ предисловіи переводчика, такъ и въ посвященіи

перевода, находимъ самую высокую оцѣнку поэмы и дарованій ея автора и самыя нелицемѣрныя, восторженныя восхваленія ему. Вскорѣ послѣ того стали появляться переводы, сдѣланные и другими лицами, каковы Мицкевичъ, Дашковскій, Завадскій, Юцевичъ и др. Что касается сербовъ, то болѣе раннее, сравнительно съ другими славянами, знакомство ихъ съ Пушкинымъ объясняется довольно оживленными тогда литературными сношеніями ихъ съ русскими. Извѣстно, что въ ту пору у сербовъ существовало даже довольно сильное литературное теченіе среди писателей, въ силу котораго значительная доля ихъ стремилась сохранить литературное единеніе съ Русью и возможную общность книжнаго языка, причемъ значительную помощь этому стремленію оказывала общность тогдашняго правописанія у обоихъ народовъ. Правда, это стремленіе въ концѣ концовъ должно было уступить мѣсто господству въ книгѣ народнаго языка, особливо благодаря дѣятельности Вука Стефановича Караджича и его школы, но въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія оно было еще достаточно сильно, и немалое количество книгъ самаго разнообразнаго содержанія писалось и печаталось на смѣшанномъ славяно-русско-сербскомъ языкѣ, который, особенно при господствовавшемъ тогда русскомъ правописаніи сербскихъ книгъ, былъ, по крайней мѣрѣ, для русскихъ читателей почти совершенно понятенъ и во всякомъ случаѣ болѣе доступенъ, чѣмъ нынѣшній народный языкъ сербовъ. Это же обстоятельство, роднившее русскую книгу съ сербскою, дѣлало первую совершенно доступною для тогдашнихъ сербскихъ писателей, книжниковъ и ученыхъ и было причиною того, что произведенія Пушкина даже не переводились сначала на народный сербскій языкъ, а просто перепечатывались въ тогдашнихъ сербскихъ повременныхъ изданіяхъ... Такъ, Юрій Магарашевичъ (1791 — 1830), извѣстный въ свое время сербскій писатель и редакторъ журнала „Сербская Лѣтопись“, органа литературно-просвѣтительнаго общества Сербская Матица, въ первой „частицѣ“ этого изданія за 1826 годъ помѣстилъ небольшую замѣтку „О поэты русскомъ Пушкину“ (143—145 стр. См. ст. Дараганова „Пушкинъ въ переводахъ“ въ изд. „Историч. Вѣстникъ“ за 1899 г., кн. 5), гдѣ восторженно отзывался о слѣдующихъ произведеніяхъ его: Опоминанія (т. е. воспоминанія) о Царскомъ Селѣ, Источникъ Бахчисарая (т. е Б. Фонтанъ), Русланъ и Людмила, Кавказскій Пленникъ (сербск. правописаніе). Эта восторженная замѣтка начинается слѣдующимъ образомъ: „Славный поэта русскій

Александеръ Пушкинъ (родился 1799 г. мая 26) издао е недавно едну, истина, малу поэму, но коя, по единогласномъ мнѣнію свію критика, сва нѣгова предашня дѣла превосходи; она се зове: Источникъ Бахчисарая. Господинъ Пономаревъ, московскій книгопродавецъ, платіо му е за ню 3000 руб., а цѣло то дѣло состои само изъ 600 стихова, дакле за свакій стихъ 5 руб. Пушкинъ блиста свима дарованіяма..." и т. д. Въ скоромъ времени были перепечатаны сербами слѣдующія стихотворенія Пушкина: Муза (Въ младенчествѣ моемъ она меня любила), Дочери (К ћери) Карагеоргія: Гроза луны, свободы воинъ, Гречанкѣ: Ты рождена воспламенять (см. Лѣтоп. Серб. Матицы 1837—38 г.), и такъ продолжалось до пятидесятыхъ годовъ, когда уже стали появляться и переводы на народное сербское нарѣчіе. Уже только въ 1863 г. былъ изданъ Стояномъ Новаковичемъ первый народно-сербскій стихотворный переводъ пушкинской поэмы „Кавказскій плѣнникъ" (Кавказски роб), а потомъ уже пошли переводы и прочихъ произведеній, сдѣланные другими лицами, каковы: Качанскій, Д. Медичъ, Весичъ, Іовановичъ и др. (см. книжку М. Миличевича: Пушкин у срба). Послѣдній переводъ, намъ извѣстный,—„Капитанской Дочки,—сдѣланъ въ 1896 г. сербскимъ журналистомъ Душаномъ Радовичемъ въ Мостарѣ (въ Герцеговинѣ).

У чеховъ первые переводы изъ Пушкина сдѣланы были сверстникомъ его даровитымъ Фр. Челаковскимъ (1799 — 1852 г.); этотъ поэтъ, чрезвычайно высоко цѣнившій русскую народную и искусственную поэзію и много сдѣлавшій для ознакомленія съ нею своихъ соплеменниковъ, перевелъ лишь нѣсколько небольшихъ произведеній Пушкина (Гусаръ, Утопленникъ, Делибашъ, Два ворона, Зимній вечеръ), но зато, во-1-хъ, сдѣлалъ ихъ уже въ 1833 г., слѣдовательно лишь семью годами позже перваго польскаго перевода, и первыхъ сербскихъ перепечатокъ, а во-2-хъ, переводы его признаются образцовыми по близости къ подлинникамъ и по значительнымъ поэтическимъ достоинствамъ. Оба славянскіе поэта: Пушкинъ и Челаковскій, лично незнакомые другъ съ другомъ, но послужившіе къ пробужденію у своихъ соплеменниковъ вниманія къ инославянскимъ изученіямъ и къ усвоенію образцовъ инославянской поэзіи, какъ бы подавали другъ другу руки въ общемъ великомъ дѣлѣ созиданія славянской взаимности...

Вслѣдъ за Челаковскимъ стали переводить Пушкина уже въ гораздо большихъ размѣрахъ В. Бендль, Е. Красногорская, К. Сте-

фанъ, Пацакъ и мн. друг., вносившіе по мѣрѣ своихъ силъ ту или другую лепту въ общее дѣло (см. брошюру Францева „Пушкинъ въ чешской литературѣ". Спб. 1898 г.).

За сербами, поляками и чехами послѣдовали понемногу и другія славянскія племена, до маленькаго сербо-лужицкаго народца включительно, и стали болѣе или менѣе усердно работать надъ усвоеніемъ произведеній великаго русскаго поэта. Такимъ образомъ, западное и южное славянсто оказало и теперь еще продолжаетъ оказывать значительную долю вниманія Пушкину, и можно ожидать, что, благодаря настоящему юбилею, всѣ его сочиненія, а не только избранныя, сдѣляются достояніемъ, въ подлинникѣ и въ переводахъ, всего инославянскаго читающаго общества (см., кромѣ указанной статьи Драганова, еще статью „Пушкинъ у славянъ" въ кіевскомъ „Сборникѣ Пушкину" 1899 г.).

IV.

Политическая сторона славянскаго вопроса также не ускользнула отъ острыхъ и проницательныхъ взоровъ поэта; онъ сумѣлъ и оцѣнить всю важность этой крупной и роковой исторической задачи и намѣтить для нея извѣстное возможное рѣшеніе, а главное, въ отношеніи къ самому этому вопросу, обнаружить столько благородства, человѣчности и величія, что можетъ послужить для насъ образцомъ какъ въ настоящее время, такъ и въ будущемъ. Да и нельзя было ничего иного ожидать отъ поэта, столь благороднаго, гуманнаго и возвышеннаго вообще. Вспомнимъ, сколько разнообразныхъ и прекрасныхъ идей, выраженныхъ необычайно просто и вмѣстѣ изящно, безъ излишней напыщенности и риторики, разсыпаны въ разныхъ его произведеніяхъ. Перечислять мы ихъ, конечно, не будемъ, такъ какъ это не входитъ въ нашу задачу, но указать, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ нихъ не мѣшаетъ: это можетъ послужить и для послѣдующаго нашего изложенія. Вѣдь это ему, нашему чудному поэту, принадлежитъ такое, напримѣръ, глубокое и правдивое изреченіе, заканчивающее извѣстную пьесу „Полководецъ":

О, люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха,
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,

Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньѣ
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

Вѣдь это имъ же высказана и другая не менѣе мѣткая и благородная мысль въ стихотвореніи „Друзьямъ“:

Я льстецъ? Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ:
Онъ горе на царя накличетъ,
Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничитъ.
Онъ скажетъ: презирай народъ,
Гнети природы голосъ нѣжный!
Онъ скажетъ: просвѣщенья плодъ —
Развратъ и нѣкій духъ мятежный!
Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ
Одни приближены къ престолу,
А небомъ избранный пѣвецъ
Молчитъ, потупивъ очи долу.

Человѣкъ, стремившійся „въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ“, высказавшій глубокое уваженіе къ творчеству и творческой мысли вообще въ извѣстныхъ стихахъ:

Ты—царь, живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,

желавшій и учившійся

Въ истинѣ блаженство находить,
Свободною душой законъ боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной,
Участьемъ отвѣчать застѣнчивой мольбѣ
И не завидовать судьбѣ
Злодѣя иль глупца въ величіи неправомъ...

Заявившій, что

Служенье музъ не терпитъ суеты,
Прекрасное должно быть величаво..

—такой человѣкъ не могъ неправильно и высокомѣрно отнестись къ славянскому вопросу, рѣшить его прямолинейно—жестоко и сурово, съ низменнымъ ликованіемъ по отношенію къ побѣжденному... Что касается нѣсколькихъ вспыльчивыхъ стиховъ въ извѣстныхъ стихотвореніяхъ „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинская Годовщина“, то, вѣдь, не слѣдуетъ забывать, что они высказаны были въ запальчивости борьбы, когда горячее и тревожное время невольно разжигало страсти и очень препятствовало даже болѣе трезвымъ умамъ безпристрастно оцѣнивать событія и относиться къ противникамъ безъ предубѣжденій... Что же тутъ удивительнаго, ежели и Пушкинъ, все таки русскій человѣкъ отъ головы до ногъ, отозвался на призывъ историческихъ событій, какъ ни были независимы и свободомысленны его мнѣнія въ другихъ отношеніяхъ, можетъ быть, немного односторонне и страстно, что́ и сказалось въ нѣсколькихъ рѣзкихъ стихахъ названныхъ стихотвореній! Гораздо важнѣе ихъ общій тонъ, полный великодушія и человѣчности, выразившійся, напримѣръ, въ слѣдующихъ великодушныхъ стихахъ:

Въ бореньи падшій невредимъ:
Враговъ мы въ прахѣ не топтали;
Мы не напомнимъ нынѣ имъ
Того, что старыя скрижали
Хранятъ въ преданіяхъ нѣмыхъ,
Мы не сожжемъ Варшавы ихъ.
Они народной Немезиды
Не узрятъ гнѣвнаго лица
И не услышатъ пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца...

Можетъ быть, именно такое отношеніе Пушкина къ дѣлу въ соединеніи съ его личными пріятельскими чувствами къ Мицкевичу и таитъ въ себѣ причину того отсутствія вражды собственно къ нему, какое мы видѣли у поляковъ даже въ пору самаго сильнаго отчужденія ихъ отъ Руси и всего русскаго, и какое наблюдаемъ и теперь. И въ Вѣнѣ поляки не уклонились отъ участія въ пушкинскихъ торжествахъ, устроенныхъ соединенными академическими кружками славянской молодежи, а въ Петербургѣ они и по собственному почину устроили чествованіе русскаго поэта, которое почтилъ

привѣтственною телеграммою и сынъ Мицкевича... Не мѣшаетъ отмѣтить также хотя и скромныя, и нѣсколько своеобразныя, но могущія имѣть свое значеніе въ будущемъ чествованія нашего поэта Краковскою Академіею Наукъ, а также Краковскимъ и Львовскимъ университетами, этими, несомнѣнно, чисто польскими учеными учрежденіями, сдѣлавшими это, повидимому, безъ всякой задней мысли, по собственному добровольному, искреннему почину... Чествованій Пушкина другими славянами мы не коснемся теперь, за недостаткомъ отведеннаго намъ времени: скажемъ только, что иногда эти чествованія, особенно у южныхъ славянъ, носили такой задушевный характеръ, были запечатлѣны такою искренною гордостью, вызванною столѣтнимъ юбилеемъ величайшаго славянскаго поэта-художника, что могутъ вполнѣ удовлетворить самое ревнивое русское чувство... Нѣкоторыя повременныя изданія посвятили поэту-юбиляру даже отдѣльные номера и книги, какъ бы не желая отстать въ этомъ дѣлѣ отъ русскихъ изданій, и наполнили эти юбилейные выпуски самыми разнообразными о немъ статьями. Такъ, въ майской книжкѣ „Българска Сбирка“, посвященной „А. С. Пушкину. 1799 год. 26 май—1899 год. 26 май“, находимъ нѣсколько статей о поэтѣ самого редактора д-ра С. Бобчева, а также Н. и Вл. Бобчевыхъ и кромѣ того переводъ „Каменнаго Гостя“ размѣромъ подлинника. Вотъ начало первой сцены:

Донъ-Жуанъ: До мръкванье сме тука. Уфъ! Найпослѣ
Пристигнахме до порти—тѣ Мадридски.
Мустаци съ плащъ затулещъ, вѣжди съ шапка,
Ще полетіж. Да ли ще ме познаіжтъ?

Лепорелло: Да, мжчно Донъ-Жуана да познаіжтъ!
Такива, като него, врѣдъ ще срѣщнешъ! и т. д.

V.

Если мы перейдемъ собственно къ пушкинскому рѣшенію частичной доли славянскаго вопроса, именно польско-русскаго домашняго спора, то, какъ извѣстно, поэтъ не далъ намъ положительнаго отвѣта на собственное же провозглашенное имъ весьма знаменательное изреченіе вопросительнаго свойства:

Славянскіе ль ручьи сольются въ русскомъ морѣ?
Оно ль изсякнетъ?—вотъ вопросъ.

Онъ былъ слишкомъ добросовѣстенъ, чтобы могъ иначе отнестись къ дѣлу и предложить отвѣтъ въ положительномъ и задорномъ тонѣ хвастливаго торжества... При всей напыщенности тона и высокопарности стиховъ въ данныхъ произведеніяхъ, нельзя не замѣтить въ нихъ и тяжелыхъ, тоскливыхъ нотокъ... Поэтъ, очевидно, сознавалъ, что излишнее ликованіе неумѣстно, что семейная вражда славянъ, чьею бы побѣдою она ни окончилась,—явленіе гибельное для нихъ же самихъ, какъ извѣстнаго культурно-историческаго организма... Онъ вынужденъ былъ сказать:

Оставьте насъ, вы не читали
Сіи кровавыя скрижали;
Вамъ непонятна, вамъ чужда
Сія семейная вражда;
Для васъ безмолвны Кремль и Прага...

Поэтъ справедливо настаиваетъ на невмѣшательствѣ инородныхъ племенъ въ семейное славянское дѣло: имъ, этимъ племенамъ, въ сущности чуждо все, что дорого славянамъ, чужды, безъ сомнѣнія, и сами славяне съ ихъ несмываемымъ исторіею своеобразіемъ...

Этотъ взглядъ Пушкина, что междуславянскій домашній споръ можетъ и долженъ быть рѣшенъ только самими же славянами, что этотъ споръ—ихъ домашнее дѣло и не нуждается въ стороннемъ посредничествѣ, обыкновенно небезкорыстномъ, чрезвычайно симпатиченъ; хотѣлось бы, чтобы онъ былъ и единственно правильнымъ и возможнымъ. Тогда, быть можетъ, при окончательномъ рѣшеніи вопроса, дѣло могло бы обойтись и иначе, чѣмъ думалъ когда-то извѣстный ученый П. Шафарикъ, т. е. безъ участія меча, неизбѣжнаго, конечно, разъ въ дѣло вмѣшаются неславянскіе народы. Хотѣлось бы, чтобы въ этомъ злополучномъ и роковомъ по своей запутанности славянскомъ вопросѣ рѣшающее значеніе получила во всякомъ случаѣ лишь сила ума и просвѣщенія и высшей образованности; чтобы славянскіе ручьи, если имъ суждено будетъ направить свое теченіе къ русскому морю, втекали въ него добровольно, сохраняя каждый особенность и вкусъ своей воды; чтобы, наконецъ, если русскому народу предстоитъ сдѣлаться объединительною силою для всего славянства, явиться для него такъ сказать высшимъ синтезомъ, это произошло подъ вліяніемъ дѣйствительно высшихъ культурныхъ успѣховъ этого народа предъ другими соплеменными; тогда они, по естественнымъ законамъ всяческаго

поступательнаго движенія, конечно примкнутъ къ своему вождю не только добровольно, но и восторженно подъ вліяніемъ высшей руководящей идеи о полной, безпрепятственной возможности для нихъ обогатить такимъ путемъ общую культурную сокровищницу человѣчества лучшими дарами и успѣхами силъ и свойствъ славянской природы, столь прекрасной въ своемъ чудномъ и увлекательномъ своеобразіи... (Можетъ быть, въ этомъ случаѣ имѣетъ свое значеніе и то любопытное совпаденіе, какое произошло между конгрессомъ мира, созваннымъ по русскому почину, и пушкинскимъ юбилеемъ?). И когда это совершится, за Пушкинымъ всѣ славяне, которые къ тому времени, дастъ Богъ, узнаютъ и изучатъ его во всей полнотѣ, не преминутъ, конечно, признать очень значительную крупную долю заслуги въ общемъ дѣлѣ взаимнаго ознакомленія членовъ родственнаго племени. Они несомнѣнно сдѣлаютъ это тѣмъ охотнѣе, что правильному, разумному рѣшенію ихъ домашняго вопроса въ особенности посодѣйствовалъ тотъ Пушкинъ, солнце русской литературы, пламенному перу котораго принадлежатъ слѣдующіе роскошные по своей мужественной силѣ стихи, которые смѣло могутъ служить поэтическимъ эпиграфомъ всяческаго поступательнаго движенія народовъ, и подъ которыми съ гордостью, конечно, подписался бы любой изъ величайшихъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и племенъ:

Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блѣднѣетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ
Предъ солнцемъ безмертнымъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!

ПУШКИНЪ и ЧЕЛЯКОВСКІЙ [1]).

I.

Въ настоящій день мы собрались здѣсь подъ хоругвію св. просвѣтителей славянъ, чтобы согласно установившемуся обычаю представить почтенному собранію отчетъ о дѣятельности Славянскаго благотворительнаго общества за истекшій 1898 г. и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы отъ имени Славянскаго общества посильно почтить память славнаго русскаго генія, котораго въ настоящіе майскіе дни чествуетъ вся Русь, а вмѣстѣ съ нею и все Славянство.

Очень скромна по своимъ размѣрамъ дѣятельность нашего Славянскаго общества, не велики цифры нашего бюджета; но это обстоятельство не должно никого смущать, такъ какъ задачи, лежащія въ основѣ этой дѣятельности, уже по существу своему весьма возвышенны, сами по себѣ должны имѣть важное значеніе въ жизни и заслуживаютъ всякаго вниманія и сочувствія. Наше Славянское общество живетъ и дѣйствуетъ по завѣту, который оставили чествуемые нынѣ православной церковью славянскіе первоучители св. Кириллъ и Меѳодій. Незабвенные св. братья, совершивъ великій подвигъ перевода священнаго писанія на славянскій языкъ, создавъ славянамъ грамоту и общій литературный языкъ—тѣмъ самымъ внесли въ среду разрозненныхъ славянскихъ племенъ идею близкаго духовнаго общенія, культурной взаимности и братства и, что выше всего, сдѣлали возможнымъ

---

[1]) Рѣчь проф. Т. Д. Флоринскаго, произнесенная 16 мая, въ торжественномъ годичномъ собраніи членовъ Кіевскаго Славянскаго благотворительнаго общества. Первоначально была напечатана въ „Кіевлянинѣ“ (№ 136).

Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Часть усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ въ ея нынѣшнемъ видѣ.

для нихъ пониманіе высокихъ истинъ евангельскаго ученія и, между прочимъ, той, которая гласитъ: „Больше сея любви никто-же имать, да кто душу свою положитъ за други своя". Тѣми же самыми идеями руководится въ своей дѣятельности и Кіевское Славянское общество. Оно стремится къ тому, чтобы содѣйствовать установленію мира и согласія среди раздробленнаго и по настоящее время Славянства, къ укрѣпленію духовнаго общенія между Русью и остальнымъ Славянствомъ, къ наибольшему проясненію славянскаго сознанія у всѣхъ представителей нашего племени, къ усиленію среди славянскихъ народовъ чувства взаимной любви и братства. Однимъ изъ главныхъ средствъ къ достиженію этой высокой цѣли служатъ, кромѣ оказанія матеріальной помощи нашимъ братьямъ, распространеніе въ Россіи свѣдѣній о славянскомъ мірѣ и, наоборотъ, ознакомленіе западныхъ и южныхъ славянъ съ нашею Русью, а также, при томъ больше всего, заботы о слявянской молодежи, учащейся въ русскихъ школахъ. Оказывая посильную помощь славянскимъ юношамъ, выходцамъ изъ Болгаріи, Македоніи, Сербскаго королевства, Черногоріи, Босны, Герцеговины, австрійской Сербіи, Чехіи, Словацкой земли—являющимся на Русь за среднимъ и высшимъ образованіемъ, Славянское общество тѣмъ самымъ совершаетъ культурное дѣло высокой важности. Поддерживая нравственно славянскихъ братьевъ, нерѣдко находящихся въ тяжелыхъ условіяхъ жизни, при которыхъ бываетъ невозможнымъ полученіе образованія у себя дома, оказывая такимъ образомъ услугу обездоленнымъ представителямъ родного племени, наше славянское общество тѣмъ самымъ поддерживаетъ и выше поднимаетъ обаяніе Россіи и русскаго народа въ Славянствѣ, ширитъ среди славянскихъ народовъ любовь и уваженіе къ русскому языку, русской наукѣ и литературѣ. Это-ли не высокая задача, которая должна быть близка сердцу каждаго истинно-русскаго человѣка? Многочисленное собраніе, удостоившее своимъ посѣщеніемъ нашъ скромный праздникъ, служитъ доказательствомъ постоянно возрастающаго сочувствія къ задачамъ дѣятельности нашего Славянскаго общества.

Позвольте, мил. госуд. и госуд., искренно привѣтствовать васъ въ настоящій день, посвященный воспоминанію о высокомъ подвигѣ, совершенномъ свв. Кирилломъ и Меѳодіемъ, и выразить пожеланіе, чтобы высокіе завѣты, оставленные свв. просвѣтителями славянъ, не переставали находить сочувственный откликъ въ нашихъ сердцахъ.

II.

Въ соотвѣтствіи съ указанными цѣлями нашей славянской программы мы считаемъ своимъ долгомъ въ нашихъ публичныхъ собраніяхъ дѣлать сообщенія по поводу такихъ явленій въ жизни славянства, которыя по преимуществу свидѣтельствуютъ о культурномъ ростѣ славянскаго племени и о развитіи славянской идеи. Такимъ крупнымъ событіемъ настоящаго года, безспорно, нужно считать приближающійся праздникъ столѣтія рожденія Пушкина. И наше маленькое Славянское общество на ряду съ многочисленными другими просвѣтительными учрежденіями чувствуетъ въ себѣ живую потребность принять участіе въ этомъ общерусскомъ, скажемъ болѣе, общеславянскомъ празднествѣ. Да, юбилей Пушкина—безспорно праздникъ не только русскій, но и всеславянскій, такъ какъ и самъ чествуемый поэтъ близокъ и дорогъ не только намъ, русскимъ, но и прочимъ славянскимъ народамъ. Имъ гордится все Славянство, какъ однимъ изъ величайшихъ своихъ геніевъ. Иногда называютъ Пушкина поэтомъ общеевропейскимъ. Такое мнѣніе справедливо лишь въ томъ смыслѣ, что въ поэзіи геніальнаго русскаго поэта, между прочимъ, отразились разныя теченія и вліянія поэтическаго творчества западно-европейскихъ народовъ. Но въ сущности Пушкинъ, конечно, прежде всего поэтъ русскій и вообще славянскій, ярко обнаружившій въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ свою русскую душу и свою славянскую натуру. Онъ дорогъ остальнымъ меньшимъ славянскимъ народамъ не только потому, что онъ былъ яркимъ выразителемъ русскаго духа, пѣвцомъ русской жизни, русской старины, русской народности, словомъ—поэтомъ русскаго народа, самаго крупнаго представителя семьи славянскихъ народовъ, но и потому, что онъ обратилъ вниманіе на меньшую славянскую братію, отвелъ и ей мѣсто въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, одинъ изъ первыхъ увлекся западно-славянскими народными пѣснями и преданіями, глубоко задумался надъ славянскимъ вопросомъ. Въ эпоху, къ которой относится литературная дѣятельность Пушкина, въ 20—30-хъ годахъ, у насъ на Руси о славянахъ знали еще очень мало и славянское сознаніе едва начинало пробуждаться у немногихъ лучшихъ людей общества. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и славный русскій поэтъ. Онъ сердцемъ понялъ близкую связь между Русью и западнымъ Славянствомъ, одинъ

изъ первыхъ оцѣнилъ Мицкевича, съ которымъ былъ соединенъ узами тѣсной дружбы, и первый въ прекрасныхъ переводахъ познакомилъ съ образцами западно-славянской поэзіи. Въ сборникахъ его произведеній имѣется цѣлый отдѣлъ стихотвореній, носящихъ названіе „Пѣсни западныхъ славянъ". Изъ числа этихъ пѣсенъ одиннадцать взяты изъ французскаго сборника Мериме Guzla; двѣ—„Сестра и братья" и „Соловей" изъ знаменитаго сборника сербскихъ пѣсенъ В. Караджича; одна „Янышъ Королевичъ" изъ чешскихъ народныхъ сказаній, а пѣсня „Георгій Черный" и „Воевода Милошъ" навѣяны событіями современной сербской исторіи. Затѣмъ извѣстны его прекрасные переводы изъ Мицкевича („Воевода", „Конрадъ Валенродъ", „Будрысъ и его сыновья") и превосходное стихотвореніе, посвященное самому Мицкевичу. Въ послѣднемъ ярко выступаетъ горячая любовь Пушкина къ славному польскому поэту, чувство горечи по поводу озлобленія Мицкевича противъ Россіи и необыкновенная чистота души и незлобіе русскаго поэта. Независимо отъ этого непосредственнаго живого участія къ западному Славянству, засвидѣтельствованнаго самыми стихотвореніями Пушкина, имѣетъ важное значеніе то обстоятельство, что какъ въ цѣломъ міровоззрѣніи поэта, такъ и въ общемъ характерѣ и пріемахъ его поэтическаго творчества не мало сторонъ и элементовъ, уже по самой сущности своей близкихъ и понятныхъ всему Славянству. Все это въ совокупности объясняетъ важное значеніе Пушкина въ славянскомъ мірѣ. Знакомство западныхъ славянъ съ знаменитымъ русскимъ поэтомъ начинается очень рано, еще въ тридцатыхъ годахъ. Значительное количество крупныхъ и меньшихъ произведеній Пушкина извѣстно въ многочисленныхъ переводахъ на всѣ славянскіе языки. Число этихъ переводовъ постоянно умножается. Въ нихъ принимали и принимаютъ участіе наиболѣе выдающіяся поэтическія силы у разныхъ славянскихъ народовъ. Вообще, западные славяне читали и читаютъ Пушкина очень усердно. Поэтому неудивительно, что муза геніальнаго русскаго поэта оказала извѣстное вліяніе на творчество западно-славянскихъ поэтовъ. Такъ, это вліяніе довольно легко подмѣтить у серба Змоя Іовановича, словинца Веселя Косесскаго, чеховъ Челяковскаго, Пфлегера-Моравскаго и др. Отсюда понятно замѣчаніе одного изъ новѣйшихъ переводчиковъ Пушкина на чешскій языкъ: „Пушкинъ еще въ 50-хъ годахъ сталъ для насъ, чеховъ, роднымъ поэтомъ". То же можно сказать по отношенію къ другимъ славянамъ: словакамъ, сербамъ,

болгарамъ, словинцамъ. Вполнѣ понятно и то, что юбилей Пушкина всюду въ западно-славянскихъ земляхъ празднуется весьма торжественно, съ неподдѣльнымъ восторомъ. Впереди другихъ, однако, идутъ чехи: они снаряжаютъ депутаціи въ Москву и Петербургъ, готовятъ адресы и привѣтствія, издаютъ въ память поэта книги, художественные сборники и проч. Такимъ образомъ, если появленіе Пушкина и его поэзіи составляло выдающееся, богатое послѣдствіями событіе въ культурной жизни всего Славянства, то происходящее нынѣ чествованіе столѣтней годовщины рожденія великаго поэта должно признать однимъ изъ крупныхъ проявленій славянскаго сознанія. Вотъ одно изъ многихъ основаній, по которымъ въ настоящій Кирилло-Меѳодіевскій день мы считаемъ своимъ долгомъ занять вниманіе просвѣщеннаго собранія чтеніемъ о Пушкинѣ [1]).

III.

Чествуя Пушкина въ настоящемъ годичномъ собраніи, мы считаемъ вполнѣ умѣстнымъ напомнить еще объ одномъ славянскомъ юбилеѣ. Въ нынѣшнемъ году исполнилось столѣтіе рожденія одного изъ видныхъ западно-славянскихъ поэтовъ, сверстника Пушкина и большого почитателя его поэзіи. Этотъ поэтъ—Францъ-Ладиславъ Челяковскій, крупный представитель чешскаго литературнаго возрожденія, замѣчательный выразитель славянскаго самосознанія у чеховъ, ранній переводчикъ произведеній Пушкина на чешскій языкъ.

Я позволю себѣ посвятить нѣсколько словъ памяти этого замѣчательнаго славянскаго дѣятеля.

Фр. Л. Челяковскій родился 7 марта 1799 г., слѣдовательно, всего за три мѣсяца до рожденія Пушкина, а скончался 5 августа 1852 г., слѣдовательно, черезъ 15 лѣтъ послѣ безвременной кончины величайшаго русскаго поэта. Происходя изъ небогатой мѣщанской семьи, всю жизнь свою проведя въ нуждѣ и лишеніяхъ, Челяковскій исключительно благодаря своимъ дарованіямъ и безграничной любви къ родинѣ сталъ однимъ изъ выдающихся представителей чешскаго національнаго возрожденія. Подобно другимъ своимъ славнымъ современникамъ, Юнгманну, Шафарику, Ганкѣ, Коллару, служеніе род-

[1]) Рѣчь о Пушкинѣ въ этомъ собраніи была произнесена И. Ф. Кожинымъ.

мому народу онъ соединялъ съ увлеченіемъ славянскою идеей: онъ былъ не только чешскій писатель, но и славянофилъ или панславистъ. Челяковскій составилъ себѣ извѣстность какъ поэтъ, журналистъ и ученый славяновѣдъ. Когда онъ проходилъ среднюю и высшую школу, въ Чехіи еще не было простора родному языку: онъ едва допускался въ сельскихъ училищахъ и былъ слышенъ почти исключительно въ крестьянскихъ хижинахъ. Въ городахъ и высшихъ классахъ господствовалъ нѣмецкій языкъ. Свое образованіе Челяковскій получилъ на нѣмецкомъ языкѣ и въ молодости очень увлекался нѣмецкой литературой, особенно Гердеромъ и Гёте, несомнѣнно оказавшими вліяніе на развитіе у него поэтическаго дарованія. Но затѣмъ, понявъ смыслъ начинавшагося народнаго движенія, онъ всецѣло примкнулъ къ національному направленію, съ горячностью отдался изученію своего родного языка и старой чешской литературы и уже въ началѣ 20-хъ годовъ выступилъ энергичнымъ, убѣжденнымъ работникомъ на нивѣ родной литературы. Его поэтическая дѣятельность выразилась въ созданіи значительнаго числа истинно-художественныхъ произведеній. Въ 1822 г. вышли въ свѣтъ его „Славянскія народныя пѣсни“ и сборникъ мелкихъ стихотвореній. Затѣмъ слѣдовали переводы изъ Вальтеръ-Скотта, Гёте, литовскихъ пѣсенъ. Въ 1829 г. было въ первый разъ напечатано замѣчательнѣйшее его произведеніе „Отголосокъ русскихъ пѣсенъ“ (Ohlas písní ruských), а въ 1839 г. вышелъ подобный же „Отголосокъ чешскихъ пѣсенъ“ и вслѣдъ затѣмъ пользующаяся большою славою „Столистая Роза“ (Růže Stolistá)—цѣлый сборникъ лирики личнаго чувства, чередующейся съ размышленіями о національныхъ дѣлахъ. Поэтическое дарованіе Челяковскаго ставятъ очень высоко. Наравнѣ съ Колларомъ онъ сталъ основателемъ новой школы чешской поэзіи, т. н. властенецкой или патріотической, смѣнившей устарѣвшее, искусственно-идиллическое направленіе. Существенная особенность этой школы—изображеніе въ поэтическихъ образахъ народной жизни и національныхъ стремленій. Всѣ произведенія Челяковскаго при полнотѣ внутренняго содержанія отличаются художественной формой и отчетливой отдѣлкой частностей. Языкъ поэта—прекрасный, сильный образный. Многія его пѣсни и стихотворенія получили широкое распространеніе въ обществѣ и стали какъ бы народными.

Заботы о пріисканіи насущнаго хлѣба заставляли Челяковскаго долгое время отдаваться мелкой журнальной работѣ, пока, наконецъ,

онъ сталъ редакторомъ нѣсколькихъ періодическихъ изданій. Но давнишнее его призваніе было—ученая, профессорская карьера. Послѣ разныхъ затрудненій онъ получилъ, наконецъ, каѳедру въ Прагѣ, вынужденъ былъ перейти въ Вратиславу и опять вернулся въ Прагу, гдѣ и сложилъ свои кости.

Прекрасный лингвистъ, Челяковскій сосредоточилъ свое вниманіе на изученіи славянскихъ языковъ и памятниковъ слявянскаго народнаго творчества. Онъ собиралъ и переводилъ пѣсни разныхъ славянскихъ народовъ, составилъ замѣчательный сборникъ славянскихъ пословицъ, занимался разысканіями въ области этимологіи, подготовилъ къ печати первые опыты сравнительной грамматики славянскихъ языковъ, издавалъ элементарныя руководства для изученія польскаго и русскаго языковъ и проч.

Русскій языкъ онъ зналъ прекрасно и, между прочимъ, пользовался имъ въ своихъ письмахъ даже къ чешскимъ друзьямъ. Любопытно также, что онъ высоко ставилъ кирилловское письмо и иногда употреблялъ его вмѣсто латиницы въ своихъ письмахъ, писанныхъ по-чешски. Слава объ учености Челяковскаго дошла до Россіи. Его приглашали вмѣстѣ съ Шафарикомъ и Ганкой на одну изъ открывавшихся въ Россіи каѳедръ славянской филологіи. Но Челяковскій не рѣшился покинуть родину.

Какъ въ научныхъ, филологическихъ своихъ трудахъ, такъ и въ публицистической своей дѣятельности, и въ поэтическихъ созданіяхъ Челяковскій выступаетъ искреннимъ, горячимъ поборникомъ идеи славянской взаимности. Онъ заботится о распространеніи среди чеховъ болѣе основательныхъ свѣдѣній объ остальномъ славянскомъ мірѣ. Онъ знакомитъ съ образцами народныхъ пѣсенъ у разныхъ славянскихъ народовъ, старается выяснить близкое родство славянскихъ языковъ, пропагандируетъ изученіе русскаго и польскаго языковъ. Одинъ изъ біографовъ поэта говоритъ, что изъ всѣхъ вѣтвей славянскихъ Челяковскій особенно любилъ русскихъ: русская исторія, русская литетура, русская народная поэзія были любимыми предметами его изученія.

Эта любовь къ русскому народу и русскому языку особенно вылилась въ его сборникѣ „Отголосокъ русскихъ пѣсенъ“, который и доселѣ считается однимъ изъ перловъ чешской поэзіи. По выходѣ въ свѣтъ этого сборника многіе думали, что онъ содержитъ переводы съ русскаго. Такъ вѣрно поэтъ схватилъ духъ и характеръ русскаго

народа, такъ глубоко уразумѣлъ особенности русскаго народнаго творчества и такъ мастерски овладѣлъ тонкостями русскаго языка. Достаточно указать, напр., на созданные имъ цѣльные, истинно-русскіе образы богатырей Ильи Муромца, Чурилы Пленковича, Ильи Волжанина или превосходныя по глубинѣ мысли, силѣ чувства и образности языка стихотворенія, написанныя по случаю сожженія Москвы въ 1812 г., кончины императора Александра I, появленія русскихъ на Дунаѣ въ 1829 г. Позволю себѣ привести одно изъ нихъ— „Великая панихида“ въ переводѣ Н. Берга:

То не градомъ побиты, не дождикомъ,
Не пшеница лежитъ со гречихою:
Полегло подъ Москвою, подъ матушкою,
Много воинства храбраго русскаго,
Много воинства тамъ и французскаго
Преклонясь головой ко сырой землѣ,
Переколотаго, перебитаго,
Что мечами, штыками и копьями
Чтó картечью, гранатами, пулями.
Ой, вы дѣти единыя матушки!
Стороны-ли родной вы защитнички,
Мы за вашу любовь и за подвиги
Панихиду свершили великую,
Панихиду, какой не привидано,
О какой никогда и не слыхано.
Не достало свѣчей воску яраго,
Не хватило на каждаго ратника,
Мы одну вамъ свѣчу всѣмъ затеплили,
Въ храмѣ Божіемъ, подъ синимъ подъ куполомъ.
Мы зажгли вамъ свѣчу—Москву матушку
Милымъ дѣтушкамъ на спокой души
И на диво, на страхъ—врагу лютому!

Желая познакомить чешское общество съ русской поэзіей, Челяковскій началъ съ Пушкина и въ 1833 г. перевелъ слѣдующія его стихотворенія: „Гусаръ“, „Утопленникъ“, „Делибашъ“, „Два ворона“, „Зимній вечеръ“; затѣмъ онъ далъ прекрасные переводы изъ Дельвига, Веневитинова, Языкова, княгини Ростопчиной, княгини Волконской,

Тимоѳеева, Козлова, Батюшкова, Дмитріева и Крылова. Всѣ переводы, очень близко передающіе подлинникъ, отличаются высокимими поэтическими достоинствами.

Такова въ общимъ чертахъ замѣчательная дѣятельность Челяковскаго, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ близко примыкающая къ славной дѣятельности Пушкина. Весьма знаменательно слѣдующее хронологическое совпаденіе: Челяковскій впервые напечаталъ свои переводы стихотвореній Пушкина въ 1833 г., въ томъ-же году были написаны Пушкинымъ „Пѣсни западныхъ славянъ".

Итакъ, въ то время, какъ на Руси Пушкинъ силой своего генія создавалъ новое направленіе въ русской литературѣ и жизни, и, между прочимъ, обращалъ вниманіе русскаго общества на западно-славянскій міръ, въ ту же самую пору въ маленькой Чехіи, только что возроздавшейся къ новой болѣе свободной національной жизни—талантливый поэтъ Челяковскій и съ профессорской каѳедры, и въ своихъ превосходныхъ поэтическихъ созданіяхъ знакомилъ своихъ сородичей съ Русью, ея поэзіей, съ произведеніями ея величайшаго поэта. Оба славянскихъ поэта, не будучи лично знакомы, на двухъ противоположныхъ концахъ славянскаго міра совершали одно общее дѣло: закладывали первые камни будущаго величественнаго зданія славянской взаимности и солидарности. Эти важные моменты въ культурной жизни Славянства начала тридцатыхъ годовъ имѣютъ высокое значеніе. Они невольно приходятъ на память въ наступающіе пушкинскіе дни. Вѣчная слава Пушкину и Челяковскому—мощнымъ выразителямъ идеи братства между славянскими народами!

Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Часть усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ, по рис. 1853 г.

Отдѣлъ II.

Отношеніе къ А. С. Пушкину

РУССКОЙ КРИТИКИ

съ 1820 года до столѣтняго юбилея 1899 года.

Едва ли найдется другое имя писателя въ русской словесности, которое бы такъ тѣсно было связано съ научнымъ изученіемъ исторіи русской литературы, русской поэзіи, русской критики, какъ имя А. С. Пушкина. Современникъ знаменитыхъ русскихъ критиковъ, Надеждина, Полевого, Бѣлинскаго, великій русскій поэтъ самъ принималъ дѣятельное участіе въ русской критикѣ, въ русской журналистикѣ,— особенно въ теченіе 30-хъ годовъ. Безъ сомнѣнія, критическое направленіе Пушкина выразилось не только въ его замѣткахъ, составляющихъ видную часть его произведеній, дошедшихъ хотя-бы и въ рукописяхъ; но и въ его бесѣдахъ съ писателями 20-хъ и 30-хъ годовъ. Къ мнѣніямъ поэта прислушивались и писатели Пушкинской школы, между прочимъ, издававшіе „Литературную Газету", 1830—31 гг., и Гоголь, и Бѣлинскій. Послѣдній создалъ первый трудъ по исторіи русской поэзіи на основаніи сравнительнаго изученія Пушкина и русскихъ писателей XVIII—XIX вѣковъ. Произведенія Пушкина сдѣлались мѣриломъ новыхъ требованій отъ русской литературы. Критика, признавъ художественное и общественное значеніе за сочиненіями А. С. Пушкина, тѣмъ самымъ указала на ихъ высокія достоинства въ области воспроизведенія русской жизни, русской исторіи и на самые пріемы обращенія съ русскимъ словомъ. Какъ ни измѣнялись взгляды русской критики, Пушкинъ оставался художни-

комъ русскаго слова, поэтомъ въ совершеннѣйшей формѣ, и давалъ матеріалы для злобы дня. Поэтому переглядѣть критическія статьи и болѣе или менѣе крупные труды, посвященные изученію А. С. Пушкина, представляетъ интересъ, вызываемый настоящимъ воспоминаніемъ объ истекшемъ столѣтіи со дня рожденія величайшаго русскаго поэта.

Въ „Вѣстникѣ Европы", издававшемся въ Москвѣ съ перерывами Каченовскимъ, впервые появились стихотворенія А. С. Пушкина (1814 г.); въ этомъ же журналѣ въ 1820 году впервые появились жестокія нападки на первое крупное произведеніе Пушкина—поэму, „Русланъ и Людмила" (Спб., 1820 г., 142 стр. и въ журналѣ „Сынъ Отечества" 1820 г. №№ 15, 16 и 38). Московскій журналъ, основанный Карамзинымъ, посвящалъ большое вниманіе вопросамъ русской исторіи. Поэтому даже „Освобожденная Москва" Волкова, въ 10 пѣсняхъ, 1820 г., въ стилѣ Хераскова, подверглась обширному разбору. Въ области русской поэзіи обращали на себя вниманіе „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ" Жуковскаго 1817 г. и „Древнія Россійскія Стихотворенія" (Кирши-Данилова), изданныя въ 1818 году Калайдовичемъ. Критикъ „Вѣстника Европы", поклонникъ русскихъ поэтовъ XVIII вѣка, начиная съ Ломоносова, послѣдователь ложноклассической теоріи, возсталъ противъ новыхъ явленій, связанныхъ съ балладами Жуковскаго, выбравши слабыхъ его подражателей, противъ пѣсенъ Кирши-Данилова, связавши его имя съ новымъ поэтомъ Пушкинымъ. Главныя нападенія критики направлены на народныя выраженія поэмы „Русланъ и Людмила", которыя защитникъ „нашихъ стариковъ" признавалъ дикими, ужасными, отвратительными для вкуса просвѣщеннаго человѣка. Эти нападенія стараго Аристарха были замѣчены и въ „Сынѣ Отечества" явилась антикритика въ защиту „новѣйшихъ преобразователей", сочиненія которыхъ сравнивались, съ одной стороны, съ Одиссеей, Роландомъ, Обероном, съ другой—съ Душенькой Богдановича. Критикъ „Вѣстника Европы" уступилъ въ новомъ отвѣтѣ въ пользу Карамзина, Жуковскаго, но къ „неизвѣстному поэту Пушкину" отнесся съ прежнимъ раздраженіемъ.

Между тѣмъ и въ Петербургѣ нашлись хулители „Руслана и Людмилы" въ „Невскомъ Зрителѣ" 1820 г. Защитникъ правдоподобія въ поэмахъ и нравственности въ литературѣ, критикъ „Невскаго Зрителя", нашелъ предметъ, выбранный Пушкинымъ для поэмы,

ничтожнымъ, какъ подражаніе невѣроятнымъ сказочнымъ чудесамъ, какъ отступленіе отъ русской исторіи и русскихъ народныхъ преданій, хотя и похвалилъ за красоту нѣкоторыхъ стиховъ. Это были двѣ „тяжкихъ“ (по выраженію Крылова, см. примѣчаніе Пушкина къ „Руслану и Людмилѣ“) критики, выставившія мужицкую грубость и безнравственность, даже болѣе—поэмы молодого поэта: „Онъ (замѣтилъ критикъ „Невскаго Зрителя“) между необыкновенными героями своей поэмы помѣстилъ и историческое лицо: Великаго Князя Владиміра—просвѣтителя Россіи. Всякій Русскій, всякій христіанинъ при одномъ имени его исполняется чувствомъ благоговѣнія. Впрочемъ, хорошо, что онъ показывается только въ первой и послѣдней пѣсняхъ поэмы“. Очевидно, „новѣйшіе преобразователи“ русской литературы должны были вступиться за Пушкина. И вотъ въ „Сынѣ Отечества“ 1820 г. появляется обширный разборъ „Руслана и Людмилы“, подписанный буквой В., но, несомнѣнно принадлежащій Воейкову, какъ отмѣтилъ самъ поэтъ въ 1828 г. въ предисловіи ко 2-му изданію „Руслана и Людмилы“: „при ея появленіи, въ 1820 г. тогдашніе журналы наполнились критиками болѣе или менѣе снисходительными; самая пространная писана г. Воейковымъ и помѣщена въ „Сынѣ Отечества“. Воейковъ изложилъ содержаніе поэмы по отдѣльнымъ пѣснямъ, разобралъ характеры дѣйствующихъ лицъ, остановился на красотахъ изложенія, выраженій и ограничился немногими упреками въ отступленіяхъ „Руслана и Людмилы“ отъ эпопей, оговоривши ея ближайшее отношеніе къ поэмамъ романтическимъ, шуточнымъ, волшебнымъ, богатырскимъ. Защитникъ Пушкина, указавшій его „почтенное мѣсто между первоклассными отечественными нашими писателями“ за „лебединое перо поэта“, за кисть художника, вызвалъ въ Пушкинѣ, находившемся въ это время въ Кіевской губерніи, нѣкоторое неудовольствіе, можетъ быть за обвиненіе въ безнравственности и за слѣдующее замѣчаніе: „прелестныя картины на самомъ узкомъ холстѣ, разборчивый вкусъ, тонкая, веселая, острая шутка; но всего удивительнѣе то, что сочинитель сей Поэмы не имѣетъ еще двадцати пяти лѣтъ отъ рожденія“! Пушкинъ началъ съ этого замѣчанія свое предисловіе ко 2-му изданію „Руслана и Людмилы“: „автору было двадцать лѣтъ отъ роду, когда кончилъ онъ Руслана и Людмилу“. Пушкинъ въ письмѣ къ Гнѣдичу 1820 г. искалъ уже защиты отъ болѣе „умныхъ“ критиковъ, находя своихъ

критиковъ или „тяжкими“ или „благонамѣренными“ (II, 199) [1]). Собственно говоря, Воейковъ кое-въ-чёмъ согласился и съ мнѣніемъ старинныхъ Аристарховъ, и въ Сынѣ Отечества 1820 г. нашелся новый защитникъ Пушкина, упрекнувшій Воейкова за указанія „грѣшныхъ и мужицкихъ“ стиховъ въ „Русланѣ и Людмилѣ“. Существуетъ мнѣніе, что эта новая защита сдѣлана самимъ А. Ѳ. Воейковымъ, подъ псевдонимомъ П. К-ва (VI, 12, прим. 5), сославшимся уже на Лорда Байрона. Не была ли эта критика вызвана друзьями Пушкина, если принять во вниманіе заключеніе статьи Воейкова: „отдавая полную справедливость отличному дарованію Пушкина, сего юнаго гиганта въ словесности нашей, мы однако увѣрены, что основательный разборъ его поэмы, поясненный свѣтомъ истинной критики, былъ бы полезенъ и занимателенъ. Мы желаемъ только, чтобы трудъ сей на себя принялъ писатель: опытнѣе, ученѣе и учтивѣе г-на В.“.

Поэма Пушкина была признана критикой Измайлова въ „Благонамѣренномъ“ 1820 г. „прекраснымъ феноменомъ въ нашей словесности“, въ дальнѣйшихъ статьяхъ „Сына Отечества“—„однимъ изъ лучшихъ произведеній литературы 1820 года“. Не пересматривая замѣчаній и „за“, и „противъ“ Пушкина въ семи статьяхъ „Сына Отечества“ 1820 года, замѣтимъ только, что поэма молодого поэта вызвала необыкновенное оживленіе въ русской литературной критикѣ, и споры привели къ признанію таланта за первымъ крупнымъ трудомъ Пушкина. Очевидно, и въ обществѣ много говорили о „Русланѣ и Людмилѣ“, если въ предисловіи ко 2-му изданію его Пушкинъ, цитируя своихъ критиковъ 1820 г., упоминаетъ о „мнѣніяхъ увѣнчанныхъ первоклассныхъ отечественныхъ писателей“ (Дмитріева и Карамзина), которыя сводились къ полному порицанію поэмы Въ дѣйствительности, это было преувеличено, такъ какъ Карамзинъ, хотя и называлъ „поэмку молодого Пушкина сметанной на живую нитку“, но защищалъ ее передъ Дмитріевымъ за „живость, остроуміе, вкусъ“. Очевидно, эта частная переписка двухъ свѣтилъ русской литературы хорошо была извѣстна въ кругу молодыхъ литераторовъ и объ ней извѣстили Пушкина изъ Петербурга и Москвы на

---

[1]) Ссылаемся и далѣе на „Сочиненія А. С. Пушкина“, 1887 года, 7 томовъ, изданіе П. О. Морозова. Выдержки изъ критическихъ статей до Бѣлинскаго приводимъ по изданію г. Зелинскаго „Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина“, 4 ч., 1887—88 г.г.

югъ—въ Кіевъ, Крымъ, или въ Кишиневъ. Пушкинъ оставилъ обычную форму торжественныхъ посвященій, хотя впослѣдствіи и прибѣгалъ къ ней, и къ вольностямъ своей поэмы прибавилъ: „Посвященіе однимъ красавицамъ-дѣвицамъ“.

Съ критикъ 1820—21 годовъ Пушкинъ получилъ почетный титулъ „пѣвца Руслана и Людмилы“. Журналисты составили даже представленіе о мѣрѣ литературнаго таланта Пушкина по этой поэмѣ и впослѣдствіи неодобрительно отзывались о другихъ произведеніяхъ поэта, которыя отступали отъ пріемовъ и цѣли первой поэмы молодого поэта. Только просвѣщенные друзья Пушкина понимали, какъ и самъ поэтъ, недостатки Руслана и Людмилы. Критика вызвала нѣкоторыя поправки во 2-мъ изданіи поэмы, преимущественно со стороны безнравственныхъ намёковъ. Одна черта осталась неизмѣнной и, вѣроятно, заставляла задумываться поэта—это взглядъ на Пушкина, какъ на автора „небольшихъ“ поэмокъ. Въ самомъ дѣлѣ, авторы обширныхъ поэмъ, съ содержаніемъ, захватывавшимъ вопросы странъ, народовъ, вождей, должны были казаться титанами передъ авторомъ „Людмилы“, „Черкешенки“, „Маріи и Заремы“, „Цыганки“, и проч. А поэтъ и въ лирикѣ отдавалъ всю свою душу женщинѣ, или пробовалъ воспѣвать въ небольшихъ произведеніяхъ Наполеона, вождей 1812 года, или карать русскихъ временьщиковъ. Повидимому, задумавшись надъ требованіями читателей, поэтъ остановился на Петрѣ Великомъ, и этотъ трудъ не былъ имъ довершенъ, какъ ошибся въ этомъ и ранѣе Ломоносовъ съ своей „Петріадой“. Времена неустройствъ, Лжедимитрія, Пугачевщины дали Пушкину болѣе вѣрные очерки; но онъ не былъ способенъ и здѣсь погрузиться въ многотомную работу. Вотъ исходный пунктъ въ оцѣнкѣ русской критики, которую при жизни Пушкина представляютъ въ неблагосклонномъ свѣтѣ съ 1830 года.

Какъ бы то ни было, посылая Гнѣдичу новую свою поэму „Кавказскій Плѣнникъ“, которую авторъ идиллій и переводчикъ Гомера издалъ въ 1822 г., съ приложеніемъ портрета Пушкина (издатель прибавилъ и подпись къ портрету: „думаемъ, что пріятно сохранить юныя черты Поэта, котораго первыя произведенія ознаменованы даромъ необыкновеннымъ“), послѣдній писалъ Гнѣдичу (VII, 31): „я что-то въ милости у русской публики“ и далѣе выражалъ недовѣріе признавая за отзывами публики случайную прихоть и указывая „людей, которые выше ея“ (публики). Въ припискахъ къ новой поэмѣ

Пушкинъ (II, 298) намекаетъ на злобу критиковъ „Руслана и Людмилы". „Повѣсть—Кавказскій Плѣнникъ"—новое „небольшое, изящное стихотвореніе" (Сынъ От.), „поэма" (по выраженію Измайлова) была встрѣчена дружными похвалами критики: въ Вѣстникѣ Европы 1823 г. историкъ Погодинъ (М. П.), соглашаясь съ „строгими требованіями знатоковъ" отъ Руслана и Людмилы (не писалъ ли первую критику въ В. Е. московскій профессоръ: Мерзляковъ, или Каченовскій?), поставилъ выше Кавказскаго Плѣнника, привѣтствовалъ обѣщаніе Пушкина выбрать новый историческій сюжетъ поэмы изъ отношеній кн. Мстислава къ Кавказу и, какъ и другіе критики, упрекнулъ автора за противорѣчія въ характерѣ Плѣнника. Князь Вяземскій и Плетневъ сопоставляли новое произведеніе Пушкина съ произведеніями Байрона, особенно съ Шильонскимъ Узникомъ (котораго Пушкинъ выбралъ неудачно для „Братьевъ Разбойниковъ") и побуждали молодого поэта развиваться въ этомъ направленіи давать поболѣе новыхъ произведеній, обогащать бѣдную русскую литературу. Особенно понравилось поэтическое изображеніе Кавказа и горскихъ нравовъ. Пушкинъ занялъ теперь первое мѣсто въ ряду русскихъ писателей.

Князь Вяземскій сдѣлался истолкователемъ Пушкина и приложилъ къ первому изданію поэмы „Бахчисарайскій фонтанъ" 1824 года, вмѣсто предисловія, „Разговоръ между Издателемъ и Классикомъ съ Выборгской стороны, или съ Васильевскаго острова" (интересно вспомнить, что первый суровый московскій критикъ назвалъ себя „Жителемъ Бутырской слободы"). Это истолкованіе, съ побужденіемъ Пушкина писать какъ можно болѣе, выражаетъ мнѣнія той „новой школы" русскихъ писателей, которая нашла выразителя въ лицѣ молодого автора поэмъ. Мнѣнія классика выражены въ слѣдующемъ: „нынѣ завелась какая-то школа новая, никѣмъ не признанная, кромѣ себя самой; не слѣдующая никакимъ правиламъ, кромѣ своей прихоти, искажающая языкъ Ломоносова, пишущая наобумъ, щеголяющая новыми выраженіями, новыми словами; и гдѣ же достоинство поэзіи, если питать ее однѣми сказками"? Романтикъ-издатель возстаетъ противъ теоріи и указываетъ на требованіе одной „народности въ словесности", которая „не въ правилахъ, но въ чувствахъ".

Вѣстникъ Европы, поддерживавшій себя авторитетами Университета („самонадѣянность, свойственная всѣмъ нынѣшнимъ *природнымъ* рецензентамъ!—Жаль, что вы не учились ни въ какомъ Уни-

верситетѣ: вы не сказали бы этого", Зелинскій I, 143), возсталъ противъ „Разговора" кн. Вяземскаго и сталъ защищать классиковъ русскихъ и французовъ, причисливъ и Пушкина къ классикамъ. Упреки романтикамъ и особенно слабымъ послѣдователямъ романтизма сводятся къ указаніямъ на „смѣсь мрачности съ сладострастіемъ, быстроты разсказа съ неподвижностью дѣйствія, пылкости страстей съ холодностью характеровъ, а у плохихъ подражателей новой школы съ разбросанностью, неоконченностью картинъ, темнотой языка". Оригинальная критическая замѣтка принадлежитъ „Литературнымъ Листкамъ" Булгарина: „авторъ сей поэмы писалъ къ одному изъ своихъ пріятелей въ Петербургѣ (см. VII т., стр. 72: А. А. Бестужеву, отъ 8 февраля; ср. письмо къ Булгарину, отъ 1 февраля съ жалобой на Бестужева): „не достаетъ плана (ср. подлинныя слова Пушкина: „недостатокъ плана—не моя вина"); не моя вина, я суевѣрно перекладывалъ разсказъ молодой женщины". И эти слова Пушкина, притомъ искаженныя, послужили поводомъ къ обвиненію его: „говорить ли тамъ о правилахъ, заключаетъ критикъ „Литературныхъ Листковъ", гдѣ каждый стихъ, каждая черта обворожаютъ и заставляютъ забываться". Позднѣе Булгаринъ лично заступился за Пушкина съ безпристрастіемъ, объявивъ себя ни классикомъ, ни романтикомъ, прибавивъ свои редакторскія замѣчанія къ статьѣ Олина, раскритиковавшаго „Бахчисарайскій фонтанъ" за недостатки въ планѣ, за отсутствіе характеровъ, завязки, возрастающаго интереса и развязки, наконецъ за Байронизмъ. Полемика по поводу Кавказскаго Плѣнника становилась настолько оживленной, что самъ авторъ въ „Сынѣ Отечества" заступился за кн. Вяземскаго и отмѣтилъ „несправедливость и непристойность" критическихъ статей по поводу его сочиненій. Оставляя въ сторонѣ все временное въ этихъ спорахъ, можно отмѣтить только, что Пушкинъ сдѣлался главнымъ предметомъ борьбы партій, классиковъ и романтиковъ, старой партіи и новой.

Въ 1824 году, въ 4 № „Литературныхъ Листковъ" появилось слѣдующее первое извѣстіе о новомъ трудѣ А. С. Пушкина, привлекшемъ такое вниманіе читателей и критики: „Одинъ просвѣщенный любитель словесности писалъ къ намъ изъ Кіева, что поэма *Онѣгинъ* есть лучшее произведеніе неподражаемаго Пушкина. Мы просимъ извиненія у почтеннаго автора, что безъ его вѣдома осмѣливаемся помѣстить нѣсколько стиховъ изъ Онѣгина, которые завезены сюда въ умѣ и продиктованы наизусть, а потому, можетъ быть, и съ ошиб-

ками, по крайней мѣрѣ для насъ непримѣтными". Первая глава „Евгенія Онѣгина", появившаяся въ 1825 г., нашла себѣ истолкователя въ критикѣ Полевомъ (Московскій Телеграфъ 1825 г.), который сравнилъ Пушкина съ Байрономъ, причемъ отмѣтилъ и самостоятельность русскаго поэта. Въ первой же рецензіи Полевой выставилъ превосходство „Евгенія Онѣгина" передъ шуточными русскими поэмами прежнихъ сочинителей: „Поэтъ освѣщаетъ передъ нами общество и человѣка: герой его — шалунъ съ умомъ; вѣтренникъ съ сердцемъ.. онъ не скопированъ съ Французскаго или Англійскаго. Мы видимъ свое, слышимъ свои родныя поговорки, смотримъ на свои причуды, которыхъ всѣ мы не чужды были нѣкогда". Когда въ пространной критикѣ „Сына Отечества" старались принизить Пушкина, Полевой снова сталъ доказывать его самостоятельность и народность. Послѣдній взглядъ такъ интересенъ, что мы приведемъ выдержку изъ критики Полевого: „надобно думать, что Г-въ (критикъ въ „Сынѣ От.") полагаетъ народность русскую въ русскихъ черевикахъ, лаптяхъ и бородахъ, и тогда только назвалъ бы Онѣгина народнымъ, когда на сценѣ представился бы русскій мужикъ, съ русскими поговорками, побасенками, и проч.!—Народность бываетъ не въ одномъ низшемъ классѣ: печать ея видна на всѣхъ званіяхъ и вездѣ. Наши богачи подражаютъ французамъ, Петербургъ болѣе всѣхъ русскихъ городовъ похожъ на иностранный городъ; но и въ быту богачей и въ Петербургѣ никакой иностранецъ совершенно не забудется, всегда увидитъ предметы, напоминающіе ему Русь: такъ и въ Онѣгинѣ. Общество, куда поставилъ своего героя Пушкинъ, мало представляетъ отпечатковъ Русскаго народнаго быта, но всѣ сіи отпечатки подмѣчены и выражены съ удивительнымъ искусствомъ. Ссылаюсь на описаніе Петербургскаго театра, воспитаніе Онѣгина, поѣздку къ Талону, похороны дяди, не исчисляя множества другихъ чертъ народности". „Московскій Телеграфъ" Полевого продолжалъ защиту Пушкина и романтизма по поводу дальнѣйшаго появленія Евгенія Онѣгина.

Каждая новая глава „Евгенія Онѣгина" привѣтствовалась общимъ восторгомъ журналовъ, свидѣтельствовавшихъ о быстротѣ творчества Пушкина, о распространенности его произведеній въ публикѣ, которая запоминаетъ наизусть и повторяетъ при всякомъ случаѣ сладкозвучные стихи поэта. При появленіи первыхъ главъ распространялись слухи, что вся поэма-романъ будетъ состоять изъ 20—25 главъ. Такъ Московскій Вѣстникъ 1828 года сообщалъ по поводу 4 и 5

пѣсенъ Евгенія Онѣгина: „4 и 5 пѣсни Онѣгина составляютъ въ Москвѣ общій предметъ разговоровъ: и женщины, и дѣвушки, и литераторы и свѣтскіе люди, встрѣтясь, начинаютъ другъ друга спрашивать: читали ли вы Онѣгина, какъ вамъ нравятся новыя пѣсни, какова Таня, какова Ольга, каковъ Ленскій". Однако недоговорки Пушкина, игривый и субъективный тонъ изложенія вызывали недоумѣнія и осужденія. Таковъ былъ отзывъ „Атенея" 1828 г., по поводу 4 и 5 пѣсенъ Онѣгина. Съ мелкими придирками къ точности понятій критикъ соединялъ заключенія объ отсутствіи въ Онѣгинѣ достоинствъ внѣшнихъ и внутреннихъ: ни характеровъ, ни дѣйствія, ни изложенія, ни занимательности не видѣлъ онъ въ прославляемомъ другими журналами романѣ Пушкина. Московскій Телеграфъ сравнилъ эту критику съ нападками журналовъ 1820 г. на Руслана и Людмилу, которыя въ 1825 г. казались уже забавными. И странно—поклонники Пушкина снова заговорили, при появленіи второго изданія Руслана и Людмилы въ 1828 г., о его превосходствѣ передъ всѣми послѣдующими сочиненіями Пушкина.

Въ сборникѣ г. Зелинскаго „Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина" (ч. II, стр. 112—125) не отмѣчено необходимое и извѣстное указаніе, что статья въ Московскомъ Вѣстникѣ 1828 г. „Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина" принадлежитъ И. В. Кирѣевскому (см. Полное собраніе сочиненій Ивана Васильевича Кирѣевскаго, т. I, 1861 г., стр. 5—18). Статья эта выдѣляется изъ ряда современныхъ критикъ—серіознымъ направленіемъ: въ ней нѣтъ придирокъ къ отдѣльнымъ выраженіямъ и голословныхъ порицаній или похвалъ, нѣтъ многословія о романтической поэзіи и Байронѣ. Вмѣсто того, критикъ, признавая Пушкина первоклассным русскимъ поэтомъ, расматриваетъ его произведенія по тремъ періодамъ развитія, различающимся другъ отъ друга. Первый періодъ поэзіи Пушкина, къ которому Кирѣевскій относитъ Руслана и нѣкоторыя изъ мелкихъ стихотвореній, характеризуется вліяніемъ школы итальянско-французской: Парни и Аріоста. Русланъ вылился законченно, полно,—въ блестящихъ, свѣтлыхъ краскахъ, какъ легкая шутка, дитя веселости и остроумія. Кирѣевскій думаетъ, что и самые приступы къ пѣснямъ (Руслана) заняты у пѣвца Іоанна (но въ „Сочиненіяхъ" Кирѣевскаго читаемъ „Іоанны" стр. 8, I т. непростительный недосмотръ г. Зелинскаго: вѣдь по его опечаткѣ можно заключить, что Пушкинъ подражалъ Хераскову, а по изданію Ко-

шелева—Жуковскому). Въ первомъ періодѣ Пушкинъ поэтъ—творецъ, во второмъ періодѣ—подражатель Байрона, поэтъ-философъ. Второй періодъ начинается „Кавказскимъ Плѣнникомъ“: въ немъ нѣтъ уже довѣрчивости къ судьбѣ Руслана; но нѣтъ еще презрѣнія къ человѣку Онѣгина. Противорѣчія и обманутыя надежды въ цѣломъ мірѣ, отсутствіе въ человѣчествѣ высокаго, присущи убѣжденіямъ Плѣнника, какъ и разочарованнымъ героямъ Байрона. По поводу болѣе совершеннаго произведенія „Бахчисарайскаго Фонтана“ Кирѣевскій высказываетъ общее сужденіе о Байроновскомъ родѣ поэзіи: „вообще, видимый безпорядокъ изложенія есть неотмѣнная принадлежность Байроновскаго рода, но этотъ безпорядокъ есть только мнимый, и нестройное представленіе предметовъ отражается въ душѣ стройнымъ переходомъ ощущеній. Чтобы понять такого рода гармонію, надобно прислушиваться къ внутренней музыкѣ чувствованій, рождающейся изъ впечатлѣній отъ описываемыхъ предметовъ, между тѣмъ какъ самые предметы служатъ здѣсь только орудіемъ, клавишами, ударяющими въ струны сердца“. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе Кирѣевскій отмѣчаетъ удаленіе отъ Байроновскихъ образцовъ у Пушкина и приближеніе къ самостоятельности и народности. Уже въ „Цыганахъ“ критикъ усматриваетъ эти новыя черты развитія Пушкина и еще болѣе—въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“. И не въ героѣ, не въ Онѣгинѣ Кирѣевскій видитъ самостоятельность, народность, а „въ постороннихъ описаніяхъ“. Евгеній Онѣгинъ для Кирѣевскаго—пустой, ни къ чему неспособный, модный франтъ. Самобытная неотъемлемая собственность Пушкина заключается, по мнѣнію Кирѣевскаго, въ Ленскомъ, Татьянѣ, Ольгѣ, Петербургѣ, деревнѣ, снѣ, зимѣ, письмѣ и проч. Это черты третьяго періода поэзіи Русско-Пушкинской: въ Цыганахъ, Онѣгинѣ, въ Борисѣ Годуновѣ. Кирѣевскій очень высоко ставилъ Пушкина и въ 1829 году не стѣснился назвать его представителемъ современной ему эпохи литературы, такимъ же образцомъ для подражателей какъ ранѣе въ XIX вѣкѣ были Карамзинъ и Жуковскій. Критикъ указываетъ на Подолинскаго съ его поэмой „Борскій“, какъ на подражателя Пушкина.

Къ концу 20-хъ годовъ Пушкинъ занялъ уже прочное мѣсто въ русской литературѣ: въ 1829 году явились двѣ части его Стихотвореній, привѣтствованныя какъ творенія геніальнаго поэта (критики въ Московскомъ Телеграфѣ). Журналы, альманахи и изданія сочиненій Пушкина сопровождались портретами поэта, біографическими за-

мѣтками и обильными похвалами. Вотъ образчикъ критики „Полтавы“ 1829 г. въ Московскомъ Телеграфѣ (статья Кс. Полевого.): „сей необыкновенный человѣкъ (Пушкинъ), еще въ самыхъ юныхъ лѣтахъ ознаменовавшій себя прекрасными стихотвореніями и какимъ то оригинальнымъ взглядомъ на предметы, тотчасъ обратилъ на себя общее вниманіе знаменитыхъ современиковъ, Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова. Можетъ быть, дружба съ послѣднимъ и раннее знакомство съ итальянскою поэзіею, ибо въ домѣ Пушкиныхъ итальянскій языкъ былъ въ употребленіи, породили мысль о „Русланѣ и Людмилѣ“. Замѣчательно, что критикъ справедливо указалъ на несоотвѣтствіе поэмы Пушкина „превосходному образцу—Слову о Полку Игоревѣ“. Интересны также и слѣдующія замѣчанія Полевого: „Пушкинъ повторилъ собою всю исторію русской литературы. Воспитанный иностранцами, онъ переходилъ отъ одного направленія къ другому, пока наконецъ нашелъ тайну своей поэзіи въ духѣ своего отечества въ мірѣ русскомъ“. Однако „Полтава“ встрѣтила и нападки со стороны исторической достовѣрности. Первымъ жуналомъ высказался въ этомъ смыслѣ „Сынъ Отечества“: за наругательство надъ Мазепой и Карломъ XII (Зелинскій II. 154—156). Гречъ и Булгаринъ выразили это даже въ такой фамильярной формѣ: „помилуйте, Александръ Сергѣевичъ! Это ужъ вольность піитическая, черезъ край!“ И такъ Булгаринъ, Гречъ, Каченовскій въ „Вѣстникѣ Европы“ и „Атеней“ высказались противъ направленія Пушкина. Какъ чутко относилась критика 20-хъ годовъ къ Пушкину, свидѣтельствуетъ слѣдующее замѣчаніе о „Полтавѣ“ въ журналѣ „Галатея“ 1829 г: „Почти всѣ журналы высказали свое мнѣніе о Полтавѣ. Еще молчатъ Атеней и Вѣстникъ Европы; но ихъ молчаніе краснорѣчиво для того, кто о будущемъ судитъ по прошедшему“. „Вѣстникъ Европы“ не преминулъ откликнуться въ статьѣ, напоминающей первый грозный разборъ Пушкинскаго Руслана, съ подписью статьи о „Полтавѣ“ 1829 г.—„съ Патріаршихъ прудовъ“. Естественно, что историческая поэма Пушкина должна была возбудить интересъ среди научныхъ спеціалистовъ, и въ Атенеѣ одновременно появилась другая подробная статья о Полтавѣ московскаго профессора Максимовича. Остановимся подробнѣе на этихъ критикахъ Надеждина и Максимовича. Надеждинъ, вызвавшій суровыя эпиграммы Пушкина въ 1829 г. (II, 80—81) и вмѣстѣ на Каченовскаго—редактора „Вѣстника Европы“ (II, 75—80), прикрывшійся личностью любопытнаго странника по

Москвѣ „съ Патріаршихъ прудовъ“, подслушавшаго разговоръ о „Полтавѣ“ Пушкина между Флюгеровскимъ—ярымъ поклонникомъ романтизма и Пушкина и незнакомцемъ—старикомъ, классикомъ—простымъ корректоромъ университетской типографіи. Сочувствіе классика—критика на сторонѣ старика корректора „Правдивина“. Надеждинъ придалъ необычную форму критикѣ. Въ рамку мѣстной Московской панорамы, представляющей сцены изъ произведеній Пушкина, онъ вставилъ разговоры объ эстетическомъ и историческомъ значеніи поэмъ Пушкина. Вотъ упреки, обращенные въ сторону этихъ поэмъ: его картины запачканы обыкновенно грязными пятнами; Русланъ представляетъ обиліе уродливыхъ гротесковъ, самыхъ смѣшныхъ каррикатуръ и въ остальныхъ произведеніяхъ проявляется привычка зубоскалить, въ выраженіяхъ много поддѣлки подъ народность, много своеволія. И снова заключеніе статьи съ вѣжливымъ обращеніемъ къ „Александру Сергѣевичу“, которому „голосъ истины будетъ пріятенъ“, а „безусловныя похвалы прискучили“. Въ „Атенеѣ“ 1829 г. появилась небольшая, но дѣльная критика „Полтавы“ проф. Максимовича, подъ заглавіемъ: „О поэмѣ Пушкина Полтава въ историческомъ отношеніи“. Новый безпристрастный критикъ, читавшій „съ размышленіемъ Исторію Малороссіи“, находилъ несправедливыми нападки предшествующей критики на искаженія исторіи въ изображеніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ и даже событій, въ которыхъ обвиняли Пушкина. „Очевидно, говоритъ Максимовичъ въ заключеніе свой статьи, что характеры дѣйствующихъ лицъ въ Поэмѣ Пушкина совершенно таковы, какими представляетъ ихъ исторія“. Все это показано критикомъ на провѣркѣ характера Мазепы.

Такова была критика двадцатыхъ годовъ, наполненная перебранками по поводу сочиненій А. С. Пушкина. Въ 1830 году стала выходить „Литературная Газета, издаваемая Барономъ Дельвигомъ“ (Спб.)—другомъ Пушкина, при участіи и полномъ сочувствіи поэта. Выберемъ нѣсколько замѣчаній о сочиненіяхъ Пушкина, составляющихъ даже предметъ обширной полемики по поводу личности геніальнаго поэта, мечтавшаго создать органъ печати для читателей съ высшимъ литературнымъ вкусомъ—для аристократовъ, какъ опредѣляли современные писатели враждебнаго лагеря. Это было естественно, такъ какъ въ Литературной Газетѣ участвовали поклонники и подражатели А. С. Пушкина, какъ кн. Вяземскій, Погорѣльскій и др. Литературная Газета 1830 г. высказалась за „Полтаву“, какъ лучшую поэму

Пушкина (I т., 63), за благопристойность и безпристрастіе, несмотря на личныя хотя-бы и враждебныя отношенія критиковъ, отдающихъ должное и врагамъ (слова самого А. С. Пушкина I, 98), за „благородную сатиру“ Пушкина въ Евгеніѣ Онѣгинѣ на „странности, пороки, ошибки слабости“ нашего вѣка, поколѣнія, его чувствованій и надеждъ (I, 135), за непристойность „Учебной книги Русской Словесности“ (Греча), признавшей лучшимъ романомъ, при отсутствіи русскихъ романовъ вообще „Ивана Выжигина“ Булгарина (I, 146). Здѣсь мы должны остановиться въ выпискахъ отзывовъ о Пушкинѣ, чтобы сказать о полемикѣ Литературной Газеты съ „Сѣверной Пчелой“ Греча и Булгарина изъ-за Пушкина, вызвавшей извѣстное стихотвореніе поэта „Моя родословная“. Годъ 1830 былъ критическимъ въ жизни Пушкина. Разборъ „Исторіи Русскаго Народа“ Полевого, напечатанный Пушкинымъ въ Литературной Газетѣ, вызвалъ суровый отзывъ „Московскаго Телеграфа“ 1830 г. о Евгеніѣ Онѣгинѣ, какъ слабомъ подражаніи Байрону съ растянутыми, повторяющимися мыслями и замѣтками. „Галатея“ Ранча также напала на VII главу Онѣгина; „Сѣверная Пчела“ присоединилась на долго къ этимъ зловѣщимъ развѣнчиваніямъ поэта и „знаменитыхъ“ именъ писателей. Выходки сатирическихъ писателей, какъ Байрона и его неудачнаго подражателя Пушкина, по мнѣнію Сѣверной Пчелы, означаютъ паденіе литературы. Кромѣ балагурства о пустякахъ, критики Пчелы увидали еще въ Онѣгинѣ заимствованія изъ Грибоѣдовскаго „Горе отъ ума“ и „просимъ не погнѣваться, изъ другой извѣстной книги“. Литературная Газета тотчасъ же объяснила, что рѣчь идетъ объ Иванѣ Выжигинѣ (I, 61). Литературная Газета не убереглась отъ жестокой перебранки. Отражая Булгарина и Полевого—двухъ заправилъ тогдашней журналистики,—Газета коснулась вопроса о даровитыхъ и бездарныхъ писателяхъ, о литературной аристократіи—вопроса, какъ извѣстно, связаннаго съ стихотвореніями Пушкина о литературной „черни“, съ его статьями о значеніи поэзіи, дворянства, и проч. Между тѣмъ и „Иванъ Выжигинъ“, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, служилъ предметомъ сопоставленій Литературной Газеты съ Евгеніемъ Онѣгинымъ Пушкина: „хорошо близорукимъ критикамъ Сѣверной Пчелы полагать, говорила Газета въ іюнѣ 1830 г., что пѣсни Евгенія Онѣгина бездѣлица, потому что въ нихъ нѣтъ шестистопныхъ стиховъ, что онѣ не торжественныя оды, что въ нихъ описываются простыя событія ежедневной жизни“. Вѣдь „Иванъ Выжигинъ“

отличается „несвязностью въ происшествіяхъ, блѣдностью, безличностью въ лицахъ“, разсказомъ холоднымъ, бездушнымъ, языкомъ безцвѣтнымъ, безъ признаковъ жизни. За „бѣднаго моего Выжигина“ вступился Булгаринъ во второмъ письмѣ изъ Карлова на „Каменный Островъ“ (Сѣверная Пчела 1830 г. № 94), соединивъ нападки Литературной Газеты съ остротой надъ „Негромъ, купленнымъ шкиперомъ за бутылку рома“. „Думали ли тогда, выразился Булгаринъ, что къ этому Негру признается стихотворецъ!“ Пушкинъ отвѣчалъ на эту брань эпиграммой „На Булгарина“ (II, 89, которая тотчасъ же была подхвачена въ рукописи и съ дерзостью напечатана въ Сынѣ Отечества самимъ Булгаринымъ) и „вольнымъ подражаніемъ лорду Байрону. Моя родославная, или русскій мѣщанинъ“:

„Смѣясь жестоко надъ собратомъ,
„Писаки русскіе толпой
„Меня зовутъ аристократомъ...
„Видокъ Фиглярнъ, сидя дома,
„Рѣшилъ, что дѣдъ мой Ганнибалъ
„Былъ купленъ за бутылку рома
„И въ руки шкиперу попалъ.

Надеждинъ также не оставлялъ нападокъ на Пушкина во имя своей приверженности къ эстетикѣ классиковъ. Онъ по прежнему оставался при томъ убѣжденіи, что изъ Пушкина долженъ былъ выработаться „русскій Аріосто“, если бы онъ держался „въ предѣлахъ эстетическаго благоразумія“ и если бы не „прикрывалъ романтическаго славой антиклассическаго невѣжества“. Надеждинъ намекалъ на то, что „безъ истиннаго образованія“ талантъ писателя выдыхается, что у Пушкина подражательнаго таланта поэта хватаетъ только на картинки, расположенныя безъ плана и расчитанныя главнымъ образомъ на веселый смѣхъ. Это, говорилъ Надеждинъ „рѣзвое скаканіе разгульной фантазіи“ Пушкина связано съ его усиліями придавать своему неподдѣльному таланту фальшивый блескъ, выворачивая природу наизнанку, представляя каррикатуры пародіи. „Бориса Годунова“ Надеждинъ присуждалъ къ сожженію. Такъ высказался Надеждинъ въ шутливой формѣ разговора съ Тлѣпскимъ, ярымъ поклонникомъ Пушкина, въ эпоху журнальнаго „ожесточенія“ противъ поэта: „превышающими всякую мѣру хвалебными взывами (рѣдкое

народное выраженіе) вы забросили его за облака и, не ссиливъ поддержать тамъ,—уронили въ преисподнюю!"

Литературная Газета 1830 г. подняла вопросъ о высокихъ достоинствахъ „Бахчисарайскаго Фонтана" (3 изд.) и „Бориса Годунова" (I, № 22). Но мы приведемъ сначала отзывъ П. А. Катенина, котораго мнѣнія цѣнилъ и самъ Пушкинъ, мелькомъ брошенный въ „Размышленіяхъ и Разборахъ" (II, 43) о „Русланѣ и Людмилѣ": анахронизмы—недостатокъ, который „холодитъ Руслана и Людмилу вопреки обольщенію стиховъ: читателю хочется того времени, того быта, тѣхъ повѣрій и лицъ; вокругъ ласковаго князя Владиміра собираетъ онъ мысленно Илью Муромца, Алёшу Поповича, Чурилу, Добрыню, мужиковъ Залѣшанъ, видитъ ихъ сражающихся съ Соловьемъ разбойникомъ, съ Ягой—бабой, съ Кащеемъ безсмертнымъ, со Змѣемъ Горыничемъ, и, встрѣтя вмѣсто ихъ незнакомцевъ, не знаетъ, гдѣ онъ, и ничему не вѣритъ".

Въ виду того, что одна изъ обширныхъ критикъ на „Бориса Годунова" 1830 г. принадлежитъ автору „Руководства къ познанію исторіи литературы" (1833 г.) Василію Плаксину, мы приведемъ два отзыва учебныхъ книгъ по русской словесности. Гречъ во 2 изданіи своей книги 1830 г. (IV, L: Краткая исторія русской литературы) далъ уклончивый отзывъ о Пушкинѣ: „Не смѣемъ произнесть рѣшительное сужденіе о его характерѣ: юный орелъ еще не свершилъ половины своего полета... „безспорно (онъ) первый изъ нынѣшнихъ поэтовъ нашихъ". Плаксинъ въ обширной статьѣ (Сынъ Отечества 1831 г.), по поводу „Бориса Годунова", выразилъ односторонній взглядъ на Пушкина съ точки зрѣнія классической теоріи: „большая часть его поэмъ отличается бѣдностію содержанія, недостаткомъ единства идеи, цѣлости, поэтической истины, а часто смѣлость и удальство героевъ замѣняютъ доблесть". Отсюда критикъ указывалъ даже вредное вліяніе Пушкина въ нашей литературѣ. Отдавая должное нѣкоторымъ сценамъ драмы Пушкина критикъ болѣе всего указываетъ въ ней отступленій отъ ложноклассической теоріи. Это были послѣдніе звуки замирающаго школьнаго классицизма. Тридцатые годы—годы дѣятельности Пушкина—ознаменовались расцвѣтомъ русской критики. Надеждинъ, Полевой и Бѣлинскій поставили русскую литературную критику на недосягаемую высоту, немыслимую въ предшествующее время русской литературы. Пушкинъ отзывчивый на всѣ явленія литературы принялъ участіе въ критикѣ и въ журналистикѣ своего времени. Но

„аристократическая“ Литературная Газета не прожила болѣе года, Пушкинскій „Современникъ„ 1836 г. тоже не могъ дать направленія русской критикѣ. Однако русская критика тридцатыхъ годовъ продолжала заниматься вопросами о достоинствѣ сочиненій Пушкина, и находила свои требованія, свои основанія въ томъ или иномъ отношеніи, именно къ Пушкину. Самый коренной вопросъ русской критики тридцатыхъ годовъ—о самобытности, о народности сочиненій русскихъ писателей и особенно Пушкина вызванъ былъ поэзіей А. С. Пушкина и безъ него не имѣлъ достаточныхъ основаній.

Въ 1832 г. Надеждинъ видѣлъ паденіе таланта Пушкина и не признавалъ за нимъ правъ на названіе русскаго народнаго поэта, такъ какъ „его народность ограничивалась тѣснымъ кругомъ нашихъ гостинныхъ, гдѣ русская богатая природа вылощена подражательностью до совершеннаго безличія и бездушія“. Полевой, повторяя прежнія свои похвалы Пушкину, разбиралъ его сочиненія, какъ вполнѣ законченный и выразившійся уже въ 1833 г. видъ русской поэзіи, не самобытной, а слѣдственно и не вполнѣ народной. Критика Надеждина и Полевого, небольшія замѣчательныя статьи Кирѣевскаго, подготовили первое вѣское выраженіе новой исторической критики Бѣлинскаго—1834 г. „Литературныя мечтанія“. Теперь Пушкинъ и его періодъ литературной дѣятельности соединены были въ цѣлую цѣпь развитія русской литературы отъ Тредьяковскаго и Ломоносова. Бѣлинскій и по смерти Пушкина возвращался съ новой силой къ первому своему историческому сопоставленію Пушкина съ русскими писателями XVIII—XIX вв., завершившемуся капитальными разборами 1841—42 гг. Вотъ что говорилъ Бѣлинскій въ первой статьѣ своей 1834 г., въ Молвѣ: „Пушкинскій періодъ былъ самымъ цвѣтущимъ временемъ нашей словесности. Его надобно-бъ было обозрѣть исторически и въ хронологическомъ порядкѣ... Можно сказать утвердительно, что тогда мы имѣли если не литературу, то, по крайней мѣрѣ, призракъ литературы; ибо тогда было въ ней движеніе, жизнь и даже какая-то постепенность въ развитіи“. Бѣлинскій примкнулъ къ общему голосу критики тридцатыхъ годовъ, что „Пушкинъ 1834 года не то, что былъ Пушкинъ въ 1829 г. “ Оттого новый критикъ допускалъ шутя даже два новыхъ періода послѣ Пушкинскаго, называя одинъ изъ этихъ періодовъ „прозаическо-народнымъ“. Рѣчь, конечно, идетъ о Гоголѣ, о которомъ въ слѣдующемъ же году 1835 Бѣлинскій написалъ большую статью, подъ названіемъ „О русской повѣсти и повѣ-

стяхъ Гоголя", въ которой указалъ къ Гоголѣ—преемника Пушкину, новаго главу поэтовъ. Въ маленькой статейкѣ 1835 г.—о „Повѣстяхъ" Пушкина Бѣлинскій сказалъ, что „онѣ не художественныя созданія, а просто сказки и побасенки" и какъ бы совѣтовалъ поэту приняться за историческій романъ. Такой же „закатъ таланта" критикъ отмѣтилъ въ 1836 г. по поводу четвертой части „Стихотвореній Александра Пушкина". Вообще при жизни Пушкина Бѣлинскій, говоря при удобномъ и неудобномъ случаѣ о великомъ поэтѣ, только и отмѣчалъ, что Пушкинъ уже пережилъ себя, что у него еще сохранилось „одно умѣніе владѣть языкомъ и риѳмою" (Сочиненія Бѣлинскаго II, 5-186 стр). Вотъ приблизительно, каковы были отзывы критики о Пушкинѣ при его жизни.

Поэтъ при жизни много разъ высказывалъ свое отношеніе къ журнальнымъ похваламъ и порицаньямъ; но примиряющій безпристрастный взглядъ выраженъ имъ въ извѣстномъ мѣстѣ „Памятника" 1836 г.:

Велѣнью Божію, о Муза, будь послушна:
Обиды не страшись, не требуя вѣнца,
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

„Черезъ двѣ недѣли послѣ смерти Пушкина" въ 1837 г. Полевой написалъ горячую статью о гибели великаго русскаго поэта,—„великаго лирическаго поэта и полнаго представителя своего современнаго отечества". „Державинъ и Пушкинъ—оба вполнѣ выразили свой народъ", но Пушкинъ—геній переходнаго вѣка. И это сравненіе повторилось въ критикѣ 40-хъ годовъ (напр., въ Библіотекѣ для Чтенія, въ Москвитянинѣ 1841 г., Зелинскій, часть 4, стр. 129, 260). Въ 1838 году Бѣлинскій уже началъ говорить о „мнимомъ періодѣ паденія таланта" Пушкина (II, 321), о его „геніальной объективности въ высшей степени" (414), напримѣръ, даже въ „Сказкѣ о Рыбакѣ и Рыбкѣ" (454), въ Каменномъ Гостѣ (III, 58). „Великій, неужели безвременная смерть твоя, говорилъ Бѣлинскій въ 1839 году, непремѣнно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто былъ ты?" (59). Въ 1840 году критикъ ставитъ Пушкина выше простo-русскаго поэта, признавая его „великимъ міровымъ поэтомъ" (IV, 202). Мало по малу, критикъ добирается до процесса развитія поэтическаго творчества Пушкина. И вотъ, когда завершено было пер-

вое посмертное изданіе „Сочиненій“ поэта, въ 11 томахъ, 1838—1841 гг., Бѣлинскій выступилъ съ цѣлымъ рядомъ статей въ Отечественныхъ Запискахъ 1843—46 гг., образовавшимъ первую обширную монографію о Пушкинѣ, первый цѣнный трудъ по исторіи русской поэзіи и вообще по исторіи русской литературы. Безъ преувеличенія можно сказать, что статьи Бѣлинскаго о Пушкинѣ, слившіяся въ цѣльный объемистый трудъ, представляютъ его лучшую литературную работу, по которой можно составить опредѣленное представленіе о критикѣ Бѣлинскаго вообще. Онъ признавалъ значеніе личности писателя для характеристики его произведеній, онъ открывалъ духъ времени въ сочиненіяхъ русскихъ писателей, слѣдилъ за измѣненіемъ направленій въ литературѣ; и, тѣмъ не менѣе, Бѣлинскій не останавливался на біографическихъ подробностяхъ, не высказывался даже за необходимость ихъ изученія, ограничивая свою задачу изслѣдованія личности писателя внимательнымъ пересмотромъ общихъ воззрѣній поэта, критика. Вотъ его замѣчаніе, вызывающее ожиданія біографическихъ разысканій: „Пушкинъ отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ отличается именно тѣмъ, что по его произведеніямъ можно слѣдить за постепеннымъ развитіемъ его не только какъ поэта, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человѣка и характера“ (VIII [5], 308 стр.). Точно также Бѣлинскій не углублялся и въ историческія отношенія времени писателя, въ непосредственное взаимодѣйствіе русской и иностранныхъ литературъ. Таковы недостатки исторической критики Бѣлинскаго. Но за то въ критикѣ Пушкина и его предшественниковъ Бѣлинскій свелъ все, что можно было извлечь изъ непосредственнаго знакомства съ русскими поэтами. Пушкинъ явился у него, какъ завершеніе цѣлой исторіи русской литературы, русской поэзіи. Въ виду высокаго значенія критики Бѣлинскаго, самаго живого истолкователя Пушкина,—человѣка, пережившаго Пушкинскій періодъ, развивавшагося подъ его вліяніемъ, мы остановимся подробнѣе на статьяхъ его, входящихъ въ т. н. восьмой томъ прежняго изданія Сочиненій Бѣлинскаго.

Опредѣляя въ разныхъ мѣстахъ одиннадцати (11) главъ, своего труда задачи работы, Бѣлинскій, заканчивая обзоръ предшественниковъ Пушкина, такъ говоритъ о своей цѣли: „предлагаемая статья есть не что иное, какъ только введеніе въ статьи собственно о Пушкинѣ. Мы имѣли въ виду показать историческую связь Пушкинской поэзіи съ поэзіею предшествовавшихъ ему мастеровъ... Задуманный

и начатый нами рядъ статей нисколько не принадлежитъ къ разряду обыкновенныхъ и случайныхъ журнальныхъ критикъ; это скорѣе обширная критическая исторія русской поэзіи, а такой трудъ не можетъ быть совершенъ на скоро и какъ нибудь, но требуетъ изученія, обдуманности, и труда, и времени... Оцѣнить критически такого поэта, какъ Пушкинъ—трудъ немаловажный, тѣмъ болѣе, что о немъ мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно восхищались отдѣльными мѣстами и частностями, или нападали на частные недостатки,—и потому охарактеризовать особенность поэзіи Пушкина, опредѣлить его значеніе, какъ поэта русскаго, показать его вліяніе на современниковъ и потомство, его историческую связь съ предшествовавшими и послѣдовавшими ему поэтами—значитъ предпринять трудъ совершенно новый" (VIII, 336—337 стр.).

Бѣлинскій не совершилъ всего этого громаднаго труда, обозрѣвъ только предшественниковъ Пушкина и хронологически его сочиненія, предпочитая такой методъ разбору по видамъ и родамъ поэзіи. Задачи критики, свои пріемы Бѣлинскій опредѣляетъ подробно въ сопоставленіи съ предшественниками. Первые русскіе критики, каковыми Бѣлинскій признаетъ Карамзина (разобравшаго сочиненія Богдановича) и Макарова (—критика сочиненій Дмитріева), обращали вниманіе на частности поэтическаго произведенія безъ отношенія ихъ къ цѣлому, выписывали лучшія или худшія мѣста, восхищались ими или осуждали ихъ, какъ стилисты. Новый періодъ русской критики начинается съ Мерзлякова, который, хотя и основывался на устарѣлыхъ авторитетахъ ложно-классиковъ теоретиковъ, въ родѣ Баттё, Эшенбурга, однако разсматривалъ завязку и изложеніе цѣлаго сочиненія, говорилъ о духѣ писателя, заключающемся въ общности его твореній. Съ двадцатыхъ годовъ (т. е. съ критики Полевого) критика русская заговорила о народности, о требованіяхъ вѣка, о романтизмѣ, о творчествѣ и тому подобныхъ вещахъ. Эта романтическая критика подорвала ложно-классическія основы и авторитеты, въ родѣ Сумарокова, Хераскова, Дмитріева и друг., возвысивъ Ломоносова, Державина, Фонвизина, Крылова. Однако, романтическая критика не поняла Пушкина и его современниковъ. Также отнеслась къ великому русскому поэту и эклектическая критика (съ конца двадцатыхъ годовъ, критика тридцатыхъ годовъ, т. е. Надеждина), опиравшаяся на эстетическихъ теоріяхъ, на германской философіи, на сравненіяхъ русскихъ писателей съ признанными міровыми геніями (Шиллеромъ,

Шекспиромъ, Байрономъ). Въ противоположность этимъ литературнымъ старовѣрамъ, сухимъ моралистамъ, черствымъ резонерамъ, Бѣлинскій такъ опредѣляетъ пріемы и основанія своей критики. Такого поэта, какъ Пушкинъ, должно изучить изъ него самого безпристрастно, основательно, забывъ о чужеземныхъ геніяхъ, какъ Байронъ, уловить въ многоразличіи и разнообразіи его произведеній тайну его личности, т. е. тѣ особности его духа, которыя принадлежатъ только ему одному. Разсматривая поэзію Пушкина, какъ цѣлый и особый міръ творчества, Бѣлинскій отыскиваетъ паѳосъ его поэзіи, опредѣляя художественную и нравственную стороны ея. Мы уже замѣтили выше, что Бѣлинскій ни словомъ не обмолвился о біографическихъ фактахъ, связанныхъ такъ или иначе съ сочиненіями Пушкина. Даже изъ лирики величайшаго національнаго поэта критикъ извлекъ только черты нравственной личности писателя, характеризующія его сильную, живую, субъективную, высоко-гуманную натуру. Не могъ критикъ подробнѣе указать и на то, что онъ разумѣлъ подъ „генеалогическими предразсудками“ Пушкина. Если оставить въ сторонѣ эти недостатки критики Бѣлинскаго, присоединивъ къ нимъ незаконченность статей о Пушкинѣ, удивительное пренебреженіе къ повѣстямъ и прозаическимъ статьямъ поэта, въ томъ числѣ и къ Капитанской Дочкѣ, то все таки нельзя не войти въ подробности разсматриваемаго капитальнаго труда, послѣ только что сдѣланныхъ общихъ замѣчаній. Уже изъ послѣднихъ слѣдуетъ, что Бѣлинскій признавалъ Пушкина первымъ самобытнымъ русскимъ поэтомъ. Не разъ повторялась въ литературѣ знаменитая фраза Бѣлинскаго: „Русская поэзія—пересадокъ, а не туземный плодъ.. Русская литература есть не туземное, а пересадное растеніе“ (VIII[5], 101, 363). И вотъ критикъ подробно разсуждаетъ о западно-европейскомъ классицизмѣ и романтизмѣ. Старые споры русской критики впервые находятъ трезвое обсужденіе въ приложеніи къ выдающимся русскимъ писателямъ XVIII—XIX вв., сочиненія которыхъ выступаютъ у Бѣлинскаго въ живыхъ обстоятельныхъ очеркахъ. Дѣлая общія заключенія, съ своей точки зрѣнія, на относительныя достоинства и особенно на недостатки этихъ первыхъ русскихъ поэтовъ XVIII в., Бѣлинскій не забываетъ уравновѣшивать суровые приговоры критики снисходительными и восторженными похвалами современниковъ. Не смотря на послѣднія въ примѣненіи къ Сумарокову и Хераскову, Бѣлинскій не задумывается поставить выше ихъ Ломоносова—перваго поэта Руси:

„только одинъ Державинъ былъ несравненно больше поэтъ, чѣмъ Ломоносовъ: до Державина же Ломоносову не было никакихъ соперниковъ“ (105 стр.). Это второй періодъ русской литературы съ Державинымъ, Фонвизинымъ, Хемницеромъ, Богдановичемъ и Капнистомъ. Разсматривая вымиравшія формы русской литературы XVIII в., Бѣлинскій не совсѣмъ справедливъ въ отзывахъ о Майковѣ, и преувеличенно снисходителенъ къ поэтамъ Карамзинской школы. Не смотря на богатство и разнообразіе замѣчаній о значеніи Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, критикъ не могъ еще привести въ связь съ европейской литературой сочиненій Карамзина. Однако, сколько вѣрныхъ и фактически подтвержденныхъ замѣчаній объ отношеніи нѣкоторыхъ сочиненій Пушкина къ его предшественникамъ, напримѣръ, къ Державину (въ проблескахъ античности, въ картинахъ русской природы), Жуковскому и особенно—Батюшкову. И эту преемственность Бѣлинскій указываетъ въ сочиненіяхъ Карамзина и Жуковскаго. За послѣднимъ критикъ не признаетъ особеннаго значенія, выдѣляющагося изъ ряда русскихъ писателей: „періода, означеннаго именемъ Жуковскаго, не было въ русской литературѣ“ (149). Не признаетъ Бѣлинскій и слѣдовъ народности въ поэзіи Жуковскаго. Но за то онъ ставитъ романтическаго русскаго поэта высоко, какъ непосредственнаго предшественника Пушкина, опиравшагося въ своихъ опредѣленныхъ, зрѣлыхъ произведеніяхъ на почву, подготовленную Жуковскимъ, открывшимъ впервые на Руси средневѣковую романтическую поэзію. И Бѣлинскій входитъ въ подробности объ европейскомъ романтизмѣ, и жизненныхъ основахъ этого болѣзненнаго явленія (стр. 248—249): „Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи каждаго народа и цѣлаго человѣчества... Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поколѣній и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни... Одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступною для общества, далъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина“ (249). Точно такое же вліяніе, если не большее, Бѣлинскій указываетъ и въ поэзіи Батюшкова, напримѣръ, въ повтореніи Пушкинымъ въ стихотвореніи „Зима“ 1829 г. антологическаго стихотво-

ренія Батюшкова VII (стр. 254). Отсюда и изъ другихъ примѣровъ критикъ выводитъ заключеніе, что „Батюшковъ былъ учителемъ Пушкина въ поэзіи, онъ имѣлъ на него такое сильное вліяніе, онъ передалъ ему почти готовый стихъ“ (269). Строгій критикъ сурово отзывается о литературныхъ замѣчаніяхъ Батюшкова въ статьѣ „О легкой поэзіи“ на Руси.

Насколько внимательно изучалъ Бѣлинскій сочиненія Пушкина можно судить уже потому, что, находя безобразнымъ порядокъ расположенія сочиненій поэта въ изданіи 1838—41 гг., онъ обратился къ изданіямъ, выходившимъ при жизни поэта (309 стр.). Руководствуясь строго хронологическимъ порядкомъ появленія сочиненій Пушкина, Бѣлинскій разсматриваетъ сначала „лицейскія“ стихотворенія, составляющія IX томъ изданія 1841 г., затѣмъ лирическія произведенія послѣдующихъ годовъ, поэмы, по мѣрѣ ихъ появленія, Евгенія Онѣгина, Бориса Годунова и другія произведенія. Въ лицейскихъ стихотвореніяхъ критикъ указываетъ не только вліянія предшествующихъ поэтовъ, но и проблески оригинальности и самостоятельности. Съ 1819 года начинаются самобытныя мелкія стихотворенія Пушкина, въ которыхъ критикъ отмѣчаетъ совершенство формы, стиха, простоту, естественность въ изображеніи русской природы, дѣйствительности. И здѣсь Бѣлинскій приводитъ большія выдержки изъ статьи Гоголя 1832 г. „Нѣсколько словъ о Пушкинѣ“. Замѣчательно, какъ смотритъ критикъ на извѣстныя эпиграммы и сатиры поэта перваго Петербургскаго періода: „основываясь на какомъ-нибудь десяткѣ ходившихъ по рукамъ его стихотвореній, исполненныхъ громкихъ и смѣлыхъ, но тѣмъ не менѣе неосновательныхъ и поверхностныхъ фразъ, думали видѣть въ немъ поэтическаго трибуна. Нельзя было бы болѣе ошибиться во мнѣніи о человѣкѣ!.. Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому ученію, ни къ какой доктринѣ“. Естественно, что лирика Пушкина даетъ Бѣлинскому возможность сдѣлать интересные выводы о натурѣ, о личности Пушкина: „натура его была внутренняя, созерцательная, художническая“ (390 стр.). Въ противоположность первымъ критикамъ Пушкина, Бѣлинскій считаетъ Пушкина нравственнымъ поэтомъ болѣе всѣхъ остальныхъ, воспитателемъ и образователемъ юнаго, высокаго и гуманнаго чувства. Поэзіи его Бѣлинскій приписывалъ изящную элейность, кротость, глубину и возвышенность. И вотъ тутъ же Бѣлинскій рѣшаетъ вопросъ, возбужденный критикой тридцатыхъ годовъ, о паденіи таланта, о причинахъ

охлажденія къ Пушкину того восторга, который возбудили первыя его произведенія: „онъ не палъ, а только сдѣлался самимъ собой...; но его взглядъ на свое художественное служеніе, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія... были причиною постепеннаго охлажденія“ (400 стр.). Послѣднія произведенія поэта Бѣлинскій естественно считаетъ болѣе совершенными, чѣмъ всѣ предшествующія. Точно также и въ развитіи поэмъ критикъ усматриваетъ постепенность. Въ Русланѣ и Людмилѣ—фантастической сказкѣ—нѣтъ ни исторіи, ни народности: „вѣроятно, Пушкинъ не зналъ сборника Кирши Данилова въ то время, когда писалъ Руслана и Людмилу“. Иначе, онъ не могъ бы не увлечься духомъ народно-русской поэзіи, и тогда его поэма имѣла бы, по крайней мѣрѣ, достоинство сказки въ русско-народномъ духѣ и притомъ написанной прекрасными стихами“ (424). Точно также, со стороны развитія характеровъ, несовершенными кажутся критику всѣ слѣдующія поэмы и первыя шесть главъ Евгенія Онѣгина. И только съ Бориса Годунова начинаются безукоризненныя произведенія со стороны художественной формы (473). И Борису Годунову, и Евгенію Онѣгину критикъ посвящаетъ цѣлыя двѣ главы. Особенно высоко Бѣлинскій ставитъ Онѣгина—эту энциклопедію русской жизни (603), картину русскаго общества, это національно-художественное произведеніе. Много вниманія и самаго тонкаго анализа посвящаетъ критикъ объясненію характеровъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, особенно Татьяны. Въ лицѣ Татьяны Пушкинъ первый поэтически воспроизвелъ русскую женщину, натуру глубокую и сильную, типъ русской женщины. При всей подкупающей цѣльности ея натуры Бѣлинскій не скрылъ и того впечатлѣнія, какое возбуждаетъ Татьяна въ читателѣ, разсматриваемая рядомъ съ эгоистической натурой Онѣгина: „созданіе страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время неразвитое, на-глухо запертое въ темной пустотѣ своего интеллектуальнаго существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой статуѣ, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внѣшней красотѣ, но подобною египетской статуѣ, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она была бы совершенно нѣмымъ существомъ“ (587). Въ Борисѣ Годуновѣ рядомъ съ огромными недостатками Бѣлинскій указалъ необыкновенную художественную высоту. Соглашаясь съ предшествующими критиками, Бѣлинскій упрекаетъ Пушкина за рабское отношеніе къ Карамзину:

онъ не вѣритъ ни въ величіе Бориса, ни въ его преступленіе—умышленное убійство царевича Димитрія. Необыкновенно высоко ставилъ Бѣлинскій „Каменнаго Гостя“ и все, что относится у Пушкина къ личности Петра Великаго. Итакъ, по Бѣлинскому, въ сочиненіяхъ Пушкина заключаются двѣ стороны: одна—преходящая, историческая, представляющая отраженіе времени Пушкина въ его сочиненіяхъ, въ его воззрѣніяхъ, какъ сына своего вѣка, другая сторона—переходящая въ будущее, въ постоянное значеніе Пушкина, какъ величайшаго русскаго поэта, имѣющаго громадное эстетическое, литературное и нравственное значеніе. „Съ Пушкинымъ, заключилъ Бѣлинскій, русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ“.

Критика Бѣлинскаго, не смотря на ея неполноту, неравномѣрность въ разборѣ сочиненій Пушкина, сдѣлалась надолго руководящимъ направленіемъ. Такъ ее вполнѣ принялъ авторъ „Очерковъ Гоголевскаго періода русской литературы“ (Современникъ 1855—57 гг. Чернышевскій). Сущность этого воззрѣнія—болѣе опредѣленно проведеннаго, такъ какъ въ статьяхъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ усматривались нѣкоторыя отличія въ оцѣнкѣ, сводится къ слѣдующимъ положеніямъ: Гоголь, а не Пушкинъ долженъ считаться главой новаго прозаическаго (т. н. натуральнаго или критическаго) направленія новѣйшей русской литературы, сатирическое направленіе Пушкина незначительно (Евгеній Онѣгинъ относится къ сатирическимъ произведеніямъ), въ виду того, что вообще Пушкинъ стоялъ внѣ какого-либо опредѣленнаго направленія, школы, будучи художникомъ формы, стиха, его самыми выдающимися произведеніями являются кромѣ Евгенія Онѣгина сочиненія послѣднихъ годовъ—Каменный Гость, Русалка, Мѣдный Всадникъ, и друг. Мы увидимъ естественный односторонній выводъ критики 60-хъ годовъ изъ этихъ посылокъ Бѣлинскаго, въ которыхъ вся сущность вращалась на нравственной оцѣнкѣ героевъ Пушкина, его воззрѣній, чувствъ и мыслей въ мелкихъ произведеніяхъ.

Бѣлинскаго нельзя строго судить за невниманіе къ фактамъ біографіи Пушкина. Достаточно того, что онъ первый указалъ потребность въ новомъ лучшемъ изданіи сочиненій величайшаго русскаго поэта. Фактическія свѣдѣнія о Пушкинѣ стали собирать только съ 50-хъ годовъ, а ранѣе органичивались такими характеристиками личности поэта, какую далъ, напримѣръ, въ 1838 г. Плетневъ (въ Со-

временникѣ, см. въ сочиненіяхъ П. А. Плетнева, 1885 г. I т., 364—386 стр.), посвятившій свою небольшую статью не столько біографіи Пушкина, сколько разсужденіямъ о поэзіи, о талантѣ, о критическомъ достоинствѣ произведеній поэта. Между тѣмъ Плетневъ владѣлъ письмами Пушкина, зналъ и обстановку поэта и отношеніе къ нему публики. Какъ интересны, напримѣръ, слѣдующія замѣчанія, оброненныя Плетневымъ: „много было журнальныхъ толковъ *во время оно* о новой поэмѣ (Русланъ и Людмила). Всѣ они, какъ ведется въ журналахъ, не касаются существеннаго въ искусствѣ. Одни обращены на событіе, другіе на рифмы, третьи на фразы, четвертые на шутки, и т. д. Никто не замѣтилъ, что это была первая на русскомъ языкѣ поэма, которую всѣ прочитали, забывши, что до сихъ поръ поэма и скука значили одно и то же"... „Онѣгинъ то отрывками, то стихами, то фразами перешелъ во всенародныя поговорки, остроты и пословицы. Пока авторъ не издалъ его вполнѣ, отдѣльныя главы составляли выгодный промыселъ досужихъ и смѣтливыхъ переписчиковъ, продававшихъ тетрадки ихъ въ столицахъ и внутри Россіи по ярмаркамъ". Въ такомъ же родѣ и замѣчанія Плетнева, о частной жизни поэта, придающія маленькой статейкѣ значеніе свидѣтельства одного изъ современниковъ, значеніе источника.

Отзывы старой критики о Пушкинѣ до статей Бѣлинскаго 40-хъ годовъ, борьба изъ-за Пушкина при его жизни занимали долго вниманіе русской литературы пятидесятыхъ годовъ. Такъ этого вопроса касается Гаевскій въ статьяхъ о Дельвигѣ (Современникъ 1854 г.), Чернышевскій и друг. Но еще болѣе выступили теперь вопросы о жизни и дѣятельности Пушкина въ небольшихъ статьяхъ Гаевскаго, Бартенева, Лонгинова и въ первомъ хорошемъ изданіи „Сочиненій Пушкина, съ приложеніемъ матеріаловъ для его біографіи и оцѣнки произведеній" П. В. Анненкова (1855—57, 7 томовъ). Въ рукахъ новаго издателя и перваго біографа поэта находились почти всѣ черновыя бумаги Пушкина и большая часть его писемъ [1]). Это было цѣнное пріобрѣтеніе русской литературы, вызвавшее множество критическихъ статей и частныхъ замѣтокъ. Первымъ откликнулся Гаев-

[1]) Въ 1851 году жена Пушкина, во второмъ бракѣ Ланская, передала, по денежному условію, всѣ бумаги своего перваго мужа поэта и право изданія его сочиненій П. В. Анненкову. Къ этимъ важнѣйшимъ матеріаламъ издатель присоединилъ еще собранныя имъ воспоминанія о Пушкинѣ отъ его родственниковъ (брата, сестры и друг.) и друзей.

скій, авторъ изслѣдованія о Дельвигѣ (Отечеств. Записки 1855 г., іюнь, отд. III). Похваливъ изданіе Анненкова, въ виду недостатковъ прежнихъ изданій сочиненій Пушкина, выражавшихся въ произвольномъ размѣщеніи, въ неполнотѣ, въ искаженіи текста, Гаевскій указалъ существенные недостатки въ изложеніи собственно біографіи поэта, напримѣръ, о родственникахъ его, о дѣтствѣ, о лицейской жизни, и проч. „Въ замѣнъ біографическихъ подробностей, говоритъ Гаевскій (69 стр.), г. Анненковъ представляетъ множество новыхъ фактовъ для изученія литературной дѣятельности Пушкина, знакомитъ читателей съ исторіею его произведеній, съ приготовительными къ нимъ работами и въ высшей степени любопытными пріемами его поэтическаго творчества". Упрекая Анненкова за отсутствіе, или вѣрнѣе—незначительность собственно-біографическихъ фактовъ, Гаевскій указываетъ на интересъ, представляемый статьями г. Бартенева о родѣ, дѣтствѣ и другихъ фактахъ изъ жизни А. С. Пушкина (1853 и 1854 гг. Отеч. Зап., Москов. Вѣд.). Другой критикъ въ Современникѣ 1855 г. (т. XLIX—LII) коснулся личности поэта и отношенія къ нему критики. Этотъ благосклонный къ Анненкову критикъ, едва ли не Чернышевскій, высказалъ полное согласіе о значеніи біографическихъ фактовъ для объясненія отдѣльныхъ произведеній Пушкина и пытался обобщить нѣкоторыя стороны въ міросозерцаніи поэта. Чернышевскій не развивалъ, не доказывалъ, но замѣчалъ, что Пушкинъ „не былъ поэтомъ какого-нибудь опредѣленнаго воззрѣнія на жизнь, какъ Байронъ, не былъ даже поэтомъ мысли вообще, какъ Гете и Шиллеръ". Съ этимъ мнѣніемъ соглашается и современный намъ изслѣдователь, Алексѣй Никол. Веселовскій (журналъ „Жизнь" 1899 г., май, стр. 119; приводимъ выдержку изъ критич. статей Чернышевскаго 1893 г. по цитатѣ проф. Веселовскаго). Еще болѣе значенія имѣетъ въ этомъ отношеніи вполнѣ сочувственная Пушкину критика Дружинина (1855 г. въ Собраніи сочиненій А. В. Дружинина VII т., 30—82), интересная по сопоставленіямъ нашего поэта съ западно-европейскими, причемъ критикъ считаетъ Пушкина почти ничѣмъ не уступающимъ великимъ европейскимъ поэтамъ. Какъ оригинальны выводы Дружинина можно судить изъ слѣдующаго: „изъ бесѣды своей съ классиками Франціи Александръ Сергѣевичъ вынесъ, кромѣ поклоненія особѣ Буало, нѣсколько началъ, впослѣдствіи имъ расширенныхъ и примѣненныхъ къ дѣлу—какъ то: сдержанность, осторожность поэзіи, уваженіе къ своимъ предшественникамъ, опре-

дѣленность въ своемъ критическомъ взглядѣ на искусство" (37 стр.). „Уступая Байронову „Донъ-Жуану" (Евгеній Онѣгинъ) во многихъ частностяхъ, на сколько превосходитъ онъ эту великую поэму по своей стройности, внѣшней занимательности, мастерскому сочетанію разсказа съ лиризмомъ, неожиданностью развязки, своему вліянію на любопытство читателя?" (65). „Вполнѣ сознавая, заключаетъ свою интересную статью Дружининъ, что въ Пушкинѣ готовился поэтъ *европейскій*, что ранняя смерть отняла у него мѣсто возлѣ Данта, Шекспира и Мильтона, мы не желаемъ унижать и того, что уже было сдѣлано *нашимъ* начинающимъ Пушкинымъ" (82 стр.). Къ 1855 году относится рѣчь казанскаго профессора Н. Н. Булича, подъ заглавіемъ: „Значеніе Пушкина въ исторіи русской литературы" (введеніе въ изученіе его сочиненій), представляющая разборъ предшественниковъ Пушкина. „Въ наше время, говорилъ Буличъ, много критиковъ вооружаются противъ исключительной художественности въ созданіяхъ поэзіи; они хотятъ отъ нея служенія общему дѣлу развитія. Но не станемъ забывать, что поэзія, какъ и другія искусства, принадлежитъ къ особенному кругу созданій человѣческаго духа". Сколько помнится намъ, въ современной журналистикѣ 50-хъ годовъ рѣчь проф. Булича вызвала ярыя нападки (напр., въ Современникѣ 1856 г. май, отд. IV, Библіографія). Но авторъ нигдѣ не далъ замѣтить о несправедливости этихъ нападокъ и, какъ увидимъ дальше, возвратился къ Пушкину въ 1887 году, въ новой рѣчи. Жаль, что не появлялась въ печати работа Булича, посвященная Пушкину, введеніе къ которой составляетъ рѣчь 1855 г., имѣющая еще другое значеніе, какъ откликъ на текущія событія времени. Рѣчь проф. Булича, при всей ея отвлеченности, ближе къ критикѣ Бѣлинскаго, чѣмъ современная ей рѣчь проф. Ришельевскаго Лицея, Зеленецкаго, напечатанная въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, часть LXXXV, 1855 года, стр. 217—246: „О художественно-національномъ значеніи произведеній Пушкина". Не придавая никакого значенія „Руслану и Людмилѣ, Русалкѣ, сказкамъ О рыбакѣ и рыбкѣ и друг.", Зеленецкій только указываетъ художественно-національное содержаніе такихъ піесъ, какъ „Телѣга жизни", „Дорожныя жалобы", „Зима", „Пиръ Петра В.", „Гусаръ", „Бѣсы", „Капитанская дочка" и проч.

Изъ журнальныхъ статей пятидесятыхъ годовъ, вызванныхъ изданіемъ Анненкова, замѣчательны статьи Каткова въ Русскомъ

Вѣстникѣ 1856 г. Написанныя толково, живо и бойко, они касаются всего болѣе значенія Пушкина въ исторіи русскаго литературнаго языка и поэзіи, какъ искусства. И Катковъ стоитъ за общія положенія эстетики, высказываясь противъ оппозиціи всякой теоріи. Мы увидимъ, что оппозиція эта получитъ опредѣленное выраженіе въ статьяхъ Чернышевскаго, Писарева и друг. Катковъ разбираетъ извѣстныя стихотворенія Пушкина о значеніи поэзіи и поэта, какъ жреца (Чернь и др.), и возстаетъ противъ романтическихъ воззрѣній на безсознательность, на болѣзнь творческаго процесса. Напротивъ, критикъ признаетъ, что состояніе творчества есть состояніе здраваго и трезваго духа, что художникъ, какъ и мыслитель, сохраняетъ въ минуту дѣятельности всю свою умственную свободу, и что даже, напротивъ, такая минута есть въ человѣкѣ состояніе высшей внутренней ясности (Р. В. 1856 г., т. I, 161 стр.), „цѣльности сознанія“ (163), постиженія истины, какъ знанія, и творчества языка, литературной формы, какъ красоты. Отсюда, вдохновеніе есть только творческое созерцаніе жизни и истины (308). Касается критикъ и вопроса, который въ статьяхъ Писарева получилъ рѣзкое выраженіе. „Требуйте, говоритъ Катковъ (313), отъ искусства прежде всего истины; требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную связь явленій и приводила къ общему сознанію все то, что творится и дѣется во мракѣ жизни; требуйте этого, и польза приложится сама собою, польза великая, ибо чего же лучше, если жизнь пріобрѣтаетъ свѣтъ, а сознаніе—силу и господство?“ Итакъ, Катковъ принялъ теорію великаго поэта о свободѣ творчества; однако, критикъ не увлекся безусловнымъ поклоненіемъ Пушкину, признавая за нимъ главное значеніе, какъ художника и великаго объединителя въ области русскаго слова. Въ такомъ смыслѣ подчиненія русской народности, какъ культурной силѣ, разнообразныхъ племенъ, населяющихъ Россію, Катковъ растолковалъ извѣстные стихи „Памятника“ 1836 г. Особенностью Пушкинской поэзіи и какъ-бы ея недостаткомъ Катковъ считаетъ отсутствіе въ ней послѣдовательнаго развитія, сухость прозаическаго изложенія, увлеченіе лирикой, отдѣльными моментами, мгновеніемъ, искуственной формой стиха. „Капитанская Дочка, говоритъ Катковъ, изобильная прекрасными частностями, не составляетъ опредѣленнаго и сильно организованнаго цѣлаго. Въ разсказѣ нельзя не замѣтить той же самой сухости, которою страдаютъ всѣ прозаическіе опыты Пушкина. Изображенія либо слишкомъ

мелки, либо слишкомъ суммарны, слишкомъ общи. И здѣсь также мы не замѣчаемъ тѣхъ сильныхъ очертаній, которыя даютъ вамъ живого человѣка, или изображаютъ многосложную связь явленій жизни и быта" (т. II, 294). Здѣсь умѣстно привести выдержку изъ Отеч. Записокъ 1856 г., т. CVI, Отд. III, 78—79, по поводу статей Каткова: „отдадимъ полную справедливость автору, поставившему себѣ цѣлью по поводу новаго изданія сочиненій Пушкина, коснуться общихъ вопросовъ эстетики, пересмотрѣть основныя понятія объ искусствѣ. Дѣйствительно, вопросъ о художествѣ слѣдовало поднять. Художественная критика (стр. 80: съ разбора Кронеберга „Макбета" въ 20-хъ годахъ и еще болѣе съ половины 30-хъ годовъ, съ критики Пушкина и Гоголя), нѣкоторое время господствовавшая у насъ исключительно, не умерла (она и не можетъ умереть), а развѣ замерла. Сначала вытѣснила ее критика, обращавшая главное свое вниманіе на современные вопросы общества, иногда вовсе не литературные. Интересъ разбора сосредоточивался не на отношеніи поэтическаго произведенія къ требованіямъ искусства, а на согласіи или несогласіи его содержанія съ понятіями, критика объ идеалѣ общественнаго устройства. Въ первомъ случаѣ произносилось одобреніе, во второмъ—осужденіе. Замѣтимъ, что эта точка зрѣнія производила весьма сильное и весьма полезное дѣйствіе на читателей, которые, признавая критеріумъ критики законнымъ, не требовали отъ нея другихъ основаній, ближайшихъ къ области литературы. Иногда ничтожная книжонка, которую легко было исключить даже изъ библіографическаго списка, представляла благопріятный случай поговорить о чемъ нибудь очень дѣльномъ и важномъ. За-то библіографія имѣла въ то время свое значеніе, какъ критика общественныхъ нравовъ, какъ толки о предметахъ, достойныхъ размышленія. Потомъ, съ установленіемъ понятій о литературѣ, какъ выраженіи общества, наступила критика историческая, показывавшая отношеніе словесныхъ произведеній къ современной имъ эпохѣ, къ состоянію народной жизни въ извѣстное время. Художественная критика не лишилась при этомъ ни своего существованія, ни своего назначенія: только въ ней принято соблюдать тотъ-же историческій методъ, на томъ основаніи, что—литературныя теоріи вообще, художественныя въ особенности, подлежатъ также развитію и, слѣдовательно, также имѣютъ свою исторію; почему прежде всего надобно относить словесныя произведенія къ современной имъ литературной или художественной теоріи, а не осу-

ждать ихъ безъ милосердія на основаніи позднѣйшихъ, въ наше время постановленныхъ началъ. „Какъ бы то ни было, но интересъ художественной критики уступилъ свое мѣсто другимъ, болѣе существеннымъ и насущнымъ интересамъ“.

Между тѣмъ въ „Современникѣ“ съ 1856 г. стали издаваться „стихотворенія А. С. Пушкина не вошедшія въ изданія его сочиненій“, и между ними оказались или сомнительныя, или непринятыя и до сихъ поръ въ полныя изданія сочиненій поэта (напр., 1856 г., мартъ: „За днями дни бѣгутъ толпой“ и проч. Съ подписью А. Пушкинъ помѣщено было въ альманахѣ 1835 г. „Весенніе Цвѣты“ и проч.). Разысканіями о неизданныхъ стихотвореніяхъ Пушкина въ Современникѣ занялся въ это время Лонгиновъ, въ статьяхъ подъ названіемъ „Библіографическія Записки“. Какъ жаль, что этими матеріалами до сихъ поръ не воспользовались издатели полныхъ собраній Сочиненій Пушкина (просимъ., напр., сличить стихотвореніе въ изд. 1887 г. Литерат. фонда, II т., 145 стр. „Когда-бъ не смутное влеченіе“ и проч. съ тѣмъ же стихотвореніемъ, помѣщеннымъ въ Современникѣ 1837 г. январь). „Библіографическія Записки“ 1858—61 гг. также представили рядъ поправокъ и дополненій къ изданію Анненкова, вызвавшему необыкновенный интересъ къ жизни и дѣятельности Пушкина. Даже Чернышевскій въ своемъ популярномъ изданіи 1856 г. „А. С. Пушкинъ, его жизнь и сочиненія—Чтеніе для юношества“, написанномъ съ большой любовью къ поэту, замѣтилъ: „до сихъ поръ мы еще не имѣемъ подробныхъ разсказовъ о томъ, какъ любилъ онъ проводить время по возвращеніи изъ Южной Россіи въ Петербургъ“ (69 стр).

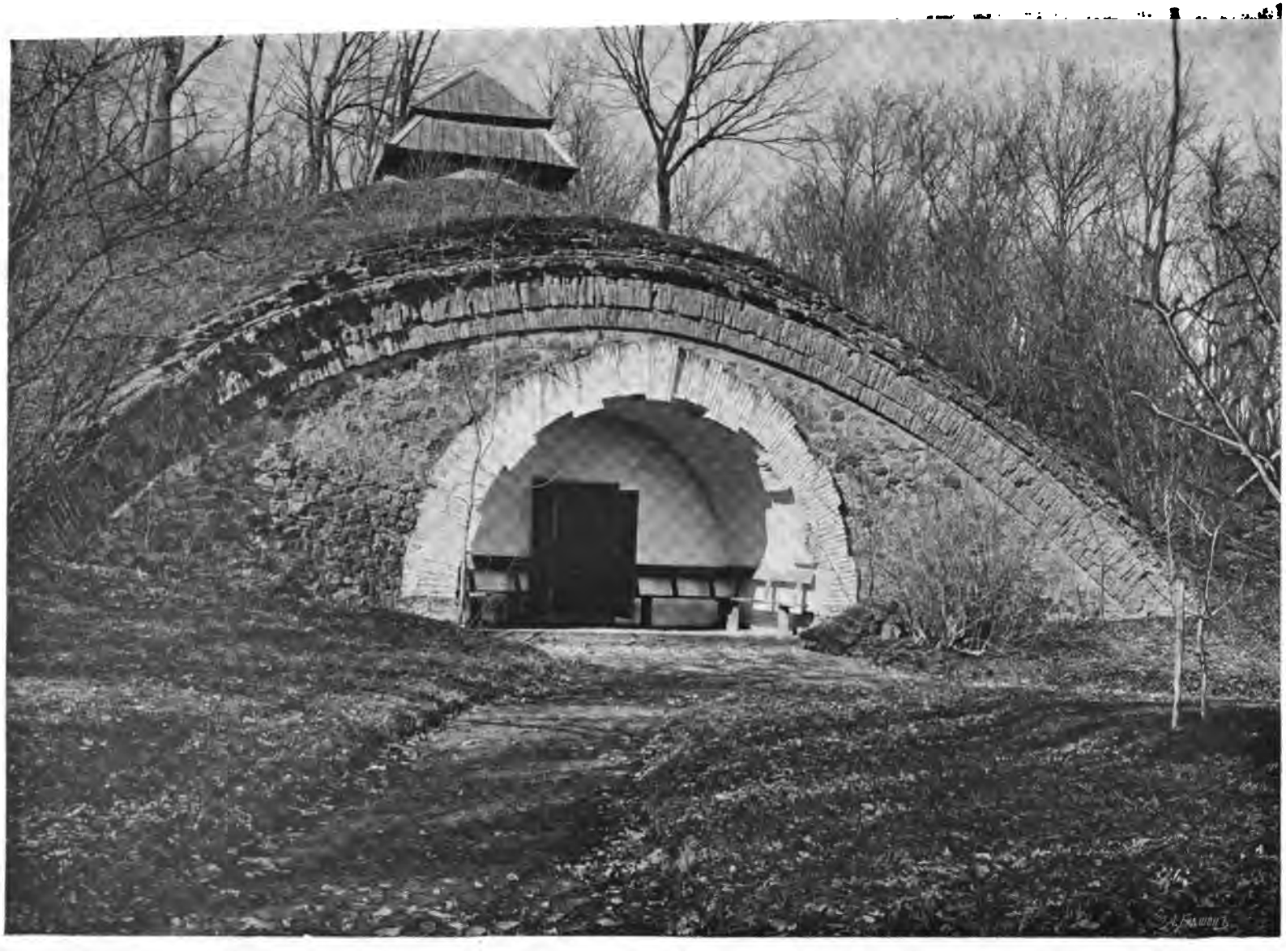
Не такъ отнесся къ Пушкину авторъ популярнаго въ 50-хъ годахъ „Очерка исторіи русской поэзіи“ (2-ое, дополненное изд. 1858 г.) А. Милюковъ, принявшій отчасти выводъ современной Пушкину критики о паденіи его таланта съ 30-хъ годовъ, но болѣе всего слѣдовавшій Бѣлинскому. Разсматривая жизнь и дѣятельность Пушкина по тремъ періодамъ,—по подражательному французской школѣ (съ ея цинизмомъ или дѣвственностью античной музы), байроновскому и чисто-художественному, но за то чуждому общественныхъ потребностей и идей, Милюковъ упрекаетъ Пушкина за безнравственность нѣкоторыхъ его произведеній, за плохое пониманіе Байрона, за сословные предразсудки, и проч. Добролюбовъ въ разборѣ книги Милюкова не нашелъ ошибочнымъ воззрѣнія на Пушкина и старался только подкрѣпить ихъ

новыми соображеніями. Въ виду высокого положенія, которое занималъ талантливый критикъ конца 50-хъ, начала 60-хъ годовъ, мы приведемъ сужденія Добролюбова о личности и о значеніи поэзіи Пушкина. „Натура неглубокая.. легкая, увлекающаяся, вслѣдствіе недостатка прочнаго образованія", полная художнической воспріимчивости, но чуждая упорной дѣятельности мысли.. его генеалогическіе предразсудки, его эпикурейскія наклонности, первоначальное образованіе подъ руководствомъ французскихъ эмигрантовъ конца прошедшаго столѣтія... все препятствовало ему проникнуться духомъ русской народности. Мало того, онъ отвращался даже отъ тѣхъ проявленій народности, какія заходили изъ народа въ общество, окружавшее Пушкина... Оттого-то онъ и не присталъ къ литературному движенію, которое началось въ послѣдніе годы его жизни. Напротивъ, онъ покаралъ это движеніе еще прежде, чѣмъ оно явилось господствующимъ въ литературѣ, еще въ то время, когда оно явилось только въ обществѣ. Онъ гордо воскликнулъ въ отвѣтъ на современные вопросы: подите прочь! Какое мнѣ дѣло до васъ! и началъ пѣть Бородинскую годовщину и отвѣчать клеветникамъ Россіи" (Сочиненія Добролюбова, 1871 г., I т., 600—601). Смягчивъ нѣсколько этотъ взглядъ, Добролюбовъ горячо привѣтствовалъ заключеніе изданія Сочиненій Пушкина VII-мъ томомъ, подъ редакціей Анненкова: „послѣ вялости и мелкоты, которою отличалась наша литература за семь или за восемь лѣтъ предъ тѣмъ (1857—58 г.).. память Пушкина какъ будто еще разъ повѣяла жизнью и свѣжестью на нашу литературу, точно окропила насъ живой водой и привела въ движеніе наши, окостенѣвавшіе отъ бездѣйствія члены" (515 стр. I т.). Теперь Добролюбовъ призналъ въ Пушкинѣ здравый природный умъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какую-то двойственность въ отношеніи къ 20-мъ годамъ, поклоненіе грубой силѣ и боязливую попечительность о соблюденіи нравственности вмѣстѣ съ генеалогическими предразсудками.

Въ то время, какъ г. Бартеневъ разрабатывалъ біографію Пушкина (Русская Рѣчь 1861 г. „Русск. Арх." 1866 г.), преимущественно изъ времени пребыванія поэта въ Южной Россіи, а Гаевскій изъ эпохи лицейской жизни (Современникъ 1863 г.), выступили два новыхъ критика разсматривавшіе съ противоположныхъ сторонъ значеніе дѣятельности Пушкина. Это были Григорьевъ и Писаревъ. Взглядъ А. Григорьева на Пушкина выразился въ различныхъ его замѣткахъ. Не имѣя возможности собрать журнальныя статьи критика, мы воспользуемся

[illegible]

[illegible] Мы [illegible] [illegible] Бочинки сел Горо- [illegible] совершенно новый [illegible] Ивана Петровича [illegible] полной грубой жизни, отра- [illegible] столько же [illegible] ваша жизнь. Если мы прибавим къ этой [illegible] Грибоѣдова новыя Страхова, читанные [illegible] князь Григорьева на [illegible] различіемъ двухъ типовъ [illegible] Бѣлкинъ. Татьяна, направляемая на правильныхъ [illegible]. Сильный типъ олицетворяетъ націо- нально-христіанскую кротость, соединяющую критику съ страданіемъ, [illegible], искренностью, здравомысліемъ. Такимъ образомъ Григорьевъ опредѣлилъ ту сторону въ развитіи Пушкина, которую оставилъ безъ вниманія Бѣлинскій, именно—послѣдній періодъ его поэти-



Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Т. н. „Пушкинскій гротъ“ въ Каменкѣ.

ческой дѣятельности въ области повѣсти, которую А. Григорьевъ призналъ зерномъ натуральной школы.

Во всякомъ крупномъ вопросѣ бываетъ рѣзкая критика, скептическое предубѣжденіе, послѣ которыхъ чаще всего расчищается атмосфера, какъ послѣ грозы, и солнце еще веселѣе глядитъ на возмущенную природу. Такова была бурная критика Писарева подъ названіемъ „Пушкинъ и Бѣлинскій" (Русское Слово, 1865 г., апрѣль и іюнь; см. III т. Сочиненій Писарева). Поклонникъ Тургеневскаго Базарова,—въ собственномъ толкованіи, Писаревъ упрекаетъ Бѣлинскаго въ такой же ошибкѣ: „Если бы критики и публика поняли романъ Пушкина (Евгенія Онѣгина, героевъ которого—Онѣгина и Ленскаго критикъ приравнивалъ къ праздношатающимся джентльменамъ, Митрофанамъ, скучающимъ отъ кутежей, съ дѣтскими отрицаніями, а героинѣ—Донъ Кихоту Писаревъ совѣтовалъ бросить мужа, бросить затѣмъ Онѣгина и умереть или отъ нищеты, или отъ разврата, какъ героинѣ), такъ какъ онъ самъ его понималъ, если бы они смотрѣли на него, какъ на невинную и безцѣльную штучку, подобную „Графу Нулину", или „Домику въ Коломнѣ", если бы они не ставили Пушкина на пьедесталъ, на который онъ не имѣетъ ни малѣйшаго права, и не навязали ему насильно великихъ задачъ, которыхъ онъ не умѣетъ и не желаетъ ни рѣшать, ни даже задавать себѣ,—тогда я и не подумалъ бы возмущать чувствительныя сердца русскихъ эстетиковъ моими непочтительными статьями о произведеніяхъ нашего т. н. великаго поэта". Насколько были непочтительны отзывы Писарева о Пушкинѣ, можно судить изъ множества выраженій, въ родѣ: „усыпительныя творенія Пушкина, логкомысленнаго версификатора, опутаннаго мелкими предразсудками, погруженнаго въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособнаго анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы нашего вѣка, создавшаго себѣ кумиръ самохвальствомъ, столь ветхій, что передъ нимъ преклоняется пишущее филистерство только по старой привычкѣ и по обязанности службы". Однимъ словомъ, Писаревъ хотѣлъ доказать мыслящимъ читателямъ, что о Пушкинѣ не стоитъ толковать и пора сдать его въ архивъ, какъ старыхъ поэтовъ, въ родѣ Державина, и друг. Писаревъ возсталъ противъ всякой эстетики, которую признавалъ еще Добролюбовъ, возсталъ во имя реализма, практическаго примѣненія литературы къ жизни, во имя ремесла. Пушкинъ, по мнѣнію Писарева, это только великій стилистъ, время котораго уже прошло; настоящаго

поэта надо еще ждать, хотя вообще поэзія—только низшій видъ литературы. Очевидно, это крайній выводъ изъ т. н. прозаическаго періода литературы послѣ Гоголя.

Критика Писарева отвѣчала своему времени. Вотъ почему только Лонгиновъ и особенно Страховъ сказали „нѣсколько запоздалыхъ словъ“ о брани Писарева на Пушкина. Страховъ выступилъ единственнымъ защитникомъ Пушкина въ 60-хъ годахъ, если не считать педагогическихъ статей Водовозова. Въ двухъ статьяхъ Отечественныхъ Записокъ 1866—67 гг. Страховъ, опираясь на критики Каткова, А. Григорьева, объясняетъ глубокій смыслъ такихъ произведеній Пушкина, какъ опозоренныя Писаревымъ—„Поэтъ, Чернь, Эхо, Памятникъ“, съ одной стороны, и „Лѣтопись села Горохина“, съ другой стороны, въ которой великій поэтъ „позволилъ себѣ лукавую и веселую дерзость, далеко превосходящую дерзости современныхъ намъ нигилистовъ“.

Не богаты были и 70-ые года статьями о Пушкинѣ: нѣсколько статей того же Страхова, почтенный трудъ Анненкова—біографа поэта (Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ Александровскую эпоху, 1799—1826 гг., 1874 г.; первоначально появившійся въ видѣ статей въ Вѣстникѣ Европы 1873—74 гг.) и замѣчанія А. Н. Пыпина въ его „Историческихъ Очеркахъ“, подъ названіемъ „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I“ и „Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“—вотъ почти все, что явилось о Пушкинѣ за время, не ознаменованное даже какимъ либо изданіемъ полнаго собранія сочиненій поэта. Послѣ неудовлетворительныхъ изданій Геннади 1859 и 1869 гг. только въ 1880 г. явилось 4-е изданіе сочиненій Пушкина книгопр. Исакова, подъ редакціей Ефремова (здѣсь впервые напечатаны письма Пушкина). Между тѣмъ въ теченіе 70-хъ годовъ подготовлялось грандіозное дѣло приготовленій къ постановкѣ памятника Пушкину въ Москвѣ,—что и осуществилось въ 1880 г. „Въ виду близкаго открытія памятника, писалъ Анненковъ въ предисловіи къ своему труду 1873—74 гг., которымъ Россія намѣревается почтить заслуги Пушкина дѣлу воспитанія благородной мысли и изящнаго чувства въ отечествѣ, на совѣсти каждаго, имѣющаго возможность пояснить нѣкоторыя черты его нравственной физіономіи и тѣмъ способствовать установленію твердыхъ очертаній для будущаго его облика—лежитъ обязанность сказать свое посильное слово“ (Пушкинъ въ Александровскую эпоху

1874 г.). Можно пожалѣть, что Анненковъ не продолжилъ этого стройнаго изложенія біографіи поэта, написанной въ цѣляхъ безпристрастной оцѣнки личности и дѣятельности Пушкина. Въ книгѣ Анненкова особенно интересны главы (III и IV), посвященныя политическому, умственному и нравственному состоянію общества, окружавшаго Пушкина въ Александровскую эпоху. Здѣсь впервые получаютъ объясненіе эпиграммы, сатиры и непечатныя произведенія Пушкина первой поры его жизни въ Петербургѣ до ссылки на югъ. „Соблазнительными, но остроумными произведеніями отчасти эротической, а отчасти революціонной своей музы, онъ устраивалъ себѣ какое то особенное положеніе, создавалъ изъ себя какое то подобіе силы, правда ничтожной до крайности, ребячески безпомощной и легко устранимой при первомъ движеніи противниковъ, но все же такой, мимо которой нельзя было долго проходить безъ вниманія“ (84 стр.). Анненковъ вообще обратилъ особенное вниманіе на исторію развитія Пушкина, съ которой связана и психическая исторія общества. Это былъ какъ бы отвѣтъ на рѣзкій приговоръ Писарева и друг. (т. е. отчасти Добролюбова), о пустотѣ въ направленіи и содержаніи Пушкина. Не успѣвъ развить своего безпристрастнаго изслѣдованія (въ 1880 г., какъ увидимъ ниже, Анненковъ прибавилъ изслѣдованіе объ общественныхъ идеалахъ Пушкина), Анненковъ такъ опредѣляетъ въ общихъ чертахъ развитіе поэта, смѣну его направленій: „развиваясь необычайно быстро, онъ (Пушкинъ) переходилъ постепенно отъ безсознательной роли великосвѣтскаго радикала, которую игралъ въ Петербургѣ, къ отчаянному протесту личности, ничего не признающей,—кромѣ самой себя, къ неистовому байронизму, которымъ зараженъ былъ въ Кишиневѣ, и отъ него, черезъ умѣряющее дѣйствіе романтизма и черезъ изученіе Шекспира къ объективности, *историческому* и критическому созерцанію, а наконецъ, и къ задачамъ, которыя представляютъ для творчества и для анализирующей мысли русскій старый и новый бытъ. Когда Пушкинъ снова очутился въ столичномъ нашемъ обществѣ, онъ принесъ съ собой только зачатки послѣдняго изъ этихъ направленій, но потребовалось еще четыре безпокойныхъ года (съ 1826 по 1830) для того, чтобъ превратить эти зачатки въ обдуманную теорію, которая открыла бы разумъ и цѣли современнаго русскаго существованія... Съ обрѣтеніемъ упроченнаго положенія съ свѣтѣ (1830—31 г.) весь тяжелый искусъ этотъ, казалось, долженъ былъ кончиться и уступить мѣсто мирному

труду, ровной дѣятельности и свѣтлой жизни. Въ головѣ его, дѣйствительно, и стали накопляться всѣ тѣ замыслы по истинѣ громадныхъ созданій, о которыхъ мы можемъ судить теперь только по отрывкамъ, сравнительно бѣднымъ, оставшимся въ бумагахъ, послѣ его смерти... Но въ душѣ Пушкина жила потребность, мѣшавшая ему замкнуться исключительно въ кругъ своихъ художническихъ идей. Онъ сгоралъ жаждой многосторонней общественной жизни, которая гнала его въ большой свѣтъ, гдѣ онъ думалъ найти ее, но еще сильнѣе томился онъ мучительною страстью осмыслить современный ему бытъ, открыть законныя причины его явленій, увѣровать въ его необходимость и разумность, и, наконецъ, угадать смыслъ самой русской исторіи, какъ лучшаго оправданія народа и страны" (стр. 328—331). Вотъ лучшее оправданіе нравственной личности поэта, его умственныхъ интересовъ, его отношенія къ лучшимъ стремленіямъ своего времени, наконецъ, его страданій, разлада и самой трагической смерти. Анненковъ указываетъ какъ бы вліяніе на этотъ роковой исходъ того самаго общества, „объ оправданіи и интересахъ котораго (онъ) такъ много хлопоталъ" (332 стр.). Трудъ Анненкова можно считать первой исторической работой въ области изученія Пушкина и его времени. Онъ хотѣлъ указать отношеніе между жизнью поэта, его современниковъ и его творчествомъ, въ которомъ усматривалъ не только историческое значеніе, но и безусловно высокое—эстетическое и даже философское.

Двѣ большія работы А. Н. Пыпина, подъ названіемъ „Историческихъ очерковъ", касаются Пушкина съ той же самой стороны, съ какой разсматриваетъ воззрѣнія поэта Анненковъ, съ тѣмъ отличіемъ, что Пыпинъ не придаетъ особеннаго значенія сословной точкѣ зрѣнія Пушкина. Въ Онѣгинѣ Пыпинъ видитъ не представителя времени, а только извѣстный типъ изъ тѣснаго круга свѣтской жизни. Пыпинъ почти согласенъ со взглядами извѣстной части современниковъ Пушкина, которые помнили первое вступленіе поэта въ общественную и литературную жизнь. Поэтому онъ не раздѣляетъ взгляда Бѣлинскаго и колеблется между историческимъ изслѣдованіемъ Анненкова и взглядами на Пушкина отрицательной критики. Мы увидимъ далѣе, что почтенный критикъ сдѣлалъ много уступокъ въ другую сторону при сужденіи о значеніи поэзіи Пушкина, о міровоззрѣніи поэта. Отмѣченная точка зрѣнія критика въ 70-хъ годахъ объясняется его общими крупными задачами, положенными въ основаніе „Историческихъ Очерковъ". Пыпинъ не отличаетъ воззрѣній Пушкина отъ

несимпатичныхъ ему воззрѣній Карамзина и разсматриваетъ эти воззрѣнія поэта, какъ и всю его дѣятельность, въ отдѣлѣ романтизма, считая Пушкина явленіемъ переходнымъ между сентиментальнымъ консерватизмомъ, романтизмомъ, какъ его понимали въ русской литературѣ, и самобытнымъ направленіемъ, отвѣчающимъ потребностямъ времени и общества.

Страховъ въ статьяхъ „Замѣтки о Пушкинѣ" и „Къ портрету Пушкина" (Складчина 1874 г. и Нива 1877 г.) снова стремился возстановить все высокое значеніе поэзіи Пушкина, его поэтическаго генія. Вотъ частныя подраздѣленія первой статьи, указывающія на общія положенія Страхова: „нѣтъ нововведеній—Пушкинъ не былъ нововводителемъ" (указывается связь, съ одной стороны, съ Байрономъ и Шекспиромъ, съ другой—съ русскими поэтами), „переимчивость" (опять указываются вліянія лучшихъ русскихъ поэтовъ), „подражанія" (восточной поэзіи въ Коранѣ), „пародіи" (на Данта, на Карамзина), „прямодушіе", „истинная поэзія". Во второй статьѣ Страховъ отмѣчаетъ глубокое психологическое значеніе поэзіи Пушкина. И выводомъ изъ этихъ наблюденій надъ лирикой Пушкина является опредѣленіе высокой душевной красоты поэта. Страховъ какъ бы призывалъ русское общество къ готовившемуся торжеству открытія Московскаго памятника 1880 г. Для характеристики 70-хъ годовъ въ русской литературѣ заслуживаютъ два отзыва о Пушкинѣ романиста Достоевскаго въ „Дневникѣ Писателя". Эти отзывы полнѣе выразились въ рѣчи Достоевскаго на Пушкинскомъ празднествѣ,—рѣчи, составившей событіе. Еще въ 1873 г. Достоевскій въ Гражданинѣ по поводу „Книжности и грамотности" въ народѣ называлъ Пушкина провозвѣстникомъ общечеловѣческихъ началъ (см., напр., изданіе Нивы, т. IX, ч. I, стр. 100 и далѣе). Въ 1877 году Достоевскій еще полнѣе развилъ о всечеловѣчности, всеобъемлемости русскаго духа, о народной правдѣ, выразившихся въ поэзіи Пушкина, о его способности перевоплощаться въ геніи чужихъ націй. Прибавимъ еще біографическій очеркъ Пушкина и его письма, появившійся въ 1879 году въ Русской Старинѣ, выходившій и въ слѣдующемъ 1880 г.

Этотъ 1880 годъ ознаменовался открытіемъ памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ и необыкновеннымъ чествованіемъ памяти поэта по всей Россіи. Если мы возьмемъ Pusckinian'у Межова 1886 г. („Библіографическій указатель статей о жизни А. С. Пушкина, его сочиненій и вызванныхъ ими произведеній литературы и искусства"

съ появленія Пушкина въ печати 1813 г. до 1886, т. е. за 70 лѣтъ), то изъ 4000 статей и произведеній четвертая часть, около 1000, приходится на нѣсколько мѣсяцевъ 1880 года. Даже по частнымъ вопросамъ поражаетъ обиліе статей: 22 статьи посвящены поискамъ о домѣ, въ которомъ родился поэтъ въ Москвѣ, 18 статей о домѣ, въ которомъ жилъ поэтъ въ Одессѣ, 23 статьи о мѣстѣ дуэли Пушкина въ Петербургѣ, и т. д. Прекрасныя описанія Пушкинскаго празднества даны въ статьяхъ Пятковскаго „Пушкинскій праздникъ въ Москвѣ" (Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія, 2-ое изд; I т., 265—298), Страхова „Пушкинскій праздникъ" (Біографія, письма и замѣтки изъ записной книжки Ѳ. М. Достоевскаго, 1883 г., 304—315; въ измѣненной редакціи: „замѣтки о Пушкинѣ", Кіевъ, 1897 г., VI) и въ книжкѣ, подъ названіемъ „Вѣнокъ на памятникъ Пушкину. Пушкинскіе дни въ Москвѣ, Петербургѣ и провинціи. Адресы телеграммы, привѣтствія, рѣчи, чтенія и стихи по поводу открытія памятника Пушкину. Отзывы печати о значеніи Пушкинскаго торжества. Пушкинская выставка въ Москвѣ. Новыя данныя о Пушкинѣ" (Спб. 1880 г). Это были іюньскіе дни въ Москвѣ, дни небывалаго торжества русской словесности, когда вмѣстѣ съ уличными торжествами, засѣданіями въ Университетѣ и въ Думѣ съ обѣдами соединились и чествованія живыхъ представителей русской литературы, произнесшихъ рѣчи, Тургенева и Достоевскаго. Рѣчь послѣдняго считалась событіемъ, и вызвала необыкновенный энтузіазмъ. Замѣчательны были рѣчи и ученыхъ, Тихонравова, Ключевскаго, Сухомлинова и друг. Катковъ въ рѣчи па думскомъ обѣдѣ призывалъ къ примиренію и, дѣйствительно, почти всѣ представители литературы свидѣтельствовали о мирѣ и любви во имя памяти великаго поэта. Это былъ, въ самомъ дѣлѣ, голосъ изъ-за могилы Пушкина, призывавшаго и чувства добрыя и милость къ падшимъ. Страховъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Пушкинскомъ празднествѣ 1880 г. называетъ эти іюньскіе дни турниромъ, состязаніемъ русскихъ писателей. И, въ самомъ дѣлѣ, достаточно назвать имена этихъ писателей, говорившихъ рѣчи въ честь Пушкина, чтобы понять необыкновенный литературный праздникъ въ Москвѣ. Здѣсь были и говорили: Тургеневъ, Достоевскій, Островскій, Аксаковъ, Потѣхинъ, Майковъ, Плещеевъ, Катковъ, м. Макарій, Тихонравовъ, Ключевскій, Стороженко, Юрьевъ, Гротъ, Анненковъ, Бартеневъ. Мы должны хотя въ самыхъ общихъ чертахъ передать сущность этихъ рѣчей, чтобы показать новыя точки зрѣнія

на Пушкина, новыя задачи критики, выдвинутыя ораторами, подвинувшія вопросъ о Пушкинѣ. Такъ понялъ это петербургскій профессоръ, О. Ѳ. Миллеръ, пытавшійся съ своей точки зрѣнія свести „Пушкинскій вопросъ“ въ статьѣ „Русской Мысли“ 1880 г., XII книжка. Страховъ замѣтилъ о рѣчахъ м. Макарія, академиковъ и профессоровъ, что „въ этихъ статьяхъ были интересные факты, точныя подробности и вѣрныя замѣчанія, но вопросъ о Пушкинѣ не былъ поднимаемъ во всемъ своемъ объемѣ“ (Замѣтки о Пушкинѣ, 2 изд., 109 стр). „Очевидно, замѣтилъ Страховъ, западники и славянофилы были тутъ равно побѣждены; славянофилы (игнорировавшіе Пушкина, преклонявшіеся передъ Гоголемъ) должны были признать нашего поэта великимъ выразителемъ русскаго духа, а западники, хотя всегда превозносили Пушкина, тутъ должны были сознаться, что не видѣли всѣхъ его достоинствъ. Одна изъ провинціальныхъ газетъ „Тверской Вѣстникъ“ („Вѣнокъ“, 121 стр.) еще рѣзче оттѣнила вспышку вниманія къ Пушкину и почти полное отсутствіе ровнаго и яркаго свѣта отъ его генія: „одно лишь печалитъ насъ на Пушкинскомъ праздникѣ, это тотъ фактъ, что великаго русскаго народнаго поэта не знаетъ русскій народъ... А интеллигентное наше общество? развѣ оно много интересуется Пушкинымъ и его художественно-поэтическимъ творчествомъ? За 43 года, протекшихъ со смерти поэта, мы имѣемъ только пять изданій его сочиненій. Послѣдняго изданія (1873. г. Геннади) давно уже нѣтъ въ продажѣ. Съ 1873 г. изъ отдѣльныхъ произведеній Пушкина печатались только „Евгеній Онѣгинъ“, сказки да хрестоматическіе отрывки для школъ. Въ 66 лѣтъ съ того дня, какъ появилось въ печати первое стихотвореніе Пушкина, у насъ вышло всего *десять* книгъ о нашемъ поэтѣ, *ни одного цѣльнаго* труда, который выяснилъ бы жизнь, дѣятельность, общественное и литературное значеніе Пушкина во всѣхъ подробностяхъ и со всѣхъ сторонъ“.

Итакъ, мы обращаемся къ пересмотру рѣчей выдающихся представителей русской литературы, не соблюдая хронологическаго порядка, съ тѣмъ, чтобы извлечь изъ нихъ оригинальныя воззрѣнія на Пушкина и его творчество. Мнѣнія эти, какъ новинки въ изученіи Пушкина, отразились на богатой разработкѣ жизни и дѣятельности нашего великаго поэта въ 80—90 годахъ.

Начнемъ съ рѣчи Достоевскаго, которая примкнула къ словамъ Аксакова и Чаева. Славянофилы первые сблизили Пушкина съ Мицкевичемъ (Русская Мысль 1880 г., кн. VI: рѣчь Чаева, вся со-

тканная изъ уподобленій богатырскаго и сказочнаго эпоса), первые возвѣстили о радостной веснѣ русской поэзіи, которой не повториться послѣ Пушкина, о радостномъ благовѣстѣ нашего мужающаго самосознанія (Аксаковъ), объ объединеніи всѣхъ вѣрящихъ въ русское слово, въ его народную силу. И славянофилы, и проф. О. Миллеръ (Р. М. 1880 г., кн. VI, 28—31) не поскупились заклеймить почти весь предшествующій періодъ русской словесности и подражательныя произведенія Пушкина именами—рабства, ночи отрицанія, чужеземнымъ хламомъ, игомъ (даже „властителя думъ" Байрона),—послѣ которыхъ явились: перерожденіе нашего поэта, примиреніе прошедшаго съ настоящимъ, чистая радость народной жизни, простая, скромная, общительная, сочувствующая и жизни иностранной. — Достоевскій сказалъ большую рѣчь 8 іюня въ засѣданіи общества Любителей Россійской Словесности. Къ этой рѣчи онъ присоединилъ „Объяснительное слово". Въ Онѣгинѣ, Алеко и другихъ герояхъ Пушкина Достоевскій усмотрѣлъ безпокойный типъ скитальца, разошедшагося съ народомъ, ударяющагося въ крайности всякихъ западническихъ и другихъ теорій. Не таковы простые типы (Татьяны, бытовые типы, инока, мелькающіе въ стихотвореніяхъ, въ разсказахъ, запискахъ) положительной красоты человѣка русскаго и души его, взятые изъ народнаго духа. „Смирись, гордый человѣкъ, говорилъ Достоевскій, и прежде всего сломи гордость Смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудись на родной нивѣ", вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму. „Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ, найди себя въ себѣ,—овладѣй собой и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внѣ тебя и не за моремъ гдѣ нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя,—и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь великое дѣло, и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастіе, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ—свой и святую правду". Въ сущности повторился взглядъ Писарева на Онѣгина, но уничтоженный идеаломъ самого Пушкина, вложеннымъ въ Татьяну,—какъ апоѳеозъ русской женщины. Достоевскій присоединился и ко взгляду А. Григорьева на всѣ остальные типы Пушкина. Итакъ рѣчи восторженныхъ поклонниковъ Пушкина подняли его значеніе для нашего времени, значеніе—постоянное, непреходящее, міровое, по скольку русская народность входитъ въ интересы Европы, образованія и высшихъ идеаловъ. Отсюда, въ поэзіи Пушкина До-

стоевскій указалъ братское единеніе сердца русскаго со всемірнымъ, всечеловѣческимъ: „способность всемірной отзывчивости и полнѣйшаго перевоплощенія въ геніи чужихъ націй". Эта способность принадлежитъ изъ всѣхъ всемірныхъ художниковъ только Пушкину одному.

И Тургеневъ въ своей рѣчи подкрѣпилъ значеніе Пушкина въ европейской литературѣ, сославшись на французскихъ писателей, на иностранные сюжеты у Пушкина, на великое національное значеніе поэта, создавшаго и языкъ для литературы, и содержаніе и формы для нея.—И Тургеневъ, и Гончаровъ (въ письмѣ, напечатанномъ въ „Вѣнкѣ", стр. 79—81) одинаково назвали Пушкина именемъ „учителя": „съ Онѣгина, писалъ Гончаровъ, хлынули потоки правды и поэзіи и вообще жизни. Какая школа изящества, вкуса, для впечатлительной натуры!"—

Обращаемся къ рѣчамъ московскихъ профессоровъ Тихонравова, Ключевскаго и Стороженка. Тихонравовъ старался указать въ своей рѣчи поэтическую самостоятельность, геніальность Пушкина, его раннее сознаніе ложности направленія старой и современной ему русской литературы, его широкіе взгляды на творчество, критику и науку. Путемъ внимательнаго изученія Тихонравовъ старался доказать все высокое значеніе Пушкина въ исторіи русской литературы, какъ преобразователя литературнаго языка, какъ начинателя романа и повѣсти (причемъ Гоголь явился только продолжателемъ дѣла Пушкина), какъ дѣятеля въ области критики, наконецъ, какъ безсмертнаго поэта (Сочиненія III т., 1 ч., 1898 г.). Ключевскій также подтвердилъ въ своей рѣчи (Русская Мысль 1880 г., VI кн., 20—27 стр.) глубокое историческое значеніе произведеній Пушкина, относящихся къ XVIII в., жизненное значеніе типовъ, выведенныхъ Пушкинымъ, ихъ связь со всей русской исторіей, самый процессъ т. ск. формаціи этихъ типовъ, ихъ отношенія къ русской исторіи, жизни. Однако, проф. Ключевскій и не преувеличиваетъ значенія Пушкина, указывая на недостатки, на отсталость нѣкоторыхъ воззрѣній поэта, съ точки зрѣнія нашего времени. Несмотря на невысказанность Пушкинскихъ произведеній, по условіямъ времени и другимъ причинамъ, по мнѣнію проф. Ключевскаго, „безъ Пушкина нельзя представить себѣ эпохи 20-хъ и 30-хъ годовъ, какъ нельзя безъ его произведеній написать исторіи первой половины нашего вѣка. При какомъ угодно взглядѣ на Пушкина, значеніе его поэзіи, за нимъ останется страница въ нашей исторіи". Мы еще возвратимся къ генеа-

логіи Пушкинскихъ типовъ—по прекраснымъ характеристикамъ Ключевскаго.

Проф. Стороженко впервые подробнѣе остановился на сопоставленіи Пушкинскихъ произведеній съ произведеніями иностранныхъ писателей (Вѣнокъ, стр. 216—227). Проф. Сухомлиновъ,—какъ отмѣтимъ ниже, коснулся въ своей рѣчи условій, особенно цензурныхъ, при которыхъ совершалось развитіе дѣятельности Пушкина. Не будемъ касаться упомянутыхъ статей О. Миллера, въ которыхъ также отмѣчены противорѣчія во взглядахъ на личность и дѣятельность Пушкина, но выводы клонятся на сторону славянофильскихъ воззрѣній.

Постановка простого, но многоговорящаго „Памятника" Пушкину въ Москвѣ, въ 1880 году, вызвала необыкновенное вниманіе къ всестороннему новому изученію А. С. Пушкина. Историческіе журналы, какъ Русская Старина и друг., дали новые матеріалы, въ видѣ писемъ, воспоминаній. Въ газетѣ—„Берегъ" 1880 г. и въ Русскомъ Архивѣ напечатана была статья князя П. П. Вяземскаго „А. С. Пушкинъ (1816—1837). По документамъ Остафьевскаго архива и личнымъ воспоминаніямъ". Интересныя подробности въ этой статьѣ извлечены: изъ писемъ Н. М. и Е. А. Карамзиныхъ, кн. П. А. Вяземскаго и А. И. Тургенева, изъ біографіи сестры поэта, изъ записки барона Корфа, съ примѣчаніями кн. П. П. Вяземскаго въ защиту поэта противъ Корфа. Послѣдняя, дѣйствительно, рѣзка; баронъ Корфъ разсказываетъ о гнусныхъ болѣзняхъ Пушкина, низводившихъ его не разъ на край могилы, объ отталкивающемъ характерѣ его и т. д. Кн. Вяземскій высказалъ даже сомнѣніе въ принадлежности этой записки товарищу Пушкина. Интересны вѣсти о поэтѣ съ 1822 г. по 1825 г.: „Кишиневскій Пушкинъ... пропадаетъ отъ тоски, скуки и нищеты". Для характеристики нравовъ того времени и въ видахъ снисхожденія къ поэту, интересно читать откровенную замѣтку о крѣпостныхъ дѣвушкахъ, которыхъ покупали цѣною отъ 150 до 200 р. (стр. 394 Русскаго Архива). Въ 1825 г. кн. Вяземскій увѣдомляетъ о „ссылочномъ Пушкинѣ", жившемъ тогда въ Михайловскомъ. Вообще бѣглыя замѣтки кн. П. П. Вяземскаго даютъ любопытную характеристику времени и личностей: „для нашего поколѣнія,—замѣчаетъ онъ, напримѣръ, о воинственномъ удаломъ духѣ Пушкина,—воспитывавшагося въ царствованіе Николая Павловича, выходки Пушкина казались уже дикими. Пушкинъ и его друзья, воспитанные во время Наполеоновскихъ войнъ, подъ вліяніемъ герои-

ческаго разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинскимъ удальствомъ и какимъ-то презрѣніемъ къ требованіямъ гражданскаго строя" (стр. 429). Сообщаетъ Вяземскій и о недошедшихъ до насъ произведеніяхъ Пушкина, напримѣръ, о „ненапечатанномъ монологѣ обезумѣвшаго чиновника передъ Мѣднымъ Всадникомъ, около 30 стиховъ, производившемъ при чтеніи потрясающее впечатлѣніе" (429). Въ этомъ монологѣ слишкомъ энергически звучала ненависть къ Европейской цивилизаціи. Припомнимъ сравненія Пушкина съ Грибоѣдовымъ, которое дѣлала критика по поводу Евгенія Онѣгина. Вотъ еще выдержка изъ письма А. О. Смирновой, быть можетъ, подтверждающая подлинность ея подверженныхъ сомнѣнію „Записокъ" (1826—1845 гг.), изданныхъ редакціей журнала „Сѣвернаго Вѣстника" 1895—97 гг.: „воспоминаніе о немъ (о Пушкинѣ А. О. Смирновой) сохраняется во мнѣ недостижимымъ и чистымъ. Много вещей имѣла бы я вамъ сообщить о Пушкинѣ, о людяхъ и дѣлахъ; но на словахъ, потому что я побаиваюсь письменныхъ сообщеній" (433 стр.). Не менѣе интересны подробности и о дуэли Пушкина, и о личностяхъ Геккерена и Дантеса,—игравшихъ роли вольныхъ иностранцевъ въ эпоху строгостей военной дисциплины (см., напримѣръ, отступленія отъ формы у Дантеса, стр. 437), далѣе, подробности о похоронахъ Пушкина съ военной охраной, и проч. „Сообщаю съ полной откровенностью мои воспоминанія и впечатлѣнія, заключаетъ кн. П. П. Вяземскій свою статью, можетъ быть иногда и ошибочныя, въ твердомъ убѣжденіи, что откровенность не можетъ вредить Пушкину и что приторныя и притворныя похвалы и умалчиванія недостойны памяти великаго человѣка. Заслуга Пушкина передъ Россіею такъ велика, что никакія темныя стороны его жизни не могутъ омрачить его великаго и добраго имени" (439 стр.). Какъ не похожи эти воспоминанія на трогательное описаніе послѣднихъ минутъ Пушкина, сдѣланное поэтомъ Жуковскимъ, хотя и Вяземскій подтверждаетъ впечатлѣніе, оставленное грустной, страдальческой и христіанской кончиной А. С. Пушкина въ современникахъ, забывавшихъ ходившіе слухи о пылкомъ нравѣ поэта, о его слабостяхъ, выходкахъ, эпиграммахъ.

Интересна попытка Анненкова (Вѣстникъ Европы 1880 г., № 6) опредѣлить „Общественные идеалы А. С. Пушкина" (изъ послѣднихъ лѣтъ его жизни) по его бумагамъ, въ формѣ набросковъ, недоговоренныхъ положеній и отрывковъ, относящихся къ черновымъ планамъ

полемическихъ статей для Литературной Газеты 1830 г. и отзывовъ, сужденій Пушкина при перечнѣ указовъ и событій временъ Петра I-го, за исторію котораго Пушкинъ принялся въ 1832 г. Анненковъ опредѣляетъ Пушкинскую теорію о значеніи дворянства въ государствѣ—народовоспитательнымъ, просвѣтительнымъ, свободнымъ, но консервативно-либеральнымъ, посредническимъ между правительствомъ и народомъ. Съ этой точки зрѣнія Пушкинъ глядѣлъ въ глубь русской исторіи, въ ея славянскую древность и строго осуждалъ Петровскія реформы—за ихъ крутой и жестокій характеръ. Онъ желалъ для своей родины умноженія правъ и свободы въ предѣлахъ законности и политическаго быта, утвержденнаго всѣмъ прошлымъ и настоящимъ Россіи. Однако, говоритъ Анненковъ въ заключеніи своей статьи (Воспоминанія и критическіе очерки П. В. Анненкова, III, 1881 г. 266 стр.): „идеалы поэта могутъ показаться теперь несостоятельными въ своей сущности, построенными на данныхъ, чуждыхъ русской жизни; утопическій мечтательный характеръ ихъ можетъ быть обсуждаемъ и осуждаемъ болѣе или менѣе строго, а научная сторона ихъ не выдерживать повѣрки и проч.; но... человѣкъ, лелѣявшій подобные идеалы 50 лѣтъ тому назадъ, останется... представителемъ типа гуманнаго развитія въ свою эпоху... проповѣдниковъ справедливыхъ, честныхъ отношеній между людьми“. Эти статьи Анненкова (далѣе, въ Вѣстникѣ Европы 1881 г. „Любопытная тяжба“, впрочемъ, эта статья объясняетъ только взглядъ цензуры на изданіе 1855—57 гг.) открывали новыя точки зрѣнія на изученіе Пушкина въ отношеніи какъ къ своему времени, такъ и къ позднѣйшему.

Къ числу такихъ же оправданій поэта отъ неосновательныхъ упрековъ въ полной ограниченности (Добролюбовъ, Писаревъ и др.) можно отнести небольшую книжечку В. Острогорскаго: „Памяти Пушкина, 6 іюня 1880 г. Очерки Пушкинской Руси“ (Спб. 1880 изъ газеты „Молва“), вызвавшую однако осужденіе О. Миллера за ложный взглядъ, за фальшъ (Русская Мысль 1880 г., XII кн., 12—28 стр.) въ отношеніи къ Руси и къ поэту. Острогорскій, указывая на значеніе Пушкина, какъ правдиваго „наивнаго лѣтописца“ своей современности (въ тяжелую и мрачную эпоху нашей исторической жизни), какъ основателя всей настоящей литературы, отмѣчаетъ замѣчательно правдивый точный гуманный и широкій взглядъ поэта на природу, крестьянъ, господъ и на русскую женщину. Онъ выставляетъ тяжелую обстановку второй половины 20-хъ и тридцатыхъ годовъ,

которая, какъ рамка, придала картинѣ Пушкина скромный, блѣдный колоритъ, несмотря на художественность внѣшней отдѣлки. Итакъ, Острогорскій призналъ одно только историческое значеніе за произведеніями Пушкина.

Въ „Трехъ письмахъ о Пушкинѣ“ (Русскій Вѣстникъ 1880 г., май и „О драмѣ“ Спб. 1893 г.) г. Аверкіевъ коснулся интереснаго вопроса о характерѣ творчества Пушкина, что полнѣе представлено въ наши дни г. Якушкинымъ въ Русскихъ Вѣдомостяхъ 1899 г., № 143 „Пушкинъ и его литературная работа“. Отличіемъ статей г. Аверкіева является сравнительное изученіе творчества Пушкина съ творчествомъ европейскихъ поэтовъ и съ понятіями о немъ теоретиковъ, начиная съ Аристотеля. „Пушкинъ, говоритъ Аверкіевъ, былъ поэтомъ въ самомъ обширномъ значеніи слова; ему были равно доступны всѣ роды поэзіи, во всѣхъ ихъ онъ былъ полнымъ хозяиномъ, самостоятельнымъ творцомъ идей нераздѣльно и органически слитыхъ съ формой. Такое обстоятельство несомнѣнно свидѣтельствуетъ о широтѣ его поэтической природы“ (25 стр.). Отыскивая особенности Пушкинскаго генія, Аверкіевъ указываетъ еще: изображеніе борьбы человѣка со страстью, ея побореніе (въ незабвенномъ образѣ Татьяны, отчасти въ Борисѣ), возвышенное спокойствіе въ созерцаніи тяжкихъ и скорбныхъ испытаній, въ цѣломудренномъ просвѣтленіи, добросердечіи Пушкинскаго юмора. „И къ чему намъ гордиться поэтомъ?, замѣтилъ Аверкіевъ, какъ одинъ изъ современнымъ намъ Московскихъ ораторовъ, гордость чувство слишкомъ самолюбивое; поэта слѣдуетъ любить, а любовь тутъ неразлучна со знаніемъ“ (25 стр.).

Разработка жизни и дѣятельности Пушкина, вниманіе къ его личности вызвали въ началѣ 80-хъ годовъ двѣ сравнительно большія работы Стоюнина и Незеленова. Стоюнинъ во 2-мъ томѣ „Историческихъ Сочиненій“ (Спб. 1881 г.) такъ опредѣляетъ задачу своего скромнаго труда (послѣ матеріаловъ для біографіи Пушкина Анненкова и Бартенева): „я не берусь представить полную біографію поэта, а хочу сдѣлать только историческую характеристику времени Пушкина въ связи съ его литературной дѣятельностью, представить эту геніальную личность такъ, какъ она создается въ воображеніи отъ изученія извѣстныхъ фактовъ его жизни“ (2 стр.). Опредѣляя натуру Пушкина артистической, геніальной, страстной, Стоюнинъ разсматриваетъ тѣ вліянія, подъ которыми развивалась эта натура. Отсюда вся его работа дѣлится на слѣдующія главы: что дала природа?

что дало дѣтство? что дала школьная жизнь? что дало общество? на югѣ, въ селѣ Михайловскомъ, скитальческая жизнь и женатая жизнь. Стоюнинъ старается такъ же, какъ и Анненковъ, представить возможно безпристрастнѣе личность поэта въ связи съ общими явленіями времени. Біографъ видитъ въ начальной порѣ жизни поэта много счастливыхъ случайностей, которыя спасали его въ критическія минуты. Эта бурная жизнь поэта въ Петербургѣ и на югѣ отразилась въ его поэмахъ, что могло произойти и безъ вліянія Байрона. Такимъ образомъ, Стоюнинъ видитъ непосредственную зависимость произведеній Пушкина, его типовъ, и проч. отъ его личной жизни. Стоюнинъ вообще не столько біографъ поэта, сколько его критикъ, характеризующій поэта по его произведеніямъ. Только конецъ Пушкина разсказанъ у Стоюнина со многими подробностями, какъ нервное напряженіе, помрачавшее разсудокъ поэта, взывавшаго къ покою и волѣ. Біографія Стоюнина оставляетъ желать большей цѣльности, единства взгляда, не смотря на видимое стремленіе автора придать эти качества своей работѣ вложенными началами взаимодѣйствія природы поэта и благопріятныхъ или неблагопріятныхъ обстоятельствъ времени. Все таки остается какая-то черта между идеалами поэта и обрывками его внѣшней жизни (часто мелочными, противорѣчивыми). Работа Стоюнина основана на внимательномъ изученіи матеріаловъ и читается легко.

Болѣе серіозно, какъ изслѣдованіе, написана неоконченная работа проф. Незеленова „Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ его поэзіи. Первый и второй періоды жизни и дѣятельности (1799—1826), Спб., 1892 г“ Авторъ новаго изслѣдованія такъ опредѣляетъ свое отношеніе къ предшественникамъ: отсутствуетъ опредѣленный взглядъ на поэзію и личность Пушкина, существуютъ непримиримыя противорѣчія въ большихъ трудахъ о Пушкинѣ, а частныя вѣрныя замѣчанія въ восторженныхъ рѣчахъ 1880 г. остаются какъ бы минутными вдохновенными прозрѣніями, послѣ котораго успѣли уже выникнуть раздраженные, недовольные голоса, порицающіе то самый праздникъ поэта, то тѣ или другія мысли, высказанныя о немъ; наконецъ, нѣтъ у насъ и біографіи Пушкина, достойной его великаго имени. Задачей своего сводного труда авторъ поставилъ „прослѣдить внутреннюю жизнь великаго поэта и развитіе его характера по его произведеніямъ, освѣщая ихъ событіями его внѣшняго бытія“. Авторъ является въ своей критикѣ послѣдователемъ А. Григорьева. Поэтому,

въ третьемъ періодѣ, до котораго не успѣлъ дойти проф. Незеленовъ, въ высшей эпохѣ развитія Пушкина онъ „видитъ соединеніе въ душѣ и дѣятельности поэта тревожныхъ, энергическихъ и страстныхъ западно-европейскихъ началъ съ простыми, смиренными и добрыми началами русской народной жизни". Вообще Незеленовъ болѣе ссылается на авторитеты, чѣмъ высказываетъ свои мнѣнія, или подвергаетъ подробному разбору сочиненія изслѣдуемыхъ авторовъ, напримѣръ, предшественниковъ Пушкина. За то въ его сочиненіи наблюдается полнота біографическихъ подробностей, какія только могъ собрать авторъ въ свое время. Многое, конечно, теперь оставляетъ желать въ провѣркѣ или дополненіяхъ; такъ какъ являлось въ видѣ отрывочныхъ отзывовъ и замѣтокъ, каковые авторъ вносилъ въ свой трудъ для полноты. Я уже имѣлъ случай въ другомъ мѣстѣ замѣтить о нѣкоторыхъ неосновательныхъ заключеніяхъ Незеленова (въ статьѣ—„Русланъ и Людмила" Университ. Извѣстія 1895 года, Кіевъ, № 6—іюнь). Послѣ труда Незеленова попытки написать стройную и полную біографію А. С. Пушкина прекратились, и новые біографы поэта вдались въ интересные детальные разборы. Точно также и изслѣдованіе произведеній Пушкина, особенно народно-бытового содержанія, подвинулось настолько впередъ, что книга Незеленова, важная для изученія Пушкина вообще, требуетъ критики. Укажу, напримѣръ, на его неосновательныя заключенія о стихотвореніяхъ: „Старица—пророчица" (32 стр.), „Женихъ" (191), и друг.

Еще въ 1881 г. отзывались впечатлѣнія Московскаго празднества 1880 г. Актовая рѣчь проф. В. В. Никольскаго объ „Идеалахъ Пушкина" (изд. 3, Спб. 1899. Съ приложеніемъ статей того же автора „Жобаръ и Пушкинъ" и „Дантесъ—Геккеренъ") обратила вниманіе теплотой отношенія къ поэту. Наблюдая передѣлки произведеній Пушкина, авторъ говоритъ: „причина этихъ передѣлокъ заключается вовсе не въ художественныхъ требованіяхъ, а въ глубокомъ нравственномъ чувствѣ, если бы мы захотѣли опредѣлить самую сокровенную сущность души поэта, мы назвали бы ее цѣломудріемъ. Отсюда замѣшательство, робость, застѣнчивость, неловкость тамъ, гдѣ Пушкинъ долженъ былъ выразить свое истинное чувство" (стр. 25). Далѣе авторъ отмѣчаетъ добровольное юродство Пушкина (26). Этотъ общій взглядъ смягчаетъ рѣзкость сужденій о распущенности семьи и школы, послѣ которой Пушкинъ впалъ въ либерализмъ и невѣріе. Но поэзія его съ постепеннымъ развитіемъ представляетъ все

болѣе высшіе нравственные идеалы: долга, труда, взглядовъ на правительство, религію.

Въ VII томѣ „Полнаго Собранія сочиненій кн. П. А. Вяземскаго“ (Спб. 1882 г., стр. 306 и д.) помѣщена статья его, подъ заглавіемъ „Мицкевичъ о Пушкинѣ“. Это не только извлеченіе изъ французскаго сочиненія польскаго поэта о Пушкинѣ, но и интересныя личныя воспоминанія кн. Вяземскаго. Въ разработкѣ частныхъ вопросовъ о Пушкинѣ заслуживаютъ вниманія статьи акад. Сухомлинова „Императоръ Николай Павловичъ—критикъ и цензоръ сочиненій Пушкина“, „Полемическія статьи Пушкина“ (Историч. Вѣстникъ 1884 г. Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ М. И. Сухомлинова, т. II, стр. 249 и д.), касающіяся вопроса объ отношеніи къ Пушкину цензуры, что, какъ увидимъ ниже, затронуто въ спеціальномъ сочиненіи г. Скабическаго о цензурѣ. Статьи акад. Сухомлинова написаны на основаніи документовъ. Здѣсь мы впервые находимъ разсказъ о любопытной критикѣ цензурной „Комедіи о Борисѣ Годуновѣ“ и послѣдовавшихъ измѣненіяхъ въ исторіи драмы Пушкина. Здѣсь же разсказаны и всѣ распри поэта съ Булгаринымъ.

Съ 1884 г. стали появляться въ Русской Старинѣ подробныя извлеченія, описанія и изслѣдованія„ Рукописей Александра Сергѣевича Пушкина, хранящихся въ Румянцевскомъ Музеѣ въ Москвѣ“, В. Е. Якушкина. Не смотря но то, что этими рукописями пользовались уже, начиная съ Анненкова, почти всѣ послѣдующіе издатели сочиненій Пушкина, Якушкинъ представилъ массу интересныхъ данныхъ для изученія творчества поэта. Авторъ, однако, не извлекъ всего, ограничивши свою задачу болѣе важнымъ. Отсюда, и послѣ его труда мы встрѣчаемъ въ литературѣ о Пушкинѣ много дополненій по изученію Румянцевскихъ рукописей Пушкина. Тетради, судьба которыхъ разсказана Якушкинымъ (Рус. Ст. февраль, 1884 г.), оказываются съ оборванными и вырванными листами. Нерѣдко стихотворенія сопровождаются въ тетрадяхъ прозаическими программами и переводами, набросками. Эти извлеченія, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя, сдѣлались необходимой принадлежностью изданій Пушкина, начиная съ изданія 1887 года литературнаго фонда. Какъ интересны вообще данныя, извлеченныя Якушкинымъ, можно судить по слѣдующимъ указаніямъ, являющимся впервые: (Рус. Стар. 1884 г., май, стр. 334), что Пушкинъ уже на югѣ—занимался простонародными русскими сказками напр., въ 1822 г. сказкой о царѣ Салтанѣ, (Р. С. августъ, 1884 г.,

стр. 329), что Пушкинъ списывалъ польскіе тексты изъ Мицкевича въ подлинникѣ, значитъ—понималъ по-польски, и проч.

Тому-же автору принадлежитъ статья „Радищевъ и Пушкинъ" (Чтенія въ обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ, 1886 г., II кн., 3—58 стр.). Г. Якушкинъ показываетъ настоящее значеніе статей Пушкина о Радищевѣ, ихъ настоящій смыслъ.

Къ 1886 году относится „Библіографическій указатель статей о жизни А. С. Пушкина его сочиненій и вызванныхъ ими произведеній литературы и искусства. Puschkiniana" (Спб. 1886 г.) Межова, очень важный для изучающихъ біографію, критику, и вообще библіографію, относящуюся къ Пушкину.

Наступилъ 1887 годъ, и 29 января истекло 50 лѣтъ со дня смерти А. С. Пушкина. Снова въ Москвѣ, Петербургѣ и въ другихъ университетскихъ городахъ (Одессѣ, Кіевѣ, Казани) раздались рѣчи въ честь великаго поэта. Грустный оттѣнокъ ихъ выступилъ естественно. Въ Московскомъ Обществѣ Любителей россійской словесности были прочитаны рѣчи проф. Тихонравовымъ „Пушкинъ и Гоголь" (Сочиненія Н. С. Тихонравова, III т., 2 ч., 182—195 стр.), Ключевскимъ „Евгеній Онѣгинъ и его предки" (Русская Мысль, 1887 г., февраль, 291—306 стр.). Тихонравовъ называетъ Гоголя продолжателемъ дѣла Пушкина, а Пушкина—воспитателемъ, образователемъ Гоголя, что подтверждалъ и самъ сатирикъ своими воспоминаніями о Пушкинѣ, статьями, хотя у насъ и нѣтъ пока сравненій произведеній Гоголя съ Пушкинскими. Только критика Гоголя сличена обстоятельно съ Пушкинскимъ направленіемъ въ разсматриваемой статьѣ, цѣль которой поднять значеніе Гоголя противъ исключительныхъ голосовъ ревнивыхъ оберегателей Пушкина въ дни 1880 г. Значеніе рѣчи Тихонравова, при ея фактическихъ основаніяхъ, можно понять, припомнивши взгляды Бѣлинскаго, Чернышевскаго и друг., отрицавшихъ достоинства Пушкинской прозы и превозносившихъ Гоголя, какъ родоначальника прозаическаго періода въ русской литературѣ. Еще недавно это мнѣніе было высказано г. Скабичевскимъ, какъ общій взглядъ на всю новѣйшую русскую литературу. Рѣчь проф. Ключевскаго содержитъ теплое отношеніе къ поэту изъ личныхъ и историческихъ воспоминаній. Это второй очеркъ автора для исторіи русской культуры послѣ упомянутой рѣчи его 1880 г. о Капитанской дочкѣ: тѣ же пріемы, та же историческая связь поколѣній служилаго дворянства, которое то несло военную повинность, то вдви-

галось въ рядъ образованныхъ людей Европы посредствомъ обученія, книгъ, поѣздокъ заграницу. Таковъ генезисъ типа Онѣгина, подвергшагося слишкомъ быстрымъ, головокружительнымъ и неустойчивымъ направленіямъ. Проф. Ключевскій ставитъ вопросъ о посмертной исторіи Пушкинской поэзіи, т. е. о значеніи ея для нашего и всего будущаго времени.

Въ Петербургѣ читали проф. Морозовъ, Незеленовъ и Ждановъ. Рѣчь г. Морозова „Пушкинъ въ русской критикѣ" (Годичный актъ И. С.-Петербургскаго Университета, 1887 г. и, сколько помнится намъ, прочитанная въ Обществѣ Литературнаго Фонда эта же рѣчь полнѣе была напечатана въ одномъ изъ Петербургскихъ журналовъ: Сѣверный Вѣстникъ?) опредѣляетъ въ самыхъ общихъ чертахъ отношеніе къ Пушкину лучшей критики, оправданное текущими воспоминаніями. Въ рѣчи проф. Незеленова въ самомъ сжатомъ видѣ опредѣленъ ходъ развитія Пушкина. Теплотой дышетъ и рѣчь проф. Жданова „Нѣсколько словъ о значеніи Пушкина въ исторіи русской литературы" 1887 г. Припомнимъ, что еще въ 1880 г. проф. Ждановъ прочелъ въ Кіевѣ „Нѣсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ Пушкина" (Кіевлянинъ, 1880 г. №№ 132, 133). Мы еще увидимъ ниже, какъ г. Ждановъ воротился къ этой темѣ и далъ интересныя указанія на новые источники для драмы Пушкина. Въ рѣчи 1887 г. г. Ждановъ указалъ на „высокую, примирительную, объединяющую роль, которой Пушкинъ оставался вѣренъ во всю свою жизнь".

Въ Одессѣ появился въ это время сборникъ проф. Яковлева, подъ заглавіемъ: „Отзывы о Пушкинѣ съ юга Россіи" 1887 г. Здѣсь перепечатаны статьи о Пушкинѣ, появившіяся въ Одессѣ съ 1837 г., т. е. со смерти Пушкина, или написанныя одесситами. Между ними интересны: „Г-жа Ризничъ и Пушкинъ", Зеленецкаго, „Пушкинъ и Людмила И-зи", А. Требова, одесскія и кишиневскія преданія о Пушкинѣ. 1 февраля въ Одесскомъ Университетѣ были произнесены рѣчи проф. Некрасовымъ, Яковлевымъ и Кирпичниковымъ [1]). Проф. Некрасовъ произнесъ рѣчь „О значеніи Пушкина въ исторіи русской литературы", въ которой указалъ на высокое значеніе поэта въ дѣлѣ объединенія русскаго языка и литературы. Рѣчь проф. Кирпичникова „Пушкинъ какъ европейскій поэтъ" отличается обстоя-

[1]) Напечатаны въ „Запискахъ И. Новороссійскаго Университета", томъ 45.

тельностью соображеній объ отношеніи иностранной литературы къ Пушкину. Проф. Яковлевъ говорилъ о „значеніи нашего края въ жизни и дѣятельности А. С. Пушкина“, сопоставляя Мицкевича съ Пушкинымъ.

Въ Казани появились статьи, предназначившіяся къ прочтенію на 29 января 1887 г. Изъ нихъ замѣчательна по краткости и полнотѣ статья проф. Булича „Въ память пятидесятилѣтія смерти Пушкина, 29 января 1887 года“, Казань, 1887 г., 50 стр. Написанная тепло, живо и талантливо эта статья проф. Булича показываетъ глубину эрудиціи автора, и труда, приложеннаго къ изученію поэта. Задачей своей статьи авторъ поставилъ отмѣтить „вліянія, подъ которыми выростали и геніальная личность Пушкина, и его удивительныя созданія“... „указать и то въ самыхъ общихъ чертахъ, тѣ, болѣе другихъ сильныя вліянія, духовныя и жизненныя, которыя съ необходимостью выразились въ содержаніи и направленіи его поэтическаго творчества“. Статья проф. Архангельскаго „Пушкинъ въ его произведеніяхъ и письмахъ, по поводу пятидесятилѣтія со времени его смерти (1837—1887 гг.)“. Статья написана въ историческомъ направленіи и содержитъ опредѣленія направленія европейскаго романтизма, его борьбы съ классицизмомъ, предшественниковъ Пушкина, его литературныхъ мнѣній, и проч. Въ казанскомъ „Вѣстникѣ Славянства“, издаваемомъ проф. Качановскимъ (1888 г., кн. I, стр. 19—83), помѣщена довольно большая и оригинальная статья, самого редактора объ „А. С. Пушкинѣ, какъ воспитателѣ русскаго общества“. Собранный матеріалъ авторомъ и его освѣщеніе вызываютъ вниманіе къ общественнымъ теченіямъ разсматриваемаго времени.

Не касаемся другихъ рѣчей, произнесенныхъ въ 1887 году. Но упомянемъ о рѣчи акад. Грота „Пушкинъ въ царскосельскомъ лицеѣ“, входящей въ книгу 1887 г. „Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники. Нѣсколько статей Я. Грота, съ присоединеніемъ и другихъ матеріаловъ“ (Спб. 1887 г.). Статья Грота впервые безпристрастно оцѣниваетъ нравственное значеніе личности Пушкина-лицеиста и его стихотвореній. По словамъ Грота, Пушкинъ, „воспѣвая лѣнь, сонъ и кутежъ, онъ любознательнымъ умомъ своимъ безустанно работалъ“, подражалъ другимъ поэтамъ, написалъ массу стиховъ, выработалъ языкъ и стихъ, проявилъ обширную начитанность. Такъ точно и въ статьѣ „Царскосельскій Лицей“ Гротъ по-

казалъ хорошія стороны этого заведенія и тѣмъ уничтожилъ предыдущія голословныя утвержденія о вредѣ, принесенномъ Пушкину этимъ заведеніемъ со стороны нравственности и образованія, науки. Объ этомъ же свидѣтельствуютъ и письма лицеистовъ, ихъ воспоминанія о времени Пушкина и прежнія статьи автора о Пушкинѣ, какъ-то о „Личности Пушкина, какъ человѣка". Множество мелкихъ замѣчаній о сочиненіяхъ поэта (автографъ Лицейской годовщины съ поправками, дополненія къ прежнимъ изданіямъ) и особенно подробная хронологическая канва для біографіи Пушкина составляютъ достоинство этой книги, цѣнной въ ряду источниковъ для изученія личности и времени Пушкина. Эти живыя свѣдѣнія Грота о Лицеѣ дополняютъ фактическія сухія данныя, представляемыя книгой г. Селезнева „Историческій очеркъ Императорскаго бывшаго Царскосельскаго нынѣ Александровскаго Лицея за первое его пятидесятилѣтіе съ 1811 по 1861 годъ" (Спб. 1861 г.), какъ объ общемъ состояніи заведенія, такъ и о личности Пушкина (Приложенія 6—7, 13—14 стр.).

Въ Вѣстникѣ Европы 1887—88 гг. помѣщены статьи Спасовича „Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго" и „Байронизмъ у Пушкина и Лермонтова, изъ эпохи романтизма". Обѣ статьи интересны и отмѣчаютъ вліянія на Пушкина, хотя и ограничиваютъ степень вліянія Байрона. Въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ" 1887 г. г. Южаковъ разсматриваетъ „Любовь и счастье въ произведеніяхъ русской поэзіи" (февраль, 1887 г.). Не останавливаясь на этихъ статьяхъ, скажемъ подробнѣе о двухъ замѣчательныхъ изданіяхъ 1887 г. Сочиненій Пушкина. Изданіе Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, подъ редакціею и съ объяснительными примѣчаніями П. О. Морозова, въ 6 томахъ,—безъ сомнѣнія, до сихъ поръ лучшее изданіе по полнотѣ, точности и удобствамъ при пользованіи. Морозовъ воспользовался черновыми рукописями поэта, объясненіями и библіографическими замѣчаніями своихъ предшественниковъ. Другое изданіе 1887 г., въ 5 томахъ, Сочиненій Пушкина, съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики,—изданіе Льва Поливанова для семьи и школы, не смотря на неполноту, важно по прекраснымъ объясненіямъ къ отдѣльнымъ произведеніямъ, составленнымъ изъ критическихъ статей о Пушкинѣ, изъ біографическихъ очерковъ. Объ изданіи г. Зелинскаго „Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина", съ

1887 г. мы уже говорили выше. Кое-какія недомолвки, опущенія, неточности не мѣшаютъ этому полезному сборнику быть справочной книгой для всякаго занимающагося Пушкинскимъ вопросомъ.

Иной, болѣе стройный, трудъ представляетъ работа г. Трубачева „Пушкинъ въ русской критикѣ, 1820—1880 гг.“ (Спб. 1889 г.). Здѣсь опредѣлены и направленія критики и отношенія ея къ Пушкину. Къ сожалѣнію, этотъ трудъ остановился на 1880 годѣ. Въ книгѣ г. Пыпина „Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“ (2-е исправленное изд. 1890 г.) цѣлая глава II-ая посвящена Пушкину, представляющая переработку двухъ статей изъ Вѣстника Европы 1887 г. октябрь-ноябрь. Статья написана, въ противоположность предшествующимъ статьямъ автора о Пушкинѣ, съ большимъ увлеченіемъ и уваженіемъ къ таланту Пушкина. Мы еще скажемъ о взглядѣ автора ниже по поводу статей его 90-хъ годовъ о Пушкинѣ. Съ этимъ новымъ взглядомъ на высокое народное значеніе дѣятельности поэта г. Пыпинъ ввелъ Пушкина и въ свою „Исторію русской Этнографіи“ (т. I, 1890 г., 390 стр. и д.), какъ представителя „великаго переворота“ въ изученіи, въ изображеніи народности. Теперь Пыпинъ приблизился къ характеристикѣ Бѣлинскаго; по которой вся „предыдущая литература была только приготовленіемъ Пушкина, послѣдующая—только исполненіемъ программы, которая была широко намѣчена его дѣятельностью“ (391 стр.). Въ сжатомъ очеркѣ Пыпинъ излагаетъ содержаніе Пушкинскихъ произведеній, имѣющихъ этнографическое значеніе.

Мы не имѣемъ возможности останавливаться подробно на всѣхъ статьяхъ, относящихся къ Пушкину за разсматриваемое время и потому доскажемъ въ самыхъ сжатыхъ чертахъ ходъ изученія Пушкина. Въ „Очеркахъ исторіи русской цензуры (1700—1863 гг.)“ А. М. Скабичевскаго (Спб. 1892 г.) есть нѣсколько замѣчаній о Пушкинѣ (166 стр. и д.). Изъ статей 1892 г. заслуживаютъ вниманія рѣчь проф. Жданова „О драмѣ Пушкина Борисъ Годуновъ“, Незеленова „Шесть статей о Пушкинѣ“ и г. Майкова „Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ Пушкина и ея источники“ (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 1892 г., май). Въ рѣчи проф. Жданова обстоятельно разсмотрѣно изученіе „Бориса Годунова“ Пушкина и прибавлены важныя указанія на новые источники, помимо исторіи Карамзина. „Въ то время, говоритъ авторъ, когда работалъ Пушкинъ, было уже издано нѣсколько памятниковъ, имѣющихъ перво-

степенную важность при изученіи смутной эпохи: такъ называемый Новый Лѣтописецъ, Житіе царя Ѳеодора Ивановича, составленное патріархомъ Іовомъ, Сказаніе Авраамія Палицына, Грамота объ избраніи Бориса Годунова. Много извѣстій о времени Бориса и самозванца собрано было Щербатовымъ въ VII томѣ его Исторіи Россійской. Присматриваясь къ трагедіи Пушкина, мы найдемъ въ ней слѣды знакомства поэта съ такими извѣстіями, которыхъ нѣтъ у Карамзина и которыя свидѣтельствуютъ объ исторической начитанности автора „Бориса“ (14 стр.). Книга проф. Незеленова составлена изъ прежнихъ его статей, уже упомянутыхъ нами выше, и изъ нѣсколькихъ новыхъ, среди которыхъ заслуживаетъ вниманія статья о „Новыхъ отрывкахъ и варіантахъ сочиненій Пушкина изъ рукописей Румянцевскаго Музея“. Авторъ извлекъ новыя данныя о Радищевѣ, Борисѣ Годуновѣ и другихъ произведеніяхъ Пушкина, указавъ еще разъ на важное значеніе Румянцевскихъ рукописей для будущихъ біографовъ и критиковъ величайшаго писателя русской земли. Статья г. Майкова представляетъ интересный выводъ объ отношеніи поэтическаго творчества поэта къ народной сказкѣ, сообщенной Пушкину Далемъ во время ихъ Оренбургской поѣздки: „поэтическое творчество поэта распространяло и развивало въ новые образы почти незамѣтныя черты своихъ источниковъ, нисколько не уклоняясь отъ общаго художественнаго колорита народной сказки“.

Въ 1895 году, въ Вѣстникѣ Европѣ А. Н. Пыпинъ помѣстилъ статью о „Пушкинѣ, его историческомъ значеніи и сверстникахъ“, въ которой остановился преимущественно на собственно литературномъ развитіи Пушкина, оставивши въ сторонѣ разсмотрѣнные имъ ранѣе общественные и политическіе взгляды. Разсматривая отношеніе Пушкина къ его литературнымъ предшественникамъ, авторъ совершенно основательно пользуется отзывами самого Пушкина, придавая имъ значеніе вѣскихъ опредѣленій русской литературы и ея дѣятелей, начиная съ Тредьяковскаго и Ломоносова. Точно также авторъ пользуется сочиненіями поэта, какъ автобіографическими матеріалами, дополняя ихъ трудами Анненкова, и друг.

Въ 1896 г., во второмъ переработанномъ изданіи „Историко-сравнительныхъ очерковъ“ проф. Алексѣя Веселовскаго „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“ (Москва, 1896 г., 186—198 стр.) вопросъ о Пушкинѣ затронутъ въ общихъ чертахъ со стороны его источниковъ, вліяній на поэта и со стороны его перево-

довъ. Нельзя не высказать сожалѣнія, что знатокъ европейской литературы не коснулся различія въ оцѣнкѣ источниковъ, и пособій Пушкина. А такое различіе показало бы критическій тактъ нашего поэта, его увлеченія. Между тѣмъ въ интересномъ очеркѣ проф. Веселовскаго только затронуты съ высоты европейской литературы усвоенія русскаго поэта—даже въ области переработки русскихъ народныхъ сюжетовъ. Фактъ интересный, какъ интересны заключенія о томъ, что Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ представлялъ и русскую литературу, и свою поэтическую дѣятельность въ рамкахъ европейской литературы, приписывая и свои оригинальные труды существовавшимъ и несуществовавшимъ европейскимъ поэтамъ. Проф. Веселовскій принялъ и существовавшіе взгляды на отношеніе къ Пушкину Байрона, изъ котораго нашъ поэтъ усвоилъ не все, а только болѣе подходившее къ нему и, притомъ, въ сложныхъ соединеніяхъ: изъ Бенно, Донъ-Жуана и Чайльдъ-Гарольда истекаетъ Евгеній Онѣгинъ, и т. д. Въ Русскомъ Обозрѣніи 1896 г. (II—XII) помѣщены статьи г. Черняева „Капитанская Дочка Пушкина, историко-критическій этюдъ". Авторъ разсматриваетъ всѣхъ своихъ предшественниковъ, не оцѣнившихъ должнымъ образомъ это величайшее, по его мнѣнію, произведеніе Пушкина. Полемическая цѣль автора помѣшала ему отнестись болѣе безпристрастно и болѣе серіозно къ прекрасной исторической повѣсти Пушкина. Авторъ пытался разобрать „Капитанскую Дочку" во всѣхъ отношеніяхъ: сравнительно съ русскими и иностранными историческими романами, съ Исторіей Пугачевскаго Бунта, и проч. Кромѣ того, онъ подвергъ подробному анализу характеры дѣйствующихъ лицъ съ исторической и психологической стороны.

Въ краткихъ замѣткахъ о критикѣ Пушкина мы не можемъ все таки обойти молчаніемъ упоминанія о критикахъ Бѣлинскомъ, Писаревѣ и Чернышевскомъ въ большомъ трудѣ г. Волынскаго „Русскіе Критики" (Спб. 1896 г.), причемъ замѣтимъ только, что авторъ является защитникомъ Пушкина отъ неполныхъ, неточныхъ и строгихъ приговоровъ Писарева и Чернышевскаго.

Болѣе интересны работы, посвященныя детальному разбору отдѣльныхъ произведеній Пушкина, какъ „Этюды объ А. С. Пушкинѣ" проф. Н. Ѳ. Сумцова, выходящія выпусками съ 1893 г. (появилось 5 выпусковъ до 1897 г., въ видѣ оттисковъ изъ Варшавскаго Русскаго филологическаго Вѣстника). Это историко-литературные ком-

ментаріи къ небольшимъ стихотвореніямъ Пушкина, задачу которыхъ авторъ опредѣляетъ необходимостью „отмѣчать сходныя черты въ другихъ Пушкинскихъ стихотвореніяхъ и слѣдить по отношенію къ нѣкоторымъ стихотвореніямъ, какъ въ душѣ поэта постепенно формировался, укрѣплялся и развивался художественный образъ и какъ укладывались и варіировались въ сознаніи Пушкина поэтическіе мотивы, заимствованные имъ изъ нѣдръ русской народной поэзіи и изъ литературъ народовъ иноплеменныхъ". Съ точки зрѣнія фолькъ-лора разсмотрѣны слѣдующія произведенія Пушкина: Пророкъ, И путникъ усталый, Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда, Ненастный день потухъ, Зачѣмъ крутится вѣтръ въ оврагѣ, Нянѣ, Сонетъ, Кто знаетъ край, Казакъ, Гусаръ, Аріонъ, Дорожныя жалобы, Чудный сонъ, Стансы, Стихи сочиненные ночью, Стихи о лампадѣ, Мадонна, Романсъ, Поэтъ, Эхо, Шотландская пѣсня, Къ А. П. Кернъ, Откуда къ намъ, Что свѣтъ зари, Осень, Зимній вечеръ, Анчаръ, Соловей, Мнѣ бой знакомъ, Татарская пѣсня, Подражанія Корану, Стансы, Стихи о слезахъ, Воспоминаніе, Желаніе, Опять я вашъ, Даръ напрасный, Красавица, Глухой глухова, Притча, Стихи о рифмѣ, Прозаикъ и поэтъ, О дѣва роза, Женихъ, Сказки Пушкина и дополненія къ предшествующимъ статьямъ. Этюды проф. Сумцова, безъ сомнѣнія, будутъ полезны и для біографа Пушкина, и для критики его произведеній. Но общая точка зрѣнія возможна только для изслѣдователя, который овладѣетъ всѣмъ литературнымъ матеріаломъ, относящимся къ Пушкину.

Тотъ, кто будетъ составлять полную библіографію отзывовъ о Пушкинскихъ произведеніяхъ, конечно, упомянетъ и о книгѣ г. Головина „Русскій романъ и русское общество" (Спб. 1897 г.), такъ же относящейся къ критикѣ Пушкина, какъ неупомянутая нами выше, книжка г. Авдѣева 1874 г., подъ названіемъ „Наше общество (1820—1870) въ герояхъ и героиняхъ литературы". Г. Головинъ слѣдитъ отраженіе байронизма въ трехъ періодахъ развитія Пушкина, съ выходомъ его въ послѣднемъ періодѣ на самостоятельную дорогу, причемъ Онѣгинъ явился развѣнчаннымъ Байроновскимъ типомъ. Оставаясь на почвѣ общихъ соображеній и психологическаго анализа, г. Головинъ ставитъ высоко романъ Пушкина, не касаясь однако повѣстей Бѣлкина и историческихъ романовъ Пушкина.

Съ 1897 г. начинается рядъ семейныхъ записокъ и воспоминаній о Пушкинѣ, которыя освѣщаютъ съ новыхъ сторонъ личность

поэта. Едва ли это движеніе въ изученіи Пушкина не вызвано „Записками А. О. Смирновой". Такова статья г. Францевой „А. С. Пушкинъ въ Бессарабіи" (изъ семейныхъ преданій, съ неизданными стихотвореніями, отрывками первой редакціи Цыганъ и шуточнымъ донесеніемъ генералу Инзову А. С. Пушкина. Русское Обозрѣніе 1897 г. январь-мартъ). Въ Русскомъ же Обозрѣніи 1897 г. г. Черняевымъ разобранъ „Пророкъ Пушкина въ связи съ подражаніями Корану". Авторъ упрекаетъ проф. Незеленова за произвольное натянутое толкованіе „Пророка" (написанъ на смерть княгини М. А. Голицыной, урожденной Суворовой, и представляетъ иносказательную исповѣдь поэта, въ любви къ усопшей), а Анненкова за легенду о томъ, что „Пророкъ" былъ въ карманѣ у поэта во время представленія его императору Николаю I и оканчивался еще стихами—„Возстань, возстань, пророкъ Россіи!",—каковые авторъ считаетъ даже непринадлежащими Пушкину, — что принято Стоюнинымъ и друг. Такимъ образомъ, г. Черняевъ возбуждаетъ вопросъ о подложныхъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Небольшая, но интересная брошюра В. С. Соловьева „Судьба Пушкина" (Спб. 1898 г.) касается вопросовъ о геніи съ сильной чувственностью, съ постоянной борьбой между требованіями разсудка, стремленіями къ высшимъ идеаламъ и увлеченіями сердца, и страстей. Авторъ иллюстрируетъ нѣсколькими стихотвореніями Пушкина разновременное и противоположное отношеніе его къ одному и тому же предмету страсти. Отсюда объясняется „раздвоеніе между поэзіей, т. е. жизнью, творчески просвѣтленною, и жизнью дѣйствительною или практическою". И авторъ держится примиряющаго безразличнаго взгляда на трагическій исходъ судьбы Пушкина, вовлеченнаго своими страстями и оправданнаго Провидѣніемъ Божіимъ въ своихъ страданіяхъ.

Не въ первый разъ мы уже встрѣчаемся въ дни воспоминаній о великихъ поэтахъ съ неожиданными появленіями небывавшихъ въ печати прибавленій, окончаній и т. п. къ существующимъ уже произведеніямъ великихъ поэтовъ. Таковъ вопросъ, возникшій въ наши дни о подлинности окончанія „Русалки" Пушкина по записи г. Зуева. Самый подробный и всесторонній разборъ этого вопроса принадлежитъ извѣстному лингвисту акад. Коршу, интересный и вообще для изученія Пушкина.

Въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и Эфрона 1898 г. (томъ XXV-а) помѣщена подробная біографія Пушкина проф. А. И. Кирпичникова, къ которой присоединены: Собранія сочиненій Пушкина, Переводы главнѣйшихъ произведеній Пушкина на иностранные языки и Библіографія важнѣйшихъ сочиненій о Пушкинѣ, его критики, празднованія юбилеевъ. Судя по этому очерку, мы можемъ ожидать отъ автора подробной біографіи Пушкина. Изъ изданій, явившихся въ настоящемъ году, заслуживаютъ упоминанія слѣдующія. Второе изданіе, дополненное (нѣсколькими новыми статьями и дополнительными замѣтками), съ приложеніемъ неизданнаго письма Пушкина, подъ ред. К. Я. Грота „Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники", статьи и матеріалы Я. Грота (Спб. 1899 г). Вотъ важнѣйшія дополненія въ этомъ новомъ изданіи: Письмо А. С. Пушкина къ И. И. Мартынову, къ В. Д. Вальховскому; Еще о лицейскихъ товарищахъ Пушкина: Декабристъ въ Сибири, П. Ѳ. Гревеницъ, Вдова поэта барона А. А. Дельвига, Замѣтка издателя. Для біографа Пушкина это изданіе чрезвычайно важно. Полезнымъ также трудомъ является изданіе г. Каллаша „Русскіе поэты о Пушкинѣ, сборникъ стихотвореній" (Москва, 1899 г.), посвященное обращеніямъ къ поэту съ первыхъ шаговъ его на литературномъ поприщѣ до настоящихъ дней. Здѣсь не только панегирическая критика Пушкина, но и эпиграммы. И все это дополняетъ исторію отношеній къ Пушкину читателей и критики.

Пересмотръ частныхъ вопросовъ о Пушкинѣ, не только отдѣльныхъ произведеній его, но и вліяній, подъ которыми развивался поэтъ, характеризуетъ изученіе историковъ литературы нашего времени. Такова интересная брошюра г. Сиповскаго „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ (Изъ литературной жизни Пушкина на югѣ)" (Спб. 1899 г.). Авторъ съ обычной смѣлостью и удачей выступаетъ противъ установившихся голословныхъ утвержденій о вліяніи Байрона на Пушкина и указываетъ на бо̀льшее вліяніе Шатобріана, настроеніе котораго овладѣло нашимъ поэтомъ, „подсказывая ему меланхолическіе мотивы тоски и разочарованія не только при созданіи поэмы „Кавказскій Плѣнникъ",—но и нѣкоторыхъ лирическихъ произведеній болѣе ранней эпохи".

Обращаемся теперь къ трудамъ акад. Л. Н. Майкова по изученію Пушкина, связаннымъ съ академическимъ изданіемъ „Сочиненій Пушкина", томъ первый которыхъ явился на дняхъ въ велико-

лѣпномъ изданіи, обнимающемъ „Лирическія стихотворенія 1812—1817 гг.“. Рядъ статей автора, посвященныхъ предварительному изученію Пушкина, соединенъ въ двухъ „историко-литературныхъ очеркахъ“ 1895 г. и 1899 г., первый подъ названіемъ „Историко-литературныхъ очерковъ“, второй—„Пушкинъ, біографическіе матеріалы и историко-литературные очерки“. Содержаніе перваго изданія составляютъ: Бессарабскія воспоминанія Вельтмана и его знакомство съ Пушкинымъ, Изъ сношеній Пушкина съ Н. Н. Раевскимъ, Воспоминанія Шевырева о Пушкинѣ, Пушкинъ о Батюшковѣ, О поѣздкѣ Пушкина на Кавказъ въ 1829 г., Пушкинъ и Даль, О стихотвореніяхъ Пушкина Туча и Аквилонъ. Содержаніе новаго сборника „Пушкинъ“ включаетъ нѣкоторыя предшествующія статьи и еще новыя: Молодость Пушкина по разсказамъ его младшаго брата, записки Пущина о дружескихъ связяхъ его съ Пушкинымъ, А. Н. Вульфъ и его дневникъ, Воспоминанія Марковой-Виноградской (Кернъ), Князь Вяземскій и Пушкинъ объ Озеровѣ (по матеріаламъ Остафьевскаго архива), Знакомство Пушкина съ семействомъ Ушаковыхъ (1826—1830), Наталья Кирилловна Загряжская. Съ обычной обстоятельностію и проникновеніемъ въ новые матеріалы авторъ даетъ интересное объясненіе среды, въ которой жилъ поэтъ и объясняетъ намъ дѣйствительное теченіе жизни Пушкина въ своеобразныхъ условіяхъ современной ему жизни. Все это является необходимымъ объясненіемъ тѣхъ случайныхъ, нерѣдко анекдотическихъ, крайностей, въ которыхъ до сихъ поръ рисовалась жизнь и дѣятельность Пушкина. Дѣйствительно, будущему біографу поэта предстоитъ изобразить жизнь поэта въ такой обстановкѣ русской жизни, которая уже ушла отъ насъ въ глубь прошлаго. Воскресить это прошлое, хотя бы въ существенныхъ чертахъ, значитъ объяснить личность великаго поэта. Такъ измѣнились условія изученія Пушкина со времени его первыхъ критиковъ. Для Бѣлинскаго достаточно было проникнуть въ идеи печатныхъ произведеній Пушкина; для послѣдующихъ критиковъ его понадобились справки съ воспоминаніями и письмами; далѣе стали изучать секретные матеріалы цензуры сочиненій Пушкина; наконецъ, теперь возстановляются личности выдающихся современниковъ поэта въ ихъ отношеніяхъ. Дѣйствительно, какъ выразился кто-то, біографія Пушкина будетъ картиной умственной жизни русскаго общества первой половины настоящаго столѣтія, по крайней мѣрѣ, до 50-хъ годовъ. Не будемъ останавливаться, чтобы не увеличивать размѣровъ нашихъ

краткихъ замѣтокъ, писанныхъ не при особенно благопріятныхъ условіяхъ, разборомъ другихъ книгъ и статей, напримѣръ, Педагогическаго Сборника, г. Острогорскаго, г. Бороздина, и друг. Извиняемся передъ читателями за библіографическій характеръ нашихъ замѣтокъ, притомъ далеко не полный. Критика Пушкина во всемъ объемѣ своемъ и войдетъ и входитъ въ изданіе его Сочиненій, предпринятое Императорской Академіей Наукъ въ томъ же направленіи, какъ изданіе Сочиненій Державина. Нельзя не порадоваться появленію I-го тома Сочиненій Пушкина. Но пока будетъ доведено до конца это изданіе—національное и, конечно, обѣщающее новое развитіе науки русской литературы, какъ не разъ уже было при изученіи великаго русскаго поэта, думаемъ, что и случайныя замѣтки обозрѣвателя главныхъ направленій въ изученіи Пушкина, въ отношеніи къ нему русскихъ поклонниковъ, будутъ приняты съ снисхожденіемъ къ тому, что уже сказано нами о Пушкинѣ ранѣе.

Заключимъ наши замѣтки объ отношеніи русской критики въ широкомъ смыслѣ къ Пушкину и обзоромъ появившихся статей, отчетовъ о рѣчахъ въ наши дни празднованія столѣтняго юбилея со дня рожденія величайшаго русскаго поэта. Кто-то выразился, что 26 мая—не одинъ день чествованія, а чествованіе предстоитъ, по русскому обычаю, цѣлый годъ—вплоть до новаго столѣтія. Составится не одна книга для обзора передуманнаго и пережитаго празднующими память русскаго поэта, русскаго писателя, слова котораго хоть изрѣдка, хоть иногда приходятъ на память всякому знакомому съ этой неумирающей поэзіей. Но мы возьмемъ нѣсколько журналовъ, нѣсколько газетъ и укажемъ что намъ понравилось изъ сказаннаго современниками,—особенно если сказанное дополняетъ, разъясняетъ прежнее недосказанное о Пушкинѣ.

Журналъ „Жизнь“ 1899 г., за май мѣсяцъ, богатъ статьями о Пушкинѣ, которыя составили цѣлый сборникъ. Здѣсь мы находимъ интересную статью проф. Овсянико-Куликовскаго „А. С. Пушкинъ, какъ художественный геній“, въ которой критикъ-психологъ уаазываетъ глубокое значеніе и типовъ Пушкина (Онѣгина, Татьяны, Донъ-Жуана, Сальери, скупого Рыцаря) и его лирики. Онѣгинъ такой же лишній человѣкъ, какъ Рудинъ и Лаврецкій, Татьяна—болѣе общечеловѣческій типъ, Донъ-Жуанъ въ „Каменномъ Гостѣ“—хищникъ любовной страсти, Моцартъ и Сальери—представители геніальности и зависти и т. д. Типы Пушкина это богатые матеріалы для пси-

хологіи страстей. Лиризмомъ характеризуются почти всѣ произведенія Пушкина, и сила этого лиризма очень велика у поэта, какъ у Гейне, у Мицкевича и др. Очевидно, Пушкинъ такой же прекрасный матеріалъ для новѣйшей науки (психологіи, теоріи литературы, исторіи общества), какъ и другіе геніальные поэты стараго и новаго міра. И это можно признать помимо сожалѣнія о его преждевременно-прерванной дѣятельности, объ унесенныхъ въ могилу сокровищахъ духа, художнической энергіи, отзывчивости и развивавшагося таланта обобщенія, образности, гармоніи. Г. Соловьевъ въ статьѣ „А. С. Пушкинъ въ потомствѣ" дѣлаетъ краткій очеркъ отношенія къ Пушкину критики, читателей и задается вопросомъ, чѣмъ же дорогъ для насъ поэтъ? Поэтъ этотъ, въ виду отсутствія сносной біографіи его и критики сочиненій, все еще загадка для насъ. Но свѣтлый взглядъ Пушкина на жизнь и міръ, но его противорѣчіе жестокому вѣку, его гимнъ свободѣ даютъ право на безсмертіе въ потомствѣ. Критикъ, вспоминая Бѣлинскаго, не придаетъ значенія ни рѣчи Достоевскаго, ни прославленнымъ выводамъ А. Григорьева, ни новому взгляду В. С. Соловьева на судьбу Пушкина. Послѣднему онъ посвящаетъ особенное вниманіе, упрекая философію Соловьева за сухость и схоластику. Интересная статья проф. Алексѣя Н. Веселовскаго „А. С. Пушкинъ и европейская поэзія" еще разъ разсматриваетъ вопросъ объ отношеніи Пушкина къ европейской литературѣ, и нѣтъ голоса за его отсталость, за неполноту образованія. Напротивъ, глубокія свѣдѣнія нашего поэта въ европейской литературѣ соединяются въ его творчествѣ съ національнымъ богатымъ содержаніемъ, независимостью, самобытностью. Здѣсь есть и нѣсколько новыхъ самостоятельныхъ указаній на отношеніе поэзіи Пушкина къ Беранже („Моя родословная" и Le vilain), Мольеру, англійскимъ поэтамъ, и проч. Опять сильный доводъ противъ холодныхъ разсужденій о паденіи таланта Пушкина въ концѣ его жизни, о трагическомъ концѣ его, какъ исходѣ изъ неудачъ, изъ замиравшей жизни. Въ статьѣ г. Изгоева „Смерть въ поэзіи А. С. Пушкина" затронутъ вопросъ объ отношеніи Пушкина къ послѣдующей литературѣ, именно къ выдающимся русскимъ романистамъ, хотя и не полно; но выводъ о глубокихъ сомнѣніяхъ современнаго человѣка, которыя раздѣлялъ Пушкинъ, о пантеистическомъ міровоззрѣніи его придаетъ новое значеніе поэзіи Пушкина. „Пушкинъ, говоритъ авторъ, является поэтомъ будущаго, многія произведенія его будутъ съ одинаковымъ наслажденіемъ чи-

таться въ концѣ XX вѣка, какъ читаются и теперь. Русской поэзіи и русской творческой философской мысли еще предстоитъ вернуться къ Пушкину". Невольно припоминается предсказаніе Гоголя въ статьѣ—1832 г. „Нѣсколько словъ о Пушкинѣ": „Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть явится чрезъ 200 лѣтъ".

Къ статьѣ „О дружбѣ Пушкина и Мицкевича" можно добавить, что „Воевода" и „Будрысъ и его сыновья" 1833 г. не представляютъ дословныхъ переводовъ изъ Мицкевича: многія имена передѣланы, многія подробности измѣнены Пушкинымъ. Въ статьѣ г. Славинскаго „О дружбѣ Пушкина и Мицкевича" не вырѣшенъ вопросъ о томъ, насколько зналъ Пушкинъ польскій языкъ. Въ статьѣ г. Андреевича „А. О. Смирнова объ А. С. Пушкинѣ" вопросъ о подлинности „Записокъ" Смирновой остается открытымъ. Упоминаніе о слогѣ „Мамаева побоища" въ сопоставленіи съ „Словомъ о Полку Игоревѣ" (на стр. 200) наводитъ на нѣкоторыя сомнѣнія, если этотъ разговоръ происходилъ въ 1831 г. Наконецъ, въ этомъ обильномъ статьями журналѣ находимъ статью проф. Некрасова „Къ вопросу о значеніи Пушкина въ исторіи русскаго литературнаго языка".

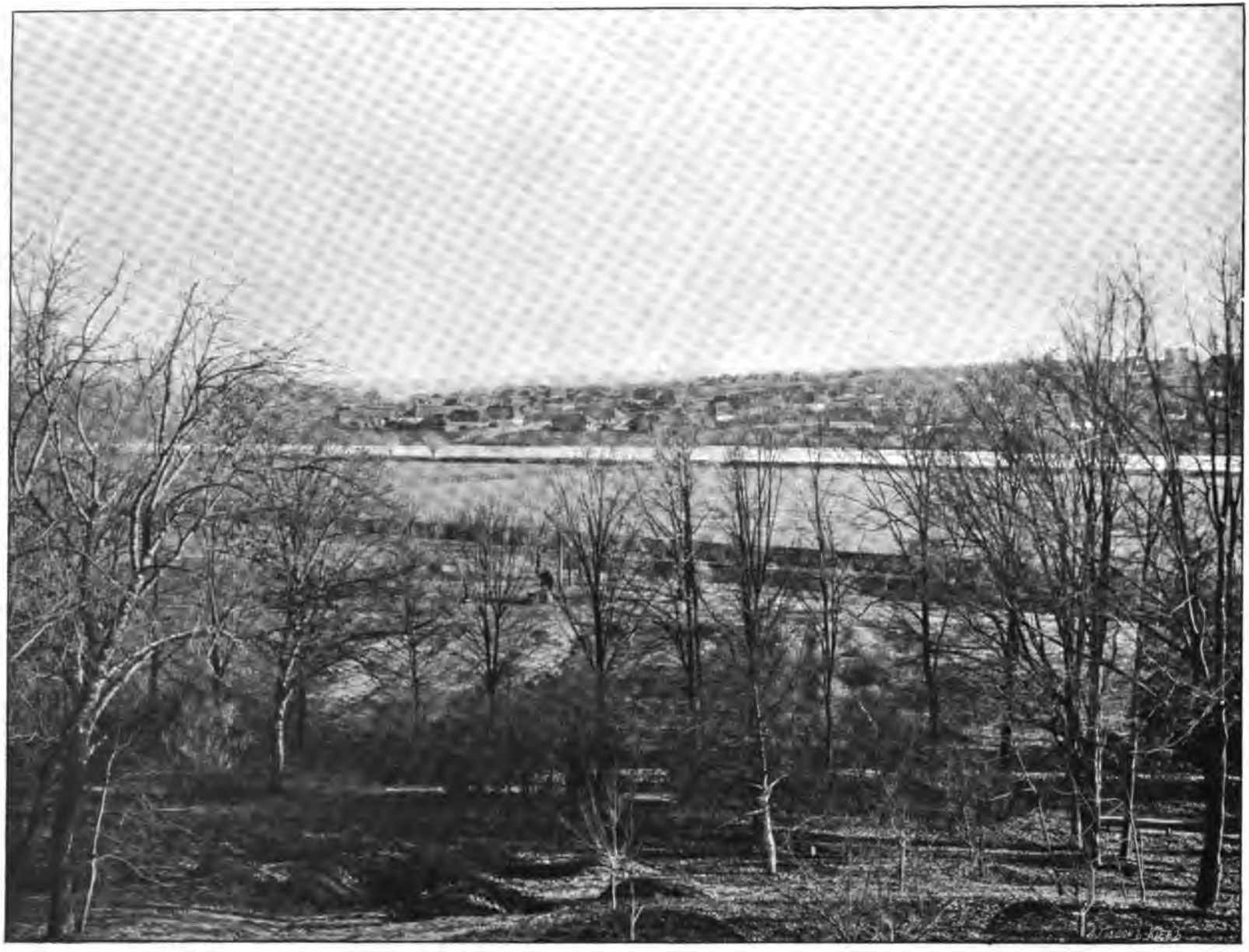
Также интересны статьи, помѣщенныя въ „Русской Старинѣ", за май-іюнь, напр. г. Сиповскаго „Татьяна, Онѣгинъ и Ленскій (къ литературной исторіи Пушкинскихъ типовъ)". Интересенъ методъ автора, состоящій въ анализѣ чтенія героевъ и другихъ сличеній съ иностранной литературой. Онѣгинъ-байронистъ, Чайльдъ-Гарольдъ, Ловласъ Ричардсона, Грандисонъ, герой изъ „Новой Элоизы" Руссо. Онѣгинъ такимъ образомъ мозаичный, коллективный типъ пародія на иностранныхъ героевъ, представитель обезъяничанья русскаго общества. Но это не только литературный типъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительный герой, по скольку поэтъ находилъ его въ собственныхъ думахъ, впечатлѣніяхъ и въ наблюденіяхъ надъ такими современиками, какъ А. Н. Раевскій. Такъ и въ Ленскомъ отразились черты Карамзина, Андрея Тургенева, Жуковскаго, С. Аксакова, С. Глинки, Одоевскаго. Въ тѣхъ же книжкахъ „Русской Старины" помѣщена статья г. Залкинда „Литературно-критическія воззрѣнія А. С. Пушкина", въ которой указывается вѣрность критическаго взгляда поэта на иностранную и русскую литературы.

Такимъ же богатствомъ статей отличается „Историческій Вѣстникъ“ за май, въ которомъ находимъ слѣдующія статьи, посвященныя А. С. Пушкину: „Нашъ великій поэтъ“ П. Н. Полевого; „Пушкинъ и поэзія дѣйствительности“ А. К. Бороздина, „Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина“ Б. В. Никольскаго, „А. С. Пушкинъ въ Казани (изъ исторіи Казанской общественности 30-хъ и 40-хъ годовъ)“ Н. П. Загоскина, „Анна Петровна Кернъ и романсъ—Я помню чудное мгновеніе“ В. А. Тиханова, Похороны Пушкина и его могила“ М. П. Каспійскаго, „Кто впервые принялся переводить Пушкина и прототипы переводовъ его на 50 языковъ и нарѣчій міра“ П. Д. Драганова. Статья „Нашъ великій поэтъ“ касается вопроса о вліяніи среды на Пушкина. Біотрафическій интересъ ея выше, чѣмъ въ „Исторіи русской литературы въ очеркахъ и біографіяхъ“, и это естественно, такъ какъ интересный въ свое время цѣльный трудъ того же автора по исторіи русской литературы въ отдѣлѣ о Пушкинѣ былъ основанъ на однихъ „Матеріалахъ“ Анненкова. Интересно отмѣтить замѣчаніе автора о томъ, что ему „пришлось слышать балладу „Утопленникъ“ въ самомъ незатѣйливомъ исполненіи одного псковскаго крестьянина, между прочими народными пѣснями“ (476 стр.). Вопросъ этотъ настолько интересенъ, что я позволю себѣ здѣсь отмѣтить еще два-три факта. Всякій знаетъ, въ какомъ видѣ появляются стихотворенія Пушкина въ народныхъ пѣсенникахъ и на лубочныхъ картинкахъ. Сюжетовъ этихъ немного и нерѣдко искажены они до грубости, соотвѣтствующей общему тону подобнаго рода произведеній. Остаются христоматіи для народной школы, составленныя людьми образованными, въ которыхъ Пушкинъ, дѣйствительно, является въ своемъ настоящемъ видѣ и то смотря по вкусу издателя. Такъ что фактъ, засвидѣтельствованый г. Полевымъ, заслуживаетъ полнаго вниманія. Въ статьѣ г. Бороздина „А. С. Пушкинъ и поэзія дѣйствительности“ есть нѣсколько соображеній, заслуживающихъ вниманія. Онѣгинъ—типъ сатирическій, Татьяна, не представляя ничего особеннаго, типъ идеальный по своему простодушію. Въ „Клеветникахъ Россіи“ и въ „Бородинской годовщинѣ“ нѣтъ злобы по отношенію къ полякамъ, а, напротивъ, выражается гуманное, незлобивое чувство. Г. Никольскій въ статьѣ „Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина“ останавливается на вопросѣ о разладѣ между читателями и поэтомъ въ послѣдній періодъ его дѣятельности, о теоріи отношенія поэта къ читателямъ, созданной въ это время Пушкинымъ. Авторъ очень внимательно пе-

ресматриваетъ эти вопросы съ духовной точки зрѣнія. Очеркъ написанъ съ большой любовью къ дѣлу. Въ этомъ щекотливомъ вопросѣ Пушкинъ находитъ оправданіе, въ виду стремленія его къ положительному идеалу—служенію дѣлу, а не людямъ, служенію идеѣ долга. Отсюда выводится, что поэтъ стоялъ выше своихъ современниковъ, былъ геніальный поэтъ. Не будемъ остонавливаться на остальныхъ статьяхъ Историческаго Вѣстника, касающихся въ интересныхъ очеркахъ частностей въ житейскихъ отношеніяхъ поэта.

Для полноты нашего очерка упомянемъ и о газетныхъ извѣстіяхъ по поводу выдающихся рѣчей въ Москвѣ и Петербургѣ, произнесенныхъ 26 мая и въ слѣдующіе дни. Русскія Вѣдомости дали слѣдующій рядъ статей о Пушкинѣ. Въ № 143, 26 мая, помѣщены статьи г. Якушкина „Пушкинъ и его литературная работа“ и г. Веневитинова „О чтеніяхъ Пушкинымъ Бориса Годунова въ 1826 г. въ Москвѣ“. Естественно, что Москва обратила вниманіе на все, что такъ или иначе связано съ именемъ Пушкина. Статья г. Веневитинова такъ же интересна, какъ статья г. Казанскаго „Отношенія А. С. Пушкина къ Москвѣ“ въ Русской Мысли, за май. Когда говорятъ о поэтѣ,—невольно является противопоставленіе умственной жизни—суетѣ т. н. свѣта, или Грибоѣдовской Москвѣ. По словамъ г. Казанскаго, эта Москва является въ сочиненіяхъ и письмахъ Пушкина—скучной, бѣдной, пустой. Въ № 144 приводится рѣчь проф. Стороженки, по всей вѣроятности, въ сокращеніи; но и въ этомъ видѣ она является столь же живой, какъ рѣчь проф. Ключевскаго. Когда появятся эти рѣчи вполнѣ въ печати, то, конечно, онѣ дадутъ, съ одной стороны, интересныя сопоставленія съ западноевропейской литературой, съ другой стороны—съ русской жизнью. Въ № 145 приведена цѣликомъ рѣчь проф. Кирпичникова „Пушкинъ и Московскій университетъ“. Какъ ни незначительны эти отношенія въ рѣчи проф. Кирпичникова, они разсказаны вполнѣ обстоятельно и живо. И настоящее воспоминаніе, какъ и предыдущія юбилейныя, принесли оправданія „личности Пушкина“, которыя выразились въ рѣчи г. Иванова, помѣщенной въ № 146.

Этимъ мы ограничиваемся въ передачѣ отзывовъ о Пушкинѣ, вызванныхъ настоящими празднествами, ожидая со всѣми почитателями памяти поэта появленія описаній торжествъ и изслѣдованій на основаніи массы прежнихъ и новыхъ свѣдѣній о выдающемся русскомъ писателѣ.



Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Видъ съ „Пушкинскаго грота“ въ Каменкѣ.

Изъ пушкинской юбилейной литературы у славянъ.

(Литературные отголоски пушкинскаго столѣтняго юбилея).

Шестьдесятъ два года тому назадъ, по поводу безвременной кончины такъ прискорбно угасшаго генія, въ № отъ 30 янв. 1837 г. „Литературныхъ Прибавленій“ къ „Русскому Инваливу“ Краевскаго были напечатаны слѣдующія строки, кратко но чрезвычайно выразительно отмѣтившія всю великость понесенной Русью утраты: „Солнце нашей поэзіи закатилось! Пушкинъ скончался, скончался во цвѣтѣ лѣтъ, въ срединѣ своего великаго поприща! .. Болѣе говорить о немъ не имѣемъ силы, да и не нужно: всякое русское сердце знаетъ всю цѣну этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будетъ растерзано. Пушкинъ! Нашъ поэтъ! Наша радость, наша народная слава! Неужли въ самомъ дѣлѣ нѣтъ у насъ Пушкина?.. Къ этой мысли нельзя привыкнуть!.. 29 янв. 2 ч. 45 м. пополудни“.

Это сказано было о томъ, кто, по словамъ Полежаева (Вѣнокъ на гробъ Пушкина 1837 г.), будучи

Другъ волшебный сновидѣній
Онъ понялъ тайну вдохновеній,
Возсталъ, какъ новая стихія,
Могучъ и славенъ и великъ,
И изумленная Россія
Узнала гордый свой языкъ! [1])

---

[1]) Отзывъ Гоголя по поводу смерти Пушкина дышитъ едва ли не еще большею скорбью, граничащею притомъ съ отчаяніемъ, что не удивительно ни для кого, кто знаетъ, чѣмъ былъ для Гоголя усопшій поэтъ: „Все наслажденіе моей

Откуда этотъ вопль наболѣвшей души? Чѣмъ объяснить такую глубокую скорбь, гдѣ причина этого безпредѣльно унылаго настроенія, такъ художественно иногда выраженнаго въ разныхъ поэтическихъ произведеніяхъ того времени (см., напр., сборникъ г. Вл. Каллаша „Русскіе поэты о Пушкинѣ“ М. 1899 г. Любопытно также недавно напечатанное въ „Сѣверномъ Краѣ“ письмо кн. П. А. Вяземскаго къ гр. Э. К. М. Пушкиной отъ 16 февраля 1837 г.)?

Русское читающее общество, а въ его лицѣ и весь русскій народъ потеряли тогда въ поэтѣ лучшаго, благороднѣйшаго выразителя своей духовной сущности и одного изъ величайшихъ художниковъ слова всѣхъ временъ и народовъ, и вышеприведенные скорбные возгласы выражали, быть можетъ, только ничтожную долю того безысходнаго всероссійскаго горя, которое въ сущности не могло уложиться ни въ какія стихотворныя и нестихотворныя рамки...

Для западныхъ и южныхъ славянъ смерть Пушкина, по обстоятельствамъ того времени, должна была пройти, сравнительно, довольно безслѣдно, за исключеніемъ поляковъ, находившихся, сравнительно съ прочими славянами, въ гораздо болѣе благопріятныхъ условіяхъ въ дѣлѣ знакомства съ русскою текущею литературою. Впрочемъ, некрологъ Пушкина явился не только у поляковъ—сочувственный и обстоятельный отзывъ Мицкевича въ повременномъ изданіи „Le Globe“,—но и у чеховъ, именно во временникѣ „Květý“ за 1838 г., а нѣсколько раньше, въ извѣстномъ изданіи Чешскаго музея „Časopis“... за 1837 г., былъ помѣщенъ переводъ жизнеописанія Пушкина, сдѣланнаго Полевымъ. Краткую замѣтку о Пушкинѣ по поводу его ранней, довременной и трагической смерти находимъ и въ хорватскомъ временникѣ „Danica“ (Денница) за 1837 г.

У словаковъ смерть Пушкина вызвала, впрочемъ спустя уже нѣсколько лѣтъ, задушевное стихотвореніе Андрея Сладковича (Браксаториса) Duchu Puškinovmu: „Spevac severa, brat duše mojej“

жизни,—пишетъ онъ Плетневу,—все мое высшее наслажденіе изчезло вмѣстѣ съ нимъ. Боже! Нынѣшній трудъ мой (Мертвыя души), внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его. Нѣсколько разъ принимался за перо — и перо падало изъ рукъ моихъ. Невыразимая тоска!..“. „Моя утрата всѣхъ больше— писалъ онъ же Погодину:—я и сотой доли не могу выразить своей скорби... Мои свѣтлыя минуты моей жизни были минуты, когда я творилъ. Когда я творилъ, я видѣлъ предъ собою только Пушкина... Ничего не предпринималъ я, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что у меня есть хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему...“.

(см. Поэзія Славянъ, Гербеля, рус. переводъ подъ заглавіемъ „Тѣни Пушкина“).

А между тѣмъ нашъ поэтъ въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи „Памятникъ“ не только заявилъ свои справедливыя права на „нерукотворный“ памятникъ, но и опредѣлилъ возможныя границы своей славы въ будущемъ, указавъ на тѣ причины, благодаря которымъ его извѣстность приметъ указанные имъ размѣры. Дѣйствительность, какъ извѣстно, далеко превзошла пророческія ожиданія поэта какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи, такъ что оцѣнка, которую онъ произвелъ самъ себѣ, гораздо ниже и одностороннѣе той, какую сдѣлало ему чуткое и благодарное потомство. Это потомство хорошо понимало, что поэтъ не былъ нескроменъ, когда, по примѣру Горація и Державина, заговорилъ еще при жизни о своемъ памятникѣ: во первыхъ, въ этомъ выразилась извѣстная литературная манера, или, лучше сказать, практика, во вторыхъ самый памятникъ этотъ предполагался „нерукотворный“ въ видѣ той благодарной славы, той широкой извѣстности и среди современниковъ и еще болѣе въ отдаленныхъ вѣкахъ, о которой, конечно, позволительно мечтать поэту, какъ о единственной нерѣдко его наградѣ въ сей скорбной юдоли...

Поняло это потомство и въ своей признательности къ славѣ поэта опередило его чаянія... Списокъ народовъ, среди которыхъ Пушкинъ предполагалъ свою извѣстность въ будущемъ, теперь долженъ быть значительно пополненъ и увеличенъ. Скромность поэта сказалась, между прочимъ, въ томъ, что онъ мечталъ о своей славѣ только на пространствѣ русскаго государства, среди разнородныхъ племенъ, подчиненныхъ русской державѣ; но настоящая дѣйствительность, повторяю, далеко оставила за собою эту скромную мечту поэта и подчинила ему весь образованный міръ; его назвалъ „всякъ языкъ“ не только русской земли, но всей Европы—болѣе того: всѣхъ сколько нибудь образованныхъ странъ міра.

Среди всѣхъ этихъ племенъ и народовъ наше вниманіе по понятнымъ причинамъ особенно останавливается на славянахъ. Что сдѣлано у нихъ для славы Пушкина, для распространенія обаянія его имени въ народной массѣ, насколько его извѣстность охватила ихъ мельчайшія и отдаленнѣйшія народности? Нѣкоторый отвѣтъ на эти любопытные вопросы могутъ дать истекшіе юбилейные дни, когда чествовалось столѣтіе рожденія Пушкина. Чествованіе это такъ или

иначе охватило почти всѣ славянскія народности, и изъ различныхъ способовъ его, иногда довольно разнообразныхъ и любопытныхъ, мы остановимся по преимуществу на тѣхъ, которые имѣли литературный характеръ.

Такъ, особый интересъ, по нашему мнѣнію, представляло празднованіе Пушкинскаго юбилея славянскою учащеюся молодежью въ Вѣнѣ. Всѣ существующія тамъ славянскія литературныя общества и кружки молодежи, каковы напр. Зора, Балканъ, Буковина, Огниско, Словенія, Звонимиръ, Кружокъ любителей русскаго языка, условились впредь объединяться для торжественнаго чествованія великихъ славянскихъ писателей, и первый опытъ такого объединенія имѣлъ мѣсто на пушкинскомъ празднествѣ, удавшемся довольно хорошо. Если этотъ желанный обычай укрѣпится и утвердится, то имъ мы будемъ обязаны, конечно, юбилею Пушкина, чему нельзя не порадоваться.

У поляковъ чествованіе Пушкина носило, какъ кажется, въ общемъ характеръ своего взаимнаго примиренія, а отчасти и свѣтской утонченной любезности, какъ бы отвѣчавшей на чествованіе памяти Мицкевича русскими, хотя, конечно, и съ ихъ стороны были выражены прямодушныя и искреннія заявленія. Въ Петербургѣ юбилейное пушкинское торжество сосредоточилось вокругъ редакціонной литературной группы польскаго повременнаго изданія „Край“, устроившаго это симпатичное чествованіе и почтившаго память русскаго поэта сочувственными статьями и замѣтками. Въ передовой статьѣ „Края“ по этому поводу мы находимъ, напримѣръ, такія строки: „Всѣхъ, какъ ближайшихъ, такъ и отдаленныхъ участниковъ чествованія соединяло, думаемъ мы, общее желаніе воздать честь тому, кто, составляя славу литературы, олицетворяетъ въ себѣ тѣмъ самымъ высшее духовное начало русскаго народа“...

Въ устроенномъ редакціею „Края“ юбилейномъ пушкинскомъ обѣдѣ участвовали представители варшавской печати и Краковской Академіи наукъ; тамъ разными польскими ораторами было произнесено нѣсколько достопримѣчательныхъ и любопытныхъ рѣчей, которыя вмѣстѣ съ многочисленными присланными изъ разныхъ мѣстъ и отъ разныхъ лицъ телеграммами, свидѣтельствовали иногда о неподдѣльномъ чувствѣ удивленія и преклоненія поляковъ предъ великимъ русскимъ геніемъ поэзіи. Весь этотъ любопытный матеріалъ собранъ въ книжкѣ „Русскопольскія отношенія и чествованіе поляками Пушкина“ Спб. 1899 г., и мы подробно останавливаться на немъ не бу-

демъ; отмѣтимъ лишь нѣкоторыя знаменательныя частности. Изъ телеграммъ обращаютъ на себя вниманіе присланныя, во первыхъ, сыномъ Мицкевича изъ Парижа, затѣмъ членомъ прусской палаты господъ Іосифомъ Косцельскимъ, писателями: Гловацкимъ (Б. Прусъ) Іосифомъ Третьякомъ, Элиз. Оржешковой и др.

Изъ петербургскихъ же рѣчей и чтеній въ разныхъ отношеніяхъ любопытны и цѣнны сообщенія гг. В. Спасовича, редактора „Края" Эр. Пильца и Ст. Пташицкаго (о Борисѣ Годуновѣ). Краковское чествованіе привлекло довольно значительную группу лучшихъ людей этой столицы польской учености, и тамъ между рѣчами и сообщеніями нѣкоторыя были такого рода, что невольно останавливали на себѣ вниманіе; впрочемъ, если судить только по имѣющимся въ печати даннымъ, почти ни одно изъ этихъ сообщеній не охватывало предмета всесторонне и не разсматривало его съ какихъ либо новыхъ, не использованныхъ еще точекъ зрѣнія.

Тѣмъ не менѣе между этими рѣчами и сообщеніями нѣкоторыя обнаружили значительную долю чутья истины и безпристрастія. Встрѣчались и такія заявленія и признанія, которыя, не взирая на всю ихъ относительную скромность, а также иногда и правдивость, еще недавно врядъ ли были бы возможны въ устахъ польскихъ писателей и публицистовъ. Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ заявленій (см. рѣчь г. Соколовскаго): „Пушкинъ въ началѣ 19 столѣтія былъ для Россіи тѣмъ же, чѣмъ Данте былъ для Италіи на зарѣ 14 вѣка. Онъ выковалъ русскій языкъ, онъ не только создалъ изъ языка могущественнѣйшей отрасли славянскаго племени музыкальный инструментъ, но и положилъ начало великой русской литературѣ! Безъ Пушкина не было бы и Льва Толстого съ цѣлымъ его всемірнымъ и общечеловѣческимъ значеніемъ. Пушкинъ былъ великимъ поэтомъ, и не напрасно послѣ его смерти Мицкевичъ писалъ: еслибъ не было Байрона, Пушкинъ былъ бы признанъ величайшимъ поэтомъ нашей эпохи"... Въ началѣ же рѣчи г. Соколовскаго находимъ любопытное признаніе необходимости и для поляковъ возвратиться къ здоровымъ демократическимъ славянскимъ началамъ и стремиться къ сближенію съ остальными славянами и взаимному ознакомленію. Вотъ это мѣсто: „... всѣ славянскія племена и народности съ окончаніемъ нашего столѣтія начинаютъ стремиться къ сближенію на полѣ культурнаго развитія, къ взаимному ознакомленію и пониманію тѣхъ общихъ всѣмъ имъ особенностей, которыя покоятся въ основѣ всѣхъ огромныхъ и

ничѣмъ еще не зачеркнутыхъ различій. Одновременно повсюду, а особенно у насъ (поляковъ), выступаютъ снизу народныя массы и пробуждаются къ жизни. Съ этимъ вмѣстѣ выступаютъ и, по самой природѣ вещей, должны выступать впередъ народныя начала, племенное, расовое, этническое, а слѣдовательно и славянское. Въ нашемъ внутреннемъ быту мы начинаемъ возвращаться къ эпохѣ Пястовъ, т. е. ко времени, когда мы были болѣе близки къ прочимъ славянамъ, чѣмъ впослѣдствіи" и т. д... Во всякомъ случаѣ въ общемъ нельзя не порадоваться этому участію поляковъ во всеславянскомъ чествованіи русскаго поэта; это чествованіе является, конечно, знаменательнымъ шагомъ впередъ въ русско-польскихъ отношеніяхъ и несомнѣнно должно благотворно отразиться на общемъ ходѣ междуславянскихъ отношеній и развитія и осуществленія идеи славянской взаимности и сближенія.

Чешская литература тоже не осталась глухою къ пушкинскому торжеству, и въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ (какъ, напр., Nar. Listy статья г. К. Штѣпанка въ № 156, Slovansky Přehled, Osvěta, Krok, Květy, Česka Revue и мн. др.) находимъ самые сочувственные отзывы и сообщенія о немъ. Авторъ статьи во вліятельномъ ежемѣсячникѣ „Osvěta" (кн. 7, стр. 639—645, Stoleté jubileum Puškina) І. Тужимскій оканчиваетъ ее слѣдующими правдивыми строками: „Stoleté jubileum narození Puškinova jest radostnym listem v dějinách Slovanstva. Sblížení Slovanské v duchu Puškinově učinilo zase krok ku předu. Pro Rusko i pro Slovanstvo ostanou slavnosti ty historickou udalostí" (Столѣтній юбилей рожденія Пушкина — радостный листокъ въ исторіи славянства. Славянское сближеніе въ духѣ Пушкина сдѣлало опять шагъ впередъ. Эти торжества останутся историческимъ событіемъ для Руси и славянства).

Въ изящной иллюстраціи „Zlata Praha" № 30 находимъ стихотвореніе Авг. Е. Мужика „Alex. S. Puškin", статью „Tři postavy (образа) poezie Puškina" и другую статью г. Штѣпанка „Ke stým narozeninám A. S. Puškina" (къ 100-лѣтію рожденія) съ портретомъ поэта, изображеніемъ его памятника въ Москвѣ и тремя рисунками сценъ изъ оперъ: Евгеній Онѣгинъ, Дубровскій, Пиковая дама. Въ концѣ статьи г. Штѣпанка высказаны слѣдующія мысли: „Obliba Puškinova u nas byla vždycky veliká.. Netreba také zapominati, že genius Puškinův působil na mnohé naše básníky z originalův již od dob Čelakovského. Tim spíse můžeme tedy připojiti se k radostnému choralu ruského národa, ozývajicímu se v těch to dnech všude, kde

hlaholí krasný a bohatý jazyk ruský“ (Произведенія Пушкина у насъ всегда были излюбленными... Не нужно также забывать, что его геній имѣлъ вліяніе на многихъ изъ нашихъ поэтовъ еще отъ временъ Челаковскаго. Тѣмъ скорѣе мы можемъ присоединиться къ радостному хоралу русскаго народа, раздающемуся въ эти дни всюду, гдѣ только звучитъ прекрасный и богатый русскій языкъ).

Юбилейныя пушкинскія торжества не прошли безслѣдно и для дѣла распространенія произведеній поэта въ чешской народной массѣ и увеличенія количества переводовъ изъ него. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ Вилимково народное иллюстрированное изданіе чешскаго перевода повѣстей Пушкина (въ Прагѣ, выходитъ выпусками въ 2 печатныхъ листа, цѣною въ 15 крейц. каждый; цѣна, принимая во вниманіе достоинство изданія, очень общедоступна).

У болгаръ разныя повременныя изданія, напримѣръ, Български Прѣгледъ, Българска Сбирка, выпустили пушкинскіе NN съ значительнымъ количествомъ болѣе или менѣе любопытныхъ статей и замѣтокъ; въ этомъ послѣднемъ изданіи находимъ, напримѣръ, любопытную передовую статью: „Поезия-та на Пушкина“ Н. Бобчева, заканчивающуюся такими строками: „Творения-та на Пушкина въ днешно врѣме съставятъ, може да се каже, достояние на цѣло-то человѣчество, и той може да се причисли къмъ всесвѣтски-тѣ гении, съ произведения-та на кои то се наслаждаватъ всички народи. Пушкинови-тѣ произведения сѫ извѣстни въ прѣводи на повече отъ 50 езици“. (Творенія Пушкина въ настоящее время составляютъ, можно сказать, достояніе цѣлаго человѣчества, и онъ, можетъ быть, причисленъ къ всесвѣтнымъ геніямъ, произведеніями которыхъ наслаждаются всѣ народы. Сочиненія Пушкина извѣстны въ переводахъ болѣе, чѣмъ на 50 языковъ).

Въ этой же книгѣ помѣщенъ стихотворный переводъ пьесы „Каменный гость“, а въ мартовской книгѣ былъ напечатанъ переводъ Цыганъ (Чергари), сдѣланный извѣстнымъ безвременно скончавшимся поэтомъ Алек. Константиновымъ. Такимъ образомъ, и у болгаръ пушкинскіе дни послужили къ размноженію пушкинской литературы и увеличенію количества переводовъ, еще не достаточно, впрочемъ, многочисленныхъ. Вѣроятно, это обстоятельство происходитъ отъ того, что, благодаря близости своего правописанія и языка съ русскимъ, образованные болгары имѣютъ возможность читать произведенія рус-

скихъ писателей, а тѣмъ болѣе Пушкина, въ подлинникѣ, и переводы необходимы тамъ развѣ для простолюдиновъ... Такъ или иначе, но количество болгарскихъ переводовъ Пушкина еще очень незначительно (см. статью Драганова „Пушкинъ въ переводахъ“ въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ за 1899 г. и нашу статью „Пушкинъ у славянъ“ въ „Сборникѣ Пушкину“, изд. Кіевск. Педагогическ. Обществомъ къ юбилею. 1899 г.)

Изъ сербохорватскихъ отзывовъ особенно любопытна торжественная рѣчь хорватскаго ученаго Миливоя Шрепеля „Puškin i hrvatska književnost“, читанная въ засѣданіи истор.-филологич. разряда Югославянской академіи Наукъ (см. Ljetopis Jugoslavenske akademije znan. i umjetn. za god. 1898, 118—140 стр.) и законченная слѣдующими прекрасными строками: „Ruski narod slaveći danas jubilej Puškinov na način, koji je dostojan i pjesnika i naroda, podaje čast ne samo slavnomu pjesniku, nego i osnovaču svoje umjetne pojezije, odužuje se uspomeni čovjeka, koji mu je ono, što je Nijemcima Göthe.

Puškin je već davno osvojio sjajno mjesto u svjetskoj književnosti, njegova su djela prevedena na bezbrojne jezike tako, da je ruskim bibliografima prava muka sastaviti točan popis sviju prijevoda Puškinove pojezije. Takovi geniji, kakov bješe Puškin, ne žive samo svome narodu, nego svemu svijetu. Mi Hrvati pridružujemo se slavi ruskoga naroda cijeneći Puškina ne samo kao pjesničkoga prvaka, nego i kao velika Slovena, kao jednu od najsjajnijich zvijezda na širokom obzorju slavenskom (Русскій народъ, славя сегодня юбилей Пушкина способомъ, достойнымъ и поэта и народа, чествуетъ въ немъ не только славнаго поэта, но и основателя своей художественной поэзіи, уплачиваетъ долгъ памяти человѣка, который для него тó же, что для нѣмцевъ Гете.

Пушкинъ давно уже занялъ блестящее мѣсто въ міровой литературѣ; его произведенія переведены на безчисленные языки, такъ что для русскихъ библіографовъ является чистою мукою составить точный списокъ всѣхъ переводовъ пушкинской поэзіи. Такіе геніи, каковъ Пушкинъ, живутъ не только для своего народа, но и для всего міра. Мы, хорваты, раздѣляемъ славу русскаго народа, цѣня Пушкина не только какъ перваго поэта, но и какъ великаго славянина, какъ одну изъ наияснѣйшихъ звѣздъ на широкомъ славянскомъ небосклонѣ).

Рѣчь М. Шрепеля важна и нѣкоторыми цѣнными библіографическими указаніями, которыя, конечно, будутъ съ благодарностью приняты къ свѣдѣнію всѣми почитателями пушкинской музы; такихъ указаній особенно много во второй ея половинѣ, гдѣ, если не съ исчерпывающею полнотою, то съ значительной основательностью указаны слѣды вліянія Пушкина на хорватскую литературу, начиная съ извѣстнаго „иллира“ Станка Враза, продолжая Деметеромъ, Медо Пуцичемъ и др. и оканчивая новѣйшими данными. Указано, напримѣръ, на раннее знакомство Ст. Враза съ стихотвореніями русскаго поэта, изъ которыхъ онъ неоднократно бралъ эпиграфы для своихъ сочиненій, напримѣръ, для сборника „Glase iz dubrave žeravinske“ или баллады „Fredrik i Verunika“, на которой очень сказалось вліяніе поэмы „Бахчисарайскій фонтанъ“; такъ монологъ томящейся въ темницѣ Вероники очень напоминаетъ жалобы Заремы, причемъ у Враза, какъ и у Пушкина, въ этихъ мѣстахъ ихъ произведеній мѣняется самый характеръ изложенія; встрѣчаются совпаденія даже въ отдѣльныхъ выраженіяхъ.

У Деметера тоже находимъ слѣды вліянія пушкинской поэзіи. Такъ пѣсня невольницъ-татарокъ въ V отдѣлѣ его поэмы „Grobníčko polje“:

Liepo 'e vidjet, na nebesih
Kad se zora rumeni
Liepo 'e vidjet, kad se resi
Ruža listi crveni...

напоминаетъ своимъ построеніемъ такую же пѣсню въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“:

Даруетъ небо человѣку
Замѣну слезъ и частыхъ бѣдъ:
Блаженъ факиръ, узрѣвшій Мекку
На старости печальныхъ лѣтъ [1]).

---

[1]) Приводимъ кстати эту пѣсню въ хорватскомъ переводѣ Ив. Тернскаго:

Blago nebo dâ čoeku
Olakšicu mukâ, suzâ:
Blâžen fakir, kaj'na Meku
U nevolji star dopuza.

И продолженіе у обоихъ поэтовъ почти тожественно: One poju... Tatarkan ne čuje (у Пушкина: Онѣ поютъ. Но гдѣ Зарема?).

Пѣсня „Prosto zrakom ptica leti“ въ XI отдѣлѣ той же поэмы такъ и напрашивается на сравненіе съ извѣстной пѣсенкою изъ „Цыганъ“: „Птичка Божія не знаетъ“.

Произведенія третьяго „иллира“ Боговича тоже обнаруживаютъ близкое знакомство его съ поэзіею Пушкина. Такъ, въ повѣсти „Slava i ljubav“ введены въ подлинникѣ извѣстные стихи о Наполеонѣ изъ VII гл. 37 строфы романа „Евгеній Онѣгинъ“: „Напрасно ждалъ Наполеонъ“...

На этой же повѣсти отразилось и вліяніе пушкинскаго романа „Дубровскій“.

Наконецъ, стихотвореніе „Клеветникамъ Россіи“ отразилось и на Кукульевичевомъ произведеніи „Pjesnikovim klevetnikom“ (Danica, 1845 г.).

Ознакомленіе хорватовъ съ пушкинскою поэзіею неизбѣжно должно было вызвать въ нихъ желаніе обогатить родную словесность возможно большимъ количествомъ переводовъ изъ нея и тѣмъ сдѣлать ихъ доступными и своей народной массѣ.

Уже въ 1842 г. редакторъ „Сербскихъ Новинъ“ Милошъ Поповичъ напечаталъ въ изданіи Ст. Враза „Kolo“ переводъ пушкинской повѣсти „Пиковая дама“ (Pik-Dame); до этого времени у хорватовъ не было переведено ни одного произведенія Пушкина.

Блаженъ, кто славный брегъ Дуная	Blažen, koji brieg Dunava
Своею смертью освятитъ:	Slavno krvom svom posveti
Къ нему навстрѣчу дѣва рая	S raja djeva ljeposlava
Съ улыбкой страстной полетитъ.	U susret mu milo leti.
Но тотъ блаженнѣй, о Зарема,	Blažen tri put tko Zaremu
Кто, миръ и нѣгу возлюбя,	U miran si stan unese
Какъ розу, въ тишинѣ гарема,	Ticho s ružom u haremu
Лелѣетъ, милая, тебя.	Sto milinâ užije se.

А вотъ окончаніе выше начатаго стихотворенія Деметера:

Liepo 'e vidjet, kad rumeni
Nebokrug večerni plam
Liepo 'e vidjet, mladoj ženi
Kad bo'adisa (краситъ) lica sram.
Nu tatarin sablju cjeni
Više ješte tri puta.
Sablju, koju krv crveni
Svog dušmana ubita (убитаго врага).

Особенно много переводилъ изъ него Ст. Вразъ, уже въ 1845 г. помѣстившій въ своемъ сборникѣ „Gusle i tambure“ переводъ стихотворенія „Зимній вечеръ“ (Zimski večer. Этотъ перев. см. въ книжкѣ „А. С. Пушкинъ въ славянскихъ переводахъ“ Варшава, 1899 г., сборникъ Пл. Кулаковскаго).

Изъ другихъ переводовъ Враза, очень цѣнящихся у сербовъ, отмѣтимъ „Ptička, Crni zavoj (Черная шаль), Borodinska godovština, Klevetnikom Rusije, Česma (фонтанъ) Bahčisarajska“. Изъ переводовъ Деметера укажемъ: Vojvoda, Crna koprena (Черная шаль). Къ сожалѣнію, этотъ даровитый поэтъ переводилъ изъ Пушкина очень мало.

Зато у Ивана Тернскаго списокъ пушкинскихъ переводовъ довольно великъ (онъ ихъ помѣщалъ преимущественно во временникахъ: „Glasonoš“, „Neven“, „Vienac“): Bahčisarajski vodomet, Kavkaski zarobljenik (Кавказскій плѣнникъ), Gospodična kao seljanka (Барышня-крестьянка), Onjegin и мн. др. Въ „Невенѣ“ же появился и неизвѣстно чей переводъ повѣсти „Дубровскій“, довольно удачный.

Графъ Медо Пуцичъ перевелъ „Klevetnicima Rusije“ въ изд. „Dubrovnik“ 1851 г., а переводчикъ Шекспира и Шиллера Спиридонъ Димитровичъ въ 1859 г.—„Ruslan i Ljudmila“ (въ „Narodn. Novinach“ и отдѣльно), затѣмъ въ 1860 г. вышли въ его переводѣ „Полтава“, „Братья разбойники“, „Цыганы“, „Евгеній Онѣгинъ“. Впрочемъ, переводы Димитровича, писателя очень плодовитаго—онъ перевелъ до 100 драмъ—далеко не всегда могутъ похвалиться удачнымъ исполненіемъ дѣла и часто заставляютъ желать многаго, хотя почти всегда отличаются удобопонятностью, что далеко не всегда встрѣчаемъ у другихъ сербохорватскихъ переводчиковъ.

Не безъ удачи переводилъ иногда изъ Пушкина и Маретичъ, переводъ котораго „Капитанской дочки“ (Kapetanova kći) считается лучшимъ у сербохорватовъ.

Въ изданіи „Hrvatska lipa“ вышелъ недурной ямбическій переводъ „Мѣднаго всадника“ (Mjedni konjik) Брлековича. За послѣднее время очень часто встрѣчались переводы пушкинскихъ произведеній въ изданіяхъ: Hrvatska vila“, „Hrvatska“, „Narodne Novine“, „Dom i sviet“, „Nada“ и др. (а раньше во временникахъ „Slavonac“, „Dragoljub“, „Vienac“ и др.).

Въ 1896 г. въ книгѣ Čitanka iz slavenske i madžarske književnosti помѣщенъ былъ вышеупомянутымъ Маретичемъ правильный переводъ „Полтавы“, а въ изд. „Matica“ вышелъ искусный ямбиче-

скій переводъ „Бориса Годунова“, сдѣланный Великановичемъ; кстати въ томъ же временникѣ „Matica“ за 1891 г. вышла Шрепелева работа о Пушкинѣ въ книгѣ „Pjesnički prvaci u prvoj polovini XIX vieka“.

Въ первой части разсматриваемой рѣчи г. Шрепеля находимъ нѣкоторыя любопытныя соображенія о знакомствѣ Пушкина съ поэмою „Сербіянка“ сербскаго поэта С. Милутиновича, пребываніе котораго въ Кишиневѣ, кстати сказать, совпало съ пребываніемъ въ этомъ городѣ русскаго поэта; именно этимъ знакомствомъ и объясняются, по мнѣнію Шрепеля, нѣкоторые неясные вопросы въ отношеніи состава и источниковъ пушкинскихъ „пѣсенъ западныхъ славянъ“, напримѣръ, одиннадцатой и двѣнадцатой—о Георгіи Черномъ и о воеводѣ Милошѣ; обѣ эти пѣсни онъ считаетъ перепѣвами изъ „Сербіянки“, въ подтвержденіе чего приводитъ нѣсколько довольно правдоподобныхъ доводовъ въ видѣ близкаго сходства въ содержаніи и даже въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ выраженіяхъ; для пѣсни о Георгіи Черномъ приводятся соотвѣтствующія мѣста изъ второй книги „Сербіянки“, а для пѣсни о Милошѣ—изъ третьей.

Разбирая тѣ изъ „пѣсенъ западныхъ славянъ“, которыя переведены Пушкинымъ непосредственно изъ Вукова сборника (Соловей, Сестра и братья), Шрепель находитъ этотъ переводъ въ общемъ прекраснымъ; исключеніе составляетъ то мѣсто первой пѣсни, которое поэтъ неправильно переписалъ изъ сборника Вука Стефановича Караджича и тѣмъ самымъ въ своемъ переводѣ его отступилъ отъ точнаго смысла народной пѣсни. Именно первая печаль молодца у Вука обозначена слѣдующимъ образомъ:

Прва ми је туга на срдашцу моме
Што ме ни је мајка оженила млада.

Пушкинъ ошибочно переписалъ здѣсь второй стихъ слѣдующимъ образомъ: Што мене је мајка оженила млада, и потому его переводъ:

Какъ ужъ первая забота—
Рано молодца женили

въ этомъ случаѣ не совпадаетъ съ подлинникомъ, гдѣ сказано наоборотъ; въ остальномъ все удачно.

Прочее содержаніе рѣчи Шрепеля состоитъ въ изложеніи извѣстной исторіи съ пѣснями Мериме „La Guzla“ Парижъ 1827 г.

Лужичане отмѣтили пушкинское празднество статьею Адольфа Зоммера „Aleksander Sergejevič Puškin, dopomnjenka na jeho 100 lětne narodniny“, помѣщенною въ ежемѣсячникѣ „Lužica“ за 1899 г. (нач. въ № 6). Тамъ же помѣщена и статейка г. М. А. о празднованіи юбилея поэта въ Петербургѣ и остальной Руси (W Pětrohrodzé a po wšcj Ruskej), но, къ сожалѣнію, мы не замѣтили, чтобы чествованіе столѣтней памяти Пушкина оказало вліяніе на увеличеніе лужицкихъ переводовъ его произведеній; по крайней мѣрѣ даже въ 6—7 №№ названнаго повременнаго изданія не оказывается ни одного такого перевода... А это очень жаль, потому что именно среди произведеній Пушкина имѣется множество такихъ, которыя вполнѣ пригодны для народной массы и могли бы оказывать на нее здѣсь, какъ и вездѣ, значительное гуманизирующее и облагораживающее вліяніе...

Лучшій литературный органъ словаковъ „Slovanske Pohlady“ тоже не остался чуждъ общаго славянскаго дѣла въ юбилейномъ празднованіи одного изъ величайшихъ славянскихъ поэтовъ; въ этомъ изданіи за 1899 годъ г. I. Шкультетый помѣстилъ обстоятельную статью: Alexander S. Puškin. Na storočnú pamiatku jeho narodenia; эта статья (кн. 6, 7, 9, 10, въ этой послѣдней глава IV Puškin u Slovakov) вмѣстѣ съ новыми переводами изъ юбиляра-поэта являются достаточнымъ доказательствомъ того значительнаго вниманія, которое удѣлилъ русскому поэту бѣдный и загнанный мадьярами словацкій народъ, столь симпатичный и заслуживающій глубокаго сочувствія со стороны всякаго, кому дороги интересы не только славянства, но и всего человѣчества. Относительно говоря, словаки въ пушкинскомъ юбилеѣ проявили дѣятельнаго участія даже болѣе, чѣмъ иныя изъ прочихъ славянскихъ племенъ, гораздо болѣе благополучныхъ въ политическомъ отношеніи и въ вопросѣ: быть или не быть...

Вотъ какъ, между прочимъ, заканчиваетъ свою статью въ 10 книгѣ „Slovan. Pohlady“ 1899 года г. Шкультетый: ...Styky s Rusmi, zaujimajucimi sa za slovanov, ožily, Ruska kniha, ktorá byvala majetkom len niekolkich najlepšich, dostáva sa do širšich kruhov, značna časť mladeže čitá po rusky, a redakciám je najlahšie o ruske preklady. I meno Puškina dostalo na Slovensku nóvý zvuk. Pravda, ruská literatura v tom čase bola na vyťáznom vyboju v Zapadnej Europe, a vy-

dobytu svoju posiciu i drži; ale u nas politické položenie tak rečem ešte zhoršilo sa a pre poštove poměry ruska kniha zostala drahá, ako bývala. Mnoho závisí od l'udi, od jednotlivcov... (т. е. Сношенія съ русскими, занимающимися славянствомъ, ожили; русская книга, которая бывала прежде достояніемъ только нѣсколькихъ счастливцевъ, распространяется среди болѣе широкихъ круговъ; значительная часть молодежи читаетъ по-русски, и для редакцій получать переводы съ русскаго очень легко. Имя Пушкина получило у словаковъ новый звукъ. Правда, русская литература была въ Западной Европѣ на побѣдномъ положеніи, которое удерживаетъ и теперь; у насъ же политическое положеніе скорѣе ухудшилось, и вслѣдствіе почтовыхъ причинъ русская книга по прежнему осталась дорогою вещью. Многое зависитъ отъ отдѣльныхъ личностей...). Въ послѣднее время болѣе другихъ переводили изъ Пушкина поэтъ Ваянскій и Само Бодицкій (Полтава и др.), кромѣ того и Людмила Подъяворинская (Пророкъ, Памятникъ и др. См. 6-ю книгу „Slov. Pohl." 1899 г.).

Червоноруссы также не остались равнодушными къ пушкинскимъ торжествамъ. Такъ, напримѣръ, въ 5 и 6 книгахъ львовскаго ежемѣсячника „Живое Слово" находимъ цѣлый рядъ важныхъ и неважныхъ статей и сообщеній, посвященныхъ великому поэту. При 5-й книгѣ помѣщенъ портретъ Пушкина, и имѣются такія, напримѣръ, работы: „Пушкинскій день", драматическая фантазія М. Глушкевича (въ стихахъ), рѣчь Достоевскаго о Пушкинѣ (перепечат.), очеркъ д-ра Д. Вергуна „Пушкинъ", статья Лашина „Пушкинъ и его значеніе для русскаго народа", библіографическая справка Ю. Я. „Пушкинъ въ Прикарпатской Руси",—наконецъ, любопытный этнографическій матеріалъ (подлинныя народныя сказки), предложенный г. Ю. Яворскимъ въ сообщеніи „Къ исторіи пушкинскихъ сказокъ". Въ книгѣ 6-й имѣется стихотвореніе Д. Вергуна „Памяти Пушкина" и сообщенія его же и Ю. Яворскаго о празднованіи пушкинскихъ дней въ Вѣнѣ, Петербургѣ, Львовѣ, о пушкинскомъ юбилеѣ въ галицко-русской печати.

„Дѣло" въ №№ 117, 120, 127, 136 и друг. (Львовъ, 1899 г.) помѣстило слѣдующія статьи и работы: Л. Турбацкій „Ювилей А. С. Пушкина", М. Старицкій „Зъ поэзій А. С. Пушкина" (Зимныи вечѣръ, Талисманъ, Элегія, Вязень (т. е. узникъ), Пушкинова Наташа, Зъ поэзіи Пушкина (перелож. Б. Лепкаго), „Пушкинское утро въ Львовѣ". Въ повременномъ изданіи „Русское Слово" (Львовъ) нахо-

димъ въ № 22 статью г. В. Я(нчакъ) „Столѣтіе рожденія наибольшаго русскаго поэта А. С. Пушкина“ съ портретомъ; другія статьи и замѣтки: „Пушкинъ а поляки“, Торжество въ честь Пушкина въ Львовѣ (№ 25). Въ № 117 „Руслана“ имѣется статья „Сьвято Пушкина“. Во временникѣ „Страхопудъ“ (Львовъ) помѣщены были статьи: „Памяти Пушкина“ стихотвореніе Ѳ. Савинова (№ 10 — 11), А. С. Пушкинъ (съ портретомъ).

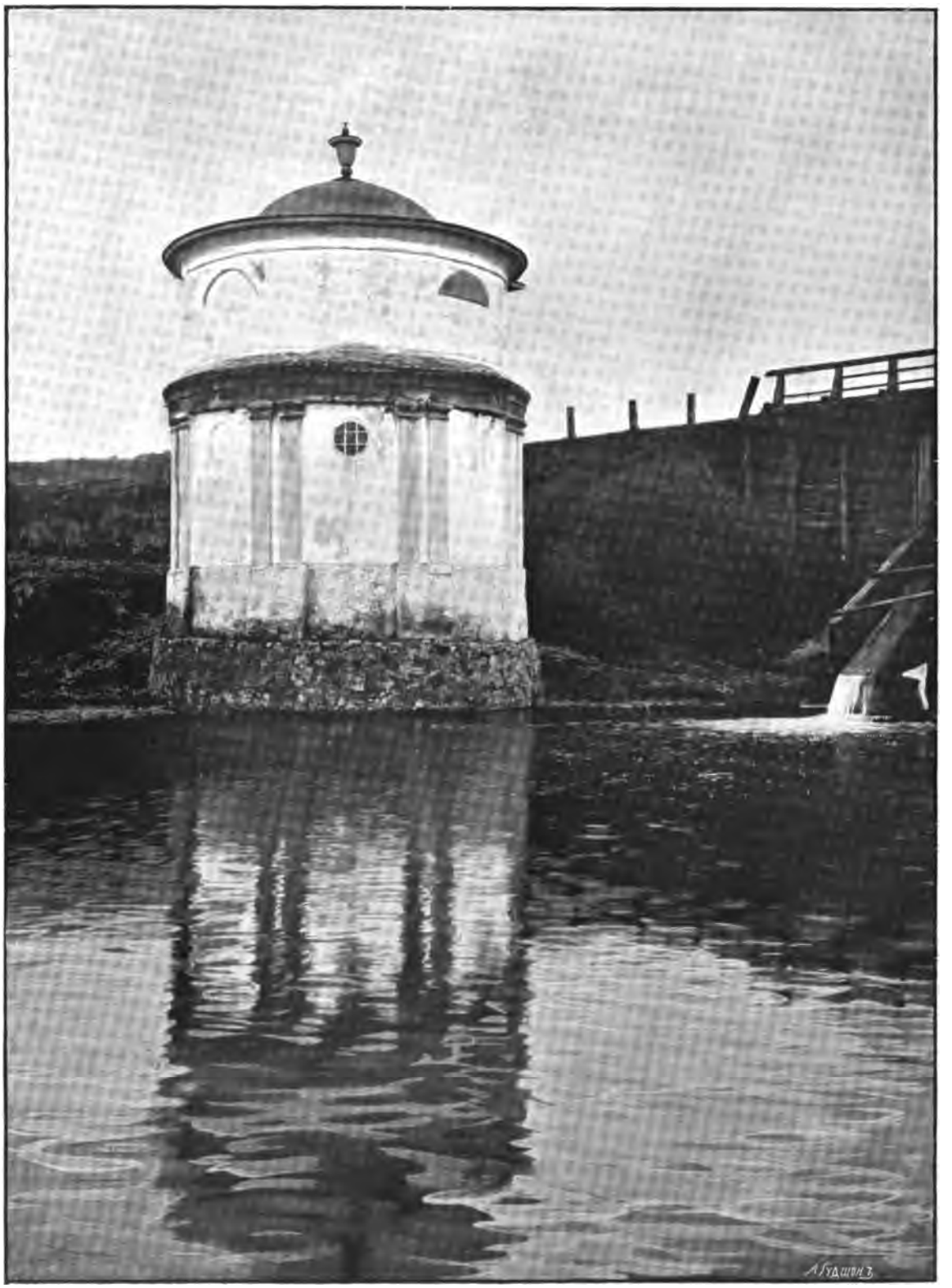
„Свобода“, літературно-науковый вістник (Львовъ), напечатала нѣсколько „переложеній изъ поэзіи Пушкина“, сдѣланныхъ гг. М. Старицкимъ и І. Стешенкомъ (вып. VI. отд. I, стр. 306 — 310) и статей, напр.: „Ювілей российскоі літературы и наші літературні позви“; „А. С. Пушкин в украінських перекладах“ (отд. 2, стр. 148—157).

Въ „Галичанинѣ“ за 1898 и 1899 гг. болѣе замѣчательны слѣдующія статьи и замѣтки: О. А. Мончаловскій „Вѣковой юбилей рожденія А. Пушкина“ съ портретомъ (прилож. къ № 117); М. В. Дѣдовъ: „Пушкинъ въ польской литературѣ“ (№№ 122—127); „Пушкинскія торжества въ Вѣнѣ“ (№ 123); „Пушкинскія торжества въ Львовѣ“ (№ 127, 129 ,133); „А. Пушкинъ—всерусскій поэтъ“ (№ 133—4, рѣчь Ю. Яворскаго), „Поэзія Пушкина“ (рѣчь). Отмѣтимъ еще, что въ Львовѣ основывается „Литературное Общество им. Пушкина“, задачею котораго будетъ изученіе и распространеніе русской литературы. (См. „Извѣстія по литературѣ, наукѣ и библіографіи“, изд. М. О. Вольфъ, 1899 г., № 1, октябрь).

Словинскія, или хорутанскія изданія, каковы, напримѣръ, Slovanski Svet, Ljubljanski Zvon, тоже не обошлись безъ пушкинскихъ статей того или другаго характера и безъ переводовъ изъ Пушкина, притомъ иногда напечатанныхъ кириллицею; во второмъ изъ этихъ изданій за 1899 г. находимъ статью о словенскихъ переводахъ изъ этого поэта, очень полезную для пушкинской библіографіи (такая же статья относительно словацкой литературы была помѣщена въ словацкомъ изданіи „Slovenske Pohlady“ за 1898 г., а относительно сербской—еще раньше, именно въ 1888 г. въ „Лѣтописи“ сербской матицы). Впрочемъ, что касается словинскихъ переводовъ изъ Пушкина, то ихъ все еще очень мало, но можно надѣяться, что пушкинскій юбилей послужитъ могучимъ толчкомъ къ увеличенію количества этихъ переводовъ, столь необходимыхъ для народной массы, если уже оставить въ сторонѣ образованный слой словинцевъ. Замѣтимъ кстати, что русское читающее общество, благодаря вышедшей къ юбилею

вышеуказанной книжкѣ г. Ил. Кулаковскаго „А. С. Пушкинъ въ славянскихъ переводахъ“ (Варшава, 137 стр., ц. 1 р.), имѣетъ полную возможность самолично ознакомиться съ разными славянскими переводами произведеній своего великаго поэта и оцѣнить ихъ достоинства и недостатки.

Въ предложенномъ краткомъ обзорѣ пушкинской юбилейной литературы у славянъ мы не имѣли въ виду исчерпывающей полноты данныхъ, для чего, между прочимъ, и не обладали достаточнымъ количествомъ матеріаловъ, добываніе которыхъ при современномъ состояніи междуславянскихъ книжныхъ и др. сношеній еще очень затруднительно; мы желали дать только общую, посильную *характеристику* литературнаго участія различныхъ славянскихъ племенъ въ празднованіи столѣтія рожденія Пушкина. Хотѣлось бы вѣрить, что на сдѣланномъ до сихъ поръ славянами для усвоенія себѣ произведеній Пушкина и распространенія среди народныхъ массъ его великаго имени и славы они не остановятся, что это—только начало предстоящей имъ великой и дружной работы. *Такой* нерукотворный памятникъ, созданный славянами ихъ величайшему и симпатичнѣйшему пѣвцу, былъ бы, конечно, наилучшимъ и прочнѣйшимъ увѣковѣченіемъ его имени въ народахъ и самымъ цѣлесообразнымъ исполненіемъ его чудныхъ художественныхъ завѣтовъ.



Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Старая мельница въ Каменкѣ.

А. С. Пушкинъ въ Каменкѣ.[1)]

Тебя, Раевскихъ и Орлова,
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебѣ два слова...

Изъ письма А. С. Пушкина В. Л. Давыдову.

Въ Чигиринскомъ уѣздѣ Кіевской губерніи, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ станціи Фастовской желѣзной дороги Каменки, раскинулось по берегамъ р. Тясмина значительное мѣстечко съ обширной барской усадьбой Давыдовыхъ, въ которой повсюду, даже надъ многочисленными новшествами позднѣйшихъ временъ, до сахарнаго завода

---

[1]) Подготовляя чествованіе при Университетѣ св. Владиміра юбилея А. С. Пушкина, комиссія поручила мнѣ отправиться въ Каменку, чтобъ сдѣлать снимки съ наиболѣе замѣчательныхъ ея мѣстъ и вообще собрать все, что относится къ пребыванію въ ней А. С. Пушкина. Въ началѣ марта 1899 года я посѣтилъ Каменку, вмѣстѣ съ фотографомъ-любителемъ, студентомъ Университета св. Владиміра А. Т. Васильевымъ, сдѣлавшимъ рядъ снимковъ, которые были на Пушкинской выставкѣ при Университетѣ св. Владиміра, и нынѣ находятся въ библіотекѣ названнаго Университета; большинство изъ этихъ снимковъ приложено къ юбилейному университетскому сборнику въ память А. С. Пушкина; для сборника были выбраны тѣ фотографіи, которыя даютъ общее представленіе о Каменкѣ или же воспроизводятъ отдѣльныя мѣста, связанныя съ именемъ нашего поэта. Такихъ мѣстъ въ Каменкѣ сохранилось не много; еще меньше другихъ слѣдовъ пребыванія А. С. Пушкина въ Каменкѣ. Портретовъ, автографовъ Пушкина я не нашелъ тамъ, старыхъ изданій его сочиненій — тоже. Въ архивѣ имѣнія, какъ мнѣ нѣсколько разъ было повторено Н. В. Давыдовымъ и другими лицами, ничего, кромѣ конкурсныхъ и под. дѣлъ, нѣтъ. Фамильныхъ портретовъ семьи Давыдовыхъ на мѣстѣ не оказалось, и портреты, приложенные къ сборнику, взяты изъ коллекціи

включительно, вѣетъ какая-то величавая печаль, слѣдъ былой, пережитой, невозвратимой славы.

Берега Тясмина здѣсь довольно возвышенны; въ одномъ мѣстѣ они нѣсколько сближаются и образуютъ нависшіе надъ рѣкой скалистые утесы, отъ которыхъ и самое мѣстечко получило свое названіе; особенно красивы утесы съ рѣки. У этихъ утесовъ, говорятъ, любилъ отдыхать покойный П. И. Чайковскій, подъ тихій рокотъ и плескъ струй Тясмина.

Большою проѣзжею дорогой усадьба Давыдовыхъ раздѣляется на двѣ части. Правая (если смотрѣть съ стороны рѣки) теперь полузаброшена. Лучше всего въ ней сохранилась Свято-Николаевская деревянная церковь, построенная „въ 1817 году тщаніемъ генералъ-майорши Екатерины Давидовой". Недавно, въ 1893 году, она была обновлена, но безъ крупныхъ измѣненій ея первоначальнаго вида. Неподалеку отъ церкви, правѣе и ближе къ рѣкѣ, стоялъ большой домъ, опустѣвшій послѣ декабрьскихъ событій 1825 г., а позднѣе и совсѣмъ снесенный: на мѣстѣ его теперь разростается молодой фруктовый садъ. Еще правѣе и ближе къ Тясмину находится искусствен-

---

Д. Л. Давыдова. Много портретовъ, по словамъ Н. В. Давыдова, хранится въ Юрчихѣ (возлѣ Каменки) у П. В. Давыдова и его сына, но попасть туда, въ виду отсутствія владѣльцевъ Юрчихи, мнѣ никакъ не удалось. Сохранились въ семействѣ гг. Давыдовыхъ нѣкоторыя воспоминанія объ А. С. Пушкинѣ; они были любезно сообщены мнѣ и изложены въ настоящей статьѣ. Вообще, гг. Давыдовы, несмотря на нѣсколько неожиданный для нихъ пріѣздъ нашъ, отнеслись къ намъ съ рѣдкимъ гостепріимствомъ, любезностью и участіемъ, о которыхъ мы вспоминаемъ съ чувствомъ самой глубокой, искренней признательности. Нѣкоторыми указаніями мы были обязаны мѣстному священнику В. В. Радзимовскому, давно живущему въ Каменкѣ и женатому на дочери старожила Каменки, бывшаго мѣстнаго же священника; пользуюсь случаемъ еще разъ выразить благодарность о. Радзимовскому и его женѣ, а также и другимъ лицамъ, оказавшимъ намъ содѣйствіе въ Каменкѣ.

Въ концѣ апрѣля 1899 г. я ѣздилъ въ Екатеринославъ съ цѣлью поискать и тамъ чего-либо, относящагося къ А. С. Пушкину. Въ мѣстной газетѣ, *Приднѣпровскомъ Краѣ*, не мало писали о Пушкинѣ и среди мѣстныхъ жителей я встрѣтилъ самое живое участіе къ своимъ поискамъ, но съ точностью нельзя было даже установить, гдѣ жилъ поэтъ: одни помѣщали его на Мандрыковкѣ, предмѣстьѣ Екатеринослава, другіе — въ усадьбѣ бывшей Александрова, нынѣ Глуберманъ, на Литейной улицѣ, возлѣ завода г. Заславскаго; и въ томъ, и въ другомъ мѣстѣ старыхъ построекъ не сохранилось, мѣстность измѣнилась до неузнаваемости. Что касается разсказовъ о Пушкинѣ, то всѣ они носятъ анекдотическій характеръ. Дѣлъ о Пушкинѣ въ архивѣ Губернскаго Правленія мнѣ не удалось найти.

ный гротъ, по разсказамъ, служившій нѣкогда лѣтнею столовою; въ настоящее время это чисто побѣленный погребъ, гдѣ складываются разные овощи и фрукты. Съ грота открывается одинъ изъ лучшихъ видовъ Каменки: по склонамъ возвышенія, на которомъ расположена усадьба, спускается садъ; подальше, за лугомъ, длинной лентой тясетси Тясминъ; за нимъ въ безпорядкѣ раскинулась зарѣчная часть мѣстечка. Нѣкогда, садъ былъ гораздо больше и доходилъ почти до самой рѣчки; онъ былъ гордостью усадьбы, лучшей красой ея, о чемъ теперь безмолвно свидѣтельствуютъ грандіозные пни срубленныхъ великановъ да нѣсколько уцѣлѣвшихъ внизу противъ грота старыхъ деревьевъ; но и послѣднія обречены уже на смерть, такъ какъ среди нихъ развился какой-то вредный древесный паразитъ, для борьбы съ которымъ дѣйствительно лишь одно средство—уничтоженіе зараженнаго дерева.

Лѣвая, въ настоящее время главная, часть усадьбы полна новой жизни, которая смела здѣсь всякіе остатки старины. Всѣ постройки здѣсь новы и своимъ видомъ, отчасти даже мѣстоположеніемъ, мало напоминаютъ то, что смѣнили онѣ. Таковъ же и садъ; къ большей части его примѣнимы слова Пушкина:

Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась.

Былое уцѣлѣло лишь въ воспоминаніяхъ да на любопытномъ рисункѣ, хранящемся у Давыдовыхъ съ пятидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, когда онъ былъ сдѣланъ однимъ изъ Давыдовыхъ карандашемъ съ натуры. Рисунокъ представляетъ современный ему видъ именно лѣвой части усадьбы, а эта часть помѣстья съ двадцатыхъ годовъ и до той поры, къ которой относится рисунокъ, почти не измѣнялась, если не считать хатъ, нарисованныхъ на переднемъ планѣ рисунка и построенныхъ послѣ 1825 г. Такимъ образомъ, видъ Каменки по этому рисунку даетъ представленіе и о томъ, какими были во времена Пушкина мѣста, впослѣдствіи измѣнившіяся до неузнаваемости, до полнаго уничтоженія всѣхъ вещественныхъ памятниковъ старины, столь дорогихъ, какъ увидимъ далѣе, памятью о великомъ поэтѣ.

На рисункѣ виденъ флигель—крайній справа изъ находящихся на возвышеніи построекъ [1]); въ немъ жили молодые члены семьи, оста-

[1]) „Большой“ домъ, какъ сказано выше, былъ въ правой части усадьбы.

навливались гости; лѣвѣе и ниже—„маленькій сѣренькій домикъ“ [1]) съ колонками, т. н. бильярдная, которая, какъ и нынѣшній „зеленый домикъ“, стоящій на ея мѣстѣ [2]), была окружена садомъ, но этотъ послѣдній тогда былъ значительно меньше и доходилъ лишь до обрыва. Въ бильярдной, посрединѣ комнаты, стоялъ бильярдъ, а у стѣнъ помѣщались книги, такъ что здѣсь, повидимому, была и библіотека. Разсказываютъ, будто въ бильярдной собирались декабристы, съ именемъ которыхъ соединяется въ Каменкѣ еще одинъ оригинальный памятникъ старины, существующій и понынѣ—старая водяная мельница, находящаяся нѣсколько въ сторонѣ отъ усадьбы. Колесъ и другихъ мельничныхъ принадлежностей въ ней не видно; она давно уже не дѣйствуетъ, и сомнѣваются, дѣйствовала ли она когда-нибудь; построенная изъ камня и кирпича, она напоминаетъ какую-то башню и стоитъ одиноко, наглухо заколоченная, какъ-то странно выдѣляясь своимъ необычнымъ видомъ и угрюмымъ молчаньемъ среди шума, движенья проѣзжей дороги и сахарнаго завода. Носится слухъ, будто строитель ея выдалъ декабристовъ, собиравшихся въ Каменкѣ, и съ тѣхъ поръ мельница заброшена; другіе указываютъ на нее, какъ на мѣсто тайныхъ собраній декабристовъ...

Еще не такъ давно въ Каменкѣ много можно было услышать о далекихъ прошлыхъ временахъ и событіяхъ, которыми такъ богатъ этотъ уголокъ съ его обитателями, игравшими не послѣднюю роль въ общественной нашей жизни. Ходитъ и теперь не мало различныхъ разсказовъ, но живыхъ свидѣтелей минувшихъ дней—немного, а для двадцатыхъ годовъ почти и вовсе нѣтъ. Живетъ въ Каменкѣ Ирина Зубрицкая, старуха 85 лѣтъ по опредѣленію мѣстнаго священника; сама она ужъ потеряла счетъ своимъ годамъ. Она родилась въ Каменкѣ, долго служила семейству Давыдовыхъ, была замужемъ за ихъ старымъ слугой, помнитъ, что дѣвочкой была взята къ барскому двору, что за покойную барыню Екатерину Николаевну жили очень весело, гости наѣзжали часто; о Пушкинѣ ничего не знаетъ и только въ концѣ разговора замѣтила, что это, вѣрно, былъ тотъ главный, изъ-за котораго и въ Сибирь пошли.—Пушкинъ не изъ тѣхъ, что сосланы были, пояснили старухѣ.—Значитъ, онъ вывернулся, а другіе пошли, такъ заключила Зубрицкая.

---

[1]) Такъ выглядѣлъ онъ, по словамъ мѣстной старожилки-крестьянки.

[2]) См. домикъ на переднемъ планѣ слѣва, по фотографіи, изображающей „часть усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ, въ ея нынѣшнемъ видѣ“.

Среди владѣльцевъ Каменки, которыхъ мнѣ удалось видѣть, есть лица, сохранившія смутную память о встрѣчѣ съ Пушкинымъ, относящейся, впрочемъ, не ко времени пребыванія Пушкина въ Каменкѣ, а къ тридцатымъ годамъ. Удержались кое-какія воспоминанія и о той порѣ, когда Пушкинъ бывалъ въ Каменкѣ, но это лишь отзвуки слышаннаго, во всякомъ случаѣ очень интересные и цѣнные, такъ какъ исходятъ они отъ ближайшихъ участниковъ событій двадцатыхъ годовъ.

Жили въ Каменкѣ до декабрьской катастрофы широко. Во главѣ семьи стояла Екатерина Николаевна Давыдова, урожденная Самойлова, племянница свѣтлѣйшаго князя Потемкина [1]). Въ первомъ бракѣ она была за Раевскимъ, и Н. Н. Раевскій, извѣстный генералъ 12-го года, былъ сыномъ ея отъ этого брака; вторично вышла замужъ за Льва Денисовича Давыдова. Объ Екатеринѣ Николаевнѣ въ Каменкѣ сохранилась память, какъ о женщинѣ съ большимъ характеромъ, умомъ и вліяніемъ; все вокругъ нея жило полною жизнью. Кромѣ Давыдовыхъ, семья которыхъ была довольно значительна, въ Каменкѣ живали Раевскіе, бывали гости. И. Д. Якушкинъ, случайно попавшій въ Каменку, оказался въ обществѣ Давыдовыхъ, генерала Раевскаго и его сына Александра, Пушкина, Орлова и Охотникова [2]). 24-го ноября, въ день именинъ хозяйки, давались балы, на которые собиралось много гостей [3]) и даже, по разсказамъ, гвардейцы пріѣзжали изъ Петербурга. Надъ обрывомъ, приблизительно тамъ, гдѣ теперь въ новомъ саду „шампиньонъ", въ торжественные дни палили изъ пушекъ, и т. п. Но не однимъ весельемъ занимались въ Каменкѣ. Бокъ-о-бокъ съ бильярдомъ помѣщалась библіотека; и доселѣ уцѣлѣло нѣсколько прекрасныхъ старыхъ французскихъ изданій, свидѣтельствующихъ о серьезномъ интересѣ и развитомъ вкусѣ тѣхъ, кому служила библіотека. Одинъ изъ сыновей Екатерины Николаевны, Василій Львовичъ, былъ „ревностнымъ членомъ Тайнаго Общества" и кончилъ жизнь въ Красноярскѣ. По словамъ бар. Розена онъ отличался и въ обществѣ, и въ ссылкѣ своею прямотою, бодростью и остроуміемъ [4]).

---

[1]) Такъ значится и въ запискѣ Д. Л. Давыдова, приложенной къ портрету Е. Н. Давыдовой. Она была сестра ген. прокурора гр. А. Н. Самойлова (см. В. Руммель и В. Голубцовъ, Родословный Сборникъ, II, 353—354). Гротъ сообщаетъ о родствѣ не совсѣмъ точно (Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники, 2 изд., стр. 276).

[2]) Записки Ивана Дмитріевича Якушкина, Лейпцигъ, 1874 г., стр. 65.

[3]) Ср. И. Д. Якушкина, стр. 64.

[4]) Слова И. Д. Якушкина, стр. 65; Записки Декабриста, Лейпц. 1871, с. 234.

Молодые Раевскіе съ высокими нравственными качествами своего отца соединяли рѣдкое по тому времени образованіе. Они интересовались поэзіей, знакомы были съ иностранной литературой, читали Вальтеръ-Скотта и Байрона въ то время, когда ихъ, особливо послѣдняго, почти не знали наши даже записные литераторы. Младшій сынъ генерала Раевскаго, тоже Николай Николаевичъ, страстно любилъ литературу, музыку, живопись, и самъ писалъ стихи: онъ довольно долго оставался однимъ изъ главныхъ совѣтниковъ Пушкина въ дѣлахъ литературы, и его литературные взгляды, насколько о нихъ можно судить по нѣкоторымъ даннымъ, отличались глубиной, оригинальностью и вѣрностью. Объ Александрѣ Николаевичѣ Раевскомъ сложилось мнѣніе, какъ объ одномъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей своего времени; его склонны были видѣть въ демонѣ Пушкинскаго стихотворенія 1823 г. Съ старшей изъ дочерей Раевскаго, Екатериной Н., за которою позднѣе утвердилось названіе „Марфы Посадницы", Пушкинъ часто разговаривалъ и спорилъ о литературѣ. Стыдливая, серьезная и скромная Елена Николаевна Раевская, хорошо зная англійскій языкъ, переводила Байрона и Вальтеръ-Скотта по-французски. „Благороднѣйшій изъ людей" Михаилъ Ѳедоровичъ Орловъ, съ 1821 г. мужъ старшей дочери Раевскаго, занимался въ Кіевѣ дѣлами библейскаго общества, участвовалъ въ *Арзамасѣ* подъ именемъ *Рейна*, былъ основателемъ московской школы живописи и ваянія [1]). Каменка имѣла свое мѣсто въ исторіи развитія тайныхъ обществъ на югѣ Россіи. Правда, Анненковъ пытался подорвать такое значеніе ея и находилъ, что ни во время Пушкина, ни позднѣе Каменка не отличалась твердымъ служеніемъ какой-либо политической идеѣ или яснымъ пониманіемъ и преслѣдованіемъ какой-либо цѣли и задачи пропагандного свойства: но доказательства Анненкова не вполнѣ убѣдительны, и если даже согласиться съ ними, то все же нельзя будетъ отрицать того, что Каменка являлась однимъ изъ центровъ умственной жизни края; самъ Анненковъ призналъ, что благодаря обществу Раевскихъ умъ Пушкина настроенъ былъ гораздо серьезнѣе, чѣмъ когда-либо прежде, а Каменка неотдѣлима отъ Раевскихъ [2]), съ чѣмъ, повидимому, былъ согласенъ и Анненковъ, судя по

[1]) А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, Анненкова, стр. 151 - 2; Пушкинъ въ Южной Россіи, Бартенева, Р. Архивъ 1866, 1115, 1130—1; Изъ дневника и воспоминаній Липранди, ibid., стр 1441; Гротъ, цит. соч., стр. 52; Майковъ, П—нъ 140.

[2]) А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 181 и д. 158, 154.

слѣдующимъ его словамъ: „Словно для окончанія предварительнаго его воспитанія (во время путешествія съ Раевскими) онъ (Пушкинъ) проѣхалъ еще на возвратномъ пути къ нимъ, въ извѣстную Каменку, село Раевскихъ-Давыдовыхъ!“.

Здѣсь дѣло идетъ о первой поѣздкѣ Пушкина въ Каменку. Бартеневъ, Анненковъ, а за ними и другіе біографы Пушкина пишутъ, что эта поѣздка была завершеніемъ путешествія Пушкина съ Раевскими и что Пушкинъ пріѣхалъ въ Каменку прямо изъ Крыма. Но въ Крыму, по даннымъ Бартенева, Пушкинъ прожилъ до второй половины сентября, а 24-мъ сентября помѣчено письмо поэта *изъ Кишинева* брату Льву. Могъ-ли Пушкинъ такъ скоро съѣздить въ Кіевъ и Каменку изъ Крыма и въ Кишиневъ изъ Каменки? По всей вѣроятности — нѣтъ, и въ такомъ случаѣ придется предположить одно изъ двухъ: или Пушкинъ раньше выѣхалъ изъ Крыма, или въ Каменку онъ пріѣхалъ не прямо изъ Крыма, а уже изъ Кишинева. Въ пользу второго предположенія говоритъ слѣдующее: въ названномъ письмѣ къ брату Пушкинъ весьма обстоятельно разсказываетъ все, что случилось съ нимъ со времени пріѣзда въ Екатеринославъ; разсказъ заканчивается описаніемъ жизни въ Крыму и обрывается на словахъ: „другъ мой, любимая моя надежда увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго. Будешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся? Теперь я одинъ въ пустынной для меня Молдавіи“. О Каменкѣ нѣтъ ни малѣйшаго упоминанія. Въ другихъ письмахъ, какъ и въ стихотвореніяхъ, насколько мнѣ извѣстно, также не сохранилось никакихъ указаній на то, чтобы Пушкинъ въ сентябрѣ 1820 г. жилъ въ Каменкѣ или въ Кіевѣ. Съ другой стороны, дата на письмѣ Пушкина къ Гнѣдичу свидѣтельствуетъ, что Пушкинъ 4 декабря находился въ Каменкѣ; пріѣхалъ онъ туда, конечно, послѣ 24-го сентября, но до 24-го ноября, какъ на это вполнѣ опредѣленно указываютъ *Записки* И. Д. Якушкина, который пріѣхалъ въ Каменку передъ 24-мъ ноября и засталъ уже Пушкина [1]).

---

[1]) Бартеневъ относилъ этотъ пріѣздъ Якушкина къ ноябрю 1822 г., либо 1821 г.—„по соображенію обстоятельствъ“, но что это за обстоятельства, онъ не указалъ, и мнѣ думается, что совпаденіе датъ письма Пушкина и Записокъ Якушкина говоритъ за достовѣрность послѣднихъ. См. Записки И. Д. Якушкина, Лейпцигъ, 1874, стр. 64; Бартеневъ, цит. соч. 1182—4. Прибавлю, что Якушкинъ, повидимому, пріѣхалъ въ Каменку сравнительно задолго до 24, ибо колебался ѣхать туда, зная, что „собирается много гостей къ 24 ноября, на именины его (В. Л.

Такимъ образомъ, всего черезъ какой-нибудь мѣсяцъ, полтора послѣ перваго посѣщенія Пушкинъ снова въ Каменкѣ, побывавъ въ Кишиневѣ словно для того только, чтобы представиться начальству; но если дѣйствительно Пушкину надо было явиться къ Ипзову и заявить о возвращеніи изъ отпуска, то не проще ли было сдѣлать это по дорогѣ изъ Крыма и затѣмъ направиться въ Каменку вслѣдъ за Раевскими? Утверждая, что Пушкинъ проводилъ Раевскихъ изъ Крыма до Каменки, Бартеневъ, какъ кажется, полагался на слова кн. М. Н. В—ой (Маріи Николаевны Волконской, урожденной Раевской), но та въ 1820 г. была еще дѣвочкой и легко могла смѣшать время перваго пріѣзда Пушкина и обстоятельства, при которыхъ онъ совершился [1]). Екатерина Николаевна Раевская-Орлова, наоборотъ, отрицала, чтобы Пушкинъ изъ Крыма проводилъ Раевскихъ до Каменки; послѣ посѣщенія Бахчисарая онъ, по ея словамъ, доѣхалъ съ ними только до Симферополя или, можетъ быть, до Перекопа,—и въ этомъ она, несомнѣнно, права была, вопреки Я. Гроту [2]).

Одно изъ наиболѣе раннихъ стихотвореній слѣдующаго года написано 8 февраля въ *Кіевѣ*, куда поэтъ пріѣзжалъ въ связи съ предстоявшей свадьбой Екатерины Николаевны Раевской и М. Ѳ. Орлова [3]); 20-мъ февраля помѣчено окончаніе въ Каменкѣ *Кавказскаго Плѣнника*; 22-го тамъ же написана элегія *Я пережилъ свои желанья*... 23-го марта Пушкинъ пишетъ Дельвигу уже изъ Кишинева. Ничего опредѣленнаго о дальнѣйшихъ посѣщеніяхъ Каменки нельзя сказать; въ изданіи сочиненій Пушкина подъ ред. П. О. Морозова, стихотво-

---

Давыдова) матери"; судя же по дальнѣйшему, въ домѣ были почти одни родные Давыдовой да Пушкинъ.

[1]) Бартеневъ, цит. соч. 1121.

[2]) См. его цит. соч., стр. 53.

[3]) У Анненкова мы читаемъ, что „генералъ Инзовъ отпустилъ Пушкина въ Кіевъ отпраздновать свадьбу генерала М. Ѳ. Орлова, который женился на одной изъ Раевскихъ, Катеринѣ Николаевнѣ". Цит. соч. стр. 180. Но въ письмѣ Пушкина В. Л. Давыдову, отъ начала апрѣля, объ Орловѣ говорится лишь какъ о женихѣ:

Межъ тѣмъ какъ генералъ Орловъ,
Обритый рекрутъ Гименея,
Священной страстью пламенѣя,
Подъ мѣрку подойти готовъ...

По словамъ Екатерины Николаевны, свадьба ея была въ маѣ 1821 г.; Пушкинъ на ней не присутствовалъ. Гротъ, цит. соч., стр 53.

реніе *Адели* датировано такъ: ноябрь 1822. Каменка. Если эта дата достовѣрна, то она свидѣтельствуетъ о томъ, что до конца 1822 г. поѣздки Пушкина въ Каменку не прекращались; но какъ полагаться на подобныя доказательства, когда, напримѣръ, тамъ же, подъ стихотвореніемъ 1820 г. *Мнѣ васъ не жаль, года весны моей...* значится: Юрзуфъ, 20 октября?!

Объ одномъ изъ пріѣздовъ сохранился разсказъ, который мнѣ передавали со словъ старшей дочери и жены Василія Львовича [1]: Пушкинъ пріѣхалъ въ какой-то странной повозкѣ; весь запыленный, съ порывистыми движеніями, живою рѣчью, онъ показался встрѣтившей его дѣвочкѣ совершенно необычнымъ, и та бросилась отъ него, крича, что привезли сумасшедшаго.

Въ какомъ домѣ жилъ Пушкинъ, неизвѣстно; но два мѣста въ Каменкѣ особенно связаны съ именемъ его: гротъ и бильярдная. Старожилы Каменки увѣряютъ, будто до побѣлки, которая была произведена не очень давно, въ гротѣ можно было видѣть не мало разныхъ надписей и стихотвореній, въ томъ числѣ Пушкинскихъ; садовникъ также говорилъ, что были въ гротѣ какіе-то знаки и цифры, но какіе именно—этого объяснить онъ не могъ. Я пытался мѣстами отчищать известку, но это оказалось далеко не легкимъ дѣломъ, такъ какъ гротъ былъ выбѣленъ очень основательно и прочно; къ тому же я не могъ слишкомъ увлекаться своею работой,—и результаты послѣдней ничего не дали. Какъ бы тамъ ни было, въ мѣстномъ обществѣ гротъ слыветъ подъ именемъ Пушкинскаго.

Бильярдныхъ было двѣ: одна въ большомъ домѣ, подлѣ гостиной, а другая — въ особомъ домикѣ, описанномъ выше. Такъ какъ въ бильярдной Пушкинъ, по преданію, работалъ, то по всей вѣроятности это было не въ большомъ домѣ, гдѣ заниматься было трудно; къ тому же, сомнительно, чтобы Пушкинъ жилъ въ большомъ домѣ, а изъ любого помѣщенія въ лѣвой части усадьбы ближе и удобнѣе итти заниматься въ находящуюся здѣсь же бильярдную съ библіотекой, чѣмъ въ большой домъ.

Въ Каменкѣ, какъ извѣстно, Пушкинъ окончилъ *Кавказскаго Плѣнника* и писалъ его, по разсказамъ гг. Давыдовыхъ, именно въ бильярдной, растянувшись на бильярдѣ. Работалъ онъ, не отрываясь отъ бумаги, и однажды былъ такой случай: Пушкина позвали обѣдать; онъ велѣлъ

[1]) Обѣихъ нѣтъ уже въ живыхъ.

лакею принести рубашку, чтобъ переодѣться къ обѣду, а самъ продолжалъ писать; лакей принесъ рубашку, Пушкинъ пишетъ; лакей въ выжидательной позѣ стоитъ съ рубашкой, Пушкинъ не обращаетъ на него вниманія и пишетъ, пишетъ...

Пушкинъ въ Каменкѣ, повидимому, не отличался особенной аккуратностью; по крайней мѣрѣ, сохранилось преданіе, что Василій Львовичъ по уходѣ нашего поэта запиралъ двери, чтобы никто изъ прислуги не разбросалъ листиковъ съ набросками и стихами его.

Среди написаннаго въ Каменкѣ мы не находимъ ни одного стихотворенія, относящагося непосредственно къ Каменкѣ и ея природѣ. Пріѣхавъ въ Каменку, поэтъ переносится мыслью туда,

Гдѣ стройно тополи въ долинахъ вознеслись,
Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и темный кипарисъ,
И сладостно шумятъ таврическія волны...[1]).

Это и понятно, такъ какъ скромная краса Каменки сразу послѣ пышнаго юга должна была показаться Пушкину блѣдной, особенно— позднею осенью и зимой. Къ сожалѣнію, ничего опредѣленнаго неизвѣстно о томъ, пріѣзжалъ ли Пушкинъ въ Каменку весною и лѣтомъ; но если пріѣзжалъ, какъ на то смутно указываетъ сохранившееся у Давыдовыхъ преданіе, то трудно допустить, чтобъ для чуткой души поэта совершенно безслѣдно прошли впечатлѣнія меланхолической украинской природы, среди которой ему приходилось находиться во время поѣздокъ въ Каменку и въ самой Каменкѣ; быть можетъ, отзвуки такихъ именно, исподволь, незамѣтно накоплявшихся впечатлѣній донеслись къ намъ въ *Полтавѣ*..

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Сребристыхъ тополей листы.
Луна спокойно съ высоты
Надъ Бѣлой Церковью сіяетъ
И пышныхъ гетмановъ сады
И старый замокъ озаряетъ.
И тихо, тихо все кругомъ...

---

[1]) Сочиненія подъ ред. П. О. Морозова, 1, 225.

Не вѣрится, чтобы такъ могъ писать тотъ, кто самъ не испыталъ настроенія украинской ночи, кто не былъ подъ обаяніемъ ея.

Равнодушный къ самой Каменкѣ, Пушкинъ былъ въ восторгѣ отъ ея общества. „Мой другъ", писалъ онъ брату: „счастливѣйшія минуты жизни моей провелъ я посреди семейства почтеннаго Раевскаго. Я не видѣлъ въ немъ героя, славу русскаго войска — я въ немъ любилъ человѣка съ яснымъ умомъ, съ простой, прекрасной душею; снисходительнаго, попечительнаго друга; всегда милаго, ласковаго хозяина. Свидѣтель Екатерининскаго вѣка, памятникъ 12-го года, человѣкъ безъ предразсудковъ, съ сильнымъ характеромъ и чувствительный, онъ невольно привяжетъ къ себѣ всякаго, кто только достоинъ понимать и цѣнить его высокія качества. Старшій сынъ его будетъ болѣе, нежели извѣстенъ. Всѣ его дочери прелесть; старшая—женщина необыкновенная". Эти строки написаны еще подъ впечатлѣніемъ путешествія по Кавказу и Крыму, но Каменка не охладила отношеній поэта къ Раевскимъ, если не закрѣпила ихъ.

Въ другомъ письмѣ, написанномъ въ Каменкѣ, 4 декабря 1820 г., читаемъ: „Вотъ уже восемь мѣсяцевъ, какъ я веду странническую жизнь... Былъ я на Кавказѣ, въ Крыму, въ Молдавіи, и теперь нахожусь въ Кіевской губерніи, въ деревнѣ Давыдовыхъ, милыхъ и умныхъ отшельниковъ, братьевъ генерала Раевскаго. Время мое протекаетъ между аристократическими обѣдами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь разсѣянное, было недавно—разнообразная и веселая смѣсь умовъ оригинальныхъ, людей извѣстныхъ въ нашей Россіи, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ".

Какого рода были „демагогическіе споры", о которыхъ упоминаетъ Пушкинъ, можно немного судить со словъ И. Д. Якушкина, посѣтившаго Каменку въ концѣ двадцатаго года:

Всѣ вечера мы проводили на половинѣ у Василія Львовича, и вечернія бесѣды наши для всѣхъ насъ были очень занимательны. Раевскій, не принадлежа самъ къ Тайному Обществу, но подозрѣвая его существованіе, смотрѣлъ съ напряженнымъ любопытствомъ на все происходящее вокругъ его. Онъ не вѣрилъ, чтобъ я случайно заѣхалъ въ Каменку, и ему очень хотѣлось знать причину моего прибытія. Въ послѣдній вечеръ Орловъ, В. Л. Давыдовъ, Охотниковъ и я сговорились такъ дѣйствовать, чтобы сбить съ толку Раевскаго на

счетъ того, принадлежимъ ли мы къ Тайному Обществу или нѣтъ. Для большаго порядка при нашихъ преніяхъ былъ выбранъ президентомъ Раевскій. Съ полушутливымъ и полуважнымъ видомъ онъ управлялъ общимъ разговоромъ. Когда начинали очень шумѣть, онъ звонилъ въ колокольчикъ; никто не имѣлъ права говорить, не спросивъ у него на то дозволенія и т. д. Въ послѣдній этотъ вечеръ пребыванія нашего въ Каменкѣ, послѣ многихъ разсужденій о разныхъ предметахъ, Орловъ предложилъ вопросъ: насколько было-бы полезно учрежденіе Тайнаго Общества въ Россіи? Самъ онъ высказалъ все, что можно было сказать за и противъ Тайнаго Общества. В. Л. Давыдовъ и Охотниковъ были согласны съ мнѣніемъ Орлова; Пушкинъ съ жаромъ доказывалъ всю пользу, какую-бы могло принести Тайное Общество Россіи. Тутъ, испросивъ слово у президента, я старался доказать, что въ Россіи совершенно невозможно существованіе Тайнаго Общества, которое могло-бы быть хоть на сколько нибудь полезно; Раевскій сталъ мнѣ доказывать противное и исчислилъ всѣ случаи, въ которыхъ Тайное Общество могло бы дѣйствовать съ успѣхомъ и пользой; въ отвѣтъ на его выходку я ему сказалъ: мнѣ не трудно доказать вамъ, что вы шутите; я предложу вамъ вопросъ: если-бы теперь уже существовало Тайное Общество, вы навѣрно къ нему не присоединились-бы?— Напротивъ, навѣрное бы присоединился, отвѣчалъ онъ. — Въ такомъ случаѣ давайте руку, сказалъ я ему. И онъ протянулъ мнѣ руку, послѣ чего я расхохотался, сказавъ Раевскому: разумѣется, все это только одна шутка. Другіе также смѣялись, кромѣ А. Л., рогоносца величаваго, который дремалъ, и Пушкина, который былъ очень взволнованъ; онъ передъ этимъ увѣрился, что Тайное Общество или существуетъ, или тутъ-же получитъ свое начало, и онъ будетъ его членомъ; но когда увидѣлъ, что изъ этого вышла только шутка—онъ всталъ раскраснѣвшись и сказалъ со слезами на глазахъ: я никогда не былъ такъ несчастливъ, какъ теперь; я уже видѣлъ жизнь мою облагороженною и высокую цѣль передъ собою, и всё это была только злая шутка. Въ эту минуту онъ былъ точно прекрасенъ. Въ 27-мъ году, когда онъ пришелъ проститься съ А. Г. Муравьевой, ѣхавшей въ Сибирь къ своему мужу Никитѣ, онъ сказалъ ей: я очень понимаю, почему эти господа не хотѣли принять меня въ свое Общество; я не стоилъ этой чести [1]).

[1]) Записки, 68—70.

По части „аристократическихъ обѣдовъ“ особенно славился Александръ Львовичъ Давыдовъ. Онъ очень любилъ покушать и, по воспоминаніямъ М. де-Рибаса, самъ разсказывалъ, что будучи въ 1815 году во Франціи, вмѣстѣ съ окупаціоннымъ корпусомъ, и командуя однимъ летучимъ отрядомъ, онъ всегда составлялъ свой маршрутъ такимъ образомъ, чтобы имѣть возможность проходить и останавливаться во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя славились или приготовленіемъ какого-нибудь особеннаго кушанья, или производствомъ рѣдкихъ фруктъ и овощей, или, наконецъ, искуснымъ откармливаніемъ птицъ [1]). Для него-то, по преданію, былъ устроенъ гротъ, чтобъ лѣтомъ онъ могъ тамъ предаваться своей страсти, безъ помѣхи со стороны жары, отъ которой онъ сильно страдалъ, благодаря своей толщинѣ. Это тотъ Давыдовъ, къ которому въ 1824 г. Пушкинъ обратился съ слѣдующимъ посланіемъ:

Нельзя, мой толстый Аристиппъ:
Хоть я люблю твои бесѣды,
Твой милый нравъ, твой милый хрипъ,
Твой вкусъ и жирные обѣды,
Но не могу съ тобою плыть
Къ брегамъ полуденной Тавриды.
Прошу меня не позабыть,
Любимецъ Вакха и Киприды!
Когда чахоточный отецъ
Немного тощей Энеиды
Пускался въ море наконецъ,
Ему Горацій, умный льстецъ,
Прислалъ торжественную оду,
Гдѣ другу Августовъ пѣвецъ
Сулилъ хорошую погоду:
Но льстивыхъ одъ я не пишу,
Ты не въ чахоткѣ, слава Богу:
У неба я тебѣ прошу
Лишь аппетита на дорогу. I, стр. 301.

Но и „аристократическіе обѣды“ не обходились безъ „демагогическихъ споровъ“, или по крайней мѣрѣ—тостовъ. Отъ начала

[1]) В. А. Яковлевъ, Отзывы о Пушкинѣ съ юга Россіи. Одесса. 1887 г., стр. 117.

апрѣля 1821 г. сохранилось стихотворное письмо Пушкина къ Василію Львовичу Давыдову, съ интересными упоминаніями о лицахъ, въ кругу которыхъ Пушкинъ незадолго передъ тѣмъ проводилъ время въ Каменкѣ:

Межъ тѣмъ какъ генералъ Орловъ,
Обритый рекрутъ Гименея,
Священной страстью пламенѣя,
Подъ мѣру подойти готовъ;
Межъ тѣмъ какъ ты, проказникъ умный,
Проводишь ночь въ бесѣдѣ шумной,
За ужиномъ, съ бутылками Аи,
Сидятъ Раевскіе мои.
Когда вездѣ весна младая
Съ улыбкой распустила грязь,
И съ горя на брегахъ Дуная
Бушуетъ нашъ безрукій князь,
Тебя, Раевскихъ и Орлова,
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебѣ два слова
Про Кишиневъ и про себя.
Я... невольно вспоминаю,
Давыдовъ, о твоемъ винѣ...
Когда и ты, и милый братъ [1]),
Передъ каминомъ надѣвая
Демократическій халатъ,

[1]) „Милый толстякъ Давыдовъ (А. Л.) считался въ то время ярымъ либераломъ", какъ замѣтилъ де-Рибасъ. Либерализмъ этотъ не мѣшалъ А. Л-чу дремать подъ шумокъ либеральныхъ бесѣдъ, что видно изъ записокъ Якушкина; не мѣшалъ онъ и такимъ поступкамъ: какой-то факторъ-еврей порядкомъ надулъ Давыдова. Александръ Львовичъ призвалъ къ себѣ еврея и когда тотъ, ничего не подозрѣвая, вошелъ въ его комнату, то онъ сильно побилъ его чубукомъ своей трубки. Побитый факторъ подалъ жалобу генералъ-губернатору графу Воронцову, который покровительствовалъ евреямъ. Графъ тотчасъ же приказалъ полиціи взыскать съ Давыдова 25 р. въ пользу еврея. Когда полицейскій чиновникъ предъявилъ Давыдову приказаніе графа Воронцова, тотъ сильно разсердился. Потомъ, вынувъ изъ кармана деньги и, обращаясь къ фактору, онъ сказалъ ему: Вотъ тебѣ 25 р. за то, что я тебя побилъ, а вотъ другіе 25 р. за то, что я еще побью, — и, схвативъ еврея за бороду, такъ сильно побилъ его на глазахъ блюстителя порядка, что онъ едва могъ дотащиться до дома. Яковлевъ, ibid. 118.

Спасенья чашу наполняли
Безпѣнной мерзлою струей
И за здоровье *тѣхъ* и *той*
До дна, до капли выпивали...
Но *тѣ* въ Неаполѣ шалятъ,
А *та* едва ли тамъ воскреснетъ:
Народы тишины хотятъ,
И долго ихъ яремъ не треснетъ... VII, 20—21.

Подъ *тѣми* Пушкинъ подразумѣвалъ итальянскихъ карбонаріевъ, а подъ *той*—революціонную Францію, скованную реставраціей и даже воевавшую за укрѣпленіе династіи Бурбоновъ въ Испаніи [1]).

Характеризуя общество Каменки, Пушкинъ не забылъ упомянуть о женщинахъ. Безъ нихъ жизнь поэта была не полна; такъ бывало всегда и вездѣ, такъ было и въ Каменкѣ. Долгое время въ стихотвореніяхъ Пушкина, начиная съ написанныхъ въ Крыму, мелькаетъ возвышенный женскій образъ, отразившійся, между прочимъ, въ *Нереидѣ* и чудной элегіи *Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда;* первая и вторая написаны въ Каменкѣ, подъ свѣжимъ еще впечатлѣніемъ крымской жизни.

Стихотворенія проникнуты глубокимъ, чистымъ чувствомъ, скорбью нераздѣленной любви, къ которой Пушкинъ относился такъ бережно, что не хотѣлъ-было печатать *Бахчисарайскаго Фонтана*, „потому что (писалъ онъ брату 25 августа 1823 г.) многія мѣста (его) относятся къ одной женщинѣ, въ которую я былъ очень долго и очень глупо влюбленъ... Такъ и быть, я Вяземскому пришлю *Фонтанъ*, выпустивъ любовный бредъ—*а жаль*“!

Интересно и характерно для жизни Пушкина на югѣ Россіи это отношеніе его къ своему чувству: Пушкинъ какъ будто стыдится своей любви („роль Петрарки мнѣ не по путру“!), но разстаться съ нею не можетъ безъ сожалѣнія. Въ 1824 г. Бестужевъ напечаталъ элегію *Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда* съ тремя заключительными стихами, очевидно, представлявшими тогда слишкомъ ясныя указанія на предметъ любви поэта, и послѣдній дважды пишетъ объ этомъ Бестужеву въ такихъ выраженіяхъ: „ты напечаталъ именно тѣ стихи, объ которыхъ именно я просилъ тебя: ты не знаешь, до какой сте-

[1]) Анненковъ. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 184.

пени это мнѣ досадно" [1]). „Богъ тебя проститъ, но ты осрамилъ меня въ нынѣшней *Звѣздѣ*, напечатавъ три послѣдніе стиха моей элегіи.—Чортъ дернулъ меня написать еще некстати о *Бахчисарайскомъ Фонтанѣ* какія то чувствительныя строчки и припоминать тутъ же элегическую мою красавицу.—Вообрази мое отчаяніе, когда я увидѣлъ ихъ напечатанными! Журналъ можетъ попасть въ ея руки: что жъ она подумаетъ, видя, съ какою охотою бесѣдую объ ней съ „однимъ изъ петербургскихъ моихъ пріятелей"?... Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгаринымъ, что проклятая элегія доставлена тебѣ чортъ знаетъ кѣмъ, и что никто не виноватъ? Признаюсь, *одной мыслью этой женщины дорожу я болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ и всей нашей публики... Голова у меня закружилась*"...

„Чувствительныя строчки", о которыхъ здѣсь была рѣчь, представляютъ отрывокъ изъ письма къ Бестужеву, отъ 8 февраля 1824 г., гдѣ Пушкинъ упоминаетъ, что въ *Бахчисарайскомъ Фонтанѣ* онъ „суевѣрно перекладывалъ въ стихи разсказъ молодой женщины:

Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve".

„Молодой женщины" Пушкинъ не называетъ; но, очевидно, это была та, о комъ онъ писалъ Дельвигу въ декабрѣ того же года изъ Михайловскаго: „К. поэтически описывала мнѣ его, называя la fontaine des larmes". Въ К*** видятъ Катерину Николаевну Раевскую; а такъ какъ изъ вышеприведенныхъ писемъ нельзя заключить, чтобъ Пушкинъ говорилъ о двухъ женщинахъ, то и въ „элегической красавицѣ", быть можетъ, вѣрнѣе всего видѣть тоже Катерину Николаевну, „женщину необыкновенную", по отзыву нашего поэта. Распространено, однако, мнѣніе, что элегія *Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда*, *Нереида* и нѣкоторыя другія подобныя произведенія того времени относятся къ Еленѣ Николаевнѣ Раевской [2]).

Сомнѣваться въ серьезности, искренности и чистотѣ чувства Пушкина къ Раевской—невозможно; но нельзя не отмѣтить и того печальнаго факта, что это чувство не удержало Пушкина отъ другихъ

---

[1]) Одесса, 12 января 1824 г.

[2]) См. Сочиненія А. С. Пушкина, подъ ред. Морозова, I, стр. 224 и д.

увлеченій, которыя къ тому же бывали далеко не возвышеннаго свойства. Одно изъ нихъ имѣло мѣсто въ Каменкѣ.

Александръ Львовичъ Давыдовъ былъ женатъ на француженкѣ Аглаѣ Антоновнѣ, урожденной графинѣ де Грамонъ [1]). Среди писемъ Пушкина брату есть крайне безцеремонная эпиграмма на Аглаю, гдѣ „каждый стихъ—правда", и кажется, мы не ошибемся, если подъ Аглаей эпиграммы будемъ видѣть именно жену Александра Львовича, „котораго Пушкинъ такъ удачно назвалъ „рогоносецъ величавый" [2]).

Не потерявшая прелести и желанія нравиться, несмотря на свои тридцать съ лишнимъ лѣтъ, Аглая Антоновна кокетничала съ „молодымъ повѣсой", подчасъ злила его своимъ напускнымъ равнодушіемъ и, повидимому, кончила тѣмъ, что увлеклась имъ нѣсколько посерьезнѣе, но поклонникъ ея, добившись успѣха, „взялъ наперстницу Наташу", оставивъ прежней — ироническое посланіе *Аглаѣ*. Наиболѣе страдательнымъ лицомъ во всей этой „обыкновенной исторіи" явилась едва ли не дочь Аглаи Антоновны—Адель, дѣвочка лѣтъ 12-ти. Какъ разсказываетъ Якушкинъ, Пушкинъ „вообразилъ себѣ (или вѣрнѣе, напустилъ на себя видъ), что онъ въ нее влюбленъ, безпрестанно на нее заглядывался, и, подходя къ ней, шутилъ съ ней очень неловко".

„Однажды за обѣдомъ онъ сидѣлъ возлѣ меня и раскраснѣвшись смотрѣлъ такъ ужасно на хорошенькую дѣвочку, что она бѣдная не знала, что дѣлать, и готова была плакать. Мнѣ стало ее жалко, и я сказалъ Пушкину вполголоса: посмотрите, что вы дѣлаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бѣдное дитя. „Я хочу наказать кокетку, отвѣчалъ онъ; прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочетъ взглянуть на меня".

---

[1]) А. Л. женился на ней въ Митавѣ во время пребыванія въ этомъ городѣ Людовика XVIII. А. А. „весьма хорошенькая, вѣтренная и кокетливая, какъ истая француженка, искала въ шумѣ развлеченій средство не умереть со скуки въ варварской Россіи". Описывая пребываніе Д. В. Давыдова въ Каменкѣ наканунѣ 12-го года, сынъ знаменитаго партизана говоритъ, что Аглая Антоновна была магнитомъ, привлекающимъ къ себѣ всѣхъ желѣзныхъ дѣятелей славнаго Александровскаго времени. Отъ главнокомандующихъ до корнетовъ, все жило и ликовало въ Каменкѣ, но главное—умирало у ногъ прелестной Аглаи. Д. В. Д—овъ воспѣвалъ ее въ стихахъ. Екатерина Николаевна Давыдова не стѣсняла молодежи, такъ какъ соединяла въ себѣ какую-то величавость съ рѣдкимъ простодушіемъ, или скорѣе близорукостью относительно нравовъ. Р. Старина 1872 г., кн. 4, стр. 632.

[2]) И. Д. Якушкинъ. Записки, стр. 66

Съ большимъ трудомъ удалось мнѣ обратить все это въ шутку и заставить его улыбнуться“ [1]).

Не на основѣ ли такихъ отношеній возникло самое стихотвореніе *Адели*, не совсѣмъ подходящее для посвященія маленькой дѣвочкѣ?

Играй, Адель.
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя вѣнчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна.
Для наслажденья
Ты рождена.
Часъ упоенья
Лови, лови!
Младыя лѣта
Отдай любви,
И въ шумѣ свѣта
Люби Адель
Мою свирѣль. I, 281.

Дальнѣйшая судьба дѣвочки не оправдала пожеланій поэта. Аглая Антоновна, послѣ смерти мужа, переѣхала въ Парижъ: ревностная католичка, она обратила двухъ своихъ дочерей въ католичество, и Адели, вмѣсто наслажденій большого свѣта, выпало на долю уединеніе монастыря.

Настали и для Каменки иныя времена; ее

Измялъ съ-налету вихорь шумный...
Погибъ и кормщикъ, и пловецъ!

Ея „таинственный пѣвецъ“ былъ пощаженъ грозою, но находился далеко, въ кругу иныхъ друзей...

На смѣну старшему поколѣнію Каменки подростало младшее,— вдали отъ родины. Двѣ малолѣтнія дочери Василія Львовича, Ек-на В-на и Ел-та В-на, жили у Чернышевыхъ-Кругликовыхъ, одно изъ имѣній которыхъ было въ Яропольцѣ Волоколамскаго уѣзда, рядомъ съ имѣніемъ Гончаровыхъ. Здѣсь прозвучалъ послѣдній привѣтъ Каменкѣ,

[1]) Нѣчто подобное дѣлалъ Пушкинъ въ Кишиневѣ; жена Балша, еще довольно молодая женщина, вездѣ вывозила съ собою, несмотря на ранній возрастъ, дѣвочку дочь, лѣтъ 13-ти. Пушкинъ за нею ухаживалъ. Досадно ли это было матери, или, быть можетъ, она сама желала слышать любезности Пушкина, только она за что-то разсердилась и стала къ нему придираться. Бартеневъ, стр. 1167.

эпилогъ ея веселью, спорамъ. Было это уже въ тридцатыхъ годахъ, когда Ек-на В. и Ел-та В. видѣли Пушкина у Чернышевыхъ [1]).

Пушкинъ ничѣмъ особенно не выдѣлялся среди другихъ, и остался въ памяти Ел-ты В. человѣкомъ небольшого роста, смуглымъ, съ курчавыми волосами. Ек-на В. помнитъ, что посѣщеніе было днемъ; Пушкинъ сидѣлъ на стулѣ, ходили дѣти... Въ воспоминаніяхъ Ел-ты В. сохранилась другая картина: при свѣчахъ всѣ сидѣли за столомъ и пили чай; черезъ столъ, противъ Ел-ты В., сидѣлъ Пушкинъ; онъ заговорилъ съ ней, сказалъ, что очень хорошо зналъ ея отца, часто бывалъ въ Каменкѣ; послѣ словъ Пушкина стало очень пріятно... [2]).

---

[1]) Изъ письма Пушкина видно, что въ 1833 г. онъ, дѣйствительно, былъ въ Яропольцѣ, у Гончаровыхъ; въ слѣдующемъ году ѣздилъ въ Болдино, конечно, черезъ Москву; въ 1836 г. также былъ въ Москвѣ.

[2]) Когда Пушкинъ погибъ на дуэли, у Чернышевыхъ всѣ были поражены, жалѣли о немъ, но, главнымъ образомъ, какъ о знакомомъ, человѣкѣ общества; Ек-на В. и Ел-та В. не помнятъ, чтобъ о немъ говорили, какъ о поэтѣ, и сами онѣ съ поэзіей Пушкина въ ту пору мало были знакомы; лишь позднѣе, за границей, онѣ стали больше читать произведенія его и глубже заинтересовались ими.

Ибо на крестъ ~~в крестъ~~ Христа
вашего Царствие Божие.
Не бойтесь страдать за собою
мнящих будущих другъ.
Будьте чисты перед Христом
- чаете Бог изгнанник.

Бой предом Падша, чудесы Христовы
имущу Небесному чудеса;
- Помолимся собе Христови
Царю IV молящаяся.

Богатство Пушчаниа в Христа,
Но наше Небо чаемо не одних,
Хотя. Иже в Христа
Изгнаниа. Изгнанник.

Смирение Христово а Богородицо,

Sabo' moi nerawdo
granicom chroniać,
Nabet sa nowoi granicy,
Cobet granicowaćy.
Temubei emuchomogeny
cauny, prosto, ne mycam
bożmoi
, Ne Czarodzejcy,
omi, sa Mtoczaim.

[illegible]
[illegible] cuk dma,
[illegible] Ibk moi Tatandam
[illegible] za Symbolicy pomo.
[illegible] Mamnyg Nonaby.
[illegible] Sebig – Mome Mamny Cha

140.

3 2044 036 998 300

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

WIDENER
STALL-STUDY
JAN 2 1 1905
CHARGED
CANCELLED